ВЛАДИМИР
ОРЛОВ

Происшествие в Никольском

Альтист Данилов







Писателя Владимира Орлова читатели знают по романам «Соленый арбуз», «После дождика в четверг», «Происшествие в Никольском», «Альтист Данилов». В настоящую книгу вошли два его романа — «Происшествие в Никольском» и «Альтист Данилов».

В центре первого романа судьба Веры Навашиной, вчерашней школьницы, будущей медсестры. Несчастный случай с девушкой и дальнейший ход событий заставляют не только ее, но и других жителей поселка, так или иначе вовлеченных в драматическую ситуацию, оглянуться на собственную жизнь и многое в ней переоценить.

В романе «Альтист Данилов» рассказывается о становлении личности талантливого артиста одного из столичных театров. Обстоятельства складываются так, что Данилов — натура благородная и совестливая — вынужден сделать решительный жизненный выбор.

ВЛАДИМИР
ОРЛОВ

Происшествие в Никольском

Альтист Данилов

РОМАНЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Викторович Орлов

ПРОИСШЕСТВИЕ В НИКОЛЬСКОМ
АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ

М., «Советский писатель», 1983, 592 стр.
План выпуска 1983 г. № 138

Художники *Т. Е. Добровинская* и *Е. М. Добровинский*

Редактор *Г. А. Блистанова.* Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева.* Корректоры *Г. И. Ольвовская* и *Р. Г. Рагимова*

ИБ № 3658

Сдано в набор 29.07.82. Подписано к печати 03.02.83. А04011. Формат 60×90[1]/[16]. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 37. Уч.-изд. л. 43,49. Тираж 200 000 экз. Заказ № 568. Цена 3 руб. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

О $\frac{4702010200-048}{083(02)-83}$ 138—83

Происшествие в Никольском





1

Ох, и скучно по утрам в Никольском. Ей-богу. Ну что за наказание такое — все в сотый, да и не в сотый даже, а в стотысячный раз. Словно слушаешь петую-перепетую песню и каждая буква в той песне тебе знакома, каждый звук, каждая интонация старательного певца, даже все его придыхания выучены наизусть. Вот проревел он в волнении: «Туча смешала землю с небом»,— стало быть, дальше уж, конечно, с угрозой пропоет насчет серого неба и белого снега, а ты кричи, уши затыкай чем под руку попадется, но от этого гремящего серого неба, от неумолимого песенного порядка никуда не денешься, да и куда деваться? Вот хлопнула калитка у Монаховых,— значит, сейчас услышишь, как продавец гастрономического отдела пристанционного магазина пройдет шагов пять, остановится и крикнет жене трезвым металлическим своим баритоном: «Колбасы граммов четыреста купи, докторской, и масла...» — и точно, крикнул, и Монахова ответила: «Ладно», будто микрофон у рта держала, и разошлись супруги, довольные, успокоенные, подтвердившие еще раз честно́му народу, что не жулики они, не уголовные элементы, общества не разоряют, а покупают снедь в поселковом гастрономе. А за Монаховым по дымящейся, прожаренной уже пыли Дементьевы прошагают, отец и сыновья, молчаливые, несущие себя с достоинством получивших звание, выбритые до лаковой синевы с по́мощью безопасной бритвы и пенящегося крема «Флорена». Словно готовые еще раз фотографу столичной газеты у ворот завода швейных машин позировать для снимка «А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло...». Прошли. Вере кивнули. Валяйте, валяйте, спешите, ударники! А за ними, а за ними шалопай Корзухин пронесется, камнем засадит в чей-нибудь священный огород, так, безобидно, ради шутки, или собаку мирную соседскую подразнит диким голосом, а той уж будет огорчительно слышать этот дикий, издевательский голос, потому что и так, без Корзухина, жарко. «Ну ладно, проваливай, чего руки тянешь! — скажет Вера Корзухину грозно.— Дурной! Контуженый, что ли? Как только таких токарями держат! В армию хоть бы взяли...» Пробежал Корзухин, пробежал никольский битл, концы красной рубахи узлом связавший на голом втянутом животе; в распаренный, голову дерущий запахом краски автобус влезет, как всегда, первый, да еще и место, кому надо, займет. И повалит весь поселок Никольский на работу, на службу, на рынок, в магазины, в больницы, в районные конторы, мастерить швейные машинки и мотоколяски для инвалидов, исписывать бумаги красными и синими чернилами, торговать ранними огурцами из ухоженных парников, да мало ли занятий вытягивает по утрам деятельных лю-

дей из Никольского, пустошат поселок, заставляют никольских локтями работать в автобусной очереди, кряхтеть в резиновой машине, а потом, через три километра, спешить в электричку, а уж электрички, электрички по Курской, по тесной и веселой железной дороге, развезут, растрясут никольских кого куда — кого в Москву, кого в районную столицу, кого в Серпухов, кого на сумасшедшую станцию Столбовую, а кого и в пряничную Тулу.

Вот и повалил поселок Никольский.

А ей, Вере, спешить некуда, день отгульный, сиди на крыльце, подставляй смуглое уже свое лицо солнцу да поглядывай на утреннее никольское шествие.

Идут, идут, кто торопится, а кто нет, кто с черным интеллигентным и деловым портфелем, а кто с дерюжными мешками, с сумой переметной, старики в штопаных рубахах и пиджаках с заплатами, по давней никольской традиции привыкшие надевать на работу и в баню что похуже, а то попортишь или украдут еще. Молодые, напротив, в отглаженном да в модном, длинные и здоровые, переросшие на голову приземистых своих родителей, не знавшие бомбежек и щей из лебеды, щеголи, по мнению своих мамаш, добро беречь не научившиеся. Идут, идут, а их дом, Навашиных, самый что ни на есть обыкновенный никольский дом, не раздражающий соседей никакими особыми достоинствами, самое что ни на есть заурядное подмосковное жилище, неискусный гибрид избы и дачи, стоит на главной поселковой улице, и, стало быть, утреннее шествие тянется перед Вериными глазами, и люди, шагающие к автобусу, успевают поглядеть на нее. А так как она своя, никольская, не дачница, выложившая сто пятьдесят целковых за лето, и вот сидит на крыльце с книжкой в руках, и ничего не делает, и никуда не спешит, это естественно, моментально вызывает чувство досады или непонимания.

— Во, расселась, коленки выставила...

— Вера Алексеевна, не желаете двинуть с нами на Силикатную?

Это Астанин, шофер, возит цемент с Силикатной.

— Как же,— говорит Вера певуче и закрытой книжкой отгоняет муху,— потом пыль из меня выбивать веником, да?

Уж так ответила, по привычке, чтобы отстал и шел дальше, могла бы и поостроумнее что-либо сообразить, но лень попридержала язык, да и скучно.

И снова:

— Эй, Верка, ноги-то сгорят...

— Она подол обрезала напрочь...

— Привет, Верк! Гни свою линию, от этих-то уши отводи, а то вянуть начнут. Марья Ивановна с радостью паранджу бы надела...

— Пошли с нами. На Гривне нынче жакеты будут!

— И занятие-то себе нашла — не бей лежачего, да еще и сегодня загорает...

— Слабенькая! Ветер дунет — рассыплется!

— Валяйте, валяйте... Ну, еще чего?

Впрочем, слова летели в Верину сторону случайные и необидные, в Веру они не вцеплялись, а рассыпались в воздухе, и от них не надо было отмахиваться, как от обнаглевших июньских мух, не словленных еще липучей бумагой. Мужики и парни отпускали на ходу реплики скорее доброжелательные, им самим приятно было полюбезничать с навашинской девицей, такой смазливой и фигуристой не по летам. А женщины, даже если бы и пожелали Веру уязвить, хотя бы для того, чтобы досадить мужьям, сделать это все равно бы не решились, потому что шла в Никольском о Вере слава как о девке горластой и язвительной, к старшим не имеющей почтения, и связываться с ней — только давать повод ославить, осрамить себя на весь поселок. Да и чего цепляться к ней? Девка как девка, красивая, работящая, сегодня сидит — так завтра со всеми будет нестись к автобусу, а что коленки выставляет, так и их дочки нынче не прячут колен. Срамота, конечно, но...

Прошли.

Ну вот еще последние суматошные пробежали.

Вера вздохнула.

Скучно. Ох, и скучно же...

И утро все тянется, жаркое, нестерпимое никольское утро.

И ничего в это утро в поселке не произойдет интересного, не может произойти, да и не происходило никогда. Вот днем или вечером в Никольском происшествия еще могут случаться. И случались же! Случались! В послеобеденные часы или еще лучше — в вечерние входит в жизнь поселка стихия. В новинку кое-что бывает, пусть не каждый день, но бывает, пусть раз в двадцать дней, но бывает все же, вечером в Никольском есть на что поглядеть, есть что послушать. На худой конец включишь телевизор, может, станут разучивать «хоппель-поппель» или начнут многосерийный фильм.

Но до вечера-то — жизни год! А сейчас такая в Никольском скучища! Наказание, ей-богу, наказание!

А чего ей-то, дуре, сидеть без дела и глазеть на утреннюю никольскую жизнь? И слушать эту жизнь? А вот сидит. И с места не двигается. В ней ведь, в этой жизни, не только появления ненаглядных соседей на пыльном, с травой у канавок главном Никольском проспекте расписаны, но и все запахи, рыбные, колбасные, картофельные и прочие, известны заранее, и все звуки, пусть даже самые пустяковые, словно бы записаны на магнитофонной ленте, и лента эта от старости уже потрескивает, да похрипывает, да похрюкивает, но и не рвется. Вот застучали у пруда молотки, поначалу застучали старательно, а потом растерялись, спотыкаться стали, застеснялись опасной своей старательности. Реставраторы — в пруд бы их водяными забрали! — к работе приступили, чтобы тут же заняться перекурами. А церковь жалко,— ничего она, времен Ивана Грозного или каких других времен, всего ведь не упомнишь, мало ли чем им в седьмом классе забивали голову. Стучат работнички, старые леса чинят, не спешат,

не усовестились, хоть бы мелодию своим молоткам придумали посвежее, нет, все, как вчера, как и позавчера, как и всегда.

Но если молотки у пруда застучали, стало быть, кончилось утро и начался трудовой день.

А все равно веселее не стало. Скучно. И не скучно, а того хуже — тоскливо.

Хоть бы Сергей скорее вернулся. Уж больно долго длится его командировка. Ставит он теперь столбы высоковольтные в Тульской области, под городом Чекалином. И что это за Чекалин такой? Сергей писал: назван так город, бывший Лихвин, в честь пятнадцатилетнего паренька, он немцев в войну убивал, они его убили. И зачем этому городу Чекалину, бывшему Лихвину, держать Сергея? Столбов, что ли, в нем не хватает?

И хотя Вера знала точно, что Сергей вернется домой не позднее чем через три дня, а то и через два дня, она все же сидела теперь и ругала бессовестный город Чекалин, отнявший у нее Сергея, упрятавший его в свою неизвестную жизнь на месяц, на три месяца, на полгода, сколько там им еще жить в разлуке!

— Верка, козу-то не вывела... Все тебе загорать!

— Да сейчас. Ну что ты со своей козой пристала? Ничего с этой Дылдой не сделается...

— Матери так отвечаешь...

— Ну, сейчас,— проворчала Вера.

Но в дом и во двор, к козе, она все же сразу не пошла, потому что ей хотелось думать о Сергее, просто повторять про себя его имя, вспоминать, какой он, какие у него волосы и какие руки, вспоминать, как он ласкал ее и как говорил ей: «Здравствуйте пожалуйста. Извините, что пришел». Тяжкими выдались Вере последние ночи, и ведь уставала за день, а сон не шел, не шел — и все тут, так хотелось ей, чтобы Сергей был рядом, лежал рядом, так соскучилось по нему ее сильное, не девичье уже тело. И уж без поводов, а просто так, для собственной радости она рассказывала знакомым и случайным собеседникам, что есть у нее парень, вроде как муж, только для себя и говорила, потому что в Никольском все, наверное, давно знали, что они с Сергеем живут, да и мать если и не знала, то уж догадывалась.

— Верка! У-у, змея шелапутная...

— Ну ладно! — буркнула Вера.— И так тоскливо, а ты пристала!

— Идешь ты или не идешь?

— Ну, иду, иду! Отстань ты, ради бога!

Босиком, книгу положив на ступеньки крыльца, Вера по утоптанной дорожке между вишнями и папировкой проскочила на задний двор, где перед грядами в хлеву не в хлеву, в сарае не в сарае жила коза. Стадо в Никольском было скудное, коров дюжина, овцы да козы, вечное мучение с пастухами, вытравило их время в Подмосковье, как извозчиков, а те, что появлялись иногда и слаживали с никольскими, оказывались вскоре людьми несерьезными и пьяницами. Вот и теперь никольский скот сиро-

тел без пастуха, и Вере приходилось выгонять козу на зелень. Лет десять назад, как и многие никольские, и они, Навашины, имели корову. После решили обойтись козой. Свиней откармливать не любили, к козам же, как и к картофельным огородам, выделенным возле железной дороги, они, да и все никольские, привыкли с военных времен. С козами и возиться не надо было много, и молоко шло у них пусть с привкусом, но жирное, а потом можно было пошить из их шкур и душегрейки. Правда, в войну и после нее все держали по нескольку коз, теперь же оставили по одной, рассчитывали на магазины.

— Ну, Дылда, вставай,— Вера схватила козу за рог,— пошли. И так уж поздно выходим...

Коза поднималась медленно, пошла за Верой нехотя, не имела желания из тени хлева, пахнувшего пометом и сеном, плестись куда-то по жаре. На дворе она спугнула кур, и те хоть и лениво, но заорали, закудахтали, к Вериному удовольствию,— мать, наверное, услышала их и успокоилась. Не Верино было дело выгонять козу, росли у них в доме хозяйки и помоложе — Надька и Сонька, но мать чувствовала, что Вера нацелилась нынче со своей подругой Ниной Власовой податься в Москву — деньги транжирить без толку или приключений искать, и уж мать со вчерашнего вечера придумывала Вере занятия, чтоб та намоталась по хозяйству и отсидела отгул дома. «Ну пусть, пусть себя потешит,— думала Вера без зла,— время у меня еще есть»,— и легоньким прутиком подбадривала козу. Короткий сарафан свой Вера надела на голое тело, и не таким злым было для нее солнце, а уже когда набегал ветерок, совсем приятно становилось коже. Жаль только, что улицы вымерли и никто не мог оценить этот чудесный сарафан, сшитый ею самолично на прошлой неделе из дешевенького штапеля с белыми звенящими цветами на голубом поле, оценить и ее самое, и ее плечи, и ее ноги, и ее колени, выше которых подол сарафана был сантиметров на десять. От досады Вера стукнула козу прутом покрепче: давай поспешай, не глазей по сторонам.

У пруда было уже много подростков и ребятишек помельче, они плавали в темной воде, играли на траве в мяч и карты. На берегу валялись брошенные велосипеды, а в зеленой низинке за холмиком лежали сытые соседские козы.

— Верка! Иди мяч кидать!

— Да ну! — отмахнулась Вера.— Некогда.

Козу она привязала к колышку, вбитому в землю на совесть, колышек был их, навашинский, низина делилась невидимыми границами на зоны влияния никольских владельцев коз, длиной веревок хозяева каждый день обеспечивали своим животным свежую траву. Но Дылда к зелени интереса не проявила, она тут же залегла за кочкой и морду уткнула в землю.

— Лежи, лежи,— сказала Вера,— только к петуховской козе не суйся. И веревку не заматывай. А то будешь орать! За молоком Сонька придет. И воду принесет. Поняла?

Растянувшаяся на земле коза казалась еще внушительнее и длиннее. «Эко вымахала, дубина, лучше б молока давала побольше. Впрочем, что это я ее извожу? — подумала Вера.— Она ведь неплохая коза, губы мягкие и добрые, морду ее приятно гладить, и в глазах есть соображение».

— Ну, если поняла,— сказала Вера,— то хорошо. Насчет веревки помни, Дылда.

Мать могла бы уже и отойти, время Вера ей дала,— так нет, все еще нервничала.

— Я тебе поеду!

— А то не поеду! — рассмеялась Вера.

— Вырастила себе на голову. Во кобыла какая! Я ж тебе мать!

— У меня выходной, могу я им распоряжаться или нет?

— Дома дел, что ли, нет? Деньги только на ветер... Я в твои годы каждую копейку считала.

— Может, они у вас дороже были!

— Пожила бы ты в наше время...

— Я-то в любое время проживу!

— На какую-нибудь пустую дрянь выкинешь!

— Это мое дело. Деньги сама заработала!

— Вот как? Деньги, значит, только твои? А я тебе не мать? И девчонки с голоду подыхать должны?..

— Кто это с голоду подыхает? — рассердилась Вера.

— Замолчи!

— Нет, кто это с голоду подыхать будет?

— Только о себе и думаешь, о матери не думаешь! Ты мне жизнью обязана... В отца пошла, в беспутного!.. Я всю кровушку, все соки из себя выжала, чтобы на ноги поднять ее, чтобы одеть, накормить,— и вот тебе благодарность в старости... В отца пошла, господи...

— В какой такой старости? Что ты прибедняешься? В старости! В сорок шесть лет — в старости!..

Вера была сердита, не жалкие слова о том, что она кому-то чем-то обязана, ну хотя бы и жизнью, хотя бы и здоровьем, и красотой своей, не эти слова разозлили ее, нет, а вот деньгами-то зачем попрекать, будто она бессовестно вытягивает их из черной семейной шкатулки, будто не гробит себя, когда ее сверстницы все еще развлекаются в школах, или она такая маленькая, что не имеет права на самостоятельность?

— Знаешь что?..— почти закричала Вера, но сдержалась.— У меня времени нет на всякие разговоры.

Повернулась резко, пошла в свою комнату, переодевалась с шумом, гремела лезшими под руку вещами так, чтобы мать слышала и чувствовала, как серьезна и грозна ее дочь. «У всех матери как матери, а мне повезло!» Настроение у Веры испортилось вконец, и теперь никольское утро представлялось ей не только тоскливым, но и жутким, и жить не хотелось, одна надежда оставалась на возвращение Сергея. «Вот уйду, вот уйду я к нему,—

повторяла Вера, напяливая туфли,— вот уйду навсегда»,— хотя и знала, что никуда не уйдет, уйти не сможет, потому что ни один загс их с Сергеем не распишет.

— Эх, жизнь!

Одетая, принаряженная для московской публики, для московской толпы, для кипящих, счастливых магазинов, черную сумочку подхватив, губу нижнюю поджав, хотела пройти мимо матери, гордая и самостоятельная, матери не заметить, бровью накрашенной не повести.

Нет, взглянула на нее, малодушная.

И встала.

— Начинается! Нет, ну что я тебе сделала такого, ну скажи, ну чем я тебя обидела?

Сумочку быстро положила на стол, бросилась к матери. Но не обняла ее, не прижала к себе, слов никаких не сказала горячих, а остановилась в шаге от матери, потому что мать сделала брезгливое движение, будто прикосновения дочери вытерпеть сейчас она не могла.

Мать была Вере ниже плеча, плакала рядом, сжавшаяся вся, груди-то у нее совсем нет, подумала Вера, высохла, совсем старушка, жалкая, простоволосая, несчастная. А она стояла рядом, разодетая, спелая да ухоженная, и так ей стало горько и стыдно, и такую любовь она ощутила к матери, что кинулась к ней, сжала ее, волосы принялась гладить. «Ну не надо, мамочка, родная, ну не надо, ну прости меня, ну успокойся, все хорошо будет, вот увидишь, вот увидишь...» Она повторяла эти слова, обещала хорошее впереди и сама не знала, что хорошее, то ли то, что своей поездкой в Москву она мать не огорчит, то ли то, что вообще в жизни их семьи настанут счастливые времена, спокойные и веселые, настанут скоро, и, может, даже отец их вернется с Дальнего Востока, блудный отец явится с повинной.

— Не плачь, ну не надо, садись сюда, успокойся!.. Не поеду я, никуда не поеду. Ни в какую Москву не поеду! Вот сейчас переоденусь и Нине скажу, что не поеду...

И долго она так говорила, себя ругала за черствость и эгоизм, даже матери стало жалко ее, она принялась успокаивать Веру, называла сиротинушкой, вытирала слезы ее и, забыв прежние свои слова, советовала ей в Москву ехать сейчас же, а то Нина, наверное, ждет.

— Никуда я не поеду,— говорила Вера.— Зачем?..

Минут пятнадцать, а то и больше стояли они, успокаивая друг друга, жалея друг друга, мать говорила: «Иди, иди, Нина уж, верно, ждет тебя», а Вера твердила: «И не уговаривай, никуда я не поеду, не хочу я никуда ехать...»

И все же через полчаса, когда краснота сошла с лица и никому в автобусе и в голову не могло прийти, что эта рослая красивая девица недавно плакала, Вера уже ехала к станции и против желания прикидывала, на какую электричку она успеет, львовскую или серпуховскую, и сколько ждет ее рассердившаяся,

наверное, Нина; впрочем, эти мелкие соображения казались ей кощунственными, и она отгоняла их и все повторяла себе, что в Москву она поехала только из-за матери, купит ей там что-нибудь ценное, купит непременно, все деньги истратит до копейки, себе на мороженое не оставит, ей перед матерью на коленях стоять, а она ей слезы приносит...

2

По платформе от скамейки к скамейке катался на велосипеде Колокольников.

Нины не было видно.

Львовская электричка прошла, а серпуховская должна была появиться через двадцать семь минут.

Ожидающих поезд было мало, и все они хоронились от солнца в тени болезненных пристанционных лип. Вера хоть и вспотела в автобусе, в сквер не пошла, она была жадной до солнца. Колокольников все катался по платформе, дурашливый все-таки малый, подумала Вера, хотя и красивый. Он бы сюда мог заехать и на грузовике, вон как веселится, вокруг всех столбов норовит объехать и объезжает их, виртуоз фигурного катания по асфальту, только перед кем старается, неизвестно. Нину Вера теперь ругала, называла ее беззаботной и готова была ее проучить за опоздание. Впрочем, может быть, Нина уже появлялась на станции, да ждать ей надоело, вот она и ушла домой или, того хлеще, уехала одна в Москву...

— Отстань ты от меня, змей подколодный, не дави мешок! Помоложе, что ль, нет, с кем играться...— взвыла жалостливо бабка Творогова, пенсионерка шестидесяти шести лет, Первомайская улица, четырнадцать, или просто Творожиха, в любое время года снабжающая московских, подольских, чеховских и серпуховских жителей сырыми и калеными семечками, взвыла, сидя на соседней скамейке, потому что Колокольников передним колесом попытался отодвинуть от ног бабки серый тугой мешок.

— Мотобол, знаешь, бабка, такая игра есть,— засмеялся Колокольников,— и еще пионербол...

— Васенька, мы же свои, никольские, я же старая, беспомощная...

— До чего ж ты, бабка, занудливая! — рассердился Колокольников и покатил дальше.

Скамейки и столбы он объезжал быстро и ловко, и Вера знала: если раньше он выказывал себя неизвестно перед кем, то теперь старается ради нее.

— Вась,— сказала лениво Вера,— подружки моей тут не было?

— Не видал,— бросил на ходу Колокольников.

— Верочка, внученька, ты тоже, что ль, куда едешь? — сиропным голосом обратилась к ней Творожиха, и глаза у нее засветились счастьем.— Какая ты вся красивая да сдобная! Мать-то твоя

счастливая — такую кралю высидела! Ты уж этому извергу на велосипеде скажи, чтоб не шалил, а?

— Не задавит,— сказала Вера,— это он так, шутит он.

— Шутит, шутит! — закивала бабка, будто бы обрадовавшись тому, что Колокольников с ней просто шутит.

Творожиху Вера не любила, приторные ее слова и заискивающие взгляды терпела с трудом, и в другой день с удовольствием бы помогла Колокольникову поиздеваться над этой семечной предпринимательницей, что-нибудь выкинула бы озорное да ехидное, но нынче, после слов матери, после холодных и горючих ее слез, Вера, казалось ей, несла в себе чувство вины перед всеми старшими, она любила их, потому что мать была одной из них, и даже бабку Творогову она сейчас жалела.

— Ишь как гонит! — снова заволновалась бабка.— Ишь как! Прямо на меня! Прямо на мешки!

— Не задавит,— мирно сказала Вера.

И точно, не задавил, притормозив, замер у скамейки.

— Катаешься? — улыбнулась Вера.

— Ага, катаюсь,— сказал Колокольников.

— Делать, что ль, нечего?

— Нечего,— сказал Колокольников.

— Лучше бы стакан водички привез. Жарко!

— Еще ничего не желаешь?

— Съезди, будь человеком.

— Ну ладно, уговорила.

Небрежно, руки то и дело снимая с голубого руля, покатил Колокольников по платформе, а потом по лоснящимся шпалам и по красноватой земле, перебрался через две московско-курских колеи и прямо на велосипеде, тонком да хрупком, казалось, прогибающемся под его тяжелым, жилистым телом, прямо на легкой своей машине въехал в вокзальную дверь, а там уж, наверное, отправился к буфету.

— Ну и здоров, ну и ловок вымахал! — с радостью заговорила Творожиха, пересевшая со своими семечками на Верину скамейку. Радовалась она то ли вправду тому, что Колокольников, никольский житель, вымахал таким здоровым, то ли тому, что он уехал и не мог уже безобразничать с ее мешками.

А Колокольников, живший от Веры через три улицы, и верно, за последние годы сделался парнем необыкновенно сильным и рослым, образцовым покупателем магазина «Богатырь», расположенного у платформы Ржевская, за Крестовским мостом. Среди молодой поросли поселка Никольского, рождения конца сороковых годов и начала пятидесятых годов, по рассказам родителей, несытых, Василий Колокольников считался фигурой заметной, и не потому, что в нем обнаружились особые таланты или интерес к наукам,— чего не было, того не было,— выделялся он именно своей силой, широченными плечами и бицепсами. Сила и создавала ему авторитет, и хотя он редко применял ее, потому что был человеком добродушным, поселковые парни ее признали и хороводились

вокруг Колокольникова. В атаманы Колокольников не рвался, но положение свое среди поселковой ребятни принимал, а потому и подражал сильным людям, вызывавшим его уважение. Поначалу повторял ягуарью походку Юла Бриннера, кольты и смит-вессоны, казалось, торчали и покачивались за его широким великолепным ремнем, дядиным, армейским, но почти что ковбойским. А потом, через полгода, Колокольников окончательно влюбился в стокилограммового Рагулина, аж стонал, когда на чемпионате мира его кумир грудью принимал несущихся к нашим воротам на гибельной скорости раззадоренных канадцев и шведов и только улыбался, а рисковые парни в белых шлемах разбивались о его богатырскую грудь, падали кто на лед, а кто на борт с упоительным для Колокольникова треском. Колокольников тоже играл в хоккей и тоже в защите, старался получить у приятелей прозвище «Рагулин» и получил, ковбойская походка была забыта, ходил он теперь, «как Рагулин», с небрежным и вроде бы ленивым выражением лица, плечи расправив, грудь намеренно выпятив и руки прямыми опустив к бедрам. Тонкими чертами лица он не был похож на флегматичного армейского гиганта, но обещал догнать его статью. Впрочем, Колокольников уважал еще и Старшинова и во время игр ремешок шлема по-старшиновски поднимал на подбородок, под нижнюю губу.

— Вот бы тебе его женихом,— расплылась в счастливой улыбке Творожиха.

— Каким еще женихом? — сказала Вера настороженно.

— И ладный, и здоровый, в техникуме учится...

— Нужен мне такой жених!

— И свой ведь, на стороне-то еще неизвестно кого найдешь...

— Ну ладно, бабка, не суйся не в свое дело,— резко сказала Вера.

Вера вспомнила, что эта приторная Творожиха приходится Колокольникову дальней родственницей, неизвестно какой степени юродной, пятой водой на киселе, но родственницей, вовсе не способна была старуха на самостоятельные суждения и наверняка высказала сейчас отголосок слышанного в семье Колокольникова. Кроме того, она уж, конечно, как и все никольские сплетницы, знала о ее, Вериной, любви с Сергеем, и потому нынешние слова бабки иначе как наглыми назвать было нельзя. Вера и хотела поставить Творожиху на место, но тут открылась обитая рыжим дерматином вокзальная дверь и Колокольников выехал на размятый солнцем асфальт перрона. Левая его рука по-хозяйски держала руль, правая же самоуверенно, но и не без изящества несла полную кружку пива. Пена колыхалась, вываливалась мягкими кусками, таяла на асфальте.

— Разбавленное,— сказала Творожиха.

— Ох, и надоела ты! — рассердилась Вера.— Сиди да помалкивай.

Старуха обиделась, отодвинулась даже, принялась ворчать громко, но невнятно, и все же Вера смогла разобрать шипящие

бабкины слова: «...шляется с голыми ногами, до грешного места задралась, тьфу, срамотища какая...»

— Сейчас ты у меня договоришься! — грозно пообещала Вера.

Замолкла Творожиха, негодующее шипение ее разом оборвалось, будто регулятор в радиоле остановил стертую корундовую иглу: знала ушлая никольская жительница, с кем следует связываться, а с кем нет. И все же не удержалась с разгону и, сама уже того не желая, пробормотала напоследок:

— Крапивой бы по этим местам...

И тут же испуганно заерзала на лавке, кончики черного вечного платка затеребила в ожидании кары, но, на ее счастье, подъехал Колокольников, привез кружку пива.

— Ну ладно,— сказала Вера Творожихе, принимая кружку,— мы к этому вопросу еще вернемся.

Пиво было теплое, разбавленное, кисловатое, не принесло облегчения.

— Верочка, внученька,— взмолилась Творожиха,— оставь глоточек.

— На, держи,— протянула ей кружку Вера.

— Пей, бабка,— сказал Колокольников,— но учти: пиво — опиум для народа.

— Спасибо, Вась.— Вера достала кошелек.— Сколько я тебе должна? Двадцать четыре копейки, что ли?

— Убери,— обиделся Колокольников.— Ты меня за человека не считаешь, да?

— Васенька, я молчу.

— Вот ведь люди пошли,— вздохнул Колокольников,— все на копейки мерят. А можно ли любовь копейками оценить?

— Чтой-то любовь у тебя такая кислая да жидкая?

— Какая-никакая,— сказал Колокольников.

— И за нее спасибо.

— Вечером к нам придешь?

Вечером дома у Колокольникова, отец и мать которого гостили у родственников в Люберцах, собирались Верины знакомые отметить день рождения бывшего ее соученика по никольской школе Лешеньки Турчкова.

— Не знаю,— сказала Вера.— Подумаем. Нет, мы, наверное, не успеем с Ниной вернуться.

— И Нина не вернется? — озаботился Колокольников.

— Ее, что ль, сейчас ждешь? — улыбнулась Вера.

— Ну ладно,— быстро сказал Колокольников,— кружку-то мне надо отвезти.

— А говоришь — любовь! — крикнула ему вдогонку Вера.

— Клянусь тебе — любовь! — подтвердил громко и торжественно Колокольников.

— Вася никогда не врет,— сказала Творожиха,— я его еще вот таким мальчиком помню...

— Помолчи. А когда электричка придет, садись в другой вагон. Поняла?

Творожиха, вздохнув, отодвинулась и драгоценный мешок притянула к себе.

— Слушай, Вер, приходите, а? — Колокольников стоял уже напротив, у вокзальной двери и просил Веру всерьез.

— Не успеем мы вернуться, Вась. Еще подарок надо искать, мороки-то...

— Вы без подарков! На кой черт ему подарки!

— Как же без подарков-то! — сказала Вера.— Нельзя.

«Ну, если без подарка,— подумала она,— тогда, может, еще и заглянем...» Тут и явилась Верина подруга Нина Власова, голову не повернув, прошагала к вокзальной двери, никого не замечая, но так, чтобы все ее заметили, прошагала летящей деловой походкой, рожденной любовью к полонезу и джайву,— года три Нина всерьез занималась в районной студии бального танца. Была она, как всегда, красивая, тонкая, с чуть полными икрами,— они ее, впрочем, не портили, хотя и мешали носить высокие сапоги.

Минуты через две она уже подходила к Вере, молча шел за ней Колокольников, вел за собой велосипед, как ковбой присмиревшего мустанга.

— Совесть у тебя есть? — спросила Вера.

— А что? — удивилась Нина.

— На какую электричку мы договорились?

— А разве не на эту?

— Может, на вечернюю?

— Нет, правда? Не на эту? Ну, извини. Ну, не сердись.

— Придете сегодня? — спросил Колокольников.— Нина Олеговна, я на вас очень надеюсь.

— Вряд ли мы придем,— сказала Вера.

— А что, у вас ко мне особый интерес? — спросила Нина.

— Ну, так...— смутился Колокольников.

— У тебя вроде на Силикатной интерес есть, а?

— В общем — как хотите,— нахмурился Колокольников и оседлал велосипед.

— У тебя, говорят, скоро там дети появятся,— сказала ему вдогонку Нина, сказала громко и внятно, чтобы ее слова разобрали и Колокольников, и притихшая Творожиха.

Во время разговора с Колокольниковым Нина стояла не просто так, а приняв позу, приобретенную все в той же студии бального танца: ноги чуть-чуть расставив, проявив крепкое бедро,— а худое Нинино лицо с чуть широким книзу носом, но все же не утиным, выражения своего не меняло, застыло как бы, в глазах Нининых чувств никаких не проявлялось, лишь ее длинные синие ресницы поднимались иногда, чтобы выказать удивление. Говорила Нина сейчас непривычно для местных жителей старательно, четко, с идеальным московским произношением. Да и во всем ее облике, отполированном, обточенном, было нечто не здешнее, не никольское.

— Вечно ты меня подводишь,— сказала Вера.

Серым пятном на сверкающей стальной дороге в дальней сер-

пуховской стороне возникла наконец электричка, разрослась, распухла, отодвинула от края платформы суетливых людей и уж затем остановилась на минуту, распахнула перед Ниной и Верой тугие двери.

3

На станции Царицыно, знаменитой своей крышей и четырехгранными, крашенными в белое фонарями каренинских времен, дверь распахнулась снова, и никольские подруги были вынуждены выпрыгивать на перрон, спасаясь от контролеров. Контролеры бежать за ними не собирались, только слова какие-то укоризненные говорили. Вера с Ниной остановились, Вера молчала, а Нина — высказывалась и показывала службистам язык, а потом и пальцем повертела возле виска. Уходящей электричке и контролерам она помахала изящной, наманикюренной ручкой, но те-то уехали в Москву, а они вдвоем остались в Царицыне.

— Опять из-за тебя,— сказала Вера.

— Отчего ж из-за меня?

— Смотреть надо было, а не этому старику глазки строить.

— Сразу вдруг и старику!

Действительно, было дело, без всякой корысти и перспектив, а просто так, из уважения к себе и чтоб в дороге было не скучно, быстрыми взглядами Нина ответила на нескрываемый к ней интерес сидевшего напротив лысоватого джентльмена с московской, видимо, пропиской. Джентльмен был и вправду стар и нехорош, с рыхлым, бабьим лицом, и Нине он не понравился, хотя она и оценила его манеры и ладно сшитый костюм. Но теперь, после Вериного замечания, Нина обиделась за «своего» старика и готова была защищать его. Появление контролеров она действительно просмотрела, как, впрочем, просмотрела и Вера, и перебегать в соседний вагон было уже поздно. Контролеры попались плохие, предпенсионного возраста, обаяние юности не произвело на них никакого впечатления.

И это был редкий случай, потому что обычно контролеры отпускали их с миром или же позволяли убежать, а чаще просто делали вид, что не заметили двух смазливых «студенток». Билетов Нина и Вера не брали никогда, как они считали, из принципа и вовсе не из желания обворовать государство. В детстве привыкли экономить на мороженое,— впрочем, и сейчас отдавать рубль шесть копеек за билет в два конца было бы досадно.

— Фу-ты, жарко,— сказала Вера.

— Скупнемся, что ли?

В Царицыне они полагали выйти на обратной дороге, сунули на всякий случай в сумки купальники, но теперь до того расплавила, разморила их утренняя жара, что оставалось только поблагодарить контролеров и вытоптанными в короткой, словно бы подстриженной, траве дорожками отправиться к прудам.

Берег, пологий, узкий, спускался от полотна железной дороги

к темной, взбаламученной воде и, как ялтинский пляж, был усыпан коричневыми ленивыми и энергичными людьми. Раздевалок здесь так и не поставили, и теперь Нине и Вере надо было искать не общипанные пока кусты.

— Пригнись, пригнись же, дурочка,— зашептала испуганно Нина,— вот с этой стороны ветки жидкие, вон те сейчас на нас обернутся!..

— Да пусть смотрят, что они, баб, что ли, не видели? — сказала Вера.— А мне с ними на собраниях не сидеть.

— Ты уж готова, ловкая какая, а я в этом своем японском застряла, прикрой меня, а?

— Давай быстрее,— засмеялась Вера и легонько, но со звуком шлепнула подругу по голой спине.

— Вот глупая, что ты делаешь? — затараторила Нина, пригнулась, сжалась вся, платье, как рыцарский щит, прижала к себе.

Через минуту Нина королевой пляжа в японском купальнике, приобретенном по случаю, пусть и с переплатой, по царицынской мягкой траве, как на помосте показа мод, двигалась к пруду, а потом и в нагретой воде, чуть разбрызгивая ее босыми ногами, продолжала свой путь вдоль берега, романтическая неземная особа, бегущая по волнам, ноги ее ступали неспешно и с грацией, худенькие плечи были развернуты, а голова на трепетной шее откинута назад. Вера шла шагах в пяти позади подруги, не отставала, но и не спешила, к Нининой бальной походке она привыкла, относилась к ней с иронией и снисходительностью взрослого человека, приученного житейскими заботами к практической простоте во всем, но в то же время и завидовала Нине, и, сама того не желая, подражала. И сейчас она шла и смотрела на подругу, знала, что в воду они полезут не сразу, а пройдутся еще по берегу — и других посмотрят, и себя покажут.

Хождения по царицынскому берегу подругам нравились, зрителей в жаркие дни набиралось много, и все они видели двух ловких, красивых девиц, и не каких-то никольских провинциальных растерях, а московских, чуть надменных, умеющих вести себя с достоинством, готовых в случае нужды пресечь ухмылки и приставания. Впрочем, даже если и слышали они лошадиные восторги в свой адрес или грубые предложения познакомиться, в ответ слов не тратили, а выразительными движениями губ и бровей давали понять, что они выше пляжной пошлости. Про себя при этом отмечали не без удовольствия: «Дураки, конечно, грубияны, а нас заметили, вкус имеют, значит, не конченые люди».

Но сегодня Вера не намеревалась тратить много времени на купание, о чем сказала подруге и, не выслушав ее возражений, пошла в воду. На зиму воду в пруду спускали, а теперь заполнили яму не до краев — к глубокому месту пришлось шагать долго. Вода была темная, теплая, пахла водорослями. Вера поплыла осторожно, чтобы не замочить лицо и волосы, по-лягушачьи, будто по-иному не умела, старалась не делать брызг.

— Нинка! Ну чего ты там жаришься?

Через минуту Нина уже плыла рядом, и удивительные синие ресницы ее изображали недоумение.

— Чего ты вдруг сорвалась? Ну, не брызгай, не брызгай!

— Я и не брызгаю, отстань, плавай от меня подальше.

— Нет, обязательно надо спешить.

— Спешить, спешить! Ты хоть чувствуешь, как здесь здорово!

— Здорово, Верк, здорово! Вода прелесть какая, я помолодела на десять лет!

— А не на пятнадцать?

— Верочка, а вот почему, когда я плаваю, я думать ни о чем не могу?

— Отстань ты со своими глупостями. И не фыркай!

— Давай останемся, а? Не поедем в Москву? А?

Плавали подруги не напрягаясь, на одном месте, недалеко от берега, лицом к нему, так, чтобы все происходившее на земле заметить и в случае, если бы кто-нибудь заинтересовался их вещами, успеть выскочить из воды. По правде сказать, надо было им разделиться и купаться по очереди, но нынче они приглядели пожилую семейную пару, вызывавшую доверие, и попросили последить за их платьями, туфлями и сумочками. Какая была вода, жизнь делала споcной. «Счастливчики,— думала Вера,— рождаются и живут у моря, вот скоплю денег и в августе вырвусь на юг, в Крым или под Сочи, завтра же сяду за пляжные платья и сарафаны, чтобы в сверкающем, безалаберном краю Никольское не опозорить». Но тут Вера вспомнила о матери.

— Вылезай. Поехали. Совесть надо знать.

В электричке они сидели молча и были сердиты, а жара плавила вагон.

— Таким манером только к вечеру и доедем,— сказала Вера.

— Что ты на меня шипишь, что ты злишься?

— Ничего,— сказала Вера резко. Потом смилостивилась: — Это я на себя злюсь. По одной причине.

Уже узкая и тихая Москва-река осталась позади, и пролетели гремящие, забитые составами пути люблинской сортировочной горки, и явились под окна белые и желтые дома Текстильщиков, и раскаленная, с пеклом коричневых корпусов «Серпа и молота», вставших у железной дороги, приняла электричку Застава Ильича.

— Времени-то не так уж много,— сказала Нина, но уже миролюбиво,— а там, на пляже, один парень, студент, рыжеватый такой, развитой, как культурист...

— Ну и что парень?

— Очень недурной парень, москвич, царицынские-то — они все теперь москвичи...

— Ну хорошо, ну, москвич...

— Ну и ничего,— обиделась Нина. Потом сказала: — Уж совсем было мы с ним познакомились в прошлый раз. «Давно, говорит, я вами любуюсь». Мной... И тобой тоже.

— Невидаль какая. Где сходить-то будем — на Курской или на Каланчевке?

— На Курской. Там «Людмила» рядом. А на Каланчевке одни овощные ларьки.

На серой горбатой Курской площади, урезанной, ужатой ремонтными работами, была толчея, была давка, извинения и ругательства, плотное, утрамбованное движение народа во встречных потоках, тишайших, а потому и утомительных и для нетерпеливых москвичей, опаздывающих куда-то, и для транзитных людей, едущих в солнечные, фруктовые и виноградные края, измученных кассовыми хлопотами, столичными ритмами и звуками. А на берегах потоков было спокойствие, была работа, справа у забора стояли десятки южных людей в кепках-аэродромах, весельчаки и оптимисты, они зазывали кавалеров приобрести для своих красивых женщин кавказские пахучие розы. На другом берегу теснились такси, и хитроумные водители молча, но уж внимательно и по-хозяйски, горными орлами, высматривали подходящих клиентов, попростодушнее и попровинциальнее. Подруги наши были в московской толпе своими, действовали локтями и языком, энергично и быстро пересекли оба потока без ущерба для платьев и сумок. Идти им надо было влево, к большому дому, белому с зеленым, где и находился неплохой, с их точки зрения, магазин «Людмила».

— Этот дом кооперативный,— сказала Нина,— тут живут с телевидения, дикторы всякие, вот тот, который волосы нарастил, знаешь, и женщины...

— Ты уж мне рассказывала.

— Деньги у людей есть,— вздохнула Нина, не осуждая хозяев кооперативных квартир, а с сочувствием к самой себе.

— Девушки, здравствуйте,— сказал проходивший мимо модный молодой человек и, как показалось Вере, поклонился ей.

— Здравствуйте, здравствуйте,— ответили подруги.

— Это он кому? — шепотом спросила Нина, а сама как бы невзначай глаза скосила на молодого человека.— Мне или тебе?

— Тебе, наверно.

— Да нет, тебе. Знакомый твой? Верка, познакомь.

— Первый раз вижу. Это он на тебя глядел...

— Нет, на тебя,— расстроилась Нина.— На тебя все всегда в первую очередь внимание обращают...

Это было правдой, и Вера знала, что так оно и есть. Всегда, если они были с Ниной на людях, внимание парней, а уж пожилых мужчин тем более, привлекала она, Вера. Она это чувствовала, и Нина это чувствовала. Разумных объяснений этому Вера подыскать не могла, на Нину, с ее точки зрения, каждый прохожий должен был бы смотреть с восхищением — такая она вся ухоженная, стильная и ритмичная. Однако Нину по справедливости оценивали не сразу и не все, а она, Вера Алексеевна Навашина, вызывала тут же восклицательные знаки. «Яркая ты больно,—

объясняла Нина,— у меня одни кости, а ты вон какая». И жестами показывала какая.

— А чего в «Людмиле» будем покупать?

— Ничего,— сказала Нина.— Зайдем просто так, для разгону. Кто же в первом магазине что-нибудь покупает?

Действительно, в «Людмиле» ничего они не купили, хотя там и было кое-что, и красивое, и фирменное, и недорогое. Позже они, естественно, жалели, что не купили ничего в «Людмиле», но сейчас выходили из стеклянного магазина спокойные, рассудив, что раз это торговое заведение расположено у вокзала, значит, первым делом в него бросаются суматошные приезжие люди.

Метро привезло подруг к ГУМу.

Вера звала идти в секции, где продавали шерстяные вещи и белье, а Нина тянула через переулок, к грампластинкам. Побыли у грампластинок, потолкались среди досужего люда, походили от одной секции к другой и к третьей, прислушивались к мелодиям,— не брать же им Кобзона или Миансарову,— получили удовольствие от ритмов джайва и гоу-гоу, и уж потом Нина за рубль шестьдесят в блестящем супрафоновском конверте приобрела Матушку и Карела Готта. Верины секции оглядывали серьезнее и внимательнее. Вера все думала о матери, прикидывала, что бы практичнее и по ее вкусу купить — шерсти, что ли, на кофту или саму кофту фабричной вязки, или белье, теплое, но такое, чтобы мать, непривычную к моде, не испугало. Однако же цены были для Вериных средств неподходящие, Вера нервничала, а Нина не понимала, почему на все ее слова Вера отвечает с раздражением.

— Ну ладно, пошли из этого ГУМа,— сказала Вера.

Пошли-то они пошли, и все же не удержались и купили по паре клипсов с длинными подвесками, подешевле, и, проходя туннелем под Манежной площадью и Охотным рядом, радовались им, потому что клипсы и впрямь были удачные.

— Что-то мы с тобой одни клипсы только и покупаем,— сказала Нина.— Словно уши зря кололи.

Прошлой осенью они ходили в районную поликлинику, хирург проколол им уши. А серьги они так и не носили.

В ЦУМе, душном, стесненном решительной реконструкцией, Нина заволновалась, как борзая, учуявшая за мокрым кустом зайца. И действительно, что-то несли.

Нина бросилась куда-то, исчезла на пять минут, растворилась в бурлящей суетне готического магазина, и потом вынырнула из-за колонны, из-за снежной бабы — продавщицы пломбира — и схватила Веру за руку:

— Пошли! Быстрее! Я заняла очередь! Они еще есть!

— Где? Что? — не поняла Вера, но вопросы она задавала зряшные, по инерции, а сама уже бежала за Ниной, волнуясь, как и подруга.

Нина притащила ее почему-то к фотоотделу, обрадовала женщин, стоявших в очереди: «А вот и мы!» Давали сумки, черные и коричневые, прямоугольные, с карманом, на длинном узком рем-

не, с двумя блестящими металлическими замками, кожаные, немецкие. Ах, какие это были сумки! Нина вытащила из своей несчастной, обреченной сумочки деньги и пересчитала их, хотя надо было еще выписать чек, а уж потом идти в кассу.

— Хватит,— сказала она и обернулась к Вере.

И, увидев Веру, она расстроилась и спросила испуганно:

— Ты тоже, что ль, хочешь такую?

— Ну а что же! — сказала Вера.

— Верк, ну зачем тебе-то! Это ведь не твой стиль...

— Ты так думаешь? — засомневалась Вера.

— Конечно! Ты прости, но смешно будет смотреть на тебя с такой сумкой. У тебя сила в другом. Я тебе как подруга советую. Ты же что-то другое хотела купить.

— Ты права,— сказала Вера.

Продавец, светловолосый парень лет девятнадцати, каждый новый чек выписывал морщась и покачивая раздосадованно головой. У него хватало терпения разъяснять покупательницам, что сумки эти не какие-нибудь, а специальные, кофры, для фоторепортеров и фотолюбителей, знающие люди смеяться будут. Он и Нине сказал:

— Хоть вы-то каплю здравого смысла имеете? Или еще купите фотоувеличитель и привяжете к бедру?

Нина поглядела на него снисходительно и с жалостью.

— У меня дядя фоторепортер,— сказала Нина,— я ему в подарок.

— Ну, берите, берите,— махнул рукой продавец.— Я думал, хоть вы с соображением.

На эти слова продавца Нина не ответила: что он о ней думает, ее не волновало, а волновало, какую сумку брать — черную или коричневую. Она уж и ту и другую устраивала и на левом плече, и на правом, крутилась с обеими сумками перед Верой, раздражая очередь и продавца, и следы столкновений больших страстей отражались на Нинином лице. Наконец она сделала выбор, со страдальческим выражением глаз сказала: «Черную»,— однако на полдороге к кассе она воскликнула: «Ах, что я, дура, наделала!» — побежала к прилавку и зашептала: «Коричневую, будьте добры, коричневую...»

Она и потом изводила Веру своими сомнениями, все корила себя за глупость: «Надо было черную, а теперь не обменяешь, все разберут»,— и заглядывала в Верины глаза, выпрашивала у нее слова, которые подтвердили бы правильность ее выбора.

— Брось ты причитать,— сказала наконец Вера,— купила и купила. Этот цвет лучше.

Сомнения были отброшены, яркие перспективы, связанные с сумкой на длинном ремне, открывались перед Ниной.

— Нет, здорово, здорово! — сказала Нина.— А?

— Что «а»? — спросила Вера.

— Как что? Я про сумку. А ты меня не слушаешь, да? Ты расстроилась, что ли? Ты на меня обиделась?

— С чего мне обижаться-то?

— Нет, серьезно, эта сумка тебе не к лицу. У тебя же другой стиль, я правду говорю.

— Ну и хорошо,— сказала Вера,— и кончим о сумке.

Словами этими она призывала подругу к непосильному подвигу, и та, поколебавшись, замолчала, потому что чувствовала Верино раздражение. Нина и сама страдала теперь оттого, что расстроила подругу, но не сосуществовать же в Никольском двум одинаковым сумкам. Вера думала о приобретении подруги с завистью, к тому же ее обидели слова: «Сумка тебе не к лицу»,— почему вдруг не к лицу? — но тут она снова вспомнила о матери, о своих сегодняшних намерениях и сказала резко:

— Нужна мне такая сумка! Мне матери что-нибудь купить надо, поняла?

— С чего ты вдруг? Именины, что ли?

— Не именины. Просто так. Просто жалко мне ее стало.

Нина посмотрела на подругу с удивлением, но потом вроде бы все поняла, ни о чем не спросила, а принялись они обсуждать, что Вериной матери купить и в какие магазины зайти,— может, отправиться на ярмарку в Лужники?

— И мне-то,— вздохнула Нина,— зазря бы денег не тратить, а маме...

И тут они богатым, сверкающим боками Столешниковым переулком вышли на улицу Горького.

Как хорошо, как празднично было на Горького, как любила эту улицу Вера, утренние никольские страдания забылись, и жизнь не казалась тоскливой, и если бы вспомнила Вера о своих мыслях на крыльце родного дома, наверное, посмеялась бы сейчас над собой. Но до воспоминаний ли было! Толпа двигалась великолепная, разодетая, уважающая себя, не то что у Курского вокзала или ГУМа. Конечно, и тут спешили, но больше прогуливались. И все были одетые по моде, и отличить нашего от иностранца не было никакой возможности.

— Зимой еще своих заметишь,— сказала Нина,— а летом — нет.

А уж речь на улице звучала такая разная, наверное, и французская, и арабская, и индийская, и испанская, и всякая; впрочем, какая именно — определить Вера не могла, знала только по-английски несколько выражений из учебника пятого класса и песен битлов, но все говорили вокруг удивительно интересно и красиво.

— Смотри-ка, Верка, смотри...

— Чего ты?

— Да не туда... Тихонов! Вон!

Прямо на них шел Тихонов. Вера на секунду остановилась, рот открыла от удивления и восторга, но тут же пошла за подругой, поджав губы.

— Я думала, он красивее,— сказала она,— и ростом выше.

— Ничего, ничего,— прошептала Нина,— все равно красивый.

— И с ним идут какие-то все невзрачные...

— Ну брось ты!

Нина стояла на своем, а Вера пожимала плечами. «Подумаешь!» — ворчала она, а все равно несколько раз оборачивалась, и смотрела в спину Тихонову, и понимала, что вечером в Никольском она будет рассказывать знакомым девчонкам и парням, как попался им навстречу сам Тихонов, понимала и то, что рассказы эти доставят ей удовольствие. И еще она чувствовала себя в этой великолепной разноязычной толпе своей, со всеми равной — и со знаменитым артистом, чьи фотографии вымаливали они в ларьках Союзпечати, равной и вот с этой заграничной тонконогой дамой в замше — равной, а может, еще и повальяжнее ее. «Смотри-ка,— толкнула ее в бок Нина,— какой фасон!» И правда, плыло перед ними пятнистое короткое платье, ловко так приталенное и расклешенное внизу необыкновенным способом. Нина вся напряглась, нервно извлекла из сумки блокнот и карандаш, на ходу принялась зарисовывать фасон, норовила женщину в удивительном платье обойти, взглянуть на нее сбоку и спереди, а Вера не спешила, шла с достоинством и думала: «Ну и что, и впрямь хорошее платье, ну и что, и мы такое сшить можем, и даже еще лучше. Да и сейчас мы никого не хуже. Вон и на нас смотрят...» Кое-какие мужчины и парни и в самом деле обращали внимание на них с Ниной, и от этого прогулка по улице Горького Вере все больше нравилась, и было ей хорошо и празднично.

— Все,— сказала Нина,— завтра же начну кроить. У меня приличный материал. Только посветлее этого.

— С цветами, что ли?

— Ну да, с такими размытыми... Пошли в туннель... Заскочим в рыбный? Я уж проголодалась.

В переходе она все посматривала в блокнот и шептала что-то,— может, прикидывала, хватит ей отреза или нет. Рыбный магазин, самый знаменитый в столице и самый богатый, с довоенным аквариумом в витрине и с декоративными горками консервных банок, вытеснившими осетров из папье-маше, встретил их запахом селедки и шумом очередей. В последнем зале очереди были за рижской салакой горячего копчения.

— Ну, повезло! Скажи? — обрадовалась Вера.

— Ты — в кассу, а я — к прилавку,— сообразила Нина,— и поесть возьмем, и домой. Как чек выбьешь, в Филипповскую сходи, будь доброй, булку возьми посвежее, страсть как голодно.

Всегда она подчинялась Вере, а в очередях была решительнее и предприимчивее подруги.

Копчушкой и филипповскими булками наслаждались во дворе за магазином рыбы.

— Мое железное правило,— говорила Нина, отрывая салаке голову,— сколько б денег ни было, а на хорошую рыбу не жалеть. А уж если севрюга попадется, или семга, или лосось — ничего жалеть не буду...

Дальше они жевали молча, ели много и жадно, и хотя прошел

момент первого удовлетворения пищей, все равно какой, а тут — копченой салакой, удовлетворения судорожного и блаженного, хотя сытость и принесла, как всегда, разочарование, настроение у Веры не ухудшилось и сонное благодушие не размягчило ее.

— Хорошо,— протянула Вера.

— Хорошо,— поддержала ее Нина.— И я тут должна жить... Может, в этом самом доме... Нет, не в этом. У Покровских ворот.

Следом могли пойти всегдашние Нинины сетования о несправедливом со стороны судьбы поселении ее, Нины, в пригородном поселке Никольском. Вера пропустила бы ее слова мимо ушей по привычке, но Нина на этот раз промолчала. После гражданской Нинин дед, чей род, по семейным преданиям, не один век на плечах держал Москву, в голодный год вместе с Нининой бабушкой бросился искать хлебные деревни. Потом пришел нэп, а дед с бабушкой так и не вернулись в Москву, не смогли или не захотели, осели в Никольском, в сорока верстах от столицы. Покойного деда Нина иногда ругала, работать устроилась ученицей в парикмахерскую у Каланчевки, собиралась в Москве стать дамским мастером и не раз говорила Вере, что замуж выйдет непременно за москвича. А если даже и не выйдет, то все равно переберется в Москву, как — посмотрим. В компаниях парней она тут же выделяла именно москвичей, они сейчас же нравились ей больше других, и дело тут было не в лисьем расчете, просто так получалось само собой, словно бы Нина в людях с городской пропиской открывала родственные души.

— Нет, Верочка, не зря мы с тобой сюда приехали,— заговорила Нина.— Ради одной этой рыбы стоило! Не жалеешь? Ведь хорошо, да?

— Хорошо,— сказала Вера.

Для продолжения сегодняшних удовольствий они заглянули в соседний сладкий магазин, насмотрелись на фантазии кондитеров, а потом двинулись в «Армению», отведали восточных лакомств подешевле, запили благословенную рыбу газированной водой и пошли в Елисеевский. Там они просто потолкались, как в театре или музее, посмотрели на люстры, похожие на салютные грозди ракет, на великолепие сверкающей в огнях лепнины и звенящих зеркал. Дальнейшее их движение по улице Горького было путаным и долгим, Вера с Ниной заходили в магазины, потом возвращались на несколько кварталов назад, в магазин, ими пропущенный, потом опять спускались к Советской площади и ниже, а изучив «Подарки», вспоминали, что они проскочили «Синтетику», и спешили в «Синтетику». Движение их вовсе не было нелогичным, оно подчинялось стихии нынешнего праздничного похода и своей безалаберностью именно и приносило им удовольствие. Выйдя из «Синтетики», Вера с Ниной ринулись в отделанную по последней моде «Березку». Витрины «Березки» были громадны, пугали и притягивали роскошью, пламенем и холодом драгоценных камней, легкой игрой цен, недоступных, а потому и ничего не значащих. В магазине этом подруги ничего не собирались ку-

пить, их фантазию не связывали расчеты и реальные возможности, а потому они владели здесь всем и все могли примерить на себе в мыслях. Ах, какие тут были камни, какие браслеты и кулоны, какие ожерелья из янтаря и какие колье с рубинами на золотых цепочках! «Видала, Нин? А это видала? Блеск!» Словно бы брожение происходило в тесноте сверкающего магазина, и Вера с Ниной вместе с другими кидались от прилавка к прилавку, все замечая, все выщупывая глазами, холодея от восторга, пропуская витрины с расплодившимися часами, небрежно и свысока поглядывая на длинную очередь конченых людей — давали обручальные кольца. Глаза их горели, спорили с дорогими камнями, азарт захватил подруг. Остановиться они теперь уже не могли, все осмотрели в соседних магазинах, а потом втиснулись, ворвались, стекло в дверном проходе чуть не выжав, в актерскую лавку у Пушкинской площади.

Магазин был маленький, забитый, лишь к прилавкам с книгами и текстами пьес можно было подойти без борьбы, а напротив жалась шумная толпа и теснились в ней охотницы, отчаянные, настырные, азартные, с Верой и Ниной одной породы. Духота томила продавщиц, большие лопоухие вентиляторы гоняли по магазину подогретый воздух. Не сразу, с терпением и упорством, подруги протиснулись вперед. Чего только не лежало перед ними: и цветные поролоновые куклы, и круглые блестки в целлофановых пакетах, и тапочки для воздушных ног балерин, и металлические стаканчики с помадой всех оттенков, и баночки, коробочки, тюбики с пудрой, тонами, кремами, лаками, тушью, мастикой для ресниц, и прочие удивительные вещи, любезные душе, видеть которые — одно удовольствие, и уж уйти от них не было никакой мочи. Нина так и стояла, с места не двигаясь, принимая решение, а Вера уже вцепилась глазами в темно-коричневые шкафы, похожие на аптекарские, с медными накладными украшениями, за стеклами которых лежали парики. Парики были один краше другого, для королев и их фрейлин, пышные и прямые, с буклями и башнями-пучками, розовые, рыжие, зеленоватые, золотистые, черные — немыслимые. У Веры в горле пересохло. Она не могла произнести ни слова, а все глядела теперь на тридцатилетнюю женщину, актрису, наверное, примеривающую парик. Как прекрасна была женщина! Естественно — из-за парика! Это был из всех париков парик. Лиловый и фиолетовый одновременно, и вместе с тем в нем были явно заметны серый, стальной оттенок и золотистый тоже. Форму он имел необыкновенную, словно бы многоярусную, женщина выглядела в нем благородной дамой из окружения Екатерины. Вера ее сейчас же возненавидела. Она готова была закричать: «Отдайте парик! Вы не имеете на него права! Он — мой!» Женщина осматривала себя в парике деловито, не было в ней трепета и азарта, и это Веру ужасно возмущало, женщина сняла парик и положила его на прилавок, Вера похолодела. «Сколько он стоит?» — спросила женщина. «Восемнадцать».— «Нет, не подойдет...»

— Я возьму,— подалась вперед Вера.— Я сейчас. Чек выбью...

— Подождите,— сказала продавщица.— Вы сначала примерьте. Может, размер не ваш...

«Мой!» — хотела крикнуть Вера, но не крикнула, а произнесла что-то невнятно, протянула руки за париком, пальцы ее дрожали; надевая парик, она понимала, что все смотрят на нее, ждала усмешек, ждала вопроса: «Зачем он вам?», готова была в ответ сказать, что ей в народном театре поручили роль... господи, чью роль, из восемнадцатого века, кажется, но чью? А-а! Все равно парик будет ее, его теперь не отберешь и с милицией, и насмешки не испугают, парик ее — и все тут. Но никто не смеялся, и продавщица ни о чем не спросила, сказала скучно: «Ваш размер. Вам идет»,— и Вера, выдохнув воздух, кинулась в расступившейся толпе к кассе, бросила на черную тарелку со вмятиной восемнадцать рублей.

4

— Ну что, пойдем на день рождения? — спросила Вера.

За окном электрички проносились дома и дачи Битцы и на пологих холмах гомеопатические плантации института лекарственных растений.

— Не тянет,— сказала Нина.

— Вечером-то делать нечего.

— Ты же сама утром не хотела.

— Настроение появилось. Пошли?

— Посмотрим,— уклончиво сказала Нина.

Была она вялой, уставшей, на Веру не смотрела, словно обиделась на нее всерьез и надолго. К смене Нининых настроений Вера привыкла, сколько раз уж наблюдала, как бойкая, предприимчивая, озороватая девчонка в минуту становилась нервной и капризной, готовой заплакать, а то и плакавшей на самом деле. «Эва, кровь в ней как бунтует!» — говорили в Никольском. И сейчас Нина нервничала и злилась на что-то. По дороге домой Веру она раздражала — и прежде всего потому, что Вера не могла уяснить причину Нининого преображения.

«Из-за парика, что ли? — думала Вера.— Неужто из-за парика?..»

Возбужденная, счастливая неслась она час назад по улице Горького, удивленная, спешила за ней Нина, смеялась и говорила: «Ты что? Вот выкинула! Зачем тебе парик-то, да еще таких древних времен! Я понимаю — настоящий парик. А то — театральный! Деньги, что ли, девать некуда?» — «Отстань! — отвечала ей Вера, впрочем, не особенно сердито.— Душу не трави. Купила и купила. Захотела и купила». Никаких объяснений она не могла дать Нине и себе тоже, действительно, желание приобрести парик было таким неожиданным и нестерпимым, что в актерском магазине все соображения здравого смысла исчезли из Вериной голо-

вы. Но пока, на улице, Вера не жалела о своей покупке. Коричневая сумка висела на тонком ремне, стучала по крепкому Нининому бедру, напоминая Вере, на что стоит тратить деньги, на что не стоит, а Вера все шагала, несла осторожно мягкий пакет и думала: «Дома примерим. Может, и пригодится...»

Но долго вытерпеть душевное томление и Нинины колкости она не смогла, увидев буквы общественного туалета, спустилась по лестнице, казавшейся вечной, заняла кабину и там, спеша, но и бережно, надела парик, нетерпеливыми пальцами нашла в сумке пухлую кожаную пудреницу, взглянула в ее зеркальце и губами причмокнула от удивления: «А что? Ничего!» Фантастическая прекрасная женщина с сединой в лиловых локонах отражалась в овале походного зеркала. Зашумела вода в соседней кабине, но шум ее и вся обстановка примерки не разрушили Вериного вдохновения, она все поворачивала голову, смотрелась в зеркало, позы принимала и радовалась себе: «Ничего, ничего...» Заскреблась в дверь Нина, зашептала: «Вера, что ты так долго?» — «Примериваю...» — «Пусти меня,— взмолилась Нина,— пусти поглядеть». Дернула Вера задвижку, впустила подругу, и та заахала в тесноте кабины: «Как здорово! Какая ты красивая!» — «Нет, правда?» — волнуясь, спрашивала Вера. «Ты просто преобразилась. Как Иван-дурачок в горячем молоке. Зачем мне врать-то!»

То, что она восхищалась ею искренне, Вера поняла позже, на улице, выражение лица у Нины стало растерянным, если не расстроенным, покупку Верину она больше не хвалила и словно бы сникла, лишь однажды сказала с жалостью к самой себе: «Везет тебе, Верка, вон мать тебя какой родила. Новое наденешь — и каждый раз на себя не похожая, а красивая. А я...» Вера попыталась ее переубедить и уверить, что она, Нина, и без всяких париков хороша и ей нечего расстраиваться. После торопливых смотрин в туалете покупка уже не казалась Вере безрассудной, она и не смогла бы приобрести ничего лучшего,— надо же, как к лицу оказался ей парик. Она и в электричке все радовалась про себя своей покупке, а поделиться радостью с подругой не отваживалась — та сидела мрачная. Районный город сверкнул над узкой и смирной рекой, белой колокольней, и тут Нина сказала:

— А насчет матери-то забыла? Все матери вещь купить хотела...

В иной день Вера обиделась бы и сразу поставила Нину на место, а сейчас была настроена благодушно.

— В следующий раз куплю,— сказала Вера.

Себя она уверила в том, что матери, уж точно, хорошую вещь купит в следующий раз и подороже, накопит денег и купит обязательно, без суеты и со смыслом. Вера не чувствовала никаких угрызений совести: ну мало ли чего она собиралась делать утром, после слез матери, сгоряча, конечно, надо относиться к матери повнимательнее, но глупо было бы упустить такой замечательный парик. Сама судьба привела ее в актерскую лавку и не дала потратить деньги в других магазинах, а от судьбы не убежишь и не

отвернешься. Никольской платформы Вера ждала волнуясь, ей не терпелось показать себя в парике на людях. Вера теперь желала появиться в клубе, на танцах, или же у Колокольникова, на дне рождения Лешеньки Турчкова, но одной идти не хотелось.

— Нин, а сумку ты вправду купила завидную,— сказала она на всякий случай,— не то что я...

Словами этими Вера ничего не добилась. Нина промолчала, на сумку, правда, взглянула, но скорее машинально, а взглянув, вздохнула.

Электричка наконец привезла их в Никольское.

— Нин, пойдем на день рождения-то или как? — сказала Вера на автобусной остановке, одергивая платье, и было заискивание в ее голосе.— Ждут ведь. Колокольников-то именно тебя звал...

— Нет,— сказала Нина,— не пойду.

— Может, тогда на танцы? Чего дома-то кукситься? И по телевизору, кроме оперы, ничего нет...

— Не знаю... Если на танцы... Подумаю...

— Пойдем, пойдем, Нинк, на танцы! — обрадовалась Вера.— Я сейчас, мигом, домой, матери покажусь, перекушу — и в клуб... Где встретимся и когда?

— В восемь, на нашем месте,— сказала Нина неожиданно твердо, в лице Нинином, в глазах ее была твердость, будто она что-то задумала.

К дому Вера подходила в некотором смущении. Надо было показаться матери, чтобы не беспокоилась, но лучше бы ее не было дома. Ее и не оказалось дома. Соня хозяйничала, а Надька бегала во дворе.

— Мать где? — спросила Вера.

— Она сегодня в кассе.

Мать работала на крохотной никольской пуговичной фабрике, давила теплую пластмассу прессом, а для поддержания семейного бюджета стирала на соседей побогаче и иногда, в дни кино и танцев, подменяла тетку Сурнину в кассе клуба. Значит, можно будет отметиться перед матерью в клубе, а потом и проскочить на танцы без билета.

— Чего ели? — спросила Вера.

— Гороховый суп и котлеты с картошкой,— сказала Соня.— Хочешь?

— Давай.

Обжигаясь, торопясь, Вера все же сказала наставительно, на правах старшей сестры:

— Небось весь день бездельничали, болтались с сестрицей-то? Матери помогали? Козу доили?

— Доили,— сказала Соня мирно, но и вроде бы с иронией к старшей сестре.

Сидела она тихо, пальчиком почесывала черную расцарапанную коленку, платье на ней было выгоревшее, дрянное, латаное, а глядела она на Веру спокойно и устало, светло, по-матерински, схожести выражений лиц их Вера удивилась, и ей стало жалко

Соню: такая же она росла терпеливая и безропотная, как мать, неужели ей и судьба уготована материна?

— Суп ничего,— сказала Вера.— Ты, что ли, варила? Хороший суп. В следующий раз только перцу положи побольше. И свиные ножки не помешали бы.

— Откуда ж у нас свиные ножки? — улыбнулась Соня.

— Это я так... фантазии... А для духу стоило хоть кусочек корейки добавить... Давай котлеты... Ничего, вы, Софья Алексеевна, делаете успехи в кулинарии... Я тут вам всем копчушки привезла. Но до матери не трогать, поняла?

Соня кивнула.

Время бежало к восьми, а духота не отпускала. Вера встала, сказав сестре «спасибо», ноги ее побаливали от долгих и везучих московских хождений. Прошла в свою комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Показываться Соне в парике она не хотела, не потому, что стеснялась — вдруг будет смеяться,— просто знала: покупку Соня осудит, как мать, и расстроится тихо, про себя. Зеркало снова обрадовало Веру, снова взволновало ее предчувствие успеха на людях, может, даже и со скандалом, ну и пусть, нетерпение снова поселилось в ней. «Скорее, скорее!» — говорила она себе. Платье не следовало бы менять, но Вера уступила желанию увидеть себя и в других нарядах, она ловко надевала перед зеркалом платья, сарафаны и кофточки, приличные и ношеные, и все ей шло, и все приносило удовольствие, и даже опостылевшие вещи были сегодня прощены. Из комнаты своей Вера вышла в красном платье, узком и коротком, чуть не танцуя, парик несла в пакете. Сказала Соне голосом старшей сестры:

— Остаешься за начальство. Ясно?

Соня мыла на террасе посуду, ничего не ответила и ни о чем не спросила, хотя могла о чем-нибудь и спросить, зато в кухне, служившей в будние дни и столовой, уже вертелась семилетняя Надька, наглая, в отца. На ее скачущие вопросы: «А где ты была? А чего ты себе купила? А чего ты мне купила?» — пришлось отвечать решительно и строго. «Палец вынь изо рта и щеки вымой в рукомойнике! — сказала наконец Вера.— На кого похожа!» Считалось в Никольском, что Вера и Надька пошли в отца, а Соня — в мать. Надькино смазливое личико, озороватый прищур глаз и даже движения головы на тонкой, петушиной шее и вправду напоминали об отце. «Неужели и я такая? — думала Вера.— Нет, я не такая». Когда она смотрела на Надьку, ей не хотелось быть похожей на отца, ей казалось, что она и впрямь на него не очень похожа, что она и в движениях мягче и ленивее Надьки, и шея у нее не такая петушиная, и нет в глазах навашинской бесстыжести.

— Пригляди за этой отравой. И за домом,— сказала Вера Соне, той все же было двенадцать.

Нина уже ждала в привычном месте.

— Опаздываешь,— сказала Нина строго.

— Подумаешь, пять минут.

— Семнадцать минут.

Вера поглядела на нее с удивлением. Стало быть, подруга не отошла? Губы Нина сжала, а взгляд у нее был тяжелый, такой, словно она после колебаний и мучений решилась на отчаянный шаг и изменить ее решение нельзя было никакими силами. Вера ожидала увидеть на Нине особенное платье, подобранное специально к купленной нынче сумке, а на плече и самое сумку, но ее не было, и это Веру насторожило.

— Не надумала после танцев пойти к Колокольникову? — спросила Вера на всякий случай.

— Я и на танцы не пойду,— сказала Нина.

— Что так?

— Мне нужно с тобой поговорить.

— Ну, поговори...

— Не здесь. Пошли за угол.

— Ну, пошли.— Вера пожала плечами.

За углом глухие крашеные заборы четырех хозяев образовали тупик. Вера несла пакет с париком осторожно, он сейчас смущал ее, будто она держала в руке пирожное и боялась смазать крем.

— Здесь,— сказала Нина.

— Здесь так здесь.

— Если ты мне подруга,— сказала Нина, и голос ее был уже не так тверд, как прежде,— если ты мне настоящая подруга, отдай мне Сергея.

— Вот тебе раз...

— Он мне нравится.

— А я с ним живу...

— Кто тебя познакомил с Сергеем? За кем он ухаживал сначала? Ты у меня его отбила!

— Прямо уж и отбила...

— Будь хоть раз в жизни честной!

— Что ты говоришь!— Вера начинала сердиться, поначалу слова Нины не только удивили, но и рассмешили Веру, теперь ей уже было не до шуток, и все же она до конца не могла поверить в серьезность Нининых заявлений, чувство, что подруга разыгрывает ее, не уходило.

— Зачем тебе Сергей? Ну, зачем? — сказала Нина, глаза ее были влажные.— Каждый парень на тебя смотрит, а я... Ну, хоть пожалей меня, если ты подруга, ну, забудь о Сергее!

— Пошла ты знаешь куда! — зло сказала Вера.

Теперь она злилась всерьез, никакого разговора дальше вести не была намерена, хороши шутки, даже если Нина расстроилась умом, терпеть ее слова Вера не хотела и не могла, трудно было вывести ее из себя, редко это кому удавалось, а тут, не стой перед ней подруга, помешавшаяся или в ясном уме, попробуй разбери, не стой перед ней подруга, ударила бы Вера обидчицу по физиономии. Молча Вера повернулась и пошла в клуб, но Нина догнала ее, схватила за руку. «Ах, так, ты и разговаривать со мной не хочешь!» — «Не хочу,— сказала Вера и отвела руку,— нечего мне

о глупостях разговаривать. Иди проспись!» И пошла решительно, грудь выпятив, но Нина снова ухватила ее руку ниже локтя, говорила что-то и опять о Сергее, произносила и обидные слова; обернувшись, Вера увидела Нинино лицо жалким и некрасивым, сочувствие к ней возникло на секунду и истлело тут же; для того чтобы утешать подругу или постараться понять ее, у Веры уже не было ни нервов, ни терпения. Она оттолкнула от себя Нину, не сильно, чтоб отстала, но та, пошатнувшись, рванулась к Вере, отчаянная, смелая, словно бы готовая вцепиться ей в волосы. «Ты что!» — растерялась Вера и толкнула Нину сильнее, почти ударила ее, думала, что эта неженка Нина отвяжется наконец, но та бросилась на нее снова, ответила тычком худеньких своих кулаков. Ударила еще раз и еще, кричала что-то. Вера оборонялась правой рукой, левую с пакетом отвела в сторону, но вскоре поняла, что пакет придется бросить на траву. Нина, быстро нагнувшись, стянула с правой ноги туфлю, французскую лакировку с бантом, с туфлей в руке она шла теперь на Веру, и Вера тоже, прыгая на одной ноге, сбрасывала носком другой черную, размятую уже туфлю — проверенное в никольских стычках девичье оружие. Грозный Верин вид Нину не остановил, поднятая Верою туфля как будто еще сильнее раззадорила ее, с отчаянием она рвалась к Вере, размахивала туфлей, кричала: «Так тебе! Вот тебе!» — получала сдачи, но боли вроде бы не чувствовала, хромать ей было неловко, она и вторую туфлю скинула, располагая, видимо, сражаться до последнего. Она нападала, теснила Веру к забору, а та отбивалась вполсилы, хотя и была зла на подругу, знала, что, если ударит всерьез, может прибить Нину или покалечить. К тому же Вера имела преимущество — туфли ее давно вышли из моды, Нининым же редким туфлям завидовали и москвички, но сейчас, в бою, тонкие, крепкие каблуки Веры были опаснее тупых и толстых, как ножки белых грибов, Нининых каблуков. «Кончай, хватит! — кричала Вера.— А то я тебя так сейчас уделаю — век помнить будешь!» Но Нина, казалось, не слышала ее, не унималась, и только когда она крепко задела Веру каблуком по щеке, а Вера, разъярившись, ударила сильно, и Нина, выпустив туфлю из разжавшихся пальцев, согнувшись, закрыла лицо ладонями и заплакала беззвучно, вздрагивая плечиками, Вера опустила руку, дышала тяжело, глядела на Нину сердито, а Нина повернулась и пошла от нее, так и не отнимая ладоней от лица.

— Эй ты, вояка! — крикнула ей в спину Вера.— Туфли-то забери! Мне трофеев не надо.

Нина вернулась, Вере на миг показалось, что она собирается ей что-то сказать, ей и самой хотелось, чтобы Нина ей что-нибудь сказала, но Нина не произнесла ни слова, когда же нагнулась за туфлями, взглянула на Веру затравленно, словно боялась, что та ударит ее, беззащитную, а подняв лакировки, надевать их не стала, босиком по пыли, по траве побежала пустынным тупиком к людной клубной улице, огородами ей бы уходить с поля боя.

Вера хотела крикнуть ей вслед какие-нибудь слова, но слова

она могла найти сейчас только ругательные, обидные, великодушие победительницы остановило ее. «Глупая, ну и глупая! — подумала Вера.— Сама жалеть будет. Придумала черт-те что!» Вера подняла пакет с париком, ощупала его пальцами, не нашла ущерба, и это ее обрадовало, она обтерла листом лопуха отвоевавшую туфлю, надела ее и принялась охорашиваться. Поправила платье, складок и дыр на нем не оказалось, зеркальцем кожаной пудреницы обнаружила ссадину на щеке, ваткой оттерла засохшую кровь, но ссадина была все еще заметной. Вера попыталась забелить пудрой на щеке след Нининого каблука, но как ни растирала пудру, толку было мало. «Ну и черт с ним! — подумала Вера.— Как-нибудь обойдется. А этой Нинке я теперь покажу!»

Под платьем, на плечах и у шеи болело. Наверное, и там были ссадины и синяки. Возвращаться домой Вера не хотела, решила, несмотря ни на что, идти на танцы, только надо было немного отдышаться, отойти, успокоить себя.

И хотя она была возбуждена и нервничала, как нервничает актриса, которой завистники перед началом премьеры за кулисами устроили скандал, нервничала оттого, что стычка с Ниной погасила ее праздничное вдохновение, теперь она была как бы не в форме и своим париком могла, наверное, только рассмешить людей, все же, несмотря на эти свои переживания, она думала сейчас не о том, как появиться ей в клубе и как потом вести себя на людях,— все резче и резче думала она о Нине и о ее странной выходке. Двадцать минут назад слова о Сергее Веру просто обожгли, но теперь она хотела понять: были ли эти слова выдумкой, разрядившей Нинино дурное настроение, или же ее бывшая подруга выложила правду, которую она скрывала от нее, Веры, а может быть, и от самой себя? Неужели Нина любит Сергея («Он ведь и не москвич»,— мелькнуло секундное соображение), неужели все эти последние четыре месяца с тех пор, как Вера познакомилась с Сергеем («Ну да, с помощью Нины, это с ней он приехал из Щербинки, ну и что из этого?»), неужели все эти четыре месяца Нина так умело скрывала свои чувства, что ни у Веры, ни у Сергея не возникло никаких подозрений, никаких интуитивных сигналов, а ведь, несмотря на их жаркую любовь, они с Сергеем обостренно и даже болезненно относились ко всем движениям и словам окружающих их людей. Неужели Нина любит Сергея и четыре месяца назад любила его? Выходит, что она, Вера, и в самом деле отбила Сергея у подруги? Впрочем, Нина по взбалмошности могла сочинить сегодняшние слова и уверить себя в их правде, чтобы смягчить страдания, вызванные бог знает какой чепухой.

То ли, это ли было причиной нынешнего взрыва или истерической вспышки — неважно, Вера теперь была сердита на Нину крепче, чем в драке, и говорила себе, что Нину не простит, ни за что не простит, руки ей не подаст. Все теперь. Еще вчера Вера любила Нину, и утром она была ей как сестра, сейчас же Вера вспоминала Нинины глаза во время стычки, и они казались ей

ненавидящими, вражескими. И все прежние свои отношения с Ниной Вера теперь просматривала заново, выискивая все ранее скрытое в них, высвечивая это скрытое рентгеновскими лучами собственной обиды и раздражения. Да, их в Никольском считали неразлучными, а вон как все обернулось. Теперь Нина представлялась Вере человеком дурным, противным, все, что было между ними хорошего, забылось или же казалось ложью, свойства Нининого характера, на которые прежде Вера не обращала внимания, приобретали совсем иной смысл, распухали, возводились в высшую степень. «Ах ты гадина, ах ты стерва!» — разъярялась Вера и уж конечно вспоминала с моментальными прояснениями и догадками все, что касалось отношения Нины к Сергею: и то, как она на него глядела, и как о нем говорила, и что выспрашивала. В прежних Нининых действиях и словах Вера усматривала сейчас вред для себя, Нинину корысть и хитрый маневр, только слепая дура ничего не могла вовремя заметить! И сегодня, конечно, Нина вокруг пальца обвела ее со злополучной сумкой, да еще и поиздевалась, наверное, в душе, язык свой ехидный высунула, личико у нее в ЦУМе было, несомненно, лисье. Это соображение еще горше расстроило Веру, ей вдруг явились мысли о Сергее, вдруг и он от нее скрывает что-то,— тоскливо стало Вере, тоскливо и страшно, глаза ее повлажнели, руки повисли, почувствовала она, что в рассуждениях своих может зайти далеко и лучше отправиться в клуб.

И когда она пошла в клуб, горечь словно бы разбавилась целебной медовой настойкой. Она уже думала, как хорошо ей будет на людях, а пройдя метров сто, уверила себя в том, что Сергей и знать ничего не знает о Нининых симпатиях, приедет через два или три дня, все объяснит, посмеется над Ниниными претензиями и отгонит злые сомнения.

Мать сидела в комнате кассира.

— Ну вот и я,— сказала Вера.— Дома скучно стало, я решила сходить на танцы. Сонька там хозяйничает.

Встала она к окошечку кассы боком на всякий случай, чтобы не углядела мать ссадину на левой щеке. Хотела было придумать причину, по которой не купила матери в Москве обещанную обнову, но ничего путного не придумала. «Завтра ей чего-нибудь наговорю»,— решила Вера.

— Потанцуй,— сказала мать миролюбиво и устало.— Недолго гуляй-то. Завтра тебе с утра. Я скоро домой пойду. Съездили-то хорошо?

— Ничего... С Нинкой мы, правда, чего-то поругались. Мы теперь не подруги больше.

— Как же так? — забеспокоилась мать.

— Да так,— сказала Вера.— Ну ладно, давай билет, музыку хорошую завели.

— Ненадолго, слышишь? И с Ниной ты...

— Ну, привет. Я, может, еще к Колокольникову на день рождения забегу...

В дверях стояли билетерша Мыльникова и дружинник Самсонов. «Эх, черт! — подумала Вера.— Значит, нынче смена Маркелова!» Дружинники в Никольском, следившие за вокзалом и клубом, были разные — обыкновенные и принципиальные. Первые, по мнению Веры, занимались именно хулиганами, а порядочным людям не мешали, при них, как правило, происшествий на танцах не случалось, а мелодии в клубе звучали самые что ни на есть насущные и ходовые. Принципиальные же любили, чуть что, показывать власть и силу. То ли они были искренними ревнителями благонадежных бальных танцев, то ли именно на танцплощадке им легче было командовать своими же никольскими, володеть и править ими четыре часа. Маркелов как раз был принципиальный дружинник, и ребята из его патруля тоже. А с Верой у них установились отношения, известные в поселке под названием «дружбе крепнуть». «Ничего,— сказала себе Вера,— разберемся».

Пока же Самсонов ей улыбался и билетерша Мыльникова тоже. В фойе, украшенном плакатами и обязательствами пуговичной фабрики, называемой, впрочем, пластмассовым заводом, Вере встретились знакомые. Она подумала: сразу ей появиться на танцах в парике или же, показавшись людям, выйти на минуту и вернуться в зал преображенной? Последнее было заманчивее, Вера протанцевала танго, обошла зал так, чтобы все ее заметили в естественном виде, и забралась в темную комнату за сценой. Минуты через две появилась оттуда и вела себя так, будто бы уже сто лет носила эту пышную, красивую прическу. Подошла к компании Татьяны Дементьевой: «Привет, девочки. Я с вами посижу, если не возражаете». Дементьева смотрела на нее, рот открыв. «Чегойто ты?» — «А чего? — сказала Вера.— Я ничего... Как прическа-то?» — «Ну! — восхищенно выдохнула Дементьева.— Люкс!» Начались расспросы, восторги, советы. «Да чего вы, девчонки, ни о чем другом, что ли, не можете говорить! — сказала, как бы смущаясь, Вера.— Подумаешь, парик! Эка невидаль...» Она была вовсе не из тех, кто подпирает на танцах стены и, томясь, ждет счастливой минуты, когда наконец возникнет великодушный молодой человек и скажет: «Разрешите пригласить?» Чего-чего, а кавалеров хватало, Вера не ломалась, а принимала все приглашения и танцевала, танцевала всласть. Музыка и впрямь была постная, дозволенная Маркеловым, вальсы, фокстроты и даже падеспани, только в летке-енке и чарльстоне можно было отвести душу, не дожидаясь, пока Маркелов с товарищами спохватятся и напомнят о культуре поведения. И все же Вера танцевала с удовольствием и успевала разглядеть весь зал: знала уже, что своего добилась, что все на нее смотрят — кто с удивлением, кто с восторгом, кто с завистью, а кто фыркая, ей-то что, ей хорошо, она себе позволила сделать то, что хотела, и она довольна собой и тем, что на нее все смотрят, и все о ней говорят, и завтра будут говорить, и послезавтра, на долгие годы останется в памяти Никольского ее появление в диковинном парике.

— Ну, ты даешь! — сказал шалопай Корзухин, никольский

битл, глядя на Веру влюбленными глазами.— Мне потом дашь на день поносить?

— Как же, для тебя, дурного, только деньги и тратила! — заявила Вера.

— Не, я серьезно, походишь с ним, надоест, мне дашь на денек напрокат, вот радости будет!

— Издеваешься!

— Да ты что! Завидую! Вон как на тебя Маркелов смотрит, на меня бы так смотрел, я бы пятерку отдал...

Маркелов действительно смотрел на Веру с раздражением, но придраться к ней он не мог.

— А-а, плевала я на Маркелова,— сказала Вера,— мне хорошо — и все...

— Правильно живешь,— обрадовался Корзухин.— Вина хочешь выпить?

— Пошли.

Вышли на улицу, пробирались зарослями крапивы и лопухов к деревянному крыльцу, ведущему на второй этаж, в будку киномеханика. На лестнице под лампочкой сидела нешумная компания парней и девчонок. Гитары чуть слышно выводили доморощенный никольский шейк, явление Веры смутило гитаристов, пальцы их перестали трогать струны. Снова выслушивала Вера слова одобрения, принимала позы, соображала, где бы встать повыгоднее, так, чтобы и здесь все могли разглядеть ее голову. Корзухин поднес Вере стакан вермута, теплого и терпкого, рубль семь копеек бутылка. «Закуси нет,— предупредил Корзухин,— извините».— «Спасибо,— сказала Вера.— Чего вы тут сидите-то в скуке? Допивайте — и пошли опять на танцы».

Повалили в клуб, добавили там шуму. Снова Вера принялась танцевать,— плясуньей она считала себя посредственной, неуклюжей, завидовала Нине, ту хоть в ансамбль к Моисееву бери, и обычно, стесняясь публики, танцевала где-нибудь на задах, сейчас же разошлась, совсем не следила за тем, правильно у нее выходит или нет, ей казалось, что все у нее получается красиво и легко и что люди вокруг этой красоты и легкости не могут не заметить. «Ты сегодня в ударе»,— говорили ей парни. «А что? Я такая! — смеялась Вера.— Я еще и не это могу!» Она веселилась, была довольная жизнью, о драке с Ниной и не помнила, то есть помнила, но так смутно, словно подруга ее обидела или она ее обидела давным-давно, в туманной юности, никакие сомнения в Сергее уже не бередили ей душу.

Одно Веру расстраивало — то, что Сергея не было рядом и они не могли уйти с ним вдвоем с танцев куда-нибудь. Чувство это было резким, Вера осознала его, когда танцевала танго с Корзухиным и он прижал ее к себе властно, а она не отстранилась, думала: вот бы Сергей появился сейчас в клубе, вот бы явился он из Чекалина,— но он не мог явиться по ее хотению, оставалось терпеть два дня, ждать два дня. «Ну ладно,— сказала себе Вера,— потерпим...»

Заспешила музыка, нервная, громкая, ноги сами пустились в пляс, плечи и согнутые в локтях руки ходили резко, рывками, подчеркивали капризные толчки ритма. «Давай, давай, Навашина!» — подзадоривал ее Корзухин, заведенный, как и она, шейком. Вера старалась, ошибок как будто не делала, торопилась и, не ломая танца, двигалась чуть вбок, в сторону, метр за метром вела Корзухина в центр зала, на лобное место, где все могли ее видеть, где все могли снова рассмотреть ее красоту и ее наряды. «Кончайте, кончайте безобразничать! — возник из ниоткуда дружинник Самсонов, сам по себе или посланный Маркеловым.— Добром прошу». Раз добром просил, успокоились, но как только вырвалась из динамика ветреная мелодия молдавеняски, на шейк ничем не похожая, разве что темпераментом, забыла Вера о предупреждении и потащила Корзухина танцевать, и начали они шейк, не все ли равно подо что! Музыка была быстрая, разошлись пуще прежнего,— где наша не пропадала,— то изгибались Вера с Корзухиным картинно, то раскачивали себя в прыжках, эх, хорошо... И вдруг чьи-то руки оказались на их плечах, суровые отеческие глаза уставились на них в строгости. Маркелов с товарищами. Вере с Корзухиным за безобразие в общественном месте, за нарушение эстетики быта предложили пойти с танцев прочь.

Вере было обидно. Сорвали ее развлечения, так и не получила она настоящего удовольствия от сегодняшних танцев.

И тут она вспомнила, что может пойти к Колокольникову, на день рождения Турчкова.

5

Сначала Вера полагала зайти домой и нарвать для Турчкова, ради приличия, цветов, но потом сообразила, что в палисаднике Колокольникова растут цветы ничем не хуже навашинских, и, подумав так, свернула на Севастопольскую улицу.

Дом Колокольникова стоял в духоте июньского вечера — душа нараспашку, все окна настежь, шумел, веселился, смущал соседей беззастенчивым ревом магнитофона. Вера открыла калитку с фанерным почтовым ящиком и по дорожкам, посыпанным песком, стараясь остаться незамеченной, прошла к клумбе. Отцвела черемуха, отцвела сирень, впрок тянули соки из земли гладиолусы, георгины, астры, чтобы к закату лета проявить себя и удивить мир, раскрасить его на месяц, вспыхнуть и отжить, впустив осень. Теперь же Вера нарвала букет мелких, неярких, но пахучих цветов на тонких стебельках. «Ну ничего,— решила Вера,— и этому букету он должен спасибо сказать. Сколько ему лет-то? Семнадцать...» Тут она вспомнила, что мать не раз рассказывала ей, как она гуляла с ней, грудной, по никольским улицам и как мать Лешеньки Турчкова гуляла рядом со своим сыном, завернутым в голубое одеяло.

Стучать в дверь было бессмысленно, и хотя дверь не заперли, Вера надумала попасть в дом Колокольникова через окно, подтянулась, чуть платье не порвала от усердия, но все вышло хорошо,

на пол с подоконника Вера спрыгнула мягко и затем картинно взмахнула букетом. В комнате зашумели, обрадовались, стали лить вино и водку в рюмки и стаканы, требуя: «Штрафную!» Вера, церемонная, галантная, подошла в Лешеньке Турчкову, поклонилась ему, вручила цветы, при этом произнесла ласковые слова, расцеловала Лешеньку, и тот, бедный, порозовел от смущения. Стол был не богатый — консервы, вареная картошка, соленые огурцы, грибы и селедка, «Экстра» тульского завода и знакомый вермут по рубль семь. Гостей было человек двадцать, а то и меньше, все знакомые — парни и девчонки из Никольского и соседних станций. Присутствовал, естественно, и хозяин — Василий Колокольников, возле Колокольникова вертелся его приятель из Перервы — Юрий Рожнов, парень лет девятнадцати, с залысинами, мужиковатый, тертый, охочий до баб. Он сразу же стал подмигивать Вере, будто хороший знакомый, будто у них с ней имелись какие-то общие секреты. «Наглая рожа,— отметила про себя Вера,— пусть только пристанет!»

Ей радовались, Вера это видела, но ее удивляло то, что ей радуются просто так, как радуются всегда свежему человеку, явившемуся в благодушную компанию, где все от выпивки добры. Так оно и было на самом деле, сначала компания приняла ее, согрела, напоила и уж потом рассмотрела. То есть многим сразу бросилась в глаза необычность Вериной прически, но мало ли на какие чудеса за умеренную даже плату способны московские парикмахеры! Когда же было замечено, что на Вере диковинный парик, тут и пошли удивления, потому что свои волосы, пусть даже и в наилучшем виде,— это одно, а приобретенный за деньги парик, может быть, даже иностранный,— это другое. Девчонки расспрашивали Веру — кто громко, а кто на ушко, смущаясь, и Вера рассказывала, где она купила парик и сколько он стоит, как мечтала приобрести его знаменитая актриса, подруга самого Вячеслава Тихонова, он был с ней в магазине и советовал ей непременно купить этот парик, но что-то там у них не вышло, вроде бы деньги они дома забыли или еще что. Вера объясняла, где находится актерский магазин, и добавляла, что покупать такие парики сумасбродство, пустая трата денег, вот Нина сумку приобрела — это да! Так говорила Вера, а сама все радовалась своей покупке и замечала, что девчонки ей завидуют, парни же смотрят с восхищением, будто бы в первый раз видят ее. «Пусть, пусть посмотрят!» — думала Вера.

— Ну, ты даешь! — сказал ей восторженно Колокольников, и Вера вспомнила, что эти слова она уже слышала от кого-то на танцах.

— Голубушка, как ты хороша! — вынырнул из-за плеча Колокольникова лысоватый крепыш Рожнов и опять подмигнул Вере, словно на самом деле между ними было что-то тайное и важное.

— Не имею чести знать,— сказала Вера.

— Ишь ты, зазналась, мадам! — рассмеялся Рожнов.

— Ну как же, это же Юра Рожнов, мой приятель из Перервы,— сказал Колокольников,— я тебя с ним знакомил однажды...

— Это тот слесарь, что ли? — поморщилась Вера.— Слесарь, токарь, пекарь... Уж больно нахальный...

— Точно! — обрадовался Рожнов.— Нахальный!

Он в подтверждение своих слов тут же схватил Верину руку, смеялся и был уверен в успехе, сказал: «Пошли станцуем»,— но Вера руку его отвела, заявила: «Не имею с вами желания» — и, помолчав, добавила, чтобы смягчить резкость: «Вот с Лешенькой я потанцую, он ведь сегодня новорожденный».

С Лешенькой они протанцевали вальс, сказали приятные слова друг другу, и когда мелодия стихла, Леша отвел ее к столу и усадил галантно.

Тут Вера почувствовала, что она устала, очень устала, находилась, нагулялась по Москве, ноги ее гудели, ей захотелось прилечь сейчас дома, в саду, под папировкой, в тишине и прохладе. Ей вдруг стало скучно, все надоело, и парик надоел, и успех надоел, сыта она им была по горло, хорошего и вправду полагается понемножку, надо было выбрать мгновение и невидимкой ускользнуть с вечеринки домой — ведь завтра утром ей ехать на работу в Столбовую. Никто ее вокруг не радовал, а уж развеселый слесарь Рожнов, со своими наглыми глазами, неотразимыми якобы баками провинциального цирюльника, ужимками первого парня на деревне, просто раздражал.

— Ты что?

— Я? — очнулась Вера.

— Что с тобой? — обеспокоенно спрашивал Турчков.— Что ты сникла?

— Устала я, Лешенька,— виновато улыбнулась Вера.— В Москву ездила.

Турчков сидел рядом, был вроде бы трезв, на щеках его, правда, появились розовые пятна, и уши покраснели. Лицо у Турчкова было нежное, девичье, парни в Никольском называли его малолетком и маменькиным сынком, девчата же ласково — Лешенькой.

— Выпей для бодрости,— сказал Турчков.— За меня выпей.

— Что ж, и выпью!

Чокались, глядя друг другу в глаза. Вере показалось на секунду, что Лешенька смотрит на нее своими кроткими синими глазами не как всегда, а по-особому, чуть ли не влюбленно; ну и пусть смотрит так, подумала Вера, дурачок. Стало чуть веселее, захотелось еще выпить, опьянеть Вера не боялась,— сколько бы она ни пила, пьяной обычно никогда не бывала, вокруг все хмелели, и здоровые мужики тоже, а она, выпив с ними наравне, всегда оставалась почти трезвой.

— От матери-то с отцом не попадет? — спросила Вера.

— За что?

— За это чаепитие-то?

— Они знают.

— И сколько вина тут стоит, знают?

— А зачем им знать-то? — важно сказал Леша.— Я и сам взрослый. И деньги кое-какие получаю...

— Прямо тысячи?

— Ну, не тысячи...

Лешенька старался и в самом деле выглядеть человеком взрослым и независимым, но в своих стараниях был смешон, понимал, что на него смотрят с улыбкой, снисходительно, и пыжился от этого еще больше. Вера сдерживалась, чтобы не рассмеяться,— впрочем, теперешними ребяческими стараниями Лешенька вызывал у Веры чувства чуть ли не материнские и был ей приятен.

— Еще налей,— сказала Вера,— может, усталость и вправду снимет...

— С удовольствием! — обрадовался Лешенька.

Он хотел сказать ей что-то, но замолчал, растерялся, а хотел сказать, видимо, важное, и когда уже решился сказать это важное, затих магнитофон, и с шумом прихлынула ватага танцоров, и все принялись корить Веру и Лешеньку за уединение, за измену товариществу, делались при этом и намеки.

— Ох, и глупые же вы! — смеялась Вера лениво.— Болтуны! Нельзя уж и с именинником посидеть!

Потом гости пристали в Турчкову, упрашивали его сыграть что-нибудь на гитаре, и хотя он объяснял, что учился в музыкальной школе в классе фортепьяно и не знает гитару, все же инструмент ему вручили и теперь просили исполнить модные песни. Лешенька забренчал потихоньку, Колокольников, тоже с гитарой, стал его энергично поддерживать, песни зазвучали знакомые по туристским компаниям, иногда на ломаном английском языке, вроде бы от битлов. Вера, если слова знала, хору подпевала, она любила и умела петь, но больше русские протяжные песни, с печалью и слезой,— «Лучину» или «Накинув плащ...»,— звучавшие в их доме, когда отец еще жил с ними: для тех песен нужны были слух и душа, сегодняшние же требовали только знания слов. И все же Вера подпевала, как бы отогреваясь, снова забыла об усталости и своем намерении уйти домой. Потом опять включили магнитофон, Рожнов пригласил Веру, теперь уже вежливо, но и это приглашение она не приняла, а пошла с Колокольниковым.

— Где Нинка-то? — спросил Колокольников.

— Не знаю,— сказала Вера.— Мы с ней подрались.

Слова Верины, может, показались Колокольникову шуткой, а может, он посчитал: подрались так подрались; во всяком случае, слова эти в нем не пробудили никакого интереса.

— А ты ее ждешь? — спросила Вера.

— Нет,— сказал Колокольников.— Не пришла и не пришла. Вот ты здесь — и хорошо.

— Так я и поверила...

Колокольников принялся ее расхваливать, говорил, что он чуть ли не влюбился в нее, такая она сегодня красивая, выглядит хорошо, и парик ей идет, и вообще она женщина, каких ему никогда в жизни не найти. Вера смеялась, похвалы парика ей были неинтересны, она уже собиралась снять его, показать, что не потускнеет и без сумасбродной обновки, поиграли сь — и хватит, прочие же

любезные слова Колокольникова ей нравились. Она не прерывала Василия,— наоборот, репликами своими подталкивала его к новым комплиментам и излияниям души. Вера не отстранилась, когда Колокольников прижал ее к себе, обняв руками талию, и поцеловал в щеку как бы невзначай. Ни в чем дурном она упрекнуть себя не могла, и все это никак не влияло на их отношения с Сергеем, это было просто так, на минуту, на секунду, а с Сергеем у них — на всю жизнь. Колокольников был нежен и добр, и Вере не хотелось, чтобы блюз кончался.

Потом плясали шейк, и не один, Вера уморилась, не выдержав, выскочила на террасу, с шумом плескала воду из рукомойника на ладони и на лицо, парик стал ей уже в тягость, она стянула его, но вокруг зароптали, забеспокоились, и Вере пришлось надеть парик, пришлось терпеть его дальше, но не из-за просьб гостей, а из-за того, что собственные ее волосы неисправимо смялись и приводить их в порядок пришлось бы долго. Вокруг Веры опять суетились парни — и Колокольников, и наглый по-прежнему Рожнов, и узколицый рассудительный Саша Чистяков, учившийся классом старше, и прочие ребята. Суетились они вокруг нее к досаде остальных гостий, но досады своих приятельниц Вера не замечала. Зато увидела она, что Лешенька Турчков как будто бы чем-то расстроен, держится в стороне и изредка поглядывает на нее застенчиво, но вместе с тем и с укором, словно бы давая понять, что расстроен он именно из-за нее. «Что это он? — подумала Вера.— Я и повода не давала...» Она принялась вспоминать, чем могла удручить Турчкова, но ничего не вспомнила и со смехом потянула новорожденного к столу. Толстые губы Лешеньки вздрагивали, в волнении он приминал рукой белые кудри. Пили снова, Рожнов оживился, заранее хихикая, стал с выражением рассказывать анекдоты, которые в Никольском привыкли называть «рожновскими», анекдоты были неприличные, рискованные, девицы фыркали, конфузились, но все же слушали Рожнова с интересом.

— Вот дурак, вот нахал! — говорила Вера, как бы осуждая Рожнова, а сама смеялась.— Слесарь, токарь, пекарь!

Лешенька Турчков как-то странно посмотрел на Веру, встал и быстро вышел из комнаты, гости переглянулись, примолкли было, но разговор тут же возобновился и зашумел. Вера опять смеялась, рассказывала истории про своих сумасшедших, но потом любопытство подняло ее с места и привело на террасу, ей казалось, что Лешенька ушел из-за нее, и хотелось узнать, что с ним происходит, совсем ведь мальчишка, как бы чего не выкинул.

Лешенька стоял на террасе опустив голову.

— Отчего ты убежал? — спросила Вера.

— А тебе что? — сказал Турчков, стараясь быть грубым.

— Интересно.

— Очень я тебя интересую!

— Почему бы и нет?

— Как ты можешь так со всеми! — сказал Турчков зло.

— Что со всеми? — подняла ресницы Вера.

— Сама понимаешь — что!
— Я ничего не понимаю.
— Не прикидывайся дурочкой!
— Ты пьяный, что ли?
— Я трезвый.

Вера не выдержала, подошла к Лешеньке, стала гладить его мягкие, кудрявые волосы, хотела успокоить, ласково говорила: «Ну, не смотри на меня волчонком, будь добр, вот ты какой смешной...» — была готова поцеловать его, но Лешенька резко повел плечом, крикнул нервно: «Отстань!» И, голову подняв, быстро ушел с террасы. Вера смотрела ему вслед, улыбаясь. Лешенька выглядел сейчас вовсе не волчонком, а щенком, побитым, сбега́вшим с перепугу, поджавши хвост. Отношения их с Верой были спокойные, соседские, ни о каких Лешиных чувствах Вера не знала — и вдруг сегодня он устроил ей сцену. Вера не обиделась на Турчкова, то, что он нервничал именно из-за нее, ей представлялось естественным, она бы удивилась, если бы причиной страданий Турчкова оказалась другая девчонка. Она жалела Лешеньку и пообещала себе при случае приголубить и утешить его.

«Скорей бы Сергей вернулся!» — снова вздохнула Вера.

Тут она вспомнила туманные Лешины упреки и подумала, не совершила ли она нынче чего-либо, что противоречило бы их любви с Сергеем, и, перебрав все случившееся за день, ничего дурного не нашла.

В столовой опять танцевали. Лешенька сидел на стуле у окна и курил. Кажется, он и на самом деле не был пьян, отметила Вера, в компании вообще все, кроме Эдика Стеклова и двух девчат с Лопасненской улицы, были лишь навеселе, Вера подсела к столу, ей вдруг захотелось есть.

— Сейчас,— сказала Вера Колокольникову, манившему ее на танец,— сейчас перекушу.

Усталость прошла, а с ней вместе прошли и неприятные мысли и об утренней тоске, и о слезном разговоре с матерью, и о глупой стычке с Ниной. Вера с удовольствием вспомнила свои сегодняшние дела и путешествия. День выдался удачный. Он был долгий, это даже был вовсе и не день, а несколько дней, слитых в один. Вера вспомнила сейчас сегодняшние звуки, запахи и краски, обрывки разговоров, застывшие и живые картины бурной, деятельной, счастливой жизни, в то же самое время жизни беззаботной и безалаберной, а значит, и еще более привлекательной. Снова блестела на солнце вода царицынского пруда, в парке напротив, как всегда, берегли свои печальные тайны красные развалины екатерининского замка, а они с Ниной, разбрызгивая босыми ногами воду, шли вдоль берега, удивляли публику грацией и красотой движений. Снова шумела рядом улица Горького и ее магазины, искушали витрины, зазывали рекламы, двери распахивались перед Верой с заискиванием и радостью все до одной, толпа, разодетая, веселая, считала Веру своей и провожала от магазина к магазину. Снова лежали за стеклом в аптекарском шкафу с бронзовыми винь-

етками диковинные парики, один краше другого, а уж тот, что примеряла актриса, был словно волшебный. Снова Вера, глядя в зеркальце кожаной пудреницы, обмирала в кабине общественного туалета, а Нина жалостливо скреблась в дверь.

Ах, какой нынче хороший день, думала Вера, добрый и удачливый. Это был ее день, может быть, и еще чей-то, но ее-то в первую очередь. Уже одно то, что с утра она была на людях, ее радовало, кому-то нравится одиночество, келья с узким оконцем, избушка в дремучем лесу, а ей подавай толпу — живописную, шумную, суетливую, где каждый как бы сам по себе, но все вместе образуют стихию, движение, праздничной мелодией отзывающиеся в душе, стихию, где она, Вера Навашина, вовсе не песчинка, а со всеми равная, нарядная и красивая женщина, не оценить которую не могут люди со вкусом. Веру всегда хмелило движение народа, толпа, и она с удовольствием бывала на стадионах, на пляжах, на танцплощадках, на рынках, в парках на массовых гуляньях и на московских улицах. Она сидела сейчас за столом, снова представляла сегодняшнюю улицу Горького и улыбалась.

Конечно, она понимала, что ничего этакого большого, что стало бы вехой в ее жизни или вызвало уважение к ней людей, окружающих ее, нынче не произошло. Но кто знает, что в жизни значительно, а что нет... Есть, правда, безупречные, с точки зрения матери, нормы жизни, о которых она напоминала Вере всегда, но такие ли уж они безусловные и естественные? Людей миллионы, и у каждого свои правила и законы, свои привычки и свои удовольствия, иначе какие же они люди! И она, Вера, человек, и жизнь не должна быть ей в обузу, не должна ее мучить, старить раньше положенного и сушить, как высушила мать. Естественно, она не уйдет никуда от насущных забот и хлопот жизни, от своей работы, не будет жить за счет других, не будет подлой и бесчестной, но уж постарается и не стать старухой в сорок шесть лет. Нынешний день тем и был хорош, что не принес ей никаких тягостей, ни в чем ее не сковывал, не перечил ни в чем, а позволял делать то, что она хотела; это был день легкий, как яркий, летящий над улицей шар, или, еще вернее, легкий и счастливый, как танец жаворонка над теплым июньским полем. И ей хотелось, чтобы все дни ее жизни были как нынешний, легкие и свободные, и чтобы воспоминания о них ничем ее не укоряли. Она понимала — такого не будет,— но хорошо бы так было.

Вера подняла голову. В комнате происходило движение. Чистяков и Колокольников выводили под белые руки побледневшего Лешеньку Турчкова. «Нашатыря ему, нашатыря!» — советовали им вслед. Вскоре Саша Чистяков вернулся, успокоил гостей: «Все в порядке, стало легче». Потом появились и Колокольников с Турчковым. Лицо у Турчкова было мокрое и белое, дышал он трудно, голову нес виновато. Снова Вера пожалела его, хотела подойти к нему и сказать что-нибудь, но Турчков, предупреждая ее намерение, посмотрел в ее сторону, и Вера удивилась его взгляду, по-прежнему обиженному и как будто бы даже брезгливому. Раздра-

жения Вериного этот взгляд, однако, не вызвал, наверное потому, что снова Турчков показался Вере жалким лопоухим щенком.

Колокольников опять позвал ее танцевать, и она пошла с охотой. Обычно она предпочитала быстрые, озорные танцы, ее горячая кровь требовала удали, сейчас же Веру больше устраивали танго и блюзы — то ли потому, что она устала, то ли оттого, что томила духота, то ли по какой иной причине.

Пела Элла Фицджеральд, Колокольников прижал Веру к себе, и она ничем не выразила ему своего неудовольствия, наоборот, своей улыбкой она как бы поощряла старания Колокольникова, и он смотрел на нее пьянящими глазами, и она не отводила глаз, чувствовала его тело и его желание, рискованное хождение по краю обрыва ей нравилось и волновало ее.

— Мне себя жалко,— сказал Колокольников.

— Отчего?

— Ты вот рядом и далеко. И никогда не будешь рядом.

— Уверен в этом?

— Уверен. Из-за своего Сергея уж ни на кого ласково и не взглянешь.

Колокольников играл, и Вере нравилась его игра.

— Неужели у меня и у Сергея будет такая скучная жизнь? — сказала Вера.

— Скучная-то скучная, зато праведная. Ты женщина нравственная, Сергею не изменишь, даже если захочешь.

— От этого тебе жалко себя?

— От этого...

— И ни на что не надеешься?

— Чего зря надеяться! Ты скупая на любовь.

— Может, еще буду щедрой?

— Давай, давай! Главное, чтоб человек был хороший.

— Какой человек?

— Ну, тот, с кем ты будешь щедрой.

— Вроде тебя, что ль?

— Вроде меня. Но не лучше.

— Дурачок ты,— засмеялась Вера,— и нахал. У Рожнова, что ли, учишься?

— Сами грамотные.

Следовало бы оборвать разговор, подумала вдруг Вера, отчитать Колокольникова всерьез, да и себя заодно, но эти соображения продержались в Вериной голове недолго, разговор с Колокольниковым был ей приятен и необходим, отказать себе в удовольствии любезничать с ним она не могла. И после танцев, когда они вдвоем уселись на диван, Вера, улыбаясь, выслушивала легкие слова Колокольникова и говорила что-то ему в ответ, порой двусмысленное, доставлявшее Колокольникову и ей радость, а сама думала о том, что неужели действительно их с Сергеем жизнь сложится скучной и они до беззубой старости будут в умилении сидеть друг против друга, как жалкие старосветские помещики. Вера не имела привычки заглядывать в собственное будущее, пред-

ставлять его себе в мелочах, а тут она представила и не то чтобы ужаснулась, но, во всяком случае, опечалилась. «Неужто и изменять друг другу не будем? — сказала себе Вера.— Наверно, будем. Для интересу. И я его прощу в конце концов, и Сергей меня небось простит, так что крепче потом станем любить друг друга».

Может быть, в иной раз, в иной обстановке, в ином настроении Вера посчитала бы эти мысли возмутительными и безрассудными, но сейчас они казались ей самыми что ни на есть разумными, подходящими ко времени. Она даже обрадовалась этим мыслям, обрадовалась своей смелости и тому, что искреннее обещание себе самой всегда быть свободной от пережившей себя морали, о которой ей напоминали все, и Нина в частности, и к которой она иногда по инерции относилась почтительно, обещание поставить себя выше этой морали далось ей без особых сомнений и унизительной душевной борьбы. Она даже себя зауважала. Значит, она человек не хуже других. Некоторых и за пояс заткнет. Достать бы еще пояс из золоченых колец, какой недавно с рук купила Нина. Впрочем, когда Сергей вернется, надо будет попросить, чтобы он в какой-нибудь мастерской сделал ей пояс из колец, он сделает и не хуже парижского. О Сергее она подумала спокойно, хотя и изменила ему в мыслях, а ведь прежде даже летучие опасения, что Сергей заведет другую женщину или она, Вера, увлечется каким-то парнем, казались ей чудовищными и пугали ее всерьез. «Может, я пьяна?» Нет, пьяна она не была, хотя, конечно, не была и трезва. Легкость и удачливость нынешнего дня жили в ней, будоражили ее, подзадоривали совершить нечто такое, что бы всех удивило, а ей принесло удовольствие. Мучительное и оттого сладкое желание шевелилось в ней, дразнило ее, терзало ее, желание рисковать, доказать самой себе, что она не только на словах может стать свободной и смелой. Она понимала, что если бы Колокольников действовал решительнее, она бы пошла за ним и ей, наверное, было бы хорошо, а уж назавтра она бы разобралась с совестью и прочим. Колокольников ей нравился, волновал ее, но если бы на его месте сидел и шутил другой парень, не менее приятный, и тот парень нравился бы ей теперь и волновал бы ее, и с ним Вера могла уйти. Испарились, исчезли, провалились в расщелины памяти соображения о том, кто такой Колокольников и какая у него жизнь и кто она, Вера Навашина, и какая жизнь у нее. Все уже ничего не значило, а вот она ощущала руку мужчины на своей руке, видела его ласковые глаза, слышала его близкое дыхание и его слова, которые были уже не словами, обозначавшими какие-то понятия, а сигналами, вроде биения пульса.

Кто-то уходил, прощался с Турчковым и остальными, вообще гостей, оказывается, было уже не так много. Зоя Бахметьева звала Веру пойти с ней. Вера, поколебавшись, отказалась. Колебалась она так, для приличия, сама и не думала уходить раньше времени и была довольна тем, что, несмотря на соображения здравого смысла — вставать завтра рано, да и вообще хватит гулять,— она позволяет себе делать то, что ей хочется. Колокольников поблагода-

рил ее, и возникший откуда-то Рожнов покровительственно похлопал по плечу: «Молодец. Девка что надо!»

— Но-но, не хами,— строго сказала Вера,— а то как врежу.

Опять танцевали, девчонок осталось три, их приглашали по очереди, однако веселья и шума не убавилось. Вера по-прежнему пользовалась успехом, но временами она чувствовала какую-то перемену в отношении к ней парней, что-то произошло, а что — Вера понять не могла, да и не успевала подумать об этом как следует. Танцуя, она видела, что парни за столом, дожидаясь партнерш, шепчутся заговорщически и поглядывают на нее совсем не так, как прежде. Удивляло ее и то, что Колокольников, минутами назад любезничавший с ней, сейчас, сидя между наглецом Рожновым и все еще дувшимся на нее Лешенькой Турчковым, о чем-то шептал, глядя на нее, и парни, довольные, смеялись, выслушивая, видимо, пошлости или сплетни. Впрочем, все это, может быть, только мерещилось ей, а если даже и не мерещилось, то черт с ними, она сама по себе, они — тем более, и в завтрашней жизни они не будут ее интересовать вовсе, и что Колокольников говорит сейчас о ней или еще о ком-то, ей все равно, тем более что, когда он снова танцевал с ней, он был опять мил и опять волновал ее.

— Дура Нинка-то, не пошла со мной,— смеялась Вера, будто бы уж совсем забыла, почему Нина не пошла.

— А зачем она нужна-то здесь? — говорил Колокольников.— Мне, кроме тебя, здесь никого и не надо.

— Ну уж, ты скажешь! — возмущалась Вера, а сама радовалась его словам.

— Хочешь — верь, хочешь — нет.

— Не уверен — не обгоняй,— вспомнила вдруг Вера.

— А если уверен?

— В чем же ты уверен?

— В самом себе,— сказал Колокольников.

— Это ты к чему?

— А ни к чему.

Вера чувствовала, что никакой намек Колокольникова и никакая двусмысленность ее сейчас не смутят и не обидят. А он как раз замолчал. Вера глядела на стены — на них висели картинки, вырезанные из «Огонька»: сосна в поле и Аленушка у воды, плачущая о погубленном брате, а рядом грамота под стеклом и на грамоте голубой игрушечный электровоз. И тут же в рамках фамильные фотографии, и на них непременно Вася Колокольников — и в распашонке, и с клюшкой в руках.

— Слушай, а где девчонки? — спохватилась Вера.

— Ушли,— сказал Колокольников.— Тебе махали, а ты не видела, что ли? Я думал — видела.

— Просмотрела. Ребята их провожать пошли?

— Наверное,— не очень решительно сказал Колокольников.

— И мне, что ль, пойти?

Твердости не было в ее словах, ей на самом деле стоило идти домой, но отчего-то и не хотелось. Скорее всего жаль было закан-

чивать нынешний удачный день, отрывать напрочь листок численника со скучными для всех сведениями о восходе солнца и сроках полнолуния, но такой счастливый для нее. Потому-то она и желала продлить этот день еще хотя бы на пять минут, желала, чтобы Колокольников опять нашел хорошие слова и попробовал уговорить ее остаться, а она, полюбезничав бы с ним, все равно пошла бы домой. Колокольников и принялся ее уговаривать, обещал напоить напоследок чаем. Вера повторяла: «Да что ты! И пить-то на ночь вредно, да и спать уж пора»,— но сама не уходила.

Колокольников сидел рядом, глядел ей в глаза, гладил руку и уже не казался ей соседским мальчишкой из детства, он был приятным, даже обаятельным мужчиной. Вера жила сейчас ощущениями каждой улетающей секунды, не забегая ни на шаг вперед, положив: «Пусть все будет как будет», но уверив себя в том, что ничего дурного и постыдного у них с Колокольниковым не случится.

Колокольников вдруг встал,— то ли испугался чего-то, то ли вспомнил о неотложном деле,— молча вышел из комнаты. Вера поднялась тоже, платье оправила на всякий случай, решила: «Хватит. Надо идти»,— успокоилась, хотя как будто бы в чем-то и была разочарована. Но тут Колокольников вернулся и вновь принялся кружить ей голову. Отвечая на его приятные глупости смехом или же пустыми, легкими словами, Вера видела, что Колокольников стал как будто более решительным и в то же время нервным. «Чай, что ли, поставил?» — спросила Вера. «Что? — рассеянно сказал Колокольников, но тут же спохватился: — Чай? Да, чай!» Вера неожиданно зевнула, рот ради приличия прикрыла ладонью, рассмеялась: «Ух, батюшки!» Хотела сказать, что всё, она идет домой и чай ей не нужен, но тут Колокольников шагнул к ней, схватил ее огромными своими руками и стал целовать. Вера хотела вырваться из его объятий, колотила легонько его по спине, говорила: «Отпусти, Васьк, не дури!», говорила добродушно и даже виновато, как взрослая, опытная женщина мокрогубому мальчишке, которого сама же от нечего делать ввела в заблуждение, расстроила и дала повод подумать бог весть что. Ласки Колокольникова стали ей вдруг неприятны, она отводила свои губы и глаза от его распаленных губ и глаз, верила, что сейчас он образумится, остынет, отпустит ее, вспомнит о себе и о ней, кто они, где и как они живут, вспомнит и успокоится. Но он не остывал и не отпускал ее. «Да ты что! А ну, отстань, а то сейчас...» Она пыталась освободиться уже отчаянно, злилась, била Колокольникова по спине, а он не отпускал ее, шептал что-то то ли растерянно, то ли стараясь ее улестить и припугнуть одновременно; платье трещало под его пальцами, и все же Вера сумела вырваться, локтем задела при этом Колокольникову по носу, раскровенила его, отскочила вправо, искала глазами дверь, но дверь была за спиной Колокольникова. «Васька, сволочь, а ну, выпусти! — крикнула Вера.— Завтра будешь плакать, прощения придешь просить, пошутил — и хватит, сделай только шаг ко мне — убью сгоряча!..» Но Колокольни-

ков не слушал ее просьб и угроз, смотрел зверем, надвигался на нее, плечо выдвинув вперед, напряженный, собранный, готовый к броску или удару. Вера схватила с буфета попавшую под руку тонкую вазу, жалкое, ненадежное оружие, цветы уронила на пол, наступила на них, истоптала хрусткую память об отшумевшем беспечном веселье, отступала к окну, размахивала вазой, грозила: «Опомнись, дурак! Убью! Всем расскажу! Сергею расскажу! И твоей девчонке в Силикатной!» Колокольников ничего не слышал или не понимал, шел на нее, был уже рядом, и тогда Вера, губы скривив, плеснула Колокольникову в лицо, в глаза ему, будто соляной кислотой, цветочной водой из вазы, пахнувшей затхлым, жаль, что не в соляной кислоте держат цветы, жаль! Капли смахнув с лица, Колокольников замер лишь на секунду и двинулся снова. Вера вскинула вазу, закричала: «Убью!» — и Колокольников, остановившись, тоже закричал что-то, произнес какие-то испуганные и волчьи, проклятые слова и в комнату вбежали трое — Рожнов, Чистяков и Лешенька Турчков. «Откуда они?» — возникла в Вериной голове мысль, и пришла другая, несуразная, тоже на миг: не ей ли на помощь явились из ночи парни? — но тут же Вера поняла, что не ей на помощь: и у этих троих были волчьи глаза. Вера метнулась к окну — оба окна были закрыты.

Вера рвала задвижку, но лишь заклинила, умертвила ее, выпустила вазу из рук, последнюю случайную защиту, последнюю надежду, никак не могла поверить, что все происходит не во сне и с ней, и тут сильные руки схватили ее, оторвали от окна...

6

Назавтра утром Вера лежала в своей душной комнате и смотрела в окно. Вернее, она смотрела в сторону окна, но лишь на секунды понимала это и тогда видела отцветший развалившийся куст сирени у забора и небо, по-прежнему праздничное, голубое, с печальными заблудшими облаками, тающими на глазах. Именно это небо и было обещано никольскими старухами на долгие недели в жаркий троицын день.

Будильник на столе пощелкивал грустно и показывал время, когда привычная электричка отправилась в сторону Серпухова, та самая, что в дни утренних Вериных дежурств в больнице отвозила ее в Столбовую, и показывал время обеденное, а Вера все лежала.

Заглядывала мать, и не раз, но Вера говорила ей тихо и зло: «Уйди!»

Сестры дверь не открывали, даже Надька.

Мать Вера гнала потому, что боялась разговора с ней, боялась ее слез и ее сочувствия, боялась ее крика и ее проклятий, не смогла бы вытерпеть и простых тихих слов, которые назвали бы то, что произошло с ней ночью.

Глаза у Веры высохли, она наплакалась всласть в рассветные часы.

Мысли ее были отрывочны, бились, отыскивая успокоения, но бежать им было некуда и они возвращались к прежнему. Временами Вере казалось, что страшное ей приснилось, а наяву ничего не произошло, а если и произошло, то не с ней. Но боль, затихавшая ненадолго, приходила истиной.

Глаза Вера старалась не закрывать, потому что в ее мозгу тут же возникали лица тех четверых, каждого из которых она без жалости готова была сейчас убить. Она знала, что лица эти — наглые, растерянные, жалкие, волчьи — врезаны в ее память навсегда и забыть, стереть даже мгновенные выражения этих лиц она не сможет.

Парни разбежались, и Вера пробралась к родному сонному дому — знала тропинки и закоулки, где ничей взгляд не мог мазануть ее дегтем. Позже, часов в восемь, кто-то перекинул за их изгородь мятый вчерашний парик, мать принесла его в Верину комнату и положила на табуретку.

Положила молча, и Вера не знала, что у матери на сердце, ей показалось, что глаза матери в ту минуту были брезгливыми, и это Веру испугало. Ночью Вера плакала в своей комнате, лежала на кровати, пришла мать,— то ли разбудили ее Верины всхлипывания, то ли она не спала вовсе, может быть, ее изводила бессонница предчувствий, она пришла и, посмотрев на дочь, догадалась обо всем. Мать спросила: «Кто?», и Вера назвала тех четверых, хотела уткнуться матери в грудь, выплакать: «Что же делать-то мне теперь?», но едва мать присела к ней на кровать, она чуть ли не закричала: «Уйди!» — и после гнала мать.

Когда Вера перестала плакать, в мире, в поселке Никольском была тишина. Тишина и нужна была сейчас Вере, нужна, и надолго, она томилась по ней, ждала ее с надеждой. Вчера Вера искала толпу, сегодня мечтала жить одной, совсем одной, на огромной земле одной, в тишине и без никого. Но тишина была недолгой. Зашумели, проснулись худенькие, крепкие июньские листья, распелись птицы, крикливые и сладкие, каждая с гонором и умением виртуоза. Вера раньше их вроде бы и не слышала, теперь же их оказалось удивительно много, и они звенели, разбив, разнеся тишину вдребезги, и весь воздух в Никольском, нагретый встающим солнцем, наполнился звуками, зашелестел, засвистал, забулькал, будто бы вскипел, и кипел так долго без умолку, шумел, словно оставшийся без присмотра чайник. Вера вдруг удивилась тому, что она способна сейчас слушать пение птиц и шелест листьев, и еще больше тому, что звуки сегодняшнего утра действительно напомнили ей кипение воды в чайнике. Впрочем, эти звуки она еще могла терпеть, но потом проснулся поселок Никольский, завел свою петую-перепетую песню, слышанную сотни раз, принес запахи деловитого, суетливого завтрака, захлопал в нетерпении калитками, потянулся на работу и на подсобный промысел, и Вера опять ощутила, что — всё, как себя ни успокаивай, ни от чего, что с ней случилось, она уже не сможет уйти. Ночь была и будет с ней навсегда.

Снова видела Вера ненавистные лица тех четверых и фамильные фотографии на стене столовой Колокольниковых, видела согнутые спины убегавших парней, представляла она и себя, бредущую никольскими закоулками с позором домой, жалкую, оборванную, погубленную, ей делалось жутко. Но время шло, и тяжелее боли, мучительней мыслей о том, что с ней случилось, становились думы о том, что с ней будет.

Она и не пыталась представить себе дальнейшую свою жизнь, наоборот, она гнала в испуге непрошеные озарения, вспыхивающие в мозгу мгновенные, но и подробные картины будущих несчастий, она знала, что судьба ее сломана и помочь ей никто не сможет. Хоть бы она попала под машину или электричка проволокла бы ее по бетонным ребрам полотна, отрезала бы ей ноги, сделала бы ее уродом, калекой, только не это... Ей было больно, стыдно, мысль о том, что рано или поздно ей придется выйти из дома, ее страшила. Еще вчера ей было безразлично, как к ней относятся никольские жители, осуждают они ее или любят, сейчас же в воображении ее возникали многие из них, причем и малознакомые,— одни из них смотрели на нее презрительно, чуть ли не собираясь при этом плюнуть, другие ехидничали, острые, как камни, и меткие слова бросали в нее, третьи сочувствовали, но так, будто терли наждачной бумагой по кровоточащим рваным ранам. Помнила Вера и о девочках из ее медицинского училища, и о преподавателях, и о сослуживцах из ее больницы,— все они, все до единого не сегодня, так завтра, в счастливые свои часы, должны были узнать, что случилось с Верой Навашиной. Любой человек мог теперь шепнуть, показав пальцем в ее сторону: «Вон, обрати внимание на девицу. Знаешь, она...»

Но все это были дальние люди...

Мысли же о том, как у них все пойдет дальше с матерью и Сергеем, были совсем скверными, тут уж Верино несчастье разбухало, становилось огромным и безысходным, и являлось отчаянное, сладкое желание оборвать все. Но Вера знала, что она не сможет наложить на себя руки, и не из-за малодушия, а из-за того, что тех четверых было необходимо, ради справедливости, наказать и сделать это должна была она и никто другой. Она ненавидела их и была уверена, что не успокоится, пока не отомстит им, пока не увидит, что и им, сволочам, плохо. Она называла их предателями, бандитами, подонками, в минуты сомнений пыталась выяснить, припомнить, не виновата ли в чем она сама, и выходило, что ни в чем не виновата. А может быть, и виновата? Она ругала себя за безрассудное вечернее веселье, за неумение блюсти себя, но ведь ни вчера, ни раньше она не выказывала себя как продажная, доступная женщина, не напилась же она до бесчувствия и бесстыдства, была трезва, все помнит, а если и шутила с Колокольниковым, то так, легко, не всерьез, и он должен был понять это. Парни вели себя вчера как подонки, предатели и бандиты, и умягчить свое теперешнее отношение к ним Вера не желала.

Как она будет мстить четверым, Вера не знала. Она знала од-

но: раз они погубили ей жизнь, значит, и их жизни должны стать не слаще. При этом она считала, что мстить обязана сама. Те четверо — преступники только для нее, и только она для них милиция, суд и палач. Она сознавала, что все происшедшее с ней, ее страдание и ее позор могут заведенным порядком попасть в настоящую милицию и настоящий суд, и это было бы худо, потому что тогда в ее дело, в ее жизнь, в ее душу вмешались бы чужие посторонние люди, которые все равно не смогли бы поставить себя на ее место и прочувствовать все, как прочувствовала она, а только бы измучили ее своим должностным интересом. Даже если бы они и поняли, в конце концов, все по справедливости, и тогда, казалось Вере, вряд ли бы они смогли заплатить ее погубителям по ее счету. И Вера решила твердо, что все устроит сама, не страшась последствий. Единственно, кто имеет право ей помочь,— это Сергей, если, конечно, он все поймет, поверит ей и захочет помочь.

Последнее Верино соображение вдруг раздробилось. «Ну да,— подумала она,— если, конечно, он захочет...» — и в этих невысказанных вслух словах был вызов Сергею: посмотрим, на что окажется способен в горькую минуту этот парень и что вообще он за человек! Вызов был искренним, но с долей наигрыша и отчаяния, и тут же Вера испугалась за Сергея, испугалась, как бы он, узнав обо всем, сгоряча не пустился в рискованные затеи, он здесь ни при чем, зачем ему-то ломать жизнь, это ей хочешь не хочешь, а надо давать сдачи. Однако новая мысль обдала Веру холодом: «А если он не погорячится, не бросится искать обидчиков, значит, он не любит меня, да?» И тут Вера поняла: тревожит, жжет ее ожидание не того, как отнесется Сергей, вернувшись из Чекалина, к четверым, а как он отнесется к ней, поймет ли ее по правде, обнимет, скажет ли, успокаивая: «Здравствуйте пожалуйста, извините, что пришел» — или отвернется в презрении. «Ну и пусть, ну и пусть отвернется,— подумала Вера мрачно, заранее обидевшись на Сергея,— уж как-нибудь одни проживем, обойдемся...»

Слезы появились на Вериных глазах, и она принялась рассуждать, как придется ей жить без Сергея и вообще как ей придется жить дальше: ведь она уже решила, что — всё, что жизнь ее погублена, и если бы не нужда мстить, надо было бы убить себя, и вот, положив на душу такое, она тем не менее теперь высматривала свое будущее, и в том будущем она существовала, пусть не в ярких, цветастых платьях, пусть в черных и дешёвых, но существовала и не собиралась ни исчезать никуда, ни прятаться от людей.

«А чего я буду прятаться-то от людей? — подумала Вера.— Я ни в чем не виновата. Я опозорена, но я ни в чем не виновата...» И она посчитала, что нигде — ни в поселке Никольском, ни в Москве, ни в каком другом месте — она не должна появляться такой, какой она себя чувствовала теперь,— униженной, разбитой, опозоренной. Она решила, что, наоборот, повсюду будет прежней, независимой, шумной, в случае нужды не полезет за словом в карман, не станет опускать голову, не подаст виду, если заметит чьи-

нибудь жалостливые или брезгливые глаза. А появись она на улице несчастной, заплаканной, с печатью позора на лице, так сейчас же посчитают, что она-то во всем и виновата, напилась и согрешила, а те четверо — совращенные ею херувимы. И станут сочувствовать тем четверым, а уж она будет клейменной на век. «Ладно,— сказала себе Вера, как ей показалось, твердо,— хватит... Надо жить дальше».

Она встала с намерением привести себя в порядок, пересилить боль и бесконечные, неотвязные мысли, смыть с себя следы вчерашнего позора, вчерашней жизни. Она сняла разорванное красное платье, надела чистое, стиранное недавно, простенькое, но не траурное, в зеркало не глядела, не видела синяков и ссадин, не хотела их видеть, а они давали о себе знать. Одевшись, Вера покосилась на дверь, к умывальнику в сени надо было идти через столовую, но там могли быть сестры и мать, а встретиться с ними Вера сейчас не хотела. Она тихо, морщась от боли, вылезла в окно, обогнула дом, беззвучно пробралась к крыльцу. В сенях было пусто, Вера умывалась не спеша, со старанием намочила волосы, чтобы потом придать им, мокрым, хорошую форму. Она вернулась в свою комнату опять же через окно и, усевшись на стул, долго не двигалась с места. Ей было тяжело и муторно, в горле стояла тошнота. Потом Вера достала свои кремы, помаду, краску для ресниц и лак для маникюра, но взглянула в зеркало и ужаснулась, руки опустила. Бледная, несчастная, в синяках и царапинах, с оплывшим глазом, она походила на горемычную пропойцу, которая то ли вернулась недавно из вытрезвителя, то ли еще держала туда путь. Руки парней оставили следы на ее лице, а может быть, и каблук французской лакированной туфли, отчаянного оружия бывшей подруги, которая уж непременно все знает и наверняка радуется Вериному несчастью, а то и судачит о нем со знакомыми и незнакомыми людьми. «Дожила, доплясалась»,— горестно вздохнула Вера, лицо ладонями закрыла, и опять тоска, безысходная, свинцовая, прихлынула к ней. «Докатилась, похожа-то на кого...» И тут Вера поняла, что она пыталась привести себя в порядок, вернуть прежний свой облик, а главное — прежнее самоощущение, через силу, и вот не потянула. Вера легла на кровать и закрыла глаза. Двигаться она не могла, идти никуда уже не хотела. Она подтянула ноги, сжалась, будто от холода, сама себе казалась сейчас такой маленькой, несчастной и затравленной, беззащитной зверюшкой, окруженной яростными, исступленными охотничьими собаками — пена на губах, клыки остры и безжалостны,— и весь мир представлялся Вере враждебным, все люди были теперь ее врагами, даже мать и Сергей.

Полежав немного, Вера все же встала и попыталась, не глядя в зеркало и даже на свое смутное отражение на оконном стекле, поправить прическу и вроде бы ее поправила, потом она снова улеглась на кровать, но так, чтобы волосы не примять, и опять явились к ней мысли горькие, путаные, скачущие, тоскливые. Тут в соседней комнате заговорила мать и еще кто-то, тише матери.

— Вера, к тебе пришли,— сказала мать, приоткрыв дверь, сказала сухо, как чужой человек.

— Кто еще пришел? — проворчала Вера.

— Нина пришла.

«Как пришла, так пусть и уходит»,— хотела сказать Вера, но не успела — мать затворила дверь. Вера повернулась к стене, закрыла глаза, хотела притвориться спящей, но раздумала. Встала, нашла туфли на высоком каблуке, надеялась, что они улучшат ее осанку, вытерпела свое отражение в зеркале, причесалась,— волосы лежали теперь хорошо,— поправила платье и вышла в столовую. Сказала Нине сердито:

— Ну, ты чего?

— Я?..— растерялась Нина.

Мать стояла у буфета, протирала вымытые тарелки и стаканы, ставила их на привычные места, и видом своим, намеренно спокойным, давала понять, что в разговоре участвовать не будет, что все случившееся со старшей дочерью ее не заботит, пусть печалится именно старшая дочь, да и вообще пусть эта дочь существует сама по себе.

— Верка! — воскликнула вдруг Нина, бросилась стремительно к Вере, обняла ее худенькими крепкими руками, прижалась к ней и заплакала.

Вначале Вера хотела оттолкнуть Нину, но что-то дрогнуло в ней, она, вопреки своим желаниям, обняла подругу, и несколько минут они стояли рядом, уткнувшись друг в друга, и Вера теплела, слыша Нинино дыхание на своем плече.

— Ну ладно,— сказала Вера,— глаза промочили — и хватит...

— А-а-а! — в безысходности махнула рукой Нина.

— Ну что ты как на похоронах,— сказала Вера.— Давай сядем.

Когда присаживались, Вера заметила, что матери в комнате нет, то ли она ушла из деликатности, чего, впрочем, от нее ожидать было трудно, то ли и вправду решила устранить себя от забот и печалей дочери, опозорившей семью. Однако мать могла и вернуться...

— Ты уж держись, Верк,— сказала Нина, и улыбка, благостная, обнадеживающая, появилась на ее лице.

— А что мне делать, как не держаться,— сказала Вера мрачно.

— Я все знаю... Вот ведь гады!

Эти слова Веру расстроили, в ней еще жила надежда, что никольские жители пребывают в неведении и считают ее прежней Верой Навашиной. Вера хотела спросить, что именно Нина узнала и от кого узнала, но Нина снова заговорила:

— Верк, ты меня прости...

— За что?

— За вчерашнюю драку...

— Я и всерьез-то ее не приняла.— Слова эти Вера произнесла небрежно — удивляясь Nининому извинению, будто бы и вправду не приняла вчерашнюю стычку всерьез и даже забыла о ней, но тут же поняла, что Нина ей не поверила.

— Не надо, Верк... Я у тебя прощения прошу, а ты уж как знаешь... Насчет Сергея я выдумала, сама не знаю зачем... Так, явилась вчера минутная блажь, с дури, наверное... может, от зависти...

— А если бы со мной не случилось беды,— сказала Вера сурово,— ты бы, наверное, и не пришла? Если ты из жалости, так не надо...

— Может, в другой день и не пришла бы, правда. А вот сегодня пришла.— В голосе Нинином звучала обида.— И прощения прошу не для того, чтобы тебя успокоить, а для того, чтобы себя успокоить. Все, что говорила о Сергее,— глупости, ложь, даю честное слово. Твое дело верить. Просто я психопатка какая-то стала, вот и все...

— Ну и ладно, ну и хорошо, и ты меня извини, что не сдержалась, и давай забудем...

— Верк, ты-то меня простишь, а я-то себя не прощу,— заявила Нина горестно,— все ведь это из-за меня случилось...

— То есть как из-за тебя? — спросила Вера, похолодев.

— Из-за меня. Если бы я не поругалась с тобой, а пошла бы гулять, ничего бы не произошло...

— Глупости ты говоришь!

— Я знаю,— сказала Нина грустно и в то же время значительно, словно ей была открыта печальная тайна.— Я знаю. Я виновата. Я всю ночь заснуть не могла, все меня предчувствия мучили, будто с тобой что-то стрясется. Не с кем-нибудь, а с тобой. Но я злилась на тебя и не пошла спасать тебя... Уж я казню себя, кляну последними словами...

— Выбрось это из головы и не смеши меня,— сказала Вера и, увидев, что Нина сидит поникшая, видно всерьез поверившая в свою вину, добавила, волнуясь: — Нин... Я тебя люблю как сестру, и ничего между нами не изменилось. Вот...

— Спасибо, Верк! — обрадовалась Нина.— Ты на меня рассчитывай, если что надо...

Тут Нина замолчала, и Вера молчала, любые слова были лишними, своей земной определенностью они могли только испортить, уменьшить и даже оскорбить то, что переживали сейчас Нина и Вера, сидели они растроганные, с влажными глазами, и каждой хотелось сделать подруге что-нибудь доброе и хорошее, при этом не остановила бы и необходимость жертвы.

— Это они тебе синяков наставили, бедной? — сказала Нина с нежностью и состраданием.— Или я?..

— Может, и ты,— сказала Вера.— Я ведь тебя тоже, наверное, отделала?

— Уж отделала,— засмеялась Нина, будто Вера напомнила ей о чем-то приятном,— уж отделала. Видишь, я даже платье закрытое надела сегодня. А ведь жарко.

— Жарко...

Действительно, Нина была в темно-синем льняном, с прожилками лавсана, платье, гладком, строгом, с длинными, расширенны-

ми внизу романтическими рукавами. Платье было Вере незнакомое, покрой его подходил к купленной вчера сумке, но сумки на Нинином плече не было, и Вера решила, что подруга нарочно не взяла сумку, чтобы ни о чем не напомнить. Но тут же Вера подумала, что сумка коричневая и никак бы не подошла к цвету платья и сегодняшнему цвету Нининых волос, а гармонию Нина бы не нарушила.

— Ну как сумка-то? — спросила Вера.

— Сумка-то? Лежит. Ждет своей поры.

— Что же так?

— У меня к ней ничего нет. Шить надо. На той неделе, может, сошью.

Дверь открылась, и вошла мать.

Вера взглянула в ее сторону и смутилась: мать, наверное, слышала слова о сумке, а они не могли не показаться ей сегодня легкомысленными и бесстыдными. Нина уловила Верин взгляд, посмотрела на Настасью Степановну, потом снова на Веру, хотела выправить разговор, но ничего не успела сказать.

— Может, есть чего-нибудь будешь? — спросила мать.

— Нет аппетита,— сказала Вера.

— Ну, хоть чаю тогда или молока стакан. Соня козу подоила...

— Не хочу. Будет настроение — сама поставлю чайник. Делов-то...

— Ну, смотри.

— Чего ты на мать рычишь-то? — шепнула Нина, прежде подол Вериного платья потеребив.

— Да так,— мрачно сказала Вера.

Мать возилась с какой-то тряпкой, с которой и возиться-то не было нужды, правда, может, из-за своей фамильной любви к чистоте она собиралась протереть в десятый раз пол в сенях, или на террасе, или на крыльце, наконец она направилась к двери, и тут ее прорвало.

— Дожили до праздничка! На старости лет мне доченька радость приготовила!

Не обманув Вериных ожиданий, мать обращалась при этом не к ней, а к Нине, как к безусловному своему союзнику, в уверенности, что Нина непременно поддержит ее. Вера же матери отвечать сейчас не хотела, знала, что только распалит ее, пусть уж выговорит накипевшее и смягчится, да и что, собственно, она могла сказать в ответ?

— Срам-то на всю Россию! И на сестер позор ляжет, и на меня! В поселке только и разговоров, что про Навашину! С отцом шелапутным и то не случалось таких скандалов... Выросла нам на беду!..

Она и дальше шумела, обзывала Веру оскорбительными словами, которые Веру, несмотря на то, что та готова была принять на свой счет сейчас все, обижали, выкрикивала и ругательства, хотя обычно стыдилась грубостей и дочерям старалась привить брезгливость ко всяким крепким выражениям и к матерщине.

— Ну ладно, хватит,— сказала Вера,— что ты на меня орешь, будто я виноватая?..

— А кто же еще виноватая? Может, я виноватая или вот Нина виноватая?! Ты и ее-то, подружку свою, вчера отлупцевала, все уж в поселке знают! Была бы скромная да работящая, как мы росли, никакого бы позора не вышло!

— Ну что вы, тетя Настя,— сказала Нина,— ну зачем вы так? У Веры беда случилась, ни в чем она не виноватая, я-то знаю, и со мной такое могло произойти, и с любой. Парней судить надо, а вы на Веру такими словами...

— Не виноватая, как же! — все еще не могла остыть мать.— Взять бы плетку хорошую да отлупить как следует! И теперь вот — я ей правду говорю, а она на меня: «Что ты орешь?» Матери так! Слова ей сказать нельзя.

— Ну ладно, хватит! — не выдержала Вера.— И разгульная я, и не работящая! Хватит!

Она почти кричала на мать, хотя и намеревалась вытерпеть ее речи до конца, понимала, что кричит сейчас, как уже огрызалась и ворчала на мать нынешним утром, не от обиды на нее, а из чувства самозащиты, она была готова признать справедливость многих слов матери, но слышать эти слова не могла.

— Чего это ты так кипишь-то? — сказала Вера.— Со мной все случилось, а не с тобой. Со мной! Поняла? Я и без твоих оскорблений переживаю...

— Переживает! Жизнь обдала ее ведром помоев с головы до ног, вот она и запереживала! Раньше переживать надо было...

— Ну что вы... ну зачем вы...— робко попыталась Нина успокоить мать и дочь.

— Ну ладно, давай кончим,— сказала Вера твердо.— Потом, если желаешь, мне все выскажешь с глазу на глаз, а над Ниной-то зачем громыхать? Стыдно ведь...

— Стыдно... За тебя стыдно! Нина свой человек, а я и при любых людях правду тебе выскажу.— Мать еще горячилась, но уже направлялась к двери.

— Помолчи, помолчи,— шептала Нина, дергая Веру за платье.

У двери мать остановилась, словно бы собираясь сказать самые важные и грозные слова, но только махнула рукой и вышла из комнаты.

Тут же всунула в дверь голову Надька, и наглые, отцовские глаза в любопытстве уставились на Веру.

— А ну, пошла отсюда,— крикнула на нее Вера,— а то сейчас запущу чем-нибудь! И дверь закрой.

Помолчав, Вера вздохнула:

— То ли будет впереди...

— Чегой-то мать-то твоя? — сказала Нина.— Вроде бы она тихая...

— Тихая-тихая, а вот иногда вскипает...

— Ничего, Верк, все обойдется,— на всякий случай сказала Нина, но не очень уверенно.

— А что обо мне говорят?

— Разное говорят,— уклончиво сказала Нина.— Многие сочувствуют тебе, но ведь есть и знаешь какие люди — им бы только чтобы у соседа коза в кошку превратилась...

Тут Нина замолчала, и Вера не услышала, кто именно эти люди и что они думают и говорят теперь о ней, но спросить об этом у подруги не решилась.

— А узнали как?

— Чтобы в Никольском, да и не узнали! Тогда бы светопреставление началось!

— Боже ты мой! — Вера закрыла лицо ладонями.— Как жить-то дальше? А, Нинк?

— Перетерпеть надо, Верк,— сказала Нина убежденно,— зубы стиснуть и перетерпеть, а там жить дальше. Не в монастырь же идти. И монастырей-то теперь нет. И потом — ты, что ль, виновата? На тебе греха нет.

— Ты-то хоть веришь в то, что я ни в чем не виновата? — сказала Вера, волнуясь, будто от Нининого ответа зависела теперь ее жизнь.

— Верю, Верк, я тебе как себе верю.

— Спасибо, Нин, спасибо,— обрадовалась Вера.— Знаешь, как я довольна, что ты пришла.

— Что же, я не человек, что ли? — сказала Нина растроганно.

— А Колокольников? — спросила Вера.

— Что Колокольников?

— Он как? — Вера вспомнила теперь о Колокольникове, к нему у нее был особый счет.

— Не знаю. Сбежал куда-то. И его, и Чистякова, и Рожнова в Никольском сегодня нет. Один Турчков здесь. Сидит дома.

— Ты его видела?

— Видела.

Вера хотела сказать что-то, но вдруг ощутила, что говорить ей о тех четверых тошно и стыдно.

— Я когда узнала о тебе,— сказала Нина,— мама принесла с улицы новость, я тут же хотела бежать к тебе, да забоялась, как бы ты не выгнала меня после вчерашнего. Я сидела, переживала и тут надумала найти этих... да в лицо каждому плюнуть. Пошла. Колокольникова нет, Чистякова нет, домашние их взвинчены, парни, наверное, от страха и стыда сбежали. Одного Турчкова я и застала. Мать его в дом меня не пускала, а я громко так заявила: «Если он не трус, то пусть сам выйдет». Вышел. Бледный, лохматый. Я ему: «Леш, правда, что вот то-то и то-то говорят?» Он только глаза отвел. Я ему молча пощечину залепила и пошла. Мать его догнала меня, начала говорить, что это жестокость, что он мучается сам и они боятся, как бы он в петлю не полез...

— Он может,— сказала Вера.

— Может, —согласилась Нина.— Да их прибить мало. Я бы этого Колокольникова да Рожнова...

— А я им устрою,— сказала Вера.

Тут Нина, посмотрев на нее, насторожилась. Последние слова Вера произнесла тихо, скорее для самой себя, взгляд ее был отрешенный, а голос спокойный и твердый, стало быть, Вера приняла решение, и решение это уж не мучило и не жгло ее, не кололо сомнениями, оно остыло, лежало в душе холодным металлом, и Вера не могла и не хотела от него избавиться. Нина знала, что Вера, шумливая, горячая, бывала прежде отходчивой, а теперь, судя по всему, она могла пойти на отчаянное предприятие и оно уж не довело бы ее до добра.

— Ты что, Верк,— заговорила Нина испуганно,— ты что придумала?

— Ничего,— сказала Вера.

— Нет, ты брось, Верк, я ведь вижу! Ты не хочешь мне сказать?

— Ты не обижайся. Но тут дело только мое и ничье больше.

— Ну и глупо! Себя погубишь и близким отравишь жизнь. Подумай хоть о матери и сестрах... Как они будут без тебя? И зачем тебе руки об этих гадов марать? Суд все сделает...

— На суде меня измучают больше, чем их.

— Нет, Верк. Сегодня же надо ехать в район, в милицию, подать заявление, и к врачам. Если не поедешь, я сама возьму и съезжу...

— Ну и предашь меня.

— Эту твою глупость я всерьез не принимаю. Поверь, если бы я считала, что ты собираешься поступать правильно, я бы тебе помогла и риску бы не испугалась,— когда надо, я не трусливая, ты знаешь, но тут ты не права.

— Ну и хорошо,— сказала Вера обиженно,— не права, ну и хорошо...

— Сразу надулась,— сказала Нина.— Ты хоть подумай, не спеши...

Вошла мать.

И Нина, и Вера скосили глаза в ее сторону, ожидали новой бури, но слов никаких не было произнесено, и тогда Нина встала.

— Мне пора на работу. Как вернусь, сразу сюда забегу. Ты, Вера, не права, ты все взвесь,— тут Нина остановилась, испугавшись, как бы Настасья Степановна не учуяла в ее словах чего-либо дурного или тайного, и, помолчав, добавила: — Вы уж, теть Насть, с Верой не ругайтесь. Не надо сейчас.

— Я тебя провожу чуть-чуть,— сказала Вера.

Нина уходила, Настасью Степановну перед тем за плечи обняв: мол, тетя Настя, все обойдется-образуется. Вера остановила подругу в сенях, стала говорить, смущаясь собственной слабости, страдая оттого, что открывала Нине запретное, обнажала свою неотвязную тревогу, которую держать бы ей про себя, но и держать про себя не могла, и ждала теперь, чтобы Нина успокоила и обнадежила ее.

— Знаешь, Нинк, чего я боюсь-то? — говорила Вера, волнуясь.— Вот Сергей приедет и все узнает...

— Ну и чего?
— Ну, как чего? Как у нас будет-то с ним?..
— Если он от тебя отвернется, значит, и цена ему грош. И жалеть тогда о нем не стоит.
— А может быть, он и не отвернется, а все равно не будет уже ничего хорошего...
— Не надо, Верк, вот помяни мое слово, все хорошо у вас сложится.
Уходя совсем, она шепнула Вере:
— Верк, я за тебя боюсь. Слово дай, что ничего не выкинешь, пока не вернется Сергей. А?
— Ладно,— сказала Вера,— хватит об этом.
Нина ушла, уехала, спасибо ей, подумала Вера, в электричке она еще погорюет о тяжкой судьбе подруги, а потом московская жизнь отдалит от Нины Верины беды, и ничего тут не поделаешь. Вера вздохнула. Вошла в комнату. Мать сидела у стола.
— Ну что,— сказала Вера, предупреждая атаку матери,— обязательно при людях надо устраивать крик?
— Садись,— сказала мать.
— Ну, села. И что дальше?
— Ты можешь говорить мне все, что хочешь, можешь наплевать на мать, но дурь из головы выкинь. И не злись. Нина тебе советовала правильно.
— Чего она такое советовала?
— Сейчас же ехать в город.
— Никуда я не поеду,— хмуро сказала Вера.
— Поедешь. Что ты задумала? Мстить, что ли?
— Мое дело.
— А обо мне с девчонками вспомнить не желаешь? Что с нами-то станет?
— Вас не убудет.
— В тюрьму ведь сядешь!
— Я и сяду, а не ты с ними.
— Вера, не дури,— сказала мать,— я тебя прошу.
Тут Вера взглянула на нее и увидела, что губы у матери дрожат, а глаза влажны, и всякое желание дерзить матери пропало, следовало ей успокоить мать, произнести какие-нибудь ложные слова, чтобы она хоть на минуту посчитала, что Вера готова отказаться от своих намерений, но слова подходящие не явились.
— Девчонки-то маленькие,— сказала мать,— а могут одни остаться. Как проживут-то?
— С чего вдруг одни?
— Мне в больницу ложиться надо,— сказала мать.
— Ты что?
— Я уж вам не говорила, не пугала раньше времени...
— С чего ты взяла, что в больницу?
— Я у врачей была. Обследовали и велят...
— У каких врачей?
— У разных. И у...— Мать замолчала.

— И у кого? — В горле у Веры стало сухо.
— У онколога.
— Они что?
— В больницу велят ложиться. Операцию делать...
— Ты что! Ты врешь! — крикнула Вера.— Чтобы я в милицию пошла, да?!
— Я тебе никогда не врала. Вспомни, когда я тебе врала? С отцом меня не путай.
— И за что же такие напасти на нашу семью! За что!
Волком взвыть хотелось Вере, застонать на весь поселок Никольский, тупое отчаяние забрало ее,— что же это делается-то и почему? Но мать сидела напротив Веры тихая, губы ее уже не дрожали, слез не было в ее глазах, а было спокойствие, объяснить которое Вера могла только тем, что мать все передумала о себе, ничего не став выспаривать у судьбы, а теперь ее заботило лишь будущее дочерей, и, поняв это, Вера не застонала и не заплакала. Она старалась теперь успокоиться, обнадежить себя хоть бы мыслью о том, что у матери вдруг не самое страшное, но спросить о болезни долго не решалась. Сказала наконец:
— А диагноз они тебе какой поставили?
— Они, может, и сами не знают. Надо операцию делать, а там уж увидят, доброкачественная или какая...
— Конечно, доброкачественная,— быстро сказала Вера,— сделают операцию, и все обойдется... Сколько случаев знаю!
— Дай-то бог,— сказала мать, вздохнув.
Вера встала.
— Насчет меня будь спокойна. Ничего я дурного не выкину. Не хотела я в милицию, но пойду. Пусть будет по закону.
Мать тоже встала.
— Оно и лучше так.
Вера бросилась к матери, обняла ее, заплакала:
— Что же делать-то нам с тобой, мамочка моя? За что же нас так?..

7

Город стоял в тридцати трех километрах от Москвы, сорок, а то и меньше минут электричкой, и норов имел уже столичный.
Мать шла чуть впереди, ступала твердо, а когда оглядывалась, никаких слов не говорила дочери. Лицо ее было суровым и спокойным. Вера удивлялась этому спокойствию матери, мать вообще казалась ей сейчас преображенной. Вера привыкла видеть ее застенчивой и тихой на людях и уж тем паче во всяких казенных учреждениях, в крови ее была робость крестьянки перед присутственными местами, теперь же мать стала решительной и сильной, даже ступала по земле она иначе, чем прежде, как будто выросла, словно бы стараясь заслонить собой дочь, уберечь ее от дурных взглядов и слов. Вера шла за ней и ощущала себя побитой десятилетней девчонкой, которая без матери — ничто, чувство превосход-

ства над ней, жившее в Вере в последние годы, исчезло вовсе и казалось постыдным. Вера думала теперь о матери с нежностью, страх, вызванный известием о болезни матери и скорой операции, не уходил и холодил ее. Теперь, когда она смотрела на мать, плохо одетую, странную в городской толпе в своем вдовьем, провисшем на плечах, ношеном платье, тяжелым для Веры было воспоминание о вчерашнем легкомыслии и обмане — пообещала купить матери что-нибудь хорошее и нужное, а сама принесла ей беду. Впрочем, несколько успокаивали Веру, как ни странно, мысли о собственной беде, о собственном страдании, то есть не то чтобы успокаивали, а как бы уравнивали в ее глазах тяжесть их с матерью положения. И тем самым и смягчали ее перед матерью вину. «У тебя жизнь может оборваться, тебе горько, но ведь и мне не слаще, и я страдаю...»

Сердцевина города, сложенного из заводских поселков, временем и случаем разбросанных по обе стороны железной дороги, была тесна и мала. Четыре улицы с учреждениями и магазинами, километра в полтора каждая, расходились от муравейника вокзальной площади к излучине Московского шоссе. В прежние дни Вера облетывала городской центр и на пляж спускалась к запруженной реке за двадцать минут, нынче же — годы тянулись.

Они с матерью шли в милицию. Вера никак не могла взять себя в руки, наоборот, она волновалась все больше. В милицейском доме было сумрачно, пахло сыростью и еще каким-то особым запахом, словно бы это был запах деловитой озабоченности учреждения. В коридорах было пусто, редкие люди в форме и в штатском шагали мимо быстро и молча. Дежурный посоветовал Навашиным подняться на второй этаж и зайти в следственный отдел. На лестнице Вера остановилась, сказала:

— Заявление надо написать. Что же мы так, с пустыми руками, придем?

— Пошли, пошли... Сначала расскажешь, а потом напишешь, что скажут.

— Нет, надо.

Матери следовало бы понять, что рассказывать Вере милиционерам о том, какая с ней вчера приключилась беда,— все равно что прикладывать к коже раскаленный утюг, куда легче было бы без слов положить на стол в следственном кабинете бумажку — и пусть решают, как хотят.

— Хорошо,— сказала мать,— пиши заявление...

Но тут же добавила сердито:

— Дома, что ли, не могла...

— Мало ли кто чего мог! — огрызнулась Вера, огрызнулась вновь от собственной слабости.

В полутемном углу стоял круглый, покрытый стеклом столик. Вера достала ручку из сумки, но бумаги, естественно, не оказалось, Вера жалостливо поглядела на мать, та вздохнула, проворчала справедливые слова и пошла по коридору в соседний кабинет. Принесла два листа бумаги.

Вера ей даже не сказала «спасибо». Ей было сейчас не до матери, она мучилась над листом бумаги.

— Сколько ж слез-то над этим столиком пролито было,— сказала мать,— сколько ж горя человеческого тут записано было... Тяжелый дом-то этот, слезный. Как больница...

— Что больница? — не поняла Вера.— Я не знаю, чего писать...

— Как было, так и пиши...

Долгим был Верин труд над слезным столиком, подсказки матери казались неразумными и только раздражали ее; если уж рассказывать все случившееся по порядку, тетради не должно было бы хватить, но слов у Веры нашлось лишь на полстранички, и никак она не могла подобрать главное слово, которое бы назвало то, что с ней сделали четверо, все выражения, приходившие в голову, были плохими — или обидными для нее самой, или уж совсем не крепкими. Наконец Вера придумала: «...и тут они меня опозорили». Она посидела над этими словами, кручинясь, а поставив подпись и число, даже обрадовалась, будто сбросила с плеч тяжкую ношу, но тут же расстроилась, сообразив: «Чему радуюсь-то!»

— Ну вот, вроде и все.

К начальнику следственного отдела очереди не было, а лучше бы она была. У двери Вера остановилась, словно забыла что-то важное и теперь старалась вспомнить это важное, но мать не позволила ей отступить и открыла дверь.

В кабинете были капитан и старший лейтенант. Капитан сидел, а старший лейтенант стоял и как будто бы собирался уходить.

— Можно зайти? — спросила мать робко.

— Вы уже зашли,— сказал капитан.— Что у вас?

— Вот. Заявление,— сказала Вера, подошла к столу.

Капитан взял исписанный ею листок, стал читать. И старший лейтенант, собиравшийся уходить, вернулся к столу и тоже взглянул на Верино заявление. Тут пошли минуты для Веры печальные, ей было стыдно и горько, сейчас они прочтут, думала она, сейчас они все узнают о ней и составят мнение как о последнем человеке, как о пропащей женщине, сейчас они отчитают ее и станут мучить вопросами. Особенно боялась Вера теперь старшего лейтенанта, пожилого, грузного, боялась и стыдилась его, ей казалось, что он, читая ее заявление, ухмыляется, не верит ей, презирает ее, и ему-то, наверное, и поручат заниматься ее делом. Господи, до чего тошно!

— Да-а,— сказал капитан.

— Там, наверное, не так написано,— заторопилась мать,— мы все расскажем. Вы нам объясните, что написать, мы перепишем...

— Да нет, тут ясно,— сказал капитан.— Для начала ясно.

— Возраст не указан,— поднял голову старший лейтенант.

— Да, да,— кивнул капитан,— вот возраст вы, пожалуйста, укажите.

— Чей возраст? — спросила Вера.

— Ваш.

— Это с какого года, что ли, я? — спросила Вера.

Вовсе она не хотела прикидываться дурочкой, просто растерялась.

— Ну да,— кивнул капитан.

— С пятьдесят третьего я.

— С пятьдесят третьего? — удивился старший лейтенант.

Тут и капитан удивился, поднял на Веру глаза, а затем они переглянулись и со старшим лейтенантом. «Что ж они во мне увидели такого занимательного? — подумала Вера.— С какого же я еще года должна по-ихнему быть?»

— Несовершеннолетняя...— протянул старший лейтенант, и что-то в нем погасло.

— Да, несовершеннолетняя, это она такая здоровая у меня вымахала, не по летам,— сказала мать, заулыбалась при этом заискивающе, как бы прося извинения за то, что дочь ее своим видом ввела милицию в заблуждение.

— Наши дети нынче быстро растут,— вздохнул старший лейтенант.

— А вот тем четверым,— спросил капитан,— а им по скольку лет?

— По скольку...— задумалась Вера.— Я не знаю точно, по скольку.

— Они взрослые или тебе ровесники?

— Они взрослые,— сказала Вера.— Но есть и мне ровесники... Ну, Рожнову вроде девятнадцать. А другим по семнадцать. Мы ж на рождении Турчкова гуляли, а ему сровнялось семнадцать... Я разве не написала?

— Значит, Борис Иванович, надо направить в прокуратуру,— сказал капитан.

Что-то изменилось в отношении к ним милиционеров, так показалось Вере, чтó именно изменилось — она не могла сказать, но изменилось.

— Так это... —неуверенно проговорила мать, скорее всего для того, чтобы напомнить о себе с дочерью и продолжить разговор, в котором, на ее взгляд, пока ничего существенного сказано не было.

— Сейчас мы направим вашу дочь,— сказал капитан,— на судебно-медицинскую экспертизу. Сержант вас проводит... Потом, сегодня же, наши работники проведут в Никольском в вашем присутствии оперативно-розыскные действия на месте происшествия. Вашим делом не мы будем заниматься, а районная прокуратура, скорее всего следователь Шаталов, он вас вызовет...

— Да, наверное, Шаталов,— рассеянно произнес старший лейтенант, он думал о чем-то своем и казался опечаленным.

— А когда же этих-то в тюрьму заберут? — спросила мать.— Не сегодня, что ли?

— Прокуратура во всем разберется,— сказал капитан,— она и определит меру пресечения...

— Нам теперь в прокуратуру идти? — уныло спросила Вера.— И туда заявление писать?

— Не надо,— сказал капитан,— заявление мы сами передадим, прокуратура вон, напротив.

— Значит, не заберут их сегодня? — расстроилась мать.

— А когда заявление? — спросила Вера.

— Сейчас же и передадим.

— Мы, наверное, не так написали,— сказала мать.— Вы подскажите, мы перепишем...

— Ничего переписывать не надо. Возраст мы сами пометим.

— Нет,— сказала мать,— почему же вы не сами, почему же в прокуратуру? Вера ни в чем не виноватая, это они...

— Да поймите,— вздохнул капитан,— есть такое положение. Если в дело замешаны несовершеннолетние, то им занимается не милиция, а прокуратура. Беспокоиться тут нечего.

— Нет,— сказала мать,— как же так — без милиции?..

— Вы сейчас идите к врачам,— сказал капитан,— на экспертизу.

— Пошли, мама,— сказала Вера.— Ну что ты у людей отнимаешь время. Сказано тебе — займется прокуратура...

Мать все еще стояла в растерянности, прокуратура была для нее далеким и неясным учреждением, по всей вероятности незначительным и слабосильным, не имевшим погон и револьверов, которое уж никак не могло заменить милицию или сравняться с ней, а скорее всего было у милиции на побегушках и занималось делами, с точки зрения милиции, бросовыми и пустяковыми.

«Как же так...» — с жалостливой улыбкой, все еще на что-то надеясь, заговорила мать, но Вера сказала: «Пошли, пошли».

Пыткой был осмотр у врачей, хоть те и оказались людьми порядочными и добрыми, и вроде даже верили ей и сочувствовали; сочувствие это вызвало вдруг в Вере ненависть к самой себе: ведь не кто иной, а она допустила такое, не смогла соблюсти себя, погубила себя, погубила свою жизнь, а может быть, и жизнь матери. И хотя врачи успокаивали ее напоследок и просили не отчаиваться, она уже не могла остановиться, казнила, казнила себя...

Солнце опалило их на улице, хотелось пить, Вера потянула мать к киоску прохладительных напитков, та шла за ней, вконец расстроенная.

— Ну что ты? — остановилась Вера.

— Плохо, дочка,— безнадежно сказала мать.

— Чего уж хорошего...

— Нет. Я насчет прокуратуры.

— Тут ты зря. Все едино —милиция, прокуратура...

— Не-е-ет,— протянула мать убежденно и взглянула на дочь с сожалением: неужели та не может понять столь очевидной вещи? — Нет. Тут что-то не так...

Но и в Никольском, и после того, как оперативники, или кто там они, осмотрели место происшествия и составили протокол, изменить мнение матери, что с милицией дело у них вышло плохо, Вера не смогла. Мать сникла, опять выглядела забитой и жалкой, страдала от того, что непременно надо было хотя бы посовето-

ваться со знающими людьми, Монаховыми, например, а потом уж ехать в город. Поначалу Вера старалась мать успокоить, объяснить ей ее заблуждение, но вскоре она поняла, что дело это безнадежное. Разговор в милиции опечалил и ее, но, естественно, не тем, чем опечалил мать, просто произошло то, чего боялась и ожидала Вера,— ее страдание и ее позор, ее погубленная жизнь превратились в дело, о котором говорили чужие люди и которому теперь исписанными листочками предстояло копиться в канцелярской папке. Эх, жизнь!..

8

Назавтра в Никольском появился следователь районной прокуратуры. Он и точно оказался Шаталовым, как и предполагали в милиции. То есть он и вчера был среди людей, приезжавших в Никольское, Вера даже говорила с ним, но ни ему самому и ни его вопросам Вера во вчерашних волнениях не придала никакого значения. Теперь, после обеда, он пришел к Навашиным, и Вере с матерью поначалу не понравился.

Был он уже не молод, но и недостаточно стар — лет этак тридцать пять, ну чуть больше — и, стало быть, не воевал. Отец еще в пору Вериного детства внушал ей, что среди взрослых только те стоящие и порядочные люди, которые воевали. Когда-то эту отцовскую истину Вера считала безусловной, теперь, естественно, она не могла относиться к ней серьезно и все же при знакомстве с новыми людьми по неискоренимой привычке прикидывала, воевали они с немцами или не воевали, а иногда, особенно когда это было ей выгодно или облегчало в сомнениях, позволяла себе верить в отцовский закон. Вот и нынче она сразу посчитала, что следователь на войне не был и, значит, особого доверия вызвать не может. По крайней мере, будь он серьезным человеком, он с утра пришел бы к Навашиным. А так небось ходил по поселку.

Одет следователь был в светлый импортный костюм с голубой искрой, а в руках держал черную гладкую папку. Он жаловался на жару и говорил, что предчувствует грозу: у него ломило ноги, и к тому же он слышал, что в прогнозе погоды по «Маяку» не обещали осадков. При этом следователь — звали его Виктором Сергеевичем — проводил ладонью по мокрому лбу и теребил пальцами жесткие белые волосы. Волос осталось у него на голове немного, острижены они были коротко и зачесаны вперед. Росту Виктор Сергеевич был среднего, широк в плечах и квадратен, шею имел короткую и, разговаривая, прижимал подбородок к груди, отчего казался обороняющимся, но и в то же время готовым ответить ударом на удар. Удивляли его вялая, вроде бы расслабленная, манера говорить и неожиданно тонкий для такого атлета голос. Тенор Виктора Сергеевича поначалу раздражал Веру и даже смешил ее, но потом Вера привыкла к нему.

Разговор Виктор Сергеевич вел неспешный, о заявлении Верином пока не напоминал, и Вера не могла понять, к чему он клонит и чего хочет от нее. Возможно, пока он лишь приглядывался к ней

и проверял, стоит ли верить ей или нет. «Ну и пусть,— думала Вера,— ну и пусть, а мы тоже к нему приглядимся, что он за гусь». Мать сидела рядом тихо и мирно, хотя Вера и чувствовала, что следователь не нравится матери и расстраивает ее даже своим видом. Мать лишь иногда вступала в разговор, желая дополнить Верины слова, и все выходило невпопад.

Виктор Сергеевич интересовался, где и как Вера учится, что приходится ей делать на работе в Вознесенской больнице и сколько она получает, сколько вообще имеет средств их семья и как живет Верин отец на Дальнем Востоке. Многие вопросы казались Вере никчемными и досужими, но Вера отвечала на них терпеливо.

— Да,— сказал Виктор Сергеевич,— вот, знаете... Говорят, накануне вы подрались с подругой.

— Было такое,— сказала Вера.

— Из-за чего, можно узнать?

— Ни из-за чего. Так. По глупости.

— Ну хорошо, по глупости. Допустим. А дрались крепко?

— Не так чтобы очень.

— Говорят, и туфлями?

— И туфлями.

— А не остались ли после этой драки у вас на лице и на теле ссадины и синяки?

— Остались...

— Какие именно?

— Не знаю. Не помню.

— Угу,— сказал Виктор Сергеевич.— Это мы потом с вами уточним... А врачам почему вы не сказали об этой драке? Они тогда бы по-иному написали заключение.

— Не знаю, почему. Меня никто не спрашивал. Я и не сказала.

Вера произнесла эти слова обиженно, усмотрев в напоминании о драке с Ниной недоверие к ней и ее ответам, она действительно не рассказала врачам и в милиции о драке, но без всякого умысла и корысти не рассказала, просто потому, что посчитала эпизод этот несущественным и вовсе не связанным с ее делом. Да и стыдно было рассказывать. Следователь, видимо, имел по этому поводу свои соображения, может быть ошибочные и невыгодные для Веры, но он их не высказал, а вопросы прекратил. Это Веру насторожило и обидело. Кто ж, интересно, наболтал ему про эту драку и какими словами? Могли ведь и наврать, да еще и расцветить ложь никольскими фантазиями.

— Вы не думайте,— сказала Вера,— ничего лишнего я не хочу никому приписать. Поругались мы с Ниной, и синяки были. Ну и что? Разве это меняет дело?

— Нет,— сказал Виктор Сергеевич.— Просто мне надо знать все обстоятельства. Вам уж придется привыкнуть к моему интересу. Ничего не поделаешь.

— Да нет, мы ничего,— вступила мать.

— Знаете что,— улыбнулся Виктор Сергеевич и пальцами

вновь провел по мокрому лбу,— не откажите в любезности... водички какой-нибудь, а то ужарел совсем.

— Квас у нас есть,— обрадовалась мать,— свой правда, не покупной. Если не побрезгуете...

— Ну отчего же...

— Вера, сбегай в погреб, принеси.

— Ну вот, я вам хлопоты причиняю,— огорчился Виктор Сергеевич.

Бежать Вера не побежала, пошла за квасом, намеренно степенно, давая следователю понять, что просьбу его она выполняет без особой охоты и что вообще они, Навашины, люди гордые. Веру раздражала суета матери, ее унизительное старание оказать на всякий случай любезности малоприятному гостю,— впрочем, какому гостю? — так, должностному лицу, которое могло бы и не тратить свое драгоценное время на дальнюю дорогу, а опросить потерпевшую в служебном кабинете. Пока Вера ходила, следователь все извинялся перед Настасьей Степановной за доставленные хлопоты, просил вернуть Веру, если бы он знал, что хозяевам придется беспокоиться, он бы и не заикнулся о воде. Но когда Вера принесла запотевшую трехлитровую банку, он не стал отказываться от кваса, а принялся пить его стакан за стаканом, да притом делал это так аппетитно и шумно, ухая от удовольствия, словно бы хлебный напиток помогал ему ощутить полноту жизни. Вера заулыбалась: «Вот дает, как рассол с похмелья...»

— Прекрасный квас,— сказал Виктор Сергеевич.

— Пейте, пейте на здоровье,— радовалась мать.

— Спасибо, хватит. Как вы его готовите? Наверное, покупаете экстракт?

— Нет, из ржаных сухарей.

— А то вот сейчас экстракт хороший продается...

— Вы дома тоже делаете квас? — спросила мать.

— Нет. Вы знаете,— засмеялся Виктор Сергеевич,— нас, мужчин, больше пиво волнует!

— У нас пива нет,— развела руками Настасья Степановна, расстроилась, будто допустила губительную оплошность, которую теперь уж и не исправишь.— Кабы мы знали...

— Нет, вы меня не так поняли,— нахмурился Виктор Сергеевич и еще сильнее прижал подбородок к груди.

Теперь он сидел молча и теребил пальцами жесткие белые волосы надо лбом. Вера держала в руке стакан и отпивала квас глоточками, словно это был кипяток.

— Вы, Вера, на самом деле,— сказал Виктор Сергеевич,— не обижайтесь на мои вопросы. У меня профессия такая. Вы уж терпите.

— А я терплю,— сказала Вера.

— Ну вот и ладно. А то я еще один вопрос приготовил, а спросить не решаюсь. Про одно деликатное обстоятельство... Можно спросить?

Тут Виктор Сергеевич остановился и посмотрел на Веру свои-

ми голубыми глазами, и в них Вера почуяла намек: мол, сами знаете, какие такие деликатные обстоятельства, и если не хотите сейчас говорить про них, так и не надо. Намек Вера не поняла, пожала плечами, сказала:

— Если надо, так спрашивайте.

— Мне в Никольском уже пришлось кое-что услышать. Возможно, что многое из того, что я услышал, сплетни и так, пустое... Но одну вещь мне хотелось бы уточнить. Слышал я, что вы находитесь... как бы это сказать... находитесь в близких отношениях с некиим Сергеем Ржевцевым. Так ли это?

Вера вспыхнула, поставила стакан, покосилась на мать.

— Ну и что? — сказала Вера угрюмо.— Я дружу с Сергеем... Ну и что из этого? Кто вам чего наболтал?.. Я с ним дружу... Ну и что из этого?

— Ничего,— сказал Виктор Сергеевич.

Он видел, как Верин испуганный взгляд метнулся в сторону матери и как насторожилась, утеряла вежливую улыбку Настасья Степановна, он видел это и, замолчав, опять прижал подбородок к груди. Настасья Степановна теперь смотрела на дочь и ждала от нее объяснений, и следователь со своими вопросами ее не интересовал, то есть интересовал, но как некое подсобное средство, которое могло бы прояснить неизвестные ей стороны жизни дочери. Вера же сидела воинственная и надувшаяся.

— И все же, Вера, вы обязаны мне ответить,— строго сказал Виктор Сергеевич, —была ли у вас с Сергеем Ржевцевым половая связь?

— Да! Я жила с ним! — с вызовом выговорила Вера.— Ну и что?

— Ладно... А какого числа вы родились? — спросил Виктор Сергеевич.

— В декабре, семнадцатого числа,— сказала Вера.— Была холодная погода и еще что-то было. Дождь не шел.

— Угу,— кивнул Виктор Сергеевич, не оценив ее дерзости.

Потом он еще что-то спрашивал, о каких-то пустяках, говорил опять вяло, словно стараясь успокоить Веру, а она не успокаивалась, думала о Сергее и о том, что о ней судачат сейчас в Никольском, досадовала, что сказала: «Я дружу с Сергеем»,— может быть, сглазила их с Сергеем отношения, надо было сказать: «Я дружила с Сергеем до вчерашнего дня»; она боялась новых вопросов о Сергее, но и хотела, чтобы следователь спрашивал ее о нем.

— Ну, хватит на сегодня,— сказал Виктор Сергеевич.— Остается мне составить протокол, а вы прочтите и подпишите.

Когда Настасья Степановна подписала протокол, он встал, и лицо у него было такое, что неизвестно еще, кто кому надоел, он ли Навашиным или Навашины ему. Папку свою из гладкого черного кожзаменителя с незастегнутой «молнией» он взял со стола неаккуратно, и из нее на пол посыпались бумаги, ни одной из которых во время разговора Виктор Сергеевич не вытаскивал. «Вот черт!» — проворчал Виктор Сергеевич и неуклюже присел к своим

бумажкам, стал запихивать их в папку. Вера не сдвинулась с места, а мать тут же нагнулась в ретивом стремлении помочь. «Ну что вы, Настасья Степановна, я уж сам, я сам!»

Потом Виктор Сергеевич долго стоял у двери, не говоря ни слова и как бы вспоминая, все ли он задал вопросы и все ли поднял бумаги.

Вера с матерью проводили Виктора Сергеевича до калитки, руку ему пожали, обменялись вежливыми словами.

— Вот уж,— сказала мать, вернувшись в комнату,— как одно началось, так все и пойдет.

— Что? — рассеянно спросила Вера.

— Непутевый следователь-то. Хитрый не хитрый, а непутевый.

— Откуда ты сразу поняла?

— Сразу-то и поймешь...

— Брось ты это.

— Я тебе вот что скажу. В милицию мы опоздали. Там уж побывал кто-то до нас. Может, от Колокольниковых, может, от Чистяковых. Вот и сунули тебя в прокуратуру, и следователя подобрали на ихнюю сторону...

— Опять ты за свое.

— А за чье же, как не за свое! К нам он явился только к вечеру, а с утра облазил Никольское да все, что ему хотелось, повыспросил.

— Напрасно ты...

— Что ж я, слепая, что ли, или еще какая? Я вижу... А ведь ему такое могли навыдумать... Одних Монаховых возьми. Или Чугуновых. Или Творожиху!

— Мне бояться нечего. Я не виновата.

— Виновата не виновата, а так все повернут, так ославят! Им своих защищать надо...

— Мать, я тебя прошу, давай кончим думать об этом следователе. Ну его к лешему. Хуже, чем есть, мне не будет. Выкарабкаемся как-нибудь. Главное — нам с тобой живыми быть. И здоровыми. Ты меня поняла?

— Поняла,— печально сказала мать.

Потом она спросила:

— Может, отцу написать?

— О чем?

— О тебе. Может, приедет или поможет. Он хотя и беспутный, но деловой...

— Не надо,— нахмурилась Вера.— Нечего унижаться. Слушай, мне эти разговоры надоели. Хватит мне следователя. Я ни в чем не виноватая, и мне на все наплевать. А как тех накажут, посмотрим, спешить некуда. И хватит. Нервы побереги, поняла? И давай перекусим. Девки под окном, как голодные кошки, ходят...

Мать проворчала что-то в ответ, может быть, Верин резкий тон обидел ее, но спорить она не стала, а вздохнув, пошла на кухню. Жара томила по-прежнему, грозовая туча, обещанная следо-

вателем, так и не явилась. Ужинали молча, и младшие сестры молчали, даже Надька, хоть она и ерзала нетерпеливо на стуле и поглядывала со значением на Веру с матерью, будто знала то, о чем они не знали, однако побаивалась открыть рот — вдруг старшая сестра своей тяжелой рукой оборвет ее высказывания. В глазах Надьки были ехидинки, и Вера понимала, что Надька слышала какой-нибудь разговор про нее, но расспросить младшую сестру следовало где-нибудь наедине.

9

Вера, стараясь успокоить мать, в конце концов и себя убедила в том, что следователь не такой уж плохой человек, и никто его не подкупал, не натравливал на нее, просто разговор у него с ней был предварительный, несерьезный, ради знакомства, а главное и существенное Виктор Сергеевич скажет ей у себя в кабинете, куда он обещал ее в скором времени вызвать. И все же неприятный осадок остался на душе у Веры, особенно от вопроса об их отношениях с Сергеем, и, чтобы освободиться от него вовсе, Вера упрашивала себя забыть о следствии и суде, а думать о матери и ее здоровье и о Сергее.

Она теперь не знала, чего ей хочется — явился бы Сергей в их дом сейчас же или пусть он задержится в Чекалине еще на месяц. И того, и другого она боялась. По ее подсчетам выходило, что Сергей должен вернуться из командировки завтра. Но наступило завтра, а Сергей не приехал.

Не дождавшись его, Вера сказала себе с отчаянием: «Ну и пусть, ну и ладно, и без него проживем, если уж у него нет совести. Хоть бы он мне на глаза не попался теперь», и отправилась в город. Ей надо было в поликлинику, на процедуры и на укол, а главное — попасть к врачам, смотревшим мать, и вызнать у них все.

Она побывала у онколога, у других врачей, волновалась перед их кабинетами, ожидая приема, дрожала и, несмотря на свою сознательность, готова была молиться, чтобы у матери не было страшного. Врачи ее немного успокоили, сказали, что они ничего не утаили от матери, а какого свойства опухоль, покажет гистологический анализ, они надеются, что анализ будет хороший («На плохой, что ль, им надеяться!»), но операцию следует делать в любом случае, и Вера, как будущий медик, должна это понять. «Да, конечно»,— кивнула Вера. Здоровье матери вообще нашли не ахти каким — и сердце, и сосуды, и нервы,— и Вере («Отец с вами не живет, да?»), как человеку уже взрослому и вставшему на ноги, нужно было стараться, чтобы жизнь матери шла сытая и спокойная. «Да, да, я понимаю»,— сказала Вера.

На улице она снова жалела мать и кляла себя, обещала уберечь мать от любых волнений. «Выросла скотина,— казнила она себя,— скотина и есть. Муж у матери хорош попался, а теперь и дочка выросла!..» Сейчас она сама подумала, не написать ли отцу

в Шкотово, не упросить ли его со слезами вернуться ради матери и младших дочек, но тут же решила, что и вправду не стоит унижаться, да и вряд ли бы возвращение отца сделало жизнь Навашиных благополучной. В Никольском долго гадали, отчего это человек надумал завербоваться куда-то на Тихий океан, в дыру, провонявшую рыбой, да еще и из сытого поселка, что у столицы под теплым боком. Почти из самой Москвы. Длинный рубль в расчет не брался, потому как и на месте при желании можно было иметь любые деньги. Посчитали, что Навашин, мужик в самом соку, просто-напросто сбежал от жены, поскольку она женщина стала уже никакая. Якобы спьяну он болтал так одному из своих приятелей, и слов этих, возможно и приписанных ему, но вполне вероятных, Вера не могла простить отцу. Разводиться он не стал, может, по лени, а скорей всего, чтобы при нужде было к кому вернуться в Подмосковье. Дочерей он, видимо, любил и скучал по ним, но деньги посылал не по правилам, редко был щедрым, а подавать на него в суд мать по доброте своей не хотела. Наверняка были теперь у него в Шкотове женщины или одна постоянная баба, хитрая или, как мать, несчастная, и писать ему о тяжком положении матери и ее болезнях было бы сейчас нехорошо, унизительно и даже стыдно. Вера не хотела сообщать отцу и про свою беду, не желала ни сочувствия его, ни совета, она вообще не хотела, чтобы он узнал о случившемся. Они жили кое-как без него, проживут без него и теперь.

Сергей так и не появлялся, Вера сидела дома. Продукты мать закупала сама, видно стараясь уберечь дочь от появлений на людях и лишних разговоров, и Вера не противилась ее старанию, хотя и обещала себе не избегать никольских жителей и не бояться их пересудов. Дома было одно и то же — книги, телевизор, кухня, стирка, хлопоты на огороде,— и Вера неожиданно для самой себя заскучала по Вознесенской больнице, красностенной, похожей на крепость, и по своей несладкой службе санитарки.

Она представляла, как сердилась и расстраивалась Тамара Федоровна, главный врач Вериного отделения, узнав, что Навашиной нет на месте, а потом, когда Нина съездила в Вознесенское и рассказала о Вериной болезни, с какой неохотой поставила в Верину смену Нюрку Слегину. Нюрка относилась к своему делу цинично, нянечкой работала без году неделю, а уже набралась, как говорила Тамара Федоровна, равнодушия. Нюрка Слегина вела себя нагло, знала, что медперсонала в больнице не хватает и никто ее не уволит, не боялась даже врачей и выказывала себя чуть ли не главным человеком в отделении. Впрочем, врачей-то она не боялась, зато боялась Веру, та могла ее и высмеять, и осрамить при народе. Поэтому сейчас вряд ли для Вериных больных, особенно для тех, кого она привечала на Нюркиных глазах, наступили лучшие дни.

Хотя ей-то, говорила Вера себе, что теперь до этого... И все же она думала о том, что Нюрка наверняка обижает сейчас безответного тихоню Федотова, контуженного под Клайпедой, к кото-

рому каждое воскресенье, пренебрегая мытарствами в электричках и автобусах, добиралась из Мытищ с дешевенькими гостинцами в авоське мать, семидесятилетняя старушка,— при виде ее глаза у Веры становились влажными. Федотову нужны особые слова и ласковые руки, а Нюрке что он, что другие больные — уже и не люди вовсе, а так, чокнутые, психи, которых все равно не вылечишь. Да разве Нюрка закупит все, как надо, в вознесенском гастрономе, куда санитарки и нянечки отправлялись каждый день в мертвый час с наволочкой и списком заказов больных на клочках бумаги.... Небось Флорентьеву она возьмет «Прибой» вместо обязательного «Беломора», а Григоровичу забудет варенье. И, наверное, в пятой палате не сменит белье, раз уж она, Вера, не успела этого сделать. Да и рубли с больных потянет.

Вера понимала, что, может, и не Нюрка подменяет ее сейчас и, может, она преувеличивает Нюркины пороки, и тем не менее мысли о больнице текли в прежнем русле — Вере все представлялось, как там безобразничает без нее Нюрка. Вера никак не могла признаться самой себе в том, что она скучает по Вознесенской больнице и по своей службе и что вообще она, видимо, любит эту больницу и ее людей. Вера ругала Нюрку и этим как бы признавала, что без нее, Веры Навашиной, ее больным сейчас, наверное, живется хуже. А значит, что-то у нее получается, и это хорошо.

Даже Нине, навещавшей ее, Вера принималась рассказывать о своей больнице, чего раньше никогда не делала. Расспрашивала она о подробностях Нининого визита в Вознесенское, что она там видела, с кем говорила и как ей понравилась Тамара Федоровна. Чувство нахлынувшей любви к больнице и своему делу удивляло Веру, но и радовало ее, обнадеживая некиим просветом в будущей мрачной жизни.

Нина приходила к ней, как всегда, ладная, ухоженная, одетая будто в театр, приносила новости. Мать на Верины вопросы отвечала односложно, у сестер Вера и не желала ничего выпытывать, а Нина все знала, умолчать же о чем-либо было выше ее сил.

— Рожнов, говорят, ходит в военкомат. Просит, чтобы его срочно забрали в армию. Он-то единственный совершеннолетний...

— Этот сбежит... Кого хочешь обдурит...

— Никуда не сбежит,— категорически говорила Нина.— Сейчас на них характеристики оформляют.

— Соседи, что ли?

— Ну да, соседи. На Колокольникова, скажем, сочинит Творожиха.

— Она неграмотная.

— Это я так, к примеру... Ну и что — неграмотная. У них соберется военный семейный совет. И Творожиха, конечно, подаст голос из угла, как выручить ребеночка, а тебя очернить...

— Неужели так все и за них?

— Ну что ты! И родители-то их волками смотрят на своих парней. Но ведь жалко. Всех жалко. И тебя жалко. И их. Ведь посадят. Жалко.

— Тебе тоже, что ли, их жалко?

— Могла бы и не спрашивать. Но вообще-то я жалостливая... А есть в Никольском которые и против тебя. Есть. Кому твой папаша насолил, кто считает, что все зло от баб, кто просто так.

— А мне на них наплевать, поняла?

— Чего ты на меня-то злишься!

Вера сердилась, однако, не на Нину. Хотя она и убеждала Нину с матерью и себя саму, что ее нисколько не волнуют разговоры никольских жителей, они ее волновали, и Вера, стараясь показать, что все высказывания о ней соседей, знакомых и малознакомых она принимает с безразличием и даже с презрением, все же выспрашивала Нину, кто и что о ней говорит.

Каждый раз Вера ждала, что Нина скажет ей про Сергея, и каждый раз боялась этого. Вдруг кто-нибудь видел Сергея в Никольском, или в городе, или в электричке... Вдруг он уже вернулся из Чекалина, узнал о случившемся и не желает появляться в Никольском... Нет, Нина Сергея не видела и ничего не слышала о нем, она, как и Вера, была удивлена его задержке,— наверное, чего-нибудь недоделали, не поставили по забывчивости пять столбов, аврал в последнюю минуту, и еще предложат остаться на месяц в Чекалине. «Может быть, может быть»,— кивала Вера.

Забегали и другие девчонки, приятельницы по школе и соседки, сочувствовали или просто болтали, но никто из них не радовал своим приходом так, как Нина. «Хорошая она все-таки у меня,— думала Вера о ней с теплотой,— добрая и хорошая». По-прежнему Нина удивляла ее своими нарядами, новыми чуть ли не каждый день. Вера знала, что денег у Нины с матерью немного, а вот из ничего, из старого и из дешевого, Нина умела шить такие платья, блузки и юбки, что Вера чувствовала себя рядом с ней замарашкой. Нина была прежней, но и как будто бы иной, изменившейся или, быть может, в чем-то изменившей себе. Порой Нина смотрела рассеянно в пустоту, думала о своем, а в глазах ее молчала печаль и жалость — к кому, неизвестно, возможно, к Вере, а возможно, и к себе самой. Нина ни разу не предложила подруге съездить в Москву — развлечься на демонстрации польских мод, или посидеть в кино, или просто пройтись знакомыми магазинами. Вера отказалась бы, но Нина ни о чем таком разговор и не завела, удивив Веру. «А впрочем, мне-то что,— подумала Вера,— мое-то дело конченое...»

10

Но ведь могло с Сергеем и что-нибудь случиться.

Вряд ли, говорила себе Вера. Что уж там с ним такое может стрястись? С ней — да, стряслось. И она не Нина. Это только в Нининой сентиментальной голове могли бы появиться мысли о том, что если с ней случилось несчастье, то уж и на любимого ею человека в ста двадцати километрах от Никольского в ту же самую минуту непременно упадет кирпич. Вера же полагала, что, наобо-

рот, раз уж у нее беда, то, значит, у Сергея все обстоит хорошо. Так она успокаивала себя, упрашивала перестать думать о Сергее, перестать ревновать его неизвестно к кому или к чему, перестать бояться того, что с приездом Сергея все изменится к худшему в ее жизни, но и не надеяться на хорошее. Спокойствие и благополучие дома, жизнь и болезнь матери, считала Вера, зависели только от нее одной. Вера рвалась уже на работу, уколы она и сама могла делать себе, велика задача, она ведь училась на медсестру и колола в Никольском больных. На работе она собиралась поговорить с хорошими врачами о матери, а в случае нужды и достать в больнице редкие импортные лекарства.

И она отправилась в город с намерением закрыть больничный лист. Ей казалось, что она чувствует себя лучше, боли меньше беспокоили ее, а может, она с ними и свыклась. Вера зашла и к врачам матери. Ее тревожило то, что мать готова была потянуть с операцией — то ли из-за страха перед ней, то ли желая дождаться дня, когда дело старшей дочери получит наконец ясный и положительный ход.

Врачи о матери не забыли, она стояла у них в очереди, но место для нее пока не освободилось. Вера вслух поворчала, однако известие это ее неожиданно обрадовало. Больничный лист Вере не закрыли, сказали: «Не спешите, не спешите...»

— Как же «не спешите»! — расстроилась Вера.— Легко сказать «не спешите»!

Она побрела по городу, по скучным его улицам, горбатым и коротким, не зная, куда податься и на что взглянуть, сразу же возвращаться в Никольское не хотелось. Тоскливо ей было. Город походил сейчас на проходной двор или, вернее, на проезжий двор, если такие существовали. Шуму, суеты и бензинного духа в нем было больше, чем в Москве, да только там суета и шум радовали. Когда-то... Тесное государственное шоссе давно уже отвели подальше от города, в березовые рощи и картофельные поля, у северных и южных застав для проезжих водителей повесили плоские кирпичи на черных орудовских сковородках, а все равно в городе тише и спокойней не стало. По-прежнему отовсюду неслись машины, все больше грузовые, потрепанные и свеженькие, лихие и флегматичные, гремели, дребезжали, норовили проскочить на желтый свет, действовали соседям и пешеходам на нервы. А уж Вере все действовало сейчас на нервы. Толпа, еще несколько дней назад радовавшая Веру, опьянявшая ее, сейчас угнетала, и Вера дважды давала выход своему раздражению, громко и обидно обругав рассеянных деревенских теток, налетевших на нее. Все же, по невытравленной еще привычке, она зашла в кое-какие магазины и даже постояла у прилавков без цели и необходимости, а просто так. В конце концов толпа завлекла ее в знакомый магазин галантереи, и в отделе белья на несколько минут Вера застыла перед чудесным немецким гарнитуром за сорок пять рублей. Когда она, расстроенная прозрачным, с кружевами видением, выбралась на улицу, у нее чуть не отнялись ноги.

По той стороне шел Сергей.

Она сначала почувствовала, что Сергей где-то рядом, а потом уже увидела его.

Он шел один, то есть он шел в толпе, но он был сам по себе, ни с каким приятелем, ни с какой женщиной, шагал не спеша и как бы рассеянно, наклонив голову, и казался Вере обиженным или расстроенным. Он был в голубоватой нейлоновой финской рубашке, которую Вера однажды стирала, а перед самым отъездом Сергея в Чекалин пришила к ней пуговицу, вторую снизу, хотя Сергей и говорил, что такой пустяк он может сделать и сам. Галстук по нынешней моде — широкий и короткий, с толстым узлом — Сергея, видимо, тяготил, и он отпустил узел, а пуговицу расстегнул.

— Господи, Сергей...— шептала Вера, стояла остолбеневшая, думала о том, что ей непременно тут же надо исчезнуть, убежать, улететь, но, как во сне, не могла сдвинуться с места. Она знала, что сейчас Сергей поднимет голову, остановится и увидит ее, не сможет не увидеть ее, она боялась этого, а Сергей так и не взглянул в ее сторону. «Надо бежать, бежать, пока он меня не заметил»,— говорила она себе, но понимала, что если бросится бежать, тогда уж Сергей точно обратит на нее внимание и узнает ее, не помешают ему ее жалкая маскировка — монашеский платок и черные очки, прикрывшие синяки. И все же она сдвинулась с места, пошла от двери галантерейного магазина, тихим шагом, напряженная, прямая, ничего не видела, сердце ее стучало, а ноги подгибались, но надо было идти, надо было дойти, добрести до первого угла, до первого спасительного переулка... Она прошла метров сто до стеклянных витрин булочной с запыленными кренделями и ситниками, оставалось пять шагов до поворота, и тут она чуть было не смалодушничала, чуть было не нырнула в дверь булочной и все же, победив искушение, добрела до Калужской улицы и, свернув за угол, бросилась бежать прямо по мостовой. Она пронеслась добрую половину улицы, пустую на ее счастье, обернулась и увидела, что никто за ней не гонится и никто не просит ее вернуться. Она остановилась, прислонилась к корявому невысокому тополю и заплакала.

— Тетенька, вы чего? — Мальчишка на самокате подъехал с интересом.

— Ничего,— сказала Вера.— Поезжай откуда приехал.

Она снова посмотрела в сторону булочной и, никого там не увидев, пошла к вокзалу, спешила, боялась упустить электричку, говорила себе: «Скорее, скорее в Никольское, домой, домой!»

А почему обязательно домой, почему нельзя было подойти к Сергею — этого она не могла объяснить себе; впрочем, она и не задумывалась — почему, она просто сбегала... В электричке она все вспоминала, как она сначала почувствовала, что Сергей рядом, а уж только потом увидела его. И теперь ее удивляло то, что Сергей не заметил ее, ведь он был в двадцати метрах, через дорогу, и не только не заметил, а даже и не почувствовал ее присутствия, не

вздрогнул, не остановился, ничто его не толкнуло, когда она вышла из магазина. Это ее не только удивляло, но и удручало, она просто не могла понять, как это она его ощутила — шестым, седьмым или каким там, но уж непременно самым главным чувством, а он вовсе не ощутил ее присутствия, будто бы она была для него неживым предметом. Он не побежал за ней. Да и зачем ему было бежать? «Значит, он не любит меня»,— решила Вера.

Не то что не любит, но и вообще, видно, она ему безразлична, если он ее не почувствовал. Она ведь не смогла его не почувствовать. Так размышляла Вера в электричке, мучилась, и хотя и говорила себе: «Ну и пусть, ну и подумаешь!» — успокоиться не могла, готова была не ждать автобуса, а бежать, бежать домой, не стыдясь встречных, по унылой Никольской дороге с горькими голубыми цветами цикория у пыльных обочин.

Но автобус был уже на остановке, за десять минут довез до места. Дом стоял пустой, мать ушла на фабрику, безнадзорная Надька гуляла где-то, а Соню Вера, глянув в окно, увидела на огороде у дальнего забора. Там росли помидоры, благо вокруг не было деревьев и ничто не мешало солнцу, там же частью были посажены и огурцы, и теперь Соня поливала их. Когда-то отец то ли с перепою, то ли просто так, от непонятного ему самому душевного зуда, принимался за домашние дела и по нескольку дней трудился на огороде; в один из таких приступов хозяйственной озабоченности он прикрутил к водопроводному крану резиновый шланг, плохо где-то лежавший или выменянный на четвертинку. Клумбы и ближние гряды поливали из шланга, до дальних его струя не долетала, приходилось носить лейки и ведра. Соня и мучилась сейчас на жаре с лейкой,— может, мать попросила полить ее огурцы, а может быть, надумала сама. Росла она работящая и совестливая, к жизни и ее заботам, как и мать, относилась всерьез. Глядя на Сонину напряженную худенькую фигурку, Вера снова почувствовала, как она любит Соню и как ей жалко среднюю сестру. Хотя Вере и было не велено поднимать тяжести, она непременно бы подсобила Соне, но сейчас, после поездки в город, ей не хотелось выходить из дома, даже во двор. Она крикнула в окно сестре:

— Слушай, я лягу. Если кто ко мне придет, скажи — ее нет.

— И Нине?

— Ее пусти.

— Ладно,— кивнула Соня.

Она больше не спросила ни о чем и ничего не сказала, полную лейку, поблескивающую серебром, понесла к забору. А Вера пошла в свою душную комнату и, скинув стоптанные и запыленные туфли, легла на кровать. Теперь она была недовольна собой, никак не могла объяснить себе, почему она так малодушно сбежала из города, почему неслась как угорелая, будто за ней кто-то гнался, чего боялась. «Нервы, что ли, совсем у меня разошлись? — думала Вера.— Зачем я бежала? Зачем я прячусь?» Она возмущалась своим малодушием, она задавала себе сердитые вопросы, а

отвечать на них не отвечала, да и ничего не могла бы ответить, сердце ее колотилось, и снова виделся ей Сергей, приодетый, в чистенькой рубашке с галстуком в жару, шагавший, опустив голову, по тротуару напротив, и снова думала: «А он не почувствовал, что я стою у магазина. Я как вышла на улицу, так сразу поняла, что Сергей здесь. А он меня не почувствовал...»

Пришла с работы мать, гремела чем-то на кухне, потом отправилась на огород, а может, стала кормить кур. В прежние времена, даже самые благополучные для Навашиных, лежание дочери на постели без дела и днем было бы расценено матерью как чрезвычайное происшествие, как явление позорное и безнравственное. За него следовало стегать ремнем. Если и случалось такое с Верой, мать сейчас же обрушивалась на нее: «Во, разлеглась! Тебе бы в нашей деревне расти, тебе бы показали! Валяйся, валяйся, еще мужа заведи себе лодыря, и будете вы с ним на диванах полеживать».

А вот теперь Вера лежала на постели, ничего не желала делать и не могла. Вернуть бы прошлое, хоть и с руганью матери, и ругань бы эта сейчас была сладка.

Во дворе или в прихожей возник разговор, голос матери звучал громче, кто-то отвечал ей вполголоса, но вроде не Соня. Вера подняла голову, прислушалась. Или показалось? Показалось, слава богу... Однако тут же вошла Соня и сказала: «Тебя спрашивают».— «Меня нет! — закричала Вера.— И долго не будет!» — «Да понимаешь,— покачала головой Соня,— мама сказала ему, что ты тут. Парень там один...» — «Какой парень?» — «Да как тебе сказать... Белобрысый такой, блондин... а может, русый... скорее каштановый...» — «Ну ладно, иди поливай!» — проворчала Вера.

Соня исчезла. И тогда вошла мать, а за ней Сергей.

— Милости просим,— кивнула Вера.

— Вот к тебе товарищ,— сказала мать.

Вера встала, одернула юбку.

— Здравствуй, Вера,— сказал Сергей.

— Здравствуй...

Помолчали.

— Вот, понимаешь,— сказала Вера матери,— это Сергей.

— Очень приятно.— Мать протянула Сергею руку.

— Сергей,— сказал Сергей.

— Ну вот,— сказала Вера,— Сергей. А фамилию-то его я и не помню.

— Как же так? — спросил Сергей.

— Что-то она у меня из головы вылетела за последние месяцы.

— Ржевцев моя фамилия,— сказал Сергей.— Совсем не трудная.

— Точно! — как будто бы обрадовалась Вера и повернулась к матери: — Точно, Ржевцев. А я-то думала — то ли с рожью, то ли с ржавчиной она у него связана.

— Это она шутит,— сказала мать Сергею, улыбнувшись извинительно, робко.— От нервов у нее. Она вас все ждала...

— Будто мне и ждать больше некого!

— Зачем ты так? — расстроилась мать.

— Зачем? — сказала Вера.— Это я от радости.

— Нехорошо так.— Мать сердилась, но и жалела при этом и дочь, и Сергея.— Если я мешаю, так я уйду.

— Твое дело,— сказала Вера. Потом добавила: — Никто тут никому не мешает.

Она замолчала, видела, что Сергей смутился и не знает, как ему быть, он вообще говорун был не из важных, а теперь ее атака, видимо, выбила из головы Сергея все приготовленные им слова. Вера и сама растерялась, хоть вспоминай вслух припевку: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался...»,— дождалась, точно, а дальше что? Мать даже после обидного вопроса следователя ни разу не завела разговора о Сергее, удивив Веру неожиданной деликатностью, но теперь ее присутствие смущало Веру, и мать это, наверное, поняла. Но в то же время Вере хотелось, чтобы мать ушла не сразу, чтобы прежде Сергей каким-нибудь словом, пусть неловким, показал бы матери, что его отношение к ее дочери серьезное, что он не чужой в их семье.

— Пойду я,— сказала мать как бы самой себе.

— Жалко, Настасья Степановна,— спохватился Сергей,— что знакомство у нас с вами происходит такое невеселое...

— Я тут, в огороде, буду с Соней, дела у нас там,— сказала мать и на секунду остановилась, словно бы давая ему понять, что не по ее вине не получается знакомство и что в случае нужды ее можно будет кликнуть с огорода.

— На огороде так на огороде,— сказала Вера торопливо, выпроваживая мать. Последние слова Сергея ее не обрадовали, а, напротив, насторожили. Отчего же, считал он, знакомство получалось невеселым: оттого ли, что она, Вера, встретила его нынче неприветливо, или оттого, что сам он, узнав о ее беде, все обдумал не спеша и приехал, чтобы прекратить их отношения?

Мать постояла еще немного, оглядывала Сергея, привыкала к нему, а потом вздохнула и вышла.

— Что ты? — сказал Сергей.

— А что? — спросила Вера с вызовом, подошла к окну, стояла теперь спиной к Сергею.

— Зачем глаза прячешь?

— Чегой-то мне прятать-то их! — Вера обернулась резко, глядела на Сергея, губы сжав в презрении.

— Верка! — сказал Сергей.

Он подошел к ней, обнял ее, стал целовать ее и что-то ей говорил, а она уже не слышала его слов, и что они значили, было ей неважно, она прижалась к нему, повторяла: «Сережка, Сережка!» — и смеялась, и плакала, гладила ему руки, и все, что передумала она в последние, горькие дни о Сергее, все, что ее мучило и злило, все, что тлело надеждой и распухало в гордыне, все это улетело сейчас легким облаком и растаяло вдалеке.

— Ты все знаешь, да? Знаешь?

— Знаю.
— Ты мне веришь? Скажи — веришь?
— Верю.
— Не бросишь меня теперь? Не прогонишь?
— Что ты...
— Спасибо, Сереж, спасибо, милый,— говорила Вера с нежностью и все глядела в серые Сережины глаза, не могла утолить жажду.
— Кушать хочешь? — спросила вдруг Вера.— А то, может, голодный?
— Нет,— сказал Сергей.
— Я бы скоро приготовила.
— Правда, не надо.
— Когда ты вернулся?
— Вчера вечером. Задержали нас. Я уж хотел уехать, да нельзя — я за бригадира.
— Все время, что ли, у тебя работа будет в разъездах?
— Пока в разъездах. Но работа неплохая. А потом еще на когонибудь выучусь, поступлю в вечерний техникум. Или заочный.
— Лучше уж на одном месте. Где твой дом, там и работать.
— Пока холостой, можно...— сказал Сергей и замолчал.
— Ну да, ты же холостой,— кивнула Вера.
Опять она вспомнила сегодняшнюю суету районной столицы, себя на пороге галантерейного магазина и Сергея напротив, в толпе, под липами, дурманящими в последние дни голову медовым запахом, и снова, размыв минутную радость, вернулось отчаяние, безысходное и оттого властное.
— Ты был сегодня в городе?
— Был.
— И по Московской улице шел?
— Шел.
— И меня не заметил?
— Ты была в городе?
— Да, была,— сказала Вера.— И тебя видела.
— Почему же ты не подошла ко мне? Хоть бы окликнула...
— А потому,— в Верином голосе звучала обида,— а потому, что я сразу почувствовала, что ты рядом, а ты не только не увидел меня, но и не почувствовал, что я здесь.
— Ну, и что?
— Как что? — возмутилась Вера.
— Ну, подошла бы...
— Что же мне подходить к тебе, если ты меня даже и не почувствовал!
— Зря ты это...
— Ты даже ничего не понимаешь...
— Ну хорошо, ну, прости... Шел рассеянный, ехал к тебе, а тут, в городе, мне все рассказали...
— Хоть бы поглядел в мою сторону...
— Что-то кольнуло меня, а вот не поглядел.

— Значит, ты только вчера из Чекалина?
— Вчера.
— Вчера?
— Верк, что ты вбила себе в голову?
— А может, и не вчера? Может, в тот самый день, как ты и обещал? Но узнал обо всем, да затаился, перепугался и вот только теперь надумал показаться...
— Раньше ты мне верила...
— Раньше и ты мне верил...
— Для меня в тебе ничего не изменилось.
— Ах, так?! Значит, ничего не изменилось? Значит, со мной ничего и не произошло? Так, пустяк?.. Я-то надеялась: вот Сергей приедет — он сразу отплатит этим четверым...
— Я и приехал. Надо — так и отплачу... Но прежде нужно было посоветоваться с тобой...
— Мог бы обойтись и без советов!
— Зря ты так...
Она и сама подумала, что она зря распаляет себя, Сергей-то здесь в чем виноват? Но подумала так на мгновение и тут же устранила примирительную мысль, загнала ее в дальний уголок души, рассудила: а то как же не виноват! Если бы Сергей приехал вовремя, если бы оставил свои столбы в Чекалине, не было бы у нее нужды ходить на вечеринки, искать развлечений, и не стряслось бы с ней беды, да вдобавок ко всему сегодня в городе он опять же предал ее — не увидел, не почувствовал ее, не побежал за ней. Гневная, взволнованная стояла теперь Вера перед Сергеем, была готова выгнать его — и уж навсегда, в эти секунды она не помнила о своих горьких думах в последние дни, о своих страхах и надеждах, она на самом деле могла выгнать Сергея, а как бы все пошло дальше, ее сейчас не интересовало. Она бы тут же выгнала его, если бы заметила, что слова ее вызвали раздражение Сергея, если бы он высказал ей свою обиду, если бы губы его покривились, но Сергей стоял неожиданно робкий, подавленный, как будто бы он пришел к ней просить прощения и уже не надеялся это прощение вымолить. Внезапная Верина ненависть к Сергею стала утихать, но утихнуть совсем не смогла.
— Я отплачу, если хочешь,— сказал Сергей.— Но надо, чтоб был суд.
— Суд...
— Не считай меня трусом. Или считай кем хочешь... Но пойми, что суд лучше всего...
— А если не пойму?
— Поймешь...
— Ну хорошо. Суд — значит, суд...
И ведь она уже смирилась с мыслью о неизбежности следствия и суда как пусть мучительного, но единственного, из-за болезни матери, выхода из нынешнего своего положения. Еще вчера, думая о встрече с Сергеем, она и не собиралась просить его о мести четверым парням, напротив, она хотела уберечь Сергея от

какого-либо безрассудного поступка. Сейчас же она упрямо и даже с вызовом упрекала его в нежелании рисковать ради нее, понимала, что упреки ее имеют одну цель — получить от Сергея доказательства его любви к ней и того, что любовь его осталась прежней, и это было нехорошо, противно, но поделать с собой она ничего не могла, дурное, ненасытное чувство забрало Веру и командовало ею.

— Не мог я вернуться раньше,— сказал Сергей.

— Значит, для тебя во мне ничего не изменилось?

— Ничего...

— А если бы во мне... от этого... от всего... остался ребенок? Что бы тогда сказал?

— То же бы и сказал.

— А если он и остался?

— Слушай, знаешь что, я вот тебе что хотел сказать..— Тут Сергей замолчал, а Вера, взглянув на него, заметила, что он волнуется.— Знаешь что... Мы этого с тобой не обсуждали... Но давай, как только тебе исполнится восемнадцать, поженимся. А? Если ты согласна... Я серьезно...

Она и сама видела, что последние слова Сергея были самыми что ни на есть серьезными, и дались они ему тяжело, это она тоже видела, он долго готовился произнести их и вот как будто бы свалил ношу с плеч.

— Я ведь тебя люблю,— сказал Сергей.— Я по тебе соскучился, ты и не поймешь, как...

— А я не соскучилась!.. Сережка!..

Она шагнула к Сергею, и прижалась к нему, и опять обо всем забыла на мгновение,— ничего и не случалось в доме Колокольникова, не переломилась ее судьба, а было одно — она ждала Сергея, скучала по нему, тосковала по его словам и ласкам, лишь в этом была ее жизнь, и теперь в жарком порыве она желала снова стать его женой, она ничего не боялась, ничто бы ее не остановило, не пугало ее и то, что в комнату ненароком могли заглянуть мать или сестры, и не потому, что она потеряла стыд,— просто для нее не стало никаких людей на земле, а любовь Сергея была ей теперь необходима, она могла бы принести ей очищение, она могла вернуть ей ее прежнюю жизнь, она вернула бы ей Сергея. Вера ласкала Сергея, ерошила ему волосы, целовала его, шептала какие-то слова и слышала знакомые слова в ответ, но вдруг она почувствовала, что Сергей целует ее не так, как целовала она его и как целовал он ее прежде.

Она отступила на шаг.

— Ты брезгуешь мной?..

— Верка...

— Ты все мне врал!

— Верка...

— Значит, ты не веришь мне и не простил меня!

— Зачем ты так?

— Уходи — и навсегда! Знать я тебя не знаю и видеть больше не хочу.

— Верк,— сказал Сергей твердо,— ведь я и уйду.

— Уходи! Беги! Брезгуешь мной... Проживем без таких знакомых!

— Ладно,— сказал Сергей.— Извини, что не угодил. Если будет нужда, позови.

И ушел. Дверью не хлопнул, а так, в сердцах, с той стороны резко толкнул ее, затворил темницу, вылетел ясный сокол в чистое небо, оставил одну, горемычную. Вера упала на кровать, заплакала; кончить бы ей все разом и просто, но мысль о матери и сестрах держала ее в жизни, не было бы этой заботы — все полетело бы в никуда.

11

Следователь Виктор Сергеевич Шаталов кроме никольского дела занимался еще и дракой, случившейся полтора месяца назад возле клуба стекольного завода.

И там история была с подростками, впрочем, как и все истории, которые Виктор Сергеевич должен был расследовать по долгу службы.

Виктор Сергеевич был коренной москвич и сейчас жил в Москве, но каждый день поутру отправлялся за тридцать километров от дома на электричке с платформы Каланчевской. Случилось так, что после окончания университета,— а учился он в старом здании на Моховой,— его распределили в пригородную районную столицу, юристом на экскаваторный завод. Там он проработал два года, из Витьки превратился в Виктора Сергеевича, уважаемого товарища, но обязательные финансовые дела, собесовские тяжбы, жилищные хлопоты наскучили ему, не подходил он к ним.

И тут один из новых приятелей поманил его пойти следователем в районную прокуратуру. Не то чтобы мерещились Шаталову на новой службе рискованные приключения, на манер приключений героев Агаты Кристи и Сименона, но он не отказался бы и от них. Однако же выпадали приключения редко, да и чересчур запутанные детективные клубки тоже доставались ему не часто. Дело Шаталов имел с подростками, а их проступки и преступления совершались обычно в пьяном виде или по глупости, в состоянии бесшабашной лихости, и улик «подопечные» Виктора Сергеевича оставляли после себя достаточно. Но как-то потихоньку выяснилось, что интереснее распутывания детективных клубков ему было возиться с ребятами, которые могли стать преступниками или уже стали ими по случаю, возиться с ними и возвращать их на путь праведный. За семь лет работы в прокуратуре у него появилось много «крестников», знакомые говорили ему, что он ошибся институтом, следовало поступать в педагогический. Виктор Сергеевич отшучивался. Пытаясь сам для себя уяснить, почему все именно так, а не иначе идет в его жизни, он полагал, что

его потребность возиться с ребятами имеет, видимо, существенные причины. Наверное, сказывалось тут и то, что сам он вырос без отца, погибшего осенью сорок четвертого в Польше, вырос на Большой Переяславке, известной в войну, да и в послевоенную пору своей разбойничьей славой, и много горечи испытал в детстве. Сказывалось тут и то, что у них с Леной детей не было и не предвиделось. Виктора Сергеевича тянуло не только к забавным малолеткам, но и к тем, кто уже начинал считать себя взрослыми мужчинами и женщинами. Конечно, Виктор Сергеевич мог работать с подростками и в Москве, поближе к дому, но человек он был чрезвычайно тяжелый на подъем и так привык к своему району, так узнал его до последней деревни, до последней проселочной дороги, что и думать перестал о переводе в Москву. К тому же в Москве многие его знакомые тратили по часу, а то и по полтора на дорогу из дома в учреждение, у него же выходило сорок минут на электричке, благо платформа Каланчевская была рядом с его квартирой.

Заявление о драке возле клуба стекольного завода подали братья Залогины, пролежавшие после драки в больнице один две недели, другой — три. Они просили наказать своих обидчиков и заставить их уплатить деньги на лечение. Дело теперь Виктором Сергеевичем было закончено, и по его соображениям судить следовало именно избитых Залогиных.

В клубе вечером того памятного дня показывали фильм «Виниту — друг индейцев». За полчаса до открытия кассы понасыпало к клубу мальчишек. И тут появился известный в поселке здоровяк Сеня Залогин, шестнадцати лет, и пожелал встать у кассы первым. Ему возразили. «Что?» — удивился Залогин и оглянулся, скривив губы. Ему было все равно, на ком показать свою силу, но уж особо не понравился ему в ту минуту его ровесник с Цементной улицы Николай Матвеев. Он давно ему не нравился, и не по какой-либо причине, а просто так. «Это ты, что ли, шипишь?» — спросил Залогин, подошел к Матвееву, схватил его за рубашку и раза два крепко, со звуком, приложил к стене. Однако Матвеев и его соседи вытолкали Залогина за дверь. «Ну ладно!» — сказал им Залогин, злой, поспешил домой, жаловаться старшему брату. А брат его, крепыш Залогин Алексей, слыл в поселке хулиганом и задирой, связываться с которым никогда не советовали. Братья пришли в клуб воинственные, но и как бы спокойные, при ясном сознании своей силы. «Вот этот и вот эти»,— показал младший Залогин. «Давай»,— сказал старший. И младший принялся бить Матвеева, а потом приступил к делу и старший брат.

Очередь возмутилась, с поселковой площади прибежали приятели Матвеева и прочих обиженных, и драка пошла горячая, пока ее не прекратили взрослые. Попало и тем и тем, но больше Залогиным. Залогины написали бумагу с жалобой на дикую расправу. Виктор Сергеевич опросил десятки свидетелей и был убежден, что раз инициаторами драки, а поначалу просто избиения более слабых ребят были братья Залогины, то их противники имели полное

право не только постоять за себя, но и дать зачинщикам сдачи, да так, чтобы те присмирели. К тому же и последний указ об усилении борьбы с хулиганами ясно говорил, как следует расценивать действия обороняющейся стороны. С Залогиными Виктор Сергеевич познакомился давно, знал их как людей распущенных и наглых, поселок они, особенно старший братец, держали в страхе. Милиция и Виктор Сергеевич не раз вели с ними душеспасительные разговоры, по доброте своей верили их обещаниям. Теперь пусть посидят на суде, послушают новых для себя людей.

Дело Залогиных было для Виктора Сергеевича ясным и отошло в сторону. Ничего он тут не мог изменить, да и не считал нужным облегчать судьбу Залогиных. А вот происшествие в Никольском его чрезвычайно беспокоило. Происшествие и само по себе опечалило Виктора Сергеевича, подкрепив наблюдения последних лет. Наблюдения эти тревожили его, как человека, искренне принимающего к сердцу радости и горести общества. При этом что-то смущало его в никольском деле, оно вовсе не казалось ему легким. Виктор Сергеевич знал, что встречи с семьями, в чьи дома вошла беда, радости следователю не принесут.

Ему было жалко Веру. И жалко тех трех парней.

Именно трех. Один из нашкодивших, Рожнов, кстати самый старший, был Виктору Сергеевичу неприятен, и он-то уж точно заслуживал наказания.

Виктор Сергеевич побывал и в домах ребят, обошел их соседей, съездил на их предприятия, вызывал парней в свой кабинет. Думал Виктор Сергеевич о мере пресечения. И поскольку посчитал, что теперь подростки не представляют опасности для никольских жителей, под арест их не взял, а ограничился подпиской о невыезде. Один Рожнов уклонялся от встреч с ним, прятался, упрашивал офицеров в военкомате забрать его в армию: это средство казалось Рожнову спасительным. Сколько раз на памяти Виктора Сергеевича парни призывного возраста, совершившие преступление, пытались досрочно «надеть зеленое», полагая, что в армии законы их не достанут. Все это было смешно, но иногда кому-то везло. Однажды Виктор Сергеевич месяцы потратил на то, чтобы выяснить, в какой части служит улизнувший из района преступник, потом началась морока с отзывом его с военной службы, отправкой в суд — на это все ушел год. С Рожновым Виктор Сергеевич все же дважды беседовал, и характеристики на этого наглого лысоватого молодца лежали у следователя на столе. Одна розовая, другая как будто бы правдивая.

Естественно, в материалах дела были уже характеристики на трех других парней и на пострадавшую. Все они со слов их сослуживцев и соседей выглядели примерными молодыми людьми.

«Колокольников Василий, семнадцать лет, слесарь особого конструкторского бюро по бесштанговым насосам на станции Перерва. (Вставал перед глазами Виктора Сергеевича добродушный богатырь с виноватой, как бы вынужденной улыбкой...) К работе относится добросовестно, нормы выработки выполняет, админи-

стративных взысканий не имеет, принимает участие в общественной жизни предприятия, хороший спортсмен и товарищ, учится в вечернем техникуме...»

«Рожнов Юрий, девятнадцати лет, слесарь депо на станции Перерва, активный производственник, на собраниях и семинарах вел себя правильно, в быту чистоплотен и устойчив, со старшими вежлив, пьянством не занимался...»

«Турчков Алексей, семнадцать лет, работает в механосборочном цехе автозавода. (Этот совсем щенок, белые кудряшки спадают на лоб, мучается, казнит себя...) Учится без отрыва от производства на I курсе автомеханического техникума. Всеми характеризуется исключительно с положительной стороны. Вырос в хорошей семье, учился в музыкальной школе, чрезвычайно дисциплинированный и сознательный».

«Чистяков Михаил, семнадцать лет, слесарь-ремонтник завода отопительных приборов... (Аккуратен, рассудителен, отвечает с достоинством, а пальцы дрожат...) Окончил профессионально-техническое училище, был там секретарем комсомольской группы, пользуется авторитетом, прогулов не имеет, трудолюбив...»

Ну, и пострадавшая по бумагам выходила ангелом.

Читать характеристики Виктору Сергеевичу было скучно. Тысячи подобных мертвых листочков видел он. Из нынешних выделялась только одна. Соседи и родственники писали про Василия Колокольникова: «...всегда прислушивался к наставлениям старших, маленьких не обижал, деньги мы обычно держали в открытом месте, и они у нас после посещений тов. Колокольникова В. Н. никогда не пропадали...» Тоже штамп, но хоть земной, не обточен в канцелярии.

Впрочем, листочки эти с окостеневшими словами, отжатыми протокольным прессом, Виктора Сергеевича не раздражали. Писали их люди сердобольные, но умученные формой. Он относился к этим листочкам уже спокойно, как к необходимости, заведенной не им, а кем-то более прочным и вечным. Они уходили от него в суд, и, может быть, там что-то значили, может, и падали на Фемидины весы бумажными гирьками — ему они были не столь важны. В отличие от суда, у него было время самому изучить людей, в чьи судьбы приходилось вмешиваться, и со своей нравственной колокольни попытаться понять их истинную человеческую сущность.

Никольские парни были подавлены случившимся, смяты им. На допросах о том, как все произошло, они говорили односложно. Получалось так, что они были пьяны и помнят все плохо. Они и на самом деле были, видно, пьяны, но коротко говорили они еще и потому, что теперь им было стыдно и мерзко вспоминать и думать о дне рождения. При этом они не порочили Веру Навашину. Один Рожнов — и не прямо, не в лоб, а как бы вынужденно — намекал на то, что и пострадавшая нечиста, и она своими словами, шутками, взглядами давала якобы понять, что возражать она ничему такому не будет. При этих намеках Рожнов хитрыми свои-

ми глазами успевал поглядывать на Виктора Сергеевича, пытаясь выяснить сразу же, нравятся ли эти намеки следователю или нет.

Показывали все четверо по-разному, было видно, что они не сговаривались и не сочиняли одну какую-то версию, выгодную им. Потом Виктор Сергеевич узнал, что парни вообще старались не попадаться друг другу на глаза. Понял он, что и в ту ночь между ними не было сговора, а все вышло «само собой».

Тяжелее всех, как показалось Виктору Сергеевичу, переживали случившееся в доме Турчковых. Или, может быть, Турчковы проявляли свои переживания более открыто. Во всяком случае, именно в этом доме Виктор Сергеевич вынес много слез и причитаний. Мать Турчкова Зинаида Сергеевна, машинистка районной конторы Сельстроя, маленькая, тощая женщина, выглядевшая лет на десять старше своих сорока пяти, вытирая платочком слезы, то и дело протягивала расстроенному, предпочитавшему молчать следователю какие-то похвальные грамоты Лешеньки с красным орнаментом по бокам, любительские и оплаченные по ценнику фотографии сына, все больше ранние, трогательные: вот Лешенька голенький, с апельсином в руках, вот он, закутанный и оттого круглый, как пингвин, вернулся из садика, вот он на горшке, вот он на лошадке с деревянной шашкой и в буденовке, вот он с длинными, отпущенными, как у девочки, до плеч белыми кудряшками и даже бантиком в кудряшках. «Видите, видите? — говорила Зинаида Сергеевна.— Какой он был, тихий, послушный, с такой милой мордашкой.., И вот теперь... Какой позор! Какой позор!.. Это ужасно! Это мы виноваты, это я виновата, надо было дать мальчику доучиться в школе, а мы ему разрешили на завод...» Виктор Сергеевич ей говорил что-то, а она опять протягивала ему те же фотографии и те же грамоты, и он из вежливости опять рассматривал их. «А вы не знаете, вы не скажете, сколько получит Лешенька, и какого адвоката нам приглашать, и где найти в Москве этого адвоката? Вы извините, что я именно вас об этом спрашиваю...» — «Да нет, почему же, пожалуйста,— говорил Виктор Сергеевич, стараясь не смотреть в заплаканные, жаждущие надежды глаза Турчковой, и его успокоительные слова казались ему фальшивыми.— Только я ведь следователь. Я ведь не из тех, кто судит, кто оправдывает или наказывает. Мое дело — установить истину.— Слово «истина» показалось сейчас Виктору Сергеевичу лишним и надутым, и он оговорился: — Установить все, как было... И я пока не знаю...» — «Нет, вы все знаете, все знаете,— печально качала головой Зинаида Сергеевна,— вы просто не хотите меня огорчать...»

Отец Турчкова, сорокасемилетний бухгалтер районного элеватора, лежал в соседней комнате то под простыней, то под тремя одеялами. У него сделалась крапивница, она не мучала его много лет и вот теперь вернулась, и, как все считали, на нервной почве. Виктору Сергеевичу Турчков-отец отвечал односложно, с раздражением не потому, что он считал его врагом сына, а, наоборот, потому, что следователь занимался, по его разумению, бессмыс-

ленными расспросами, когда и так все было ясно. А с сыном Турчков и вовсе не желал разговаривать.

В музыкальной школе ахали и вздыхали, все не хотели поверить в случившееся. «Этого с Турчковым не могло быть! Такой воспитанный, и нежный мальчик, и способный, очень душевно играл Шопена. Конечно, семья их не богатая, матери приходилось набирать работы на дом, но все равно Алексею стоило продолжить музыкальное образование, вы уж, пожалуйста, будьте к нему снисходительнее...»

Сам Лешенька Турчков во время бесед со следователем был таким жалким и потерянным, что и самого Виктора Сергеевича беседы с ним удручали. Он знал, что Турчков, опомнившись, хотел покончить с собой и только слезы матери и собственная нерешительность удержали его в жизни. Он говорил со следователем без всякого желания, скорее и не как с человеком вовсе, а как с некиим необходимым, но неодушевленным предметом. Виктор Сергеевич чувствовал, что Турчков после долгих и острых приступов самобичевания, видимо, пришел к какому-то решению и ни с кем не желал им делиться. Только оно и было для него теперь важным, а все остальное, все внешнее — и следствие, и вопросы Виктора Сергеевича, и отношение к нему окружающих, и суд с приговором,— все это казалось ему несущественным и пустым. Узнать, что за мысли легли на душу Турчкова и что он собирается предпринять, не мог не только следователь, но и Зинаида Сергеевна, с которой прежде сын был откровенен. Виктор Сергеевич понял только, что никакого наказания Турчков не страшится,— наоборот, он желал бы, чтобы наказание ему было суровым.

Колокольников выглядел подавленным и растерянным, но, в отличие от Турчкова, он с охотой слушал следователя и даже пытался узнать у Виктора Сергеевича, на сколько лет придется ему отправиться в колонию и какой будет режим. «Чего не знаю, того не знаю»,— говорил Виктор Сергеевич. «Все-таки, может быть, я вернусь молодым,— прикидывал Колокольников,— и начну жизнь заново. Я вину искуплю, я обещаю, это ведь все по глупости, да еще из-за водки. И с вермутом намешали...»

Когда он это говорил, когда он каялся, и каялся, как казалось Виктору Сергеевичу, искренне, он выглядел, несмотря на свою мужскую стать, напроказившим ребенком и искал у Виктора Сергеевича, у взрослого, поддержки. Виктор Сергеевич знал, что никогда раньше за ним никаких безобразий не водилось, даже дрался Колокольников редко именно из-за того, что был силен и боялся, как бы невзначай не пришибить слабого. Он был добр, Виктор Сергеевич это видел, и нерешителен. Добр-то добр, а начал все он. Но, называя в мыслях все своими именами, Виктор Сергеевич все же чувствовал к Колокольникову не только жалость, но и некую симпатию, объяснить причины которой он сейчас и не пытался.

Родственников и знакомых было у Колокольниковых в Никольском и на окрестных станциях видимо-невидимо, и каждый

раз, когда Виктор Сергеевич приходил в дом Колокольникова, в нем толклись озабоченные женщины и говорливые старушки, печалились о Васеньке, но при появлении следователя их быстро выдувало. Отец Колокольникова, Николай Терентьевич, машинист электровоза со станции Перерва, человек тихий и молчаливый, их терпел, раздражению своему давал выход в осторожных, чуть ли не шепотом высказанных просьбах не тарахтеть и не болтать глупости. В ответ на него глядели с сожалением, а кое-кто из родственников жены крутил еще при этом и пальцем возле виска. Вспоминали, как, узнав о случившемся, Николай Терентьевич бросился на сына, схватив валявшееся у порога полено, как заорал незнакомым в доме голосом: «Сучье отродье! Убью! Убью!» Но рядом с сыном был он легок и мал, и тот, хотя и растерянный и виноватый, без труда утишил отца и отобрал у него полено.

В разговорах со следователем Николай Терентьевич очень нервничал, иногда вставал, как бы невзначай рыжей кухонной тряпкой тер ладони и пальцы. Спохватившись, он дважды извинялся перед Виктором Сергеевичем, объяснял, что это у него дурная привычка, двадцать лет он служил машинистом паровоза, значок получил, а там после вахты горячей водой с мылом и с пемзой отбеливаешь руки, отбеливаешь,— и все равно остаются черные метины, вот по нескольку раз их и моешь, теперь он на электровозе, в сухой и чистой кабине, будто у диспетчера в прежние времена, а привычку уже не прогонишь, особенно когда нервы...

— Ну, скажите, как же так,— говорил Николай Терентьевич,— я рабочий человек, ударник, партийный — и что же получается: Васька — золотая молодежь и плесень? Как же так и за что? Наша жизнь, значит, ему показалась скучной, захотел перейти в красивую?.. Таких надо наказывать по всей строгости. Позор ведь мне, как рабочему человеку... Но почему он-то? Ведь мы его и не баловали, шоколадными конфетами не кормили, и я не очень чтобы пьющий... А Васька и к труду охочий, и в техникуме он, и спортсмен — и вот на тебе! Как же так, а, Виктор Сергеевич?..

И хотя вопрос этот был скорее риторический, поскольку Николай Терентьевич спрашивал следователя, не глядя на него, и не ждал ответа,— видно, сам объяснил себе происшествие, а может быть, ему все разъяснила жена, и их мнение поколебать уже никто не мог,— Виктор Сергеевич вынужден был все же отвечать из вежливости. Но, впрочем, что он мог ответить?

— А теперь, будьте добры, подпишите протокол,— говорил в конце концов Виктор Сергеевич.

Удивляло Виктора Сергеевича молчание супруги старшего Колокольникова — Елизаветы Николаевны. Не то чтобы она вообще разыгрывала из себя немую, а так, помалкивала со значением, лишь изредка вступала в разговор с пустяковыми репликами и то как бы невпопад. И невнимательным взглядом можно было сейчас же определить, кто в доме Колокольниковых главный и кто у кого под каблуком. Причем Елизавета Николаевна даже и

за стол не садилась, но и не уходила никуда, а стояла у стены или у шкафа, на некотором удалении от мужчин, руками подперев высокую грудь, с усмешкой в прищуренных глазах, дородная, уверенная в своей красоте и силе женщина. От этой яблони и рос Василий Колокольников румяным яблоком. На кого она похожа, думал Виктор Сергеевич, удивительно похожа? На Зыкину? Как будто бы и на Зыкину... Нет, скорее на Мордюкову, точно, на Мордюкову, решил Виктор Сергеевич. Снисходительная улыбка Елизаветы Николаевны и величавая ее поза отчего-то смущали его. И калач он был тертый, и мужчина не из последних, а вот — на тебе! — терялся в доме Колокольниковых, был в напряжении, словно боялся, как бы усмешка кустодиевской женщины, налитой соком, не обернулась словами: «И откуда ты такой выискался, с шеей-то короткой? Следователь называется. Да что ты делать-то можешь, следователь? И мужик-то ты, видать, плюгавый, этак тьфу тебя — и растереть... И вот ходишь да на моего Васеньку собираешь материал. Собирай, собирай!»

Елизавета Николаевна так и не выговорила свое, Васеньку защищала робко и ничего дурного не сказала о Вере Навашиной, хотя и не мешала намекать об этом дурном своим соседкам и родственницам. А они при случае это делали. В особенности неряшливая бабка по прозвищу Творожиха.

Чистяковы с сына своего не снимали вины, были убеждены, что ему не избежать наказания, а подачку приготовили скорее для порядка, как и графин с водкой, тем более что они вместе с другими никольскими по-своему толковали стремления Виктора Сергеевича посидеть с неторопливым разговором в семьях подследственных. Виктор Сергеевич и сам понимал, что походы его, хоть и с протоколами, кажутся двусмысленными, — впрочем, к такому отношению он привык, а работать иначе не мог.

Дом Чистяковых казался Виктору Сергеевичу сытым и богатым. Богаче дома в Никольском он, пожалуй, не видел. Кое-кто шептал ему, что Чистяковы — кулаки, другие говорили, что они трудяги, каких мало, аж жалко их, до чего надрываются. Работать в большой семье Чистяковых умели, в этом Виктор Сергеевич убедился без усилий. Хозяин дома, Александр Петрович, человек молчаливый и властный, по крайней мере в семье, славился на станции Гривно, на заводе текстильных машин, как токарь-виртуоз; двужильный и смекалистый, вечно он изобретал и внедрял что-то, на пиджаке рядом со значком ударника он носил и значок ВОИРа. И дома у него были большие дела, хозяйство процветало, в нем имелись корова с теленком, козы, боров, птица, парники, всегда ко времени и чуть раньше других никольских везли Чистяковы на базар муромские и нежинские огурцы, цветы, клубнику, красную и не тилисканную, яблоки, вишню, смородину с крыжовником. Собирали и грибы на продажу. Каждый раз, когда Виктор Сергеевич приходил к Чистяковым, он заставал хозяев и их шестерых детей в хлопотах, причем хлопоты эти не были суетливыми и шумными, в них чувствовалась система, же-

лезная ответственность каждого за свой шесток. Один мастерил какие-то ящики, другие опрыскивали груши-бессемянки, третьи возились с клумбами, четвертые... Впрочем, понять эту чистяковскую систему Виктор Сергеевич пока не смог, но что-то виделось ему в ней нудное, жестяное.

Миша Чистяков был в семье предпоследним, лишних слов он, как и все в его доме, поначалу не тратил. На глаз же он показался Виктору Сергеевичу самым культурным из Чистяковых. Александр Петрович рассказывал, что Михаила и младшую дочь он рассчитывал выучить в институте, были бы они в семье первыми с высшим образованием, но неизвестно, как Татьяна, а вот Михаил по глупости своей упросил отдать его в ПТУ, и нынче он слесарь-ремонтник, обещал учиться дальше, этой осенью обещал начать, но какая у него теперь будет осень!.. Поначалу Александр Петрович был опечален уходом сына в ПТУ, однако в последние годы все его мечтания о чистяковских дипломах стали казаться ему пустыми, вроде бы погоней за дворянским титулом. Все теперь на заводе изменилось, и что толку быть инженером — какой-нибудь шалопай-недоучка с бабьими нечесаными кудрями покрутится возле опытного рабочего с полгода, да руки окажутся у него сноровистыми, и вот он уже без траты нервов и особого напряжения получает побольше инженера, зубы спилившего об науку.

Когда Виктору Сергеевичу пришло на ум, что Миша Чистяков интеллигентен, он понимал, что определение это очень условное. Скорее всего он имел в виду чисто внешние манеры Миши. Из всех никольских подростков, он да еще, пожалуй, подруга Веры Навашиной Нина Власова, понравившаяся следователю, умели держаться. Они не только не раздражали разболтанностью или развязностью, в них был еще и неожиданный лоск. Ну, не лоск, а скорее своеобразная элегантность и такт. И даже свой стиль. Откуда это, Виктор Сергеевич узнать не смог, но что было, то было. Одевался Миша не дорого, но тщательно, и не было в его костюме ничего лишнего, как не было ничего лишнего в его движениях, жестах и, как правило, в словах. Прическу Миша имел аккуратную, по мнению сверстников старомодную — с пробором, как бы вечным и проведенным линейкою, и одевался со строгостью взрослого человека, а стало быть, тоже старомодно. На вопросы Виктора Сергеевича он отвечал с достоинством и видимым старанием облегчить работу следователя.

Чистяков был трудолюбив, серьезен не по годам, начитан, рассудителен, как будто бы понимал ужасность своего поступка, и Виктор Сергеевич смотрел на него с сочувствием, но время от времени являлась к нему мысль: «А не морочит ли он мне голову? Не подсмеивается ли надо мной?» На мгновение вдруг проявлялось в губах, в суженных глазах Чистякова, в тонких, напряженных чертах его лица нечто злое и твердое, и тогда Виктору Сергеевичу казалось, что этот семнадцатилетний юноша смотрит свысока и с презрением на многих знакомых ему людей, в том числе, видимо, и на самого Виктора Сергеевича, а уж на своих домаш-

них — без всякого сомнения. Миша однажды дал понять следователю, что его тяготят уставы семейного монастыря, что все эти огородно-чуланные хлопоты не по нему и что он предпочтет жизнь более разумную и свободную. Видимо, вызрел в нем и, может быть, уже давно, долговременный жизненный план, посвящать в который он не был намерен ни своих домашних, ни тем более незваного следователя. И остался Виктор Сергеевич в неведении, благороден ли жизненный план Михаила Чистякова или он возник в голове никольского Растиньяка, нынче токаря-ремонтника. Но так или иначе, вся эта история с Верой Навашиной никак не могла замышляться Чистяковым, наоборот, в любом случае она была для него ошибкой и позором.

На день рождения Турчкова Чистяков попал случайно. Всех гостей он хорошо знал, все свои, никольские, ровесники, но ни с кем из них он не был близок — ни с Турчковым, ни с Колокольниковым. Он вообще, как выяснил Виктор Сергеевич, крепких друзей не имел, всегда был сам по себе и в школе получил прозвище «рак-отшельник». Подростком он возился с черепахами, ужами, морскими свинками, покупал их в «Зоомагазине» на Кузнецком мосту, держал дома и, видно, от общения с ними получал больше удовольствия, чем от общения со своими сверстниками. Будь он послабее и позастенчивее, не избежать бы ему жестоких насмешек, но он был тверд и с характером, да еще из сильной семьи, и потому, несмотря на некую между ними дистанцию, никольские парни относились к Чистякову скорее с уважением, нежели с ехидством. В нем для них была какая-то загадка. Оттого Миша и казался парням человеком более значительным, чем они сами. С Чистяковым было интересно поговорить, если он, конечно, удостаивал разговора. Вроде бы никаких особенных слов и не произносилось, а все равно собеседник Чистякова уходил от него с ощущением, что поговорил с умным и образованным человеком.

Однажды Виктор Сергеевич пришел к дому Чистяковых. Миша на бетонной дорожке у крыльца возился с мотоциклом. Стояла жара, Миша поднял голову, лицо его было мокрым и мальчишеским, в первый раз, пожалуй, за все дни их знакомства Виктор Сергеевич увидел Мишу мальчишкой. Мотоцикл купили на Мишины сбережения и на солидный отцовский куш, машина считалась семейной собственностью, но ездил на ней по хозяйственным нуждам и для души один Миша. Пробовал еще кататься и старший брат Сергей, но отказался. Для души Миша гонял по узкой, но пустой бетонке, проложенной в молочный совхоз, а в последнее время увлекся рискованными кроссами, с прыжками через ямы и прочими удовольствиями, на настоящей спортивной скорости по никольским перелескам и оврагам. Миша принялся объяснять Виктору Сергеевичу достоинства своей «Явы» и почему они не купили «Ковровец», каков объем цилиндров и еще что-то, а Виктор Сергеевич кивал на всякий случай. То, что следователь ничего не понимает в мотоциклах, Миша уяснил быстро и даже немножко расстроился от этого,— впрочем, он почувствовал

себя увереннее, и язык у него в тот день развязался. На этот раз говорил Миша, и долго, а следователь молчал. Говорил же Миша о своих мечтах и интересах и задавал Виктору Сергеевичу вопросы в связи с этими своими мечтами и интересами. Причем он торопился и перескакивал с предмета на предмет странным образом. То он спрашивал, стоило ли ему,— не сейчас, понятно, а вот если бы ничего не случилось,— стоило ли ему продать мотоцикл и накопить деньги на волжский «Фиат», или же, приобретя «Жигули», он бы омещанился и потерял свое лицо? Потом он поинтересовался, почему нельзя записаться добровольцем и участвовать в какой-нибудь справедливой освободительной борьбе,— скажем, если не во Вьетнаме, то где-нибудь в джунглях Мозамбика или Экваториальной Африки. Потом он вдруг вспомнил, что слышал пересуды в электричке о повести Трифонова «Обмен», он тоже любит читать всякие новинки, но достать журнал никак не удается, и не может ли Виктор Сергеевич посодействовать ему тут? Понятно, что до суда над ними...

— А вот, Виктор Сергеевич, на Датскую промышленную выставку в Сокольники вы еще не ходили?.. Сходите... Конечно, там много рекламного, но какое оборудование для молочных ферм! А музыку Грига, Виктор Сергеевич, вы любите? Особенно про Сольвейг и про гномов ихних, норвежских, троллей. Ее хорошо сейчас на современный лад переводят, с ударными... Не слыхали?..

Тут Виктор Сергеевич не выдержал и улыбнулся. Слов его Миша и не слушал, а все говорил сам, быстро и жадно, будто бы хотел показать следователю, что он за человек, что он не только изверг и преступник. Скорее всего он делал это без всякой корысти и умысла, а просто так, для самоутверждения. И когда Виктор Сергеевич улыбнулся, Миша понял, чем вызвана эта улыбка, он смутился и замолчал, и Виктор Сергеевич пожалел о своей улыбке, ни слова более не смог он уже вытянуть из Миши.

Так и не раскусил он Чистякова до конца. В одном был убежден — что Миша непрост, уверен в себе и, по-видимому, не по годам расчетлив. Расчетливость Мишина, пожалуй, вызывала в Викторе Сергеевиче некую неприязнь, потому как он вообще не любил расчетливых людей. Но неприязнь свою Виктор Сергеевич старался прогнать, во-первых, потому, что он так и не понял, какие же такие у Миши расчеты в жизни, а во-вторых, мало ли кого и чего он не любил. И в конце концов Виктор Сергеевич как-то успокоился насчет Миши, он в его душе занял место рядом с Лешей Турчковым и Колокольниковым. Рожнов же представлялся следователю человеком другой нравственной породы, недостойной судейского сожаления. Но отделить его от трех никольских парней было никак нельзя.

12

Виктора Сергеевича, естественно, интересовало отношение никольских жителей к пострадавшей и ее обидчикам. Собеседников у него было много, и большинство из них говорили с ним подол-

гу и с удовольствием. Поселок был невелик — четыре тысячи жителей. Вырос он сравнительно недавно, начал строиться в тридцатые годы, а разбух, расползся уже после войны, но получился лоскутным. Селился в нем народ случайный, сумевший поставить дом на пустом месте и возле Москвы. Открывала с запада поселок бывшая деревня Никольское, приписанная теперь к отделению молочного совхоза, затем шли улицы вокруг пуговичной фабрики, маленькой и кустарной, почти артели, а к востоку, к железной дороге, тянулись главные никольские улицы, жители которых отправлялись на работу за километры, а то и за десятки километров от своих домов.

Виктор Сергеевич придавал большое значение нравственной среде, в которой было совершено преступление, и всегда его интересовали процессы, происходившие в этой среде после преступления. Поначалу ему показалось, что в Никольском люди живут сами по себе. Здесь не было завода, как на соседних станциях. Ничто вроде бы не объединяло никольских жителей — ни общий труд, ни причастность к какому-то большому коллективному делу. Не связывали их и давние традиции, и не было у них никаких обязательств друг перед другом. Не то чтобы мнение четырех тысяч посельчан было вовсе безразлично никольскому жителю, но даже в дурном случае людское осуждение не могло принести никому ничего страшного, только лишь косые взгляды да обидные слова. Не уволят тебя, не прогонят и не лишат доходов. Поселок был местом жительства, местом отдыха и ночлега для четырех тысяч граждан, и отношения между ними сложились обыкновенно бытовые, соседские. Отношения вынужденных сожителей в квартире с коридорной системой, разве только посельчанам не надо было, к счастью, спорить из-за газовых конфорок, шума радиолы за стеной, очереди мыть пол и прочих коммунальных удовольствий. Они вообще могли позволить себе не знать никого из проживающих по ту сторону их забора.

Так-то оно было так, но и не так.

Заборы заборами, версты от чужих судеб и поступков, дипломатия дачной улицы, подчеркнутое старание ничего не видеть и жить самим по себе, но ведь жить самому по себе у человека не всегда выходит. И пусть не было в Никольском крепкой людской общины, но нравственный суд был. Отношение к жизни и к поступкам соседей определялось здесь вековыми понятиями о добре и зле. Неважно, чист ли ты сам, а рассудить, хорошо ли, дурно ли ведет себя сосед, никто из никольских не отказывался. Всю историю Веры Навашиной жители поселка, как выяснил Виктор Сергеевич, приняли близко к сердцу и поначалу почти единодушно возмутились подлостью парней. Хотя говорили всякое, большинство никольских приняли Верину сторону, ее беда и ее позор вызывали сочувствие. Веру жалели, потому что она страдала. Но шли дни, и к Вериному несчастью привыкли, бранные же слова в адрес ее обидчиков, казалось, потихоньку иссякли или смягчились от неоднократного их повторения, и теперь все чаще николь-

ские думали о будущем парней. И постепенно многие принялись жалеть парней, сочувствие к Вере они переносили теперь на них — ведь Вера-то свое уж отстрадала, ее несчастье было почти что в прошлом, а ребятам, споткнувшимся по дурости, и их семьям страдание только предстояло, растянуться же оно должно было на долгие годы заключения. Естественно, как и следователь, выделяли в Никольском из компании Рожнова, считали его зачинщиком и главным злодеем, вот его пускай и сажают, свои же парни представлялись игрушкой в его бандитских руках. «Наши-то ребята хорошие,— говорили Виктору Сергеевичу,— это они только раз свихнулись по глупости да спьяну. Хотите, мы их на поруки возьмем?» И если поначалу никольские жители наказания негодяям требовали — в разговорах между собой, в очередях за мясом, в автобусной давке — строгого, то теперь они уж и не знали, чего им хотеть. Вроде бы было жалко и Веру Навашину с матерью, но ведь и парней, и их матерей и отцов тоже было жалко. «Вы уж как-нибудь,— говорили Виктору Сергеевичу,— рассудите все по-людски». Он и сам хотел бы по-людски...

Были в Никольском и собственные авторитеты, не то чтобы поднявшиеся до горных высот житейских добродетелей и не должностные личности, а просто люди, признанные в поселке по многим причинам хорошими и способными судить о других по совести и без зла. К ним относилась Евдокия Андреевна Спасская, бывшая завуч Никольской школы, ныне пенсионерка с уроками в начальных классах. Виктор Сергеевич встретился и с ней.

Евдокия Андреевна напомнила Виктору Сергеевичу учительниц из его детства, такие уж нынче сходят. Она была из тех строгих комсомолок, что попали в педагоги в пору ликбезов, имела за плечами школу второй ступени при Серпуховской мануфактуре и более ничего. Строгости юношеских лет, хотя бы внешней, она уже не изменяла, как не изменяла ни единому своему принципу, принятому в молодости раз и навсегда, была сурова сама к себе; в ее облике, в вечном, видимо, коричневом платье без морщинки и без пятнышка, в суховатой и властной манере говорить было нечто, что заставило следователя ожидать от нее решительных и максималистских суждений о людях. «Старая дева, что ли, она?» — подумал Виктор Сергеевич. Хотя это не имело для следствия ни малейшего значения, он все же поинтересовался обстоятельствами жизни Евдокии Андреевны и узнал, что она была замужем, муж ее погиб, она осталась ему верна и до начала войны носила по нему траур. А уж в войну подчеркивать свое горе посчитала бестактным. Женщиной она была крупной, с круглым курносым лицом старой крестьянки-домоправительницы, седые прямые волосы по давней привычке стригла коротко, но не под мальчика, курила много и скорее машинально.

— Рожнова я не знаю,— говорила Евдокия Андреевна.— Представить только могу, что это за фрукт такой. Однажды видела его на вечере каком-то,— хитер, трусоват и нагл. Нагл не от трусости, не от неуверенности в себе, не ради бравады, а просто

нагл, воспитан хамом. Не знаю, кто его родители, и школу его не знаю. А эти-то четверо выросли у меня на глазах. И семьи их мне хорошо известны. Давно известны. Не скажу, что плохие семьи. Не скажу. Жили по-разному. Кто посытнее, кто — зубы на полку. Но на нынешних-то детях это не отозвалось. Это на военных детях отозвалось. А так семьи, по нашим, никольским понятиям, благополучные. Ну, у Навашиных, правда, не совсем. Отец у них... Верин отец... о нем особый разговор. Шумный, неспокойный человек. Но чтоб Вера в него пошла? Не знаю... Нет, не верю. И вот еще заметьте, что семьи эти, как руки натруженные, все в заботах, все в хлопотах, без дармоедов и без ловкачей. И дети у них... Вот тот же Вася Колокольников. В школе он был лодырь. Лодырь. Не то чтобы считал галок, а так, в тягость ему уроки, писанина всякая дома, тяжело вздыхал он от всего этого. Но лодырем он не вырос. Учение в тягость многим. Зато со всякими приемниками и моторчиками он может сидеть по двадцать часов в день. И, говорят, шайбу свою на тренировках по тысяче раз швырять может, чтобы хоть капельку чего-то там приобрести. Далеко не все сейчас растут работягами... Нет, я неточно выразилась... Работягою сделаться, в конце концов, может заставить жизнь, промысел копейки на хлеб насущный. Или на тряпки,— нынешняя молодежь без них и существования не мыслит. Нет, вот эти ребята и Вера тоже выросли не работягами, а работоспособными, труда любителями, что важнее. Это уж вы оцените. Юнец, при сытой-то жизни выросший работоспособным, по-моему, непременно должен стать серьезным, прочным человеком. Как вы считаете?

— Может быть,— пожал плечами Виктор Сергеевич.

— Ну да, ну да,— сказала Евдокия Андреевна, сникнув,— я понимаю, что вы имеете в виду, понимаю... Да, тут случай огорчительный. Труд-то трудом... Но и в сытой жизни растут юнцы пустые. Как говорят у нас в Никольском, пирожки ни с чем...

Тут Евдокия Андреевна осеклась и посмотрела на следователя как бы с подозрением и в то же время прикидывая, не сказала ли она чего лишнего. Во всяком случае, так показалось Виктору Сергеевичу, и он не сразу понял, отчего она боится выговорить лишнее.

— Вы только не подумайте,— продолжила Евдокия Андреевна с некоторой поспешностью,— что я тут имела в виду наших с вами ребят. Нет, это я так, вообще... Потом ведь я, знаете, могу брюзжать от непонимания, от старости, оттого, что вода в наши годы мокрее была и килограмм колбасы весил больше...

И позже чуть только она принималась, забывшись, рассуждать о сегодняшних шестнадцатилетних, тут же спохватывалась и замолкала, и никакие вопросы Виктора Сергеевича, никакие его уловки не могли вызвать откровенности Евдокии Андреевны. Виктор Сергеевич решил, что она, по всей вероятности, боится, как бы он ее досаду на нынешнюю молодежь не употребил во вред подследственным. Да, она не забывала, что перед ней сидит

следователь, она не знала его взгляда на никольское происшествие и не желала, чтобы из ее слов у следователя составилось о Турчкове, Чистякове, Колокольникове и Навашиной дурное представление. Виктор Сергеевич чувствовал, что если бы он не был следователем или бы не вел никольское дело, он бы услышал от старой учительницы выстраданные ею слова о подростках, слова эти его чрезвычайно интересовали. С Евдокией Андреевной он был болен одной болезнью. Но Евдокия Андреевна истолковывала его интерес неверно и сводила разговор к пустякам. Она бы, может, не будь он следователем, и о Вере Навашиной и ее обидчиках сказала слова резкие и определенные, но сейчас осторожничала, вела себя дипломатом и обращала внимание следователя на добрые дела Турчкова, Чистякова, Колокольникова, Навашиной и на привлекательные черты их натур. «Жалеет она их»,— решил Виктор Сергеевич. И мысль об этом его обрадовала.

— А ведь мне их тоже жалко,— сказал Виктор Сергеевич,— поверьте мне.

— Правда? — оживилась Евдокия Андреевна. И тут же добавила: — Сами, конечно, виноваты в этом безобразии. Сами. Сами. Но ведь и жалко их. Стыдно, возмущаешься, но ведь и жалко. Не конченые же они бандиты и негодяи. Что же делать-то теперь с ними? Вот выпадут на несколько лет из нормальной жизни и, глядишь, станут и бандитами, и негодяями. Как быть-то с ними?

— К счастью, не все возвращаются оттуда бандитами и негодяями,— сказал Виктор Сергеевич.— Далеко не все.

— А-а! — махнула рукой Евдокия Андреевна.— Вы мне не говорите.

— Нет, тут вы заблуждаетесь,— улыбнулся Виктор Сергеевич.

— Может быть, я и заблуждаюсь,— сказала Евдокия Андреевна,— может быть. Но вы и меня поймите. Наша троица оттуда с победой не вернется. Они там сломаются. Нет, возможно, Чистяков выкарабкается, но он один. Тут шансы есть. Он придумает что-нибудь для сопротивления среде. Или для приспособления к ней. А Вася Колокольников слаб, слаб для этого. Попадет там в крепкие руки — и все. А Леша Турчков и вообще оттуда не вернется. Такое у меня предчувствие.

— Я вижу, какие это ребята. Но что было, то было...

— Вы понимаете,— сказала Евдокия Андреевна,— к каждому из этих парней,— я не беру сейчас Веру,— к каждому из них у меня множество претензий. И простые человеческие претензии есть, и гражданские. Будет случай — я им все выскажу. Вам ничего про это не буду говорить, не хочу, да и не надо. Но они не такие, какими предстали перед вами, они преступники по случаю, а могут стать преступниками на всю жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю,— сказал Виктор Сергеевич,— и почему вы со мной не очень откровенны, понимаю. Скажу больше — мои мысли рядом с вашими. Но что делать? Случай был...

— А никакое компромиссное решение не возможно?

— Сложно это, сложно... И здесь многое зависит от Навашиной. Ей тогда придется, что называется, вызвать огонь на себя...

— А что вам о ней рассказывали в поселке?

— Да всякое...

— И плохое?

— И плохое.

— Плохому не верьте, не верьте! — заявила Евдокия Андреевна решительно.— Плохое легче всего сочинить. И поверить в плохое легче всего. Вы все взвесьте... И про отца, что ль, ее рассказывали?

— Про отца скорее намекали. Но отец-то тут при чем?

— Отец при чем. Не мог быть ни при чем. Только в Вере материнская порода возьмет верх над отцовской. Убеждена. Мать у нее святой человек. С Вериных лет ее знаю. А лета эти приходятся на войну. Она вообще натура тихая, совестливая. Однажды случилось мне быть с ней на лесозаготовках, ездили под Шатуру, там я ее и поняла. А отцу-то Вериному, Алексею, другую бы жену, с жестким и властным характером, такой бы, может, он и подчинился. И поутих бы, Будорагой бы перестал быть. В поселке его звали Будорагой. У них и род-то, если верить местным преданиям, пожалуй, будоражный. Раньше тут деревня была — Никольское, это там, где церковь и пруд. Навашины, стало быть, деревенские, никольские старожилы. До сих пор вспоминают о подвигах мужиков этой фамилии. А подвиги-то, знаете, все больше бесшабашные и от хмельного настроения. Одно время, в десятые, говорят, годы, их переименовали из Навашиных в Пальтовы. Один из Навашиных поехал в уезд на базар продавать корову и покупать себе зимнее пальто. Продал хорошо, купил то ли тулуп, то ли шубу, выпил на радостях, и так уж ему понравилось, как цыган плясал на базаре под бубен, он в того цыгана влюбился, поил его, а потом шубу ему за бубен отдал. Вернулся в деревню налегке, стучал в бубен, горланил на все улицы. Его, Ивана-то Навашина, и переименовали тогда в Пальтова, даже стали писать Пальтовым. Только в двадцатые годы Навашины вернули свою фамилию.

— Шутники,— сказал Виктор Сергеевич.

— Шутники! Озорники, а не шутники!.. И драчуны были. Верин-то отец, Алексей, теперь уже Кузьмич, конечно, не сладкую жизнь прожил, ну так что? На войну он ушел юношей, ранен был не раз, но калекой не стал, вернулся лейтенантом, вся грудь в орденах и медалях. Рассказывают, с его слов или чужих,— да так оно, наверное, и есть,— что воякою он был лихим и рисковым и привык ходить в героях. Вернулся из героев и командиров в штатские рядовые, к тому же и профессии-то никакой толком не успел до войны получить. Ну, и начались его мытарства. Навашину-то мирная жизнь показалась, наверное, скучной, пресной, а может, и обидной. Хоть бы он дело еще подыскал по натуре, чтобы было где проявить свою лихость и фантазию, может, летчиком-испытателем следовало ему стать или еще кем, не знаю. А он

то в плотниках маялся, то в шоферах, то в санитарах, то в кондукторах. И еще кем-то был. И все у него шло чередой. То пьет и озорничает, то работает на совесть. Да и надо было работать, девчонки-то голодные рты разевают, трое их. Но надолго его не хватало, надеялся на жену, она и тянула семью и сейчас тянет, как бы не надорвалась. А он избрал себе должность поселкового чудака и чудил. Когда веселил здешний народ, а когда и злил. То на спор за ручные часы с помощью одной веревки влез на трубу пуговичной фабрики. То обиделся на соседей и стал им подбрасывать письма-предупреждения, что на них вот-вот нападут бандиты. Те поверили, напугались, устраивали дома баррикады, раза четыре вызывали милицию, а потом Алексей Кузьмич не выдержал, расхвастался о своей затее, соседи подали на него в суд. А как-то они со своим приятелем, электриком Борисовым, объявили ультиматум деревне Алачково. Это от нас километрах в шести. Знаете, да? У нас на краю стоит будка, и оттуда электрическая линия идет в Алачково. Там свадьбу играли. И вот Навашин с Борисовым заявили алачковским: или вы нам выставляете со свадебного стола по два литра самогона, или света у вас не будет. Это их требование приняли за шутку. А они взяли и действительно в будке линию отключили. Пока из Алачково на машине приехали, пока свет наладили... А потом уехали, и снова Навашин с Борисовым свет им выключили. Раза три так было, пока алачковские не сдались, выставили четыре литра самогона. Потом они как-то Навашина с Борисовым крепко избили, а тогда сдались. Вот такой он человек. Теперь-то он уехал от семьи.

— Я знаю,— кивнул Виктор Сергеевич.

— Но Вера-то взрослела скорее вопреки отцу. Она хоть и темпераментом в него, но совестью в мать. Вы ощутили это?

— Да вроде бы...— неуверенно сказал Виктор Сергеевич.

Беседовал Виктор Сергеевич и с Верой Навашиной.

Снова был у нее дома и в Вознесенской больнице, а потом вызывал к себе на службу.

Он чувствовал, что Вера относится к нему с недоверием, чуть ли даже не враждебно. Отвечала она ему угрюмо, порой резко, и однажды Виктор Сергеевич поинтересовался, отчего она так ему дерзит. «Не знаю,— сказала Вера,— как умею, так и разговариваю». В последние дни она была особенно печальна и раздражительна, что-то происходило в ее душе, разговоры со следователем она вела рассеянно и с усилием,— казалось, она обо всем забыла и ничто ее не интересует. Однако, когда речь заходила о парнях, выяснялось, что тут она прежняя и простить их не может.

Синяки ее почти совсем прошли, ссадины подсохли, и, несмотря на печальное, а порой и мрачное выражение лица, Вера опять имела вид цветущий и здоровый, и Виктор Сергеевич уже никак не мог представить себе Веру жертвой.

И он, беседуя с Верой, хмурился и злился. Но не оттого, что Вера сердила его, нет, он был недоволен собой. Он чувствовал, что ведет себя дурно, такого с ним давно не случалось, он ловил себя

на том, что в последние дни постоянно стремится отыскать в Вере, в ее словах, в ее облике, в ее манерах, в ее взглядах на жизнь, в ее судьбе нечто такое, что показалось бы ему нехорошим, даже противным и вызвало бы у него неприязнь к Вере. Он запрещал себе делать это, давал себе слово не поддаваться чувствам, а быть, как и всегда, справедливым и беспристрастным до щепетильности. Но только он принимался думать о том, какое должен принять решение, тут как тут, помимо его воли, к досаде Виктора Сергеевича, мысли о Вере возвращались.

И оттого, что Виктор Сергеевич старательно уговаривал себя не изменять холодному профессиональному благоразумию и не дурить, оттого, что он убеждал себя ни в коем случае не относиться к Вере с неприязнью, он в конце концов и почувствовал к ней именно неприязнь.

13

Сергей в Никольском не появлялся.

«Ну и слава богу,— думала Вера,— хоть есть у человека соображение, обойдемся без сцен... Теперь, честное слово, легче стало...» Она и Нине это повторила.

— Так, сразу,— сказала Нина,— остыть ты к Сергею не могла. Я тебя знаю. Прогнала, наверное, по глупости и сгоряча.

— Мое дело,— сказала Вера мрачно.

— Конечно, твое. Еще чье же? Не Сергея же...

— Ну, давай, давай, сыпь соль на рану. Достань столовую ложку.

— Ты ж говоришь — тебе легче стало?

— А хотя бы и легче?

— Верк, ты на меня не дуйся, я ведь не ради каких глупостей... Хочешь, я сейчас же поеду, найду Сергея, все ему объясню, сюда приведу? Хочешь?

— Не надо! — испугалась Вера.— Ни в коем случае! Все. С ним все. Кончено — и все.

— Ну, посмотрим, на сколько тебя хватит.

— Я и тебя могу прогнать,— сказала Вера серьезно,— если тебе этого так хочется.

— И меня гони! В шею! Уж тогда тебе совсем легко станет. С крыльца спусти!

Тут Нина не выдержала, рассмеялась, нос свой, чуть расширенный книзу, сморщила, подсела к Вере, обняла ее.

— Ой, Верк, ну что мы с тобой, а? Ведь ничего не изменишь, и надо привыкать жить с этой поклажей... Все наладится, Верк... Праздники-то — они на каждой улице бывают, всему свое время!

— А может, мне с этой улицы съехать? — подняла голову Вера.— Может, на этой улице для меня никаких праздников уже не будет? Подальше из Никольского, куда глаза глядят, в тихое место, где меня никто не знает и знать не захочет?..

— Суда надо, Верк, дождаться. После суда и решать.

— Да, конечно... Суд — и тогда уж...

После недолгого молчания, после тишины, тягостной и горькой, Нина все же растормошила Веру, развеселила своей болтовней, даже заставила порассуждать о модах и на газетном обрывке, прямо поверх черных меленьких слов о горных пастбищах Сусамырской долины, нарисовала летящие контуры двух легких туник, рекомендованных «Силуэтом» к мини-юбкам и расклешенным книзу брюкам. «Надо будет тебя вытащить в Москву,— сказала Нина.— Можем просто погулять, подышать воздухом, можем сходить на выставку или на концерт. А то здесь прокиснешь, увянешь ведь...» Вера успокоилась, даже, казалось, благодушествовала и согласилась на самом деле съездить с Ниной в свободный день в Москву. А когда Нина ушла на работу, отстучали по вымытым доскам крыльца ее коричневые лакированные каблучки, уплыло к калитке бежевое с разводами платье из шелка, и только ландышевый запах польских духов остался в комнате, Вера вновь подсела к столику и стала рассматривать Нинины рисунки. И тут поняла, что о модных нынче туниках она думает с интересом, словно бы ничего и не случилось. «А ведь случилось, случилось!» — с тоской сказала она себе.

И после, где бы Вера ни была — в магазине ли, злом от жары, в вагоне ли бешеной электрички, на улице районного центра, за красными ли крепостными воротами Вознесенской больницы,— где бы она ни была, что бы она ни делала и как бы ни отвлекали ее хлопоты и люди, относившиеся к ней по-доброму и с пониманием, какими бы счастливыми ни выдавались минуты забвения — все это было ненадолго, все нынешнее оказывалось ей шелухой, шелуха опадала, а приходила тоска и уже окостеневшая, вечная мысль: «А ведь случилось! Случилось!..» Да, все в ее жизни уже случилось, все было — и позор ее, и разрыв с Сергеем, и все, все, все...

«Суд бы скорее»,— думала Вера, находя в мысли о суде некое успокоение. Так ждала она раньше приезда Сергея, полагая, что приезд этот все в ее жизни изменит к лучшему. Теперь именно суд виделся ей рубежом надежды, что там будет, за этим рубежом, Вера представляла смутно,— скорее всего и вовсе ничего не представляла толком. Оттого, наверное, и надеялась на суд. Отчаяние, словно бы растворенное в ней, Вера стремилась извести работой, все выискивала и выискивала занятия для себя и в Вознесенской больнице, куда с охотой отправлялась по утрам, и дома — на огороде и на кухне.

Однажды, когда Вера окучивала картошку, долбила мотыгой землю между грядок, бурую, просушенную солнцем, словно бы солончаковую, подгребала ее к тщедушным кустикам, она услышала негромкий разговор. Вера выпрямилась и увидела на террасе каких-то людей, вроде бы женщин. Солнце било в глаза, и Вера не поняла, кто там пришел,— видимо, материны гости. Она вытерла лицо подолом сарафана и снова принялась бить мотыгой землю. Но минут через пять на крыльце появилась мать и окликнула ее.

— Чего еще? — спросила Вера недовольно.

— Вера, к нам вот пришли,— сказала мать.
— Кто еще пришел?
— Ну вот, знаешь, пришли...— Мать как-то мялась, и Вера по голосу ее чувствовала, что она волнуется.— Надо поговорить...
— Ты и поговори,— сказала Вера.
— Нет, и тебе надо. Они и к тебе пришли...
— А кто они-то?
— Ну, эти... Ну, знаешь... Иди, Вера, а? Надо... А то нехорошо выйдет...
— Вот еще удовольствие! — проворчала Вера и бросила мотыгу.— Гнала бы ты их!
Сказала это она так, на всякий случай, представить не могла, кого принесла к ним нелегкая,— впрочем, ей было все равно, видеть она сейчас никого не желала, даже Сергея, и ни за что бы не пошла в дом, заупрямилась бы и не пошла, если бы не почуяла в словах матери, в ее руках, опущенных нескладно, не только растерянность, но и испуг. И к ней-то, Вере, мать обращалась с крыльца без обычной резкости, а неуверенной в себе просительницей. Все это озадачило и насторожило Веру. Намыливая руки под краном, Вера покосилась на мать:
— Ну, и кто там?
— Сама увидишь,— сказала мать и улыбнулась странно, будто смущалась чего-то или никак не могла поверить в реальность появления в их доме именно этих гостей.
«Неужели отец вернулся?» — подумала Вера.
Нахмурившись, решительным шагом прошла она в комнату и там за столом увидала трех женщин. «Так,— сказала себе Вера.— Начинается». Женщины сидели в комнате хорошо ей знакомые — Елизавета Николаевна, мать Колокольникова, Зинаида Сергеевна Турчкова и приятельница Вериной матери Клавдия Афанасьевна Суханова, известная в Никольском хлопотунья по прозвищу «Сваха».
— Здравствуй, Верочка,— сказала Суханова, улыбаясь широко.— Что ж ты не здороваешься?
— Здравствуйте,— растерянно сказала Вера.
— Здравствуй, Вера,— услышала она от Колокольниковой и Турчковой.
— Присаживайся, Верочка,— сказала Суханова,— вот мы для тебя стульчик приготовили. Будь как дома.
Вера машинально опустилась на стул, а глянув в окно, увидела бабку Творожиху, топтавшуюся у калитки, цепкими своими глазами Творожиха тотчас же углядела Веру и чуть не поклонилась ей со сладким выражением лица. Вера поморщилась презрительно и отвернулась. Дошлая колокольниковская родственница явилась, наверное, для поддержки делегации, а может, и сама по себе, из любопытства, лисий нюх притянул ее сюда.
— Может, чайком угостить? — предложила мать.
— Каким еще чайком! — возмутилась Вера.
— Чайку, чайку,— обрадовалась Суханова,— неси, Настя, чай-

ку, а ее не слушай, они, эти молодые, кофейные души, причем без молока, а прямо черные. От кофе одна изжога, а нам нужен спокойный напиток, иначе и не сговоримся. Потом ведь, Насть, наше-то поколение не кофейное, а чайное.

Вера сидела мрачная, в беседе она участвовать не желала, а желала дать понять гостьям, что они здесь лишние. В словах Сухановой ее возмутило одно — «сговоримся»: о чем еще сговариваться? Мать, суетившаяся с вареньями и чашками и вроде бы даже довольная этой суетой, раздражала Веру. Сама она, хотя у нее и пересохло в горле, чашку с блюдцем от себя решительно отодвинула.

А чаепитие и впрямь началось. Гостьи и мать словно бы увлеклись им всерьез, а отпробовав прошлогоднего варенья из черноплодной рябины, стали выяснять, сколько сахару нужно для этой ягоды и стоит ли вообще держать черную рябину, так уж ли она хороша от высокого давления, а если стоит, то как уберечь в августе недозревшие гроздья от дроздов — обвязав ли марлей или накрыв кусты хлорвиниловой пленкой.

— Пугало надо пострашнее. Или вместо чучела поставить Творожиху. С мешком семечек,— сказала Суханова и засмеялась обрадованно.

Она, собственно говоря, одна и вела разговор. Мать и Колокольникова ей поддакивали, мать — суетливо, а Колокольникова — солидно и с достоинством, Турчкова же только иногда и невпопад произносила мелкие и случайные слова. Когда Турчкова наливала чай в блюдце, пальцы ее дрожали и слова у нее тоже получались какие-то дрожащие, будто бы их на лету схватывал озноб. Вера, напротив, успокоилась и теперь сидела молча, рассматривала незваных гостий. Не то чтобы она открывала в них что-то новое для себя, просто сейчас она смотрела на них с иными, чем прежде, чувствами, а внимание ее было обострено.

Ей бросилось в глаза, что Зинаида Сергеевна Турчкова похожа на ее мать. Тоже маленькая, высохшая, груди нет. Материна ровесница и выглядит как мать, будто бы ей скоро идти на пенсию. Вид у Турчковой был, правда, более городской и культурный, чем у матери, она имела и манеры служащей в учреждении, но казалась Вере несчастной и жалкой. Курить сейчас не курила, а мяла сигарету пальцами, табачные крошки сыпала на пол и на клеенку. Мать была все же более спокойной и медлительной, чем Турчкова, и сегодня и всегда. Беды она принимала терпеливо, не опускала рук в тихой уверенности, что все обойдется. Турчкова же и в благополучные дни ждала плохого, в маленьких печальных глазах ее была растерянность и даже обреченность, казалось, с ней только что случилось несчастье или несчастье это вот-вот должно было произойти и она знает о нем. За столом Зинаида Сергеевна очень нервничала, делала много лишних движений, быстрых и неловких, и Вере на мгновение стало жалко ее, она опасалась, как бы Зинаида Сергеевна не расплакалась.

Колокольникова, напротив, совсем не нервничала. «Такую и

пушкой не прошибешь,— думала Вера,— танком не переедешь. Сидит, как хозяйка, а мы вроде к ней в гости пришли и собираемся о чем-то просить. Чай из блюдечка потягивает, как купчиха... купчиха и есть...» Вот уж кому досталось подарков от природы, так это Елизавете Николаевне. В Никольском о ней говорили: сметана, а не баба. И красива, и телом обильна, и здорова, и свежа не по летам. Словно бы судьба не ломала ее, не взваливала ей на плечи пудовые ноши, уберегала от тягот никольских сверстниц, а лишь ублажала, пластинки ей заводила на коломенском патефоне — «Белую березу» да «Валенки» — и кормила дармовыми пирогами. Но нет, и у нее судьба была простая, если уж чем и баловала, так только жадными взглядами мужиков, велика радость. А Елизавета Николаевна жизнью своей была довольна, оттого, наверное, редко ее видели на людях ворчливой и темной лицом. Раньше Елизавета Николаевна нравилась Вере, любо было смотреть, как она пляшет, раззадорившись, «цыганочку» или «барыню» на хмельных гулянках, и песни, особенно протяжные, с тоской, вела она умело, сочным и как бы ленивым голосом. Вера этой вальяжной, а иногда и величавой женщине завидовала, было дело. Но сегодня она смотрела на нее с неприязнью, и ей казалось, что снисходительная улыбка Елизаветы Николаевны нынче относится именно к ней, Вере, и в улыбке этой прячется ехидство, злорадное обещание при случае, а может быть, прямо и сейчас выказать Вере презрение и нравственное превосходство. Елизавета Николаевна была особо неприятна Вере еще и потому, что лицом своим Василий Колокольников был в мать.

К Сухановой Вера относилась спокойнее, она была своя в их доме, но раз она явилась сегодня к ним союзницей противной стороны, то и с ней Вера не желала разговаривать.

Клавдия Афанасьевна Суханова была женщиной деятельной и беспокойной. Иные относились к ней иронически, а Навашины к ней привыкли. Работала Суханова на станции Гривно табельщицей, но главные ее житейские интересы были дома, в Никольском. Тут уж, казалось, ни один блин, ни один пирожок не мог испечься без ее дрожжей. Всюду она поспевала, во всем участвовала. С трибун при случае ее хвалили, называли бескорыстной общественницей. Она и была бескорыстной общественницей, суета ее и хлопоты приносили Клавдии Афанасьевне удовольствие, а если имела она корысть, то вся корысть эта умещалась в желании быть на миру, знать все повороты никольской жизни и обязательно участвовать в них. Ну, и при возможности после полезного дела не отказываться от чарки с закуской. При этом и водка, и огурчики не были для нее самоцелью. Просто ей было приятно посидеть в компании, пошуметь, поболтать, а если надо, то и снова что-нибудь уладить, кого-нибудь помирить или познакомить. В случае, когда затевалось в Никольском важное дело, Клавдию Афанасьевну ни упрашивать, ни инструктировать было не надо. Все она чуяла и понимала в нужном свете, а то и еще яснее, чем требовалось. С шутками, с громогласным высмеиванием отдель-

ных жителей Никольского поднимала она ближние и дальние улицы на посадку лип и тополей вдоль общественных дорог.

Во всех уличных неурядицах и семейных недоразумениях Клавдия Афанасьевна оказывалась непременно советчицей, а то и судьей. Какие только прозвища не ходили в Никольском за Сухановой. Звали ее и министром иностранных дел, и уличным регулировщиком, и свахой, и массовиком-затейником, и бабой Бабарихой, и еще кое-кем похлеще, но однако же злобы в этих прозвищах не было. Потому как и сама Клавдия Афанасьевна зла никому, кроме как реакционным иноземным кругам, не желала. Пусть в предприятиях своих она иногда попадала впросак, пусть иногда своими стараниями только портила дело, как было с Петуховыми, затеявшими фиктивный развод ради жилплощади, двигало ею всегда сочувствие к людям, желание видеть их в мире, в согласии и в активном действии.

Клавдия Афанасьевна была одних лет с Вериной матерью, с военной поры ходили они в подругах. В доме Навашиных Клавдия Афанасьевна бывала часто, мать угощала ее домашним вином из красной смородины и крыжовника, а чаще они пили с охотой чай и вспоминали былое.

При этом выражение лица у Сухановой было хитроватым и загадочным, а зеленоватые глаза чуть вытаращены, в них отражались летучие мысли, стремительные соображения: что бы еще этакое предпринять. Тетя Клаша была быстра и проворна, когда на ум к ней приходила идея, двигалась она словно вальсируя или напевая что-то про себя, одевалась она, по понятиям своих сверстниц, с шиком и как франтиха, на Верин же взгляд смешно и старомодно. Но Вера тетю Клашу любила.

Однако сегодня ее положение в доме Навашиных было нелегким, оно и ее самое смущало, и, видимо, от смущения этого, от неловкости своего положения Клавдия Афанасьевна говорила несколько неестественно и, загребая ложкой рябиновое варенье, все старалась развеселить собеседниц, что и совсем было неуместно.

— «Ты как хочешь, я ему сказала,— продолжала Суханова,— жилы я твои перевью, а спортплощадку из тебя вытяну». Правильно? Правильно. Мы там заведем и группы активного отдыха для пожилых. Будем бегать, омолаживаться. Я вас всех запишу. Будешь бегать, Насть?

— Вместо стирки, что ли? — попробовала пошутить мать.

— И вместо стирки...

— Клавдия Афанасьевна,— сказала Вера, раньше она называла Суханову только тетей Клашей,— чего тут разводить церемонии, вы бы уж прямо к делу, если оно у вас есть. А то мне окучивать картошку.

— Вера, ну зачем ты...— вступила мать.

— Мне окучивать картошку,— мрачно сказала Вера.

— Ты потерпи, не спеши,— сказала Суханова.— Ты нас уважь. Мы ведь постарше тебя.

— Чтобы уважить, уважение надо иметь...

— Значит, ты так ко мне относишься? Я ведь почти что твоя крестная.

— Почти что не считается,— сказала Вера.

— Ты слышишь, Насть? — обернулась Суханова к матери.— Не считается. А раньше-то считалось!

— Нервная она очень стала,— сказала мать.

— Моя забота, какая я стала!

— Ну ладно,— сказала Суханова,— к делу так к делу. Но уж я прошу тебя, Верочка, выслушай нас со спокойствием. Мы ведь с миром к тебе пришли.

— С каким еще миром?! — чуть ли не крикнула Вера.

— Вера, я тебя прошу,— жалостливо произнесла мать.

— Ну хорошо,— вздохнула Вера.

— Нет, я оговорилась,— сказала Суханова, чашку отодвинув,— мы пришли не с миром. Это ты могла бы прийти с миром. Мы пришли за миром. Ты понимаешь меня? Тут, точно, целая делегация. Нет никого от Чистяковых и от этих, не наших, Рожновых, но я вроде бы от них... Стало быть, вот что. Ведь суд людской — он пострашнее суда того... который с законами. А в людском суде приговор вынесен. В твою пользу. И обидчики твои в том суде наказаны. Да еще как! И семьи их тоже наказаны. Ты человек добрый, как мать твоя, ты рассуди: нужны ли еще слезы, несчастья, седины вот у этих женщин? Ведь мы свои люди... А? И надо ли дело доводить еще до одного суда? Рассуди...

— Следователь рассудит, надо или не надо,— сказала Вера.

— Погоди, не спеши. Вот они,— Клавдия Афанасьевна показала рукой на Колокольникову и Турчкову,— пожилые женщины, матери, извинения у тебя просят...

— Извинения! — возмутилась Вера.

— Прощения у тебя просят...

— Что-то я не слышала,— сказала Вера,— чтобы они просили у меня прощения.

— Они пришли за этим...

Клавдия Афанасьевна произнесла это неуверенно, замолчала, растерянно поглядела на Елизавету Николаевну и Зинаиду Сергеевну, видимо, не было между ними договоренности о каких-либо прощениях, и теперь Клавдия Афанасьевна волновалась, левым глазом подмаргивала, словно бы намек или совет давала женщинам. Вера сидела напряженная, дыхание задержала, ждала, что будет дальше; она чувствовала себя за столом главной, от нее теперь зависело здесь все, а две женщины были в полной ее власти, и мстительное ощущение власти в то мгновение Веру обрадовало, и она была намерена эту власть употребить без жалости и оглядок на мать.

— Прощения просим... всей семьей...

Вера подняла глаза.

Елизавета Николаевна Колокольникова произнесла эти слова, голову опустив к самому столу, чужим, срывающимся голосом.

— Вера, прости... Сына моего прости... И нас с отцом прости...— Мать Турчкова встала стремительно, неловкое движение сделала, будто собиралась броситься к Вере, но не бросилась, а осталась стоять на месте и своими печальными глазами молила Веру о пощаде, при этом шептала что-то, словно бы у нее уже не осталось сил на громкие слова.

Вера тоже поднялась со стула, застыла, онемев, не знала, что делать. Турчкова и совсем замолчала, будто испугавшись, что Вера злобой ответит на ее отчаянный порыв, погасит надежду, а Вера и сама смотрела на Зинаиду Сергеевну с удивлением и испугом, ей казалось, что эта маленькая нервная женщина расплачется сейчас или, хуже того, упадет перед ней на колени, заголосит, вымаливая прощение и мир.

— Господи! Да зачем вы, Зинаида Сергеевна! — вскрикнула мать.— Вера, что ты молчишь? Что ж ты стоишь-то?

— Зинаида Сергеевна, что вы...— пробормотала Вера.— Зачем это?

Губы ее дрожали, она чуть было не дала волю слезам, порыв Зинаиды Сергеевны взволновал и разжалобил ее, вместе с тем какое-то умиление возникло в ее душе, так ей хотелось, чтобы все горькое кончилось и всем было хорошо, так она сейчас всех любила, что желала всех простить. Да что там простить! Она сама готова была сейчас просить прощения, и у Колокольниковой, и у Турчковой, и у матери своей за то, что их беды, их переживания были связаны с ней, с ее неверной жизнью, она уже собиралась сказать об этом, и тогда бы, наверное, все пошло не так, как оно пошло, но тут подскочила Клавдия Афанасьевна, не выдержавшая тяжкого для нее молчания, и заговорила:

— Вот, Вера, слышала, да? Слышала? Ты оцени, ты думаешь, им легко? Вот и все, вот и хорошо!.. Теперь бы и ударить по рукам-то! Ты, Вера, их прости, прости, помни обиду, но прости, гордыню свою придави, придави... Чего же мы стоим-то? Садитесь, садитесь, оно легче будет говорить...

Усаживались в молчании, если не считать шумного усердия Сухановой. Молчали же все по-своему. Колокольникова, казалось, была смущена и расстроена тем, что она решилась просить прощения, а Вера на ее слова никак не ответила. Зинаида Сергеевна все еще переживала собственное трепетное движение и вне себя вроде бы ничего не замечала. Мать выглядела обеспокоенной, Вера чувствовала, что мать желает что-то сказать ей, а может быть, и гостьям тоже, но ничего Настасья Степановна так и не сказала. Сама же Вера остывала, как бы трезвея, глядела на все происходящее и уже была довольна вмешательством Сухановой. «А то бы я наговорила лишнего,— думала Вера,— совсем уж было рот открыла... Попросили они прощения — и ладно, и хватит, и нечего тут...»

— И теперь, значит, все,— сказала Суханова,— теперь можно и по рукам, теперь можно кончить дело без всяких обид...

— Как же это по рукам? — спросила Вера.

— А так вот и по рукам,— сказала Суханова.— Раз ты их простила... И ты должна...

— Что я должна?

— Ну что? Заявление написать, что ничего не было... Ведь ты их простила...

— Значит, заявление?

— Вера, я же тебя знаю, и хорошо знаю. У тебя всегда язык, а то еще и кулак опережают разум... Вот губы ты сейчас скривила... А ты обожди, не спеши, обдумай все в спокойствии. Если бы я не в ваш дом пришла, а в чужой, я бы там деликатничала. Я бы все дело в такие мягкие слова упаковала, упрятала бы в такую обертку из целлофана да еще бы поверху голубенькую ленточку бантиком завязала, что ни одно мое слово не вызвало бы ни малейшей обиды. И губы никто бы там не кривил. А тут я все своими именами, потому что и мы свои, и туман не нужен. Вот — ты. Вот — они. Вот — твоя беда. Вот — ихняя. И ты, пожалуйста, думая о своей беде, попробуй и чужую примерить на себя... И не дуйся оттого, что тебе говорят одну суть, без всяких украшений... А? — сказала Суханова.— Вер? Дальше мне говорить или ты все поняла?

— Но как же я всем-то объясню — и в Никольском, и в моей больнице,— что ничего не было? — спросила Вера.

— А ты ничего и не объясняй.

Творожиха, приоткрыв калитку, прошмыгнула в навашинский палисадник, но и с желтой дорожки, из-за кустов черной смородины, увидеть, что происходит на переговорах, она не могла, однако и оставаться в неведении не могла и все пыталась привстать на цыпочки или даже подпрыгнуть в надежде хоть что-нибудь углядеть или услышать. Вера заметила ее старания и не сдержала улыбки.

— Что? — обернулась она к Сухановой.

— Я говорю — ты ничего и не объясняй.

— Да? — сказала Вера.— И все?

— И все.

— Ну что же...

Вера встала.

Клавдия Афанасьевна Суханова смотрела на Веру настороженно, но, встретившись с Вериным взглядом, заулыбалась вроде бы от всей души, словно открыв в Верином взгляде надежду на благополучный исход беседы; бутылку теперь Клавдия Афанасьевна распила бы за успех предприятия. А Колокольникова с Турчковой не улыбались, нет, но и они, казалось, были готовы заулыбаться сейчас, если бы Вера того пожелала, сидели в напряжении, было в их лицах и в их позах нечто жалкое, заискивающее,— что уж там Турчкова, величавая Елизавета Колокольникова и та застыла, будто сжавшаяся под плетью в надежде, что ее сейчас все же не казнят, а помилуют.

— И спасибо, Верочка,— сказала Суханова.— Поверь мне, все хорошо обернется. Заявление напиши — и все...

Тут Колокольникова подняла голову:
— Мы понимаем, тебе было плохо, и мать твоя перенервничала. Потому и все дело надо кончить по-доброму. Если ты их и нас простила, то и твою доброту следует отблагодарить, чтобы все было по справедливости...
— То есть как отблагодарить? — спросила Вера.
— А так,— сказала Колокольникова,— деньгами.
— Какими деньгами?
— Уж мы собрали,— сказала Колокольникова.— Не десятки, ясно... Восемьсот рублей. Не обидим... Деньги вам теперь нужны. Тебе не мешало бы съездить в Сочи, на море, полечиться или просто отдохнуть. Настя вот, знаю, приболела. Так болезнь денег потребует. Не у отца же вам просить...
«Откуда она знает о болезни-то?» — подумала Вера.
Впрочем, она подумала об этом от растерянности.
— Так что же я, по-вашему, продажная? — сказала Вера.
— Вера, ты что? — в тревоге поднялась мать.
— Стало быть, за все можно заплатить? — сказала Вера.
— Верка, погоди!
Но Вера уже шумела, разъяряясь, успокоиться не могла, да и не хотела, она была сейчас победительницей, хозяйкой положения, ощущение власти над притихшими женщинами, казалось, снова радовало ее, она не знала, что сделает сейчас, но уж что-то сделает непременно, даст волю обиде, своему несчастью.
— Вера, дочка...— Мать взяла ее за локоть.
— Ну ладно,— сказала Вера, утихнув,— вот что... Уходите вон, чтобы я вас больше тут не видела...
— Вера, дочка...
— Вера, одумайся, поздно будет...
— Я не продажная! И не виноватая! Уходите отсюда, поняли? Уходите!
Колокольникова и Турчкова двинулись к двери, не дожидаясь новых просьб. Турчкова уходила несчастной и испуганной, Колокольникова же как будто распрямилась и, обернувшись напоследок, взглянула на Веру зло и презрительно, хотела, видно, ответить Вере, но сдержалась, только глаза сощурила со значением, а Суханова все стояла в растерянности у стола, не могла поверить повороту предприятия, совсем было слаженного, и Вера подскочила к ней, стала толкать ее к двери.
— Уходите, катитесь отсюда! Чтобы ноги здесь вашей не было!
— Да ты что? Истерика, что ли, у тебя?
— Я вам покажу сейчас истерику!
— Верочка, дочка, опомнись!
— Совсем, что ли, бесстыжей меня считают?
Только сойдя с крыльца, Суханова поняла серьезность Вериных намерений, и тут она поспешила по желтой дорожке за Колокольниковой и Турчковой, оглядывалась при этом и пальцем крутила возле виска. Жест этот вконец разозлил Веру, и она выскочила за женщинами на улицу, хотя и не собиралась этого де-

лать, выскочила и громко, на весь поселок Никольский, выкрикнула им вдогонку напрасные слова, обидные и скверные.

— Мать-то не срами,— обернулась на ее слова Суханова,— ей мужа-озорника по горло хватит!

— Я вот вас осрамлю! — не унималась Вера.

— Ох, Верка, пожалеешь! Ох, погоди, я тебе припомню! Крик твой слезами обернется!

— Вы у меня сами пожалеете!

Уходили гостьи, уносили срам и обиду, друг друга, видно, в своей неудаче стыдились, распалась временная компания; Турчкова отстала от Колокольниковой и даже на левую сторону улицы перешла, Суханова тоже, казалось, шагала сама по себе, ни на кого не глядя, но уже не спеша, устало,— ее-то крах был особенным; одна лишь Творожиха, пыхтя, припрыгивая на старости лет, семенила за Колокольниковой,— та уходила гордой и энергичной походкой. А Вера все еще стояла у своей калитки, руки положив на бедра, неистовой воительницей. Потом повернулась, решительно пошла домой, прикрикнула на младших сестер, подвернувшихся ей в сенях, рванула дверь в комнату.

Мать сидела у стола расстроенная, чуть не плакала.

— Ну, довольна? — сказала она.

— А тебе-то что?

— И не стыдно тебе? — сказала мать тоскливо.

— А чего мне стыдиться-то?

— Мне вот стыдно.— В голосе матери было отчаяние.

— Ну, а чего же они...

— И тебе будет стыдно за свой кураж. Не сейчас, так через десять лет. Женщины эти в радости, что ли, к тебе пришли? А ты...

— Так что же мне...

Вера ворчала, но уже обороняясь от материных укоров, от материных тоскливых глаз, а сама остывала, и тошно ей становилось, мерзко было на душе. Она присела у стола и все-все случившееся здесь минуты назад припомнила до мельчайшей подробности, и уж особенно то, как сухонькая нервная мать Турчкова норовила встать перед ней на колени, вымаливая прощение сыну. И то, что совсем недавно доставляло ей если не радость, так удовлетворение, то, как она, девчонка, взяла верх над матерями своих обидчиков и могла заставить их унижаться, страдать или в надежде на выгоду поддакивать ей, все это казалось Вере теперь отвратительным и жестоким. «Зачем я это? Зачем я куражилась, кричала на них? Сказала бы «нет» — и все. Какая я подлая! Обернется мой кураж моими же слезами, верно тетя Клаша сказала, так мне и надо, и пусть».

— Мама,— сказала Вера растерянно,— что же они мне деньги предлагали? Как же бы я взяла их?

— Не знаю...

— А ты бы взяла? — спросила Вера, помолчав.

— Я...— смутилась мать.— Зачем же я?

— Нет, ты скажи: ты бы на моем месте взяла?
— Нет,— вздохнула мать,— не взяла бы...
— Ну вот. А я почему?
Потом они сидели молча, мать, казалось Вере, поняла ее и перестала бранить дочь в мыслях, а Вера была растрогана тем, что мать ее поступила бы точно так же, как поступила она. Снова вспомнила она, как говорила Колокольникова про поганые деньги. И обида, остывшая было, снова вспыхнула в ней.
— Нет,— сказала Вера,— я этого так не оставлю. Я сейчас же поеду к следователю.

14

Минут через сорок она была в районном центре, шагала с вокзала в прокуратуру, обдумывала в запале слова, какие собиралась сказать Виктору Сергеевичу, не обращала внимания ни на город, ни на толпу вокруг, но вдруг почувствовала, что желает свернуть с привычной дороги на боковую улицу. «Зачем? Что это я?» — остановилась Вера. Впереди был галантерейный магазин, возле него недавно Вера увидела Сергея, а он не почувствовал, что она рядом. «Ну и что? Ну и не нужен он мне больше,— сказала себе Вера.— Что же я теперь-то беспокоюсь?» Она храбрилась, однако мимо магазина все же не пошла, а свернула вправо.
Виктор Сергеевич Шаталов оказался на службе, и, как Вере показалось, ее приход смутил его. «Все мне что-то мерещится,— подумала Вера,— до чего же я стала мнительная...»
В комнате кроме Виктора Сергеевича за своими, видимо, столами сидели еще двое мужчин его возраста, они, помолчав, переглянулись, сослались на дела и вышли. На Викторе Сергеевиче был отлично сшитый коричневый костюм, финская нейлоновая рубашка в полоску, темный галстук с крупными горошинами и галстучного же материала платочек уголком выглядывал из кармана пиджака. Видно было, что Виктор Сергеевич собрался прямо с работы, не заходя домой, отправиться куда-то.
— Я вас слушаю,— протянул Виктор Сергеевич.
Вера все ему выложила про приход женщин и слова Колокольниковой, говорила горячо, с возмущением, распаляясь, повторяла для убедительности всякие сегодняшние мелочи. Умолкла, смотрела на следователя. Неужели ему не передались ее гнев и ее обида?
— Да,— сказал Виктор Сергеевич, подбородок прижав к груди,— это хорошо, что вы пришли именно сейчас. Через полчаса вы меня бы не застали.
Вера обрадовалась этим словам: значит, рассказ ее показался следователю важным. Но тут же она подумала, что Виктор Сергеевич дал ей понять, что времени у него на разговор с ней всего полчаса.
— Как быть, Виктор Сергеевич? — сказала она, остывая, и не Виктору Сергеевичу даже, а так, в пространство.— Это они мне

вроде отступного сулили. Вроде платы за позор. Так нельзя оставить...

— А что, Вера...— неожиданно живо сказал Виктор Сергеевич,— а может быть, вам следовало понять состояние матерей? А?

— То есть как? — удивилась Вера.

— А так...— начал Виктор Сергеевич, но, заметив в Вериных глазах не только недоумение, но и испуг, осекся, смутившись, и уже после паузы заговорил медленно, неуверенным своим тонким голосом, с остановками и поглядыванием в окно: — Видите ли, Вера, вы достаточно взрослая и разумная. И потом — вы только на вид суровая и сердитая, а в душе, по-моему, добрая... И вот я хочу, Вера, чтоб вы меня правильно поняли...

Тут он остановился, подергал пальцами короткие волосы у залысин.

— Честно скажу, Вера, сегодня я к этому разговору не готов. Да и преждевременный он пока... Но кое-что я вам скажу... Ответьте мне, Вера: как вы представляете свою будущую жизнь? Предположим, пройдет суд, парней накажут. Крепко, может быть, накажут... А как вы будете жить в Никольском? Вы думали об этом, Вера?

— Как жила, так и буду жить,— сказала Вера.

— А не будут ли в вас и ваших близких, в сестренок ваших, тыкать пальцами, и не потому, что парни сели, а по другой причине,— понимаете, по какой?.. Пусть несправедливо, но не будет ли ваша жизнь отравлена?

— Вытерпим как-нибудь...

— Не знаю, не знаю... Трудно пока судить... А может, вам с матерью и сестрами все же стоит уехать из Никольского? А?

— Куда же это? А дом-то наш как же?

— После училища вас все равно куда-то распределят...

— Бежать, что ли, нам из Никольского? Тогда, значит, я виноватая? Нет.

— Ну хорошо,— вздохнул Виктор Сергеевич,— я, видно, начал не с того конца. Вы меня и не понимаете... Скажу про другое. На суде, Вера, все может получиться и вовсе не так, как вы предполагаете. Дело ваше с юридической стороны не простое. Там будут адвокаты, и они при старании смогут доказать, что и вы виноваты.

— То есть как? — растерялась Вера.

— Многое против вас. Многое можно истолковать по-разному... И драка ваша с Ниной, и то, что вы ничего не сказали о ней врачам, и некоторые ваши слова на дне рождения, да и не только слова, а и движения, и то, что вы выпили в тот вечер... Бусинка к бусинке — и вот готово ожерелье... Я сейчас могу произнести будущую адвокатскую речь, из нее вы узнаете, что виноваты вы, а парни — ваша жертва.

— А они-то сами...

— Погодите, Вера, не думайте, что я их адвокат. Нет. Но и их-то показания какие: пьяные были, не помним, вроде так, а вро-

де не так... К тому же по закону для суда признание обвиняемым своей вины еще ничего не значит. И это справедливо. Потом вам кажется, что происшествие всем видится именно таким, каким оно видится вам. Но при взгляде на него со стороны может показаться и совсем неожиданное для вас. Уж тут обратят внимание и на ваши вольные нравы, и на то, что вы с Сергеем Ржевцевым жили как муж и жена...

— Сергей обещал на мне жениться,— глухо произнесла Вера и тут же пожалела о сказанном. Мало ли что Сергей ей говорил! — Он обещал жениться... И у нас с ним было все хорошо и по-честному!

— Ладно, но это ведь не меняет дела. Мы вот получили письмо, в нем требуют привлечь Сергея за сожительство с несовершеннолетней. Видите, как выходит.

— Сергей ничего плохого мне не сделал.

— Однако могут наказать и Сергея. Вряд ли это вас обрадует. Но вдруг и такой оборот примет дело...

Виктор Сергеевич задумался на мгновение, но тут же сказал быстро, как бы спохватившись:

— Я не хочу запугивать вас, Вера. Упаси бог! Просто я хочу, чтобы вы подумали обо всем... Я прошу вас отнестись ко всей вашей истории не только сердцем, но и разумом. Разумом, Вера. Продумайте все... Прошу вас...

Виктор Сергеевич встал, и Вера невольно встала, но тут же опустилась на стул, ей бы попрощаться и уйти, а она все сидела, растерянная, прибитая, куда девалась вся ее воинственность и бойкость. А Виктор Сергеевич походил в раздумье, присел к Вере и стал говорить ей мягко и терпеливо. В чем-то он ее убеждал, и она кивала ему, все, что она думала и чувствовала раньше, уплыло куда-то, а слова следователя приходили к ней безусловной истиной, обволакивали ее и как бы укачивали. Он пожал ей на прощанье руку, спросил, согласна ли она с ним, и она ответила искренне: «Согласна». На улицу она вышла все же в смятении. А пройдя к вокзалу и повторив про себя разговор с Виктором Сергеевичем, она вдруг взбунтовалась и принялась ругать себя: «Да как же я согласилась с ним! Да это же все неправда! Как он мог! Надо было ему сказать то-то и то-то!» В электричке в мыслях явились к ней такие яростные и правильные слова, что Вера захотела тут же вернуться к следователю. Но где теперь найдешь Виктора Сергеевича? «Ах, голова ты, голова садовая! — корила себя Вера.— Что же ты раньше-то делала!»

А Виктора Сергеевича не то чтобы расстроил разговор с Верой, просто после него ему стало не по себе. Ему вдруг показалось, что никольская история кончится плохо. Предчувствие дурное, плеснулось, как рыба в сонном озере, и хотя круги утихли, умерли тут же, на черном песке, в душе Виктора Сергеевича осталось что-то неприятное. И своим разговором с Навашиной Виктор Сергеевич не был доволен, слова являлись ему холодные, вялые, а порой и лукавые. «Насчет Сергея я напрасно,— решил Виктор

Сергеевич,— напрасно, это ведь неправда... Никто его не может привлечь... Но она успокоилась и, кажется, сможет все понять как следует... Хорошо бы, хорошо бы...»

15

Отдежурив ночью, Вера из больницы вернулась утром с тяжелой головой и проспала без снов до вечера.

Когда она проснулась, было зябко, шел дождь, и Вера подумала, что, если вскоре растеплит, пойдут белые грибы, колосовики с бледно-коричневыми шляпками, как у подберезовика. От Никольского к Лопасне, к Мелихову и дальше шли знаменитые белым грибом леса, и по воскресным дням московские и местные жители в этих лесах охотничали с ведрами и корзинами, шумели, аукались, гремели транзисторами.

Вера встала, сказала матери:

— Готовь лукошко.

Мать обернулась, заметила:

— И то. Недели на две гриб должен пойти. Потом ему до августа отпуск.

Помолчав, она сказала:

— Я в районе сегодня была. Велели мне послезавтра приходить в больницу. Будет место.

— Да? — растерялась Вера.

— Место, говорят, легкое, счастливое. Женщина, которая с этой койки уходит, старше меня, поправилась, а была опасная.

— Я завтра съезжу к твоим врачам,— сказала Вера,— поговорю, чтоб у тебя все было хорошо.

— Ты уж места моего не меняй.

— Да при чем тут место? — рассердилась Вера.

— Как при чем?.. Да,— вспомнила мать,— тут тебя один человек ждет. Давно уже. Под дождем, на улице...

— Какой еще человек?

— Я не знаю,— сказала мать.

Вера посмотрела на мать с недоверием.

— Кликнуть, что ль, его?

— Да на кой он нужен-то! — раздраженно сказала Вера, но на всякий случай глянула в окно. И никого не увидела.

— Сейчас кликну...

— Да постой! — бросила ей Вера вдогонку, но было поздно.

Хотя она уже и свыклась с мыслью о том, что матери надо в больницу и что чем скорее сделают операцию, тем лучше, хотя, вольно или невольно, она смотрела на беду матери еще и глазами медика, новость Веру расстроила и даже испугала. Раньше матери вообще надо было ложиться в больницу, теперь все становилось срочным и определенным, а слово «послезавтра» приобретало жестокий, быть может и трагический смысл. «Эх, жизнь! — тоскливо думала Вера.— Вот везет нашей семье! Уж точно: бьет ключом —

и все по голове...» Сидит где-нибудь в тихом и сухом месте заведующий судьбой навашинского семейства и ключ зловредный держит наготове, как хозяин дома большую ложку за столом, чуть что — хвать по лбу. Но мать-то в чем провинилась? «Надо завтра ехать в ту больницу, опять говорить с врачами и просить похлопотать Тамару Федоровну — в районе у нее есть знакомые...»

Но и эта мысль о завтрашних непременных действиях не прибавила Вере сейчас ни сил, ни оптимизма, опять тяжесть безысходности придавила Веру, словно бы ее в колодец бросили, а крышку замуровали на совесть. И оттого не выгнала она вон, не вытолкала с шумом гостя, тихонечко направленного матерью в комнату. Она не только не выгнала гостя, но и сама не смогла подняться да, взглянув на него презрительно, уйти прочь. К тому же в глазах матери Вера уловила робкое желание спокойствия, ей показалось, что своей тихой улыбкой мать просит ее не устраивать скандала, быть терпимой или хотя бы терпеливой, а любую просьбу матери она готова была выполнить сейчас как ее последнюю просьбу.

Гостем был Леша Турчков.

— Здравствуй, Вера,— сказал Турчков.

— Здравствуй,— сказала Вера вяло.

— Садись, садись, Леша,— озаботилась мать.

— Спасибо... Я так... Вот сейчас...

— И плащ-то сними, а то течет с него.

Плащ Турчков стал тут же послушно снимать, энергично, словно спохватившись, извинялся сокрушенно. Потом отправился в коридор, к вешалке, делал при этом движения неловкие и просто лишние, покачнулся дважды. Он сейчас выглядел человеком с нарушенной координацией движений, но не оттого, что выпил, а оттого, что его чем-то огорошили и он был не в себе. В коридоре Турчков долго вытирал ноги о половик, а затем появился в комнате и, пока шел к столу, останавливался, жался, смотрел на Веру виновато и как бы с опаской. Она показала ему на стул, он сел. Ковбойка его потемнела на плечах и рукавах — болонья пропустила воду. Лицо Леши было мокрое, а волосы тем более, белые кудряшки жалкими косичками прилипли ко лбу. Поймав Верин взгляд, Турчков быстро вытащил расческу, принялся было убирать ею локоны, но без толку, смутившись, он сунул расческу в карман. А Вера вспомнила, что и она нехороша, со сна не умывалась и не поправляла волосы, хотела подняться и подойти к зеркалу, но тут же подумала, что это ни к чему.

— Ну что? — спросила Вера.

— Я хотел поговорить с тобой...— сказал Турчков и поглядел на Настасью Степановну.

Настасья Степановна поднялась и вышла.

— Я понимаю,— сказал Турчков,— ты меня ненавидишь, тебе противно видеть меня...

— Оставь,— сказала Вера.— Если есть дело, так о нем и говори.

— Нет у меня никакого дела,— опустив голову, пробормотал Турчков.

— А маму мою зачем выставил?

— Не знаю,— сказал Турчков.— Стыдно мне.

— Твоя забота.

— Ты пойми... Я не оправдываться к тебе пришел,— заговорил Турчков быстро, с жадностью, будто сегодняшние слова долго стерег в себе, запирал на замок с секретом, терпел, а они мучили его, жгли, и теперь, выпуская их на волю, он чувствовал облегчение.— А если и оправдываться, то не за то, главное, а за другое... Ты не думай — вот вчера приходила моя мать, у нее ничего не вышло, и вот теперь явился я со второй атакой... Ты, наверное, так подумала?

— Мне-то не все ли равно...

— Нет, ты поверь, я не знал, что мать пошла к вам... Я бы ее не пустил... Уж совсем мерзко было...— Тут Турчков осекся, какое-то соображение, видимо, остановило его.— Не мне, конечно, говорить так! Совсем мерзко было раньше. И матери наши все из-за нас... Из-за меня...

— Еще что-нибудь скажешь?

— Я и не знаю, что мне сказать... Я просто так пришел, потому что я уже не мог не прийти... Ты пойми меня... Нет, я знаю, что я хотел бы тебе сказать, но я не могу этого сказать.

— Ну и хорошо,— кивнула Вера.

— Ты меня извини, я сейчас много говорю, это потому, что я много молчал, только матери и смог открыться... Она у меня хорошая...

И действительно, потом он говорил много и путано, нервничал и говорил скорее не для Веры, а для самого себя и, останавливаясь, казалось, ждал одобрения или возражений не от Веры, а от самого себя. При этом взгляд его не был отчужденным, направленным в одну точку,— напротив, он был чрезвычайно живым и прыгал с предмета на предмет, иногда попадал на Веру и тогда на мгновение становился цепким, словно бы желал ухватиться за что-то, успокоиться, но нетерпеливые, горячие слова сейчас же уводили его в сторону. А Вера испытывала теперь странное ощущение. Раз уж она не выгнала Турчкова, раз уж не хватило у нее на это сил, она рассчитывала вытерпеть его присутствие и слушала его, как слушают неживой говорящий предмет вроде транзисторного приемника или телевизора, имея возможность при случае выключить звук и изображение, а то и вообще разбить в сердцах пластмассовый или деревянный ящик. Однако так было поначалу, а потом Вера неожиданно поймала себя на том, что она охотно слушает Турчкова, хотя пока она и не могла уловить сути его слов.

— Ты знаешь,— сказал Турчков,— мать-то моя меня водила к невропатологу и психиатру. И отец конвоировал... Ты не думай, что только из-за суда... Хотя, конечно, им хотелось, чтобы на суде была справка... Но они, главное, испугались за меня... Я ведь на

другой день хотел убить себя... всерьез... А теперь не стану... У меня теперь есть цель...

— Ну, а мне-то что!

— Извини... Я скотина... Я все про себя... Я понимаю... Я не для этого пришел... Я просто не решаюсь сказать... Врачи-то нашли во мне расстройство нервной системы, это уж я его сам себе устроил, но то, что я тебе скажу, это не блажь, все это я решил в здравом уме... Только вытерпи, что я тебе скажу... Может, это глупость... Ты заранее извини...

— Чего извиняться-то?

— Я хочу предложить тебе... То есть это не предложение, это просьба... Ты можешь выгнать меня тут же, как я скажу... Я... Ну, в общем... ты не могла бы выйти за меня замуж?

— Чего? — вскинула ресницы Вера.

— Выйти за меня замуж,— медлительно, но и с твердостью произнес Турчков.— Не сейчас, а через год, когда станем совершеннолетние. Но все будут знать, что мы с тобой женимся...

— Зачем?

— Ну... Я не знаю, как тебе объяснить, что я чувствую... Ну... хотя бы и для того, чтобы у ребенка был отец...

— Какого ребенка?

— Твоего...

— Какого еще ребенка! — возмутилась Вера— Ты что, сдурел? Никакого ребенка не будет! Как ты мог подумать! Ты что?

Турчков посмотрел на нее, и то ли удивление, то ли растерянность были в его взгляде. Потом он сказал:

— Если не ради ребенка, то просто так.

— Ну, ты даешь, Турчков! — сказала Вера.— И долго ты думал? Ты что же, себя в жертву решил принести? Так мне ее не надо! Или ты собрался взять всю вину на себя? Может, посоветовался с кем? А?..

— Нет, нет! — поморщился Турчков, как от боли.— Все ты не то говоришь! Все не так!

Потом он сказал:

— Ведь я люблю тебя.

— Вот тебе раз,— удивилась Вера.— Как кот мыша, что ли?

Но тут же, взглянув на Турчкова, она подумала, что, несмотря ни на что, ехидничать и злиться ей сейчас не следует.

— Нет,— качнул головой Турчков,— ты не так говоришь. Все не так. Я всерьез.

— И давно ты успел полюбить? — спросила Вера.— До или после?

— Я не знаю, как тебе все это объяснить... Я не могу словами назвать то, что я чувствую... Я, наверное, и раньше тебя любил...

— Ну, хорошо. Спасибо и за это...

— Я понимаю... У тебя есть другой?

Вера хотела сказать, что да, у нее есть другой, чтобы облегчить Лешины страдания, но другого у нее вот уже пять дней как не было.

— Не имеет значения,— хмуро сказала Вера.

— Я понимаю... Я все понимаю... Но и ты пойми меня... Конечно, я подлец... Я ничтожество... Я не только не могу, но я и не хочу просить у тебя прощения, потому что меня нельзя простить... Я знаю, какое у тебя отношение ко мне... И вот я набрался наглости предложить тебе такую чушь... Это и вправду чушь: как же я вообще смогу жениться через год, когда меня вот-вот посадят?.. Я ведь помню про суд. Он мне нужен... Я ведь шел к тебе сказать, что я тебя люблю,— и больше ничего, потому что я уже не мог этого не сказать... Но сначала вырвалась нелепость... То есть ужасно... Ведь все это можно понять так, будто я придумал способ, чтобы избежать наказания... Это случайно вышло... Я... я не знал, какие слова найти... Я без всякой корысти... Я хочу наказания...

Турчков замолчал, сидел сникнувший и несчастный, и Вера забоялась, как бы он не заплакал. Опять, как и в день рождения, он показался Вере побитым щенком, и жалость взрослой женщины проснулась в ней. Но ласковых слов успокоения теперь у Веры не было. Она хотела предложить Турчкову воды или квасу, но подумала, что этим она его совсем расстроит. Она поднялась, нашла свою сумочку, достала сигареты.

— Закурю, если не возражаешь,— сказала Вера.— Хочешь?

— Дай, пожалуйста,— кивнул Турчков.

Курить Вера, как и Турчков, не курила, но иногда, по настроению, баловалась и пачку «Новости» держала на всякий случай в сумке.

Турчков поднес к губам сигарету, затянулся с усердием, но и небрежно, будто опытный курильщик, и тут же закашлялся, даже покраснел от напряжения.

— Я пойду.

— Смотри,— сказала Вера.

— Мне на завод ехать... Пусть я и недотепа, а там я на хорошем счету... Я ведь научился кое-чему... Там я для всех без вины виноватый... А мне от этого еще тошнее, понимаешь...

— Твоя забота.

— Ну да, ну да,— кивнул Турчков.— Моя и ничья больше. Еще, к несчастью, и моей матери. Что мое, то и ее... Ну ладно, я пойду...

Он пошел к двери и остановился.

— Знаешь,— сказал Турчков,— я тебя прошу, ты забудь, что я тут наговорил тебе,— и все... Это ведь я самому себе устроил облегчение... А тебе пришлось меня терпеть... Но ты меня пойми — я уже не мог не прийти к тебе и не сказать... Я совсем бы измучился... И не думай, что я сейчас не в себе или с головой у меня не в порядке, я тебе все верно сказал... А тебе спасибо, что не выгнала...

— Не за что,— буркнула Вера.

— И еще,— сказал Турчков, волнуясь,— как бы ты ко мне ни относилась, мало ли что может случиться в будущем... Вдруг

стрясется с тобой беда или еще что... Ты знай, что и на меня можно рассчитывать... Ты не думай... Я сильным стану... Или черту душу отдам, а тебе пособлю.

Вера, выслушав его, подумала, что единственное, о чем она хотела бы просить Турчкова,— это о том, чтобы он никогда не попадался ей на глаза и даже издали не напоминал ей ни о себе, ни о своем дне рождения.

Но Вера сказала неуверенно:

— Ладно...

— Я ведь в тот вечер,— сказал Турчков тихо,— все глядел на тебя... И то любил тебя, то ненавидел... И опять любил и опять ненавидел... Ты тогда ничего не заметила?

— Хватит,— не выдержала Вера.— Чего зря разводить болтовню!

Турчков поглядел на нее с тоской, он словно ждал незамедлительного унижения, губы его задрожали, и Вера снова забоялась, как бы этот ушастый мальчишка с мокрыми кудряшками на лбу и на самом деле сейчас не расплакался.

— Ну что ты? Что ты? — сказала Вера уже поспешно.— Ну зачем об этом сейчас говорить?

Однако слова ее вовсе не успокоили Турчкова, толстые Лешины губы по-прежнему дрожали, а глаза были мокрые и жалостливые, белесые ресницы хлопали часто, невольное сострадание возникло в Вериной душе, и, не выдержав, она пошла к Турчкову, и даже не пошла, а бросилась к нему, будто он тонул или истекал кровью. И тут произошло то, чего она никак не ожидала и о чем позже не то чтобы жалела, но во всяком случае не любила вспоминать,— она, приговаривая ласковые, тихие слова, стала гладить Турчкову волосы и говорить: «Ну что ты, Леша... Ну зачем ты так отчаиваешься... Все пройдет... Все хорошо будет...» Турчков был с нее ростом, но худенький и узкий в кости, и сейчас, уткнувшийся широким носом в ее плечо, казался и вовсе маленьким. Вера и чувствовала себя рядом с ним взрослой, если не матерью этого несмышленого парня, то по крайней мере старшей его сестрой. О своих печалях Вера теперь забыла, она боялась, как бы Турчков, выйдя из их дома, с отчаяния не втемяшил себе в голову крайней глупости и не сделал дурного. И она все прижимала левой рукой повинную голову к своему плечу, а правой гладила и гладила Лешины волосы.

Однако вскоре Турчков сам опомнился, выпрямился и решительно отступил от Веры на шаг. Глаза его были сухи, а узкая, худенькая фигурка стала собранной.

— Это я так... это я на минуту ослаб,— быстро заговорил Турчков,— разнылся и расклеился... Вроде бы я разжалобить тебя пришел... Ты так не думай... Я совсем другим хотел появиться у тебя. Не смешным и не жалким... А не вышло... Но я буду другим, я знаю, каким, раз уж я остался жить после всего этого... Я там, куда меня пошлют, не пропаду, все выдержу... У меня программа есть... Мать бы только выдержала... Ее жалко, ей-то

хуже всего. Отец-то перетерпит... А тебе спасибо за сегодня... Ты меня сегодня укрепила...

В коридоре, надев плащ, он сказал:

— Знаешь что, пожелай мне на прощанье, чтоб на суде меня наказали покрепче... Я серьезно... Мне это надо.

— По программе, что ли? — спросила Вера.

— Я серьезно, я не шучу...

— Может, и суда-то, Леш, не будет... Да и не нужен он, наверное, вовсе...

— Нет, нет! — замахал рукой Турчков.— Нужен. То есть не суд, а наказание...

Вышел за калитку и исчез, размок, растаял в дожде.

В коридоре перед Верой возникла мать, спросила шепотом, с оглядкой на дверь, а в голосе ее, в интонациях, была надежда на то, что появление Турчкова хоть капельку какую изменило к лучшему:

— Ну что? Ну как? Что он приходил?

— А ничего. Просто так приходил,— бросила Вера на ходу и прошла в свою комнату.

Там она первым делом отыскала раздвижное зеркальце в кофейном дерматиновом переплете и рассмотрела свое лицо с пристрастием. «Ну и мымра, ну и чухонка, заспанная, неразглаженная!» — ругала себя Вера. Она достала перламутровую губную помаду и тушь для ресниц и, пока приукрашивала себя, правда, не так ярко, как прежде, все досадовала, что говорила с Турчковым до неприличия простоволосая и в стар採еньком сарафане, потертом и неукороченном. «Тоже мне мать, опомниться не дала со сна...»

Но тут она вспомнила о материной больнице и загрустила. Отставила зеркальце и помаду с тушью, вздохнула тяжело, обреченно. И позже грусть не покидала Веру, хотя и приутихла, но мысли Веры вскоре приняли странное направление. А что, думала Вера, вдруг бы она и вправду стала женой Турчкова? То есть не сейчас, и не завтра, и вообще никогда, а так, мысленно... И тут ей стали представляться картины реальные, но несбыточные. Впрочем, им и сбываться-то было ни к чему. В этих видениях Вера с интересом разглядывала себя рядом с Турчковым, и фантазия уводила ее в дали дальние. Вот они идут никольской улицей, и Турчков ведет ее под руку, он стал высоким и крепким, завидным стал мужчиной, а все равно ему не обойтись без Вериного покровительства и подмоги. Вот они прогуливаются по районной столице, и вдруг возле галантерейного магазина им попадается Сергей, а рядом с ним востроносая женщина, невзрачная и неопрятная, даже с синяком под глазом. Он видит их с Турчковым, и все понимает, и жалеет обо всем, ох, как жалеет... «Фу ты, чушь какая! — оборвала себя Вера.— Лезут же в голову глупости». В последние дни с ней происходило удивительное — никогда раньше она не была такой мечтательницей и фантазеркой, как теперь, уляжется отдохнуть или присядет в своей ком-

нате к окну — и непременно начинаются утешительные фантазии с лихими сюжетами, сладостные миражи в никольской пустыне. Потом от них было не теплее и не легче, но и не так черно, и не так страшно, а жизнь нынешнюю они хоть на время застилали дымовой завесой.

Вера вздохнула. Все это если бы да кабы. Все это чепуха. Турчков сделал ей предложение. Дождалась. Первое предложение в ее жизни,— слова Сергея в счет не шли. Смешно. А еще б смешнее было, если бы она когда-нибудь стала женой Турчкова. Впрочем, кто знает, как может повернуться ее жизнь, и что теперь загадывать! Но неужели Турчков влюбился в нее? Вот уж к кому она никогда не относилась серьезно: лопоухий соседский мальчишка, мученик пианино, губошлеп и маменькин сынок всегда вызывал у нее если не иронию, так усмешку. Правда, она над ним не издевалась, он был добрым мальчишкой. Но какая уж там могла быть у него любовь?

Однако Вера с некоторым удовольствием повторила про себя слова Турчкова: «То любил тебя, то ненавидел...» Нет, она этого не заметила, не почувствовала. Впрочем, вспоминается, говорил Турчков ей какие-то странные слова, в чем-то упрекал ее, выскочил вдруг из комнаты, взглянув на нее перед этим сердито и жалко,— тогда, значит, он и ненавидел? Тогда, наверное. И она желала в те минуты его успокоить, ублажить его, объявиться ему старшей сестрой и опекать его, а ведь от жалости, от желания покровительства слабому женщине до любви — два шага... Но тут же Вере на память пришло то страшное, и все прекратилось, фантазии спалило прихлынувшей ненавистью. «Нет,— думала Вера,— они для меня не люди. Они меня не жалели, отчего же мне теперь их жалеть? Пусть все расхлебывают сами и не ждут от меня ни прощения, ни доброты». Впрочем, в сердитых Вериных мыслях не было сейчас прежней решимости.

16

А Турчков в это время ехал в электричке до платформы Текстильщики, откуда он к своему заводу обычно добирался на метро. Чувствовал Турчков себя опустошенным. Душу его, правда, чуть-чуть теплило сознание, что он сделал то, чего ему хотелось и чего раньше он бы не отважился сделать. Ему казалось, что сегодня он с горем пополам шагнул на первую ступеньку лестницы, которую сам себе построил в мыслях. Ему было легче оттого, что он сказал Вере о своей любви к ней, и теперь эта обреченная любовь словно бы меньше беспокоила его. Однако на самом деле Вера могла подумать, что его привела к ней корысть, судорожное желание ухватиться за соломинку... Ну, нет, у нее же есть ум, успокоил себя Турчков, не может она считать его совсем бессовестным. А впрочем, пусть считает. Пусть. Вот пройдут годы, он исполнит свою программу, станет человеком, встретит Веру, и, может быть, ей придется тогда пожалеть, раскаяться, прозреть

наконец. Но он будет великодушен... Ах, что мечтать, что тешиться будущим, отругал себя Турчков, ведь все это без толку и стыдно. Однако он знал, что еще не раз его воображение нарисует ему встречу с Верой через десять лет и любые повороты событий в той будущей жизни одинаково доставят ему удовольствие. Или, по крайней мере, поддержат его душевное равновесие.

Потому еще Турчкову хотелось заглядывать в будущее, где он обещал себе стать хорошим и благородным человеком, что в сегодняшнем и тем более во вчерашнем ничего утешительного увидеть он не мог. Мерзость одна там и была.

День рождения непременно вставал перед глазами. Вспоминать о том, что произошло в конце вечера, Турчков просто боялся,— бывает, привидится тебе в полудремоте окровавленное или мертвое лицо близкого человека, ты сейчас же в холодном поту гонишь сон и стараешься думать о чем-нибудь постороннем и мелком, о футболе, например, или о новом галстуке, вот и Турчков от первого же видения своего разбойства шарахался подальше: «Чур, чур меня!»

Но и то, что происходило в доме Колокольникова раньше, когда гости еще пели и веселились, вспоминать было не легче, хотя этих воспоминаний Турчков старался не гнать. Чаще иных мелькало в тех видениях наглое лицо Рожнова, оно оживало, рожи корчило Турчкову, подмигивало бесовским глазом, а иногда как будто бы и легкая, летающая рука Рожнова опускалась Леше на плечо и ехидный голос звучал опять: «Ну, тютелька, как дела? Не пора ли мужчиною стать?»

И сосунком, и тютелькой, и маменькиным сынком да еще черт-те кем звали его никольские сверстники, и только девчонки — Лешенькой. Еще в детсадовскую пору, когда все дети вокруг него были как дети — в разбитых ботинках и штопаных одежках, перешитых из послевоенных обносок, а мать выпускала его из дома в крахмальной панамке и с золотистым бантом на груди — липучкой для насмешек,— еще тогда попал он в недотепы, и на всю жизнь. Помнил он, как взрослые парни заперли его с соседской семилетней девчонкой в заброшенный сарай, вонявший кислой гнилью прелого сена и куриным пометом, а выпустив, объявили, что теперь они муж и жена, и Лешенька поверил и разревелся... Из гармошечной трубки осоавиахимовского противогаза резали «блох», устраивали на мелочь или на шелобаны «блошьи скачки», и уж непременно Лешины «блохи» были неудачницами, развертываясь, прыгали ниже всех, а то и вовсе не прыгали. На шелобаны же, щелчки и оттяжки, с маслицем и сухие, никольские парни росли умельцами. И в расшибаловку, и в жошку, и в отмерялу Лешенька играть не хотел, знал от матери, что это дурные игры, и просто боялся, что у него ничего не выйдет. Однако же боялся и того, что его посчитают трусом, не выдерживал поддразниваний, с отчаянием бросался в игру и в конце концов веселил сверстников. В футбол, на взрослом поле, у пруда, с воротами, а не с кирпичами, он, напротив, мечтал играть, но в

команду его принимали редко — и то когда сговаривались два неравных по силам парня, вот тогда Лешеньку выталкивали довеском к менее искусному, чтоб хоть мешался под ногами. А так он был «Эй, пацан, подай мяч». Мать не пожалела денег и купила прекрасную кожаную покрышку, оранжевую, с желтой крепкой дратвой, камеру и насос, и на время Лешенька стал в Никольском значительной личностью — «мальчиком, у которого есть мяч». В ту золотую пору ватаги взрослых дылд и мальчишек с дальних улиц появлялись у калитки Турчковых и, задабривая Лешеньку, с усердием приглашали его поиграть с ними в футбол. Лешенька таял и развесив уши бежал с мячом к поляне. Но как только мяч оказывался в чужих ногах, заискивающие взгляды гасли, и хотя Лешеньку для приличия брали в игру, относились к нему как к лишнему и цыкали в раздражении, чтоб не лез куда не надо. А потом мяч украли.

Да что все вспоминать — только ножом по душе скрести. Было, было, было... Тяжкую ношу маменькина сынка волок на тощих плечах. Ерепенился, пыжился, вставал на цыпочки, старался выказать себя мужчиной. Хлипкость свою человеческую только и выказывал. Теперь-то Леше это ясно. А уход из школы в рабочие был отчаянным семейным бунтом. Потом и от музыки убежал, хлопнул общарапанной крышкой пианино, купленного с жертвами и мытарствами, хлопнул в сердцах, чтоб все знали — и мать с отцом,— что он не хлюпик с бантом на груди, а настоящий парень и руки у него черные от масла и металла. А-а-а... К работе заводской, зубы сжав, привык, кое-что сейчас уже умеет и делает многое с удовольствием, но то ли это занятие, к какому он приписан судьбой? Кто знает... Впрочем, чушь, ерунда, теперь-то он знает, какое дело написано ему на роду. То есть какое он сам себе на роду написал... Оттого, что в ту ночь решил доказать и себе, и компании, что он «не хуже других».

И опять перед глазами мерзкое лицо Рожнова. Левая бровь Рожнова выжжена в середине — перервинский слесарь на досуге неумело пользовался паяльником, осчастливил себя особой приметой,— и русые кустики живут сами по себе, вздрагивают сами по себе, помогают подмигивать пройдошьему глазу. «Ну что, тютелька, не пора ли мужчиною стать?» Лешенька храбрился, желал на террасе вести с парнями разговор о женщинах на равных, как будто бы их у него было много, хотя и понимал, что все знают, что у него ни одной не было. «Да брось пижонить,— сказал Рожнов,— мы тебе помочь хотим, а ты нам бакенбарды крутишь. Чего стесняться-то? Тоже мне Есенин! Все не умели. А начинать надо. Если не хочешь для продолжения рода, так надо для кровообращения».

Потом пили, шумели, танцевали, но в безалаберном гомоне вечеринки Лешеньке было теперь не по себе, он все думал: «А может, и вправду сегодня? Неужели я такой ничтожный и хуже других?» Водка и дешевый, дурной вермут делали его решительным. Колокольникова и Рожнова порой он видел озабоченными,

они все соображали насчет женщин, и было ясно, что вечер будет для них потерянным, если насчет женщин дело не выйдет. После первых танцев Рожнов с Колокольниковым выбрали девочек, а Леше посоветовали приударить за Клашей Терновской: «Она на тебя смотрит и тает, как мороженое на палочке. Если упустишь, будешь дурак». Тут Рожнов прошептал кое-что Леше на ухо, взволновав его и обнадежив. Все же несколько минут Леша провел в одиночестве на крыльце, размышляя о нравственности террасных предприятий, и, сочтя их безнравственными, успокоился было, но тут же обозвал себя сопляком, идеалистом из девятнадцатого века, Ленским с романтическими кудрями, забывшим, что на дворе иное столетие. Все делают,— значит, и нравственно. И он должен быть как все. Конечно, Лешу несколько опечаливало то, что день его рождения проходит без возвышенных застольных бесед, вообще без серьезных разговоров, а превратился в привычную вечеринку с пьяным шумом и любовными затеями. Кроме всего прочего высокие слова и понятия были высокими словами и понятиями, а в Леше жило сейчас такое, что не подчинялось этим словам и понятиям, и сдерживать это было трудно. Да и не надо было, как казалось Леше, сдерживать. И он подсел к Клаше Терновской, розовой блондинке — лондотон из «Ванды» — годом старше его, с холодной решимостью взять свое и доказать всем этим Рожновым и Колокольниковым, что он... что они... Все же он волновался, но Клаша с удовольствием приняла его игру, стала в ней верховодить, и Леша поверил шепоту Рожнова. Но тут появилась Вера Навашина.

Терновскую Леша оставил. Он понял сразу, что любит Веру. Он был влюблен в нескольких девушек, среди них и в двух заводских, в одну из ОТК и в одну из столовой, причем отчетливое ощущение любви приходило к нему только при встрече с той или иной его симпатией, остальные же при этом забывались. Теперь ему казалось, что Веру он любит так, как никого не любил, и что любовь к Вере, видимо, жила в его подсознании давно, с детских лет, но он о ней не догадывался,— так бывает. Впрочем, ему показалось, что и раньше Вера его волновала и печалила.

Так или иначе, но появление Веры его обрадовало. И сама Вера, и его собственное сегодняшнее отношение к ней противоречили рожновской обыденной пошлости и как бы освободили Лешу от нужды именно сегодняшним вечером становиться мужчиною. Он сразу же испытал облегчение. Он любовался Верой, ходил за ней, как опоенный чародеевым зельем, и все хотел восторженными словами рассказать Вере о своей любви, но у него никак не получалось.

А на террасе его огорошил Колокольников, заявив, что он произвел переориентацию корабля и будет причаливать к Вере Навашиной. Рожнов принялся было оспаривать Веру, но Колокольников цыкнул на него. Леша стоял возмущенный, при нем марали святое, о себе он постеснялся сейчас Колокольникову и Рожнову сказать, но о Сергее напомнил. «Ну, знаю,— сказал Ко-

локольников.— Я надеялся на Нинку, а она не пришла. А Сергей ни мне, ни Верке не помеха. Что у нас, домострой, что ли?» — «А ты-то чего суетишься? — сказал Леше Рожнов.— Тебе-то зачем Верка?» Потом они стали говорить о Вере такое, от чего Леша совсем увял, а Веру тут же возненавидел. «Откуда вы знаете?» — взвился Леша напоследок. «Знаем»,— сказал Рожнов значительно.

И дальше, почти весь вечер, Леша ненавидел и презирал Веру. В каждом ее жесте, в каждой ее фразе, в движениях губ и глаз чудилось ему подтверждение слов Рожнова. «Про нее давно говорили, что она гуляет, так и есть...» Леша чувствовал себя обиженным и обманутым, и несомненной виновницей была Вера, она вроде бы лопатой перекопала его возвышенные представления о жизни, обсыпала при этом Лешины идеалы глиной и навозом. Снова выходило, что правы Рожнов с Колокольниковым, а ему, взрослому мужчине, следует действовать. Он сидел теперь за столом разочарованным Печориным, только что без эполет, и женщин презирал. Всех вообще и каждую из тех, что были рядом. «Как женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил...» — удивительным образом вспомянутая строчка не выходила из головы. Но при этом Вера волновала его по-прежнему, и все в ней казалось ему красивым — и глаза, и большой рот, и загорелые полные руки, и вся ее сильная, ладная фигура. Леша с печоринским, как ему чудилось, выражением лица пригласил Веру танцевать, она согласилась охотно. И когда он в танго с отчаянной робостью притянул ее к себе, она не отстранилась, и он касался ее ног и ее бедер, млел от счастья и от страха, а проводив ее на место, подумал, что она, видимо, не обратила внимания на его уловки, не приняла их всерьез, а потом решил, что нет, обратила, просто она порочная женщина и больше ничего. То есть, наверное, она нормальная современная женщина с пониманием, а он и верно сосунок, и так дальше нельзя. Он решил с нынешнего дня относиться к женщинам холодно и цинично, однако ухаживания Колокольникова и Верины ответные улыбки Лешу расстраивали и даже злили. В коридоре при нем Колокольников, порядком выпивший, сказал Рожнову: «Ну, все идет путем... Она голодная... А хороша-то нынче!» Леша возмутился, однако бросился не к Колокольникову, а выловил Веру из суеты танцев и заявил ей: «Как ты можешь так! Как только ты можешь так!» Она глядела на него, рот раскрыв. Или делала вид, что ничего не понимает. Или и вправду ничего не понимала.

Потом Леше было дурно, и он многого не помнит, помнит только, что его выводили в огород, потом губы ему обожгли нашатырем, в чем-то упрекали, давали серьезные советы, а он стоял на террасе, посиневший, слабый, выдохшийся, словно его только что заставили на стадионе пробежать три километра на время. Очень расстраивала Лешу запачканная нейлоновая рубашка. Принесли горячей воды, терли рубашку. Заодно заставили Лешу намочить голову из рукомойника, сказали при этом: «Брось кис-

путь. Вмиг и волосы, и рубашка высохнут. Да и темно стало, кто разглядит!»

Время и вправду было уже позднее, гости тихо расходились. Леша чувствовал себя легче и трезвее. Но сам себе он был мерзок и все были ему мерзки. К Вере он уже не подходил, а только смотрел с презрением на ее любезности с Колокольниковым и все ему хотелось с досады учинить что-нибудь этакое, скандальное, в особенности хотелось сорвать Верин парик с шумом, на глазах гостей, но стыд и слабость удерживали Лешу. Рожнов с Колокольниковым были раззадорены. Колокольников на террасе, губы поджимая, рассказывал, какая Вера сегодня податливая, вроде бы и сама намекает, а Рожнов крутился возле удачливого приятеля, грудь выпятившего в богатырской удали, и приговаривал с заискиванием: «Вась, может, и меня пристроишь, а? Или, значит, друга в беде оставишь?.. Да ведь она-то сегодня...» И шептал, шептал что-то на ухо Колокольникову. «Да брось ты! — басил Колокольников смущенно.— На кой черт это!» — «Жадный ты, Васька,— возмущался Рожнов.— Ведь она же здоровая, как лошадь... Она привыкла небось...» Леша встал, двинулся в столовую, он знал теперь все о жизни и желал отыскать Клашу Терновскую.

Он был пьян. Или все были пьяны... Дальнейшее он помнит смутно. Провалы какие-то... То ли помнит, то ли догадывается, как все было... Выяснилось, что почти все гости ушли, и Клаши Терновской нет, осталось двое парней у недопитых бутылок вермута, а из девчонок — одна лишь Вера Навашина. «У-у!..» — отругал ее Леша в мыслях и совсем опечалился. Рожнов налетал на него сердитый, он якобы удивлялся тому, что Леша потерял даму, а сам воровато подмаргивал, давай, давай, не задерживайся, не видишь, что лишний? «Пошел ты еще!» — огрызнулся Турчков и уселся на диван. Вера злила его, но уйти от нее у Леши не было сил. Потом появился Колокольников, подсел к Вере, и Рожнов, хлебнув вермута, знаками выманил парней на террасу. «Что у вас, совести нет?» — прошипел он. Кроме него теперь на террасе курил и тихий Слава Гришин с Каширской улицы и Миша Чистяков, обычно аккуратный и спокойный, а сейчас тоже пьяный и чрезвычайно возбужденный, все он с места на место переходил, егозил, сыпал пепел на пол, говорил много и быстро. Леша нервничал, но думать ни о чем не хотел, не желал и оглядываться на свои житейские принципы, а положил: пусть все будет как будет. Рожнов с ошалелыми глазами суетился, все норовил узнать, какие дела у Колокольникова, и когда тот появился на террасе, подскочил к нему, заблажил спеша: «Ну, Вась! А, Вась! Выйдет, а? Я-то как? Я-то?» Колокольников потянулся с ленцой: «Да брось ты! Что, других баб, что ли, нет?» Рожнов разозлился: «Значит, один, да? А кто тебя надоумил-то?.. Размазня ты! Сопляк!» Тут Колокольников ушел, а Рожнов, все еще надеясь на что-то, принялся неистово выталкивать парней вон: «Идите, идите! Вам-то тут зачем, проваливайте!» Один только Слава Гришин сразу и ушел, а Леша с Чистяковым остались.

Тут Леша подумал, что все это гадко, что он сейчас же разгонит компанию, но эта горячая мысль была секундной, и она исчезла тут же, как только явился Колокольников, смущенным, но и, как показалось Леше, торжествующим, этаким победителем, и засмеялся: «Чаек просила поставить. Чаек так чаек!» Он и вправду налил воды в электрический чайник, включил его, крышку долго не мог приладить, может, от волнения, а потом пошел к Вере. Ах, тут бы и догнать Колокольникова, ударить его довольную поганую рожу и Рожнова следом избить чем ни попадя или уйти совсем тихо, как Слава Гришин,— так нет, не ударил и не ушел, а вцепился, себя не помня, в руку Рожнова и застонал. «Ты что! — прошептал Рожнов.— Дуреешь, что ли? Нашатыря пойди понюхай...» Они стояли втроем, как разбойники в засаде, ожидая купеческий обоз с куньими мехами, не дышали и все шорохи, все комариные голоса, ленивый шелест каждого листочка в душном саду, кажется, слышали. Сердце Лешино колотилось, и он все повторял про себя: «Что же это? Что же это такое? Что же это и зачем оно мне?» Тут в комнате раздались крики и грохот. Леша испуганно посмотрел на Рожнова, которого никогда не любил, а в те минуты и подавно не любил, а Рожнов стоял растерянный и сам глядел на Лешу странно, как бы ища поддержки или успокоения. Колокольников закричал что-то, и тогда Рожнов, выговорив невразумительное, бросился в комнату, и Чистяков с Лешей побежали за ним, хотя их никто и не звал, спешили теперь, зверели на ходу. И стали зверьми. Впрочем, он-то, Лешенька Турчков, даже и не зверем, наверное, стал. А так, насекомым. Или червем...

Наутро он было уже приладил ремень к порыжевшему костылю в сарае, но мать подкараулила его, и он пожалел мать. Невропатолог районной больницы после материнских слез выдал ему бюллетень на неделю и этим кое-как облегчил Леше жизнь. Леша прятался от людей, он боялся их и себя боялся, но все обошлось пощечиной, которую влепила ему Нина Власова. А через неделю, когда он уже решил, как будет жить дальше, он вышел из дома и, вобрав в плечи повинную голову, вытерпел свое пребывание среди людей. Теперь ему все оставалось терпеть.

Однажды в электричке он наткнулся на Рожнова. Оба они захотели разойтись, как бы не заметив друг друга, но не удалось. «Ты с билетом?» — спросил Рожнов. «С билетом».— «Ну и правильно,— сказал Рожнов.— Теперь нам на копейку рисковать нельзя. И с задней площадки нельзя выпрыгивать, и улицу переходи только у светофоров».— «Какое это имеет значение!» — поморщился Леша. «Лопух! — сказал Рожнов.— Нам теперь выковыриваться надо! Раз она оказалась такой стервой... И ее проучить! Надо доказать, что она нас растревожила и заманила... Ведь тебя-то она растревожила, а? Не я ведь...» — «Нет,— сказал Леша,— она ни при чем. Я виноват, я подлец, и выкручиваться я не буду...» Рожнов, рот скривив, покосился на него, похоже было, что интерес к собеседнику он потерял. «Лопух ты и есть

лопух,— сказал Рожнов напоследок.— Лопухом сядешь, лопухом выйдешь. Но вам-то что, вы подростки. А мне положат взрослый срок. Мне надо проситься в армию, пока не поздно. А там пускай меня сыщут!..»

Странный разговор получился у Леши с Мишей Чистяковым. Слышать они друг друга слышали, но смотрели при этом кто куда: Леша — в каракулевые облака, в голубые бездны, а Миша — на обсыпанную румяными яблоками кандиль-китайку, распушившую ветви за соседним забором. Миша все говорил, что ему сейчас тяжело оттого, что он оказался мелким человеком, тварью со скованными лапами. В тот вечер он думал, что он свободен и волен делать все, что ему заблагорассудится, отключив тормоза условностей и подчиняясь только инстинкту, и эта свобода естественности, казалось, могла окрылить его и одарить удовольствием. Однако же вышла гадость. Значит, тормоза ему нужны, ой, как нужны, а из свобод ему остается только свобода с расчетом, и на большее он не способен. От сознания всего этого он и мучается сейчас. Леша из неожиданных для него и странных фраз Чистякова ничего не понял, спросил на всякий случай: «Ты что, как Раскольников, что ли?» — «При чем тут Раскольников! — рассердился Чистяков.— Я дурак! Такие опыты не для меня. Я себе весь путь испортил. Я на этом пути знал уже все рельсы и все шпалы, все костыли у стыков, сам же сгоряча и спьяну взорвал перед собой мост... Но и она, конечно, хороша... Сама...» Тут он, кажется, пожалел, что разоткровенничался перед Турчковым, а впрочем, может, откровение это было ему необходимо. Леше туманили голову слова Чистякова о полной свободе и свободе с расчетом, он долго думал о них, но так их себе и не разъяснил.

Вполне возможно, что и Чистяков, выслушав его, ничего не понял, да, видимо, и не мог понять. То, что Леша чувствовал сейчас, и то, что он решил, словами он никак не мог назвать точно. Но не было сейчас нужды высказывать людям сокровенное, а потому можно было обойтись без слов, одним чувством. А чувством Леша все теперь знал и поэтому был спокоен. Оттого, что случившееся и ему и людям вокруг казалось мерзким и позорным, оттого, что Вера страдала и страдала его мать, оттого, что ему было стыдно и гадко и он хотел убить себя, от ощущения всего этого Леше, в конце концов, стало легче. Значит, люди какие были, такими и остались, значит, свой запас добра они не растратили, а может, кое-что к нему и прикопили, значит, себя они изменять не хотят и все соблазны, обещающие житейскую легкость, безбоязненную езду без ухабов на скоростях очередного столетия,— все это не для него, не для Веры, не для его матери, не для Миши Чистякова, не для Нины Власовой. Может, для кого-то они и есть жизнь, а для них они обман. В крайнем случае удобное средство самооправдания. И не стоило вставать на цыпочки, а надо было оставаться самим собой... Ну да, все мы крепки задним умом...

Теперь для Леши все должно было пойти по-иному. Он виноват перед людьми. Перед всеми людьми. И за свое непонимание их,

и за свою подлость. Он не будет просить у них прощения. Он им не скажет ни слова. Но вся его жизнь будет искуплением. Причем про это он должен как бы забыть и не заводить в голове бухгалтерских счетов, не отщелкивать на них рыжими и черными костяшками каждое свое хорошее дело, а просто делать добро, пусть самое крошечное, и больше ничего.

Однако вновь обретенное Лешей душевное спокойствие легко разбивали мысли о Вере. Теперь он был уверен, что любит ее. Она виделась ему всюду, а в вечерних мечтаниях вела с ним разговоры. В мечтаниях этих Леша совершал рискованные поступки, выручая Веру или даже спасая ее в гибельных случаях, а она ничего не знала о нем, когда же ей открывали глаза, было уже поздно. Иногда помимо его воли приходили к нему и чувственные мысли о Вере, он тут же гнал их — и прежде всего потому, что мысли эти были для него не сладки, а отвратительны и тут же вызывали брезгливость и к самому себе и к Вере. «Что же мне раньше не приходило в голову, что я её люблю? — думал Леша.— Или я на самом деле после всего этого?.. Как же случилось-то?..» Он говорил себе, что не имеет права на любовь к Вере, и если уж не может пересилить себя, то обязан любить втихомолку и не напоминать никогда о своих чувствах Вере. Впрочем, эта тихая, жертвенная любовь без надежд начинала вдруг Леше нравиться, и он даже был рад, что Вера не захотела и говорить о его предложении...

— Платформа Текстильщики,— объявил машинист.— Следующая платформа — Москва-Товарная...

«А если вдруг я ей оттуда письмо напишу?.. Просто так... Не как кому-нибудь, а как человеку,— подумал Леша.— Неужели она мне не ответит?.. Может, и ответит...»

17

Мать просили явиться в больницу после обеда, с двух до трех.

Вера накануне побывала в той больнице, укараулила в коридоре главного врача отделения и быстро, сбиваясь, наговорила ему что-то, а он, вежливый, видимо, человек, обещал отнестись к матери со вниманием. Вера не удержалась и сообщила на всякий случай, что она тоже медик из Вознесенской больницы, а сказав об этом, смутилась. Понятно, что их разговор не мог изменить ничего к лучшему, но все-таки главврач должен был бы запомнить фамилию матери, запомнить и то, что у его больной остались три дочери и одна, довольно привлекательная, медик к тому же. Кроме всего прочего, Вера чувствовала бы себя скверно, если бы не предприняла попытки хоть как-нибудь облегчить участь матери в больнице. Да и мать, если бы дочь не съездила в город, обиделась бы.

Вера познакомилась и с медсестрой отделения, поболтала с нянечками в коридоре, под непременными фикусами с мокрыми, чистыми листьями, рассказала, как ей приходится сидеть с нерв-

ными и психами, сразу же стала на этаже своей и довольная отправилась домой.

Настасья Степановна встала нынче с левой ноги, с утра была не в духе, кричала на дочек, отвешивала младшим подзатыльники, раздражалась из-за всяких пустячных мелочей, обругивала крепкими словами своей деревенской юности не только девочек, но и вещи, которые ей сегодня не подчинялись, как будто бы даже не выдерживали прикосновений ее рук, чуть что оживали и огорчали Настасью Степановну бессовестными каверзами. «Ах ты, змей подколодный! Ах ты, козел комолый!» — кричала она на очумевший дуршлаг, она насыпала в него черную смородину, шебутила ягоду, промывала ее, а дуршлаг вырвался из рук, ударился о плитку, и голубая довоенная эмаль меленькими клинышками опала на пол. Береженая чашка кузнецовского фарфора с пастушками и розовыми овечками в нежно-зеленом овале, гордость навашинского буфета, покатилась по столу, и только у самого края Настасья Степановна ее словила, скользкую, не протертую полотенцем, и отставила к мытой посуде. «У-у, дьявол, у-у, иуда! — ругалась она.— Где же теперь фарфор-то купишь! Стаканов-то тонких в магазинах нет, а чашек и подавно...» Досталось ножу, запутавшемуся в марлю, снятую с творога, досталось козе и курам досталось: «Башку вам открутить пора! Лучше бы я держала уток или гусей!» И огурцы получили свое: «Вон у Маркеловых едят их уже неделю, а тут одна дохлость!» Вера поначалу терпела наскоки матери, не огрызалась, но потом подумала, что матери может показаться подозрительной непривычная покорность старшей дочери, она решит еще, что дочь ее сегодня щадит, и расстроится, учует плохое, и Вера стала перечить матери. «Ну и дочки выросли! — распалялась Настасья Степановна.— Утеха в старости! Оторви да брось!»

Словно бы и не была она в последние недели, со дня Вериной беды, тихой, деликатной и доброй. Впрочем, нынешнее воинственное настроение матери не пугало Веру,— слава богу, она видела ее воительницею не один раз. Всегда, когда задерживали зарплату, когда в доме не хватало денег, хлеба, дров, корма для скотины, когда пропадал отец и все догадывались, что он пьет и гуляет на стороне с беспутными приятелями, когда она, Вера, убегала из школы, а потом выкидывала и еще что-либо огорчительное, а то и просто от тяжелой работы и плохого сна, грохотом вещей, дурными словами, громким раздражением выходили наружу усталость, досада и тревога матери. И нынче Вера знала, отчего матери плохо, и не старалась успокоить ее. Дело было не только в операции, не только в страхе перед худшим,— тут от матери ничего не зависело, а в споры с судьбой она никогда не вступала, верила: чему быть, того не миновать. Но то, что она, не старая еще женщина, должна была недели, а то и месяц лежать в больнице, есть дармовую еду и бездельничать — вот это угнетало и расстраивало ее, казалось ей противоестественным и обидным. Никакая температура,— ну, уж если только за тридцать девять,— не

могла уложить ее в постель, как не могла уложить и никого из их семейства — и ее мать, и ее бабку, и ее старших сестер. Всегда находились неотложные дела по хозяйству, да и вообще валяться или сидеть просто так для Настасьи Степановны было стыдно. И скучно. Как-то она и с воспалением легких выскакивала на холод рубить дрова и кормить скотину,— муж в те дни исчез, а трехлетняя Вера лежала с простудой. А сейчас не было и температуры, боли случались, но они в счет не шли, и главное — лежать Настасью Степановну заставляли не зимой, когда болеть как бы и полагалось, и не поздней осенью, усталой и сырой, а летом — в сладостную хлопотную пору, когда час упустишь, потом неделями будешь кусать локти с досады. Мысли о неокученных грядках картофеля, о капусте, которая уж конечно без нее не завернется в голубые кочаны, о палках, которые она не вбила для поддержки тяжелых уже кустов помидоров, и прочие и прочие заботы мучили ее. Она знала, что девчонки без нее проживут месяц и не отощают, а вот огород и скотина ее беспокоили.

Вера поглядывала на часы, она вовсе не хотела торопить мать, но в больнице, на людях, мать могла успокоиться, быстро привыкнуть к новому житью, и, может быть, не стоило тянуть с выездом в город.

Еще Вера боялась, как бы не пришла приятельница матери Клавдия Афанасьевна Суханова и не испортила вконец настроение. Раньше тетя Клаша непременно бы явилась проводить мать. Тогда бы поначалу пошли сочувствия, лишние сегодня, а кончилось бы все разговором, который Вера уже не раз слышала. Никольские старухи да и женщины в летах матери в уместных случаях охотно говорили о своих будущих похоронах и о том, где их следует хоронить. Причем разговоры эти велись не только для молодых родственников, с намерением попугать их в воспитательных целях и вызвать к себе жалость, нет, они и самим женщинам, казалось, нравились. Теперь же тетя Клаша снова могла сказать матери, что ничего лучше крематория нет, при этом ее зрачки расширились бы и излучили сладостное мечтание, но ненадолго. Она тут же бы добавила, что все это впустую, нет у нее московской прописки, без московской же прописки нечего и мечтать о крематории, а так ей все равно, и пусть ее хоронят на Никольском кладбище, в любом месте. Мать выслушала бы ее с доброй улыбкой, как выслушивает хозяйка швейной машинки с ручным и ножным ходом хозяйку штопальной иглы, и сказала бы, что, конечно, там и любое место хорошо, но вот ей соседи Сурнины обещали устроить землю на их участке, возле ее подруги Софьи, это на холме, рядом четыре березы, и оттуда видна долина речки Рожайки с дальними деревнями и грибными лесами. Красиво и спокойно. Обычно Вера терпела такие разговоры, но сегодня они и ей и матери были ни к чему. А Клавдия Афанасьевна уж точно бы сказала сегодня, желая поддержать мать: «Да чего ты стонешь-то? Ты нас всех переживешь. Это мне надо о крематории думать!» И пошло бы. Однако Клавдия Афанасьевна не явилась,

значит, обиделась всерьез, да и какая радость приходить в дом, откуда ее выгнали со скандалом... Ну и ладно.

— Ты уж собирайся,— сказала Вера матери,— а то ведь, если опоздаешь, место не будут держать.

— А чего мне собираться-то? — проворчала мать.— Сумка у меня почти готова. Книжку вот, какую полегче, взять. Приключения или про историю. Да у нас и нет...

— Я тебе принесу. У Нинки попрошу. У них много книг.

— Чтой-то Нинки-то не видать в последние дни?

— У нее свои хлопоты. Сегодня-то она обещала быть на станции полвторого. Тебя хотела увидеть.

— Может, и придет...— сказала мать рассеянно.

Она укладывала в черную сумку с пришитыми недавно желтыми ручками от другой сумки, вконец износившейся, мыло, зубной порошок, щетку и зеленую кружку.

— Ты что? — спросила Вера.— Так, в этом халате, и поедешь?

— Мочалку бы мне не забыть,— проворчала мать.

— Я говорю, ты в этом халате так и поедешь?

Длинное ситцевое платье, похожее на халат, чистое, правда, но лет двадцать бывшее в носке, тряпка тряпкой, сидело на матери плохо, старило ее и горбило.

— А что? — сердито сказала мать, она ждала, что Вера пристанет к ней из-за этого платья, смущалась и досадовала, что смущается.— Хорошее, что ль, мне туда надевать?

— Нет, обязательно надо напялить худшую вещь!

— Ну конечно, там платье будет валяться без дела, новое и хорошее, а потом его потеряют или украдут!

— Ну, валяй, валяй,— сдалась Вера,— иди пугалом.

— Конечно,— проворчала мать,— вам-то что добро! На ветер пустите — и все.

Соня и Надька просились в город, проводить до больницы, но им было запрещено. «За домом присмотрите»,— объяснила мать. Вера добавила: «Мамка скоро вернется. Я вас свезу к ней в посетительский день. Вот разрешат ей гулять...» Девочки вертелись около матери, Соня прижалась к ней, заплакала: «Мамочка, мамочка!» Мать растерялась, ресницы ее захлопали, Вера сказала резко: «Сонька, кончай! Чего разревелась? Я говорю, мамка скоро вернется...» Слезы сестры и печальный вид ее расстроили Веру, Соня росла чуткой на беды и несчастья, а сейчас она будто бы прощалась с матерью. Надька не плакала, она стояла с рыжеволосой куклой Ксаной в руках и смотрела на мать молча. Потом сказала по-взрослому, как бы желая успокоить и мать, и сестер, и себя: «Я отцу напишу, чтоб приехал».— «Я тебе напишу! — испугалась мать.— Верк, ты последи, чтобы она сдуру не написала».— «Да она и писать-то толком не умеет,— сказала Вера.— Я ей напишу!.. Ну ладно, присядем, что ли, перед дорогой!..» Присели. Надька была важная, а Соня потерянная и одинокая, сирота сиротой. Вера видела, как глядела мать на младших дочерей, и понимала, чего стоят ей сейчас сухие глаза.

— Ладно,— сказала Настасья Степановна,— встали, что ль. А вы с нами только до калитки...

Прижала у калитки девочек к груди, русые головы их погладила, пожурила Надьку за плохо заплетенную косу, велела девочкам не ругаться, хорошо есть, в особенности Соне, помогать старшей сестре и слушаться ее. Улица показалась Вере нынче удивительно длинной. Веру подмывало обернуться, и как она ни удерживала себя, все же обернулась, увидела сзади, уже вдали, двух девочек.

Мать так и не поглядела назад.

Как всегда ухоженная и нарядная, на станции их уже караулила Нина. Она обняла Настасью Степановну, пообещала ей скорое выздоровление.

— Какая ж ты, Ниночка, у нас красивая! — обрадовалась Настасья Степановна.— И все у тебя так ладно подобрано — одно к одному. Ну точно куколка.

С деревенской поры «куколка» у Настасьи Степановны было самым одобрительным и даже восторженным определением красивой и богато одетой женщины. Причем женщина эта была франтихой не потому, что бесилась с жиру, а потому, что ей на роду самой природой было написано стать красивой и франтихой. Впрочем, сейчас мать, может, вспомнила и куклу младшей дочери.

— Ну, ты и ресницы наклеила! — сказала Вера.

— А что?

— Ничего. Они у тебя как лепестки у ромашки. Не полевой, а той, что у нас под окном на клумбе. Знаешь, такая лохматая...

— Ну и хорошо! — засмеялась Нина.

В электричке Нина рассказывала никольские новости, при этом она поглядывала на Веру, как бы испрашивая ее, что сейчас следует прежде всего рассказывать с пользой для Настасьи Степановны. Сама Настасья Степановна слушала Нину рассеянно,— видимо, все еще думала об оставленных ею девочках и о хозяйстве. Среди прочих забот ее печалило и то, что она не успела оборвать верхушки у тех кустов помидоров, где плоды на нижних и средних ветках уже округлились и налились соком.

— Оборву,— пообещала Вера.

— Около уборной рогатины стоят. Я их принесла для мельбы и антоновки. Солнечные ветви совсем отяжелели.

— Хорошо,— сказала Вера,— подставлю.

Мать и еще делала распоряжения — и насчет козы, и насчет черной смородины, как ее провертывать мясорубкой и сколько класть песку, и насчет прочего. Веру эти распоряжения стали раздражать. Слушая ее, она понимала, что если бы мать ей ничего и не сказала, то и тогда бы она сделала все как надо. Слава богу, привыкла к домашним заботам. К тому же она и дома, и на работе ужасно не любила, когда ей напоминали, что она еще должна делать, как бы признавая тем самым ее человеком бестолковым или, может, бессовестным.

— Ладно, знаю,— сказала Вера сердито.— Чего говорить-то.

В городе Вера с матерью вышли из электрички, а Нина поехала дальше, в Москву. Нина поцеловала на прощанье Настасью Степановну, пожелала ей ни пуха ни пера, сказала, что непременно навестит ее в больнице, а Веру возьмет под свою опеку. Так что пусть Настасья Степановна ни о чем таком не беспокоится и не думает о домашних делах.

К больнице шли пешком, мать шагала за Верой тихая, сгорбленная, в нелепом, худшем своем платье. В иной день, еще месяц назад, Вере стыдно было бы идти по улицам с такой матерью, и она нашла бы предлог улизнуть от нее. Теперь же Вера укоряла себя за прежние настроения и мысли. Она вспомнила, как недели три назад почти по тем же самым улицам мать, энергичная, уверенная если не в самой себе, то в необходимости и правоте своего дела, вела Веру в милицию, и она, Вера, несмотря на свою беду и свой стыд, не могла не удивиться преображению матери. Наседка стала орлицей ради своего обиженного цыпленка. А она, Вера, кто теперь? Ей и думать об этом было некогда, однако же она чувствовала себя сейчас старшей, а мать ей подчинялась и верила, видно, в то, что Вера и в больнице, и на пути к ней все устроит лучшим образом.

— Песку-то я так и не подкупила,— сказала мать у гастронома.— Говорят, что он подорожает. Я все хотела и не подкупила. Ну ладно, потом подкуплю. Если жива буду.

Она вздохнула, и Вера быстро взглянула на нее, стараясь уловить, был ли в обычной присказке матери «если жива буду» особый оттенок. Но, кажется, слова были произнесены машинально, а вздох скорее относился не к ним, а к тому, что мать и вправду не прикупила сахара.

В больнице мать приняли быстро. Вера вышла во двор и скоро увидела ее в окне второго этажа. Женский корпус был свежий, двухэтажный, выкрашенный в бледно-кремовый цвет. Рядом в липах и тополях стояли старые корпуса, крепкие, красные, с узорно выложенными кирпичом наличниками, такие же, как и в Вериной Вознесенской больнице, но пониже и покороче.

— Ну как, хорошо? — крикнула Вера матери.— Привыкнешь!.. Я послезавтра к тебе приду. Книгу принесу и соки куплю. Обследование тебе сделают быстро, и все будет в порядке. Все будет в порядке, говорю!

В приемном покое Настасья Степановна совсем было растерялась, ее пугали белые стены и люди в белых халатах, а людям этим она должна была теперь подчиняться. И в особенности пугал ее больничный запах — он как бы завесой отрезал ее от нормальной человеческой жизни, он был запахом особого мира, в мире этом Настасья Степановна уже не могла быть сама собой и не могла принадлежать себе, мир этот был для нее вынужденным и противоестественным. Но теперь, получив место, Настасья Степановна хоть чуть-чуть, но освоилась на нем, обжилась и повеселела, улыбалась из окна словам дочери. Вера видела, что у матери полегчало на душе. Чувство облегчения от матери передалось и Вере.

Она вдруг поверила в то, что все обойдется, ей казалось: и мать считает теперь, что все обойдется. Так они и расстались, Вера пошла из больницы в город в хорошем настроении, спешила в магазины, хотела скорее вернуться к сестрам, чтобы и их успокоить.

И тут опять без всякой видимой причины к ней вернулись тоска и дурные предчувствия. Вера, усталая, разбитая, опустилась на скамейку в тополином сквере. Жизнь снова казалась ей тошной, было скверно, и очень хотелось, чтобы подошел кто-нибудь, выслушал ее, пожалел ее, сказал ласковые и добрые слова. Она встала и пошла. Долго бродила по городу, но ни один знакомый не встретился ей, ни никольский, ни вознесенский, никто. Одного Сергея она не хотела видеть теперь. Она чувствовала к нему сейчас отвращение, была уверена, что и он относится к ней с отвращением, ей, понятно, объяснимым, и сегодня встреча с ним могла только опечалить. Потом она остановилась на берегу реки. Ей опять стало до слез жаль мать, она ощутила вдруг щемящую, пронзительную любовь к матери, она стояла теперь и думала, какая мать у нее добрая и хорошая и как надо, чтобы она жила, и какие-то неведомые ей раньше высокие чувства, радостные и горькие, тревожили ее.

Двое мужчин заговорили рядом, Вера вздрогнула как бы очнувшись, пошла дальше. Она спустилась переулком к торговой улице и чувствовала, что успокаивается. У нее было теперь такое ощущение, будто им с матерью повезет.

Вера купила девчонкам лимонных карамелек, пряников, выстояла в очереди килограмм вареной колбасы, на пустом уже рынке взяла остатки картофеля — мелочь, с перепелиное яйцо,— и пошла на станцию.

На перроне она увидела Колокольникова.

Она шла ему навстречу, сделать вид, что не замечает его, не смогла, а повернуть назад и показать тем самым, что смутилась или испугалась Колокольникова, не захотела.

— Здравствуй, Вера,— сказал Колокольников робко, он тоже был растерян, от растерянности и заговорил.

— Здравствуй,— сказала Вера холодно, ее вдруг озаботило: не протянет ли он ей, грешным делом, руку, и как ей теперь в разговоре называть Колокольникова? «Васей» — язык бы не повернулся.

Руку он, слава богу, не протянул, спросил:

— За харчами, что ль, ездила?

— Нет,— сказала Вера,— мать в больницу положила.

— Что с ней? Серьезное, что ль?

— Серьезное,— вздохнула Вера, хотела сказать об операции и о своем страхе за мать, но решила, что не следует ей говорить это Колокольникову.— Положили на исследование...

— Небось обойдется...— улыбнулся ей Колокольников, но, спохватившись, подумал, что Вере его сочувствие будет неприятно, а может быть, оно покажется ей и поддельным, тут он и сник. Помолчав, сказал: — А я вот еду с Силикатной. Ты ведь знаешь,

там у меня была девчонка... Теперь они меня близко к ихнему дому не подпускают... Ну и правильно... А я вот езжу...

Вера чуть было не сказала ему: «Ездишь — ну и езди, мне-то что»,— однако состояние души у нее было сейчас спокойное, словно бы надежда жила в ней, и Вере не захотелось говорить ни злых, ни ехидных слов. Они стояли с Колокольниковым, молчали.

Несмотря на свою богатырскую стать, несмотря на то, что плечи его не ссутулились, а грудь была расправлена по-прежнему фасонисто, по-рагулински, несмотря на здоровый материнский румянец, выглядел Колокольников несчастным и даже затравленным — что-то в глазах его было от битого боксера. Может быть, с тяжестью на сердце он возвращался сегодня из Силикатной, а может, вообще стал таким, битым, после дня рождения Турчкова. И Вера ощутила к нему сейчас если не жалость, какую испытывала к Леше Турчкову, то, во всяком случае, некое сочувствие.

— Знаешь,— сказал Колокольников,— тебе ведь теперь трудно будет.

— Отчего?

— Ну, намотаешься на работе, а дома хозяйничать с девчонками без матери...

— Ну и что?

— Может, помощь нужна? По хозяйству, по огороду, может, в магазин сходить или еще что...

— Обойдемся,— сказала Вера.

— Да пусть не я,— сказал Колокольников.— Я понимаю. Ты не бойся. Другие ребята найдутся. Ты их знаешь. Хорошие ребята.

— Не надо.

— Ты не обижайся, я же по делу...

— Да нет,— сказала Вера, улыбнувшись грустно.— Мы уж сами как-нибудь...

Опять замолчали.

— А помнишь,— сказал Колокольников,— два года назад мы с тобою ездили сюда на спартакиаду? Ты двести метров бежала, а я толкал ядро и перетягивал канат. Ладони ссадил...

Подошла электричка, бордовая, серпуховская, тяжелая, с людьми в проходах и тамбурах, от Царицына она следовала без остановок.

— Ты в другой вагон садись,— сказала Вера.

— Я знаю,— сказал Колокольников.

...Колокольников занял в вагоне место, но потом увидел, что рядом стоит женщина, тут же поднялся, сказал: «Садитесь, пожалуйста...» Был он сегодня тихий, печальный и вежливый, хотелось ему сделать что-нибудь этакое, от чего люди подумали бы о нем хорошо и посочувствовали ему. В знакомый дом на Силикатной его не пустили снова, он расстроился, но подумал: «И правильно...» Стыдно ему было ездить на Силикатную, однако отчего-то он ездил... Но после того, как он предложил Вере помощь и уступил

место женщине, он словно бы успокоился и даже стал доволен собой. Он уже и не помнил, как вчера, сам того не желая, наговорил следователю про Веру семь коробов и поверил в свои слова. Сейчас он с удовольствием думал о своем намерении помочь Навашиным и сокрушался о своей жизни сильнее прежнего.

Впрочем, жизнь уже не казалась ему такой невыносимой, как неделю назад. Ругань отца кончилась, никольские жители не смотрели на него зло, привыкли, а мать и вовсе хлопотала вокруг Васеньки, будто он был неизлечимо больной и с ним прощались. Колокольникову даже неудобно было. Но хлопоты матери и домашних были ему приятны, их ласковые слова тоже. «Эх,— вздыхал Колокольников,— если бы ничего не было, если бы все сначала, как хорошо бы я жил...» Мать была уверена, что он не виноват, а Верка его попутала, и Колокольников чувствовал, что он все меньше и меньше думает о своей вине и своем стыде. Вдруг и совсем беда улетучится?.. Как же! А — срок-то!

На станции Никольской Колокольников вышел из электрички, в автобус не сел, чтобы не ехать вместе с Верой. В очереди за пивом увидел знакомых ребят. Они позвали его. «Чего ты кислый такой? — засмеялся Толька Соколик, не раз игравший с Колокольниковым в футбол на первенство района.— Забудь ты про всю эту ерунду. Ну, отсидишь, выйдешь. А то еще и не сядешь. Что, жизнь, что ли, кончилась? Этих баб давить надо! На́ пиво!» Пустые были слова Соколика, но и от них Колокольников повеселел. «Я теперь не пью ничего»,— сказал он. «Брось, пиво-то можно!» — «Ну, если пиво»,— сказал Колокольников и взял кружку.

...Соня и Надька принялись расспрашивать о матери, и Вера, вытащив пакет лимонных карамелек, рассказала, какая замечательная в городе больница, точно санаторий, и как там хорошо будет матери. Надька кивала, такие слова ей и были нужны, а Соня, опустив печально ресницы, вздыхала по-взрослому, и Вера чувствовала, что она ей не верит или же составила собственное заключение о болезни матери и ее теперь с этих мыслей ничем не собьешь.

— Что вздыхаешь? — сказала Вера.— Что ты из себя старуху корчишь? Я как медик говорю — мать скоро вернется.

— Дай бог,— сказала Соня тоном матери и встала.

— Ну ладно, хватит болтовни. Дела-то делали или как?

— Делали,— сказала Соня.— Даже лопату наточили. Раз мужика в доме нету...

— Посмотрим, что вы тут наделали,— сказала Вера сурово, желая напомнить, кто главный в доме.

— Соседи приходили,— сообщила Надька.

— Какие еще соседи?

— Тетя Варя Кошелева, тетя Тоня Сурнина и Толмачевы.

— Брось ты!

— Толмачевы,— рассмеялась Надька.— Лушпеюшки!

Тетя Варя Кошелева была у Навашиных соседом справа, а Сурнины слева, с Толмачевыми же общим был задний навашинский забор, Толмачевы вели с Навашиными то тихую, то шумную войну вот уже четыре года после памятной отцовской шутки.

— Вот тебе и Лушпеюшки! — засмеялась Вера.

— Ага! Сами пришли.— Надька сообщала об этом с удовольствием, видимо, приход Толмачевых подействовал на нее сильнее расставания с матерью.

— Ну, и чего они?

— Спрашивали: надо ли чем помочь?

— Ну, а вы чего?

— А нам ничего не надо,— сказала Соня.

— Вот ведь! Пришли Лушпеюшки! — покачала головой Вера.

Вечером хлопотали в огороде чуть ли не до сумерек — обрезали отдавшие ягоду кусты клубники, собирали сахарную уже черную смородину, осыпа́вшуюся от резких прикосновений к веткам. Смородину Вера полагала завтра сдать в магазин у Вознесенской больницы — там за кило платили рубль двадцать. Надька ворчала, но работала, лишь в девять улизнула к телевизору, тогда Вера отправила домой и Соню, сама осталась, поливала огурцы, помидоры и цветы. Легла поздно, перед сном проверила, чисто ли выметены полы, вся ли посуда вымыта и убрана, не остался ли где гореть свет, краны газовой плиты посмотрела, зажженную спичку поднесла на всякий случай к конфоркам. Она зашла к сестрам. Соня и во сне казалась печальной и взрослой. Надька лежала жаркая, откинув одеяло; на ее подушке, руки прижав к беленькому платьицу, спала рыжая кукла Ксана. «Со мной еще ночевала,— подумала Вера.— В получку куплю Надьке новую куклу. А то ведь и вправду растет сиротой». Она смотрела на девочек с нежностью, думала, что вот она, их старшая сестра, должна облегчать им жизнь, а в своей жизни ради них многое ограничивать. Она ощущала сейчас и еще какое-то чувство, объяснить она его себе не могла и назвать не могла, оно было новое, в нем жили и тревога, и любовь, и беды их семьи, и нужда быть иной хотя бы ради сестер и матери. В нем было обещание и самой себе, и девочкам, и матери, но обещание чего — Вера не знала.

Она устала за день. Вымыла ноги в тазу, снова увидела, какие они у нее красивые и крепкие, но подумала об этом вяло, без радости, скорее с сожалением. Нырнула под одеяло, закрыла глаза, и день нынешний опять вернулся к ней. Вере было грустно — и оттого, что день этот был тяжел, и оттого, что завтрашний день ее пугал и от него Вера ждала одних напастей. Вере стало жалко себя. Потом она вспомнила, как медлила мать в приемном покое и как она оглядывалась испуганно и обреченно, и ей стало жалко мать. После того, как Вера возле реки словно бы вымаливала облегчение судьбы матери, в ней поселилась тихая уверенность, что все у матери обойдется, уверенность эта не исчезла, и теперь, когда Вера жалела мать, она думала не о ее болезни, а о всей ее жизни. Вспомнились и сестры, спящие в соседней комнате, и о них Вера

стала думать с грустью. Потом на ум ей пришел Колокольников, и Вера почувствовала, что и сейчас, как и днем, при встрече с ним, она не ощущала прежней ненависти, а, пожалуй, как и Лешу Турчкова, и Колокольникова ей было жалко. «Да и не надо их в тюрьму, в колонию... Зачем? Они и так наказаны. Да и что мне их казнить?..» Она вдруг подумала: а не была ли она сама виновата в том, что случилось? И, вспомнив все мелочи застолья и танцев, решила, что и она была виновата, в чем ни разу не признавалась себе прежде. Была рискованной и легкомысленной, будоражила себя шальными мыслями, а Колокольникова, видимо, горячила взглядами и пустыми словами. Да и не только Колокольникова. И перед Сергеем она была виновата в тех шальных мыслях и действиях, да что и говорить — что-то недостойное, нехорошее было тогда в ней и ее жизни, оно ей нравилось, а теперь от него было тошно и стыдно. «Конечно, и они хороши,— думала Вера о парнях,— но и я хороша. Так что же, их теперь упрятывать в колонию?..» Она теперь уже жалела, что выгнала из дома матерей Колокольникова и Турчкова, а с ними и тетю Клашу Суханову, деньги брать нельзя, ладно, но уж куражиться над старыми женщинами было делом скверным. «Правильно, наверное, сказал мне следователь,— думала Вера,— надо все прекратить... Кончить все. Зачем их сажать, бог с ними... Им и теперь не сладко...» Она думала о том, что можно обойтись без суда не только потому, что зло на парней утихло, но еще и потому, что если и другим людям с ее помощью — так казалось ей — стало бы лучше, то, может быть, и на долю матери досталось бы больше везения. Она как бы готова была заключить сделку с судьбой: я их прощу, а вы уж пожалейте мою мать. И, засыпая, она снова принялась молить за свою мать, все повторяла, какая она хорошая и добрая и как надо, чтобы она жила...

18

Во вторник Вера получила бумажку от следователя с приглашением срочно явиться в прокуратуру, она и хотела зайти к Виктору Сергеевичу, но не вышло со временем.

Дни у Веры были хлопотные, и сестры не сидели сложа руки, однако ей с поездками на работу и в больницу, к матери, приходилось тяжко. Она уже не смотрела и телевизор. И платье или юбку, какие надевала, не успевала подгладить к выходу, вопреки своим правилам. Многие домашние заботы матери раньше казались ей пустячными и блажными, она помогала в этих заботах матери поневоле, кривясь, теперь же, оказавшись в них коренником, Вера ощутила их бесспорную обязательность.

К тому же Вера решила всерьез взять на себя житейскую поклажу матери со всеми тяготами и бедами и тем самым добиться для матери облегчения. При этом она оглядывалась на судьбу как на нечто живое. С ней она вступала в последние дни в односторонние сделки и боялась, как бы ее собственное недовольство не показалось судьбе нарушением условий договоренности и не при-

несло матери вреда. «Какая-то я психованная стала, суеверная,— думала Вера,— ведь такая спокойная была...» Страх за мать в те дни, когда Вера узнала о ее болезни и операции и когда провожала ее в больницу, был острым и сильным, теперь же он утих, но не исчез, чуть что — давал о себе знать, горчил жизнь.

Нина появлялась в доме у Навашиных чаще. Подменяла Веру, когда могла. Соня к ее советам и командам относилась с недоверием, как и к командам и советам старшей сестры. Надька же Нину боготворила. По мнению Надьки, Нина одевалась красивее и богаче всех в Никольском, а потому Нина была для нее высшим авторитетом. Раньше Вера к интересам младшей сестры относилась с миролюбивой иронией, теперь они пугали ее и возмущали. «Вырастет, как я, балбесина!» — вздыхала Вера. Она со стороны и с осуждением смотрела на самою себя, какой она была до дня рождения Турчкова, и удивлялась прежней своей жизни. Она не желала говорить с Ниной о нарядах: «Мать там лежит, а я буду о рукавах и оборках!» — однако, забываясь, со вниманием вглядывалась в Нинины новинки — то белое жабо на темно-синей блузке ее удивило и обрадовало, то вызвали зависть легкие цветные брюки,— и этот запрещенный ею самою, но живучий интерес огорчал ее. Нина была прежней, взбалмошной и предприимчивой, временами болтливой, Надька играла с ней, будто с ровесницей. Но в Нине что-то происходило, иногда она становилась рассеянной и забывала обо всем вокруг. О чем она думала тогда, Вера не знала.

Заходили к Навашиным никольские женщины — и соседки, и с дальних улиц. Кто хотел помочь, кто интересовался, как у матери дела и когда ее удобно проведать, кто просто из сорочьей любознательности. При этом и на нее, Веру, посматривали с любопытством, но это любопытство Веру уже не жгло и не злило,— значит, в ней что-то остыло. Сколько же у матери оказалось знакомых, а то и приятельниц, удивительно было! И все они жалели мать, вспоминали про нее хорошее, кому она в чем помогала и кого в чем выручала. Тетя Нюра Тюрина, ровесница матери, уборщица гривненской столовой, чей дом стоял метрах в ста от навашинского, испекла матери пирог с яблоками, а в тесто добавила меда. Мать с Тюриной любила чаевничать, иногда и тетя Клаша Суханова дула на блюдечко в их компании. В дни рождения они дарили друг другу наволочки, иное нужное белье или посуду, какой в доме не хватало. «С медом я сделала для пробы, из блинной муки,— сказала Тюрина Вере.— Это Настя выучила меня печь пироги с плетенкой поверху. Если этот ей понравится, я ей сделаю с грибами...» Иногда заходила бабка Комарова, заходила, тут же усаживалась, где придется, ноги ее не держали, начинала печалиться о матери, будто по покойнице, и по обожженным, малиновым щекам ее текли слезы. Вера не решалась выгнать старуху, терпела ее жалостливые слова, пока за бабкой не приходили из дому. Комариху Настасья Степановна лет пятнадцати назад спасла от огня. Комариха тогда была еще здоровой и ловкой, однако не сумела

однажды управиться с бешеным устройством послевоенных лет — керогазом, огненная струя ударила по бабке, пламенем пропилась по кухонным занавескам, случился пожар. Мать, на счастье, собирала ягоду в огороде, увидала у Комаровых огонь, бросилась к их дому, ведром воды окатила потерявшую сознание Комариху, сама не помня как, вышвырнула керогаз в палисадник. Тут прибежали соседи, вместе они и сбили огонь. Комариху потом долго отхаживали в больнице, у матери на лице и на шее остались следы от ожогов, руки ее недели две были в бинтах. В бинтах она и делала все по хозяйству, досадовала, что неловко доить коз — не чувствует кожей вымени, да и козам неприятно, молоко, по ее словам, шло плохое, нервное. «Ведь она тогда была, как ты сейчас,— говорила Комариха,— только тощая. Нет, постарше. Ведь ты у нее тогда на коленях сидела... Она крыжовник на рынок перебирала. А ты у нее на коленях...»

Приходила малознакомая Вере портниха Зафигуллина,— оказывается, мать лет двадцать назад присматривала за ее дочерью, позже умершей от дифтерита.

Суматошливая, громкая Шарова явилась к Вере с обещанием непременно завтра же вернуть долг — полкило пятисантиметровых гвоздей. «Настя выручила нас три года назад. А мы, негодные люди, протянули с возвратом. Все недосуг. Завтра отдадим. Муж специально поедет в Москву, скажи матери, и отдадим. Шляпка к шляпке». Однако и завтра, и послезавтра, и позже гвозди возвращены не были, и Вера решила, что гвозди надо будет обязательно вытребовать,— нельзя не выручить человека в день нужды, это ладно, но они, Навашины, не ссудная касса. И все-таки не спросила гвоздей. Представила, как поступила бы здесь мать. Та лишь бы вздохнула да махнула рукой на Шаровых. А приди они снова с какой-нибудь слезной просьбой, она и опять бы им не отказала.

Вера ловила себя на том, что она то и дело думает: а что бы сделала тут мать и что бы она сказала? От гостий она узнала о матери многое, чего раньше за ней и не предполагала. Тетя Паша Бакаева, сослуживица матери по пуговичной фабрике, рыхлая, добрая женщина, приходила в дом Навашиных, подолгу сидела на кухне, если Вера хлопотала там, и Вера ее не гнала. «Скучно без матери твоей,— говорила Бакаева.— Она у тебя тихая, не заденет ничего напрасно ни плечом, ни локтем, чтобы шуму не было. И вот на работе ее нет — и будто бы совсем тихо стало. И скучно... Мать у тебя хорошая...» Тут она поглядела на Веру, замолчала, как бы сравнивая ее с матерью, протянула: «Да-а-а...» — и вздохнула.

Что касается Толмачевых, или Лушпеюшек, как их прозвал отец, то к ним Вера относилась подчеркнуто холодно и свысока. Она знала, чего им стоило явиться в дом Навашиных и предложить помощь, знала и то, что отец в свое время перестарался с шуткой, но Толмачевы отплатили ему всерьез, и этого она простить не могла. Мать бы простила. Она и простила, наверное.

Жара вдруг спала, погода стояла пасмурная и ветреная, облака неслись с северо-востока, с Таймыра и студеного океана, черные, низкие,— казалось, что они мерзли на бегу, оттого спешили и жались к земле, к жилью. От их зыбкой, движущейся бесконечности на душе было мрачно и зябко. Окна палаты матери глядели на восток, днями назад больных женщин по утрам будило и раздражало солнце, теперь у них было сыро и холодно, как осенью в нетопленном доме. Вера рассказывала матери о девочках и хозяйстве. «Надьке-то одеяло подтыкаешь? — спрашивала мать.— Комната у них с ветреной стороны, а она в отца, крученая».— «Подтыкаю,— говорила Вера.— Да она и сама не маленькая. О нарядах уже думает». Мать обрадовалась, узнав, что Вера сдала два ведра черной смородины в вознесенский магазин по рубль двадцать за кило. «Теперь ведь только по восемьдесят копеек принимают. Как ты успела?» Она с удовольствием слушала Верин рассказ о продаже смородины, то и дело переспрашивала дочь и в особенности интересовалась, что сказали о ее ягоде продавцы и вознесенские покупатели. «Хвалили,— говорила Вера.— Все равно как виноград. «Как вы только вырастили?» — спрашивали». Мать смеялась и заставляла Веру повторять приятные ей подробности.

О следствии и суде Вера ей ничего не сказала, а Настасью Степановну как будто бы следствие и суд вовсе и не беспокоили. Зато она в охотку говорила о болезнях, врачах и лекарствах, чего раньше за ней не водилось. Здешние врачи ей нравились, в особенности Михаил Борисович, главный в отделении. «Между прочим, он тобой интересовался,— сказала мать.— Говорит: «Это ваша дочь ко мне приезжала?» Я говорю: «Моя». Он говорит: «Видная девушка». «Видная», так и сказал». Мать быстро обжилась в больнице, нянечки и сестры переговаривались с ней, как со своей, а главное — состояние вынужденного безделья, казалось, уже не удручало ее, то ли она с ним примирилась, то ли уговорила себя отдохнуть от дел и была спокойна совестью. Впрочем, совсем угомониться она не могла, вызвалась в помощь сестрам кормить двух немощных старушек из своей палаты и из соседней, носила с улицы в неположенные часы записки и передачи лежачим женщинам, старалась отвлечь от горьких дум испуганную деревенскую девчонку со стонущими глазами, Верину ровесницу. «Это я пока ходячая,— говорила она Вере,— а то слягу. Ты мне после операции принеси шерсти подешевле. И спицы. И поучи вязать. Я хоть Надьке и Соне свяжу носки. Если жива останусь...»

— Ну что ты, мама! — горячилась Вера.— Конечно, останешься! И в голову себе ничего не вбивай!

— Должна бы! — говорила мать.— А то кто ж вас растить будет?

Однако предчувствия у Веры были плохие, она старалась прогнать их, как обычно гнала и видения дурных снов, считая, что если поверит в предчувствие или сон, то несчастье случится непременно. Но теперь избавиться от тревоги она не сумела, и чем ближе был день операции, тем тяжелее становилось у нее на душе.

Ей хотелось уснуть, а проснуться в пятницу вечером и узнать, что у матери все обошлось. Но какой уж тут сон, какое забвение,— все те же дела и хлопоты, сестры под опекой, жаль только, что сейчас дела и хлопоты развеять Верины печальные мысли не могли.

Пришла пятница.

Тамара Федоровна сама предложила Вере не выходить на работу, подежурить в любой удобный для нее день. «Но я тебе советую — займись сестрами,— сказала Тамара Федоровна.— Возле операционной не торчи. Михаил Борисович хороший хирург, все сделает как надо». Однако Вера знала, что дома она не усидит, да и не может усидеть, не имеет права, а должна в минуты операции быть вблизи матери. В ней жила уверенность, что в случае нужды никто, кроме нее, не сможет отвести от матери беду.

Сестрам о дне операции она не говорила, хотела незаметно уйти на электричку. Соня ее остановила:

— Ты куда?

— А тебе-то что? Куда-куда!..— строго начала Вера, но соврать не смогла.— Ну, к матери с утра обещала заехать... И что?

По глазам сестры, по ее опущенным плечикам поняла, что та обо всем догадывается. Или знает об операции от взрослых? Вера взгляда Сони не выдержала, отвела глаза.

— Маме передавай привет,— сказала Надька,— пусть возвращается побыстрей. А то залежалась...

— Передам,— сказала Вера.

Хотела идти, но опять остановилась.

— Ты чего на меня уставилась? — спросила Соню.

— Ничего,— сказала сестра.

— Ну, если ничего, так и ладно. Сидите тут, не деритесь. Я вернусь к обеду. Или чуть позже.

Соня молчала, глядела Вере в глаза, и Вера чувствовала, что хотела ей сказать сейчас младшая сестра: «Я все знаю. Меня не обижают твои грубости. И я ни слова не произнесу о маме, чтобы Надька ни о чем не догадалась. Мы с тобой взрослые, а она ребенок. Я и плакать не буду, а то она все поймет...»

— Ладно, я спешу,— сказала Вера.

— Вот, возьми,— шагнула к ней Соня, на худенькой ладошке подала сестре синюю фигурку с растопыренными руками.

— Еще что!

— Возьми. Я прошу... Он нам всегда помогает.

Вера покосилась на Соню с удивлением, хотела съязвить на прощанье, но Соня стояла перед ней серьезная и вправду взрослая, и было в ней нечто значительное и высокое, будто бы она провожала Веру на подвиг, зная при этом и о ней, и о матери, и о всех такое, чего Вера не знала и знать не могла. Это высокое и значительное в Соне подчинило Веру, она почувствовала себя слабее и неразумнее младшей сестры и смутилась.

— Господи, что ты еще придумала! Ну хорошо, я возьму эту игрушку...

— Чего тут? — подскочила Надька.

— Ничего,— сказала Вера, положив Сонин талисман в сумку.

— Я знаю. Это ей Колька Сурнин отдал. С его сломанного вездехода водитель. Там он сидел под пластмассовой крышкой. Сонька колдует с ним.

— Не твое дело,— сказала Соня, рассердившись, и шлепнула Надьку по затылку.— Ты ее не слушай. И не потеряй. А то...

— Не потеряю,— улыбнулась Вера.

Ей хотелось сказать сестре или сделать ей что-либо доброе или ласковое, но когда она притянула к себе Соню и голову ее прижала к своей груди, единственно, что смогла произнести, было:

— Ну и глупая же ты еще!

Позже, в электричке, Вера достала железного водителя со сломанного вездехода и разглядела его. Водитель был в синем комбинезоне и синем шлеме, с оранжевым лицом, краска на его носу и на правом плече облупилась. Спину и ноги синего человечка, усадив в кабину вездехода, согнули навсегда, а руки его топырились,— видимо, баранка, которую они сжимали, была большой. Вера держала человечка на ладони и старалась представить, какую судьбу придумала ему Соня, что вообще она себе насочиняла и в чем он ей помог. «Нет, я уж взрослая, пожилая,— решила Вера,— мне ее не понять. И мне-то он ни в чем не помог... Вот уж сочинительница! Неужели и мать была такая?» Мысль о матери возникла оттого, что в Верином сознании Соня была повторением матери. Стало быть, и мать могла когда-то сочинить такое...

Тут Вера ощутила, что она никогда не знала как следует, что у матери на душе и на уме, то есть она знала, что мать в ту или иную минуту радуется, сердится, боится чего-то, страдает из-за отца или, наоборот, чувствует себя счастливой, но все это Вера знала и понимала как общее, видимое состояние матери, а вот что у нее там, на душе, невысказанное, потаенное, а может быть, и самое существенное, как существенны были все внутренние движения и мысли для нее самой, Веры, этого Вера не знала. В чужую душу заглянуть нельзя, но душа матери разве чужая? Что мать чувствует перед операцией, о чем она думает сейчас? Разве узнаешь... К несчастью, она, Вера, не может быть с ней единым существом. Она — сама по себе. Мать — сама по себе. И Соня сама по себе со своим железным водителем. И никогда ни с кем не будет у нее, Веры, полной жизненной слитности. Это неожиданное, неуместное сейчас открытие Веру опечалило и испугало. Впрочем, шагая городом к больнице, она о нем забыла.

Потом, в больнице, больше часа она ждала конца операции. То сидела на белой пустой лавке, то ходила в сумеречном коридоре от глухой торцовой стены до окна, забрызганного мерзким осенним дождем. В лужах взбухали пузыри, обещая мокрый август; хмурые люди в болоньях или с зонтиками на длинных ручках перебегали из корпуса в корпус. Вера понимала, что операция окончится скорее всего благополучно, но она была сейчас не медиком, а дочерью. На дорогу и в больницу она взяла книжку «Дэ-

вида Копперфильда», одолженную у Нины. В последнее время Вере нравилось читать жалостливые истории, она плакала над Диккенсом, и то, что героям его, долго страдавшим, в конце концов везло по справедливости, Веру чрезвычайно трогало. Но сейчас она не могла и странички прочитать, не смогла бы она и вязать, если бы даже и захватила начатую кофту и спицы. Временами она дрожала от волнения, потом дрожь проходила. Вера принималась считать про себя, выдерживала до пятисот, а потом считать становилось невмоготу, и Вера присаживалась на лавку с твердым намерением успокоиться. И начинала ругать себя. Ведь из-за нее все могло случиться у матери, на нервной почве. Но тут же она говорила сама себе, что терзайся не терзайся, а матери она ничем сейчас не поможет. Матери тяжело и больно, но ей уж надо терпеть, всем предстоит вот так терпеть, и ей, Вере, когда-нибудь придется лечь под нож. То есть Вера, считая несправедливым то, что она сейчас не имела возможности разделить долю матери, обещала себе подобную долю в будущем и тем самым как бы уравнивала себя с матерью и оправдывала себя.

Однако то, что она не могла матери ничем помочь, угнетало Веру, и теперь, сидя на лавке, она принялась повторять про себя, какая хорошая и добрая у нее мать, сколько натерпелась она в жизни и как справедливо было бы, чтобы она осталась живой и здоровой. Неожиданно Вера ощутила, что держит в правой руке Сониного синего человечка, пальцами машинально поглаживает его, когда она достала его из сумки, она уже не помнила. Так она и сидела, и все шептала растроганно просительные слова о матери, гладила синего согнутого человечка с растопыренными руками, глядела на него и обращалась при этом то ли к нему, то ли еще к кому-то. «А вдруг у матери сердце остановилось? — подумала Вера.— Да нет, ты что!» Однако вскоре вслед за этой выдворенной мыслью стали являться другие, нелепые, и среди них совершенно трезвые соображения о том, какие хлопоты ей, Вере, предстоят, если мать сегодня умрет, где и как доставать гроб, просить ли у Сурниных обещанное место на кладбище, кого звать на поминки, а кого не стоит, посылать ли телеграмму отцу или соблюсти гордость. «Да что я! — сказала она себе тут же.— О чем печалюсь! Как только можно думать об этом, дура бессовестная!» Она снова сжала пальцами Сониного человечка и зашептала: «Пусть живет мама наша, пусть живет... Пусть не умирает...»

— Навашина?

— Да? — вскочила Вера.

Перед ней стоял Михаил Борисович.

— Все прошло нормально,— сказал врач.— Пожалуй, даже хорошо, даже хорошо. Что сейчас нужно вашей матери? Фрукты, соки, шоколад... Впрочем, вы сами знаете.

— Как она?

— Ничего. Операция была непростой... Анализ придет дня через три-четыре. Подождем с надеждой.

— Спасибо, Михаил Борисович, спасибо!

— Не за что...

Домой Вера примчалась возбужденная, радостная, завертела сестричек, насовала им дешевых гостинцев, она ощущала прилив жизненной энергии, ей хотелось предпринять что-то сейчас же, подруг матери, может, обежать с добрым известием, но домашние хлопоты потихоньку успокоили ее, и она уснула, не досмотрев даже «Кабачок 13 стульев».

Наутро она отправилась в город узнать, как у матери дела, передать ей шоколад, печенье и купленные Ниной в Москве бутылки виноградного сока. Оказалось, что вчера температура у матери подскочила, но сегодня была уже нормальной, а состояние матери определили удовлетворительным. «Ну и отлично!» — сказала Вера. Доверив знакомой нянечке передачу и записки — Надькины каракули среди прочих,— Вера поспешила к выходу, для больницы неприлично стремительная и веселая. У дверей ее остановил Сергей.

— Здравствуй.

— Здравствуй. Ты чего тут?

— Так... Приходил узнать, как дела у Настасьи Степановны. Я вчера здесь был.

— Когда?

— Вечером. После работы. Ты уже уехала.

— А тебе какое до нее дело? — спросила Вера уже на улице.

— Человеческое,— сказал Сергей.— Потом... тебя надеялся увидеть.

— В этом не было нужды.

— У тебя не было, у меня была.

— Ну, укараулил. И что дальше?

— Не знаю... Увидел тебя — и то хорошо...

— Ну и привет! — Вера рукой Сергею помахала, как ей показалось, достаточно небрежно и готова была исчезнуть с Сергеевых глаз.

— Погоди... Надо поговорить.

— Не о чем. И времени у меня мало...

— Спешишь куда-нибудь?

— А к следователю,— сказала Вера с вызовом.— Он меня уже четыре дня как срочно пригласил.

После этих слов она улыбнулась иронически и высокомерно: мол, если ты забыл, что я за женщина, так вот я напоминаю.

— Я тебя провожу,— сказал Сергей.

От больницы до прокуратуры было километра полтора, Вера не торопилась, зонтик несла над собой красиво и старательно, будто бы она выгуливала его и никакой иной цели у нее не было сейчас, а Сергей, покорно шагавший сзади с мокрой опущенной головой, казалось, для нее вовсе и не существовал. Следователь вряд ли работал по субботам, да и она не собиралась идти сегодня в прокуратуру, однако же, напомнив Сергею о следователе, она из упрямства уже не могла остановиться. Вера нервничала, она не ожидала встречи с Сергеем, была не готова к ней, она желала

прогнать Сергея раз и навсегда, но и боялась, как бы он не отстал от нее сейчас. Впрочем, Сергею трудно было догадаться о ее чувствах, даже и не презрение выказывала она к нему, а так, пренебрежительное недоумение, словно подобных Сергеев у нее была тысяча и теперь она никак не могла сообразить, какой из этих Сергеев идет за ней и зачем.

— Ты меня не можешь простить? — сказал Сергей.

— О чем это ты? — пожала плечами Вера, обернувшись к Сергею.

— Перестань,— сказал Сергей, остановившись.

Остановилась и Вера.

— А чего мне переставать? Я не дождь.

— Вера, зря ты все это... Тогда мы с тобой погорячились... Ты, наверное, была права... Но я не мог... Ты прости, я плохо говорю, но ты пойми... Я люблю тебя... И все...

Он руку протянул к ее руке, она хотела отвести ее, оттолкнуть, но не смогла, прикосновение его пальцев обожгло ее, как обжигало в прошлую зиму, когда они еще не были близки, а синими вечерами стояли друг против друга у подъездов чужих домов, на опустевших утоптанных перронах, возле заснувших до весны качелей в парке над Пахрой.

— Ну что ты... Ну зачем ты здесь?.. Люди же...— сказала Вера, но не тем дурным, неестественным голосом, каким она произносила слова минуты назад, а своим, чуть грубоватым, но теплым и ласковым, и маска неприступной женщины исчезла, прежняя никольская девчонка стояла перед Сергеем.

— А что люди? Я тебя люблю...

— Пойдем, Сережа...

— Погоди. Ты мне скажи...

— Пойдем... Больше ничего не говори...

— Хорошо.

Вера шагала быстро, хотя теперь она и не понимала, куда идет, но уж точно не к прокуратуре. Она хотела успокоиться, умерить радость, она ругала себя за то, что не сказала Сергею о своей любви к нему, не сказала и о тоскливых мыслях последних дней, на ходу же, на улице, на людях, она уже не могла говорить ему об этом. Ее огорчало и то, что Сергей идет за ней и волнуется, не знает о ее любви, глазами же, наверное, она не успела ему ничего сказать. Впрочем, решила она, пусть еще поволнуется.

— Погоди, Вера, я хочу тебя поцеловать...

— Ты что! Здесь... Сдурел! Сережка!

— Ну и что?

— Не надо!.. Не надо...

Он притянул ее к себе и поцеловал, робко и быстро, по-мальчишески, себя и ее стесняясь, а вовсе не людей, проходивших мимо. Да никто, казалось, на них и не обратил внимания. Только извозчик, сидевший на телеге с ящиками из-под водки, одобрительно помахал им рукой. К дождю он привык, лошадь не погонял, имел время рассматривать происшествия на мостовой.

— Сережка! Дурной! Вот дурной! — рассмеялась Вера и побежала от него по улице, не смотрела на лужи и радости своей не скрывала.

— Ты не лучше меня,— сказал Сергей, догнав ее,— придешь к следователю с мокрыми ногами.

— А я к нему не пойду. Он сегодня и не работает. Я к нему в понедельник пойду.

— Что будем делать?

— Не знаю. В шесть я должна поехать на работу. Дежурю ночью.

— Сейчас одиннадцать. Даже без десяти. Может, сходим в кино?

— Ну давай. А то дождь...

Попали в кинотеатр «Призыв» у вокзала на «Смерть филателиста». На экране люди подозревали в убийстве сына филателиста и зрителей хотели заставить подозревать его. Но было ясно, что сын только кажется негодяем, на самом же деле убить отца он никак не мог. Много курил, думал об этом, сидя и лежа, следователь, седеющий грузин, изящный и красивый, совсем не похожий на Виктора Сергеевича. Вере казалось, что и следствие, проходившее на экране, чрезвычайно отличается от следствия, которое вел Виктор Сергеевич. Там все было всерьез и интересно, в жизни же скучно и без толку. Впрочем, Вера на экран глядела рассеянно и о Викторе Сергеевиче и следствии думала рассеянно, рука Сергея ласкала ее руку, своим коленом она чувствовала колено Сергея, все у них начиналось так, как начиналось зимой. Зал был почти пустой, но билеты продали кучно, на соседние ряды, вокруг всюду сидели люди, мешали Сергею с Верой, а перейти куда-либо в уголок они не решались. Слова не сказали друг другу, встречались, когда свет был поярче, глазами, этим и довольствовались, досидели до конца сеанса, увидели погоню на автомобилях и падение в пропасть настоящего негодяя, вышли на улицу, в дождь. Оба были взволнованны, что-то говорили друг другу, слова, которые они произносили, теряли свой серый повседневный смысл и значили совсем иное, существенное для Веры и Сергея.

— Если бы тебе исполнилось сегодня восемнадцать,— сказал Сергей,— мы бы сейчас пошли в загс.

— А вдруг бы я не пошла?

— Я бы тебя улестил. Наобещал бы златые горы и упросил бы... Знаешь что, а пойдем сейчас в загс... Просто так... Посмотрим — и все... Будто мы заявление подадим... И станем ждать...

— Больше года, да?

— Надо — так и больше.

Они знали примерно, где в городе загс, и отыскали его на Брянской улице, возле Дома крестьянина. Вера шла к загсу посмеиваясь, однако у дверей загса она остановилась, оробев, и сказала, что дальше не пойдет, пошутили — и хватит, да и шутка нехорошая: заглянешь туда попусту, без дела,— как бы потом и дело, когда ему придет время, не оказалось пустым. Сергей с ней не согла-

шался, предлагал все же зайти, но Вера стала серьезной, в ее глазах он прочел: «Я тебе благодарна за приглашение. Я понимаю, что значат для тебя и для меня эти минуты. Но теперь я боюсь шутить...» Сергей протянул руку, провел ею по Вериным волосам, ласковыми пальцами гладил ее щеки и шею, так и стояли они, и ничьи глаза их не смущали. Они соскучились друг по другу, но и, как в первые дни своей любви, стеснялись самих себя, словно бы оттягивали мгновение, которое рано или поздно должно было прийти. «Ты хочешь есть? — спросил Сергей.— А то зайдем перекусим куда-нибудь...»

Зашли в вокзальный ресторан, пустой и гулкий, с несвежими скатертями и стайками бутылок фруктовой воды на столах. Официантка обрадовалась гостям, хоть каким-никаким, пусть и по поводу комплексного обеда, разговоры с приятельницами у кассы ей наскучили. Сергей заказал салаты из помидоров, бифштексы и водку, но тут же решил, что сегодня уместнее шампанское. «Чегой-то транжиришь-то!» — начала было Вера и засмеялась, представив себя в роли строгой и экономной жены,— еще успеется. Сергей тоже засмеялся, поняв, что у нее на уме. И официантка улыбнулась, как бы показывая, что и она обо всем догадывается, и она рада. «Со звуком или без?» — спросила официантка, принеся шампанское. «Можно и со звуком,— сказал Сергей.— Давайте я сам». Пробка выстрелила громко, акустика вокзальной архитектуры была отменная. Сергей наполнил фужеры. Официантка не отходила, она ждала слов, интересных и для нее, улыбка ее была доброй, но и многозначительной. Однако Вера с Сергеем промолчали, они следили за шипучими, стремительными пузырьками, и официантка ушла,— впрочем, без обиды. Это была белая дама лет сорока, с толстыми тяжелыми ногами. «Давай выпьем,— сказал Сергей.— Давай запомним этот день. На всякий случай».

Потом они бродили по городу. Читали местные и московские афиши на заборах и тумбах. Забрели на рынок. Открытые ряды были пусты, а под стеклянной крышей, в сырости и тесноте, с гомоном шла остывающая уже субботняя торговля. Никаких покупок Вера с Сергеем не собирались делать, однако походили у деревянных прилавков зеленщиков, приценивались к редьке и крупному южному чесноку, пощупали руками цветную капусту, а малосольные огурцы и попробовали, даже с продавцами поторговались просто так, ради искусства, и были ужасно довольны своим хозяйским походом. Опять между Сергеем и Верой шла волновавшая их игра, и опять слова значили для них совсем не то, что значили они для всех других посетителей рынка. Сергей углядел ларек с пивом. «Хочешь? — сказал он.— Не хочешь? А я выпью». Кружки в ларьке были две и уже заняты. Сергею налили пива в пол-литровую банку. Сергей пил, а Вера смотрела на него и улыбалась. Не банка эта смешила ее, просто снова представляла она себя женой этого коренастого, круглоголового парня, мастерового, крепко стоявшего на ногах, и ей было приятно оттого, что Сергей пьет пиво, а она ждет рядом и люди это видят. Ей тоже

захотелось выпить пива из банки. «Господи, неужели все возвращается,— думала Вера,— неужели все устроится?»

На улице она несмело напомнила ему, что в шесть обязана ехать на работу. Он понял. Шли молча. Вера знала, что чувствует сейчас Сергей. А он знал, что чувствует сейчас она. Сергей сказал: «У меня дома старики и сестра. Придется зайти к Виктору». Вера кивнула, знала Виктора Чичерина по прозвищу Чичероне, знала и его квартиру. Дом Виктора был старый, дореволюционный, почти московский, в пять высоких этажей. И запахи в нем отстоялись старого московского дома, с сыростью и кошачьим духом, а штукатурка была обцарапана, сбита, исписана мелом — где про любовь, а где ругательными словами. Сергей с Верой поднялись на пятый этаж, в пролете между третьим и четвертым этажами, словно бы почувствовали, что сейчас ни одна дверь в подъезде не откроется, Сергей прижал к себе Веру и стал целовать ее, а она стояла и уже никуда не хотела идти. Позвонили Виктору, он открыл дверь, тут же запахло борщом. Виктор жевал, держал в руке огрызок яблока, на кармане его красно-зеленой ковбойки висела древесная стружка, будто бы он только что рубанком обстругивал чурбак (стружка эта потом не раз вспоминалась Вере), все понял, приглашать не стал: и у него дома были старики — «суббота, елки-палки!». Вызвался сбегать к Кочеткову, а потом, если не повезет, к Саньке Борисову — полчаса туда и обратно.

Через минуту, надев синюю нейлоновую куртку с капюшоном, Виктор уже сбегал прыжками по лестнице вниз, и топот его сухих ботинок гулом отдавался в темном колодце подъезда. Сергей с Верой прошли выше, к чердачной площадке, сели на подоконник, Вера прислонилась щекой к холодному стеклу, залитому снаружи дождем, словно бы желая остудить себя, но Сергей притянул ее снова и стал целовать. Сидеть на подоконнике было теперь неудобно, они встали. И только когда дверь хлопнула громко рядом, где-то на четвертом этаже, Вера отстранила Сергея, сказала: «Погоди, сейчас придет Виктор, не надо...», принялась поправлять волосы и платье и даже застегнула на всякий случай плащ, но Виктор вернулся минут через пятнадцать. «Не фартит вам, ребята, не фартит»,— сказал Виктор вполголоса, как заговорщик, а Сергей с Верой, пока он поднимался к ним, по его лицу поняли, что им не повезло. Кочетков, по словам соседей, уехал в Москву, на птичий базар, торговать в сотый раз пса мексиканской породы с вислыми ушами, а к Борисову пришел брат играть в шашки, с женой и сыном, бутылка уже на столе. «Суббота, елки-палки!» — сказал Виктор, оправдываясь. Сергей вздохнул.

Теперь прогуливаться по городу им было нелегко. Приходилось думать и говорить о посторонних предметах с надеждой побороть желание или хотя бы отвлечься от него. Они чувствовали себя чужими в городе и с жалостью к самим себе смотрели на темные окна, за которыми у людей было все для хорошей и счастливой жизни. «А знаешь что,— сказала вдруг Вера,— поехали ко мне». Она звала его к себе домой впервые. Сергей посмотрел

на нее удивленно, но не возразил. В электричке и особенно на улицах Никольского Вера очень хотела, чтобы знакомые люди увидели ее с Сергеем, остановили их и даже пожелали познакомиться с Сергеем, но непогода не пустила соседей на улицу. Соня с Надькой были дома. Сергей с ними раскланялся, смущаясь. Вера рассказала сестрам о матери, потом посоветовала им сходить в клуб на станцию и посмотреть «Сыновья Большой Медведицы», можно и два сеанса подряд, дала Соне деньги на билеты и мороженое. Надька обрадовалась, но при этом, казалось Вере, она посмотрела на старшую сестру с усмешкой, Соня же была серьезна. «Я в шесть поеду на работу!» — крикнула Вера с крыльца вдогонку сестрам.

А сама поспешила к Сергею, чуть ли не бежала, нетерпеливая, радостная, мебель задевала, в комнате, где ждал он ее, дверь закрыла на крючок, даже стул к этой двери подставила для верности и прижалась к Сергею. Он ее целовал, и она целовала его, смеялась, позволяла ему снимать с нее платье и сорочку, сама расстегивала пуговицы его рубашки, радовалась тому, что его и ее вещи падают на стул вперемешку, как вещи одного человека, и все повторяла: «Сережка, Серый, родной мой Сережка!» Ей было хорошо, как никогда не было раньше, как не было в самые счастливые их минуты, хорошо, хорошо и больше так хорошо никогда не будет. Но и потом было хорошо, она спрашивала Сергея: «Тебе хорошо?» он отвечал: «Да, а тебе?.. Я люблю тебя..» — «Ты мой!» — шептала Вера. Потом она рассказывала ему, как ждала его, как скучала без него по ночам и как не могла заснуть, как желала, чтобы при ней вспоминали о нем и называли его имя. Она и еще что-то говорила Сергею, слушала его, а сама думала о том, что они снова с Сергеем вместе, муж и жена, раньше она боялась, что этого не будет, а если будет, то все получится неприятно для обоих, но получилось хорошо. И она считала это очищением от скверны, от ее беды,— стало быть, жизнь для нее не кончилась. Она испытывала благодарность к Сергею, она понимала, что он обо всем помнит и ничего не сможет забыть, но сегодня любит ее так, будто с ней ничего не было. Значит, и не было... «Сергей, Сережка мой, давай и завтра будем вместе, давай и всегда будем вместе! Ты меня не бросишь? А? Сережка?..» — «Ну что ты, ну что ты, глупая, зачем плачешь?» — «Я так... Я не буду...»

19

Перед следователем Виктором Сергеевичем Вера чувствовала себя виноватой. Официальной бумажкой он пригласил ее явиться в прошлый вторник, а нынче был понедельник. То есть виноватой она чувствовала себя скорее не перед самим Виктором Сергеевичем, а перед строгим и огромным учреждением следствия и суда. Ну, и перед Виктором Сергеевичем отчасти тоже. Она считала, что ее могут наказать штрафом или еще чем. Правда, она

полагала сослаться на болезнь матери и операцию, но не верила в то, что сумеет разжалобить следователя. Поэтому ехать к Виктору Сергеевичу ей совсем не хотелось. А главное — теперь она не видела никакой нужды в продолжении следствия и особенно в суде. «А ну их всех! — думала Вера.— Пусть себе живут, как хотят».

Ей было сейчас спокойно, у матери операция, слава богу, прошла нормально, тьфу-тьфу, не сглазить, так чего же злиться на людей? Ей хотелось, чтобы дело прекратилось само собой и никого бы не посадили. Пусть парни будут ославлены — и хватит. А потом пусть все и забудется.

Однако ехать к следователю было надо. Вера одевалась на этот раз тщательно, со старанием, из дома она вышла не мрачной, потерпевшей, с черной печатью несчастья в лице и наряде, а цветущей женщиной, праздничной и яркой, какой вовсе не безразличны взгляды мужчин. Не то чтобы она собиралась очаровать следователя, просто она хотела быть сегодня сама собой, хотела наконец надеть кофточку шелковую в огуречных разводах, с широким рукавом, не ношенную с памятного дня. Ну, а если Виктор Сергеевич не сухарь и не слепой и не посмеет рассердиться на нее, так разве это будет плохо? Впрочем, эти соображения пронеслись мельком, расчета в них никакого не было.

Виктор Сергеевич был строг и серьезен, он отругал Веру за опоздание, потом, не глядя на нее, предложил ей снять плащ и сесть. Вера сказала про мать и про операцию, нескладно и фальшиво, будто бы она все придумала сейчас. Виктор Сергеевич взглянул на нее, как ей показалось, с усмешкой, и Вера совсем растерялась.

— Нет, правда,— сказала Вера.— Я могу принести справку из больницы...

— Ладно,— махнул рукой Виктор Сергеевич.— Не надо справки... Другое дело — я должен был бы да и хотел вести этот разговор в присутствии вашей матери... Но раз так, что же...

Потом они молчали. Вера сидела у стола Виктора Сергеевича, спину ей холодил мокрый плащ, повешенный на стул, но она не смела сдвинуться с места и перевесить плащ. Хотела положить сумочку, мешавшую ей, на стол, и положила, но сразу же подумала, что это некультурно и Виктор Сергеевич рассердится, вороровато взяла сумочку, устроила ее на голых коленях, и тут заметила, что с зонта на рыжий, вощеный паркет натекла лужица, она быстро неизвестно зачем наклонилась к луже, выронила сумочку, прошептала: «Ах, господи!» Ей было совсем неловко и стыдно. Она выпрямилась и заулыбалась на всякий случай. А Виктор Сергеевич и не взглянул в ее сторону. Он ходил от стола к столу, был чем-то озабочен, когда зазвонил телефон, чуть ли не подбежал к нему. Однако голос звонившего его разочаровал, это было заметно по лицу Виктора Сергеевича. Положив трубку, он взял зеленую картонную папку и стал не спеша проглядывать листы в ней, на одном из них Вера увидела свою руку.

— Вот что, Вера,— начал Виктор Сергеевич строго.— Сегодня у нас с вами будет серьезная беседа. Я прошу ко всем моим словам отнестись внимательно, не горячиться и помнить о своей гражданской ответственности.

Тут он замолчал. Закрыл папку и отложил ее в сторону. Заговорил. Говорил долго. Речь его была не злой и даже не сердитой, скорее спокойной и монотонной. Впрочем, Вера поначалу и не очень вслушивалась в слова Виктора Сергеевича. Она все переживала свои неловкости, уверена была, что следователь посчитал ее рассказы о матери враньем, и ждала, что вот-вот он скажет про штраф. Ей было обидно. Она не так уж часто врала, а про мать и никогда не врала, да и какие у них сейчас деньги, чтобы платить штраф. Кроме всего прочего, Веру удручала лужа от зонтика, и она старалась прикрыть ее, неестественно и напряженно вытянув ноги вправо. Сумочка, раздражавшая теперь Веру, сползла с колен, и Вера потихоньку подтягивала ее обратно.

— Вы понимаете, Вера, что я имею в виду? — спросил Виктор Сергеевич.

— Да, да, конечно,— торопливо сказала Вера и улыбнулась, но по удивлению Виктора Сергеевича поняла, что улыбнулась невпопад.

Теперь она стала вслушиваться в слова Виктора Сергеевича. Среди этих слов было много ученых и незнакомых ей, к тому же все, что говорил Виктор Сергеевич, казалось Вере, он говорил не про нее и не про парней, а про кого-то другого. И все же Вера уловила суть его слов. А суть была такая: суд над парнями не обязателен и скорее всего не нужен, потому что Верины обидчики уже пострадали и будут страдать всю жизнь, а помочь предотвратить суд над ними может именно она, Вера. Если, конечно, разум возьмет в ней верх над чувством мести. Но в любом случае он имеет право прекратить дело.

— Если суда не будет, выходит, что я виноватая,— сказала Вера.

— Нет, не выходит,— сказал Виктор Сергеевич твердо. Он прижал подбородок к груди, выставив лоб вперед, нахмурился, вид у него был такой, словно он не желал дальше говорить в Вериных интересах, но она вынуждала его делать это.— Хотя я не уверен, что вы не без греха. Вот тут показания свидетелей, из них ясно, что вы могли дать повод гостям... Вы были навеселе, вели себя, мягко сказать, нескромно... Синяков вам достаточно поставила подруга, но вы ведь не подали на нее заявление в милицию!.. Впрочем, мы об этом обо всем говорили. А показания парней противоречивы.

— Я не давала им повода! — возмутилась Вера, она хотела сказать следователю, что он ее оскорбляет, но, наткнувшись на его сердитый взгляд, испугалась и сникла.

Виктор Сергеевич опять придвинул к себе папку. На ее зеленую обложку и глядела сейчас Вера, волновалась, словно Виктор Сергеевич мог достать из папки документы, подтверждающие, что

она, Вера Навашина, и есть подлая женщина. Однако Виктор Сергеевич папку не открыл, а просто положил на нее руки.

— Хорошо,— сказал Виктор Сергеевич.— Я хочу объяснить вам причины своего решения, чтобы вы, Вера, не посчитали его несправедливым и не носили в душе обиды. У вас и у ваших бывших товарищей вся жизнь впереди. Рана тяжела, но она не смертельна. Надо ее залечить — и навсегда, так, чтобы через год, через пять лет, через двадцать лет она не открылась снова. Вы со мной согласны?

Вера кивнула.

— Я хотел бы спросить вас,— сказал Виктор Сергеевич,— а какое бы вы приняли решение, если бы оказались сейчас на моем месте?

— Я не знаю,— растерялась Вера.

— Ну хорошо. А если бы не на моем, а на своем, но вам бы сказали: «Вот, Вера, решайте, как с ними быть. Хотите — казните, хотите — наказывайте, хотите — как хотите, но постарайтесь быть справедливой...» Что бы вы решили?

— Не знаю...

— Подумайте. Это важно и для меня и для вас.

— Ведь надо их как-то наказать-то...

— Сами вы, своей рукой, их наказали бы?

— Раньше наказала бы, а теперь мне на них наплевать...

— Желание отомстить в вас еще осталось?

— Не знаю... Пусть они живут, как хотят.

— Ну, а вот если бы все это случилось не с вами, а с кем-то другим в Никольском, как бы вы со стороны поглядели на все? Не показалось бы вам, что дело теперь можно окончить миром, что слезы их матерей...

— А мои-то слезы! — не выдержала Вера.

— Я говорю, если бы все это произошло не с вами...

— Не знаю,— сказала Вера.— Я не судья.

— Стало быть, вы желаете, чтобы всю ответственность за решение судьбы парней взял на себя суд.

— Так положено...

— Да, так положено. Но ведь и вы должны чувствовать ответственность за случившееся... Как вы думаете, ничто не станет мучать вашу совесть, когда парней осудят? Ни о чем вы не пожалеете вдруг?

— Не знаю...

— Не знаете... А вот сейчас, понимая, что парни чувствуют свой позор и казнят себя, простить их вы не можете?

— Как простить? Выйти при народе и сказать, что я их прощаю?

— Нет, если вы спокойно, без злобы и обиды, без неудовлетворенного чувства мести поймете, что в суде над парнями нет нужды, это и будет ваше прощение. То есть суд нужен, но в нашем с вами к ним отношении.

— Ладно, пусть суда не будет,— сказала Вера.

— Вы искренне это говорите? Подумав?

— Да.

— Ну что же, спасибо... Я полагаю, что и вам будет легче оттого, что вы снимете со своей души этакую ношу... Вы согласны со мной?

Вера опять кивнула. Кивнула невольно, а не потому, что хотела согласиться с Виктором Сергеевичем. Обстановка делового кабинета, как и всегда, действовала на нее странным образом. Вроде бы она ничего не должна была Виктору Сергеевичу, ни в чем не была перед ним обязанной, а вот чувствовала себя в долгу и обязанной. Слушая его, в особенности когда он говорил: «На основании статьи такой-то... На основании статьи такой-то, предусматривающей...», Вера ощущала мелкость, несуразность своих желаний и претензий перед чем-то большим и незыблемым, что представлял Виктор Сергеевич. Это большое было мудрым, заранее во всем правым, и Вера считала теперь, что она должна правоту Виктора Сергеевича, а стало быть, и правоту того большого, что стояло за ним, принимать безоговорочно. Кроме всего прочего, как это случалось с ней и на неудачных экзаменах, мысли Веры были сейчас сбивчивы и несамостоятельны, они словно были направлены разговором в какой-то узкий коридор, из которого никак не могли выбраться. «О чем он это? — думала Вера.— Кончал бы скорей!» Она сидела и говорила: «Да... да...»,— кивала, улыбалась шуткам следователя, слова Виктора Сергеевича опять как бы обволакивали и укачивали ее. Она и заявление, в конце концов, написала, что не имеет к парням претензий и не желает суда над ними, хотя Виктор Сергеевич о нем не просил.

Помолчав, Виктор Сергеевич сказал, что будь он на месте Веры, он, наверное, все же уехал бы из Никольского. Ну, не сейчас, а после окончания училища. Конечно, это хлопотно — продавать дом, переезжать,— но, может быть, хлопоты стоят того? И мать, и сестер, устроившись на новом месте, куда распределят, имеет смысл взять к себе. Ведь люди в Никольском всякие, кто с разумом, а кто и без понимания, с предрассудками, да еще, глядишь, и со злой памятью. Мало ли как эта память себя проявит. Понятно, что все зависит от характера, вполне возможно, что ее, Веру, и не ранят чьи-то несправедливые и недобрые слова, но он, Виктор Сергеевич, определенно бы уехал. Вера и тут кивнула. Виктор Сергеевич пожал ей руку на прощанье и попросил, чтобы в случае нужды или недоразумений она тотчас же шла к нему. «Надеюсь, вы все поняли правильно?» — «Да, конечно»,— с поспешностью сказала Вера.

«Фу ты!» — выдохнула Вера на улице. Теперь ей стало казаться, что она легко отделалась. Не заметил Виктор Сергеевич лужи от зонтика и ни словом, ни взглядом не сконфузил ее. Не сказал ничего дурного о Сергее и об их с ним отношениях. А главное — обошлось без штрафа. Но потом, уже по дороге к вокзалу, Вера, вспоминая все, что говорил следователь, и все, что отвечала ему она, стала понемногу возмущаться и им, и собой. «Нет, как же

так, что же это, он ведь и оскорбил меня! — негодовала Вера.— А я, дура, терпела!» Она отвечала теперь мысленно Виктору Сергеевичу. горячо и веско, разбивала в пух и прах его объяснения и доводы. Решение прекратить дело казалось ей несправедливым и обидным. «Нет, я этого так не оставлю! Я сейчас пойду! Еще и уезжать советовал, пусть сам и уезжает!.. И бумажку эту нужно разорвать... Как же так — отменить суд!..» Но тут она остановилась: «Господи, да что это я?..» Действительно — разгорячилась, размахалась кулаками после драки, зачем? Ведь и позавчера, и вчера, и сегодня утром сама желала, чтобы дело прекратилось, а теперь бушует. Вера остыла, успокоилась, решила, что все к лучшему, простила их и ладно, может быть, матери на самом деле повезет оттого, что она их простила...

Виктор Сергеевич был доволен тем, что Навашина наконец поняла его, но считал, что сам он мог бы сегодня найти для нее слова и получше.

Долго он готовился к этой беседе, а говорил плохо. Вяло, нудно, вначале смущался. Она сбивала, подумал Виктор Сергеевич, явилась разодетая, накрашенная, красивая, как никогда прежде, неизвестно зачем кокетничала и сбивала его. «Да нет, это чепуха,— тут же сказал он себе, стараясь быть справедливым.— Даже если бы и кокетничала, ну и что? Мне надо было говорить проще, толковее. Поняла ли она все как следует?..»

20

Переговорив с районным прокурором и убедив его в том, что никольское дело следует закрыть, Виктор Сергеевич поехал в поселок Комлю. Там два дня назад разбили витрину магазина «Спорттовары» и похитили велосипед В-542 Харьковского завода, ниппельный футбольный мяч за одиннадцать рублей, мотоциклетный шлем и манекен полного роста в лыжном костюме. Милиция установила, что витрину разбили двое восьмиклассников, и дело поступило к Виктору Сергеевичу.

Виктор Сергеевич, сойдя с электрички, узнал, что автобус в Комлю пойдет через сорок минут. Можно было добраться в Комлю на попутной, но Виктор Сергеевич спешить не стал. Возле станции был сквер с двумя голубыми палатками, в сквере Виктор Сергеевич уселся на лавочку, достал «Правду» и вчерашние «Известия».

Однако долго читать не смог, опять вспомнил о никольском деле. Все время он возвращался к нему в мыслях. Выходило так, будто дело это было для Виктора Сергеевича какое-то особенное. Будто и в судьбе самого Виктора Сергеевича оно значило не меньше, чем в судьбах Навашиной и никольских парней. Может, так оно и было? Впрочем, многие дела, какие вел Виктор Сергеевич, во время следствия казались ему особенными...

При этом, расследуя никольское происшествие, Виктор Серге-

евич часто вспоминал о разговоре со следователем Десницыным. Разговор был месяца три назад. Начался он из-за пустяка, из-за какого-то теоретического положения, а кончился чуть ли не ссорой. Десницын, человек горячий, даже кричал: «Да какой ты после этого следователь! Ты демагог, краснобай, дилетант, а не следователь! Сейчас много таких, все хорошо понимают, правильно и умно говорят, добрых желаний много, а пользы — нуль!» Виктор Сергеевич был расстроен и удивлен: «Вот, значит, как он обо мне понимает...»

На следующий день Десницын пришел извиняться. Нет, точку зрения он не изменил, но слова свои считал излишне горячими. Под конец он сказал: «Видишь, мы с тобой, наверное, по-разному смотрим на свою профессию. Ты вот стараешься быть еще и педагогом... А может, и стоило тебе пойти в педагоги?»

Десницын был года на четыре старше Виктора Сергеевича. Виктор Сергеевич прежде относился к Десницыну не то чтобы с чувством превосходства, но словно бы видел в его жизненных устремлениях некую ограниченность. Впрочем, как профессионала он его уважал. Десницын был следователь добросовестный, а потому и удачливый. Не одно сложное дело распутал он в районе. Долго работал в милиции. В следствии он был человеком дотошным и педантом. И рисковал, был ранен, ходил со шрамами. Виктору Сергеевичу казалось, что Десницын, расследуя обстоятельства, видит перед собой одну лишь уголовную загадку и более ничего. Десницын и полагал, что он разгадыватель печальных загадок, что такова функция следователя в обществе, а иные занятия — тут он, возможно, имел в виду хлопоты Виктора Сергеевича с «крестниками»,— отдают любительством и отвлекают от сути профессиональных забот. Устройством людских судеб еще уместно заниматься адвокатам и судьям, имеющим к тому склонность, считал Десницын, следователь же обязан установить истину — и все. Воспитателем он может оказаться лишь косвенным образом. «Впрочем, вдруг для тебя оно и не так...— добавлял Десницын.— Я-то имею дело со взрослыми преступниками, а ты — с подростками...»

Извинения Десницына Виктор Сергеевич принял, но нервные слова его забыть не мог. Слова что, слова были толчком. Виктор Сергеевич человек был упрямый, но неуверенный в себе, и сомнения, вечно дремавшие в нем, всколыхнулись и ожили. «А может, Десницын прав? Может, и вправду я занимаюсь не своим делом?» И прежде были случаи, когда Виктор Сергеевич отчаивался, полагая, что ошибся, став следователем. «Лучше бы уж электриком остался!..» Вот и теперь началась полоса сомнений.

Оттого-то в последние месяцы Виктор Сергеевич и жил в некоем душевном смятении. Лена чувствовала, что он обеспокоен чем-то, но ее тревоги Виктор Сергеевич рассеивал шутками. Собственные сомнения, как и слова Десницына, вызвали в нем чувство протеста. «Да нет,— говорил он себе,— отчего же это я краснобай и дилетант? Пользы от меня в работе не меньше, чем от

других...» Все дела, какие вел Виктор Сергеевич, он вел теперь, даже и помимо желания, словно бы споря и со своими сомнениями, и с Десницыным. И собственное понимание профессии следователя он намерен был отстоять.

Конечно, с точки зрения профессионала никольская история была рядовой и ясной. Десницын — тот бы давно закончил следствие и в лучшем виде преподнес бы материалы дела суду. И, наверное, был бы прав. Но Виктор Сергеевич ощущал свою ответственность за судьбы никольских подростков, словно бы и он, взрослый член общества, был виноват в том, что они такими выросли. Подобные чувства он испытывал и при разборе иных историй. Свое занятие он, как, впрочем, и Десницын, считал прежде всего служением справедливости. Но что для юриста высшая справедливость? Закон. Какой бы он ни был, совершенный или несовершенный. Закон. Но закон — общее, и особенности каждой личности он учесть не может. А существует он именно для каждой личности. Виктор Сергеевич полагал, что ему-то в работе с подростками уж никак нельзя забывать: наказывая — воспитывай. А он порой сталкивался с тем, что наказание суда и закона, пусть оно даже сто раз справедливое, бывало лишним и для жертвы, и для виновного, для него-то тем более, потому что он до суда был наказан, и сам себя наказал, и дальше будет себя казнить. Так принесет ли пользу этакое наказание закона? Сделает ли оно оступившегося подростка человеком? Именно этого подростка? Тут Виктор Сергеевич принимал в своих размышлениях точку зрения, для юриста противопоказанную, по коей выходило, что иногда следует учитывать иную и, может быть, более высокую справедливость, нежели справедливость закона. Виктору Сергеевичу гнать бы эти мысли, однако поделать с собой он ничего не мог. Тогда высказал их Десницыну, а тот раскричался.

Вовсе не собирался Виктор Сергеевич подменять собой закон. Нет. Однако порой Виктор Сергеевич, будучи убежден, что решение его принесет пользу обществу и, главное, пользу тому или иному подростку, его судьбе, его личности, старался совместить справедливость юридическую со справедливостью... Виктор Сергеевич не знал точно, как ее назвать... человеческой, что ли, житейской. А в себе он старался совместить юриста и педагога и полагал, что это для него необходимо, такая уж у него натура, а Десницын пусть думает о нем что хочет.

Никольская история, конечно, была тяжкой. Однако Виктор Сергеевич уговорил себя не торопиться с выводами. Похожие дела в его практике были. Причем дважды вчерашние сосунки, преступники по случайности, такие же, как Турчков, отбыв наказание, возвращались испорченными людьми. Виктор Сергеевич, не забывая о законе, попытался взглянуть на происшествие в Никольском и глазами обыкновенного человека, озабоченного судьбами и интересами нынешних юнцов. Как бы этот человек тут решил? Такой подход к делу Десницын и посчитал бы дилетантством! «Ну и пусть дилетантством! — подумал Виктор Серге-

евич.— Дилетанты-то и движут историю. Дилетанты открывают то, о чем профессионалы и не рискнут задуматься. Помнится, Образцов, что ли, говорил, академик: профессионалы способны лишь усовершенствовать паровозы, а уж электровозы-то создаются любителями...»

Эта мысль отчего-то обрадовала Виктора Сергеевича, хотя он вовсе не склонен был признавать себя дилетантом. Просто и в никольском деле он хотел остаться верным взгляду на свою работу.

Виктор Сергеевич вел долгие беседы с парнями. Он как бы испытывал их, старался понять истинные их настроения и желал, чтобы парни всерьез восприняли его слова о ценностях жизни. Он говорил с ними сурово, но увлекался, вставал, собственные слова нравились ему самому, что случалось с ним нередко, ему казалось, что слова эти наилучшим образом действуют на парней и никогда ими не будут забыты. Парни уходили опустив головы, а Турчков и с мокрыми глазами... Виктор Сергеевич думал: «Жалко их... Так несуразно оступились... И ведь — уже наказаны! Стали другими людьми. Останутся ли ими после колонии?.. Есть ли иное решение? Какое не причинило бы ущерба ни Вере Навашиной, ни обществу... Есть... Но при условии, что после всего я обязательно возьму их под контроль и опеку...» Виктор Сергеевич уже видел никольских парней своими «крестниками».

Разговорами с ними Виктор Сергеевич был доволен, а вот беседы с Навашиной у него не получались. Лишь последняя беседа вышла удачной. Конечно, и Навашина была виновата в случившемся, полагал Виктор Сергеевич, симпатий он испытывал к ней не больше, чем к парням, с житейской точки зрения, вина ее равнялась вине парней, но разве равнялась она с точки зрения закона! Теперь Виктор Сергеевич знал точно, что если бы Навашина не поняла смысла его стремлений прекратить дело без новых страданий для семей ее обидчиков и для нее самой, если бы она не успокоилась и не простила парней, Виктор Сергеевич дело прекратить бы не решился.

Но он убедил ее наконец в своей правоте и теперь был благодарен Вере. И за ее судьбу Виктор Сергеевич намеревался быть в ответе. Иначе его решение не имело бы смысла.

Но порой тревога возвращалась к нему: «А не глупость ли я делаю? Не опыт ли это с людьми и с самим собой? А может, и впрямь уйти мне из следователей просто в воспитатели? Или это все от упрямства, от желания доказать что-то себе или, положим, Десницыну? Да что он дался-то мне, Десницын этот!» Немало неприятного было связано у Виктора Сергеевича с никольским делом. Ходил-то он все время по тонкому льду! А однажды, словно бы желая оказать на Навашину давление, заявил, что Сергея Ржевцева могут привлечь к ответственности за сожительство с ней. Не хотел, а заявил. А привлечь Ржевцева никто и не мог. Но так мерзко вышло. Теперь же ему надо было приписать Вере бóльшую долю вины, чтобы имелись основания для прекращения

дела. «Ну ладно, об этом в Никольском не узнают,— успокоил себя Виктор Сергеевич,— ущерба Навашиной не будет, а она их сама простила...» В минуты трезвых раздумий Виктор Сергеевич понимал, что приукрашивает Колокольникова и Чистякова, что ему самому неприятно было, как в последних разговорах Колокольников и Чистяков (может быть, улавливая его, следователя, настроение) потихоньку начали сваливать вину на Навашину, что Колокольников парень слабохарактерный, избалованный матерью, а из Чистякова может выйти и расчетливый делец, но, впрочем, тут Виктор Сергеевич говорил себе: «Значит, и нужен за ними теперь глаз да глаз... Чтобы на переломе их судеб не развились дурные стороны их натур. Вот я за ними и пригляжу...»

«Да и что я кручинюсь заранее? — думал Виктор Сергеевич.— Да, я рискую... но разве я из корысти какой? Я ведь хочу как лучше... А если случится беда или дело будет пересмотрено, первому достанется мне. Мне! И еще как достанется!»

Однако отступать Виктор Сергеевич не был намерен. Да и поздно было! Утром он имел обстоятельный разговор с районным прокурором, доказывал тому, что никольское дело следует прекратить, и теперь сидел в сквере на лавочке.

Наконец появился комельский автобус и повез Виктора Сергеевича к магазину «Спорттовары».

Виктор Сергеевич, полагая, что убедил Анатолия Васильевича Колесова, районного прокурора, в своей правоте, находился в некотором заблуждении. Действительно, Колесов кивал, выслушивая его доводы, иногда сам, опережая Виктора Сергеевича, высказывал точные предположения о тех или иных подробностях происшествия и как будто бы, так казалось Шаталову, соглашался с ним по сути дела. Служебные да и человеческие отношения у прокурора с Шаталовым были хорошие, работали они друг с другом не первый год, и Колесов сказал: «Ну что же... Раз ты так считаешь, я тебе верю... Пошлем в областную прокуратуру... Но, естественно, я еще посмотрю материалы...» На том и разошлись.

Однако, ознакомившись с материалами никольского дела, Колесов встревожился. Теперь некоторые «опорные камни» Шаталова показались ему уязвимыми. Насторожили прокурора нелогичные действия Навашиной, написавшей вдруг примирительное заявление. Насторожили противоречия в показаниях парней. Насторожили и еще кое-какие мелочи, отдававшие натяжками. Колесов попытался представить ход мыслей и порывов Шаталова, приведших его именно к такому решению. Колесову ясно было одно: никакая низменная корысть не могла руководить Шаталовым. Виктор Сергеевич был человек честный и принципиальный. Но Колесов полагал, что Шаталова могло занести. Он считал его натурой увлекающейся, следователем, что называется, с идеями. Понятно, что ничего дурного в человеке с идеями нет. Хотя, возможно, не во всяком деле есть от такого человека и польза. Каково будет больному, коли у хирурга во время операции возник-

нут новые идеи и он отважится их сейчас же и опробовать. Не оказался ли Виктор Сергеевич Шаталов в никольском деле подобным хирургом? Шаталова и раньше увлекали идеи, правда чаще связанные не с самой уголовной ситуацией, а с устройством дальнейших судеб его подследственных. Иногда он заблудшим подросткам и действительно помогал. Честь ему за это и хвала. Но не повлияли ли теперь педагогические соображения, возникшие у Шаталова в ходе следствия, на само следствие? Такие мысли пришли в голову районному прокурору.

Никольская история была серьезной, дела подобного рода находились в ведении областной прокуратуры, и материалы дела должны были поступить теперь туда. И в том случае, если бы Колесов согласился с мнением Шаталова, и в том случае, если бы он посчитал выводы Шаталова неверными и попросил у области разрешение передать дело другому следователю. Три дня Колесов никольские материалы не отсылал в Москву. Сам он уже был убежден в том, что оснований для прекращения дела нет. Однако мало приятного было поставить под сомнение действия следователя, к которому Колесов ощущал приязнь. Но что же было делать? Наконец Колесов вызвал Шаталова к себе и объявил о своей позиции.

— Я прошу тебя, Виктор Сергеевич,— сказал Колесов,— отнестись к моему решению со всей серьезностью и без обид. Как тут быть иначе? Такая у нас профессия. Мнение свое о тебе как о работнике я, естественно, не меняю. А никольское дело очень тонкое и сложное.

— Если не секрет, Анатолий Васильевич,— спросил Шаталов,— кому вы поручите доследование?

— Ну, а может, доследования и не будет? Может быть, областная прокуратура посчитает, что ты прав, а не я? Если же посчитает теперь, что не прав ты, именно теперь, а не после каких-либо жалоб и пересмотров, то, думаю, выйдет меньше бед и для меня, и для тебя, а возможно, и для героев никольской истории. Ты понимаешь меня?

— Понимаю...— неуверенно сказал Шаталов.— Однако вряд ли буду глядеть на дело иначе при любых обстоятельствах... И все же, кто будет вести доследование?

— Полагаю, что Стрепетов или Десницын. Как ты к этому относишься?

— Десницын — хороший следователь.

— Он редко работает с подростками. Но ведь и никольские, судя по их делу, не совсем юнцы.

— Да, они во многом взрослые,— кивнул Шаталов.

21

Еще в коридоре отделения к Вере быстро подошла знакомая сестра и шепнула: «Анализ хороший. Но ты от меня ничего не слыхала».— «Да?» — только и сказала Вера. И лишь в кабинете Михаила Борисовича она ощутила смысл известия.

— Ну что ж,— сказал Михаил Борисович,— хочу вас обрадовать. Утром получили заключение московской лаборатории. Опухоль была доброкачественной. Но хорошо, что ее нет. Я доволен, что операция сделана, поверьте мне!

— Слава богу! — выдохнула Вера.— Спасибо вам!

— Мне-то за что? — сказал Михаил Борисович.

Сердце у Веры колотилось, минут пять она стояла у окна на лестничной площадке, успокаивала себя. «Да что я разволновалась? — ругала себя Вера.— Весть добрая, а я психую...» Тут она подумала, что вот так же, в секунду, она могла бы узнать сегодня о приговоре матери. Именно мысли о том, что́ она могла услышать и от сестры в коридоре, и в кабинете Михаила Борисовича, и испугали ее сейчас.

Настасью Степановну Вера нашла возле ее двадцать второй палаты. Матери было велено уже ходить, она и ходила. Вера бросилась к ней, обняла ее, об анализе мать, оказывается, уже знала. «Ну вот, видишь, видишь!» — повторяла Вера. «Теперь домой бы скорее»,— говорила мать. «Нет уж, отдыхай, отсыпайся...» — «Может, и вправду отдохнуть?» — сказала мать с робкой улыбкой. «Ну, а то нет!» Очень скоро Вера поняла, что мать в радости принялась за свои прежние «ходячие» хлопоты — помогала кормить двух старушек, носила передачи и записки, опекала деревенскую девочку с дурным анализом, как бы чувствуя себя виноватой перед ней за свой хороший анализ. Но по сравнению с домашними хлопотами и стирками больничная жизнь была для нее отдыхом. Она тут могла и читать, и потихоньку училась вязать, путая петли и ворча, но с наследственным терпением.

Вера вернулась домой успокоенной. О минутах своего волнения у лестничного окна в больнице она уже не помнила. То, что анализ пришел положительный, она посчитала само собой разумеющимся. Иначе, казалось, и быть не могло. Вера вообще теперь была успокоенной, умиротворенной, как человек после сытного обеда. Все она любила и всему желала добра. Ничто ее сейчас не пугало, не мучило, не раздражало. Раньше бы за Надькино непослушание и вредничанье Вера раз десять уже отлупила сестру чем ни попадя — тряпкой или половой щеткой — или хотя бы просветила ее уместными словами. Так нет, сейчас она смотрела на ее проказы с непонятным для Надьки и Сони добродушием. Поворот в болезни матери, возвращение Сергея изменили Верину жизнь. Но напряжение последних недель, горьких, полынных, нервная суета дома и на работе, страх за мать обернулись теперь усталостью. Вера надеялась отоспаться, однако и сон не помог. Движения Веры были сейчас медлительными, говорила она лениво, будто потягиваясь. С Сергеем Вера встречалась каждый день. Вере опять было хорошо.

В день, когда Вера узнала об анализе матери, она забежала к Нине поделиться радостью, но Нины не застала.

— Она ушла в поход,— сказала Валентина Михайловна, Нинина мама.

— В какой поход? С кем?

— А-а-а! Одна. Придумала бог весть что! — махнула рукой Валентина Михайловна и замолчала, будто бы в некотором смущении, но и загадочно, давая Вере понять, что пусть она сама обо всем у Нины и выпытывает.

Назавтра вечером Вера опять зашла к Власовым. Дом Власовых славился чистотой, а на террасе, на полу, было насорено. «Грибы, что ли, накрошенные?» — подумала Вера, азарт грибной охотницы проснулся в ней, в Никольском считалось, что грибов пока нет, но, может быть, они появились после дождей, и Нина обошла ее? Хороша подруга, ничего не скажешь! Вера нагнулась, рассмотрела кусочки раскрошенных шляпок. Нет, не белые, не красные и не поддубовики, в лучшем случае жидкие сыроежки, она даже на зуб не стала их пробовать, только понюхала и ощутила знакомый горький запах. В прихожей на столике в зеленом эмалированном ведерке увидела красные шляпки с белыми горошинами, так и есть — мухоморы. Нина сидела в комнате, ноги парила в ведрах с бледно-розовой водой, а Валентина Михайловна, надев очки, рассматривала старые альбомы, разложенные на столе.

— Знаешь, Верк, как я рада, что у вас все хорошо! — сказала Нина.

— За грибами ходила?

— Нет. Это мухоморы. Ноги лечу.

— Как бы ты после такого лечения не угодила в больницу! — сказала Валентина Михайловна.

— Ты все споришь! — возмутилась Нина. Потом добавила для Веры: — Я тебе рассказывала, у нас в городе, в танцстудии, все старое — мазурки, полонезы и все прочее — показывала Серафима Ильинична Чернецкая, бывшая балерина Большого, старушка, за шестьдесят, но вся такая... ах-ах-ах, за ней идешь — будто девушка! — Нина, не поднимаясь со стула, плечами повела и бедрами, воду возмутив.— Я ей не раз собирала мухоморы. Она говорила: балерины боль в ногах и мышечную усталость снимают отваром мухоморов.

— Так небось отваром сушеных мухоморов,— сказала Валентина Михайловна,— голова садовая.

— И сушеных, и свежих.

— Я сейчас домой схожу,— предложила Вера,— мазь принесу. У матери много мазей от ног.

— Такие мази и у нас есть,— сказала Валентина Михайловна.

— Нужны мне ваши мази! — сказала Нина.— Тут сама природа лечит. Попарила полчаса — и легче...

— А куда ты ходила? — спросила Вера.

— Да так... прогулялась...— сказала Нина и покосилась на Валентину Михайловну.— Ты, Вер, включи радиолу. Я на днях купила пластинку Ободзинского. Не Карел Готт и не Рафаэль, но терпимый.

Вера подошла к радиоле, нажала на клавиш, опустила звуко-

сниматель на черный диск. На столике возле радиолы в тонком стакане стояли в воде три мухомора на длинных болезненных ножках, печальные перья папоротника и глянцевые листья ландыша. Опять красное с зеленым.

— Тенор,— поморщилась Вера, услышав Ободзинского.— Плачет.

— Ты его знаешь. Его сейчас все крутят. «Эти глаза напротив...» Потом еще «Играет орган».

— Так где же ты ножки-то натрудила? — спросила Вера.

— Ходила в одно место,— сказала Нина серьезно.— Я еще посижу минут пятнадцать, а ты пока погляди альбомы. Видишь, сколько я хлама достала? Между прочим, нашла одну тетрадку. Узнаешь?

Тетрадка, общая, в клеточку, была и вправду чрезвычайно знакома Вере. «Батюшки-светы! — обрадовалась Вера.— Неужели ты ее бережешь!» И у Веры была такая тетрадка. Где она сейчас, Вера не знала,— может быть, выброшена и сожжена на огороде вместе с мусором и сухой ботвой, а может, еще валяется в чулане, среди рваных, изношенных платьев, негодных даже на кухонные тряпки, среди стертых, вымерших калош и изрисованных от скуки учебников. Тетрадки эти, по примеру некоторых старших учениц Никольской школы, Вера с Ниной завели давным-давно, года четыре назад. Помнится, волновались, тянули жребий, кому чью фотографию клеить на обложку. По неписаной традиции полагалось, чтобы в классах одного возраста на тетрадках у девочек фотографии были обязательно разные. В тот год особенно ценились Муслим Магомаев, Бруно Оя, Софи Лорен и хоккеист Рагулин. Нине, как и обычно, повезло — ей выпала Софи Лорен. Нина тут же исхитрилась выменять где-то удивительную фотографию Лорен, посрамившую старшеклассниц, не черно-белую, как у них, а цветную, да еще на прекрасной бумаге. Вере же достался Евгений Леонов.

Вера не могла успокоиться, плела интриги, чуть было не уговорила обжору Мартынову согласиться на обмен Леонова с доплатой домашними пирожками хотя бы на ее Смирнитского. Однако сделка не вышла оттого, что накануне мать испекла пирожки не с мясом и не с ливером, а с капустой, и Вера с досады приклеила к тетрадке не Леонова, а Иосифа Кобзона, вовсе и не значившегося в списке. Но и Кобзон тут же стал ее раздражать, она стыдилась своей тетрадки и вела ее небрежно. Зато Нинина тетрадь вызывала у ровесниц зависть, и сейчас Вера, несмотря на свое взрослое, ироническое отношение к пустой детской затее, не могла не оценить изобретательных усилий подруги. Ей было приятно рассматривать разрисованные карандашами странички.

Тетрадь Нины, как и прочие из этой серии, на первом листе имела название «Альбом для души, или Возраст любви и дружбы» с меленько подписанным эпиграфом, раздражавшим Нину, но обязательным: «Эта книга правды просит. Не люби, который бросит». Дальше шли стихи, взятые из книжек и тетрадей подружек

и записанные с пластинок слова модных в ту пору песен: «Ты не печалься, ты не прощайся...», «Быть может, ты забыла мой номер телефона...», «Там, где всегда метели, там, где скрипит мороз...», «Честная измена лучше сладкой лжи...» и прочие увлечения детства. Через каждые несколько страниц текста попадались подклеенные фотографии артистов и подходящие к месту кадры из «Советского экрана». После стихов и песен шли разделы о поцелуях, о дружбе, о любви и о различиях между любовью и дружбой. Аккуратно были списаны Ниной образцы посланий к мальчикам. И на случай любви удачной, и на случай любви неразделенной.

Вера, покачав головой, снова перелистала тетрадку, наткнулась на знакомые ей пункты отличий любви от дружбы, много их было, и все схожие: «Если мальчик может делать уроки, оставшись в одной комнате с девчонкой, значит, это дружба. Если же уроки у них не получаются, значит, это любовь».

Боже ты мой, какая это была чушь! Теперь-то Вера знает, что это чушь, а тогда они верили во все и ничего другого не ведали, волновались, перечитывая свои глупые тетради, выдумывали бог весть что.

— Я свою, наверное, выкинула,— сказала Вера.— Какие же мы были дуры!

— А я не выкину. Иногда стоит оглянуться на самое себя. Чтобы не повторяться.

— Ну, и куда ты ходила? — спросила Вера.

— Далеко,— сказала Нина.— Вон посмотри у мамы фотографии. Там увидишь один дом... Только сначала, будь добра, кинь мне полотенце и красные босоножки, вон там, под столом... Спасибо.

Вера подсела к Валентине Михайловне, та протянула ей пачку фотографий, и Вера принялась их потихоньку рассматривать. Она знала эти фотографии. Но не так часто доставали в доме Власовых, как, впрочем, и в любом никольском доме, семейные хроники в картинах, иногда удачных, хоть неси на выставку, а чаще любительских, передержанных, потемневших или рыжих, в пятнах закрепителя, неясных, но одинаково дорогих и трогательных. Стены по деревенской привычке фотографиями не увешивали, московские нравы брали верх, альбомы же, хорошие по цене, лежали в комодах или шкафах, а чтобы появиться на свет божий, ждали случая. Какой нынче случай у Власовых, Вера пока не поняла. Но она рассматривала фотографии с интересом, в особенности если на карточке была она сама, спокойная и пухлая, рядом с тощей озорной Ниной.

Нина вытерла полотенцем ноги, тяжело и медленно ступая, вынесла ведра, потом вернулась, скинула, морщась, босоножки, легла на диван.

— Ты хоть натертые-то места намажь мазью,— сказала Валентина Михайловна,— не дури.

— Вот еще. Вонять будет!

— Тебя разве с твоими мухоморами переспоришь,— вздохнула Валентина Михайловна. Потом шепнула Вере: — Вот в этот дом она ходила.

На маленькой продолговатой карточке, в два спичечных коробка, перед одноэтажным кирпичным домом стояли четверо военных в пилотках, с ромбами в петлицах, и один из них был Нинин отец — Олег Николаевич Власов. Олег Николаевич умер лет пять назад, Вере было жалко его и жалко Нину с Валентиной Михайловной, однако к этой смерти Вера отнеслась легко, она ее не потрясла и не испугала. И не только потому, что Вера была тогда несмышленой девчонкой, но и потому, что ей, как и многим в поселке, смерть Олега Николаевича показалась естественной и необидной. В Никольском все считали, что Олег Николаевич давно уже не жилец и теперь, слава богу, отмучился. Олег Николаевич пришел с войны инвалидом, ранен был четырежды, контужен и сорвал сердце. Многие сердечники полнеют, его же болезнь сушила. Вере он запомнился худым, невысоким, неловким, с тонким, желтым лицом, со скулами, обтянутыми кожей, с вечно поднятым подбородком — под Корсунью осколок угодил ему в шею. В остром облике его было что-то птичье, и ребятишки из его класса называли Олега Николаевича Пернатым,— впрочем, без ехидства.

Институт, из которого он ушел на фронт добровольцем, ему так и не удалось окончить. После войны Олег Николаевич был совсем плох, врачи советовали ему не работать и быть на воздухе. Чтобы прибавить денег к пенсии — Нина еще не появилась, но надо было кормить немощного отца,— он занялся ловлей кротов. Ставил капканы в рощах и оврагах у Никольского и Алачкова, и перед его домом на веревках сушились шкурки кротов, а в удачные дни и ласок с белыми мордами и животами — за них закупщики платили больше, чем за слепышей. Он немного окреп на воздухе и пошел учительствовать в Никольскую школу, вел арифметику в младших классах. Подолгу лежал в больницах, но потом, несмотря на уговоры Валентины Михайловны с обещаниями прокормить шитьем и себя, и его, и Нину, возвращался в школу. Вера видела его и веселым, энергичным, но редко, а в памяти ее он остался человеком нелюдимым, печальным, на лице его часто отражалось некое усилие, будто бы он перебарывал внутреннюю боль. Вера его боялась,— впрочем, она знала его плохо, и то, что он учитель, пусть и в соседних классах, и то, что он больной, отстраняло ее от Олега Николаевича. Отец же Верин относился к Олегу Николаевичу с уважением, слова дурного не давал о нем сказать. А Нина твердила, что отец ее добрый и хороший.

Теперь Олег Николаевич смотрел на Веру с маленькой фотографии. Дом, перед которым стоял на карточке Олег Николаевич, был известен Вере по семейному преданию Власовых. В июле сорок второго никольский житель Волошников, ныне покойный, имевший броню как рабочий оборонного завода, был в командировке в Серпухове и увидел там Власова. Возле Владычного монастыря, за Нарой, в бывшем общежитии, расположили на время

артиллеристов. Волошников шел мимо, Власов окликнул его из-за изгороди и передал жене записку. В субботу, набив рюкзак продуктами из своего подпола и выменянными на цигейковую шубу консервами, салом, водкой, вареньем, Валентина Михайловна отправилась в Серпухов. Паровики в тот день на Серпухов не ходили, а времени терять было нельзя. Пробыла Валентина Михайловна в Серпухове выходной, ночевала в стогу сена на лугу у Оки, а с утра пошла домой. Рюкзак был пустой, лишь танкетки со стесанными каблуками лежали в нём. Босыми ногами ступала Валентина Михайловна по мокрой и рыжей земле. Впрочем, кто называл ее тогда Валентиной Михайловной? Для матери она была Валькой, а для Олега Власова — Валюшей...

— Ты чего, в Серпухов, что ли, ходила? — спросила Вера.

— В Серпухов,— кивнула Нина.

— И дом нашла?

— Нашла.

— Все такой же?

— Общежитие там опять...

— А ночевала где?

— На вокзале. На скамейке.

— Обратно на электричке?

— Нет. Пешком.

— Сколько километров до Серпухова?

— Почти сорок. Туда шла часов девять. Оттуда на час больше. Хорошо, дождь не все время лил. И прохладно было.

— Могла бы и попутную остановить,— сказала Валентина Михайловна.— Я от Серпухова до Авангарда ехала на попутной. С прожектором в кузове.

— Мало ли чего я могла,— сказала Нина.

— Чегой-то ты вдруг? — спросила Вера.

— Вот-вот, ты ее спроси,— кивнула Валентина Михайловна.

— А ничего. Просто захотелось сходить — и все,— мрачно сказала Нина.— Цветов нарвала в поле под Серпуховом, ромашек и колокольчиков, и положила на подоконник вон того окна, что на карточке.

— Могла бы и на электричке туда съездить,— сказала Валентина Михайловна.

— А я вот захотела узнать, смогу ли без электрички...— сказала Нина.— Ты-то не думала ни о паровике, ни об электричке.

— Мало ли что я... Мало ли что мы...— нервно сказала Валентина Михайловна. Слезы появились вдруг на ее глазах, она посмотрела в тихой печали на Нину и на Веру, поднялась тут же и быстро вышла из комнаты.

— Ну вот,— сказала Вера растерянно.— Я же ничего не хотела...

— При чем тут ты? — сказала Нина.— Это я. Изверг рода человеческого...— Потом добавила: — А может, и не я, и не ты...

— Отец-то твой,— сказала Вера,— молодой-то на тебя похож. Рот, губы, нос у тебя отцовские. Нос уж точно...

— Утиный...
— Так уж он у тебя и утиный!
— Утиный...— рассеянно повторила Нина.

Прошептав что-то неслышно, не глядя на Веру, будто бы и забыв о ней, Нина повернулась лицом к стене и лицо закрыла рукой. «Не заплакала ли она?» — обеспокоилась Вера, встала было, но раздумала, сообразив, что ее дело сейчас сидеть тихо и не мешать ни Нине, ни Валентине Михайловне. Что-то произошло между старшей и младшей Власовыми, может быть, вышел у них разговор перед появлением Веры, а может быть, Нинин поход вызвал у матери с дочерью воспоминания и мысли, от которых теперь им обеим было тяжело. Вера, затаившись, перелистывала альбомы, иные из карточек были ей малознакомы. «Валентина-то Михайловна какая тут фасонистая и молоденькая, сорок второй год, вздернутые плечи на вате, юбка до колен... А Нинка-то, Нинка-то, вырядилась в матроску, хвост распустила, гагара!..»

«Что-то случилось с ней и со мною, что-то случилось этой весною...» — нервно, страдая от своей беды, пропел Ободзинский. Вере показалось, что голос его слишком громок. Она подошла к радиоле и утишила звук.

А Нина, закрыв глаза, видела перед собой дорогу. Шпалы, шпалы, шпалы, серые, бетонные, горбатые на краях, потом асфальт, то мокрый, то сухой. Потом размякшая земля обочины, потом ноги, то в кедах, то босые, шагают, шагают, а асфальт плывет и будет плыть всегда. Откроешь глаза — перед тобой неподвижная стена, белые разводы на бледно-лиловых обоях, закроешь — опять все плывет. Стена нереальна, а реально движение усталых ног, бесконечность мелькающих шпал и плывущего асфальта. Перед тем, как пойти в Серпухов, Нина как бы невзначай повыспросила у матери все подробности ее похода к отцу, потом на охотничьей дотошной карте Подмосковья разглядела все большие и проселочные дороги, ведущие в Серпухов, а решила, что отправится туда прямо по железнодорожным путям. Но так она прошла километров пять. Были бы у нее ноги подлиннее, она бы перешагивала со шпалы на шпалу, ей же приходилось мельчить, она сбивалась с ритма, щебенка оползала под ногами и заставляла их отталкиваться сильнее, чем надо было бы на земле. А главное — поезда неслись в южные края через каждые несколько минут, и Нина с досадой пропускала их. Тропинка же, бежавшая было вдоль полотна, под кустами желтой акации, кончилась. Потратив больше часа на пять километров, Нина свернула влево и вышла на Симферопольское шоссе. Машины летели там одна за другой, и надо было все время быть в напряжении, запретив себе к тому же и думать о попутной. Но тут уж дорога была верная, хотя и на несколько километров длиннее железной.

Остановку Нина сделала в Чехове. Там и обедала. Уселась на траве в скверике возле знакомого магазина и съела пару яиц вкрутую, ломоть черного хлеба и пять вареных картошин с солью. Таким был и обед матери в сорок втором году. Выпила за копей-

ку простой газированной воды из автомата, покосилась на мороженое, но мороженым в сорок втором году не торговали. Вздохнув, пошла дальше. За плечами ее был военной поры рюкзак, найденный в чулане, не очень полный, но и не пустой. В рюкзаке лежали книги, Нина подбирала их по весу — ношу она хотела нести такую же, какую когда-то несла мать. Навстречу ей неслись машины с юга, «Волги», «Москвичи», «Запорожцы» с ленинградскими и столичными номерами, а иногда и иностранные, ехали в них загорелые, обласканные морем люди, везли сумки и фанерные ящики с фруктами, резные и тряпичные фигурки-талисманы зверюшек и гномов раскачивались у ветровых стекол, но Нине они были неинтересны. Она старалась представить, что видели по дороге в Серпухов глаза матери. Наверное, тогда шоссе было пустым, а может, по нему медленно, с гулом, слышным в ближних деревнях, ползли танки или тягачи с пушками, а сами деревни были тихими, словно вымершими... Но все картины прошлого, возникавшие в Нининой голове, были похожи на кадры из виденных ею фильмов — и только. Это ее печалило. К тому же никуда не исчезали и самоуверенные блестящие машины, кресты телевизионных антенн, старушки на скамейках у ярко покрашенных заборов, вся шумная, суетливая жизнь придорожных поселков и деревень. Нина завидовала матери. Для матери тот поход был жизнью, страданием и надеждой. Она же, Нина, шагала нынче туристкой. Впрочем, иногда в лесах, в березах и дубах, окружавших дорогу, Нина как будто бы слышала те далекие голоса и звуки военных машин, они волновали ее, и ей на мгновение казалось, что все происходит с ней в сорок втором году. А когда в тишине сумерек она нашла в Серпухове знакомое ей кирпичное здание и положила цветы в распахнутое окно, возле которого сфотографировали ее отца, она и впрямь поверила в то, что сейчас война, а она пришла сюда к близкому человеку, чтобы взглянуть на него в последний раз. Нина, разбитая дорогой, голодная, долго стояла, прислонившись к столбу забора, и все думала об отце с матерью, о том, как они жили, и смогла бы она в пору их молодости быть не хуже их. Ей было тревожно и печально. Но при этом она испытывала и некое высокое чувство, которому она вряд ли бы нашла название. Может, это было чувство равенства с матерью и отцом...

Потом кто-то заметил ее цветы на подоконнике. «Ба! — услышала Нина ленивый и ехидный девичий голос.— Опять Таньке букет подкинули. Теперь-то, наверное, Глухов!» Слова эти вызвали шумный смех, обрадованные девушки выглянули из окна в надежде обнаружить Глухова, а Нина, испугавшись, что ее увидят, быстро пошла вдоль забора, будто бы проходила мимо.

Когда Нина проснулась на желтой лавке в зале ожидания вокзала, она машинально, еле двигая ногами, направилась к электричке. Но тут все вспомнила. Пошла пешком. Дорога назад давалась ей тяжело, она уже не думала ни о матери, ни об отце. Надо было только дойти до дома, все вытерпеть, а добрести...

— Пластинка, что ли, кончилась? — подняла голову Нина.
— Да? Кончилась? — спросила Вера.
— Ты не слушала? Сними иголку-то. Чтобы не затупилась.
— Сняла... Так ты ничего и не ела, что ли?
— Когда?
— От Серпухова до Никольского.
— Ела,— сказала Нина виновато.— Не выдержала и в Чехове зашла в столовую. И еще в палатке купила зефиру. Не надо было мне брать денег...
Она, морщась, подошла к столу, села.
— Намаялась ты,— сказала Вера.— Я, наверное, столько бы и не прошла.
— Чего там! — махнула рукой Нина.— Приспичило б — и прошла бы... Раньше-то по скольку люди пешком ходили! Это мы отучились.
— Довольная, что сходила?
— Довольная...— сказала Нина неуверенно.— Сначала была довольная, что дошла. А потом почему-то расстроилась. То есть знаю почему. Матери позавидовала. Я-то шла так, к кирпичному дому, а она — к любимому человеку.
— Но и тебе чего-то нужно было, раз пошла?
— Нужно, наверное... Я и не жалею, что сходила. Только вот если бы и я, как мать когда-то, пришла к любимому человеку...
Нина замолчала. Глаза у нее были грустные.
— А он у тебя есть? — спросила Вера.
— Нет.
— Все ждешь кого-нибудь с московской пропиской? — Вера хотела пошутить.
— Да на кой черт нужна мне эта прописка! — сказала Нина резко, обиженно.— В прописке, что ли, счастье! Мало ли чего я могла насочинять в детстве!
— Я ведь так, в шутку, чего горячишься-то?
— Прописка,— проворчала Нина,— нужна мне твоя прописка...
— Слушай,— сказала Вера,— а к Сергею ты серьезно относилась, раз драться стала? Или как?
— Нет,— сказала Нина.— Минутное настроение. Блажь. Так, показалось что-то на мгновение. А потом прошло...
— Ну конечно,— сказала Вера, обидевшись за Сергея.— Куда нам. Тебе принца подавай с бородой.
— Принца не принца,— заявила Нина,— а свой идеал у меня есть.
— Ну-ну,— сказала Вера и замолчала, смутилась, ей стало неловко, что она завела разговор о Сергее.

Несмотря на усталость, Вера в тот день долго не могла уснуть. Думала, вспоминала. Плакала однажды, жалея себя. А потом уже и не жалела, а ругала себя. Были секунды, когда она

грустила, сознавая, что ее прежняя жизнь, казавшаяся ей счастливой и свободной, уже не повторится. Но тут же Вера успокаивалась и даже радовалась тому, что прежняя жизнь никогда не повторится. Она была благодарна Нине за ее поход в Серпухов, в прошлое, к тени отца, словно бы в колодец с чистой ледяной водой Нина опустила ведерко в надежде утолить жажду. И Вере нынче хотелось думать о высоком и верить в то, что и она способна на высокое. «А ведь я такая же, как мать,— говорила себе Вера.— Я-то вообразила, что я другая, а я из того же холста, что и мать...» Но при этом Вера подумала, что ее жизнь будет все же счастливее и благополучнее жизни матери. Неужели и она потеряет красоту и грудь иссушит? Ну нет! Никогда!

С тем она и заснула.

22

Опять вернулось лето. Запестрели на улицах короткие сарафаны, явились на берега Царицынских прудов крымские толпы купальщиков. У никольских жителей опять была надежда на грибы. Думали — теплые ночи после дождей вытянут гриб из земли, крепкий телом, с чистой коричневой шляпкой. Готовили корзины, промывали кипятком банки для маринада, но все впустую. Вера однажды не выдержала и с утра пошла в лес. Мало ли что говорили соседи и Соня с Надькой, может быть, на их местах грибов и нет, а на ее местах попадутся. Но и получаса не прошло, как она поняла: ходи не ходи — в лучшем случае закроет дно корзины лисичками и поддуплянками, а они у Навашиных за грибы не шли. Сухая стояла весна, сухой июнь, дождей хватило земле на глоток. Вера копнула землю рукой — лишь на палец оказалась она сырой, а дальше была как соевый жмых. В Никольском грибами увлекались серьезно, Вера считала себя охотницей одной из первых, и появиться с пустой корзиной на честно́м народе, пусть и не в сезон, ей было неловко. «Хоть цветов, что ли, нарву»,— решила Вера и вышла на Поспелихинскую поляну.

Поспелиха, деревня с двадцатью дворами, стояла километрах в трех от Никольского, а словно бы здесь была иная страна, Вологодский север или Заволжье, только не московская окрестность. Деревню с единственным порядком домов окружала пашня, выстраданная первыми жителями Поспелихи, может быть, века четыре назад. Кольцом сжимали пашню леса с березой, дубом, липой и орешником, замыкали поспелихинскую жизнь зелеными крепостными стенами. Каждый раз, когда Вера приходила сюда просто так и по делу — за молоком, за птичьим пометом или, по просьбе отца, за самогоном,— ее удивляла тишина Поспелихи. Тишина и спокойствие. Другого мира не было для Поспелихи, кроме неровной поляны, наморщенной оврагом на восточном краю, кроме обрезанного вершинами деревьев неба, кроме самих деревьев, ровных, спокойных, словно бы и не знавших ветра. Дымы в деревне росли прямые. Услышать в Поспелихе можно

было лай собак и крики петухов, металлические звуки, казалось, и вовсе здесь не раздавались, а гул электричек за лесом был нереальным, как бы подземным.

И сейчас в Поспелихе было тихо. В деревню Вера не пошла, а побрела краем леса. Потом, не доходя Никольской дороги, свернула в поле. Овес стоял неровный — где густой, с крепким колосом, а где и сиротский, заросший ромашкой и васильком. Васильки синели там и тут, они-то и приманили к себе Веру. Положив цветы в корзину, Вера присела на взгорке у оврага. Чуть пониже круглым островком, прижавшиеся друг к другу, стояли высокие кусты репейника, сочные, зеленые, и светло-малиновые цветы их казались издали приветливыми. Вера улеглась на траве, потянулась сладко, солнце било Вере в глаза, на секунду она пожалела, что не взяла черные очки. Впрочем, они были с мелкими стеклами, теперь такие не носили, ну их. Да и зачем они! «Как хорошо! — думала Вера.— И солнце, и лес, и тишина...» Она уже давно не лежала вот так на траве, не глядела на деревья и на небо как на нечто примечательное и великое, существующее само по себе, без нее, Веры, и вовсе не приложением к летящей никольской жизни, вроде заборов, водопроводных труб и билетов на электричку. В последние дни она или спешила по делам, или хлопотала дома, задавленная тяжестью собственных забот, ей было не до солнца и не до неба. В крайнем случае было дело до погоды — какая за окном и что надевать. Теперь Вере не хотелось возвращаться домой, да и был ли он, дом-то? Было ли вообще что-либо вне поспелихинской тишины за ровными зелеными стенами, высвеченными солнцем? Может, ничего и не было. Она одна на всю землю. И вот эти кусты репейника. И вот этот муравей, забравшийся на ее туфлю. И вон та ромашка с желтым радостным глазом. И она, Вера, частица земли. Как та ромашка. Как тугой светло-малиновый цветок репейника. Щемящее высокое чувство охватило ее. В нем было спокойствие, и была печаль. Ей казалось сейчас, что она знает все про жизнь на земле. Знает, как надо жить и зачем. И как жить не надо. Бог ты мой, до чего же она была глупой и скверной прежде!

Когда она шла домой, она была добра ко всему на свете. Она вспомнила дурной для нее июньский день, вспоминала, как она, сидя на своем крыльце, поглядывала на утреннее шествие соседей, виденное ею перевиденное, как возмущалась она скукой никольской жизни. Теперь к этой жизни она относилась со спокойствием человека, обретшего душевное равновесие, ни один знакомый звук, ни один запах, ни одно слово ее не раздражали. Да и может ли она злиться на людей и осуждать их? Какое она имеет право? Да и зачем ей злиться? Она была готова просить у всех прощения за то, что совсем недавно думала о них недоброе. Ей было хорошо сейчас.

Дома она поставила корзину на террасе и пошла в душ. Душ был устроен еще отцом — высокое, чуть кривое сооружение, обитое железом. Вода в бочке, крашенной в черное, успела нагреть-

ся, и Вера блаженствовала под теплыми струями, чуть пахнувшими ржавчиной. Потом, дома, она долго стояла перед большим зеркалом платяного шкафа, мокрые волосы расчесывала со старанием, а сама поглядывала на себя. Все было хорошо в ней. Она не смотрела на лицо и не думала о нем, она и так видела его часто и знала, что оно хорошо. Она с удовольствием рассматривала свое тело, крепкое, сильное, упругое, с чистой смуглой кожей. Радовали и круглые загорелые колени,— какая досада будет, если победят макси, старухи и тощие выдумали их, пусть они их и носят. Велики и, пожалуй, тяжелы были у Веры ступни, но ходили они по земле твердо, да и не в них была суть. Нет, приятно было посмотреть на себя. Видимо, и вправду в облике, в фигуре ее было нечто такое, что заставляло Нину иногда вспоминать иностранное слово, которое Вера тут же забывала. Слово это, по мнению Нины, объясняло, почему мужчины поневоле косят на нее глаза. Да и женщины-то в бане обязательно оборачивались в ее сторону, глядели на нее кто с одобрением, а кто с завистью. Еще две недели назад Вера стыдилась своего тела, оно напоминало ей о ее беде. Теперь она ему радовалась.

Глядеть в зеркало ей было приятно еще и потому, что она снова ощущала себя бодрой и здоровой, ни боли, ни апатия не беспокоили ее, усталость последних дней прошла, и жизнь опять была ей в сладость.

В хорошем расположении духа Вера принарядилась, сделала глаза и губы, верхние веки намазала синим, в тон голубому сарафану и бирюзовому браслету за два сорок, язык показала себе в зеркало и отправилась в город, за матерью.

Год назад однажды с Верой случилось то, что случается с каждым подростком. Она вдруг увидела себя со стороны. Она выделила себя из мира, почувствовала свою особость, поняла, какая она и какой мир, с ней и без нее. То есть, так ей тогда казалось, что поняла. Это был для нее момент открытия. Он ее озадачил и опечалил. И испугал. Потом она часто глядела на себя со стороны. Взгляд ее был уже более точным и здравым. Иногда горьким, как в последние недели. Иногда спокойным. А теперь она нравилась сама себе. Снова будто бы сейчас были две Веры Навашины. Одна шагала никольской улицей, другая, бестелесная, невидимая, наверное, шла рядом, а может быть, и не двигалась с места, но все замечала.

Вере казалось сейчас, что не только она сама на себя смотрит со стороны с симпатией, но и все другие люди — никольские, спутники по электричке, жители районного города,— все они тоже понимают, что она за человек, и относятся к ней дружелюбно, а кто и с уважением. Ей хотелось встретить как можно больше знакомых, она и сама не знала — почему. Даже ее обидчики, пожалуй, не испортили бы ей настроения. А уж с Виктором Сергеевичем она могла бы и поговорить — просто так, на отвлеченные темы. Может, кончилась полоса неудач? Может, началась полоса везений? Пора бы ей...

Настасья Степановна уже ждала Веру. Сидела в приемном покое на белой лавке, держала на коленях верную черную сумку с желтыми ручками. Вера подбежала к матери, обняла ее. Потом сказала:

— Я тебе платье привезла получше. Эпонжевое, приталенное. Ты зайди куда-нибудь... ну, хоть в уборную... Переоденься.

— Зачем?

— Что ж ты, в этой тряпке, что ль, поедешь? Сюда брала худшую вещь,— ну ладно, а домой-то стыдно в ней ехать. Она полы мыть и то не пригодится...

Мать одернула подол платья, как бы еще раз критически осмотрела его, она и сама знала, что это ее худшее платье, оно горбило ее и старило, было не раз штопано и латано, однако мать за платье обиделась — все же вещь была живая.

— Вам бы все выкидывать,— проворчала мать.

— Ладно, ладно,— сказала Вера.— Тебе не стыдно, мне будет стыдно. Я тебя прошу, иди переоденься. Сейчас не сорок шестой год.

Вздохнув, поворчав, Настасья Степановна все же пошла в туалет и минуты через три вернулась в синем в серую клетку эпонжевом платье, выглаженном и укороченном вчера Верой. Платье это Настасья Степановна шила у Чугуновой, с тремя примерками, десять лет назад как праздничное и теперь несколько досадовала, что его приходится надевать в будний день. К тому же ей не хотелось показывать, что благополучный выход из больницы для нее событие, сглазишь еще чего не так. Ну, вышла и вышла, что тут выряживаться!

— Не висит оно на мне? — спросила Настасья Степановна.— Не отощала я вконец-то?

— Что ты! Да и зачем тебе толстой-то быть? Ты в нем как девочка. Хоть на человека стала похожа. Прическу сделаешь, и совсем будешь хороша.

— Ну уж, ты наговоришь! — махнула рукой мать, улыбаясь в смущении; впрочем, она была довольна похвалой дочери. Еще раз оглядела себя и успокоилась.

— Ты ничего не оставила? — спросила Вера.

— Ничего.

— Я схожу проверю. А то ведь знаешь — примета. Оставишь чего-нибудь в больнице — вернешься.

— Я все взяла! — крикнула мать Вере вдогонку.

А Вера уже неслась по лестнице на второй этаж, перемолвилась веселыми словами со знакомыми нянечками и сестрами, а в бывшую палату матери зашла степенно и как бы по делу, словно лечащий врач. Женщины Вере обрадовались, стали говорить, что мать выписали и пусть она, Вера, спешит,— может, ее еще и догонит. Вера их успокоила, сказала, что она пришла проститься и пожелать всем выздоровления. На кровати Настасьи Степановны сидела деревенская девочка с большими тоскливыми глазами, и

Вера, встретившись с ней взглядом, остановилась и поняла, что не подойдет ни к кровати матери, ни к ее тумбочке.

— Настасья Степановна обещала, что навестит меня,— сказала девочка робко.— Это правда? Может, у нее со временем не выйдет?

— Приедет, раз обещала,— сказала Вера.

К матери она спустилась остывшая, расстроенная.

— Ты зря ходила,— сказала Настасья Степановна.— Я все взяла. Я знаю. Я только фрукты и соки девочке оставила, которая на моей кровати теперь. Но фрукты не в счет. Я сестру уговорила, чтобы она девочку эту, Таню, на мою кровать перевела. Моя кровать счастливая. С ней ведь все здоровые уходили...

— Да, счастливая,— машинально кивнула Вера.

Она все еще видела девочку в сером чистеньком халате, сидевшую на кровати матери,— рот ее был полуоткрыт, словно она хотела что-то выкрикнуть или вышептать всему миру в отчаянии, но не могла, в глазах ее была обреченность. Вера знала таких больных. Она жалела девочку и печалилась о ней, но и досадовала на себя, что поднялась на второй этаж. Лучше бы не ходила. То, что она прочла в глазах горемычной девочки, казалось ей дурным знаком.

— Обязательно надо будет Таню навестить,— сказала Настасья Степановна.— Деревня ее километрах в тридцати отсюда. Отец инвалид. У матери на руках еще пятеро. А я приду — все ей приятно будет. Селедку привезу. Мы все по селедке скучали... А Таня ко мне привязалась. Тетя Настя да тетя Настя!.. Плачет. Жалко ее. Болезнь-то эта хоть бы к старикам только цеплялась, а детей-то за что? Она же твоих лет. Как такую хочется оберечь...

— Прооперируют,— сказала Вера,— может, и обойдется.

— А про меня тебе все сказали? — остановилась вдруг мать, и в прямом, настойчивом ее взгляде Вера уловила тревогу и просьбу ничего от нее не скрывать, даже если врачи из добрых побуждений и утаили от нее правду.

— Нет,— сказала Вера сердито.— Не придумывай ничего. Ты знаешь все. Честное слово.

— Ну и слава богу,— сказала мать.

Младшие сестры ждали в Никольском, на станции. Увидев мать, закричали, понеслись по перрону навстречу. Соня приласкалась к матери, но тут же отстранилась,— видно, стеснялась людей вокруг,— и потом, дорогой домой, с серьезным видом взрослого человека держалась как бы в стороне. Надька же прыгала возле матери, радовалась, то и дело кидалась к матери целоваться. При этом она интересовалась, не привезли ли ей из города каких гостинцев. «Ну, полно, полно, хватит! — ворчала Вера.— Чего слюнито пускаешь? Иди спокойно». Куда там! Разве ее, верченую, можно было утихомирить?

Дома мать сразу же пошла на огород. Она и делать что-нибудь тут же принялась бы, но пожалела эпонжевое платье. Однако с

огорода сразу не ушла, все оглядела, а что могла — и ощупала. Вера смотрела на мать молча, не мешала ей. Она понимала, что мать только тут, в саду, среди грядок и деревьев, и почувствовала окончательно, что на этот раз болезнь отпустила ее. В военную пору мать уехала из деревни, вот уже двадцать семь лет была пригородной жительницей, а все равно оставалась крестьянкой. На приемник она потратилась четыре года назад прежде всего для того, чтобы слушать по «Маяку» погоду. Причем она могла с удовольствием слушать сведения метеорологов через каждые полчаса, если бы у нее было время. Сведения эти она как бы примеряла не к себе самой, а к растениям и плодам своего огорода. Любовь к земле и работе на ней, приобретенную Настасьей Степановной в детстве, унаследованную ею от предков, истребить ничто не могло. Десять соток никольской усадьбы были в ее жизни всем — местом радости и отдохновения, каторгой и храмом, именно ее местом на земле. Иногда Вера даже завидовала матери. Она-то выросла почти горожанкой. Что ей этот огород! Лишняя морока. Ну хорошо хоть подспорье в трудные годы. А так — лучше б его и не было. Цветы бы росли под окнами да яблоки румянились на ветках — и ладно. Надьке-то и цветы, наверное, будут не нужны. А мать была сейчас счастлива. Она уже не жалела, что ей пришлось надеть праздничное платье. Теперь она знала, что выздоровела.

— Земля-то сухая,— сказала мать.

— Сухая,— кивнула Вера.

— Чего же не поливали?

— Поливали. Дожди прошли, и мы стали поливать. А она сухая.

— Здравствуйте, Настасья Степановна. С выздоровлением вас.

У заднего забора на своей земле стояла Наталья Федоровна Толмачева, или Лушпеюшка, потом из-за деревьев возник и ее муж — Николай Иванович, грузный, основательный человек. Наталья Федоровна улыбалась, а муж ее был серьезен.

— Спасибо, спасибо,— обрадовалась им мать и пошла к забору.— Мне говорила Вера, что вы приходили.

С Толмачевыми Навашины долго жили мирно. Но особой теплоты в отношениях соседей не было. Верин отец, Алексей Петрович, считал Толмачевых людьми чрезвычайно нудными: «Партийные, а вроде староверов...» Однажды Толмачев при народе посоветовал Навашину меньше пить. Встретив на другой день на улице жену Толмачева и двух его взрослых дочерей, лузгающих семечки, Навашин укоризненно покачал головой и сказал: «Что ж вы шелуху на землю-то сплевываете? А еще культурные люди!» Ленка, старшая дочь Толмачевых, с гонором поправила: «Это не шелуха, а лушпеюшки».— «Вы-то вот и есть Лушпеюшки!» — сказал Верин отец. Новое прозвище моментально пристало к Толмачевым. Они дулись, сердитый Николай Иванович иногда кричал из-за забора: «Я вам покажу Лушпеюшек!» — но Вериного отца угрозы только раззадоривали. Однажды Толмачев получил по почте

письмо. В нем неизвестный доброжелатель предупреждал, что семнадцатого июня на рассвете дом Толмачевых будет ограблен заезжей бандой. Толмачевым бы полученную бумажку использовать в туалете, а они испугались всерьез. Бросились в милицию, двое уполномоченных провели у них ночь. Утром ушли, употребив выражения. Толмачевы не спали еще неделю, закапывали ценности в огороде, но потом успокоились. А через месяц опять письмо и опять с точным временем будущего ограбления. И еще погодя было два письма, подбрасывали раза три Толмачевым и записки с предупреждениями. Толмачевы, люди пуганые, верили или не верили, но в милицию ходили опять, Николай Иванович ружье выпросил у брата-охотника, а под конец и чуть ли не задумал съезжать из Никольского. Но тут Верин отец похвалился в компании, как сочинял он Толмачеву подметные письма. «Кто же знал, что эти дураки их примут всерьез!» То-то смеялись в Никольском!

Но шутка была не из лучших. Когда в Алачкове играли свадьбу, а отец с электриком Борисовым то и дело отключали свет на Алачковской линии, требуя с гуляющих выкуп водкой или самогоном, симпатии никольских были на стороне отца. В случае с Толмачевыми его поняли не все. Но отец как входил в азарт, остановиться уже не мог. Толмачевы сначала жаловались на соседа в райком и по месту работы, а потом Николай Иванович вместе с созванными по этому поводу братьями подкараулил подвыпившего Навашина. Алачковские тоже били Навашина и Борисова, но без особой злобы, скорее для приличия, тут же помирились и выпили в знак примирения. Толмачевы же дрались жестоко. Отец обещал, что за ним не пропадет. Но уехал, и за ним пропало. А между соседями шла с той поры холодная война. Навашины делали вид, что Толмачевых и вовсе не существует. Толмачевы каждую минуту ждали от соседей каверзы. Им не везло. То Настасья Степановна, без умысла, а просто задумавшись, плеснет помои в яму сильнее, чем надо, и они попадут за изгородь, на белую малину соседей. То начнут в спокойную погоду Навашины жечь костер с какой-нибудь промасленной бумагой, и тут как тут явится западный ветер и снесет вонючий дым на Толмачевых, обедающих в саду. Будто нарочно. Толмачевы и думали, что нарочно. И злились. Однако, когда мать попала в больницу, пришли и предложили помощь. Теперь Настасья Степановна стояла рядом с ними, говорила приветливо, как с добрыми друзьями. «Ну что ж,— думала Вера,— помирились — и ладно. Про отца сейчас бы не вспоминали. Не хватало еще...»

23

— Денег у нас сколько? — спросила мать дома.

Вера протянула ей тетрадь с расчетами — сколько было денег, сколько осталось, сколько истрачено по дням и на что.

— Ладно,— сказала мать.— Карамели много брали. Краска одна. А песок купила весь?

— Нет, килограмма четыре еще надо.

— Я и вижу. Ну ладно. В магазин ты сходишь или я?

— А что надо?

— Песку. Селедки... Ну, и вина, что ль? — Тут Настасья Степановна поглядела на Веру неуверенно, в сомнении, и все же решилась: — Купи белого. Бутылки две. Или три. И красного.

— А кто придет?

— Кто-нибудь да придет. Тетя Клаша уж наверное придет. Еще кто-нибудь. Надо для приличия. Твой-то не придет?

— Нет, наверное,— смутилась Вера.

— Тетя Клаша-то точно придет.

— Она в обиде. Сюда не приходила ни разу.

— В больнице она, однако, была.

— Не ты же выгнала ее.

— Вот и помиритесь.

Тетя Клаша Суханова, конечно, пришла к вечеру, потом явилась тетя Нюра Тюрина, а позже прилетела и Нина. В доме уже вкусно пахло, мать, раскрасневшаяся, счастливая, хлопотала на кухне, пекла пироги с мясом и капустой, младшие сестры вертелись возле нее, не упускали случая ухватить горсть начинки, а то и горячий, с масленой коркой пирог. Мать обнималась с гостьями, просила извинить за выпачканные в тесте руки, обещала сейчас же допечь пироги и усадить всех за стол.

Клавдия Афанасьевна Суханова предвкушала удовольствие, глаза ее с одобрением оглядывали стол, накрытый не как обычно, в кухне, а в большой комнате с вышивками на стенах, радовали ее на этом столе и водка, и закуски: распоротая банка шпрот, селедка и уж конечно навашинские разносолы — грибы в банках и на тарелках, прошлогодние огурцы и помидоры из погреба,— сама Клавдия Афанасьевна хозяйство вела небрежно, словно горожанка. С Верой она говорила доброй старой приятельницей, почти родственницей, а Вера смущалась, она вспоминала, как куражилась, выгоняя из дома пожилых женщин, матерей, стыд-то какой! Но зачем, зачем ей предлагали деньги?..

Мать установила на столе кастрюлю с пирогами.

— Садитесь, садитесь, гости и девочки, берите, хозяйку не обижайте, пока горячие.

Она смотрела на гостей счастливо, но и рассеянно, как бы вспоминая, все ли сделала. Вспомнила:

— Надька, принеси масла с кухни. Сливочного.

Но передник не сняла. На всякий случай. Так и села в нем за стол.

— Ну, Настя, с выздоровлением,— подняла рюмку Клавдия Афанасьевна,— и давай переживем всяких маоцзедунов!

— Теть Насть,— сказала Нина,— долгих вам лет.

— Слава богу, дома,— улыбнулась Настасья Степановна и выпила рюмку.

Соня с Надей чокались квасом. Соня — кружкой, а Надька наливала квас в стопку для интересу.

— Ну, и сразу же по второй,— сказала Клавдия Афанасьевна,— чтобы мгла глаза не застила.

— Ох, захмелею,— опечалилась Тюрина, однако быстро выпила и вторую рюмку.

— Мы же не стаканами,— успокоила ее Суханова.

Настало время пирогов, их ели, нахваливая Настасью Степановну, не из вежливости, а от души, потому, что печь и жарить пироги она была мастерица. Кому в Никольском удавались блины, кому кислые щи с грибами, кому запеченная в тесте рыба, пусть и морская, а дом Навашиных славился именно пирогами.

— Ешьте, ешьте... Ну как, вышло или нет?.. Ниночка, ты горчицу бери, вот она,— говорила Настасья Степановна, протягивая Нине банку с горчицей, знала, что нынешние молодые любят все поострее, она и сама, по Вериной просьбе, клала теперь в начинку больше перца.— Вышли хоть пироги-то?

— Вышли, вышли,— басила, жуя, Суханова.

— Ну вот и ладно, если вышли... А мне селедка хороша.

Вера косила глаза на мать и удивлялась ей: давно она не видела мать такой благополучной. И прежде хоть и редко, но бывало — мать подхватывало веселье. Но всегда в ее радостном состоянии было и некое напряжение, неистребимая озабоченность, сковывающая мать. А нынче, казалось, ничто не беспокоило ее, словно бы при выходе из больницы мать получила освобождение от всех своих тревог. Знать, тяжкими были ее мысли от болезни, может быть, и с миром, и с дочерьми она успела уже попрощаться. Ни праздники, ни последние именины не радовали мать так, как сегодняшний вечер. Хлопоты по дому и на кухне были матери до того приятны, что Вера не стала мешать ей своей помощью. Опять Вера подумала о том, что все невысказанное, потаенное и самое существенное, что было у матери на душе в последние недели, ей, Вере, не дано узнать, она может только догадываться об этом существенном, да и то объясняя состояние матери своими мерками и понятиями. И ни один другой человек, даже мать, даже Сергей, не смогут знать истинно, а не приблизительно, что происходит в ее, Вериной, душе. И так будет всегда. Мысль эта не была болезненной и тоскливой, как в день операции матери, она была спокойной. Да и ушла быстро. А Вера все глядела на мать и радовалась ее неожиданной беззаботности. «Вот и хорошо,— думала Вера,— вот и у меня ноша теперь будет легче». Тут она вспомнила, как славно ей было утром на Поспелихинской поляне, когда она лежала в траве и понимала, зачем она живет на земле. Вот и дальше все было бы хорошо и с ней, Верой, и с матерью, и с сестрами, и с Сергеем, и с отцом. И со всеми. Спокойствие и доброта Поспелихинской поляны казались ей теперь самыми важными на свете.

— Небось вы, тетя Насть,— сказала Нина,— в больнице пироги-то эти во сне видели! И чад кухонный небось был приятен?

— Ой, не говори,— кивнула Настасья Степановна.— Закроешь глаза, а перед тобой плита и сковородка на ней...

— Не сладко болеть-то? — спросила Суханова.

— Не приведи господь еще раз!

— Во-от. А я что говорю? — протянула Клавдия Афанасьевна и добавила печально: — Ничего не попишешь. Годы у нас уже такие. Пора деньги копить.

— Ох уж, ох уж,— пропела Нина,— какие уж у вас такие годы? На что деньги-то копить?

— На что, на что! — проворчала Суханова.— На гроб с музыкой.

— Ну, если только с музыкой,— сказала Нина.

— Вон,— сказала Клавдия Афанасьевна,— померла старуха Курнева. Ни копейки не оставила. Родственники ее на похороны тратились, уж вспоминали ее, поди, почем зря. Каково ей? У Павловых наоборот, у Софьи Тимофеевны на книжке остались деньги. И на поминки, и на подарки. Это по-людски. Я уж заведу особую книжку...

— Я тоже в больнице думала,— сказала Настасья Степановна,— а то случись чего, откуда дочки денег достанут?

Она будто бы даже обрадовалась словам приятельницы, может, больничные мысли о деньгах на похороны казались ей неподходящими для произнесения вслух и неприличными, и вот теперь Клавдия высказывала их деловито и с удовольствием, значит, и нечего было их стесняться.

— Что думать-то! — сказала Клавдия Афанасьевна.— Надо откладывать. Рублей сто пятьдесят.

— А не мало? — засомневалась Настасья Степановна.— Я считала — рублей двести.

— Хватит,— махнула рукой Суханова.— Это в Москве двести, а у нас сто пятьдесят.

Тут вступила в разговор Тюрина, она держала сторону Настасьи Степановны. Суханова же стояла на своем, горячилась, доказывая неправоту приятельниц, Нина смеялась, выслушивая доводы женщин, Надька потихоньку тянула квас, Вера поначалу отнеслась к спору добродушно, даже улыбалась, но, взглянув на Соню, поскучнела. Она знала, что дальше разговор непременно пойдет о местах на кладбище, какое кому обещано, и сказала:

— Хватит. И не стыдно вам? Вы хоть на Соньку поглядите. Девчонка вся побелела от ваших разговоров!

— Да, да,— расстроилась мать,— давайте уж про другое. Что уж мы...

— Верно,— сказала Суханова.— Выпить надо.

— Вы у меня весь аппетит отбили,— покачала головой Вера, выпив.— И не стыдно вам, тетя Клаш, старухой прикидываться? В сорок-то семь лет!

— Откуда же сразу и сорок семь лет! — возмутилась Суханова.

— Мать говорила, что вы...

— Мать тебе наговорит. Прибавит годов от зависти...
— А сколько вам по паспорту?
— Мало ли сколько по паспорту!
— Я и говорю, что вы женщина не старая,— сказала Вера,— небось у Нины сейчас будете спрашивать, какие фасоны модные, а сами про гробы.
— Одно другому не мешает,— сказала Клавдия Афанасьевна.— Надо иметь здравый взгляд. Это если до пенсионного возраста дотянешь, тогда еще долго будешь жить. Пенсионеры живучие. А наш возраст сомнительный... Насчет фасонов с Ниночкой я, конечно, поговорю...
— Она у нас всегда была франтихой,— улыбнулась Настасья Степановна.
Была и осталась. Это Вера знала. Иногда, глядя на вырядившуюся по случаю Клавдию Афанасьевну, Вера с Ниной прыскали в кулак,— до того, по их понятиям, никольская хлопотунья и сваха одевалась смешно и старомодно. В сердцах, случалось, мать говорила Вере: «Во, нафуфырилась!» С точки зрения Веры и ее ровесниц именно Клавдия Афанасьевна ходила нафуфыренная, да еще и за версту приманивала пчел крепкими дорогими духами. Мать же, напротив, нарядами и прическами приятельницы чуть ли не любовалась и очень одобряла верность Клавдии вкусам и привычкам их послевоенной юности. Не одобряла она того, что Клавдия чересчур молодится и красится, не одобряла она и ветрености приятельницы.
— Нет, мне все не верится, что я дома,— сказала Настасья Степановна.— Теперь можно будет и в деревню написать.
— А ты не писала? — удивилась Тюрина.
— Зачем же писать-то было? — сказала Настасья Степановна.— Только людей волновать. Дуся небось тут же бы приехала. А легко ли ей семью-то оставить? Да и затраты какие! Небось деньги на что-нибудь полезное отложены, а тут их трать... Теперь-то напишу, что все хорошо,— и ладно...
В Тамбовской области, в Рассказовском районе, в родной деревне Настасьи Степановны, жили ее старшие сестры — Евдокия и Анна. Жил там и брат Василий, но после армии он устроился железнодорожным рабочим на станции Мичуринск-2, там и осел, сестры привыкли в августе получать от него посылки с яблоками, хотя своих хватало и на продажу. О деревне, об отцовском доме, который нынче занимала тетя Дуся с мужем и детьми, мать вспоминала чуть ли не каждый день с печалью или радостью, как о некоем рае или уж, во всяком случае, как об идеальном людском общежитии. Все там было вечно, единственно правильно и ей теперь недостижимо. Возвращаться в деревню Настасья Степановна по многим причинам не собиралась, погостить же там давала себе обещания часто.
Мать вечно чувствовала себя виноватой перед сестрами и ровесницами, оставшимися в деревне, и им, и ей казалось, будто она в московском пригороде по сравнению с ними живет легкой жиз-

нью, у молочной реки, на кисельном берегу. А в чем, собственно, можно было ее винить? Семнадцатилетней девчонкой она убежала из деревни, пытаясь попасть на фронт, и попала, окончив курсы связисток. Воевала год, а потом, после ранения, была отправлена в тыл, посчитала, что полезнее всего пойти на оборонный завод, маялась по общежитиям. Только после замужества переехала в Никольское, в свой дом.

В последние годы Настасья Степановна ездила на родину дважды. Четыре зимы назад хоронила мать, умершую от рака на семьдесят втором году, а позапрошлой осенью, узнав из телеграммы, что Анну положили в больницу с инфарктом, взяла отпуск без содержания, собралась за день и уехала.

— И Алексею, в Шкотово, не писала? — спросила Тюрина.

— Нет,— сказала Настасья Степановна.

— Ему-то зачем? — нахмурилась Вера.

Слова Тюриной не зажгли любопытства в глазах Сухановой, и Вера поняла, что тетя Клаша с матерью в больнице уже обсудили, писать или не писать отцу.

— Его кочергой погонять следовало, а ты добра, распустила его. Не по тебе он...

— А по тебе, что ли?

— А чего ж, по мне... Он и сам видел, что я его в руках держать буду, он потому и выбрал из нас двоих тебя.

— Так уж он на тебя и глядел? — сказала Настасья Степановна.

— Глядел! Не только глядел...

— Ох-ох-ох, хвастать ты горазда...

Мать отвечала Клавдии Афанасьевне все еще с улыбкой, но Вера чувствовала, что слова приятельницы ее задели, а может, и обидели. Это поняла и Суханова, неловкость возникла за столом, тогда тетя Клаша положила Настасье Степановне руку на плечо, рассмеялась.

— Ну, шучу, шучу... Какие у меня тогда хахали были!.. Вечно ты все принимаешь всерьез! Ты и тогда серьезная была, а я ветреная. Хотя тоже положительная... А Лешка, конечно, за тобой бегал. Хорош он тогда был, после армии, ничего не скажешь. Красаве́ц...

Клавдия Афанасьевна сказала именно «красаве́ц», а по никольским понятиям слово это, произнесеннное с ударением на последнем слоге, решительно отличалось от обычного «краса́вца». «Краса́вец» — это просто красивый человек, даже смазливый, «или губки на улыбке, или глазком мигнет». А «красаве́ц» — это прежде всего удалой человек, лихой человек, червонный туз, не красота в нем главное, хотя и она есть, его люби, но и остерегайся, он как водоворот, в нем и добрый Вакула, в нем и Ванька-ключник, но женщина слаба, она и обругает-то такого с восхищением перед ним. «Красавцо́м» и глядел с давних фотографий на Веру отец в военной форме, с погонами и без погон, в фуражке, сдвинутой набок, молодой, сильный, рисковый, с лукавыми глазами конокрада.

Тетя Клаша делала вид, что шутит, а ведь, наверное, и вправду была влюблена в отца. Из-за него она, пусть и без надежды, видно, и осела в Никольском. С матерью тетя Клаша познакомилась на курсах связисток, потом фронт их развел, в конце войны с помощью Нюры Тюриной, подруги Сухановой, они списались, а позже, после Победы, тетя Клаша приехала погостить к знакомым, да так и осталась в здешних краях. Мать-то тиха-тиха, а вот именно на ней женился видавший виды разведчик Навашин. Чем она его взяла и как сама не оробела?

— Ниночка, что ж ты так мало ешь? — забеспокоилась Настасья Степановна.— Пироги вот остались, еще теплые.

— Талию, теть Насть, берегу.

— У девки суть в теле,— сказала Суханова,— а не в талии.

— Надька, сбегай за квасом, видишь, кончился... А что же у нас белое вино стоит, мерзнет? Наливайте...

— Это можно...

— За здоровье!..

— Нет, я про Алексея ничего плохого говорить не хочу,— сказала Клавдия Афанасьевна сыто и добродушно,— он хороший, хоть и будорага. Но ему бы всю жизнь Берлин штурмовать, а не в Никольском копаться в грядках...

— Много он копался! — вздохнула Настасья Степановна.

— Да я не про твои грядки. Я вообще... Вот и считали скандалистом. А ведь он просто озорник и фантазер был... Помнишь, как он повез в город клубнику и стал ее продавать в десять раз дешевле, чем все? По два с полтиной на старые деньги. На него как на жулика сначала смотрели, обходили за версту, а потом стали брать... Другие торговцы чуть его не избили!

— Да уж...— улыбнулась Настасья Степановна давнему видению.— Шутка его нам тогда рублями обернулась.

— Это еще при девочке было,— вставила Тюрина.

Девочкой Навашины и их приятели называли старшую Верину сестру Любу. Любе было бы сейчас двадцать два года, но она умерла трехлетней от дифтерита. Хранился в альбоме снимок ее похорон: мать с отцом в черном у гроба, толпа сочувствующих и любопытных перед домом Навашиных, все застыли, глядят в аппарат, губы у ребятишек отвисли, а в гробу, в цветах, Люба, ручки на груди, старше и спокойнее всех. Вера боялась этого снимка, но когда он попадал ей в руки, отчего-то она не могла отвести от него глаз. Имя «Люба» в семье не вспоминали, словно страшась вызвать дух перваенькой, а говорили «девочка».

— Чтой-то, Верк, ты своего ухажера-то не привела? — спросила Клавдия Афанасьевна.

— Вот и я хотела спросить,— сказала мать.

— Да он у меня...— смутилась Вера.

— Он у нее стеснительный,— сказала Нина.

— Ну уж, и стеснительный! — засомневалась Суханова.

— Нет, правда, стеснительный,— сказала Нина,— а от ваших взглядов и словечек, тетя Клаш, он бы весь красный сидел.

— Будто ты меня не знаешь! Я такую дипломатию повести могу!..

— Я его звала,— сказала Вера,— а он постеснялся.

— Вот ведь,— вздохнула Тюрина,— Насть, и дочка у тебя, глядишь, замуж выйдет. Время-то летит...

— Не говори!

— А он у нее складный,— сказала Тюрина,— я его видала. Лицом чистый и в плечах уже как хороший мужичок.

Нина засмеялась, а Вера нахмурилась, но и ей разговор о Сергее был приятен.

— Уж больно он несамостоятельный,— вставила Надька.

— Я тебе сейчас поговорю! — разгорячилась Вера.

Окажись что-нибудь мягкое под рукой, пусть и увесистое, швырнула бы в Надьку.

— Ну и девки пошли! — рассмеялась Суханова.

— Верка над ним как генерал,— не унималась Надька.

— Надька, замолчи! — сказала мать.

— Сейчас она у меня взвоет,— пообещала Вера.

— А чего,— сказала, пригубив рюмку, Клавдия Афанасьевна,— дети детьми, но и мы ведь еще не старухи.

— Вы же на похороны копите,— сказала Нина.

— Мало ли чего... Ты тоже скажешь... Мы бабы в самом соку, и нас еще замуж взять можно, а, Насть?

— Ну, начала, начала! — отмахнулась от приятельницы Настасья Степановна.

— А что? У меня и для тебя, Насть, есть жених, сама знаешь, кто... Одинокий, взносы платит с двухсот рублей, плотничает дома, пьет редко, а выпьет — женщину бить не будет...

— Это ты при живом-то муже,— возмутилась Тюрина,— такие разговоры ведешь!

— Мели, Емеля,— сказала Настасья Степановна,— твоя неделя.

— Живом-то муже! — передразнила Тюрину Клавдия Афанасьевна.— Живом! Он оживет-то, когда помирать будет. Песок из него посыплется, вот он и явится сюда у дочерей и внуков на комбикорм выпрашивать...

— Ну что ты говоришь... ну зачем... при девочках-то,— Настасья Степановна показала на Соню с Надей, глядевших сейчас на Суханову злыми зверьками.

— А пусть слушают! Для их же пользы,— разошлась Клавдия Афанасьевна.— Ты вот признайся, Насть, честно: Лешка бил тебя?

— Нет,— сказала Настасья Степановна тихо,— не бил. Собирался бить, и не раз, да у него не выходило. Пальцы ли в кулак соберет, палку ли схватит, а и у меня в руке окажется утюг или что железное. Спину я ему не показывала, а глаз он моих боялся. Встретится с ними — и пальцы у него разжимаются... Так он мне и говорил: «Глаза твои всю силу мою обламывают. Откуда, говорит, твердость-то в них?..»

— Ну, все равно,— сказала Клавдия Афанасьевна.— Ведь зна-

ешь, что он не вернется. Что вам жить-то теперь без подпоры? А этот человек,— понимаешь, про кого я говорю,— основательный, сберкнижка с одними приходами, огород прекрасно содержит — огурцы собирает вторым после Чистяковых. А у кого ягода босконская лучше всех? Он и девочкам чужим не будет... Я ведь не от себя говорю... Вот бы сосватать-то вас! А, Насть?

— Хватит, тетя Клаша,— сказала Вера сурово.

Клавдия Афанасьевна на мгновение задержала на Вере взгляд, как бы оценивая степень Вериной серьезности, и, все поняв, заулыбалась от души:

— Да шучу, шучу я... Не буду больше, коли не хотите... Что ж мы закисли за столом, а? Насть, тащи еще грибы, если остались, и огурцов малосольных...

Она с удовольствием, за мужика, принялась разливать водку, шутила, обнося графинчиком рюмки соседей, на ходу выловила из миски моченое прошлогоднее яблоко и, похвалив хозяйку, шумно, вкусно принялась его есть, вызвав у Веры секундную зависть. Напряжение, возникшее было за столом, рассеялось, и Вере, успокоившейся тут же, теперь казалось, что тетя Клаша и впрямь шутила, она умела с серьезным видом дурачить людей. Впрочем, часто она делала это не ради розыгрыша, а намеренно, давая себе возможность, оценив обстановку, назвать только что сказанные ею слова либо шуткой, либо трезвым предложением. И сейчас в том, что никольская хлопотунья завела с матерью разговор о сватовстве при людях, и в особенности при дочерях, непременно был умысел.

— Давайте, давайте выпьем! — суетилась Клавдия Афанасьевна.— Настя, не отставай!

— Да что ты... У меня и так уж голова кругом идет... Я две рюмки красного выпью — и то...

— Ничего, после операции полезно. Пей, пей... Вот и хорошо! Гуляем, девки! — громко и с лихостью сказала Суханова. И вдруг затянула:

Когда парень изменяет,
Это не изменушка,
А тогда изменушка,
Когда изменит девушка.

Последние слова ей не удались, пустив петуха, она их доголосила, взяла слишком низко и не выдержала высоких нот, а сорвавшись, рассмеялась, сказала:

— Это отец ваш любил петь. Аккордеон у него был трофейный. Играл он так себе, а петь пел вместе с нами... Я-то вот на голос стала слабая. Заведи-ка ты нам на радиоле ваших битлов...

Вера сразу не нашла восьмую серию «Музыкального калейдоскопа» с битлами и поставила лежавшую под радиолой большую пластинку Ободзинского. Услышала Ободзинского у Нины и купила позавчера на станции. «Вот наконец этот радостный день настал, вечером вместе пойдем мы на карнавал»,— энергично, как бы припрыгивая и пританцовывая где-то там в неизвестности, занел Ободзинский. Прослушали молча одну его песню, потом вто-

рую, потом третью. Тетя Нюра Тюрина зевала, ладошкой прикрывая рот и оглядываясь при этом стыдливо, мать качала головой: «Ну и ну!», а Клавдия Афанасьевна отнеслась к песням про карнавал и про точки после буквы «л» заинтересованно и со вниманием. Но и она сказала после третьей песни: «А чего-нибудь другое заведи...» Тут уж мать обрадовалась, выложила досаду на дочерей, которые изо дня в день мучают ее нынешней музыкой, то у них все гремят, то воют, и мелодии нет, и нескладно, а уж если на французском языке, то и вовсе картавят. «Вот-вот,— поддержала ее Тюрина,— и на телевизоре каждый день выходит какой-нибудь малахольный, держит у рта сопелку на шнуре и воет. Только Зыкина и есть...» Клавдия Афанасьевна высказала иное мнение, она считала, что и теперь поют много хороших песен, ей лично нравятся «Синий лен» и «Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля!». «Эту да, эту можно слушать»,— согласилась Тюрина. Вера с Ниной в спор не вступали, они переглядывались понимающе и улыбались снисходительно: ну-ну, что еще скажете? А старшие женщины и впрямь разошлись, были строги и категоричны, на людях они постеснялись бы говорить такое о сегодняшних пластинках и танцах, а тут их прорвало, в своем кругу они с удовольствием, облегчая себя, выкладывали наболевшее. Ну, и пожалуйста!.. Клавдия Афанасьевна, пошумев, сказала: «Да что это мы осерчали? А давайте сами споем! А?» И, не дожидаясь поддержки, начала: «Дед бабку завернул в тряпку, намочил ее водой, бабка стала молодой!» «Ии-и-е-ех ты!» — закончила она громко и радостно и невидимым платком взмахнула над головой.

Клавдия Афанасьевна была уже хороша, щеки ее стали румяными, глаза смотрели плутовато, на месте она усидеть не могла, а плавала по комнате, все норовила обнять кого-нибудь. «Гуляем, бабки!» Настасья Степановна тоже раскраснелась, была возбуждена, много говорила и смеялась, а движения ее стали суетливыми и непривычно быстрыми. Тюрина же сидела молча, держала в руке пустую рюмку, на нее и глядела, забывшись. Вера и сама охмелела — давно она не пила водки, и ей сейчас, как в прежние дни, хотелось пуститься в разгул. «Ну что петь-то будем? — спросила Клавдия Афанасьевна.— «Ой, цветет калина...», что ли? Или «Белую березу»? Нюрка, Нюрка, ну что ты дремлешь? Очнись! Сейчас я вот про тебя спою... «У меня подружка Нюрка в Серпухов уехала. Там прическу завивает, тута нету этого!..» Насть, помнишь, какую она в Серпухове шестимесячную сделала, когда ухлестывала за Сашкой с мотоциклетом, а?» Клавдия Афанасьевна хохотала, и Настасья Степановна смеялась так, что закашлялась в конце концов, и Нина с усердием стучала ей по спине, а Тюрина отмахивалась от них смущенно: «Да что вы уж... Да зачем вы?..» И Вера с Ниной, да и младшие девочки не удержались от смеха, хотя и не знали толком, на что намекала частушка. И позже то одно, то другое слово в песнях или частушках или какое-нибудь имя, ничего не значащие для молодых, вызывали у старших женщин шумное веселье.

Отсмеявшись, женщины стали наконец петь. Спели «Ой, цветет калина...», «Каким ты был...», «Вот кто-то с горочки спустился...». Пели сначала нестройно, как бы стесняясь друг друга, чуть сдавленными голосами, сокрушались, что нет ни баяна, ни гитары, но потихоньку получалось все лучше и складней. Вера знала, что это непременная распевка, разминка, настройка голосов и песни идут пока не самые важные. Так оно всегда и бывало, но вот-вот должен был наступить момент, когда можно было отважиться и на главную песню. «Опять высоко взяли,— говорила расстроенно Клавдия Афанасьевна.— Давайте снова и чуть ниже. Плохо без мужиков-то, не идет песня...» — «Что ж ты Федора своего не привела?» — «А-а-а! Какой из него певец! Ну, давайте-давайте...» Запели «Там вдали, за рекой...». Вели Клавдия Афанасьевна и Настасья Степановна, обе родились со слухом, пели хорошо, у тети Клаши голос был низкий, почти мужской и сочный, а у матери высокий и заливистый. Тюрина тоже имела голос высокий, но чуть глуховатый, им с матерью помогала старательная и звонкая Соня, а Вера с Ниной вначале скорее и не пели, а подпевали скромно, для поддержки компании. «Ну вот, вроде вышло»,— сказала наконец Суханова.

Тут она помолчала как бы в задумчивости и волнении перед ответственным шагом, вдохнула воздух и предложила: «Ну что, «Лучину», что ли?» — «Лучину»,— кивнули мать и Тюрина. «Ты, Надька, не пищи теперь»,— строго сказала Суханова и взмахнула рукой. И начали: «То-о не ве-е-е-етер ве-е-етку клонит, не-е дубра-а-а-авушка-а шуми-и-ит, то...» Вера знала: как был дом Навашиных, так вечно в нем в застолье пели «Лучину». Пели всерьез, забывая на минуты обо всем на свете, с неизбежным внутренним напряжением, но и как бы облегчая себя, давая выход черной тоске, оставшейся в душе от тяжких дней,— освободить от нее теперь, казалось, только и могла эта песня. И хотя велась «Лучина» от имени несчастливого молодца, и хотя в свое время отец и его приятели пели ее с охотой, песня эта в доме Навашиных всегда считалась женской. Будто бы девичья душа жаловалась в ней на горькую долю. Жаловалась тихо, с достоинством, с гордой силой терпения. Слова же в песне сами по себе вроде бы и не имели значения, они были просто окраской девичьей жалобы, нотными знаками бабьего плача. В настроении или не в настроении была Вера, в голосе или не в голосе, но если начинали «Лучину» всерьез, не петь ее Вера не могла. И сейчас она уже не подпевала старшим, а пела с вдохновением, не стесняясь ни себя, ни других, не задумываясь над тем, хорошо у нее получается или она портит песню,— теперешнее состояние казалось ей естественным, будто бы она всю жизнь именно пела, а не говорила. «Зна-а-а-ать, знать, сули-и-ил мне-е ро-о-ок с моги-и-илой о-о-обвенча-а-аться, мо-о-о-лодцу-у-у...» Низкие ноты Вера пела глухо, с упрямством тихого отчаяния, сжимая кулаки, надавливая руками на стол, порыв высоких нот уносил ее в поднебесье, и сердце ее замирало, как на рисковых качелях. Ни на кого Вера

не смотрела и никого не слышала, ей казалось, что поет она одна или это голоса всех женщин слились в один голос, их голоса стали ее голосом, а она сидела в темной избе и видела перед собой колеблющийся огонек лучины и вовсе не хотела, чтобы догорела она, наоборот, песня ее была заклинанием, она надеялась, что отведет беду; или она сама была теперь лучиной и сама старалась удержать, уберечь в себе свет и жизнь... Тут она почувствовала, что тетя Клаша показала руками: «Тише»,— и песня тут же стала как будто опускаться или удаляться куда-то, чтобы через секунды и вовсе исчезнуть. И все. И тишина. Кончился стон русской бабы. Нет, и не стон. И не вой. Тяжкий вздох. Или сдержанный плач без слез. Но и от него стало легче. И спокойнее.

Вера с Ниной молчали, отходя от песни. Клавдия Афанасьевна довольно говорила: «Ну что ж? Ведь получилось, а? Получилось». А потом принялась спорить с Настасьей Степановной, как надо петь правильно: «сулил мне рок» или «судил». Спор был старый, в деревне матери пели «сулил», а в деревне Клавдии Афанасьевны — «судил». Для того чтобы перевести дух, вспомнили легкий и милый сердцу «Синий платочек», а уж после него, по ритуалу навашинского застолья, обязательно полагались «Златые горы». «Златые горы» тоже считались в доме песней главной, но, в отличие от «Лучины», в ней слова ценились все до последнего. Бывало, отец с матерью или еще с кем-нибудь из женщин побойчее устраивали из «Златых гор» целый спектакль, отец, принимая позы и постреливая глазами, по ходу песни разыгрывал коварного обманщика, а матери или другой женщине приходилось быть доверчивой Марией. И в «Златых горах», как и в «Лучине», история рассказывалась печальная, кое-кто в Никольском и пел «Горы» с грустью, у Навашиных же песня получалась шумная. Не удалая даже, а бесшабашная, озорная радость так и звенела в ней. То, что в конце концов Мария за свои заграничные горести вознаграждалась конем, золотыми уздечкой и хлыстиком, седлом, расшитым жемчугом, рассеивало тревогу певцов за ее судьбу. Стало быть, не пропадет. Да и коварный обманщик был наказан. Все кончалось справедливо, и нечего было грустить. Но и не это было главное. Главное было в отце. Недаром он считался человеком заводным. Если уж оказывался за столом, так в компании непременно стоял дым коромыслом. «Лучину» он милостиво отдавал женщинам, а «Златые горы» были его. Тут он давал волю своей натуре и не только разыгрывал коварного обманщика, но и успевал дирижировать хором, никто у него в песне не печалился и не дремал.

Нынче тетя Клаша вела «Златые горы». Глаза ее горели, она поднялась, чтобы удобнее было дирижировать, теперь она преображалась в коварного обманщика. Тетя Клаша торопила, темп и так был лихой, пели все, растягивая окончания слов, отчего они как бы скользили или летели,— такая удаль и такая широта были в песне, что Вере казалось, будто она всесильна, будто она может обнять сейчас всю землю. Пели все, но при этом тетя Клаша и мать не забывали о своих ролях, и вот, на потеху публике, щеголь-мо-

лодец, подбоченясь, обещал златые горы, и вот он же, заломив руки, играл страдание: «Но он не понял моей муки и дал жестокий мне отказ...» Однако уже и сейчас было видно по плутоватым его глазам, что и му́ки для него никакой нет, и доверять ему нельзя, обманет, стервец, непременно обманет! Мать — то есть Мария — была кротка, отвечала погубителю, потупя очи, а когда тот, показав рукой на дверь, пропел свои коронные слова: «Оставь, Мария, мои стены!» — и вовсе уронила голову на белую скатерть. Так бывало и при отце. Но вот наконец подарен конь, уздечка с хлыстиком, седельце, вот и бывший молодец прибрел с сумой за плечами, и Клавдия Афанасьевна, уже не обманщик, а дирижер, взмахнула руками и вернула певцов к сути песни, к ее началу, и снова взвилось и размахнулось: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина...», и опять Вера ощутила себя всемогущей, и опять удаль и радость захватили ее. «И-и-и-ех, жизнь ты наша, радость ты наша...»

«Славно, славно»,— говорила Клавдия Афанасьевна. «Ну вы, тетя Клаша, с мамой молодцы!» — смеялась Вера. «Это от песни у нас такой кураж, от песни,— оправдывалась Клавдия Афанасьевна.— А ведь у Нинки-то голос есть, от матери, значит, а ведь всегда молчит, негодница! И Сонька не портила... Учись, Соньк, учись, слова запоминай... Сколько людей до нас эти песни пели, нельзя, чтобы вы их забыли...» На «Златых горах» успокоиться не могли, пели еще — «А где мне взять такую песню...», «Офицерский вальс», «Хасбулат удалой» и уж конечно «Накинув плащ, с гитарой под полою...». Мать предложила «Темную ночь», и «Темную ночь» спели. Пели с удовольствием и красиво, однако все это было уже не то,— может, выдохлись, а может, и не надо было больше петь.

— Ну и ладно,— сказала Клавдия Афанасьевна.— Хорошего помаленьку. Да и какое пение без мужиков-то! Лешку бы сюда. Да Верка бы кавалера догадалась привести... Ну уж что ж... А теперь и горло промочить следует.

Она плеснула себе водки не в рюмку, а в стакан, поставленный для кваса, подняла стакан и задумалась. Вера, глядевшая на нее сейчас с любовью, вспомнила вдруг музей, куда ее водили со школьной экскурсией. В музее Вера видела деревянную ложку, расписанную хохломскими мастерами. На ложке была нарисована женщина, тоже со стаканом в руке, а над ней виднелись слова: «Выпить захотелось. И извините». Клавдия Афанасьевна, остывшая на секунду, показалась Вере похожей на ту женщину. В этом ее твердом и лукавом «и извините» была натура бурная и щедрая, уверенная в себе и в своей правоте. Вера хотела рассказать тете Клаше про ложку, но не успела.

— А давайте выпьем за нас,— сказала Клавдия Афанасьевна.— За меня, за Настю, за Нюру... За всех наших баб. Ведь чего мы только не пережили... И все тащили на своем горбу. И колхозы, и фронт, и тыл, и послевоенное... Всю Россию... И ничего тащили, в охотку...

— Ну уж, ты расчувствовалась,— сказала Тюрина.
— Да,— кивнула Настасья Степановна,— занесло тебя.
— А разве не так? — спросила Клавдия Афанасьевна.— Чего скромничать-то? Что было, то было!
— Тетя Клаша правильно говорит,— сказала Нина.— И мы выпьем за вас.
— Ох уж, ох уж! — покачала головой мать.— Эту тетю Клашу хлебом не корми, только дай речь произнести.
Однако ирония матери была шутливой. И она, Настасья Степановна, приняла слова приятельницы всерьез. Выпив, все сидели тихо, даже Надька не егозила, и никто не осмеливался нарушить молчание.
— Ну, что загрустили? — сказала Клавдия Афанасьевна.— Что уж я такого печального наговорила? А?
— Да ничего,— глядя в пол, сказала мать.
— Эх, сейчас бы сплясать,— сказала Клавдия Афанасьевна.— Да не подо что. У вас небось и пластинок-то порядочных нет. Небось одни твисты да буги-буги?
— Раньше были,— сказала мать,— да Лешка их все раздарил.
— Ох уж этот мне Лешка!
— Господи,— вспомнила мать,— у нас же в чулане его мандолина валяется!
— Что ж ты раньше-то думала, голова садовая! Разве б такие у нас были песни!
— Вот ведь из головы напрочь! Соня, Сонечка, сходи, милая, найди...
Извлеченная из чулана мандолина была плоха и ободрана, перламутр на шейке обсыпался, и коричневая краска изошла морщинами.
— Знакомый, знакомый инструмент! — обрадовалась Клавдия Афанасьевна, забасила ласково.— Утиль-то, ну и утиль! Двух струн нет. И медиатор потеряли? Ну конечно. Ну-ка, Надька, принеси от поломанной куклы кусочек пластмассы. Не жадничай. Вот такой. Мы его обрежем.
Однако Клавдия Афанасьевна скоро поняла, что мандолину ей не настроить, хотела уже с досады отправить ее обратно в чулан, на вечную ссылку, но тут подошла Нина и попросила дать ей посмотреть инструмент. «А ты сумеешь?» — с сомнением спросила Клавдия Афанасьевна. «Попробую. Может, что и получится...» — «А-а! — проворчала Клавдия Афанасьевна.— Придется уж плясать всухую... Или разве Нюрка сыграет нам на гребешке... А, Нюрка? Бери гребешок и тонкую бумагу, подуди нам». Вера сидела на диване, смеялась, она видела, что Клавдия Афанасьевна уже раззадорилась и ничто ее не могло остановить или утихомирить, руки и плечи ее уже ходили в нетерпении, и ноги не стояли на месте, а в тишине она, казалось, слышала не доступную более никому музыку плясовой. Тут и Тюрина наладила свою гребенку и, на потеху девочкам, бойко заиграла «Светит месяц...», а Клавдия Афанасьевна, подперев руками гладкую свою талию, шелком затянутую,

боком-боком выскочила на свободное место у двери и пустилась в пляс. «Платок дайте мне, платок! — кричала она и на ходу пальцем грозила Настасье Степановне.— Настька, готовься!»; и вот с платком в руке она уже подскакивала к матери, выманивая ее в круг, а та отказывалась: «Нет, да что ты, да куда я...», а тетя Клаша все звала, мать же смотрела на нее с испугом, краснела, и Вера понимала, что мать не ломается, а и впрямь боится пляски, отвыкла от нее, боится конфуза и даже и среди своих, да куда ей, в ее-то возрасте! Клавдия Афанасьевна рассердилась, встала, сказала Тюриной: «Играй сначала»,— и властно потянула Настасью Степановну за собой, приказала ей: «Танцуй! Тебе говорят!» И опять она начала русского, левую руку в бок, платок запорхал в правой, опять подлетела она к приятельнице с сердитыми глазами, наконец мать не выдержала, решилась, как решаются, досчитав до трех и закрыв глаза, прыгать в ледяную воду, оглянулась на дочерей, ища сочувствия, и пошла, и пошла, и пошла, и поплыла лебедушкой мимо Сухановой с серьезным и чуть кокетливым выражением лица тихой скромницы, знающей себе цену, а Клавдия Афанасьевна возле нее притопывала да прикрикивала, как бы дразня ее и раззадоривая, но и мать не сплоховала, хотя и помнила, что вернулась из больницы; на дробь каблуков Клавдии она, прикусив нижнюю губу, тут же ответила движением рук и плеч. И потом Клавдия Афанасьевна петухом наскакивала на нее, озорничала, выделывала фигуры лихо и с шумом, и мать не терялась в ответах, не меняя при этом маски скромницы. С места почти не сходила из осторожности, не приплясывала, как в прежние годы, но и ее движения были красивы и легки. Однажды не удержалась и дробью, хлесткой и звучной, ответила на дробь Клавдии Афанасьевны. Вера не переставала удивляться матери, давно она ее такой не видела. Тихоня-тихоня — и вдруг разошлась, откуда в ней эта прыть, откуда явились к ней ловкость и умение — она не сделала ни одного неуклюжего или грубого жеста и была хороша собой, годы сбросила да и платье-то эпонжевое уже не висело на ней, будто вчера его и сшили. А женщины не останавливались, гребенку Тюриной поддерживала теперь мандолина, Нина подтянула струны и самодельным медиатором не то чтобы выводила мелодию, а просто обозначала ритм. Но и это было музыкой.

Умаялись наконец плясуньи. Клавдия Афанасьевна вытерла пот платком, отдышалась и сказала: «Ну, теперь давай хороводы».— «Какие еще хороводы? — удивилась мать.— Вдвоем-то хороводы? Да и хватит мне...» — «Поднимай девчонок. И Нюрка теперь у нас свободна — Нина при мандолине». Сказала это Клавдия Афанасьевна властно, не стала бы принимать возражений, и хотя какие тут действительно могли быть хороводы, Тюрина поднялась, и девчонки с радостью подлетели к взрослым. Одна Вера не встала с дивана. «А ну вас к лешему!» Хоровод между столом и дверью Веру веселил, толкались девчонки, мешали матери с Тюриной, и те неуклюже топтались на месте, а Суханова ругала их сердито или делала вид, что сердится. Но вот движение успокои-

лось, женщины и девочки, взявшись за руки, стали плавно кружиться у двери, при этом мать с тетей Клашей напевали что-то вполголоса. Движение убыстрялось, тут Тюрина принялась припрыгивать, да еще и с залихватским оханьем,— в их белгородской деревне выше всего ценилось в танце ритмичное припрыгивание и приплясывание, однако Клавдия Афанасьевна ее тут же приструнила, обозвав негром. Выждав положенное время, тетя Клаша голосом умелой хороводницы, громко и на публику, как торговец книгами в подземном переходе, стала объявлять фигуры: «Заплетаем плетень!», «А-а, теперь завьем, завьем капустку!», «А-а-а теперь ворота!» — и довольные Соня с Надькой прошмыгивали в «ворота» под руками матери и тети Нюры Тюриной и сразу же сами, приподнявшись на цыпочки, ставили «ворота». Понятно, что и «плетень», и «капустка» выходили мелкими, а «ворота» и вовсе были без забора, однако мать и Тюрина команды Сухановой выполняли старательно. «Косой столб!» — объявила Клавдия Афанасьевна, и женщины стали проплывать друг перед другом, чуть касаясь соседок руками, были бы у них платья до пят, и точно они бы плавали, как барышни из «Березки». Мать с Тюриной запели тоненько и ласково: «Сашенька, Машенька, вот какое дело... Сашенька, Машенька, вот какое дело...»; пели они и иные слова, но Вера их не разобрала. Женщины и девчонки, им подражавшие, теперь как будто бы обтекали друг друга, а в голосах их и в движениях была нежность и еще нечто такое, что Веру и умиляло, и печалило... «Сашенька, Машенька, вот какое дело, Сашенька, Машенька...»

«Фу ты! — сказала Тюрина.— Не могу больше. Ты нас замучила, Клавдия».— «Ну вот,— огорчилась Суханова,— сломала, дуреха, хоровод...» Она постояла немного, отражались в ее глазах какие-то соображения, видно, придумывала, что бы еще этакое устроить. «Ладно,— сказала она,— идите ко всем чертям. Я беру мандолину, и пусть нам молодые покажут, на что они годятся». Вера ворчала для виду, Нина отказывалась деликатно и с улыбкой, но обе они понимали, что им не увильнуть. Да и стыдно было бы теперь отказываться. Но Вера точно знала, что русского она не сможет, ладно уж, чем-нибудь потешит женщин. «Расступись, народ,— шумела Клавдия Афанасьевна,— Вера в пляс идет. И Нина за ней...» Нина-то уже плясала, ей что, она и пешком-то ходит так, что заглядишься, будто балерина, тонкая, гибкая, в городе, в танцевальной студии училась не зря, она и присядку исполнит, она и павой проплывет, она и свое придумать может, а мы чем хуже, и мы попробуем, и так, и вот так, и вот этак, получается, а? Получается, конечно, не все чисто, нет-нет, а бедра и ноги пойдут по привычке, как в шейке или французском казачке, но ничего, все равно хорошо, все равно весело, не жалейте, каблуки, пола, как я вас не жалею!.. Ух, жарко! Хватит. Все.

— Ну что ж,— заключила Клавдия Афанасьевна,— барышни-то у нас выросли авантажные!..

И положила мандолину.

Потом Вера сидела одна в тихом блаженстве, руки раскинув по

спинке дивана. Соня выносила посуду на кухню, освобождая стол для чаепития. Нина шумно возилась с Надькой. А старшие женщины, усевшись на стульях у стены, говорили вполголоса о своем. Вера видела, как Клавдия Афанасьевна достала из сумочки колоду карт и, надев очки, с ученым видом принялась раскладывать карты на столе; гадала она матери или Тюриной, а может, решила прояснить далекую жизнь Алексея Навашина. Нина с Надькой тут же подсели к тете Клаше с интересом, а Веру и карты не подняли с места. Ей и тут было хорошо.

Ей вообще было сейчас хорошо. Оттого, что мать выздоровела и удивила, успокоила дочерей своим сегодняшним счастливым вечером. Оттого, что Сергей мог сидеть сейчас рядом с ней, Верой, позови она его днем как следует. Оттого, что сама она снова ощущала себя здоровой, красивой и удачливой женщиной и не прочь была бы постоять, как и утром, перед зеркалом, поглядеть на себя, да лень и гости мешали. Оттого, что в их доме снова плясали и водили хороводы, снова пели «Лучину» и «Златые горы», снова все были сыты праздничными материными пирогами. Да мало ли отчего ей было хорошо. Вера и не разделяла на частности свое теперешнее состояние, она просто благодушествовала — и все. Она верила в то, что жизнь ее будет спокойной и счастливой, пусть она уже не та беспечная девочка, какой была два месяца назад, пусть она и стала взрослой, но и взрослой быть не худо. Утром, на поляне у Поспелихи, ей тоже было хорошо. Она была в мире со всем на свете и, лежа в траве, просто радовалась жизни на земле. Но там ей было хорошо одной. Сейчас же она и представить не могла своей жизни без женщин и девочек, сидевших с ней рядом в комнате. Они были с ней одно, как минутами раньше в печальной и веселой песнях. Она всех любила сейчас и всем желала добра. И ей казалось, что все тоже любят и желают ей добра. И не только эти женщины — мать, тетя Клаша, тетя Нюра Тюрина, Нина, Соня с Надькой,— не только они, а все-все люди на свете, и в Никольском, и в Вознесенской больнице, и в городе, и в электричках, и в Москве, и повсюду, все-все любят ее и желают ей добра. И так будет всегда.

— Нет, карта идет сегодня чужая! — прервал Верины думы громкий от досады голос Клавдии Афанасьевны.— Как только казенная постель, так трефы. Стало быть, и нечего раскладывать...

Вера открыла глаза. Клавдия Афанасьевна, сердитая, серьезная, собирала карты со стола.

— Нет,— сказала она,— три раза разложила для пробы — и все одни черненькие. Так не может быть... Но у меня на этой неделе везения нет. И не будет... Мне в понедельник зверь приснился. С часами на руке...

— Какой зверь? — спросила Нина.

— Большой. С мужика ростом.

— Нет, а породы-то какой?

— Какой породы! — Клавдия Афанасьевна поглядела на Нину как бы с обидой.— Зверь — он и есть зверь. Шерсть короткая. Как

на шубе под этого... под жеребца. Хорошо, что не железный. Мне бабка всегда говорила: «Смерть, она, Клаша, железная...» Много мы над бабкой тогда смеялись, пока до войны не дожили... Да-а... А этот зверь не страшный. К невезению, но мелкому...

— Откуда ты знаешь,— сказала Тюрина,— что он про тебя приснился?

— Все мои сны про меня,— категорично сказала Клавдия Афанасьевна.

— Вот вы, тетя Клаша, общественница, во всем состоите,— сказала Нина с наивностью во взгляде,— а каких-то зверей необыкновенных видите, да еще верите в них, как же так?

Клавдия Афанасьевна ничего Нине не ответила, а просто посмотрела на нее выразительно, она и пожалела Нину молча: «Жизнь-то тебе еще покажет, несмышленой, что к чему»,— одновременно она и как бы погрозила Нине пальцем: «Я тебе язычок-то твой ехидный укорочу!»

— Ну и что, что, Клаш, зверь-то? — спросила Тюрина.

— А что зверь... Ровный весь. Прямой. Подходит. Я глянь — часы у него на руке. Я уже говорила про часы, что ли? Ну да. Позолоченные часы. Хорошие. И тут он меня спрашивает, а сам голову отвернул: «Скажите, пожалуйста, сколько сейчас минут?» Я отвечаю. А сама соображаю, раз лицо отвернул, везти мне не будет. А раз не который час спросил, а про минуты, значит везти не будет по-мелкому... То есть это я потом сообразила, утром...

Она и дальше рассказывала про зверя, причем уже не деловито, не сердясь на него, а скорее мечтательно, словно бы вспоминать о звере ей было теперь приятно, и еще приятнее было мечтать об ином звере. А может, Клавдия Афанасьевна и шутила сейчас, дурачила приятельниц, вряд ли она верила всерьез в сны и зверя с короткой шерстью, как на шубе под жеребца. Хотя, впрочем, наверное, краешком души она и верила и в сны, и в зверя. Нина приправляла по-прежнему ее рассказ лукавыми словами, однако слова эти Клавдию Афанасьевну не злили. Вере тоже захотелось позубоскалить над тетей Клашей, но она находилась теперь в таком состоянии душевного покоя, что и звука произнести не смогла. А Клавдия Афанасьевна опять порадовалась, что вопрос зверя был не к болезни, и тут же вспомнила о болезни Настасьи Степановны.

— Да, Настенька бедная, натерпелась ты там,— говорила Клавдия Афанасьевна.— Но и мы напереживались за тебя. Я и Нюрка сами не свои были. Скажи, Нюрк, а? Старые подруги — они верные. Это дети еще неизвестно кто. Дочки-то твои, поди, по тебе и не беспокоились?

Тут Клавдия Афанасьевна подмигнула Вере и младшим девочкам: мол, давайте покажите матери, как вы ее любите и как тяжко вам было без нее. Соня с Надькой приняли ее укор всерьез, зашумели, обиженные, бросились к матери, стали обнимать ее, а Вера не сдвинулась с места, только улыбнулась. Она вспомнила, как стояла в городе у реки и какие слова шептала в отчаянии и надежде, ей захотелось рассказать матери о тех горьких и высоких ми-

нутах, но сразу же Вера поняла, что теперь, в благополучные дни, она не только никому не расскажет о них, но и сама постарается забыть о них, как о чем-то стыдном и несуразном. Клавдия Афанасьевна все еще поддразнивала сестер, а Вера смотрела на нее мирно и великодушно, сладостная дремота — от вина, от пирогов, от нынешнего спокойствия — забирала ее, закрывала ей глаза. И вдруг, потом — через двадцать минут или через полчаса — что-то словно кольнуло ее, и она вздрогнула, подалась вперед, скинула руки со спинки дивана.

— Что-что? — спросила Вера.

— Да я говорю,— продолжала мать,— как мы с тобой в милицию в первый раз неудачно сходили, я сразу почувствовала, что толку из нашего дела не будет. Ну и бог с ним...

— С чего ты вдруг о милиции?

— Да вот Клавдия тут рассказывает...— Мать неуверенно покосилась в сторону приятельницы.

— Не хотела я сегодня говорить, настроение портить,— сказала Клавдия Афанасьевна,— да вот проболталась.

— Ну и что? — нахмурилась Вера.

— Соня, Надя, идите на кухню,— сказала мать.

— Что, что! — сказала Суханова.— А вот что. Болтать о тебе стали. Некоторые. После того как следователь решил прекратить дело. Будто ты во всем виноватая, оттого, мол, и решил прекратить.

— Ну и пусть болтают! Я-то знаю правду.

— Дело твое,— сказала Клавдия Афанасьевна, затихая.— А вот если бы тогда деньги приняла, не болтали бы. И тебе с матерью польза была бы. Нескладно все получилось... Ты хоть точно знаешь, что дело прекратили? Или только собираются прекратить?

— Не знаю,— нервно сказала Вера.— Должны были прекратить... Не нужно мне никакого дела. Я его сама для себя прекратила, и все.

— А вот я от кого-то слышала, что и не прекратили, а будет вроде доследование.

— Какое еще доследование?

— Поеду на днях в город, зайду в прокуратуру, все узнаю.

— Да зачем доследование! Не нужно мне ни следствия, ни суда! Для меня, поймите, для меня — дело конченое! И все! — махнула рукой Вера.— Может, чай наконец пить будем?

За чаем веселье вернулось в дом Навашиных. Снова шумели, шутили за столом, Вера теперь хозяйничала, суетилась, подносила чашки и стаканы, наполняла розетки прошлогодними вареньями, обхаживала гостий, бессовестную Надьку, напавшую на общие лакомства, осадила вежливыми словами, смеялась с Ниной, и та, встревожившаяся было за подругу, успокоилась. А на душе у Веры было скверно. И на ум являлось одно: «Вот оно... Вот оно... Началось...» И отчего-то печальное лицо девочки, занявшей в больнице материну кровать, стояло перед глазами.

24

В четверг Вера выходила на работу после обеда. Сергей имел отгул, и Вера попросила Сергея проводить ее в Вознесенское.

День выдался солнечный, тихий и прохладный. Было в нем нечто спокойное, осеннее, обещающее зимний сон, будто бы день этот, перепутав календарь, попал в зеленые подмосковные места из бабьего лета. Впрочем, стоял уже август. Случись такой день в начале июня, он бы не вызвал печали — эко сколько жарких недель впереди,— а теперь было в нем и нечто грустное. И запахи земли, и листьев, и черных, отмерших ветвей, сбитых ветром, и даже запахи леса, садов и полей казались как будто бы уже и не летними, свежесть воздуха заставляла думать о заморозках и о том, что росы скоро обернутся инеем, а чуть белесое небо предупреждало с горечью: «Лето-то, братцы, кончается». Ну да ладно, рано было еще печалиться, вот подуют южные ветры, погонят холодный воздух к студеным морям, вернутся напоследок тепло и лето.

Сошли с электрички на станции Столбовой. Летом в пятницу и в выходные дни здесь на платформах случались столпотворения, бег с препятствиями — через шпалы, через рельсы, через лужи к автобусным остановкам, а у дверей машин крики, обиды, толчея. Отчего станция и была прозвана местными уравновешенными наблюдателями Спортивной. Подойдет электричка, постоит, тронется дальше, а на платформе оставит народу как на московском вокзале. Деятельных и громких грибников с корзинками и рюкзаками, в выгоревших штормовках и сапогах, мучеников дачников с пудовыми сумками и сетками, озабоченных посетителей больниц с гостинцами для печальных родственников. А уж автобусы увезут народ в зеленые дачные сады с коллективным уставом, в большие соседние села — Любучаны, Мещерское, Троицкое, Добрыниху, Вознесенское, увезут, растрясут на лихих поворотах. Вера заранее пошла к выходу из вагона, и хотя на станции было тихо, по привычке она не стала обходить платформу, а на всякий случай спрыгнула с нее на полотно дороги и, позвав Сергея, бросилась напрямик к автобусам. «Место тут берут с боем!» — объяснила она Сергею на бегу. Однако автобус был пустой и боя не случилось.

Двенадцать километров до места с остановками проехали минут за двадцать. «Ну вот. И от Столбовой до Москвы час десять — час двадцать»,— прояснила Вера для Сергея положение села Вознесенского и ее больницы. «Да»,— кивнул Сергей. И по дороге она то и дело указывала ему пальцем на что-либо примечательное с ее точки зрения: «Смотри, смотри!» — и он, как бы подтверждая, что видит это примечательное, говорил: «Да»,— и кивал. Как это обычно и бывает, Вера, стараясь быть для Сергея экскурсоводом по здешним местам, и сама поневоле смотрела на них так, словно ехала от Столбовой к больнице впервые. Она то и дело косилась на Сергея, опасаясь, что ему дорога покажется скучной, самой же ей окрестная местность сегодня определенно нравилась. «Смотри, стадо-то какое. Два пастуха на лошадях и жеребенок с ними, вон...»;

«Смотри, смотри, три крохотных прудика, в них ребятишки купаются вместе с утками, прохладно, а купаются...»; «А вот Сады московские, и с той, и с этой стороны шоссе, за заборами, видишь, домики какие аккуратные, крашенные все по-разному. Люди тут городские, отдыхающие. Огурцы и помидоры возят из Москвы, картошку и вовсе не сажают, разводят всякие диковины. Цветов у них видимо-невидимо. Лопухи какие-то южные, особые, держат для красоты...»

За Садами грибные березовые рощи отступили от дороги, и места пошли совсем красивые и просторные. К востоку уходила неширокая долина реки Рожайки, речушки самой не было видно, лишь изгибы кустарников и верб километрах в двух от дороги выдавали ее. У Никольского земля была ровная, точно степь, здесь же края долины пологими увалами поднимались к верхним террасам, пестрые поля черными, желтыми, зелеными, рыжими лоскутами деревенского одеяла покрывали ее вблизи Садов, увалы находили на увалы, толпились живописно, а дальше долина становилась все у́же и у́же, ее сжимали леса, синие у окоема, сводили ее на нет, но все равно из окна автобуса казалось, что впереди все видно на двадцать километров, до самой Павелецкой дороги. От распахнутости, открытости здешней земли, будто бы впервые увиденной Верой, на душе у нее стало вольнее и беспокойнее. «Хорошо здесь»,— шепнула она Сергею. «Да,— кивнул Сергей,— красивые места.— Потом он добавил: — И простор. Не то что вдоль железной дороги. Там и природы-то нет. Дом за дом цепляется...»

Места вдоль дороги он одобрил не из вежливости, а искренне, Вера это почувствовала. Но одобрил вяло и рассеянно. Вера покосилась на Сергея. «Чтой-то он? — подумала она.— Может, уставший после вчерашней работы? Или его так расстроил утренний разговор?»

Утром Вера рассказала Сергею о никольских пересудах. Она говорила ему, что все это пустяки, ерунда, но пусть он обо всем знает. И сама она хотела считать уличную болтовню пустяком, да так оно не выходило. От матери, Нины, сестер и Клавдии Афанасьевны она узнала, кто и как высказывался о ней. Больше сплетничали по незнанию и без всякой злобы. Но родственники Колокольникова теперь старались обелить Васеньку и шепотом, с оглядкой пускали о ней, Вере, в ход крепкие и злые слова. И Чистяковы, видно, не прочь были поправить семейную репутацию. Однажды Клавдия Афанасьевна явилась к Навашиным взволнованная, победная, рассказывала шумно, как она при народе отчитала бабку Творожиху за сплетню о Вере. Вера смеялась вместе с ней, обещала: «Ужо я этой бабке устрою!» — и все упрашивала себя не обращать на болтовню внимания, а приехала в больницу на дежурство, зашла в пустую докторскую, села на стул и расплакалась. Тут появилась Тамара Федоровна, успокоила ее, сумела обо всем развыспросить и сказала под конец: «Надо мне с твоей матерью поговорить. Продали бы вы в Никольском дом, а у нас купили б новый. Ведь тебе здесь работать и работать».— «А-а,— махнула

рукой Вера.— Как же это мы переедем все?..» — «Для девочек здесь школа есть, а мать найдет работу при больнице».— «Нет,— покачала головой Вера.— Что же мне бежать-то...»

Однако сегодня она попросила Сергея съездить с ней в Вознесенское.

Автобус остановился под липами, высокими, парковыми, недалеко от ворот больницы. А вокруг словно и был парк — огромные вековые дубы и липы росли вольно, в густой, немятой траве бежали тропинки к жилью и магазинам. «Видишь,— сказала Вера,— забор нам поставили новый, старый был как крепостная стена». Но и новый забор метра в четыре высотой из гладких, без единой щербинки, бетонных плит и свежих кирпичных столбов был внушителен — попробуй перелезь. Вера провела Сергея в главный больничный двор и объяснила, какие корпуса стоят вокруг. И здесь росли старые липы, цветы пестрели на клумбах, двор был чистый, все соринки, казалось, метла поутру убрала с асфальта. На красном четырехэтажном корпусе Сергей увидел большую доску с фотографиями и крупными словами поверху: «Лучшие люди больницы». В иной день он бы непременно поинтересовался, что же это за люди такие — лучшие больные или лучшие врачи? Но сейчас он сказал серьезно: «Хороший двор, ухоженный».— «Еще бы не ухоженный! — обрадовалась Вера.— Ты бы поглядел, как у нас внутри чисто. Это только корпуса здесь старые, дореволюционные, но они крепкие, хорошие, а все оборудование у нас новое. Тамара Федоровна говорит — на европейском уровне».

Она бы и больничными корпусами поводила Сергея с удовольствием, да неловко было. У нее еще оставался час времени, и она предложила Сергею погулять по Вознесенскому. Вознесенское числилось деревней, но походило на поселок. Прошли мимо почты, потом мимо церкви, поставленной на высоком месте, с березами на железной крыше («Тамара Федоровна говорила — ей почти триста лет, года три назад в ней была библиотека, теперь отдали под квартиры»), потом посмотрели на двухэтажные солидные дома дореволюционной постройки, за ними увидели два здания повыше, со стеклами во всю стену и выложенными под крышей красным кирпичом цифрами «1931». «А вон Черемушки,— показала Вера.— Там от больницы дают квартиры». Действительно, впереди виднелись шесть или семь одинаковых домов в пять этажей, а чуть дальше над пустым пока местом стояли два крана. Побывали и в магазинах, посмотрели, какие продукты есть и каких нет, в «Промтоварах» Сергей поинтересовался, не продают ли, случаем, резиновые сапоги тридцать восьмого размера, но не литые,— мать просила. Выпили квасу у керосиновой лавки с замком на двери и пошли бродить по тихим травяным улицам Вознесенского. Гуси спали в пыли, кусты золотых шаров толпились у заборов. Улицы были тенистые, горбатые, спускались с холма к дороге на Столбовую и к пруду, от пруда тянуло сыростью. Дома на улицах стояли обыкновенные, подмосковные, полуизбы-полудачи, именно такие, в каких и жили Навашины и Ржевцевы. Вера шла и все поглядывала на

Сергея не без волнения: ей очень хотелось, чтобы Вознесенское и больница понравились ему. А он молчал. Наконец она не выдержала и спросила: «Ну как тебе Вознесенское?» — «Мне здесь нравится»,— сказал Сергей не сразу.

В столовую возле больничных ворот не пошли, были сыты, присели отдохнуть в сквере на скамейку у гипсовой вазы.

— Нет, жить тут можно,— сказала Вера. Сказала так, словно бы она рассматривала кофту, только что купленную, и теперь успокаивала себя и отвергала сомнения: «Нет, носить ее можно...» — Двадцать минут на автобусе — и, пожалуйста, езжай на электричке куда хочешь: в Никольское, к тебе в Щербинку или в Москву, за продуктами, за вещами, а то и просто так, может, в театр или на футбол. Потом смотри — повсюду санитарки имеют шестьдесят рублей, а у нас надбавка за специфику, мне платят восемьдесят. Сестрам, понятно, больше. А я через год кончу училище. Потом всякие дежурства — ночные, вне очереди, подмены, в общем, сто-то рублей в месяц натяну. Я добросовестная... А врачи у нас вообще получают прилично... Тут, я тебе скажу, хорошие врачи. Их в Москве знают, они там делают доклады... У нас много кандидатов... Ты что думаешь, я вечно, что ли, нянечкой буду? Вот Тамара Федоровна говорит, что заставит меня учиться... А что, ведь можно будет, если поступлю, утром ездить в Москву, в институт, а вечером прирабатывать? А? Нет, конечно, это не сразу, а когда у нас все сложится... Потом поработаю, подготовлюсь. Я ведь совсем необразованная. И книжек-то мало читала...

Вера вздохнула и замолчала. Взглянула на Сергея: не вызвали ли ее слова усмешки? Нет, не вызвали. Тамара Федоровна, верно, советовала ей учиться дальше, говорила, что у нее очевидные способности и кому-кому, как не ей, Вере, лечить людей. «Да ну что вы! Да куда мне!» — смеялась обычно Вера. Однако нет-нет, а приходило ей на ум искушение: а вдруг? Чем черт не шутит! И теперь она высказала тайное. Высказала и ждала от Сергея поддержки. А он, к ее досаде, молчал. И тут Вера смутилась собственной фантазии, заговорила быстро:

— Потом, смотри, санитарка, ну, и сестра — день в больнице, два гуляет. И отпуск у меня будет два месяца. Сколько можно еще приработать. И у себя на огороде, и особенно в Садах. В Садах все люди старые, пенсионные, москвичи, после инфарктов и инсультов, работать им нельзя, а деньги у них есть. Вот вознесенские ходят в Сады, носят молоко — у кого коровы, стирают, вскапывают огороды, опрыскивают. Все приработок. У нас в отделении нянечка Валентина Михайловна, так она в месяц приносит из Садов обязательно рублей сорок — пятьдесят. Кому переклеит обои, кому покрасит дачу, кому навозу натаскает ведрами... Там ведь бабки-то садовские пастуху дают на поллитру в день, чтобы он стадо вдоль их заборов погонял да удобрений побольше оставил... И я найду дело в Садах. Вот, глядишь, и наберется у меня рублей сто пятьдесят в месяц. Не мало ведь, скажи?.. А и еще смогу шить и вязать...

Тут Вера спохватилась: будущую жизнь в Вознесенском она примеривала лишь на самое себя, а рядом сидел Сергей.

— А вознесенским мужикам, я тебе скажу, с этими Садами вовсе раздолье. Вот мы у пруда шли, я тебе показала дом. Там живет наш санитар Егор Трофимович. Этот Егор Трофимович в неделю обязательно два-три дня проводит в Садах. Плотничает, крылечки из керамических плиток кладет, да мало ли еще что... Корову держит специально для садовских. В прошлом году, правда, он в отпуск нанимался пастухом, хозяева по триста рублей в месяц собирали ему — пастуха не найдешь... А так он все время в Садах... И не гробится... Часа по три, по четыре в день... И денег у него, говорят, видимо-невидимо на книжке...

Вере показалось, что Сергей то ли усмехнулся, то ли поморщился.

— Я ведь это к чему,— сказала Вера.— Вот ты машину мечтаешь купить. «Жигули». Так ведь и здесь есть где заработать. И надрываться особо не надо. Ты даже не копай, не плотничай, ты придешь в Сады электриком — еще лучше... Егор Трофимович рассказывает: его приятель приладит пару штепселей — ему три рубля. Да нет, теперь четыре! Егор Трофимович говорит: наша валютная единица — стоимость поллитры. Раньше, говорит, вся оплата делилась на три рубля, а теперь делится на четыре. Пьющий ты или не пьющий... А дом в Вознесенском можно купить. Сюда ведь многие понаехали из деревень в тридцатые годы и после войны, а теперь им родственники пишут, что и у них жизнь пошла сытая, вот какие и уезжают...

— Так что, может, и мне в пастухи наняться? — спросил Сергей.

— Ты не сердись... Зачем тебе сразу и в пастухи? Тут есть большое энергохозяйство... Или можешь ездить на свою работу. На автобусе и на электричке. Ты ведь из Щербинки сейчас тратишь время на дорогу... И вообще я все это просто так... Я и сама сюда, может быть, не собираюсь переезжать. Я так... что деньги... Я ведь и вправду смогу здесь стать врачом...

Вера опять смутилась и заговорила о мелочах:

— Тут вон мороженое продают в центре, а в Никольском только на станции. По вечерам бывают танцы, а когда кино... Клуб неплохой в главном корпусе... А для тебя за больницей стадион. Хочешь — футбольная команда есть. Играет на первенство района. «Спартак». В ней могут не только медики. Сейчас один наш больной играет в нападении...

— И хорошо играет? — оживился Сергей.

— Хорошо. Голы забивает.

— Наверное, он считает, что он Пеле, оттого и голы забивает?

— Ты над нашими больными не смейся,— сердито сказала Вера.— Они больные как больные. Они, может быть, больше других заботы стоят.

— А я и не смеюсь... Только что ты меня манишь энергохозяйством? Ты же знаешь, что в ноябре меня могут взять в армию.

Я ведь и так имел год отсрочки. А там я наверняка еще какую-нибудь специальность получу... стоящую... И расписаться я с тобой могу только через год с месяцами. К кому я сюда перееду?

— Никуда я никого не маню,— сказала Вера, надувшись.

Она сидела обиженная и расстроенная. Впрочем, она ругала и самое себя. Было отчего рассердиться и самому мирному человеку. Себя-то она, в конце концов, могла уговорить сбежать в Вознесенское, а Сергею какая охота перебираться на вечное жительство в эту подмосковную глухомань, где у него не будет ни родных, ни друзей, ни хорошей работы, одна она, Вера Навашина, но ведь и она одна надоест. «Господи,— подумала Вера,— мы ведь с ним совсем чужие люди. Какое ж мы с ним сейчас одно целое? Я сама по себе, он сам по себе. И так будет всю жизнь. Считанные часы наберутся у нас, когда мы были и будем как одно целое... И разве я имею право просить его о жертве ради меня? Ведь у него свои интересы и свои привычки, своя жизнь, а этим переездом он все сомнет, все нарушит, все подчинит моей жизни...» Она вспомнила, как они с Сергеем, счастливые, бродили по городу в день операции матери, каким сладостным было их нетерпение и как они были одно. Медовая пора их не кончилась, хотя в отношениях и появилось нечто неприятное, связанное со здравым смыслом и мелкими житейскими соображениями. Сегодня, когда они бродили по пустым окраинным улицам, Сергей то и дело гладил ее руки, ее шею и ее волосы, и ей было хорошо, но теперь, на скамейке у гипсовой вазы, он казался ей совсем чужим человеком, словно она увидела его впервые, и сейчас он мог уйти, больше ей никогда не встретиться, и от этого ничего бы не изменилось.

И Сергею было не по себе. Пока они ехали в Вознесенское, он надеялся, что утренний разговор с Верой забудется, а злую болтовню они как-нибудь перетерпят. Он уже и совсем успокоился, но тут Вера начала хвалить вознесенскую жизнь, и тогда он понял, зачем она его позвала. Каждое Верино слово вызывало в нем теперь протест. «Нет, извините! — раздраженно говорил про себя Сергей.— На кой черт мне это Вознесенское? Хочешь — живи здесь, а мне-то оно зачем?» Другой бы на его месте, погорячей, тут же бы взорвался и наговорил Вере много шумных и обидных слов, а Сергей смолчал. Он был из тех людей, у кого волнения перегорают внутри. Потому он и считался человеком спокойным, с ровным нравом. Поначалу он даже и не пытался вникнуть в смысл Вериных доводов, просто он был возмущен ее предложением и тем, каким образом она его сделала. Сергею казалось обидным то, что Вера за него пыталась решить его будущее. Он собирался поступить после армии в техникум, но в какой именно, пока не знал,— скорее всего в энергетический, за два года он кое-что понял и полюбил в электрическом деле. Не то чтобы он определил для себя высокую цель, о которой ему не раз говорили в школе, просто он не хотел повторять отца — после фронта четверть века электриком в одном и том же цехе, четверть века в одной и той же Щербинке. Сергей в свои восемнадцать с половиной лет полагал, что

такая жизнь скучна, да и пользы от нее мало и себе и людям, и был уверен, что у него в будущем все пойдет иначе, интереснее и ярче. Но как это получится, он пока не знал. Он считал, что многое прояснится в армии, на которую давно кивали старшие: «Вот в армии тебе покажут...», «Вот в армии тебя научат...»; он освобождал себя на два года от необходимости важных решений, надеясь на то, что в армии действительно ему нечто покажут и чему-то главному научат. А тут Вера одним махом могла зачеркнуть все его жизненные соображения и посадить на цепочку у большой семейной конуры. Да еще и в селе Вознесенском. «Ну нет,— говорил он себе,— ну уж дудки! Тут и в шахматы-то ни с кем не сыграешь. Если только с сумасшедшими. Не поедет же Витька Чичерин вечером ко мне на партию... Она, видите ли, будет врачом, а я кем? Санитаром? Горшки выносить?» Сергей горячился, ворчал про себя, но потихоньку он успокаивался, теперь он уже понимал, что хотя сегодня он ни в чем и не уступит Вере, потом, погодя, не сразу, а через неделю, через месяц, он отойдет, привыкнет к новому повороту в своей жизни и сделает все именно так, как решила Вера. Но и это соображение, естественно, сердило его сейчас.

Последние месяцы вышли для Сергея трудными. Он и раньше никогда не относился к жизни с легкостью, нравы в их большой рабочей семье были строгими, в ней не терпели бездельников и себялюбов. И Сергей вырос работящим, и для него естественным было сознание, что он не один живет на свете, что люди вокруг ничем не хуже его и что они нуждаются в его помощи и его любви. Потому он и умел тянуть воз, как бы этот воз ни нагрузили. Так было и на работе, и в семье, и на футбольном поле. И получалось естественно и просто, что именно он становился старшим и в бригаде и в команде. А начальство районного Сельхозстроя знало, что этот крепкий светловолосый бригадир, серьезный не по годам, исполнит любое дело безотказно и наилучшим образом. Девчонкам он нравился, хотя и был к ним холоден,— инстинктивно они чувствовали в нем человека, на которого в жизни можно положиться. Они и считали его положительным и самостоятельным. Но прежде жизнь его складывалась благополучной и ровной, крутых поворотов в ней не было. Все шло само собой. Как вода в школьном учебнике переливалась без затей из одного бассейна в другой. И вдруг — несчастье с Верой. Тут и попал Сергей в непривычное для себя положение. А действовать надо было...

Родные — мать, сестра, старшие братья и в особенности отец,— зная и догадываясь о его связи с Верой, не осуждали его и не укоряли ничем, полагая, что Сергей не наделает глупостей. Лишь иногда мать говорила: «Ты смотри, рот-то не разевай. И не торопись. Ведь ты мирный, как теленок, а она девка бедовая». После того, как он рассказал о Вериной беде, между ними и матерью с сестрой возникло некое напряжение. Они смотрели на него вздыхая и с сочувствием, словно он хотел по дурости надеть хомут не по себе. Или собирался привести в дом, где ценились крепкие, здоровые руки, жену немощную, калелую. Жена эта и ему и всем была

бы в тягость. Иногда мать, то ли оттого, что плохо знала Веру, то ли из-за материнской ревности к ней, ворчала обидно. Однажды, увидев Сергея у зеркала, она сказала сердито: «Ну беги, беги к своей! Она тебе шепнет, а ты уж и беги. Она тобой повертит. Стал тряпка тряпкой!» Сергей промолчал, стерпел. Он понимал — мать не изменишь, и нечего шуметь, пройдет время, она привыкнет к мысли о Вере и успокоится. А когда он женится на Вере, то мать станет жить с ней мирно и в ладу, и если пойдут внуки, будет нянчить их с усердием и любовью. Кого-кого, а мать он знал. Тряпкой он не был. Просто был совестливым и терпеливым. В столкновениях с матерью или с Верой он ощущал себя не на равных с ними. «Зачем мне тебя обижать,— говорил он Вере, смеясь,— мы же с тобой в разных весовых категориях». Мать была женщиной немолодой и хворой. Вера понатерпелась и понервничала в последние месяцы, а он считал себя здоровым и удачливым и жалел их. Перед Верой он чувствовал себя и виноватым,— будь он рядом с ней, разве случилась бы с ней беда? И не по-мужски было бы не уступать им. Сергей не знал, что он еще услышит от матери и от родных, не знал, какие слова ему еще придется терпеть, он знал одно — без Веры жить он не может. Все пока благополучно кончалось в его жизни. И теперь он надеялся, что все обойдется. Устроится как-нибудь и само собой. И Верино несчастье забудется. И утихнут, умрут, как звуки в приемнике с севшими батареями, никольские пересуды.

Этими мыслями он успокаивал себя и раньше. Как-нибудь и само собой все образуется и повернет к лучшему. И не стоит нервничать. И сейчас, сидя с Верой на скамейке, он уговаривал себя не раздражаться. Может быть, жизнь в Вознесенском и не окажется страшной. По расписанию автобусы уходят отсюда через каждые пятнадцать минут. И ладно. Теперь он уже вспоминал Верины слова и находил, что и в Вознесенском есть свои прелести. Вера не просчитается. И сам он вырос в хозяйственной семье, однако понимал, что Вера практичнее его и толковее смыслит в мелочах. Он находил теперь, что возможность прирабатывать в Садах на «Жигули» славная и пренебрегать ею не следует. Он уже хотел было сказать Вере: «Можно и переехать, если хочешь»,— но что-то его удержало. Успокоить он себя успокоил, но настроение у него все равно оставалось поганое. Да, думал он, тот счастливый день, когда они с Верой, стосковавшись друг по другу, бродили по городу, может быть, и не повторится никогда, а если и будет в их с Верой жизни хорошее, то не меньше им выпадет и скучного и плохого, вроде сегодняшнего путешествия. Ему представились будущие недоразумения, обиды, шумные разговоры, какие случались у его отца с матерью. Зачем это ему? Не слишком ли рано все это для него начинается? Может, взять все и прекратить?.. От этой мысли он сам себе стал неприятен. И Вера стала ему неприятна.

— Ну, мне нужно идти,— холодно сказала Вера.

— Пошли,— встал Сергей.

Шли молча, Вера ждала от Сергея хоть каких-нибудь слов, а

он ничего не говорил: «Не будь того проклятого дня,— с горечью думала Вера,— и нынешнего бы дурного дня не было. И ведь бежать-то из Никольского собираюсь я, а не они. Вот ведь как получается...»

У ворот больницы остановились. Постояли, не глядя друг на друга. Потом Сергей вспомнил зачем-то:

— Знаешь, а ведь это Нина мне сказала, в какой день твоей матери будут делать операцию. Нашла меня и сказала...

— У тебя что-нибудь было с ней?

— Ничего не было. Так, симпатия... Она ведь хорошая девушка...

— Еще бы не хорошая...

Сергею стало жалко Веру, ему захотелось напоследок успокоить ее, найти слова примирения и пошутить хотя бы, а он взял и сказал:

— А почему Вознесенское? Может, куда подальше уехать? Ведь никольские бабы ездят и сюда.

— Это мое дело,— сказала Вера резко.

— Ну, смотри,— сказал Сергей и ткнул ногой камешек.

Они даже руки не подали друг другу на прощанье. Разошлись — и все. В воротах Вера не выдержала и обернулась, увидела, как Сергей, понурый, скучный, бредет под липами, гонит как бы нехотя камешек по рыжей тропинке. «А ведь и вправду,— с тоской подумала Вера,— сейчас он мне совсем чужой. Вдруг на самом деле он уйдет так, и я его никогда не увижу больше и в жизни моей от этого ничего не изменится?»

25

Клавдия Афанасьевна Суханова, как и обещала Вере, через несколько дней съездила в город и попала на прием к районному прокурору. Когда прокурор спросил ее, чьи интересы она представляет, Клавдия Афанасьевна объяснила, что представляет интересы общественности поселка Никольского. Общественность эта живет в неведении, прекращено ли дело Навашиной или нет, и если прекращено, то почему. А то пошли про Навашину всякие обидные разговоры.

Прокурор некоторое время молчал, и Клавдия Афанасьевна, не выдержав его молчания, сказала:

— Может, то, что я одна к вам пришла,— это не солидно? Так я вам целую делегацию приведу.

— Нет, достаточно солидно,— улыбнулся прокурор.— Видите ли, вы, наверное, сами имеете представление о таком понятии, как тайна следствия. Поэтому я могу сообщить вам только о сути дела. Следствие не прекращено. Областная прокуратура разрешила продлить срок расследования. Дело будет вести теперь другой следователь. Вот пока и все.

— А старого-то следователя погнали, что ли? — удивилась Суханова.

— Виктор Сергеевич Шаталов — работник опытный и толковый, однако сейчас обстоятельства сложились так, что следствие будет вести Десницын. И потом...

— Ага,— кивнула Суханова.— Я понимаю, тайна следствия...

Потом она добавила:

— Но учтите: это дело в поселке всех волнует.

В Никольское Клавдия Афанасьевна вернулась возбужденная, еще в электричке успела рассказать знакомым, что дело Навашиной и парней вовсе не закрыто, а будет назначено доследование. Она и сама еще не понимала, радоваться ей этой новости или огорчаться, Клавдии Афанасьевне просто не терпелось сообщить о ней всем, кому только можно. Быстро прибежала она к Навашиным, чуть ли не закричала с порога:

— Доследование, Верка, будет, доследование!

Вера услышала от нее о разговоре с прокурором и расстроилась.

— Да зачем мне это доследование!

— Ну а что же делать-то?

— Зачем оно теперь! Я ведь им простила... Сама простила... Господи, опять все снова! Вопросы эти, хождения... Опять! Зачем оно мне!

26

Прошел август, так и не одарив грибами.

И ведь случались дожди, земля стала помягче, однако неожиданно холодные ночи помешали грибу. Навашины закрыли всего восемь банок маринованных белых, а шляпок насушили лишь четыреста граммов. Разве ж это добыча! Оставалось ждать милостей сентября, грузди и подрябиновки обязательно должны были появиться. Не было года, чтобы их не солили с запасом.

Вера за грибами ходила мало, времени не было. Начались занятия в училище, хорошо хоть училище было в соседях с больницей. Вера со страхом думала о встрече со своими девочками, ехала первого сентября в Столбовую как на казнь, нервная, пуганая, пальцы у нее дрожали, однако все обошлось. Будто бы никто и не знал о ее каникулах. И полетели училищные дни. Посылали на картошку,— удивительно, что всего на три дня. Ездили в районный город на осеннюю спартакиаду. Вера из сырого круга толкала ядро и метала диск — принесла команде зачетные очки. Городской тренер в кедах по лужам подбежал к ней, оценив Верины плечи и руки, зазывал в секцию. «Где уж мне!» — отмахнулась Вера. В училище в перерывах Вера вела строгие разговоры с девчонками из самодеятельности. Вера была членом комсомольского комитета, и ей поручили провести в сентябре первый «Голубой огонек» для своих и для медиков из больницы. И дома не убывало хлопот. И при этом каждый день Вера находила время для встреч с Сергеем. А грибы могли и потерпеть.

Получили письмо и посылку от отца. Три месяца он молчал, а тут исписал мелким почерком лист с двух сторон. В фанерном

ящике, годном для фруктов, он прислал две пары недорогих туфель — для Надьки и Сони. Туфли были японские, береговой торговли, и Надька, разглядев знак фирмы, запрыгала от радости. Соня не хотела и прикасаться к туфлям, но мать упросила ее принять отцов подарок. В письме отец сообщал, что чувствует себя хорошо, ходит в океан, пьет мало, чего и всем желает. Интересовался он здоровьем Настасьи Степановны и дочерей. Много писал, как разводит в саду ягоду лимонник, писал он, какая это полезная ягода, и если она интересует никольских, пусть напишут, он пришлет семена. «Жив, слава богу!» — обрадовалась мать. Были позваны Клавдия Афанасьевна Суханова и Тюрина, и они читали письмо, а прочитав, вместе с матерью судили по-главному — вернется отец или не вернется. «Вот сучий кот, дармоед! — ругалась Клавдия Афанасьевна.— Туфельки за копейки раз в год прислал! Да он тебе хотя бы по тридцать рублей в месяц должен!» Мать жалела мужа и защищала его. «А в чьем это он саду ягоду растит? — негодуя, спрашивала Суханова.— Я бы на твоем месте давно бы ему оторвала башку!..» Успокоившись, снова просмотрели письмо строчку за строчкой, старались увидеть за словами потаенный смысл и в вопросе отца, не вернулся ли в Никольское из Тулы его приятель Шибанов, учуяли намек на сомнения самого Алексея: а не вернуться ли? «Вот тут прямо так и пишет — не вернулся ли Валька Шибанов из Тулы... А? — растерянно повторяла Настасья Степановна.— Вот, глядите...» — «Воротится Лешка,— говорила Клавдия Афанасьевна.— Помяните мое слово, через год, через два, а воротится...» — «Да зачем он нам нужен, дьявол-то этот?» — вздыхала мать. Вера слушала их разговор, а сама думала: если вдруг что случится, отец, какой бы он ни был, младших девочек не оставит. И от этой мысли Вере становилось спокойнее.

Однажды Вера вытащила из почтового ящика вместе с «Известиями» и «Работницей» письмо от Леши Турчкова. Она хотела сразу же разорвать письмо, однако прочла его. Письмо пришло из Кинешмы, Ивановской области. Турчков печалился о том, что он давно не видел Веру и ничего не знает о ней. Все, что он говорил ей в последний раз, писал Турчков, не устарело и не умерло. Пусть ей смешны и противны его слова и чувства, но все оно так и осталось. В Кинешму Турчков попал месяца на три-четыре. У Волги стали строить филиал их завода, литейное производство, туда послали на помощь рабочих из Москвы, вот и Леша вызвался доброхотом, и не жалеет. Он ни о чем не забыл и никогда ни о чем не забудет, не отступит и от своей жизненной программы искупления вины. Почему же не начать дело в Кинешме? Письмо, объяснял Турчков, он написал просто так, без всякой корысти и надежды. Не мог не написать. И Верино право разорвать письмо и не отвечать ему. Вера и не ответила. Но что-то в письме тронуло ее. Снова ей было жалко Турчкова. И жалко себя. Если бы «того» не случилось, ей было бы приятно вспомнить о Лешином признании в любви. Она понимала, что теперь, когда у них с Сергеем

все выяснилось и наладилось, она отнеслась бы к Турчкову как взрослая женщина к мокрогубому мальчику — с жалостливой бережностью. А все равно было приятно сознавать, что кто-то тебя любит. Однако «то» случилось... И все же Вера была сейчас благодарна Турчкову: «Хоть одному из них стыдно...»

Приезжал в Никольское следователь Виктор Сергеевич Шаталов. В последний их разговор он обещал Вере наведываться в Никольское часто, чтобы все знать о ее жизни и о жизни парней, но, видно, у него не получалось со временем.

Приехал он лишь однажды, читать лекцию «Правовые знания —населению». Встречу с ним устроили в агитпункте при пуговичной фабрике. Народу явилось мало, человек двадцать, все больше старухи да несколько мужчин-пенсионеров, а из родителей парней пришел один Николай Терентьевич Колокольников. Все же людей в зале могло быть и больше, однако санитарный врач из района, также собиравшийся прочесть сегодня лекцию «О проблемах домашнего консервирования и явлениях ботулизма», позвонил утром и сказал, что не приедет. Вера с матерью посчитали, что им нужно сходить на лекцию,— мало ли о чем станет говорить следователь. Настасья Степановна приоделась, сидела торжественная и серьезная. Вера смотрела на всех с вызовом. У порога она увидела Творожиху, и ей казалось теперь, что одни творожихи сюда и пришли. Из собравшихся Вера явно выделялась, такая была яркая и легкомысленная на вид — нарочно надела рыжую юбку на пятнадцать сантиметров выше колен. А сама себя чувствовала подсудимой.

За столиком перед публикой уселись следователь Виктор Сергеевич, заведующий агитпунктом Колосов и от общественности Клавдия Афанасьевна Суханова и учительница Евдокия Андреевна Спасская. Виктор Сергеевич был в форменном кителе, бумажек не доставал, но говорил так, будто бы именно и читал по бумажке. Опять употреблял казенные слова и ученые, приводил высказывания умных людей, публике было скучно. Однако слушатели явились добросовестные, сидели терпеливо. Вера все ждала, что Виктор Сергеевич станет говорить про ее историю, а он так и ни слова не сказал.

Наконец Виктор Сергеевич кончил, спросил, не будет ли вопросов. Вопросы были мелкие, связанные с пенсиями и собесовскими делами. Виктор Сергеевич на них отвечал. Потом поднялась учительница Спасская и попросила Виктора Сергеевича объяснить, почему история Веры Навашиной закончилась таким образом. Виктор Сергеевич сказал, что вопрос этот не имеет отношения к теме лекции, а дело тут деликатное и выступать с разъяснениями он не может. Публика, было заинтересовавшаяся, стала расходиться, хлопали сиденья сцепленных досками кресел. И Вера пошла к выходу, но в пяти метрах от Виктора Сергеевича она остановилась. Ей показалось, что и Виктор Сергеевич хочет что-то сказать ей. Но она не решалась начать разговор, и Виктор Сергеевич не начинал, будто по какой неловкости. И тут к нему по-

дошла Евдокия Андреевна Спасская, взяла под руку. «Виктор Сергеевич, зачем же вы это сделали?» — сказала Евдокия Андреевна. «Что сделал?» — спросил, опешив, Виктор Сергеевич и оглянулся при этом на Веру. «Нет, нехорошо вы решили! Не так! Нельзя было так!» — произнесла с горячностью Евдокия Андреевна, чуть ли не вскрикнула. «Помилуйте, вы же сами подсказали именно такое решение»,— улыбнулся следователь. «Нет, нет! Нельзя было так!» — «А как?» — спросил Виктор Сергеевич. «Я не знаю, как! Но не так!» — «Видите ли...— сказал Виктор Сергеевич уже сердито и прижал подбородок к груди.— Мало ли что я решил! Вы, наверное, знаете, что будет проведено доследование. Стало быть, я ничего не решил! Однако я удивлен тем, что теперь вы...» Тут Вере стало неловко оттого, что она слушает чужой разговор, и она быстро пошла на улицу, не сказав следователю ни слова. Ей показалось, что она видит его в последний раз. Так оно и вышло.

Мать ждала Веру у крыльца агитпункта. Мимо них пробежала Творожиха, суетливо заскочила вперед и остановилась в любопытстве прямо перед Навашиными. Глазки ее остренько поглядывали снизу вверх, не было в них обычной приторной сладости, они ехидничали нынче или злорадствовали, обещали: «Ужо тебе еще покажут...» Постояв, Творожиха покачала головой с печалью, словно Вера видением из Апокалипсиса сообщала ей о близком конце света, и сказала: «Срам-то какой, всю задницу видно!» Веру смутила на мгновение неожиданная воинственность Творожихи, но тут же она крикнула, да так, что всей улице было слышно: «А ну, пошла отсюда, старая семечка!» И Творожиха, опомнившись, припустилась по улице, тощие загорелые ноги ее с синими узлами вен мелькали впереди, черная ситцевая юбка била по кустам репейника. Творожиха оглядывалась, но не для того, чтобы пригрозить Вере из недоступного места, а от страха, и Вере стало жалко ее. «С чего она вдруг осмелела?» — подумала Вера.

Виктор Сергеевич видел, что Навашина направилась было к нему, но, закончив разговор с учительницей Спасской, он не нашел Веру ни в агитпункте, ни на улице. Идти же к ней домой настроения у Виктора Сергеевича не было.

«Экая дама! — думал Виктор Сергеевич о Спасской.— Ведь сама же упрашивала меня решить дело по-людски...» Ему было обидно. В прошлый разговор со Спасской, казалось ему, они нашли общий язык и поняли друг друга, и теперь Виктор Сергеевич ожидал от старой учительницы поддержки, может быть, он и ехал сюда для того, чтобы услышать от людей, и в первую очередь от таких, как Спасская, слова одобрения, а она пошла на него в атаку.

То есть он и сам не знал теперь, зачем он согласился приехать сюда. Когда Виктору Сергеевичу предложили по линии общества «Знание» прочесть в Никольском лекцию о необходимости изучать законодательство, он тут же отказался. Лекция такая была бы полезной. Ведя следствие, он то и дело сталкивался с элементар-

ной юридической неграмотностью никольских жителей, но теперь-то, после решения прокурора и области, каково ему было появляться в Никольском! Однако, поразмыслив, Виктор Сергеевич понял, что просто трусит. Будто он нашкодил в Никольском и боится туда ехать. А ведь он по-прежнему считал себя правым. Виктор Сергеевич посчитал, что он перестанет уважать себя, если не поедет в Никольское. Он при этом хотел показать и Колесову, и Десницыну, что и теперь его нисколько не пугает встреча с жителями поселка. Конечно, в самом факте его поездки с лекцией в Никольское была определенная неловкость, но районный прокурор, выслушав слова Шаталова о просьбе общества «Знание», сказал ему: «Поезжай».

Необходимость поездки в Никольское Виктор Сергеевич объяснял еще и тем, что, кончая дело и будучи уверенным в том, что районный прокурор поддержит его, он обещал — самому себе в первую очередь — взять парней и Навашину под свой контроль и опеку, горячо обещал, но что он знал теперь об их жизни в последние недели? Да ничего! Понятно, сейчас, когда дело было передано Десницыну, ему полагалось быть лицом нейтральным, сторонним наблюдателем, ни о контроле, ни об опеке и речи пока не шло, но жизнью-то своих бывших подследственных он должен был интересоваться, раз обещал и им и себе.

Вот он и поехал в Никольское. Из разговоров в поселке выяснилось: многие считают, что дело прекращено. О доследовании была лишь молва. Впрочем, и о прекращении дела была лишь молва. Но эта молва крепче укоренилась. Люди, еще недавно жалевшие парней, просившие следователя «кончить дело по-людски и миром», теперь словно бы удивлялись решению Шаталова. Виктор Сергеевич узнал, что никольские общественники собираются отправить большое послание в областную прокуратуру, а комсомолки из Вериного училища уже отослали возмущенное письмо в «Комсомольскую правду». «Это их дело,— сухо сказал Виктор Сергеевич.— Однако следствие-то не закончено. Что же горячиться заранее?» Узнал он и то, что Колокольников, ангелом сидевший на беседах с ним, ведет себя в компании с Рожновым нагло, а родственники его, как и родственники Чистякова, распускают в поселке всякие гадости про Навашину. «Разговоры о Навашиной вы сами должны пресекать,— сказал Виктор Сергеевич.— А парни успокоились зря».

Все это было неприятно. А еще неприятнее было то, что Виктор Сергеевич, три недели отсутствовавший в Никольском, ощутил вдруг, что судьбы парней и Веры Навашиной стали для него как бы чужими и далекими. И это даже теперь, в чрезвычайно серьезной для него ситуации! То есть выходило, что судьбы эти и их дальнейший ход интересовали Виктора Сергеевича уже не сами по себе, а в той лишь мере, в какой они имели отношение к его собственной судьбе. Что теперь будет с ним, следователем Шаталовым, коли Десницын повернет дело... Конечно, Навашину и парней оттеснили другие подростки, другие судьбы, вошедшие в

последние недели в жизнь Виктора Сергеевича, так и всегда бывало. Скверно было то, что в Никольском Виктор Сергеевич до боли ясно почувствовал: если бы дело было прекращено, он бы и тогда потихоньку в служебной суете забыл бы и о парнях, и о Навашиной, и о своих обещаниях. То есть помнил бы, конечно, о них, но так, среди прочих очередных и живых дел... Снова бы давал обещания съездить в Никольское, да в суете не успевал бы...

«Неужели и вправду я краснобай и дилетант? — расстроился Виктор Сергеевич.— Благие намерения — и все попусту... Да и для любительства-то моего, наверное, не пришло время...» Тут же Виктор Сергеевич себе возразил: «Однако и прежние дела остывали, уходили в прошлое, но ничего дурного не случалось... Конечно, я должен был помнить о никольских парнях, а они обо мне, но разве нянькой я собирался им стать? А Навашина... Ведь уговаривал я ее уехать из Никольского... Значит, нервы крепкие, выдержит...» В электричке Виктор Сергеевич несколько успокоился. Позицию свою он менять не думал, знал, что будет отстаивать ее. Душевное же отдаление от судеб парней и Навашиной он оправдал тем, что отстранен от этих судеб и не имеет права вмешиваться в жизнь чужих подследственных. От этих мыслей ему стало легче. Хотя, возможно, он и обманывал себя.

На службе Виктор Сергеевич решил зайти к Десницыну. Десницын на днях вернулся из Винницы, где был в командировке, и вот получил в придачу к своим делам еще и никольскую историю. Виктор Сергеевич знал, что Десницын отнесся к поручению прокурора без особой радости. И незаконченные дела у него были нелегки, а главное — каково идти по следам товарища по работе и перепроверять его? Несмотря на споры, порой и с обидами, о сути их ремесла, несмотря на несовпадение иных житейских взглядов, Шаталов и Десницын относились друг к другу по-доброму и с профессиональным уважением. Виктор Сергеевич ставил сейчас себя на место Десницына. И ему было бы неловко и неприятно вести следствие после Десницына. «Вот, брат, такая история»,— как бы смущаясь, сказал ему Десницын, посетив кабинет Колесова. «Ну что ж, копай, копай,— сказал тогда Виктор Сергеевич.— Докажешь, что я болван, и я пойду в электрики».— «В какие электрики? — возразил Десницын.— Ты пойдешь в педагоги...» Копать-то Десницын будет, но ведь не под него! Какая Десницыну корысть. Человек он был порядочный и, конечно, должен был отнестись к делу и выводам Шаталова без всякой предвзятости. Без всякого желания подтвердить фактами горячие слова, брошенные им Шаталову весной в запале спора: ты, мол, и не следователь, а краснобай и дилетант. И понимая, как может повлиять на судьбу товарища его расследование. Вроде бы ничего и не должно было измениться в отношениях Шаталова с Десницыным, однако изменилось. Возникло напряжение. Общительный, веселый Десницын пытался это напряжение истребить, но Шаталов вел себя с ним довольно холодно и как бы предупреждая: «Вот кончишь с никольским происшествием, тогда и поговорим

по-человечески...» Он старался не попадаться на глаза Десницыну и уж никаких слов о никольском деле не произносил при встречах с ним.

Теперь он зашел к нему сам и поинтересовался, начал ли Десницын заниматься никольской историей.

— Во вторник съезжу, осмотрю место происшествия,— сказал Десницын,— и вызову к себе Навашину, парней с родителями. Турчкова придется ждать из Кинешмы. А сейчас вот заканчиваю бумаги о песковском убийстве.

— Винница что-нибудь дала?

— Кое-что дала,— сказал Десницын.

— Я зачем пришел. Был в Никольском. Читал лекцию. Там волнуются, а толком не знают, дело прекращено или нет.

— Может, для следствия и лучше?

— Может, и лучше... Но ведь людям и определенность нужна.

И Виктор Сергеевич рассказал о болтовне вокруг Навашиной и о том, как ведут себя Колокольников с Рожновым. Потому он и зашел к Десницыну. Посчитал, что не сообщить об этом будет нечестно.

— Спасибо,— сказал Десницын.— Приму к сведению... А определенность людям, естественно, нужна.

— Зависти у меня к тебе, прямо скажу, нет. Дело все же очень сложное и все в изгибах.

— Слушай, а может быть, ты просто растерялся? — спросил Десницын.

— Чего растерялся?

— Ну... Опрокинул на себя целый мир и растерялся, не зная, как тебе, Виктору Сергеевичу Шаталову, тут быть. А здесь для нас, юристов, один случай, и к нему есть закон. И раз он есть именно такой, закон-то, то, значит, он для нас с тобой пока самый совершенный и необходимый.

— Сейчас ты скажешь,— нахмурился Виктор Сергеевич,— что меня занесло, что я хотел подменить собой закон...

— Я ничего пока не скажу... Пойми, и я не хочу упрощать ни судьбы людские, ни явления жизни. Но мы с тобой следователи! А мне кажется, что ты порой —от растерянности перед каким-то явлением или просто из добрых побуждений — готов, чтобы сейчас же залечить беду, употребить в нашем деле средства других профессий. Причем сразу нескольких профессий. А нужно ли это? И главное — имеем ли мы, следователи, на это право? Я считаю, что нет. Нам бы свою ношу нести с честью.

— Ты прочитал дело и тебе все стало ясно?

— Мне многое пока в нем не ясно. Но будет ясно.

— Я в этом не сомневаюсь,— сказал Шаталов.— Бог в помощь!

...А Вера пришла домой и расплакалась. Неужели и впереди ее ждут страхи, вечное ожидание дурного? Мать успокаивала Веру, волосы гладила, как маленькой, пришла Клавдия Афанась-

евна Суханова и тоже стала успокаивать. Клавдия Афанасьевна удивлялась Вере, та, с ее точки зрения, слишком близко принимала к сердцу всякие мелочи. «Уж больно ты стала тонкая в чувствах, прямо как чеховские барышни в театре. Те хоть от безделья все переживали, а у нас-то с тобой дел и забот вон сколько! Надо спокойнее смотреть на все...»

Клавдия Афанасьевна была недовольна выступлением следователя. «Ну и недотепа, я скажу, тебе попался,— говорила Клавдия Афанасьевна, радуя мать,— тюлень какой-то. Подбородок прижмет вот так и бубнит, бубнит... Но ты, Вера, будь спокойна — ни одного дурного слова в Никольском ни от кого не услышишь. Я за это возьмусь вместе с общественностью».

Обещание свое Клавдия Афанасьевна давала искренне и была уверена, что исполнит его. Она о нем помнила и назавтра, и через неделю помнила, однако ей сразу же пришлось заняться делом, требовавшим времени, энергии и терпения. Они впятером ездили в район и в Москву, ходили в партийные и советские организации, бывали и в газетах. Хлопотали о том, чтобы Никольское по рассмотрении вопроса было переведено в разряд поселков городского типа. Разговоры об этом переводе возникали в Никольском из года в год, соседние Щербинка и Бутово были именно поселками и оттого упоминались в Энциклопедии. А Гривно числилось даже городом. Сейчас никольские жители решительно хотели изменить статут своего населенного пункта, то ли потому, что им неловко было указывать в своих адресах «деревня Никольское», то ли в надежде, что с переводом Никольского в поселки городского типа на них обрушатся льготы. Клавдия Афанасьевна обходила никольские дома, собирала подписи под трехстраничным письмом, выправленным у юриста. Но и в хлопотах своих Клавдия Афанасьевна часто вспоминала: «Надо бы и Вериным делом заняться, обязательно надо...»

Она и занялась... Встретилась с болтливыми родственниками Колокольникова и Чистякова, наговорила им резкостей и предупредила о последствиях. Идти же куда-то с жалобами, поразмыслив и посоветовавшись с учительницей Спасской, посчитала преждевременным — доследование ведь было назначено.

А Вера поплакала, выспалась и успокоилась. И на другой день, когда Сергей ее спросил, как ей было на встрече со следователем, она пожала плечами и сказала искренне:

— Попусту время потеряли — и только... И давай договоримся. Обо всем об этом больше не вспоминать. Забыли и на всю жизнь.

— Договорились,— сказал Сергей.

— Что это у тебя в глазу-то?

— Где?

— Вот. Плохо промыл глаза со сна. Неряха! Дай-ка я тебя почищу...

— Ну вот еще! — проворчал Сергей.

А Вера ловко и ласково мизинцем достала ночную соринку из

уголка его глаза. Ей нравилось прикасаться к Сергею, поправлять на нем что-либо из одежды или легонько ладошкой и пальцами отчищать запачканные места на спине и плечах. В особенности если это можно было делать на людях — в магазине, в электричке или на улице. И само прикосновение к Сергею было приятно, и приятно было чувствовать, ни на кого, кроме Сергея, не глядя, что люди вокруг видят их нежность, их право друг на друга и, может, гадают, кто они — «брат с сестрой или муж с женой, добрый молодец с красной девицей...». Иногда же ей были совсем неинтересны ничьи ощущения вокруг, а просто ей самой хотелось показать и себе, и Сергею, что он человек полностью зависимый от нее, как, впрочем, и она во всем зависимая от него. Это и было славно.

О поездке в Вознесенское, неприятной для них обоих, теперь не вспоминали. Дня два Вера ходила сама не своя, то она стыдила себя, называла себя бессовестной: «Только о себе и думаешь, а у него своя жизнь, своя семья, мать с отцом»; то она была в гордой обиде на Сергея: «И без него проживем!» А встретилась с ним и всю вину тут же взяла на себя. И Сергей готов был просить у нее прощения за то, что резко и нескладно вел себя в Вознесенском. «Я все продумал,— говорил он,— и мне в Вознесенском будет удобно жить».— «Да нет,— говорила Вера,— зачем нам это Вознесенское, проживем и без переезда!» Она уже считала, что смотрины Вознесенского затеяла по глупости, сгоряча, под влиянием неожиданного известия Клавдии Афанасьевны. А вот успокоилась и никакой нужды уезжать куда-либо из Никольского не чувствует. Теперь же, когда договорились не вспоминать о ее беде, следовало и вовсе запамятовать о поездке в Вознесенское.

Однако ни Вера, ни Сергей об отчуждении, возникшем в Вознесенском, забыть не могли. После той поездки были иногда минуты, когда они снова казались друг другу чужими, были в их любви и случаи неприятные и скучные. Вера раздражалась, но отходила. Сергей молчал, ждал, когда все рассеется само собой. Оба они понимали, что в их отношениях, теперь уже почти супружеских, появилось и еще появится нечто новое для них, не испытанное прежде, хорошее или плохое — неважно. Но это новое следовало осознать и к нему необходимо было привыкнуть. Они и привыкали, и часто им было хорошо.

Однажды в воскресенье они с Сергеем поехали в город смотреть «Направление главного удара» и у кино встретили Нину. Первым Нину увидел Сергей, он и толкнул Веру. Нина их не заметила или сделала вид, что не заметила. Под руку ее вел пожилой мужчина, лет двадцати восьми — тридцати, с деликатными манерами, на вид инженер или служащий. Был он в прежнем Нинином вкусе — тщательно одетый, в приталенном пиджаке с серебряными пуговицами, с бачками, как у Муслима Магомаева, и с зонтиком-тростью в руке. А Нина прогуливалась в синем макси и короткой накидке с кистями. «Ба-ба-ба! — подумала Вера с обидой.— А она мне о нем ничего не говорила. Когда же успела-то? И как не помяла в автобусе и электричке?» Вера сделала дви-

жение навстречу Нине, но та проплыла мимо и не остановилась. «Ох-ох-ох! — сказала ей вслед Вера.— Птица-лебедь!»

Дня через три Вера ездила в Москву за продуктами и на Каланчевке чуть было не столкнулась с Ниной. Вел ее другой кавалер, помоложе, с большими усами и падающими на воротник черными красивыми локонами — под д'Артаньяна. И этот был одет дорого и хорошо. Нина же имела вид романтический, волосы ее были гладко зачесаны назад и сведены в пучок. Сегодня она надела мини и, как отметила Вера, французские колготы за девять рублей. Вера, несмотря на то что Нина была ей сейчас чуть ли не врагом, успела подумать: «Боже ты мой, какая она хорошенькая!» И кавалер, видимо, это понимал, ему очень нравилось вести Нину по людной улице, а Нина была с ним небрежна. Вера, не дожидаясь, пока Нина заметит ее, резко повернула вправо, услышала сзади: «Вера, Вера, постой»,— но не остановилась, вошла в магазин, смешалась с толпой. Однако у прилавка бакалеи Нина схватила ее за локоть:

— Ты это что, сбегаешь от меня?

— Я тебя не заметила.

— Так уж и не заметила?

— А ты нас с Сергеем в воскресенье у кино заметила?

— Вы были у кино?

— А то не были! — возмутилась Вера.

— Ну, прости,— сказала Нина.— Я вас действительно не заметила.

— Куда уж нас заметить!

— Здесь толкаются и смотрят на нас. Выйдем отсюда.

Вышли. Встали у красного парапета из гнутых труб напротив очереди за арбузами. Метрах в тридцати от них курил Нинин кавалер с черными красивыми локонами, смотрел на трамваи.

— Ты обижаешься,— заговорила Нина,— что я дней десять как к тебе не заходила и на следователя не пришла, ты не дуйся, я забегалась, не высыпаюсь...

— Ну, понятно,— кивнула Вера в сторону молодого человека.

— Ай! — махнула рукой Нина.— Да не потому!

— А мне-то что! — сказала Вера. Ей было неловко и стыдно оттого, что она пыталась убежать от подруги, а та ее поймала, и она сердилась теперь на Нину, как в тот день, когда они дрались в Никольском туфлями.

— Верк, ну, серьезно, ну, не дуйся.— Нина обняла подругу, глаза у нее были влажные.

— Ну ладно, ну ладно,— сказала Вера, отстраняя подругу, однако она смягчилась.

— Я ведь и на работе бегаю, —говорила Нина,— и матери надо помочь, и в школу хожу вечером. Десятый класс, последний, теперь-то, перед институтом, надо всерьез, чтобы все запомнить... Я на будущее лето расшибусь, а поступлю в институт... А ты дуешься... Не таи на меня зла!..

— Ну, не пришла — и не пришла,— сказала Вера уже миро-

любиво.— Дело-то какое! Вон тебя кавалер ждет. Иди. В Никольском поговорим.

— А-а! — рассмеялась Нина.— Пусть подождет. У меня таких кавалеров... Этот-то еще ничего. Он хоть может доставать билеты в театр. У него абонемент.

— А у того что? — не удержалась Вера.— С которым вы у кино прогуливались?

— У того что? — задумалась Нина.— Он просто приятный человек. С телевидения. С ним интересно ездить в электричке. Вечно новости узнаешь... А ты меня осуждаешь, что ли?

— Мне-то что!

— Господи, да без них скучно было бы! Я в иной день по четыре свидания назначаю. На какие иду, на какие нет. Ради забавы. Я без всякой выгоды, я так...

— Это не для меня,— сказала Вера хмуро.

— Ты думаешь, я серьезно все это? Ты думаешь, я забыла, что говорила тебе после того, как сходила в Серпухов, к отцу? Нет, Верк. Все то и теперь во мне. И навсегда.

Потом, помолчав, она добавила с печалью:

— Мне бы, Верк, влюбиться в кого, да по уши...

— Влюбишься,— успокоила ее Вера.

— А я сегодня Зинку Телегину встретила,— сказала Нина.— Помнишь, из соседнего класса? Она теперь на Часовом заводе сидит на конвейере. И продает шиньоны из своих волос.

Вера вспомнила худенькую и тихую Зинку Телегину по прозвищу «Земляной орех», еще и в пионерах славившуюся тяжелой каштановой косой, и воспоминание это сразу же вызвало мысль о парике, купленном ею самой в магазине ВТО у Пушкинской площади. Мысль эта не была ни тоскливой, ни злой, как прежде. Просто возникла — и все. Где он, парик-то?

— Верк, следствие-то, говорят, опять начали,— сказала Нина.

— Вроде бы начали,— нахмурилась Вера.

— Говорят, новый следователь был уже на месте происшествия и парней с родителями вызывал, правда?

— Вроде...

— А тебя?

— И у нас был.

— Что за следователь-то?

— А пойми его... Строгий, дотошный... Опять все сначала. Вопросы, протоколы. Теперь к себе вызовет. Одно мучение! Трое-то, кроме Турчкова, на меня теперь наговаривают. И вовсе не нужно мне это следствие!

Нина молчала, она сама не рада была повороту разговора.

— Ну, иди,— сказала Вера.— А то ждет ведь...

Все было бы хорошо, вот если только бы Нина не вспомнила о следствии...

Подруги разошлись, довольные встречей и разговором. Решили завтра же увидеться снова в Никольском, а на неделе, если

выйдет со временем, съездить вместе в Москву, на показ немецких мод во дворце «Крылья Советов». Или просто погулять на выставке в Сокольниках. Однако не съездили...

27

Опять закрутили Веру привычные дела и хлопоты, в их круговерти Вера и книгу редко брала в руки, разве что в электричке, почти не успевала смотреть телевизор, а беседа со следователем и встреча с Ниной отошли в прошлое. Будто и случились год назад.

Среди прочих Вериных дел были уколы. Вера вместе с двумя пожилыми медсестрами — Неведомской и Красавиной, жившими в Никольском,— по назначению районных врачей чуть ли не каждый день колола никольских больных. Кто был с диабетом, кто страдал сердцем, кто, простудившись, нуждался в инъекции пенициллина. Вера делала уколы ловко, Тамара Федоровна удивлялась ее способностям, о легкости и точности ее шприца знали в Никольском, оттого на нее спрос был как на модную портниху. В среду ей надо было колоть двоих — Николая Антоновича Спицына и старуху Кольцову, ту в вену.

Вера приехала с занятий из Вознесенского, поела наскоро, переоделась, положила блестящую коробку со шприцами в хозяйственную сумку и поспешила к больным. Прежде она зашла к Спицыным. Спицыны жили в достатке, Николай Антонович, отставной военный, получал хорошую пенсию, дочь его кончила институт и вышла замуж за однокурсника, дом их был обставлен как московская квартира. Николай Антонович говорил громко, шутил и то и дело спрашивал Веру, не кажется ли он ей похожим на Моргунова из «Кавказской пленницы», когда тому делают укол. Он был с ней приветлив, в праздники дарил шоколадные конфеты и плитки «Аленки». Улыбалась Вере и жена Спицына — Нина Викторовна, женщина цветущая и энергичная. Вере приятно было приходить к Спицыным, ей нравилась их внучка Леночка. Иногда, правда, ее коробили и смущали на секунду шутки Николая Антоновича — наедине с ней он позволял себе двусмысленные и соленые выражения,— но, в конце концов, они ее не обижали. Бог с ним, старик все же.

Вера подошла к калитке Спицыных, позвонила. Вышла Нина Викторовна, приструнила овчарку Принцессу, открыла калитку. Нина Викторовна кивнула Вере холодно, постояла молча, словно желая сказать ей что-то, но ничего не сказала, а повернулась и пошла в дом. На кухне Вера зажгла газ, поставила на плиту ванночку со шприцами, села на табуретку, достала из сумки сорванное со штрефлинга яблоко. «Вера! Здравствуй!» — услышала она, обернулась. Леночка появилась на кухне. Леночке шел тринадцатый год, она была бледненькой, тонконогой, Вера жалела ее, разговаривала как с приятельницей, и Леночка привязалась к ней, смотрела на нее чуть ли не влюбленными глазами. Теперь Вера,

удивленная холодным приемом Нины Викторовны, обрадовалась девочке. Но не успели они перемолвиться словом, как вошла Нина Викторовна и сказала резко: «Лена, что ты здесь вертишься? Иди сейчас же к себе. Мы уже, кажется, с тобой все обговорили». Леночка взглянула расстроенно и виновато в Верину сторону и, помявшись, ушла из кухни. Николай Антонович в пижаме, коричневой, горошком, лежал на диване, против обыкновения, встретил Веру молча, не шумел и не острил, сказал лишь: «Спасибо».— «Пожалуйста,— кивнула Вера.— Завтра приду в это же время». В прихожей ее ждала Нина Викторовна, Вера хотела пройти мимо нее, однако остановилась. Нина Викторовна сказала:

— Вера, ты на нас не обижайся, но... видишь ли... тебе, наверное, далеко ходить к нам и неудобно... Поэтому мы договорились с Неведомской, она будет теперь делать уколы Николаю Антоновичу...

— Почему же мне далеко ходить? — растерялась Вера.

Тут дверь в столовую открылась и Николай Антонович возник на пороге. Был он в смущении и неловко, под мышкой, держал большую коробку московских конфет. Нина Викторовна тут же подскочила к нему и вытолкала мужа в комнату.

— Коля, Коля, что ты, что ты! Тебе лежать надо! Потом... потом... Тебе нельзя волноваться!

— Вы мне не доверяете, что ли? — спросила Вера.— Я колю лучше Неведомской, она вам может подтвердить.

— Нет, Вера, пойми, не в этом дело,— сказала Нина Викторовна сердито: неуместное появление мужа, видно, разозлило ее, хотя и теперь она старалась быть вежливой и как бы просительницей.

— А в чем?

— Ну, ты должна понять это сама...

— Я не понимаю, что вы имеете в виду.

— Мне не хотелось бы напоминать тебе об этом... Но о тебе говорят, сама знаешь что... А у нас растет девочка. И совсем не нужно, чтобы она... Даже если и весь дым без огня.

— Ах, вот оно что! — вспыхнула Вера.

— Мы понимаем, что ты теряешь больного и, следовательно, имеешь материальный ущерб, и поэтому мы платим тебе за сделанные уколы и за несделанные. И вот еще три рубля сверх того. Вот возьми.

— Да подавитесь вы своими деньгами! — Вера резко отвела протянутую ей руку с синими бумажками, чуть ли не оттолкнула при этом самое Нину Викторовну.— Теряю! Побольше бы мне таких потерь! Я, что ли, к вам напросилась? Ноги моей больше в вашем доме не будет!

Нина Викторовна смотрела на нее гордо и с чувством превосходства, маленькие ноздри ее сузились, а губы выгнулись в презрительной усмешке. Видимо, она долго готовилась к этому разговору, страдая по своей деликатности, наверное, он казался ей тяжелым и некрасивым, но теперь грубые Верины выкрики как бы укрепили ее в необходимости этого разговора и дали Нине Викто-

ровне доводы для оправданий перед самою собой. Она заговорила тихо, всем своим видом давая понять, что она не опустится до базарной брани, как бы ее ни принуждали к этому, но за сдержанностью ее Вера почуяла злобу:

— Ты еще на меня кричишь! Ты! Да ты после того, что натворила, глаза бы от людей прятала! Где совесть-то твоя?.. Я счастлива, что ты у нас больше не появишься — и Леночке не испортишь жизнь дурным, и Колю перестанешь тревожить своей наглостью! А он купил тебе еще коробку конфет! Ты хоть знаешь, как тебя зовут в поселке?!

— Вот что-нибудь у вас случится, —сказала Вера тоже тихо,— прибежите ко мне, будете меня просить, а я не пойду.

«Бог ты мой, что это она? — думала Вера уже на улице.— К Николаю Антоновичу, что ли, приревновала? И он-то хорош!.. Нет, это все из-за того, из-за того, из-за того... Камень, что ли, запустить в их окно? Чтобы стекла зазвенели! Оно и стоит того...»

Потом, выпустив поднятый было с земли камень, она шла по улице и никак не могла утишить свое возмущение. Ей казалось, что весь поселок Никольское, в полном сборе, видел и слышал этот разговор, стоял тихонечко в отдалении, в тридцати шагах, и все слышал. Вот уж от кого она не ожидала подобной сцены! Нина Викторовна, воспитанная женщина, и так все повернула. Вера и сейчас видела брезгливо протянутую ей маленькую руку с аккуратно сложенными деньгами, и воспоминание о них особенно злило Веру. Ради денег, что ли, она неслась, и не раз, по поселку со шприцами и медикаментами, когда к ней прибегали в несчастье и просили о помощи! Спасала мальчишку Егорычевых, когда тот, наглотавшись триаксозина, был почти при смерти, отхаживала старушку Вьюнкову — так что, она о деньгах, что ли, думала тогда? Она в те минуты свои отдала бы, лишь бы не случилось беды! А как было с самим Николаем Антоновичем? Неужели Спицыны забыли об этом?

Полгода назад зять Спицыных, вернувшись из командировки с Севера, привез спирту. Николай Антонович выпил крепко, по старой привычке, и с ним случился приступ. Дочка его, Леночкина мать, в слезах ночью прибежала тогда именно к ней, Вере. Николай Антонович лежал без сознания, посиневший, и если бы Вера не сделала ему укол кордиамина, спасти его уже не смогли бы — попробуй доберись до больницы. Часа четыре сидела она тогда с Николаем Антоновичем, массировала ему грудную клетку, давала таблетки и все-таки привела его в чувство. Какие только слова не говорили ей Спицыны! А она им отвечала, стараясь быть небрежной: «Да что вы! Я же медик».

«А ведь об отказе она объявила мне после укола! — подумала вдруг Вера.— Раньше-то побоялась! Словно я ее Николая Антоновича могла отравить от обиды... Вот люди! Какого же они обо мне мнения?» Тут Вера вспомнила, что Нина Викторовна дальняя родственница матери Чистякова, и сказала самой себе: «Ну вот. Все к одному».

Кольцова жила через две улицы. Вера шла к ней и все еще возмущалась Спицыными, все еще грозила им в мыслях, а потом подумала: «Вдруг и эта выгонит?»

Кольцова была старухой безобидной и тихой, плохо видела и угощала Веру чайным грибом. В банку для вкуса она клала сушеные лимонные корки, чем особенно гордилась. К Кольцовой Вера пришла хмурая, готовая к неприятностям, однако Кольцова встретила ее хорошо. Когда Вера поднесла шприц к сухонькой коричневой руке, он заплясал в ее пальцах. «Господи, никогда такого со мной не было,— расстроилась Вера.— Я и в вену-то не попаду...» Она отвела шприц. «Что ты?» — спросила Кольцова. «Да так, нездоровится...» Однако она все же собралась и поймала вену. Поговорили по привычке со старухой о пустяках, а Веру все тянуло спросить об одном, да спрашивать было противно. И все же она не выдержала, сказала:

— Как же вы, бабушка, в дом-то свой меня пускаете?

— Что ты вдруг?

— Разве не слыхали, что говорят-то обо мне?

— Почему же, слыхала. Да ведь я знаю тебя.

Вера успокоилась было, выйдя от Кольцовой, но ненадолго. В больнице в Вознесенском, куда она вернулась к двум, Вера подумала вдруг: «А может, Кольцова не гонит меня потому, что Неведомская и Красавина с нее будут брать деньги за уколы?.. И как она сказала: «Почему же, слыхала». Даже удивилась вопросу. Все слыхали, все!..» И хотя Вера говорила себе: «Хватит, хватит об этом», что бы она ни делала в больнице, никак не могла прогнать мысли о сегодняшних уколах. То ей вспоминалась Нина Викторовна и ее презрительные губы и ноздри, то вспоминалось, как сама она с боязнью ждала, что тихая старушка Кольцова укажет ей на дверь, и одно воспоминание было горше другого.

— Вера,— позвала ее старшая сестра Сучкова,— поди сюда. Тебе Елена Ивановна передаст дела.

Вера подошла. Возле старшей сестры стояли санитарки Елена Ивановна и Нюрка Слегина. Нюрка хихикала и говорила Елене Ивановне: «Вы уж там для себя подберите кого поглаже». Елена Ивановна, высокая костлявая женщина, старая дева, по Нюркиным сведениям, была в раздражении и собиралась идти к Тамаре Федоровне жаловаться. Ее на месяц отправляли работать в ванную. Каждой из санитарок по очереди выпадало идти в ванную, но Елену Ивановну обидело то, что ее не предупредили о ванной заранее, а она не перекопала огород. Ванную никто не любил. Работали там каждый день, выходные попадали на субботу и воскресенье, и надо было много мыть и стирать. Мыть больных, мыть ванны — занятий хватало. Вера спросила Елену Ивановну, какие она ей оставляет дела, и посочувствовала ей.

— Вам бы идти в ванную,— вздохнула Елена Ивановна,— таким здоровым.

— Закон не разрешает,— сказала Вера.— Мы подростки.

— Подростки! — с каким-то злорадным торжеством произнесла Елена Ивановна и так поглядела на Веру, что та похолодела.

Она испугалась, что Елена Ивановна скажет сейчас громко, на весь коридор, на все палаты, обидные слова про нее, какие и Творожиха бы не могла придумать, и коридор поддержит ее одобряющим гулом. Или Нюрка Слегина засмеется тихонечко.

Но Елена Ивановна больше ничего не сказала. И Нюрка не засмеялась.

«Надо мне взять себя в руки и проще смотреть на все это,— думала Вера в электричке, возвращаясь домой,— а не то ведь этак я больной попаду в свое же отделение...» Рядом с Верой сидели девчонки-шестиклассницы, жевали конфеты из синего кулька, а напротив место занял понурый мужичок лет тридцати, год назад торговавший в Никольском керосином. Имени его Вера не помнила, все его звали керосинщик. Мужичок этот разговаривал с полной женщиной, по виду его ровесницей. Вера старалась ни о чем не думать и потому слушала то девчонок, то керосинщика. Девчонки спорили, какие «коровки» лучше — чеховской фабрики или подольской. Беленькая девочка говорила, что чеховские конфеты слаще. «Зато наши, подольские, тянутся!» — отвечала ей соседка. «Тянутся, как замазка, к зубам приклеиваются...» — «Не как замазка, а как жевательная резинка... А вот наши, чеховские, проглатываешь — и все, на стакан чаю три штуки уходит...»

— Вот и рассуди,— сказал керосинщик громко,— есть у нее совесть или нет?

— Да, да,— сочувственно закивала его собеседница.

Керосинщик этот считался в Никольском неудачником, напарник его купил «Москвич» и размордел, а этот был вялый и дохлый, как магазинный огурец, и одевался что в керосинную лавку, что в кино — одинаково. Впрочем, говорили, будто у него скверная жена. Собеседница керосинщика Вере была незнакома, но из разговора Вера поняла, что она его дальняя родственница из Шараповой Охоты.

— Лежу я в больнице,— рассказывал мужичок,— язва-то серьезная болезнь, а она за три месяца заходила ко мне два раза. А из гостинцев приносила одни газеты. Правда, свежие. Тут ей надо отдать справедливость. Вышел я, еду домой, а соседка, Клементьева, встречает, говорит: «Батюшки, тебе и одеться-то не во что будет...» Узнаю — живет она уже не со мной, а с Колькой Зеленовым. И все к нему снесла. Он моего роста. И кушетку к нему снесла. И денег у меня нет, я ведь все на ее книжку клал. Даже кальсоны снесла. Колька напился однажды, стянул с себя брюки, ходил по улице, хвастался: «Во, смотрите, как она меня любит, даже кальсоны с мужа сняла...»

Девочки с конфетами перестали спорить, сидели сконфуженные, отвернулись от соседа, рассматривали деревья за окном.

— А ты что? — спросила женщина.

— А что я? Я ей говорю: «Возвращайся, хошь — с барахлом, хошь — без него. Или разводись».

— А она?

— А она говорит: «Не вернусь и разводиться не стану». Говорит: «Можешь при нас жить. Мы тебя кормить будем, а ты нам приноси прежние деньги».

— Ты этого не делай,— испугалась женщина.

— Вот и я так думаю,— вздохнул керосинщик.

— Подавай на развод. А я тебе невесту подберу.

— Так уж и подберешь? — робко, с недоверием, улыбнулся керосинщик.

— Тут же и подберу. Надьку Калинникову помнишь?

— Надьку-то? Помню...

— На Надьке я тебя и женю.

— Надьку-то! Как же! Помню,— обрадованно улыбнулся керосинщик, видно было, что ему приятно думать о Калинниковой.

— Вот и разводись скорее.

— А ведь я ее любил,— вздохнул керосинщик.

— Кого?

— Жену...

— Ну и что?

— Да ничего...

Керосинщик говорил громко и как бы с удовольствием, слышало его, наверное, полвагона, все и теперь заинтересованно смотрели в его сторону. Не было в его словах волнения, злобы или печали, а была, пожалуй, одна озабоченность. Люди вокруг, казалось, его совершенно не смущали. Словно бы он говорил сейчас о неуродившейся в его огороде картошке и вместе с родственницей своей прикидывал, как в будущем году на той же земле получить картофель хороший. «Вот и мне, вот и мне,— думала Вера,— надо относиться к жизни с таким же крестьянским спокойствием».

Дома она не рассказала о выходке Нины Викторовны, хотя и понимала, что завтра же тихим уличным ветром долетит до матери и сестер весть об отказе Спицыных. Вера ужинала, Соня смотрела телевизор, Надька подсела к ней и стала что-то шептать, оглядываясь при этом на Веру. «Опять что-нибудь про меня услышала...» — словно током ужалило Веру.

— Что ты там шепчешь? — спросила она.

— Это она про кино,— сказала Соня,— жалуется, что у нас в клубе показывают одно старье...

— А что же шептать-то?

— Шуметь не хотели, ты ведь устала.

Вера легла спать, а заснуть не могла. «Я как ворона пуганая,— думала Вера,— все мне мерещится худое. И с Кольцовой, и с Еленой Ивановной, и с девчонками... Я ведь так дойду... От любого слова, от любого взгляда вздрагиваю... Отчего я не могу успокоиться, как керосинщик этот?» И ведь если, подумала она,

если взглянуть на последние недели, начиная с того дня, как вернулась мать, спокойно и трезво, то окажется, что дурного в ее жизни случилось не так уж и много. Можно это дурное и на пальцах перечесть. Хорошего было больше. Больше! И простого, обычного было больше, чем дурного. А в этом обычном — училище, дежурства в Вознесенской больнице, повседневная домашняя суета, разговоры с матерью и девочками, сидение у телевизора, наконец. Ведь и это обычное, по нынешним Вериным понятиям, тоже хорошее. И большинство людей, она знала, на ее стороне. Вот и жалобу никольские жители послали в прокуратуру, и девчонки из ее училища написали в газету, и Тамара Федоровна собиралась съездить в Москву. Людей, болтающих о ней плохое, куда меньше. Но как бы она ни уставала, как бы ни забывалась в усталости, как бы ни радовала ее любовь, работа, как бы ни радовало платьице для Сони, перешитое из своего ношеного, или черная рябина, схваченная первым ранним заморозком, все равно получалось так, что в мыслях она то и дело возвращалась именно к дурному, а не к хорошему. Словно бы это дурное и было самым существенным в ее жизни, в жизни вообще, и все остальное заслоняло. И впереди каждый день, каждое мгновение она ожидала дурное, а не хорошее. Отчего так? Отчего она, на самом деле, не может быть такой спокойной к жизни, к людям, как встреченный ею в электричке продавец керосина?

Ей вдруг стало казаться, что если она сейчас же поймет, отчего это, ей станет легче. И, возможно, откроется выход из нынешнего ее положения. Но мысли ее были горестны и летучи и словно бы не сцеплялись одна с одной. Ночью Вера чаще задавала себе вопросы, смуту вносила в душу, и нужен был день, нужна была стирка, шитье или иное ровное и спокойное занятие, мысли за этим занятием устоялись бы, утихомирились, и тогда из них выделилась бы одна, главная, какая и была нужна. Но сейчас Вера не хотела ждать дня.

И тут ее осенило: «Ведь керосинщик, жалкий, болезненный мужичок этот, оттого был спокоен, что с уходом жены в нем самом ничего не изменилось. И мир для него каким был, таким и остался. И в этом мире он может вырастить новый картофель и может завести новую жену, и все ему одинаково... А я ведь теперь другая... Другая!» Она представила, как бы вела себя нынче прежняя Вера. Та уж легко да со смешком отвечала бы на все намеки и сплетни, а Нине Викторовне с удовольствием устроила бы такой скандал, что балованная женщина эта месяц потом пила бы валерьянку и седуксен. И жила бы та Вера припеваючи, несмотря ни на что, плясала бы по-прежнему под трубы с ударными и, всем назло, носила бы парик. Но она стала другая. И знает теперь, что золото, а что — пылинка. Ведь своей болью, своей кровью, своим страданием она уже заплатила за открытие, неужели ей и дальше платить? Неужели ей и дальше мучиться оттого, что она по бабьему безрассудству спутала временное и преходящее с вечным и необходимым? Или до того разрослась, разъярилась в ней не-

приязнь к этому временному, что любое слово, соединяющее ее с ним, вызывает в ней боль?.. Ничего тут Вера себе не ответила. Может, все оно так и было.

Одно Вера себе сказала: надо переболеть, надо перетерпеть. Пройдет время, и все заживет. Надо стиснуть зубы. Ведь она права и знает теперь истину. Она уверена в этом. Видимо, она чересчур разнервничалась и распустила себя. Неужели она, Вера Навашина, полное ничтожество? Ее одногодки тоже могли быть стойкими людьми, ведь года три назад с мокрыми глазами она читала о том, как погибла Любка Шевцова, себя ставила на ее место и полагала, что и она могла бы быть Любкой... А уж здесь — экое дело! Стиснуть зубы — и все...

Между прочим, уже почти засыпая, она подумала о том, что пока мать не вышла из больницы, ей, как ни странно, было легче. Она стала старшей в семье, беспокоилась о матери и сестренках, о себе же вспоминала в последнюю очередь. Мать выздоровела и сняла ношу с ее плеч. Может, и теперь ей следует взвалить на себя прежнюю ношу?

После той ночи о никольских пересудах она уже не говорила ни слова, не реагировала и ни на какие реплики, казавшиеся ей обидными, хотя, случалось, готова была и вспылить. Сдерживала себя. Выход же своему раздражению она нередко давала в семье. Бывала с домашними резкой и обидчивой. Но они-то терпели. Сергей тоже терпел ее капризы, чаще молчал и иногда говорил: «Все образуется... Все само собой образуется...» — он и вправду очень верил в то, что все само собой образуется. «Что образуется? — возмущалась Вера.— Болезнь у меня образуется на нервной почве! Вот что». Однажды, когда она расплакалась из-за пустяка, Сергей спросил: «Может, ты ребенка носишь?..» Нет, ребенка она не носила. Но тут же Вере явилась мысль о том, что ей необходимо забеременеть, она посчитала, что ребенок им с Сергеем нужен, он и есть выход из положения. Все разговоры тут же умолкнут, а главное — ей, Вере, будет уже не до собственных переживаний. Сергей был против. Он сказал, что ребенка иметь им еще рано. Доводы его были разумны, однако Вера спорила с ним, раздражалась, дулась на Сергея. Наконец он передумал. Но к тому времени передумала и она. Теперь он просил ребенка, а она говорила: «Нет, ни в коем случае!» Она вообще была с ним неровной.

— Вера, да что с тобой? — сказала однажды Нина, заглянувшая к Навашиным.— Вид-то у тебя какой свирепый. Прямо как Бармалей.

Вера подошла к зеркалу, у которого она стояла полчаса назад, и заметила то, чего не замечала раньше. Напряженное состояние души, угнетавшее ее, отразилось на ее лице. Взгляд у нее стал тяжелый и суровый, а кожа на щеках и скулах словно была натянутой. «Вот тебе и стиснула зубы,— подумала Вера.— Да мне ведь за тридцать сейчас дашь!» И одета она была сейчас плохо, небрежно, как пожилая. Нина расшевелила ее в тот вечер, и Вера дала ей слово, что перестанет ходить мрачной, а одеваться будет

тщательнее и «с надеждой», как выражалась Нина. И точно, одеваться она стала опять хорошо и ярко, на работу и в магазин шла как на свидание.

28

В среду к вечеру выяснилось, что в доме нет хлеба, колбасы и рыбы. Думали, кого послать. Девочки жались, отводили глаза, они хотели смотреть по телевизору «Полосатый рейс». Сергей обещал приехать через два часа. Вера вздохнула, громко и с удовольствием пристыдила сестер и пошла в магазин. Выглядела она сегодня хорошо, лишь позавчера сделала в Москве прическу, и та еще держалась, у зеркала Вера чуть-чуть поправила ее, освежила краску у глаз и на губах, щеки слегка подтемнила тоном, чтобы потом, если они куда-нибудь пойдут с Сергеем, не тратить времени. Магазин стоял на площади имени Жданова, но сколько Вера себя помнила, площадь эту всегда называли Желтой. Площадь была немощеная — желтая глина в рытвинах и лужах, окружали ее одноэтажные дома — почта со сберкассой, универмаг, продовольственный магазин и столовая, известная и на соседних станциях тем, что в ней торговали в рóзлив дешевыми водками — перцовой, кариандровой, калгановой, дома эти непременно из года в год красили в желтый цвет. Вера удачно обошла лужи, ни единой каплей не испачкав чулки, вошла в магазин и расстроилась. Из четырех продавщиц гастронома работала одна, а торговала она товарами всех отделов, и очередь к ней стояла огромная. Однако делать было нечего, и Вера встала в очередь.

— Чтой-то это? — спросила она у соседки.

— Может, проворовались, а может, заболели,— ответила та.— Это у нас бывает.

— Бывает,— согласилась Вера.

Некоторые люди, стоявшие в очереди, были ей известны, с иными она поздоровалась, но никого не нашлось, с кем было бы сейчас приятно поговорить, и Вера, держа у колен сумку, потихоньку двигалась вперед, от скуки считала банки сгущенного молока и рыбных консервов, голубыми и зелеными пирамидами высившиеся на полках. И тут она человек за десять впереди себя увидела Мишу Чистякова. «Интересно, какое у него будет лицо,— подумала Вера,— когда он обернется?» Ей почему-то очень хотелось, чтобы Чистяков, встретившись с ней взглядом, покраснел, или смутился, или сказал и сделал нечто такое, из чего и ей и людям вокруг стало ясно, что Чистякову теперь стыдно. Однако Миша не оборачивался, возможно, он уже успел заметить Веру и больше видеть ее не желал. Или боялся. «Ну и черт с ним!» — решила Вера. И ей было неловко.

Стояла она яркая, красивая, уверенная в себе и даже воинственная на вид, как бы предупреждая всех в очереди: «А ну, только попробуйте сказать обо мне вслух что-либо дурное, попробуйте пошептаться обо мне с недобрым сердцем или губы скривить в презрении, попробуйте, попробуйте, что же вы?..» То есть она

старалась быть такой. Однако никто в магазине, казалось, и не обращал на нее внимания. Народ в долгой очереди всегда становится сердитым и нервным, люди, оказавшиеся впереди, неприятны ему, а если они еще и канителят у прилавка, то непременно вызывают раздраженные реплики сзади, парни же или мужики, желающие получить водку и вино без очереди, тут же оказываются терпеливому народу врагами. Теперь как раз отгоняли мужика, норовившего подсунуть продавщице свою посуду и получить «два бутылька́».

— Да уж разрешите,— улыбался мужик заискивающе,— а то ведь что же... Меня ведь уже за углом, в сквере, ждут, закусь разложили, работяги все...

— Иди, иди, здесь не подают!

— Жена небось где-нибудь тоже в очереди с авоськами, а он ишь!..

— И я вот только за бутылкой. И ничего, стою.

Мужик не отчаивался, надеялся уловить мгновение и все же просунуть свою посуду, однако двое мужчин покрепче оттеснили его влево, мужик сплюнул, выругался, обозвал всех бессовестными и встал в хвост очереди. На минуту очередь успокоилась, заговорила благодушно, однако тут же в магазин с шумом вошли двое парней и, не скрывая своих намерений, решительно направились к прилавку. Были это Колокольников и Рожнов. Веру они не заметили, оттого что спешили. С Колокольниковым Вера сталкивалась, и не раз, а вот Рожнов впервые на ее глазах появился в Никольском.

— Ну, чего будем брать? — сказал Рожнов громко, советуясь как бы и не с Колокольниковым, а со всеми людьми в магазине.— Две водки и три вермута, что ли?

— В очередь, ребята, в очередь,— робко сказал кто-то.

— Да бросьте вы, в какую очередь! — засмеялся Рожнов.

Однако и теперь ему возразили.

— Неужели нам, калекам, инвалидам, героям-пограничникам,— начал Рожнов уже иным голосом, с деланным плачем, в надежде развеселить очередь и смягчить ее,— и не отпустят? Ведь мы же упадем сейчас и умрем на этих досках!

— Вставайте в очередь, ничем вы не лучше нас!

Поняв, что шутки не помогут, Рожнов с Колокольниковым, видимо, решили действовать молча и силой стали протискиваться к прилавку. Двое мужчин, вызвавшиеся было поддерживать порядок, поначалу удерживали их, но и они скоро поняли, что перед ними не робкий мужичок, только что урезоненный и отправленный в хвост очереди, а здоровенные и отчаянные парни, которые по злобе могут и пришибить их на улице или тут же, в магазине. Общее мнение стало уже склоняться к тому, чтобы парням дали водку и скорее, пока не случилось какого греха. Но тут старик Дементьев, стоявший именно за одной бутылкой, сказал сердито:

— Ты чего, парень, хулиганишь? Я ведь милицию сейчас по-

зову. Жизнь, что ли, тебе на свободе не дорога, так сядешь. А хулиганить мы никому не позволим.

— Милицию? Да зовите! — Рожнов обернулся и смотрел теперь на Дементьева презрительно и с жалостью.— Испугали! И потом я вам не тыкал.

— Не тыкал! — возмутился Дементьев.— Слишком образованные стали. А без очереди лезут...

— Ну и образованные! Образованней тебя-то... Вот шумишь, а ты ответь: как правильно сказать — лошадь сдохла или пала? Ну что, старик, молчишь-то? Лошадь сдохла или пала? А?

Дементьев опешил, стоял растерянный, губы его шевелились беззвучно и обиженно, и очередь примолкла, словно все думали сейчас о том, как же на самом деле сказать правильно, лошадь сдохла или лошадь пала, и были смущены собственным незнанием.

— Ну вот, старик, и подумай, а то сдохнешь скоро и стыдно тебе будет от бесцельно прожитой жизни,— бросил Рожнов и опять стал подталкивать Колокольникова к прилавку.

Очередь зашумела возмущенно, какие-то парни стали отчитывать Рожнова, а Вера подскочила к нему, схватила за руку, дернула сильно и зло, так, что Рожнов отлетел назад метра на три, сказала:

— А ну, вставайте в очередь!

Рожнов выпрямился, готов был кинуться на обидчицу и ударить ее, но, узнав Веру, замер на секунду. Однако он не покраснел от стыда, не провалился сквозь землю, не убежал, обхватив голову руками. Он будто бы даже обрадовался Вере и чуть ли не закричал:

— Вася, Вася, смотри, кто к нам пришел! Это же сама Вера Алексеевна Навашина!

— Или уходите отсюда, или тихо вставайте в очередь,— сказала Вера, сдерживая себя.

Оставив толкотню у прилавка, выпятив богатырскую грудь, к Вере подошел Василий Колокольников, и он, как и Рожнов, был уже навеселе, однако ноги держали его хорошо.

— А что это ты нами командуешь?

— Вам бы глаза от людей прятать, с головой опущенной ходить, а вы обнаглели!

— Это отчего же нам глаза прятать? — растягивая слова, с удовольствием спросил Колокольников.— Мы люди рабочие, нам стыдиться нечего, покупаем на свои средства.

Вера заметила, что Рожнов, пользуясь тем, что вся очередь наблюдает теперь за ее с Колокольниковым разговором, тихонечко приткнулся к прилавку и сунул продавщице деньги.

— Простили вас,— сказала Вера,— так и будьте людьми...

— Простили? — громко протянул Колокольников.— Это еще неизвестно, кто кого простил! Это, может, мы тебя простили. Сама ведь тогда прилипла. А с досады потом хотела посадить нас...

— Ах ты гад! Вы теперь и следователю на меня наговарива-

ете! — Вера шагнула к Колокольникову, хотела ударить его по лицу, но Колокольников увернулся и отскочил в сторону.

Тут же подбежал к нему Рожнов, будто опомнившийся, бутылки торчали из его сумки, схватил Колокольникова под руку:

— Пойдем, Вася, пойдем. Она ведь не в себе!

— Ну ладно,— сказала Вера тихо,— погодите, пожалеете, да поздно будет.

Рожнов все тянул Колокольникова, тому бы уйти, а он не уходил.

— А ты нам не грози,— сказал Колокольников.— Нас опять к следователю тягают. Ни за что. Только потому, что ты этого добиваешься. Желаешь доказать, что чистая.

— Ничего я не добиваюсь...

— А доследование-то из-за кого начали! Ах ты, сука!

Колокольников двинулся к Вере, зверем глядел, но пошел все же к выходу и крикнул:

— Эй вы! А все равно по ее не будет! И что вы с ней в очереди стоите? Она ведь заразная! — И исчез.

Очередь опять зашумела, все были возмущены парнями и сочувствовали Вере: «Вот ведь распоясались, вот распустились. Совсем обесстыдели. И ведь слова им не скажи — десятью словами ответят, а то и кулаком, силища-то в них как в буйволах... А ты, Вера, им не спускай, съезди в милицию или еще куда, а то ведь невозможно так жить!» Долго не могли успокоиться в магазине, долго обсуждали случившееся и печалились о современной молодежи. А Вера молчала. Она сразу же хотела бежать домой, но заставила себя остаться: «Это они должны убегать, они, а не я!» Она двигалась в очереди, и с ней о чем-то говорили, а она словно бы ничего не слышала и не замечала. Будто бы ее ранили и она, превозмогая боль, ползла теперь к лазарету. Только однажды она увидела, что Чистяков смотрит в ее сторону, в глазах его была усмешка. «Ну как же,— подумала Вера,— этот доволен». Чистякову-то, по мнению Веры, очень бы хотелось, чтобы она считалась дрянью и те двое, а не он, он-то еще отмоется, еще встанет на ноги и далеко пойдет, сам будет другим читать мораль...

Как она только дошла до дома, как ее ноги донесли... В зеркало поглядела — не поседела ли? «Ну, все,— сказала она себе,— ну, все...» Зубы ее стучали, все в ней, казалось, дрожало, и когда она мыла на кухне посуду, вилки и ножи то и дело звякали в ее руках. Как бы она ни успокаивала себя, как бы ни настраивала в последние недели после возвращения матери, как бы ни подавляла в себе тревогу, все же оставалось в ней чувство, что вот-вот случится дурное, оборвется что-то важное и все полетит в тартарары.

По дому Вера ходила молча, на вид была мрачной и усталой, в разговоры с матерью и сестрами не вступала, ссылалась на головную боль. И когда приехал Сергей и она пошла с ним гулять к пруду и к Поспелихинскому лесу, она молчала, Сергея не слушала и повторяла про себя: «Ну, все... Ну, все...» То ли себе она

это говорила. То ли обращалась мысленно к своим обидчикам. Только расставаясь с Сергеем, она рассказала ему о встрече в магазине и так рассказала, будто дело было не с ней, а с кем-то другим.

На следующий день нервное ее возбуждение как будто прошло. Вера чувствовала себя вялой, подавленной. На занятиях ей хотелось спать, она зевала, прикрывая ладошкой рот. «Давление, что ли, у меня понизилось?» — думала Вера. Вернулась домой и легла с книгой в своей комнате на кровать. Но и книга ей стала скучна. Задремала, и когда проснулась, на часах увидела половину шестого. «Колокольников скоро появится на станции»,— подумала она сразу же. Она знала, что Колокольников обычно возвращается с работы в шесть двадцать семь, львовской электричкой. Если не задерживается в Силикатной, у своей девушки.

Она чуть было не отправилась на станцию, хотя и понимала, что сама мысль об этом безрассудна. Зачем ей был теперь Колокольников? Может быть, она просто желала увидеть его и узнать, как отнесся Сергей к ее вчерашнему рассказу...

А потом пришла Нина. Она возвращалась из Москвы, встретила на платформе Колокольникова, и тот на нее чуть ли не налетел. Опять был подвыпивший, весь в синяках и ругался. «Это, говорил, твоя подруга Сергея подучила! Ну ничего... И за нами не пропадет! Пусть съезжает из Никольского, не будет ей здесь житья!»

— Так, значит...— нахмурилась Вера.— Ну ладно.

— Зверем глядел! — сказала Нина. Потом добавила: — А может, не надо было тебе Сергея-то направлять... Уж потерпела бы до суда...

— Может, и не надо было...— сказала Вера. Теперь-то, узнав о синяках Колокольникова и успокоившись насчет Сергея, она и сама готова была посчитать, что не надо было...— Обидно же, Нинк. И тошно. Ведь я им простила, а они... Ведь я им простила не потому, что меня следователь уговорил, а потому, что в моей жизни все наладилось, и с матерью... Мне спокойно было, вот я и пожалела и их, и их матерей... Ведь должны они были понять...

— Ты уж терпи до суда!

— Как вы все не поймете, что суд теперь во мне! Во мне! И к себе самой, и к ним!

Часов в десять к ним в дом прибежала Клавдия Афанасьевна, выгнала девочек из большой комнаты и при матери стала отчитывать Веру:

— Ты зачем Сергея заставила драться, ему и себе вредишь, а Чистяковым и Колокольниковым только того и надо, чтобы ткнуть в тебя пальцем — вон, мол, какая! Ведь доследование идет, доследование! Подумай! Зачем дурной повод давать, надо сжать себя в кулак и терпеть до суда! Ты, Настя, ей скажи. Надо гордой быть и умной, тебя оскорбили, а ты молчи до поры до времени. Сама кулакам и горлу волю не давай, есть сила, что защитит тебя и от наговоров и от сплетен. Есть!

— Я ни в чьей защите не нуждаюсь,— сказала Вера.— Я сама себя от кого хочешь защищу! Я ни на кого не в обиде — ни на людей, ни на следователя. Но следствия и суда мне не надо!

— Может, и я раньше считала, что не надо. Но вон как все повернулось. Значит, будет и следствие, и суд. Потому что дело это уже не только твое. Это всех нас дело.

— Оно, может, и не только мое. Но уж и мое не в последнюю очередь. А мне теперь не нужно ни следствия, ни суда, поймите это! Все теперь во мне! — Вера говорила уже это не Клавдии Афанасьевне, а матери.— Во мне! Я сама должна... Сама... Иначе грош мне цена. Я другая стала! Я на многое раньше плевать хотела, а теперь мне из-за самой мелкой мелочи больно. Я теперь столько про жизнь знаю. Мне важно не то, что следствие и суд их простили или не простили, а то, что я им простила. Я! А они стали зверьми. И я в ответе за то, что случилось... И никакие посредники мне не нужны, ни суд, ни люди, ни мать, ни Сергей... У меня к ним, двоим из них, свой счет...

— Вера, суда подожди,— сказала Клавдия Афанасьевна.

— Что мне суд! Коли их посадят, что я торжествовать, что ли, стану? Зачем мне это... Мне самое главное теперь — человеком остаться. Или, может, просто стать им...

— Ну и хорошо! И стань! — сказала Суханова.— Только, главное, чтобы в тебе отцовская стихия не проснулась!

— Не проснется,— хмуро сказала Вера.

29

Ночью, часа в четыре, Веру разбудили голоса на улице, она подняла голову, ничего не поняла, повернулась лицом к стене и скоро заснула. Утром, соскочив с постели, потягиваясь со сна, она подошла к окну и увидела у калитки, возле куста сирени, мать. Настасья Степановна топором энергично отрывала от забора какие-то длинные шесты с листом фанеры наверху. По улице уже шли на работу люди, они останавливались у калитки, смотрели на фанеру, говорили что-то матери и проходили дальше. Вера, почуяв недоброе, быстро надела халатик, накинула на плечи осеннее пальто и, застегивая на ходу пуговицы, в туфлях на босу ногу выскочила во двор. Мать волокла шесты с фанерой к дому, увидела Веру, остановилась, показала на фанерный лист:

— Вот ведь пакостники!

Лист был измазан чем-то черным. «Дегтем!» — догадалась Вера. Сверху тем же черным крупно и коряво написали: «Навашина». К самому краю листа была прикручена ржавая круглая банка, похожая на старый звонок, она трещала, умолкала на мгновения, а потом снова начинала трещать. Рядом на проводе висела все еще горевшая лампочка, а к тыльной стороне листа была аккуратно прикреплена черная пластмассовая коробка с двумя батареями. «С треском и светом сделали,— подумала Вера,— Колокольников, говорят, вырос способный к технике...» Да и Чистя-

ков, вспомнила она, увлекался механикой. Неужели и Чистяков с ними, неужели и он? Сколько бы ни стояли шесты с измазанной дегтем фанерой, как бы мало людей ни видели их, а и одного прохожего хватило бы, чтобы Никольское узнало о фанере.

— Ну, гады! — выругалась Вера и обернулась: не выбежали ли девочки на крыльцо?

— Давай стащим к дровам,— сказала Вера матери,— пока они не встали.

У дров, ею же напиленных и нарубленных, топором, топором разнесла фанеру и шесты в мелкие щепы, обухом измяла замолчавший звонок и раскрошила пластмассовую коробку с батарейками, в землю осколки чуть ли не вбив.

На станцию она пошла пешком,— пусть уж без нее обсуждают в автобусе ночное происшествие, видеть и слышать никого из никольских она сейчас не хотела. «Неужели и Чистяков с ними?» — думала она. В том, что это дело рук Колокольникова, она не сомневалась.

Она уже совсем было прошла мимо клуба, но тут обернулась. Две женщины, разглядывавшие афишу, заметили Веру и, смутившись, не ответив на Верин кивок, быстро пошли в сторону станции. Вера увидела на афише издали: «Вера Навашина — Гулящая». Она подбежала к деревянному стенду, похожему на газетную витрину. К вчерашнему объявлению ночью или рано утром синей краской приписали слова, и на афише получилось: «Вера Навашина — Гулящая. Художественный фильм студии им. Довженко. В главной роли...» Тут «Людмила Гурченко» было зачеркнуто, а поверху написано: «Вера Навашина». Дальше шло: «заслуженная артистка республики», и здесь «артистку» заменили срамным словом. Вера сорвала со стенда лист плотной бумаги с объявлением, хотела было бежать в клуб, к директору, и накричала бы на него, но потом подумала: «Бог с ним. Да он и спит еще».

Она свернула объявление в трубочку, так и несла его, не знала, где выбросить, всюду, казалось ей, могли подобрать и обрывки, не решилась она и сунуть объявление в урну на платформе, наконец зашла в туалет при станции и, улучив момент, разорвала бумагу и кинула клочья в вонючую яму.

В училище она вынесла занятия, слушала преподавателей и записывала что-то в тетради, а на переменах болтала с девчатами и даже смеялась с ними. Сама удивлялась тому, что может сегодня смеяться и разговаривать легко, словно и не кручинясь ни о чем. Потом подумала: оттого она сейчас спокойна, что и фанера с дегтем, и испоганенное объявление ничего уже не могут добавить к тому, что было.

К двум часам она пошла в Вознесенскую больницу. Сегодня была её очередь подменять Елену Ивановну, назначенную в ванную. После мертвого часа она повела своих больных в мастерские — кого в швейную, кого в сапожную. «Про зубного врача не забудь!» — крикнула ей вдогонку старшая сестра Сучкова. «Помню»,— сказала ей Вера.

Мастерские размещались в соседнем корпусе, как классы в старой школе,— в длинном сумеречном коридоре друг против друга. Летом больные работали на воздухе, на полях подсобного хозяйства, сгребали сено, пропалывали капусту и картофель, собирали колосья за комбайном, в холодную же погоду в тепле мастерских они шили рукавицы и тапочки, сбивали ящики, чинили обувь. К половине пятого двух больных — совестливого и симпатичного ей Федотова и его соседа Рябоконя, занятых теперь шитьем тапочек, Вера должна была отвести к зубному врачу Николаю Ивановичу. Объявили перерыв, больные в серых, бордовых и синих пижамах высыпали в коридор. Курили возле окон, разговаривали вполголоса. Форточки окон были оттянуты веревками.

— Ну, милые мои Петр Тимофеевич и Борис Михайлович, нам с вами пора,— сказала Вера.

Сначала шли коридорами. Рябоконь прижимал платок к щеке, а встречаясь с Верой глазами, улыбался виновато. Вид он имел страдальческий, всю ночь мучил Бориса Михайловича коренной зуб.

— Ничего, ничего,— успокаивала его Вера,— сейчас Николай Иванович вам в секунду его вырвет. Там у вас один корень и остался-то... И все пройдет...

Петр Тимофеевич Федотов, напротив, был сегодня оживленный, смеялся, все норовил забежать вперед и сказать Вере что-нибудь шутливое, будто и всегда был ловким кавалером. Его совсем не смущало, что он сегодня шамкает и что рот у него старческий, без единого зуба,— он шел к Николаю Ивановичу примерять протезы. Федотов и в палате опекал Рябоконя, был он вечный и тихий хлопотун, и теперь в дороге Петр Тимофеевич старался поддержать соседа.

— Вы, Борис Михайлович, не бойтесь,— говорил Федотов.— Эка задача — один зуб. Меня как угостило под Орлом осколком, так пришлось всю нижнюю челюсть менять.

— За Орел вам Красную Звезду дали? — спросила Вера.

— Красную Звезду, да, Красную Звезду,— кивнул Федотов.

Вера знала, что в войну Федотов получил семнадцать орденов и медалей, и она часто, чтобы сделать Петру Тимофеевичу приятное, расспрашивала его о наградах.

У дверей кабинета Николая Ивановича сидели больные, а рядом курили санитары. Больных было пятеро, и санитаров пятеро. Санитары обрадовались Вере, а один из них, Степан Кузьмич, сорокалетний озорник, принялся разыгрывать несчастного Вериного воздыхателя. Вышел Николай Иванович, черный, коренастый, цыганистый, в белом халате. И он Вере обрадовался. А Степан Кузьмич все шутил, радуя сослуживцев и больных:

— Николай Иванович, взгляните на нашу Верочку, она ведь у нас не девушка, а танк. Мы вот, пятеро крепких мужиков, привели вам только по одному пленному, а она сразу двоих.

— Верочка у нас замечательная,— сказал Николай Иванович.— Я вот ее больных в первую очередь и обслужу.

Николай Иванович, врач с десятилетней практикой, был знаменит в округе. Именно к нему стремились попасть на прием и больные, и персонал, и местные жители, и избалованные москвичи, дачники из Садов. Считалось, что движения его рук и инструмента, как в кинофильме «Приключения зубного врача», вызывают лишь некий легкий и короткий звук — и дурной зуб тут же отделяется от живой плоти. Вера, случалось, ассистировала ему и видела, что Николай Иванович и вправду работает виртуозно и ловко. Он и протезистом был отменным. Верина помощь ему тоже понравилась, он похвалил Веру за понятливость и сказал то ли всерьез, то ли так, для приятного разговора: «Ты бы, Верочка, шла учиться в стоматологи. У тебя чуткие руки. И есть терпение. А зубное дело — женское дело. Я люблю рвать зубы, делать протезы, выстраивать мосты. Штопать зубы я тоже умею, но это, ей-богу, скучно и не для мужика... А у тебя бы пошло...»

Теперь Николай Иванович провел Вериных больных в кабинет, усадил Рябоконя в кресло, а Федотова на стул у стены. Лечебную карточку Федотова Николай Иванович листать не стал, он и закрыв глаза вспомнил бы все линии его десен и нёба, а историю болезни Рябоконя прочел внимательно.

— Ну что же, Борис Михайлович, сейчас я вам сделаю укол, а вы, Петр Тимофеевич, потерпите...

Укол Рябоконь перенес плохо, дергался, Николай Иванович долго не мог ввести новокаин в твердое нёбо больного. Усадив дрожащего Рябоконя на стул в коридоре, Николай Иванович тихо спросил у Веры:

— Кто он?

— Учитель. Потом пил, что ли, или просто так — все пытался унести из исторического музея глобус. Большой глобус. С комнату... Говорил — его... А так тихий... Про Петра рассказывает, про Ивана Грозного... Интересно...

— Очень боится,— покачал головой Николай Иванович,— будто на пытку пришел. А корень трудный. Хоть дроби его надвое. Нёбо плотное, наркоз его не возьмет... Н-да... Ну ладно...

Он вернулся к Федотову, и Вера поняла, что Николай Иванович волнуется. Видимо, над протезами Федотова он работал всерьез и с удовольствием, и теперь ему очень хотелось, чтобы они были Федотову как свои зубы. Помазав Петру Тимофеевичу десны спиртом, он надел протезы и остался доволен. Протянул Федотову зеркальце, и тот принялся смотреть на себя и так и этак, смеялся, спрашивал у Веры: «Ну как? Ну как?» — и Вера его хвалила, лицо у Федотова действительно изменилось и помолодело. Петр Тимофеевич упрашивал оставить ему протезы, однако Николай Иванович сказал, что прикус все-таки нехорош и два зуба следует подточить. Петр Тимофеевич вернулся в коридор, радость распирала его, он всем хотел рассказать, какие у него только что были зубы. «Вот вам и Верочка подтвердит...» И Борису Михайловичу он говорил, что тот его теперь не узнает. Рябоконь только мычал удрученно.

— Ну как, язык чувствуете? А щеку? — подошел Николай Иванович.

— Чувствую,— кивнул Рябоконь.

— Н-да... Придется вам сделать второй укол...

И опять Рябоконь пугался, головой норовил вынырнуть из-под руки Николая Ивановича. Но и от второго укола щека, нёбо, язык его и десна не онемели. Посмотрев на него в сомнении, Николай Иванович решил все же удалить корень. «Садитесь»,— сказал он Рябоконю властно. Вера продвинулась чуть-чуть вперед и стала метрах в трех от кресла, словно бы собираясь в случае нужды помочь и Николаю Ивановичу, и Рябоконю. Длинное, и впрямь лошадиное лицо Рябоконя — точный глаз метил прозвищем его бесфамильного предка — было сейчас испуганным и обреченным, все вокруг страшило его, одна Вера, казалось, напоминала ему о чем-то дружеском или по крайней мере не болезненном. Вера кивнула Рябоконю: мол, я тут. Ей было жалко Бориса Михайловича. Она и представить себе не могла, что делали ее ровесники на уроках этого учителя.

— Откройте рот,— сказал Николай Иванович.

Со взрослыми пациентами, в особенности с мужчинами, Николай Иванович держался деловито и строго, порой даже жестко, за работой он не любил шуток и успокоительных разговоров, полагая, что профессиональными улыбками и сочувствиями боли не отменишь. Сейчас он выбрал самые большие клещи, подходил к Рябоконю боком, стараясь клещи ему не показывать.

— Рот шире, шире, а голову выше, еще выше. Да не дрожите, ведь он вас мучит, от него боль сильнее, чем та, что сейчас будет... Ну, не стыдно вам?..

— Стыдно,— пробормотал Рябоконь. Тут Николай Иванович, как показалось Вере, ухватил клещами корень, потянул, напрягся.

— А-а-а! А-а-а! — закричал Рябоконь, вцепился руками в кресло, а голову пытался отвести, отбросить вверх и назад, но клещи тянули ее вниз. «Сейчас, сейчас, голубчик! — шептала про себя Вера.— Сейчас выйдет!» Однако зуб не вышел, не поддался. А Вера страдала, то она напрягалась вместе с Николаем Ивановичем, то готова была застонать от боли Рябоконя. Николай Иванович клещи с зуба не снимал, теперь он старался расшатать его и уловить верное место для последнего рывка, и вот он опять всем своим телом пытался вытянуть проклятый корень, и опять был крик Рябоконя, волновавший больных в коридоре, и ничего не вышло. Опять неудача, ослабшие плечи Николая Ивановича и задранная вверх к потолку, во спасение, голова Рябоконя... И так — еще раз, и еще...

— Отдохните,— сказал Николай Иванович.— Вера, будь добра, подай Борису Михайловичу полоскание.

Он прошел мимо Веры, бросил на ходу: «Редкий корень!» — и по его глазам Вера поняла, что отдыхать он дает и самому себе. Она протянула Борису Михайловичу полоскание с марганцовкой. «Господи, жалко-то как его»,— подумала Вера, а вслух сказала:

«Сейчас, сейчас все и кончится...» Рябоконь был слаб и бледен, Вере он даже кивнуть не смог. Вера вынула платок и вытерла мокроту под его глазами.

— Борис Михайлович,— вернулся Николай Иванович,— я вас прошу — не дергайтесь, ради бога. И не вырывайтесь. Ведь этак у нас вместо минутного дела будет полчаса мучений...

И он снова схватил клещами заросший с двух сторон десной корень, рванул, и опять не пошел, проклятый, а Борис Михайлович вскочил, кричал истошно и жалко, взгляд его останавливался при этом на Вере и будто молил о чем-то, Николай Иванович одной рукой все еще держал клещи, а другой пытался усадить Бориса Михайловича, удержать его в кресле, да силен был в страхе и в боли Борис Михайлович, Николай Иванович махнул кому-то рукой, призывая на помощь, но не ей, Вере, крикнул следом: «Степан!» Степан вошел в кабинет, подскочил к Рябоконю, ручищи свои положил ему на плечи, как бы стараясь утопить Рябоконя в покорности и покое, но и Степан оказался слаб, тут же трое санитаров, в тревоге и любопытстве стоявших у двери, подбежали к креслу, теперь вчетвером они пытались успокоить Бориса Михайловича, а он все дергался, кричал, мотал головой, и все же санитары, стараясь не сделать ему больно, а ловко, как они умели, осадили Рябоконя, и Вера перестала видеть Бориса Михайловича. Теперь перед ее глазами было сухое, напряженное лицо Николая Ивановича и четыре спины санитаров, белая материя халатов, казалось, была натянута на этих здоровенных спинах, того гляди могла затрещать, и Вера вдруг подумала, что это все происходит не с Рябоконем, а с ней. И крик был ее, и боль была ее, и отчаяние ее.

Вера выскочила в коридор, закрыв лицо руками, опустилась на стул и зарыдала.

30

В училище она наутро не поехала. Она и прежде накануне вечерних дежурств договаривалась со старостой группы, и та ее пропусков по доброте души не отмечала. А теперь Вере было все равно, заметят ее отсутствие или не заметят.

Она спала долго, и мать с сестрами ее не тревожили. Часу в одиннадцатом она проснулась, услышала голоса на улице и в доме, лай соседских собак, кудахтанье кур, но встать не захотела, натянула одеяло на голову и вскоре опять задремала.

Встала она в первом часу. День был ветреный, но теплый, быстрые облака наплывали на солнце с юга. Вера пошла на кухню, на плите ей оставили тушеную картошку и жареную треску. Вера умылась, села к столу, пододвинула к себе сковороду, тарелку с малосольными огурцами, маленькими, последними, ломоть хлеба взяла и посолила его, однако много не съела. Тошнота подступила к горлу. Вере опять стало тоскливо, словно бы от этой тошноты. Тихая сидела она у стола, смотрела в никуда.

— Молоко бери, свежее,— прозвучал над ней голос матери.— Или вон яблоки. С дерева.

— Ладно,— не поднимая глаз, кивнула Вера.

— Учительница твоя приходила. Евдокия Андреевна Спасская. А ты спала. Хотела с тобой поговорить. После обеда еще придет.

— Зачем она мне?

— Ты ее послушай. Она справедливая. А жизнь у нее была нелегкая. Сама знаешь. Она мне сказала: «Пусть не отчаивается...» Ты ее послушай...

— Я и не отчаиваюсь!

— Тетя Клаша Суханова поехала в город, в милицию. Чтобы прекратили они разговоры и эти безобразия. Тетю Клашу-то в милиции знают.

— В милицию так в милицию,— резко сказала Вера и встала.

Мать говорила с ней, как с больной, предупредительным, ласковым тоном, стараясь успокоить дочь и дать ей надежду, что вот-вот достанут и привезут лекарство, от которого станет легче. Однако лекарство Вере теперь не требовалось.

— Я за грибами схожу,— сказала Вера.— Может, отдохну...

— Какие в этом году грибы,—вздохнула Настасья Степановна.

Вера чувствовала, что мать, понимая ее состояние, боится отпустить дочь со своих глаз, но одновременно она, видно, полагала, что в лесу, собирая грибы, в ровном и тихом занятии, в одиночестве, она, Вера, как это бывало с ней не раз, успокоится и отойдет от вчерашнего. Потому мать хотя и не одобряла Вериного желания, но и не препятствовала ему. Она только сказала на всякий случай:

— А если Евдокия Андреевна придет, учительница?

— Если ей надо, так и вечером может прийти.

— Неудобно ведь...

— Могла бы и раньше прийти, если бы хотела.

Настасья Степановна покачала головой, но ничего не сказала.

На террасе Вера отыскала свою корзинку, отличную от сестриных и материной тем, что у нее ручка была сплетена из прутьев, не очищенных от нежно-зеленой некогда коры. У Веры была примета — только тогда к ней в лесу приходила удача, если она брала свой нож и свою корзину, а в корзину еще и непременно клала прозрачный пакет с вареным яйцом, щепоткой соли и ломтем хлеба. И хотя сейчас она знала, что не проголодается, все же положила в корзину привычный лесной паек. Нож она нашла в кухонном столе. Грибной нож остался Вере от отца, был он простой перочинный, с двумя лезвиями — одним коротким, консервным, другим прямым, тонким, сантиметров в семь длиной. На бледно-фиолетовой пластмассовой ручке ножа с обеих сторон имелись зайцы с прижатыми к брюху лапами, а под ними была оттиснута цена— два сорок.

Потом она стояла перед зеркалом, причесывалась и решала, что ей надеть. Обычно осенью она ходила в лес в старых лыжных

брюках и ношеных резиновых сапогах. Сейчас она с сомнением глядела и на серый свитер, и на сапоги, и на лыжные брюки. Они казались ей бедными и неприглядными. «А что это мне выряжаться-то!» — разозлилась вдруг Вера на самое себе, пошвыряла юбки и платья, снятые было с плечиков, обратно в шкаф. Все те вещи были уже не ее. Оделась Вера так, как и прежде одевалась, уходя за грибами, еще и болонью взяла на случай дождя.

Из комнаты своей Вера вышла сердитая, хмурая и сразу же почувствовала, как мать и сестры будто вцепились в нее глазами. Они и весь день смотрели на нее настороженно, однако молчали, может, опасаясь Вериных резкостей в ответ, а может быть, не желая напоминать Вере лишний раз о ее беде. И все-таки они смотрели на нее так, словно бы она могла уйти сейчас навсегда. Как хотелось ей броситься к ним, обнять их, волю дать слезам, вымолить у каждой, а у матери в особенности, прощение за те беды, которые им пришлось испытать из-за нее, непутевой старшей дочери... Вера, прикусив губу, прошла мимо матери и сестер быстро и деловито.

Уже у калитки на песочной дорожке она оглянулась и увидела на крыльце мать, Соню и Надьку.

— Вернешься-то когда? — крикнула мать.

— Не знаю,— сказала Вера.— Я спешить не буду. Сначала пойду к Поспелихе. А потом, может, загляну под Алачково.

— Нет грибов-то! — крикнула Надька.

— Может, и найду...

— Вера, ты это.. ты недолго... Клавдия-то из города приедет...

— Ладно,— сказала Вера.

— Возвращайся скорее,— крикнула Соня,— а то беспокоиться будем!

Закрывая за собой калитку, Вера взглянула назад, снова увидела на крыльце мать и сестер, и так ей захотелось, чтобы они не пустили ее никуда... Однако надо было идти.

А в лесу, одна, Вера прислонилась к осиновому стволу и расплакалась. Плакала тихо, чуть всхлипывая. Всех ей теперь было жалко. И мать, и Соню с Надей, и Сергея, и Нину. И себя ей было жалко, словно бы она сейчас прощалась со всем на свете.

Потом и глаза Верины высохли, а она все стояла и стояла, не думая уже ни о чем и не желая ничего.

Наконец стоять ей надоело, а времени у нее было много, она вспомнила о грибах и побрела по лесу, по привычке сворачивая к тайным своим местам. Небо уже заволокло облаками, свет в лесу был неяркий, но ровный, самый приятный для Веры свет, резкие переходы от солнечных пятен к черным теням глаза не утомляли. Выходить за грибами на рассвете, а то и в мокрую темень Вера не любила. Не потому, что ей было лень встать рано, просто поутру в лесу охотничало много людей, их крики, ауканье, глупые и пустые расспросы, старание забежать вперед Веру раздражали, она нервничала, суетилась, а под ноги смотрела невнимательно и рассеянно. К тому же она была убеждена, что каждому в лесу

положено свое. Сколько бы она ни собрала грибов, а и после нее и для другого человека на тех же самых местах останутся грибы — под грибами в семье Навашиных разумелись только белые. Обычно Вера уходила в лес в десять, в одиннадцать, а то и в час и приносила добра ничуть не меньше, чем утренние грибники.

Теперь в лесу было тихо, встретились Вере лишь две старушки, возвращавшиеся домой. Корзины их были пусты наполовину, а старушки, видимо, знали места. Минут сорок ходила Вера по лесу, нарезала только лисичек, опят и подрябиновок, правда, больших и крепких, с круглыми следами улиток на черных шляпках. Две недели назад здесь было сухо, Верины сапоги даже стали тогда серыми от пыли — это в лесу-то! Теперь земля была влажной, но белые Вере не попадались. И лисички-то с подрябиновками доставались ей трудно, уж больно много нападало в последние дни желтых, красных и совсем увядших листьев, они прятали низкие грибы, а на сухих местах шуршали под ногами, словно жестяные. В прежние дни Вера сто раз уже обругала бы лес за то, что в нем ничего не растет, и себя за опрометчивый поход, а сегодня ей было все равно. Пришла к знакомым ореховым кустам, росшим на склонах неширокого овражка,— всегда ей здесь везло. Теперь же по всем приметам и это место должно было оказаться пустым. И вдруг под кустом, в зеленой еще траве она увидела крупный белый. Она долго не могла его срезать, а все ходила вокруг и смотрела на него — до того он был хорош. Шляпка у него была крепкая, бугристая и темная, как горбушка орловского хлеба. Вера такие грибы называла топтыгиными. Срезав его, она стала гладить его шляпку, говорила ласково: «Ах ты мой топтыжка! Ах ты топтыжка толстоногий...» — и не сразу положила в корзину. Рядом грибов не было, но метрах в пятидесяти выше по оврагу она нашла еще два белых и поддубовик. Эти грибы тоже были крупные, но росли они скрытно.

Теперь в ней уже просыпался охотничий азарт, она глядела по сторонам зорче и с надеждой, проверила на всякий случай стежки поспелихинского стада, поиски ее стали удачливей. Тихо-тихо, а в прорубках на пнях она нарезала душистых опят чуть ли не полкорзины, чаще брала теперь солюшки — подореховки, подрябиновки и поддуплянки, а главное — нашла еще шестнадцать больших белых. Все они росли в одиночку, стояли красиво, и Вера, закрыв глаза, могла бы вспомнить, как она увидела каждый из них — на каком грибе лежал желтый дубовый лист, а какой прятался в папоротнике. Столько грибов в эти дни в Никольском никто не приносил, и настроение у Веры стало хорошим. «А еще говорили — нет грибов!» Вера представила, как она молча поставит дома корзину и как мать с сестрами удивятся. Но тут же подумала: «Нашла чему радоваться!» — и вспомнила о том, что было в последние дни в ее жизни.

Корзина сразу же стала тяжелой, тащить ее было противно, под ноги Вера уже не смотрела, а просто шла и шла по лесу. Так она добрела до Поспелихинской поляны. Взглянула на часы — де-

сять минут пятого, спешить было некуда. Колокольников возвращается с работы электричкой в шесть двадцать семь.

Поле вокруг Поспелихи было распахано, светло-бурые полосы тянулись от леса к дороге. Деревня стояла тихая. Что-то непривычное заставило Веру посмотреть на Поспелиху внимательно. Голубое пятно ярко звенело посреди деревни. Видно, кто-то купил полдома или получил по наследству и недавно выкрасил свою половину голубой краской. А так все в Поспелихе было как месяц назад, как год назад, как сто лет назад.

«Не пропадать же добру»,— решила Вера, имея в виду хлеб и вареное яйцо в прозрачном пакете, и присела на взгорбке возле кустов репейника. Паек свой она прожевала без аппетита, машинально, крошки и скорлупу смахнула с подола на траву и вспомнила, что на этом самом месте она лежала, спокойная и добрая, в день возвращения матери из больницы. Тогда все здесь было хорошо. И лес был хорош, и голубое, чистое небо, и ромашки с желтыми радостными глазами, и даже кусты репейника, свежие, сильные в ту пору, с круглыми бледно-малиновыми цветами. Да и теперь у Поспелихи было не хуже. Лес стоял все еще зеленый, лишь кое-где то тополиный бок, то верхушку березы вызолотила осень, серое небо было сейчас легким и словно прозрачным, кузнечики все еще трещали в траве, один репейник печалил, кусты его будто осыпали пылью, увядшие цветы были неряшливы и в мертвенной бахроме, но и репейник свое еще не отжил.

Наутро после той проклятой июньской ночи она решила, что весь мир ей враждебен, он нечестен и подл и она с ним или он с ней отныне находятся в состоянии войны. Ее желание отплатить парням, представлявшим этот враждебный ей мир, отплатить именно ей самой, в одиночку, без чьей-либо помощи, и было ее объявлением войны этому миру. Однако тогда она не отплатила, пожалев мать, а после успокоилась и простила парней. И потом, в день возвращения матери из больницы, она здесь, у Поспелихи, всех и все любила, чувствовала себя частицей великого и доброго мира и готова была просить прощение за то, что подумала о нем дурное. Но потом снова пришли плохие дни. Однако теперь она уже не хотела думать о мире дурное, все в нем оставалось для нее справедливым и вечным. В том, что случилось, была и ее вина, она заблудилась, по своей глупости, по высокомерию забрела на чужую дорогу. За эту вину надо было теперь платить. Не раз приходило ей сегодня в голову: а может быть, себя — и все, и ладно? Но она вспоминала Колокольникова и Рожнова и говорила себе: «Нет!» Они были для нее звери. И они, по ее мнению, уже не принадлежали справедливому и доброму миру. Они сами перешагнули его границу. Она им простила. А они сами предали себя. И никакие посредники между ними и ней не были теперь нужны. Так она считала. Ей казалось, что она имеет на это право.

Вера встала и пошла лесом. Сколько бы она ни уговаривала себя не думать о парнях и в особенности о Колокольникове с

Рожновым, не думать опять о них и о своем к ним счете она не могла.

Смутно и тревожно было у нее на душе. И на станцию ее тянуло. И в то же время ей хотелось, чтобы случилось нечто такое,— мать бы, что ли, отыскала ее и увела домой, событие ли какое началось для всех и она, Вера, оказалась бы в его круговороте песчинкой, или уж на крайний случай теперь же подвернула бы она ногу и никуда не смогла бы идти. Однако ничего не происходило, и Вера шла к станции.

Вскоре она не просто шла, а почти бежала. Она взглянула на часы и поняла, что не рассчитала время и, наверное, опоздает. Она и хотела опоздать, но шаг не утишала. Уже не могла. Она вышла из леса и теперь подходила к станции с северной стороны, окраинными улицами Никольского.

До станции она еще не дошла, а уже увидела, как подъехала московская электричка. Тогда она бросилась не к платформе, а к автобусной остановке, полагая, что Колокольников пешком домой не пойдет. «Хоть бы не приехал он, хоть бы задержался у своей девушки в Силикатной!» — молила она при этом. Сошла толпа с перрона, выстроилась очередь в ожидании автобуса, а ни Колокольникова, ни Рожнова между тем нигде не было. «Ну, слава богу, не приехали»,— выдохнула Вера. Она дала себе слово сейчас же идти домой, а сама стояла метрах в пятидесяти от автобуса, уже полного, но еще неподвижного, стояла у пустого газетного киоска, словно в засаде, дрожала и никуда не уходила. «Еще одну электричку подожду — и все»,— решила она.

Вот уже и автобус уехал, а она все стояла у газетного киоска, ждать ей оставалось сорок минут. Мимо могли пройти знакомые и завести невзначай беседу, и она, не желая ни с кем и ни о чем говорить сейчас, стала искать место поукромнее. Хотела было перейти пути и побродить полчаса возле железнодорожных бараков, но увидела — через площадь к ней бежит Сергей.

— Ты что? — заговорил он обеспокоенно.— Где ты была? Я часа два сижу у ваших. Они тревожатся.

— Заблудилась немного,— сказала Вера,— вот вышла к станции... Зато смотри, какие грибы.

— Хорошие грибы,— кивнул Сергей.

Она понимала, что Сергей ей не верит, ему было известно, как она в лесах вокруг Никольского может ходить с завязанными глазами, и теперь она ждала, что он скажет ей резко о ее лжи и поведет домой. Но он будто растерялся и не знал, что ему говорить дальше.

— Пошли домой,— сказал он наконец робко.

— Нет... Я не могу... Я обещала подождать...

— Кого подождать?

— Нину,— сказала Вера.— Вот если на следующей электричке она не приедет, тогда пойдем...

Казалось, он был удовлетворен ее объяснением, казалось, ее слова успокоили его. Он шел теперь с Верой рядом и говорил ей

что-то о работе и об армии. Она кивала, но сама не слушала его.

— Вот, видишь? — услышала она.

— Что? — спросила Вера.

— Видишь? Новую сделали.— Сергей показывал ей на клубную афишу, крупную, яркую, ничто в ней не напоминало о вчерашних поганых словах.

— Оставь это! — чуть ли не закричала Вера.— Не говори мне об этом!

Она сразу же опомнилась. Люди оборачивались, смотрели на нее. Но и не в них было дело. Она понимала, что Сергей обратил ее внимание на свежую афишу из добрых побуждений, зачем же было на него кричать?

— Давай мороженого, что ли, съедим,— предложила Вера виновато.

— Давай,— кивнул Сергей.

Купили две пачки сливочного с орехами за пятнадцать копеек, отошли к зеленому штакетнику, окружавшему клумбу с белыми и красными астрами. Вера сняла бумажку с мороженого, откусила ломтик с вафлями и тут подумала: «А может, сейчас же и пойти домой?»

И Сергей понимал, что Вера не в себе. Пока они ходили по площади, еще до мороженого, он пытался рассказать ей, что через полтора месяца его возьмут в армию, об этом он узнал сегодня в военкомате. Новостью этой он был взволнован, а Вера словно бы пропустила ее мимо ушей. Сначала Сергея это удивило, но потом он понял, в чем дело. Он чувствовал — сейчас что-то может произойти, по крайней мере Вера ждет чего-то. «Ну ладно,— сказал он себе.— Ну посмотрим...» Он не тянул Веру домой, боясь выглядеть в Вериных глазах трусом,— мало ли что, может быть, именно сейчас ей и нужна была его поддержка. Если же Вера сгоряча задумала безрассудное, он в последнюю минуту помешал бы ей действовать. Он был уверен в этом. Он упредил бы ее в случае чего... Так он полагал. Теперь же он хотел еще раз рассказать ей о своем визите в военкомат, да все не решался — новость эта могла совсем расстроить Веру.

Облака ушли на север, солнце опустилось за деревья и дома Никольского, небо было чистое, прохладное, в ложбинах за железной дорогой собирался туман.

Пронеслись на юг два поезда — один с красными вагонами и серебряными буквами на них, бакинский, другой товарный, громкий, долгий, потом возник третий, и Вера с Сергеем еще издалека поняли, что это электричка.

— Ну вот,— заволновалась Вера.— Ну, все... Если на этой не будет... тогда идем домой...

Она и себе пообещала: сразу же, если Колокольников с Рожновым не приедут сейчас, идти домой. И хватит. И всё.

Ей захотелось вдруг убежать куда-нибудь с сырой глиняной площадки, от могильных астр на клумбе, от черных, с остатками

облезшей зеленой краски навесов над пустыми рядами крошечного рынка, от надвигающейся электрички, от настороженного Сергея, убежать и спрятаться где-нибудь одной, и сидеть там, и жить там, лицо руками закрыв в стыде и отчаянии.

Но куда ей было бежать!..

Однако побежала, будто метнулась, но не куда глаза глядят, а прямо к платформе, потом перешла на шаг. Сергей еле поспевал за ней, спрашивал о чем-то на ходу, и тут она опомнилась, остановилась, а затем тихо пошла обратно.

— Ты что? — сказал Сергей.— Ты куда?

— Да я это...— пробормотала Вера.— Я забыла... Я вспомнила... Я так...

Она встала у зеленого штакетника, там, где они с Сергеем ели мороженое. И Сергей, растерянный, встал рядом. Электричка приблизилась, разрослась, растянулась, налетела на платформу и остановилась мягко. Вера повернулась лицом к Сергею и, заметив, что нейлоновая куртка на нем чересчур распахнута, отчего и сам Сергей вид имеет небрежный и неряшливый, подтянула замок «молнии» к вязаному воротнику. Зачем — она не знала. Рука ее дрожала, и самое ее била дрожь. Она ощутила, что движение свое и холодный замок «молнии» Сергеевой куртки она запомнит навсегда, как запомнит и все сегодняшнее — звуки, слова, запахи, махровые астры на клумбе, жестяные дубовые листья на сухих местах в лесу... Тут же она и самое себя постаралась привести в порядок: брюки одернула, поправила платок и, нагнувшись, водой из лужи смыла глину с резинового сапога. Народ уже шел с платформы к ближним домам и к автобусу, и Вера тихонько пошла народу навстречу.

Колокольникова она увидела сразу, он еще шел по платформе, высокий, красивый, трезвый, синяков на его лице издали нельзя было заметить. Белая спортивная сумка легко покачивалась в крепкой руке. «Ну вот,— расстроенно подумала Вера,— не мог остаться ночевать в Силикатной...» На Сергея она не оглядывалась, знала, что он здесь, что он не отстанет, да и отстать-то от нее было бы сейчас трудно. Лиц в толпе, движущейся на нее, она не различала, а все были знакомые, не слышала она и слов, обращенных к ней. Она видела только Колокольникова. Наконец и он увидел ее, усмехнулся и пошел прямо на нее. Вера остановилась. Шагах в десяти перед ней остановился и он, глядел на нее и на Сергея, усмехаясь по-прежнему.

— Ну что? — сказал Колокольников, сказал так, чтобы и другие его слышали.— Посадить нас хочешь? А не выйдет по-твоему! Сукой ты была, сукой и осталась. Лучше съезжай с Никольского, а то не будет вам житья!

И он снова выругался громко и мерзко, потом сплюнул, растер плевок ногой.

— Ах, ты так! — крикнула Вера, бросилась вперед, резко, нервно, так, чтобы Сергей не успел ни помешать, ни помочь ей, правой рукой выхватила из корзины открытый перочинный нож

с фиолетовыми зайцами на пластмассовой ручке, удачливое грибное оружие, со всей силой, какая в ней была, снизу хотела ударить Колокольникова в грудь, хотела, но не донесла ножа до цели, замерла вдруг, застыла с ножом во вскинутой руке, сама не поняла, отчего остановилась, движение задержав, с ножом в полуметре от груди Колокольникова.

Ничто не мешало ей. И Сергей, порыва которого она боялась раньше, замер теперь, и будто силы не было у него ни для того, чтобы выхватить у нее нож, ни для того, чтобы дернуть ее, оттолкнуть ее назад и усмирить крепкими руками. И все никольские люди вокруг, видно понявшие, что происходит сейчас, и ужаснувшиеся ее намерению, будто опешили на мгновение, застыли; они глядели на нее с Колокольниковым, но предотвратить что-либо уже не могли. Сам Колокольников и не ловчился помешать ей нанести удар, он не отскочил и в сторону, а лишь отступил на полшага и, уронив сумку на сырую землю, ладонями прикрыл лицо, словно защитой этой мог спасти себя. Он был теперь как ребенок, прижатый в углу врагом посильнее.

Она не смогла ударить Колокольникова сразу, не смогла и во второй раз отвести назад руку для замаха. И не потому, что она пожалела сейчас Колокольникова, или простила его, или испугалась. Нечто иное остановило Веру. «Всё...— подумала она в отчаянии.— Нельзя этого... Нельзя...»

И она разжала пальцы, недолго подержала нож на открытой ладони, словно стараясь запомнить его и запомнить все, что было сейчас в ней самой и в людях вокруг, и потом расслабленной, легкой уже рукой бросила нож на землю, под ноги Колокольникову.

Она хотела сейчас же уйти прочь, но сразу не ушла, а минуты две стояла и смотрела на лежавший перед ней нож и на то, как Колокольников пытался поднять с земли белую сумку. Колокольников не нагнулся, а присел, и, присев, он, бледный, испуганный, глядел не на сумку, а на Веру, стоявшую над ним, будто боялся, что она все же ударит его, может, другим, припрятанным пока ножом или еще чем, тяжелым. Сумку он старался найти вытянутой левой рукой вслепую, на ощупь. Он был жалок сейчас Вере, и она, ткнув носком сапога нож, будто движением этим даруя Колокольникову жизнь, повернулась и пошла сквозь толпу, прямая и спокойная.

Она шла и слышала за собой шаги Сергея, слышала и то, что толпа, неподвижная и безмолвная секунды назад, пришла в движение, слышала какие-то слова и крики, но они ее не волновали.

Сергей поспевал за ее скорым шагом, но ни слова не говорил ей на ходу, а корил себя: он, уверенный в том, что беды не допустит, что в последнее мгновение он предпримет что-нибудь, помешает намерениям Веры, и все обойдется, сделать ничего не мог, а стоял, как оледеневший, и ничему не помешал бы. Он ощущал теперь себя слабее Веры, а в ней чувствовал какую-то новую нравственную силу, неизвестную ему прежде, возникшую в Вере совсем недавно или даже только сейчас. И он понимал, что и в нем

что-то должно измениться, иначе он и дальше будет ощущать себя человеком слабее Веры и не сможет стать с ней вровень, а какая же у них тогда выйдет семья...

Колокольников поднялся, но с места сдвинуться не мог. Он стоял и все счищал грязь с белой кожи сумки, а сам старался успокоить себя, теперь страх стал хозяином в нем. Колокольников, холодея, думал, что его могло бы сейчас уже и не быть, и мысль об этом, несмотря на все старания Колокольникова, не уходила. Еще в электричке он чувствовал, что в Никольском его ждет неприятность, может, новая повестка от следователя, о котором он старался не думать, хотя и не раз в последние дни говорил приятелям, как бы хвастаясь: «Может, посадят скоро», он храбрился, был убежден, что и нынче настроения ему не испортят, а вот как все обернулось. «Она бы убила меня,— думал теперь Колокольников.— Точно бы убила... Если бы нож не бросила... А бросила-то она его как! Будто хотела всем показать, что руки об меня марать не желает... И пошла королевой, словно она здесь главная...» Колокольников смотрел на нож, никем не поднятый, думал о Вере и своем страхе, он был трезв сегодня и не хорохорился теперь, стоял испуганный и растерянный, с ощущением вины и позора. В очередь на автобус идти ему было стыдно. И все же он понемножку успокоился. А потом заглянул в сумку и увидел свежую форму, выданную ему для завтрашней игры. Мысли об игре как будто бы и совсем успокоили Колокольникова, и он зашагал к автобусной остановке. Однако обернулся и опять увидел нож на земле и опять вспомнил о последнем разговоре со следователем.

Вера прошла пристанционную площадь, ни разу не оглянулась, знала, что на нее смотрят сейчас десятки людей, все судят о ней,— кто вслух, а кто в мыслях — и будут судить долго, и она шла все с теми же спокойствием и достоинством, с какими покинула Колокольникова и сделала первые шаги сквозь толпу. Но как только площадь и люди на ней остались позади, а дорога сменилась тропинкой, и тропинка привела Веру в тихий, мало знакомый ей переулок, Вера сразу же опустилась на неошкуренные бревна, лежавшие возле синего забора. Сил в ней больше не было, спина ее согнулась. Сергей подошел, положил Вере руку на плечо, руку его она не сняла, однако Сергею ничего не сказала, да и не хотела говорить ничего. «Ну и хорошо,— думала Вера,— что я не сделала этого. Тогда, в июне, я бы, наверное, сделала это... А теперь не могу... Ну и хорошо... Буду жить человеком, и теперь мне ничто не страшно, никуда я отсюда не уеду...»

Главное чувство, какое она испытала сейчас, было облегчение. Все, что она видела и ощущала теперь,— и серое небо, и гроздья рябины над головой, и крепкая еловая кора под ладонями,— все это опять было ее, ничто не тяготило ее и не находилось с ней в ссоре. «Все это мое,— думала Вера,— все это снова мое!» Ничто в ее жизни не кончилось, все получало теперь продолжение. Корзинка с грибами лежала на Вериных коленях, и снова это были

просто грибы, белые, подрябиновки и лисички, не имели они уже никакой злой и мучительной связи с ножом, с чужой и ее, Вериной, погибелью. «Нет, уж я знаю теперь, как жить!» — сказала она себе опять.

Вера оглянулась, с бревен была видна лишь часть площади, зеленый штакетник вокруг клумбы с последними астрами и то место, где она встретила Колокольникова. Площадь была уже пуста, одна лишь мороженщица ждала новую электричку. «Ну вот,— подумала Вера,— и пусто, и нет никого... Будто и ничего не случилось. А ведь случилось!» Надо было идти, да сил подняться не нашлось. И тут Вера увидела на площади мать и сестер. Они были еще далеко, пересекли площадь, а потом свернули на дорогу, ведущую к ней, Вере.

Мать и сестры спешили, почти бежали и словно бы что-то кричали. Тогда Вера встала и пошла им навстречу.

31

Наутро нож был передан в прокуратуру никольскими жителями Чистяковыми, при ноже было заявление, в нем описывался случай на станции и еще раз внимание властей обращалось на то, каков характер печально известной Веры Навашиной и каков ее моральный облик.

Николай Иванович Десницын, получив нож и заявление, тут же поехал в Никольское, вызнал подробности случившегося, говорил и с Навашиной, говорил и с другими людьми, а вернувшись в город, зашел в комнату к Шаталову и положил нож ему на стол. Десницын рассказал Шаталову и о происшествии на станции, и о событиях последних дней в Никольском. «Экая беда»,— покачал головой Шаталов.

— И что же ты думаешь об этом? — спросил он Десницына.

— Я не все закончил,— сказал Десницын,— но склоняюсь к тому, что прокурор был прав, посчитав, что оснований для прекращения дела не было.

— Ясно,— сказал Шаталов.

Десницын ушел. Виктор Сергеевич долго сидел молча. Потом позвонил районному прокурору.

— Считаешь, что ошибся? — спросил Колесов, выслушав Виктора Сергеевича.

— Да, видно, ошибся...

— Все ведь очень серьезно... И для тебя в первую очередь.

— Уж куда серьезнее...

— Думаю, что Десницын скоро закончит дело. Тебе будет не легко,— сказал прокурор.— И что ты теперь думаешь?

— Думать мне придется еще много, и будет над чем,— сказал Шаталов.— А теперь я хотел бы написать объяснения по поводу того, как я вел следствие и что мной руководило. Полагаю, некоторые сведения будут полезны Десницыну.

— Ну что ж, пиши,— сказал Колесов.

Теперь Виктор Сергеевич и сидел над объяснениями. Все слова, какие следовало написать, были в его голове, однако листы казенной бумаги оставались чистыми. Виктор Сергеевич то и дело вертел пальцами нож с фиолетовыми зайцами на ручке и опять вспоминал беседы с Верой Навашиной и здесь, в его кабинете, и у Навашиных дома, и опять виделась ему красивая, одетая ярко, пожалуй, даже и дерзко, девица, да и не девица, а женщина уже, до которой, как казалось Виктору Сергеевичу, не всегда доходили его долгие рассуждения о доброте и справедливости. Но были в разговоре о доброте и у Навашиной, больше молчавшей, видимо, свои доводы. Вот теперь последним доводом стал этот нож, брошенный к ногам Колокольникова. «Может быть, она и меня имела в виду, когда нож-то бросала,— думал Виктор Сергеевич,— а может, и вовсе не помнила, что был такой следователь... Скорее всего... Так я и не понял, значит, ее. А еще чуть ли не опекуном собирался стать никольской компании... Хорош опекун...»

Окна были уже синие, два часа назад разошлись из комнаты Виктора Сергеевича сослуживцы. Далекие сигналы электричек напоминали Виктору Сергеевичу о том, что ему еще предстоит добираться до вокзала и ехать в Москву. Он закрыл нож, отложил его в сторону, взял ручку и написал: «Районному прокурору...»

1969—1972



Альтист Данилов



1

Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но это так, между прочим.

Теперь Данилов бывает у Муравлевых не часто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений.

...В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет, в кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит.

На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей — и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамваем. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещий голос и тихо так, словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков, тоже у него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен ли нынче спектакль?» Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля.

Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным — молчит и молчит, только жует и глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь

шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает.

Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле — совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость — съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрей лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи — как бы чего эдакого грешным делом не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами.

А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощения.

— Как нынче лобио удалось! — радуется Данилов.

— Ты вот салат этот желтенький попробуй,— спешит в усердии Муравлев,— тут и орехи, и сыр, и майонез.

— Соус провансаль,— поправляет его Данилов, а отведав желтое кушание, принимается расхваливать хозяйку как всегда искренне и шумно.

Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда.

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.

Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе.

— Ну вот,— говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова,— а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством!

— Мучил,— соглашается Данилов. И добавляет печально:— А мне их и сейчас жалко... И этого вот барашка... И мать его осталась теперь одна...

— Глупости... Метафизика...— просыпается Кудасов.— Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете.

— Это вы зря, Валерий Степанович,— тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка.— Напротив, Володя ходит на все семинары!

— А мать-то этого плова,— добавляет Кудасов,— давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.

— Зачем вы так...— кротко говорит Данилов.

Но приходит время чая и кофе — и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета — и русский, и зеленый, а уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в среду, Фауста пел Блинников и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяку) стоит на кухне под газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жостовских подносах чайники и турки, и гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает.

— Ну как? — робко спрашивает Данилов.

— Прекрасно! — говорит Муравлев.— Как всегда!

Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева, и в блаженной полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей», куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в Набережных Челнах, он очень устает — играет и в театре и в концертах, он должен платить много денег — за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет...

Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще...

2

Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектаклей иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам при жэке встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовой, но был прикреплен к домовым.

Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал к Данилову слабость. Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов, добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат семнадца-

того века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, говорил ему: «Ах, бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода!», но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением.

Спьяну однажды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого дома. «Да я таких! — шумел он.— Лезут всюду разные!.. С бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовой, а Данилов не домовой, а только прикреплен к домовым.

Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовой Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джайв и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.

Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съежиться на зиму в гербарии третьеклассника, а он по-прежнему ходил в собрание домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски, молчали, а пили. «Скотина! — думали.— Была бы наша воля, мы бы тебя...», но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный удавленник начал к ним ходить.

И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых. Решил зайти. Дыни бухарские привез и шкуры каракумских варанов, сначала высушенные, а потом замоченные в соке гюрзы. Домовые брали угощения, а жевали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в утюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей

улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли.

— Вы что, мной брезгуете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом.

— Нет,— сказал Данилов.— Просто я соблюдаю правила гигиены.

— Что же, я заразный?

— Да,— сказал Данилов.— Вы заразный.

— Я больной, что ли? — растерялся Георгий Николаевич.

— Вы больной,— сказал Данилов.— Вы больны гриппом. К тому же вы перенесли на ногах холеру восемьсот сорок четвертого года. А бациллы ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну холера ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелые осложнения.

Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и не спеша в тишине завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка накрахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов оделил марлевой повязкой.

— А мне! — жалостливо попросил Георгий Николаевич.

— А вам не надо,— сказал Данилов.

Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал.

— Что же вы плачете? — сказал Данилов.— Вам лечиться надо.

— У меня друг погиб... растворился там,— Георгий Николаевич пальцем вверх указал,— мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь...

— Какой, простите, друг?

— Ваня... Иван Афанасьевич... Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита... Мы в жмурки вместе играли... Он под конец жил неправильно... Я ему правду в глаза говорил... И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь... Стыдно вам потом будет...

— Полно, Георгий Николаевич,— сказал Данилов.— Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете.

Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за суконные отвороты фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала.

— Выдал! Выдал себя! — кричал Георгий Николаевич.— Из-за него, из-за слюнтяя этого, весь спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я — правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!

— Уберите руки,— сказал Данилов, и Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа.

— Я на тебя управу найду! — все еще кричал Георгий Николаевич.— Раз ты к нам, к мелким тварям, ходишь, значит, ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж узнаю за что!

Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости, газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло.

Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру, обернулся на пороге и прошептал:

— Это тебе дорого обойдется...

Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые поснимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю.

Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели, словно путы какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом: «Спасибо вам... Вам-то можно было его оконфузить...» Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Кеннона. И скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло, то через день, через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации двадцать пятого дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович, тот прямо заявил: «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы, через две минуты этого неверного друга под зад бы коленом! Сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу!» Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич с Таганки, домовой в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность.

Сам же Данилов был опечален оттого, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но главное — даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случалось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской Муравлеву не понравилось, он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кух-

ню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме: «Чтоб он сгорел, этот дом отдыха!» Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку «Экстры», сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог.

Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, оказался таким сильным, что весь двадцать пятый дом назавтра заболел. И гипсовая Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под мышкой, предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да так, что в шашлычной напротив шампуры подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые в собрание на Аргуновскую приходили уже в повязках и смазав носы пироксилиновой мазью, усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич, по мнительности и начитавшись газет, решил месяца на два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию.

Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал: «Нет, все! Это в последний раз! Неужели я не умею властвовать собой! Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем устраивать чих и кашель!» Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился.

И тут на собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом на пустовавшее три месяца после улета Ивана Афанасьевича место.

3

Звали его Валентин Сергеевич, он носил пенсне на платиновой цепочке, в разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал голову назад и произносил пронзительно: «Це! Це! Це! Це!» В звуках этих действительно было удивление, но имелось и еще нечто, что пугало или по крайней мере настораживало. Шалопаи, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но

потом отчего-то стали попридерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке, но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли.

Валентин Сергеевич оказался егозой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим: «Це! Це! Це! Це!» Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле Колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вилимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком, у него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от Брюсовых тиглей и посудин могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей. А вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Неспроста, решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании.

Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне»,— сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой, а может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе и чуть ли не сознание превосходства. «Экий гусь!» — думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем.

Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы. «А то меня почему-то все стали побаиваться...» — сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич — сильный. Данилов даже засомневался: играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на соперника внимательно. Стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыс-

лей. «Ах вот ты как! — подумал он.— Да тебе эдак против Фишера играть... А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему...» Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед.

Раздался электрический треск, Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу.

— Здесь принято играть в силу домовых,— сказал Данилов.— Нарушение вами правил может быть превратно истолковано.

— Вы... вы! — нервно заговорил Валентин Сергеевич.— Вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то оттого, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали!.. А на виоль д'амур хотите играть, да у вас не выходит!..

Данилов улыбнулся. Все-таки вывел Валентина Сергеевича из себя. Но тут же и нахмурился. Какая наглость со стороны Валентина Сергеевича хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел!

— Что вы понимаете в виоль д'амур! — сказал Данилов.— И не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить.

— Значит, имею! — взвизгнул Валентин Сергеевич.

Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича.

— Вы нервничаете, — сказал Данилов.— Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре.

Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке, думал, и виоль д'амур, стало быть, меня не слушается, ах ты, негодяй!» Но на вид был спокойный.

— Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу,— сказал Данилов, забирая белую пешку.

— Не угадали, Владимир Алексеевич! — рассмеялся Валентин Сергеевич.— Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять... Что нам с вами Георгий Николаевич? Он — правильный домовой. Но он мелочь, так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за другого к вам интерес! Если это можно назвать интересом...

— А вы-то что суетитесь?

— Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня. Мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое... Я о вас слушал и чуть ли не плакал. «Да и есть ли порядок?» — думал.

— Ну и как, есть?

— Есть, Владимир Алексеевич, есть! Вот он!

И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямо-

угольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку, с маленькими, но красивыми словами, отпечатанными типографским способом. Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял.

— Прямо как пираты,— сказал Данилов.— Еще бы нарисовали череп с костями, и была бы черная метка.

— Не в последний ли раз вы смеетесь?

— А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?

— Нет,— словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич.— Я — курьер.

— Вот и знайте свое место,— сказал Данилов.

— Какой вы высокомерный! — снова взвизгнул Валентин Сергеевич.— Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей, да и вам ли нынче кому-либо дерзить! Вам ведь назначено время «Ч»!

Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени «Ч», и Данилову, как он ни храбрился, стало не по себе. «Но, наверное, это не сегодня, и не завтра, и даже не через месяц!» — успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности.

— Ваш ход,— сказал Валентин Сергеевич.

— Да, да,— спохватился Данилов.

Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке, стерпеть такое жульничество он не мог! Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи! Но тут Данилов на мгновенье вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову: «А дай-ка я ему еще и слона отдам, просто так,— решил он,— а там посмотрим...» Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захлопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями:

— Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня!

«Что это он? — удивился Данилов.— Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи, слона я отдаю ни за что».

— Не выигрывайте у меня! — взмолился Валентин Сергеевич.— Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!

Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал:

— Ну хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей!

— Батюшка! Благодетель! — бросился к нему Валентин Сер-

геевич, руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись брезгливо, отступил назад.

Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева:

— Жди своего часа!

Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ.

«Ну и вкус у него! — думал Данилов, глядя на опаленные обои.— И чего он так испугался жертвы слона?.. Странно... А ведь бас-то этот кажется мне знакомым...»

Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история»,— вздохнул Данилов. Хуже и придумать было нельзя...

4

Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил.

Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий.

Под ним, подчиняясь вращению Земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову.

Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча.

В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду, крики протеста звучали вослед нахалам таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Темиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студеными. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозовым местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкином. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое.

Она текла к нему своим ходом.

И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от тридцатишестилетнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк возле палатки «Пончики». Мужчина был виден плохо, Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то, если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал: «Сейчас бы стакан водки — и все!» Мысль эту Данилов понял.

Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине в нутриевой шапке он решился подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова.

— Холодно,— сказал Данилов, улыбаясь от смущения.

— Да, зябко,— кивнул мужчина.

Помолчали.

— Не кажется ли вам,— сказал Данилов,— что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметевским дворцом?

Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал:

— Это еще не самые худшие дома...

— Не уверен,— сказал Данилов и, помолчав опять, начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь: — Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба, вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня... У меня тяжело на душе... Мне сейчас выпить надо... А один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?

— То есть как? — растерялся мужчина.

— У меня все есть,— сказал Данилов. И достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан.— Вы, если не желаете, хоть только постойте рядом со мной...

— Ну что ж,— неуверенно сказал мужчина,— если вам нужно, чтобы я постоял...

— Вот и спасибо! — обрадовался Данилов.— Только давайте

отойдем отсюда вон за тот забор. А то не ровен час — милиция или женщины-дружинницы. И по десятке сразу возьмут, и письма отправят на работу.

Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского, или коньяка, или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля, водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать! Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине:

— Вот, пожалуйста, примите... Я больше не могу... Но не пропадать же добру!..

— Нет, нет, нет! Что вы! — заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил.

Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал:

— А больше стакана вы и не хотели.

— Что? — как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно.

— Нет, нет, это я так,— быстро сказал Данилов.

Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться, мужчина сейчас мог пуститься в откровения, и в этом ничего плохого не было бы, но назавтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи.

Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюково он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо, он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение.

Минут через двадцать они уже были над Останкином. Тут и началось! Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило, сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот наконец движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало

быть и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как! — думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда.— Ах как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.

И тут он не удержался, а, махнув на все рукой, позволил себе созорничать — противу правил оделил себя еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем, никак, по воле Данилова, друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суете электрического движения несся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства.

А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью сто пятьдесят километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. А однажды в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился.

«Хватит! — сказал себе Данилов.— Все. Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать...» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Темиртауской метеостанции.

Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета, да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным, он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе как в подсобном для разгона средстве не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше,

в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой.

Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения.

Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть! — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так.— Неужели и такие теперь вхожи?.. Кто же он есть-то?..» И он полетел дальше.

Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и вот сейчас же он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, но это, по мнению Данилова, было бы все равно что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел. А только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправится, бывало, в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется поневоле на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозаннский дом Сименона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, стычки демонстрантов на Соборной площади в Санто-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы, ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко, но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять.

Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах, в самом Париже и в пятидесяти лье от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскориала, сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым веником вымести наконец оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе: «Непременно в следующий раз», однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. А под ним уже плескалась атлантическая вода.

Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелился бы их надеть! Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе хоть и в мороз мог появиться в валенках. Он был щеголем.

Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами, но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей, материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь, два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем, старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости — и начался бум. Что тут творилось! Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья — и от «боингов», и от допотопных «фарманов», по четыре каждый, и даже от не существовавших тогда «конкордов». «Тьфу!» — сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатеже и Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет, вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он скромно достал крылья от «ИЛ-18», ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни

ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры, все ведь это было так, побрякушки! Цветные стеклышки для папуасов! Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других...

Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее там и тут на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была еще хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки, а вот спижонил, наволок камней, уложил их да сверху еще их и вылизал, и раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, садился на полосу как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами да еще и оплел их орнаментом дорожек, нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал их исследования, страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес проницательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть, уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы.

Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт, гранитный тесаный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся.

Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучала Данилова. Эх, отложить бы сейчас, думал Данилов, все это на когда-нибудь потом да и забыть обо всем... Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени «Ч». Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза.

Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали?

Ведь хуже него есть личности — и живут себе, и никто их не трогает...

Понять бы, чем он вызвал назначение времени «Ч»? И кто ему это время назначил?

«А-а-а-а! Что гадать-то! — подумал Данилов с чувством обреченности.— Гадай не гадай, а исход один...»

Он был нервен, печален, купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но, главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать, да как-нибудь и судей и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца...

«Какие же статьи договора они мне припомнят?» — думал Данилов. Между ним и Канцелярией от Порядка был заключен договор. Начальник Канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами, Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитали это решение либеральным и великодушным, Данилов кувыркался от радости в воздушном океане. Да что там говорить! За своеволия Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором.

Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно — из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же и сгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. Пунктом «б» семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на даниловском кладбище — ведь по людским понятиям он родился в конце восемнадцатого столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей Канцелярии от Познаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий.

Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился неза-

конnорожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принюхивались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу-ты! Человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, нечесаная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в Седьмом Слое Удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в Обменный Фонд. Ну, ладно, гусь и старушка! Дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения.

Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея Канцелярии от Познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался не лишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны.

На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах душ, все — и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это — в единое мгновение! Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как это делали люди. С любопытством, дотошностью и умением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все!

Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лицея на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами: «Наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться.

Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине, чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок

об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, со рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда, тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда.

Это было унизительно! То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися к лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило! Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно! Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы! А что уж хуже и позорнее этого! Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в Группу Борьбы за Женские Души.

Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам, теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью,— иначе не иметь ему стипендии! — Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще вослед с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц! Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» — спрашивали. «Да уж чего проще,— говорил Данилов небрежно,— сны-то им золотые навевать!» — «На шелковые ресницы, что ли?» — «Ну если желаете, то и на шелковые...»

Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из Канцелярии от Улавливания Душ, из Управления Женских Грез. Однако его забрали во внутреннюю Канцелярию от Наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в Седьмом Слое Удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и в ус не дул. Времени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг — раз! Жизнь его круто изменилась.

И порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем Девяти Слоям (так Данилов называл теперь тот мир). Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба! Ба! Ба!» — раздалось в комиссии, и давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились

там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец. И вышло решение, среди многих прочих: Данилова как неполноценного демона отправить на вечное поселение на Землю, в люди.

Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в тысяча девятьсот сорок третьем году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом — оркестр на радио, потом — театр. Оттого, что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в Девять Слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго. Да и то с особого разрешения. Данилова в Девяти Слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах Земля так и называлась — Тот Свет, а иногда и — Тот Еще Свет. Данилов теперь и был в ведении Канцелярии от Того Света.

Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из Канцелярии. Сонные чиновники, там, наверху, Даниловым были недовольны, ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям, стало быть, вреда. Данилов скрепя сердце вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов, при этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям. А ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от Канцелярии молока за вредность. Из Канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду. Свою ли собственную внутреннюю вредность или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды? Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности, и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. Наконец в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий, и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в Канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы, они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник Канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бил-

ся в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра Земли.

Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодечества. Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор.

Данилов не верил, думал, что над ним издеваются, а его вызвали в Канцелярию от Порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора.

Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны не чем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведома зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демоны же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой: заключить с Даниловым договор, с сохранением Данилову демонического стажа, и считать его отныне демоном на договоре.

Но мало ли что могли предложить теоретики, не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло, и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины. Но в Девяти Слоях о нем сложилось мнение не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходятся без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих Девять Слоев, не делал, критик не наводил, арий не пел, не то что его отец, вольтерьянец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны.

Но Данилову все это не было сказано. Его бранили и унижали, брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении Канцелярии от Того Света. В третьей статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится — в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы «Небо — Земля», часы Данилову были не нужны, вместо часов Данилов и носил теперь браслет, никогда и нигде, даже и в парной в Сандунах, его не снимал, а если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось.

На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней — буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н» чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений, Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали.

Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в Канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опередить чиновников и сам нашел себе дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в Управление Умственных Развлечений земные шутки, очень ценимые в Девяти Слоях. Шутки передавали в Канцелярию от Наслаждений. Однажды он забыл отправить в Управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток оттого, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе, тогда они становятся особенно хороши,— это открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил из Управления теплое письмо, в нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них! Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат — рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы — для особой крепости раствора (он ждал Муравлевых на пельмени). Горчицу Данилов шиш получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчичников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный, чудо какое-то явилось ему, сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом.

Все шло ничего, вроде бы Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось, что только Канцелярия от Наслаждений довольна им. С точки же зрения его Канцелярии от Того Света он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, тыкали носом в статьи договора, уговаривали не позорить честь непорочной Канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал исправиться. Однако не менялся.

Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к останкинским домовым, по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестья — это демона-то и к домовым! А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то

ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить унизительное свое положение. (Впрочем, теперь он бывал у домовых редко. Но это — из-за занятости музыкой.)

Суета человечьей жизни опять захватила его, он махнул рукой на угрозы и предостережения и решил, что пусть все идет как идет. И вот — дождался! Явился порученец Валентин Сергеевич или кто он там на самом деле и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени «Ч».

Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах под шкурой древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог.

«А ведь они мне дают срок что-то предпринять,— думал Данилов.— Последний срок, но дают. Иначе бы они меня немедля вызвали в судилище... Хотят, чтобы я сделал выбор... Это еще не конец... Время есть... Что-нибудь, а придумаю... Правда, не сейчас... а потом... потом...»

Соображения эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал.

Но вскоре его разбудило хриплое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот был старый, полуслепой и облезший — и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. Да что там скорняк! Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное, бы удивил — он был ростом с теленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. И то ведь — завелся он в Египте во времена Изиды и Озириса и очень скоро, без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам, стал священным покровителем Музыки и Танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось. Кое-что звучало и подпрыгивало. Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще тлел интерес к музыке, потому-то Данилов и любил кота и позволял ему появляться в своей пещере, а в пещеру он допускал немногих.

— Здравствуй, Володя,— сказал Бастер.— Я тебе не помешал?

— Здравствуйте,— кивнул Данилов.— Я рад вас видеть. Я так... вздремнул...

— Хорошо,— сказал Бастер.— Я посижу молча.

Данилов закрыл глаза, говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни — и тут кота можно понять, но вот отвечать ему будет невмоготу. «А отчего же потом-то искать выход? — подумал Данилов.— Надо решить теперь же, непременно теперь...»

Но тут как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение Эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух

пещеры, с цветами анемонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фисташкового кимо́но проведя по щербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и цветы анемоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки. Кот Бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе некстати. Когда-то между ними была страсть, от страсти той таял лед в Гималаях и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клокотала в безумных кратерах Курил. И теперь Химеко иногда волновала Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свиданья с Химеко, теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю. Но Химеко прижала тогда палец к губам и покачала головой, и Данилов, смирясь со своим печальным жребием, принял ее обычай, называемый цумадои, а значит, и стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких, гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было! Кабы вернуть те хмельные полеты юных лет!

Химеко все стояла молча и глядела на Данилова, была покорна, словно его раба, чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе: «Нет! Ни в коем случае! Нынче не до баб!.. Разве примешь с ними важное решение!» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола.

А во взгляде Химеко появилось нечто новое, тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими рукавами кимоно и вскрикнула.

Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов в глубь пещеры, там и замерла в забытьи. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку — и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пе-

щеру заволокло паром, у Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеко бросила в чашу лепешку кагамимоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя, в извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова — и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилова, вскричала «Дзисай!» — и исчезла.

— Постой! Не надо! Не делай этого! — Данилов, вскочив с лежанки, крикнул вослед Химеко.

Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко, к ее наивным приемам, уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил — и нежная Химеко была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него, Данилова, мог погибнуть его Дзисай, или несущий печаль! По древнему обычаю Химеко одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала Дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химеко, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай, как, впрочем, и Дзисаи по иным поводам, не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую, отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс», было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых, не ел ничего он мясного, даже и из консервных банок, а на женщин глядеть он и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова или бы он опасно занемог, сейчас же Химеко должна была бы объявить Дзисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химеко унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы ни желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный.

«Дела мои, стало быть, плохи,— пришло ему на ум,— может, и выхода нет...»

Но снова послышалось хриплое мурлыканье — и возник кот Бастер, покровитель Музыки и Танцев.

— Я потихоньку посижу,— сказал Бастер.

— Сидите,— кивнул Данилов.

Но тут произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, вежливый кот Бастер, не дожидаясь, когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей, истек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист-девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия, теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано: «Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными ру-

ками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое, жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию, да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом, рассудил он, и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник не предсказанный учеными ураган, он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя «Памела». Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.

5

В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за семь рублей, и он закурлыкал по-журавлиному.

Муравлев, ворча и подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать.

На пороге стояла жена его Тамара, держала в руках авоськи, тяжелые, как блины от штанги Алексеева.

— Ну проходи,— сердито буркнул Муравлев.— Любишь ты эти магазины. Часами готова в них бродить.

— Что же делать? — вздохнула Тамара.

Муравлев рассмотрел покупки, пиво было «Жигулевское» и с сегодняшней пробкой, и был кефир, жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай:

— Пива могла бы взять и больше.

Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлек из авоськи круглую булочку за три копейки и, откусив от булочки половину, сказал:

— Данилов звонил.

— Он каждый день звонит,— сказала Тамара,— да все заехать нет времени.

— Сегодня заедет.

— Надо же! — обрадовалась Тамара.— Я точно предчувствовала, фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю: стоит. Я и подумала: вот бы Данилов пришел к нам на лобио.

— Придет, придет,— дожевывая булочку, сказал Муравлев.— Ты хозяйничай, а у меня работы много.

Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и, пока он тер глаза, Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей проница-

тельного профессора Деревенькина, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору и статье.

— Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? — вспомнила Тамара.

Муравлев, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу:

— С деньгами? Да все так же... Даже хуже, по-моему.

— Он сказал?

— Ничего он не скажет, ты же знаешь Данилова...

— Что же нам делать?

— Я не знаю,— сказал Муравлев.— У меня будет приработок... И ты хотела решать с шубой...

— Да,— вздохнула Тамара,— с шубой надо решать.

Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы, Муравлевы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлев даже и в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и ее и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое и надо было глядеть раньше,— шуба досталась Муравлевым гнилая. Выслушали Муравлевы и совет — теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н. Д. Еремченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку, охотников на них нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то чтобы шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее — и надо было действительно с шубой что-то решать.

Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три тысячи, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный альт, возрастом в двести с лишним лет, сотворенный певучими руками самого Альбани. Себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной. И за то и за другое жилье он посчитал нужным платить. Да и как же не платить-то! Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. С женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она

его, и обоим им стало легче оттого, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь, какая вещь! — радовалась она и добавляла: — Но зачем она тебе, скажи мне, Данилов?» Данилов сто раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи.

Новая его квартира в Останкине походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент, ценой в триста рублей, таких и сейчас лежало в магазинах сотни, Данилов хотел было продать его, но потом посчитал: а вдруг пригодится? Звук у альта Альбани был волшебный. Полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы альтиста Гансовского, вел неистовую, только что не рукопашную, борьбу с соперниками, ночей не спал и вымолил свой чудесный альт за три тысячи. Как он любил его заранее! Как нес он его домой! Будто грудное дитя, появления которого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гансовского даром в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к нему часа два не мог, робел, чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина — и она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник, и тогда Данилов, усмиряя в себе и страх и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл и небольшую пьесу Дариуса Мийо, и она вышла, тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все,— говорил он себе,— все!» Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином альта Альбани. Да что там хозяином! Он ощущал себя его повелителем! Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости.

Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылин-

ки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний и нижний порожек, и гриф, и подставка из клена крепятся ладно, а после — сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в Больцано нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность обегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно! Во всем была гармония, как в музыке! Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все помнил! Данилов опять сыграл пьесу Мийо, а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену, однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент.

Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра! Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе — у одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долга случались заминки, с трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации ссуд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным семьсот рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как ни мучал его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым — и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше. Благо, что вечернего спектакля у него не было.

Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно. И лобио напрасно жарилось на газовой плите.

С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было душно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции — такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а подымая от бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жэковскими книжками в руках — над дамой медными тарелками били слова: «Красна изба не кутежами, а коммунальными платежами!» Данилов сам платил, укоряя себя, уж больно много он нажег за месяц электричества. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло, приемщица, важная как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала: «Парень, ну-ка иди нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку. Пальтишко-то сними, не порть!» Данилов

исполнил справедливое распоряжение приемщицы и меньше чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой. Да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать.

В одиннадцать Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи, там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел гобоист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо», слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести: «Извини, Костя, опаздываю в театр!» На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Словенского «Хроника пикирующего бомбардировщика», дважды Данилову приходилось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он собой, и дирижер им остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать гобоиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. «Фу-ты! — расстроился Данилов.— Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы!..» Он побежал в буфет, но по дороге встретил Марию Алексеевну из книжного киоска, он был ее любимец, она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гойе и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. «Мария Алексеевна! Волшебница вы наша!» — шумно обрадовался Данилов. Сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николева, отвечавшая за вечернюю сеть. «А вот, Володя,— сказала Николева,— план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя, сочли, тут есть работа».— «Хорошо,— сказал Данилов, взяв бумагу,— я с охотой». Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. «Пойдем, пойдем,— сказал Санин.— Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру».

Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова.

— Володенька,— нервно заговорил Мелехин,— я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю...

Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и умолял Данилова часто.

— Что надо-то? — спросил Данилов.

— Устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов, у нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером...

— Сегодня вечером не могу... Меня люди ждут...

— У тебя нет спектакля! А тут всего-то сыграть, ты к людям успеешь... У нас платят хорошо, у нас же наука, не то, что у вас, искусство... Выступающие без тебя зазря приедут... Профессора, искусствоведы... Десять персон... А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машина написала... Для сравнения... Тебе же са-

мому интересно сыграть будет... Опусы-то написаны специально для альта...

— Для альта? — удивился Данилов.

— Для альта! — почуяв, что клюет, воодушевился Мелехин.— Машина для альта писала, ты представь себе! Десять персон профессоров явятся из-за одного альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят! И будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбы порушили! А каково это тебе, с твоей-то совестливостью? Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу...

— Я подумаю...— сказал Данилов неуверенно.

— Что думать-то! Ровно в семь будь у меня, ноты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям.

— Ну ладно...

— Вот и хорошо! Ты меня спас! А то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати твой знакомый, Мишка Коренев неделю обещал, а в последнюю минуту, мерзавец, отказался... В семь жду!

Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал: «При чем тут Миша-то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет, Миша Коренев — скрипач из эстрадного оркестра...» Однако соображения эти были уже лишние.

В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой плиссировкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать «Серенаду солнечной долины», взятую в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседал на Мелехина, говорил, что опаздывает, и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал:

— И вы тут? А у Муравлевых еда стынет! Ну и чудесно, поедем вместе.— И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой волнующей душу кухни.

Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возде телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты:

— У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать пьес, восемь от людей-композиторов, восемь от машины, можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас и Стравинского играешь с листа... А Мишка-то Коренев какой стервец!

Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни. И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку.

— Вот, Володя, знакомься! — обрадованно сказал Мелехин.— Знакомься, Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу...

Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была приятельницей Муравлевых и к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль.

— А это, Володя, моя подруга по работе,— сказала Екатерина Ивановна,— Наташей ее зовут.

— Володя,— протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы.

Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на рыбу Золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко:

— Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать...

— Хорошо, хорошо,— сказала Екатерина Ивановна,— мы не будем тебе мешать.

А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилось ретивое.

«Что это со мной? — думал Данилов.— Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами — и все в моей жизни изменилось?.. Ведь выпадают же иным людям чудные мгновенья, отчего же и мне чудное мгновение не испытать... Она и не сказала ни слова, и я ничего не знаю о ней, а вот вошла она — и стало и легко, и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко-о-о... Нет, нет, хватит, и нечего думать о ней...» Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза и то, как она смотрела на него, вспоминал и еще нечто неуловленное им сразу в ее облике... Однако ноты не ждали. Данилов усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности.

— Сергей Михайлович, что это? — воскликнул Данилов.

— Что? Где? — искренне удивился Мелехин.

— Вот это! Ноты!

— Это ноты, Володенька!

— Я и сам вижу, что ноты! — вскричал Данилов.— Но написаны-то эти пьесы не для альта, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то!

— Тише, тише, Володенька,— взмолился шепотом Мелехин.— Ну виноват. А еще больше виноват стервец Мишка Коренев. Неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо: мол, не может и еще черт знает что!..

— Ну и я не могу,— сказал Данилов,— у меня альт, а не скрипка.

— Сможешь, Володенька, ты все сможешь, ты же у меня единственный знакомый музыкант высокого класса, я тебе двадцать рублей лишних дам, ты возьми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть, на альте, на скрипке или на пожарном брандспойте...

— Все это мне, как музыканту,— сказал Данилов,— слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же.

— Нет, нет, я, может, не так что сказал, я — открытая душа, прости, но ты не уйдешь, неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!

И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил во гневе с альтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина, да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. И еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона или даже для ударных.

— Ну хорошо,— сказал Данилов.— Но я в последний раз терплю ваши обманы.

— Ты же интеллигентный человек, Володенька! — умилился Сергей Михайлович.

Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, развернул ноты и подумал: «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было подымать шум — и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из Страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь робеть! Да и созорничать никогда не лишне! Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали.

Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного шестеро электрических гитаристов, блестели перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали.

Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова и в случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин.

Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу уча-

стникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чащарин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали б теперь подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсенского сервиза, покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над Чащариным прямо и застыла. Чащарин ошалело уставился на тарелку, вскинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцуя менуэт. Опустилась еще метров на пять. Чащарин выстрелил снова, и опять пуля вызвала лишь кружение взблескивающей в беспечных огнях тарелки.

«Ну нет! Хватит! — отругал себя Данилов.— Экое мальчишество!» Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на Старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. «Шутник какой нашелся! — никак не мог успокоиться Данилов.— Будто юнец безрассудный!.. А ведь это я из-за Наташи! — пришло вдруг Данилову в голову.— Оттого я юнец, что Наташа здесь!..»

Сконфуженный стрелок Чащарин сказал, что в Уругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению, оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках, по виду бухгалтер, но на самом же деле конструктор машины, писавшей музыку, Лещов. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готова писать сложные сочинения на десять — пятнадцать минут звучания, не говоря уже о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачей.

— А теперь мы попросим,— сказал конструктор Лещов,— солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке шестнадцать пьес, восемь из них написала машина, восемь люди с консерваторским образованием. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определят, что писала машина,

а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше...

Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора: не был он солистом, а был артистом оркестра и вовсе не скрипку нес в руке. Однако что-то удержало его от первого признания, он лишь, поклонившись публике, учтиво сказал:

— Извините, но это не скрипка. Это — альт.

— Альт? — удивился Лещов.— Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука...

— Ничего,— успокоил его Данилов.

Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пюпитре, он все думал: а вдруг Наташа ушла из зала и он ее никогда больше не увидит? Но нет, он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него, и смотрит не из пустого любопытства, а ожидая от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен, недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством, в третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него, верно, все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пюпитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой,— думал Данилов,— как хорошо-то! Так бы всегда было!»

И когда умер звук, Данилов, словно бы не желая расставаться с ним, долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после Китриных прыжков Плисецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить: «Зачем вы? Не надо! Не надо... Посидите тихо... Не распугивайте мои звуки, они еще где-то здесь, они еще не отлетели...» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Мелехин, тотчас же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно:

— Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь, после третьей пьесы я хотел сбежать... Мишку Коренева клял, негодяя и предателя. Но тут ты начал! Как ты играл! Ты всю душу мне вывернул! А ведь в нотах-то дрянь была, мура собачья!..

— Мура,— кивнул Данилов,— мура...

— Вот, держи,— сунул Мелехин Данилову конверт,— увидишь, мы не скупые...

— Что это?

— Деньги!

— Какие деньги? — не понял Данилов.— При чем тут деньги...

— Ну бери, бери,— сказал Мелехин,— не валяй дурака!

Тем временем конструктор Лещов выспрашивал у публики, какие, по ее мнению, восемь пьес написала машина. Люди посмелее выкрикивали с места, что первые три, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что, напротив, все сочинила машина, и она же все сыграла, а солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборанта стали срамить, обозвали дураком, технократом, козлом нечесаным, хотели запретить ему смотреть «Серенаду солнечной долины». Ученые умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещов с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки, гибельные для ее женихов, сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с десятой по тринадцатую. Зал затих пристыженный. Но началась дискуссия.

Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. С дрожью в голосе говорил человек в черной маске, скорей всего проницательный профессор Деревенькин, судили о музыке и другие умы. А Данилов их не слушал. Какие-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел усталый, опустошенный... Сила, тонкая и серебряная, из него изошла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы две кружки пива. Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортани и его легких рождался звук. «Как играл-то я хорошо! — опять удивился Данилов.— Отчего это?..» И тут он испугался, подумал, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние.

Но нет, пластинки были на месте, пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец! — сказал он себе.— Скотина ты, Данилов! Можешь ведь! Раз этакую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь! Только ведь тут одного умения мало и таланта мало, тут ведь и еще нужно нечто... Вдохновение, что ли, нынче снизошло?» Наверное, согласился Данилов сам с собою, снизошло. Отчего же ему и не снизойти... «А ведь я для Наташи играл»,— подумал Данилов.

— Попросим теперь солиста театра,— услышал он голос конструктора Лещова,— поделиться мыслями о музыке, написанной машиной...

«Да при чем тут машина! — хотел было сказать Данилов.— Дура ваша машина. В душе моей музыка была!» Однако вымолвил неуверенно:

— Что же... Ну в общем... Спасибо ей, машине...

— Ну вот! — обрадовался Лещов.— Вот и музыканты начинают здраво судить о будущем, не первый уже...

«Кончили бы они эту болтовню! — взмолился Данилов.— А я бы нашел Наташу...»

Тотчас же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул:

— Ну что? Едем сейчас с Муравлевым? А? А то ведь стынет там...

— Они вас пригласили? — спросил Данилов строго.

— Ну...— замялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия.

— Вот и поезжайте,— сказал Данилов.— И передайте им мои извинения. А я не могу... Я давно не видел «Серенаду солнечной долины»... Это ведь музыкальный фильм.

— Ну да. Поезжайте...— засопел с тоской Кудасов.— Без вас они выставят на стол всякую дрянь...

Обиженный, он отсел от Данилова, двигался неуклюже, карманы его пиджака распирали образцы шоколадных конфет «Волки и овцы».

Потихоньку, не дожидаясь конца дискуссии, явно ведшей к посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном (если не считать очереди у буфета) фойе он уложил укутанный платком инструмент в футляр, обернулся и увидел Наташу.

— Это вы...— растерялся Данилов.— А где же Екатерина Ивановна?

— Она в зале,— сказала Наташа.— А мне показалось, что вы сейчас уйдете и я вас больше никогда не увижу. Я и вышла. Спасибо вам за музыку!..

— Вам понравилось?

— Очень! Я давно так не чувствовала музыку...

— Вы знаете,— застенчиво улыбнулся Данилов,— отчего-то у меня сегодня получилось...

— А мы вам с Катей место держим... Вдруг вы решите остаться на «Серенаду».

Помолчав, Наташа вдруг спросила:

— А Миша Коренев? Отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышала...

— Вы знаете Мишу Коренева? — удивился Данилов.

Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви, двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал, кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас. Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей, милый сердцу инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хороший, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно, и даже громкие, счастливые мелодии Гленна Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей и это главное. «Что происходит-то со мной? — думал Данилов.— Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки. Беспечны и азартны, как игры. Если ж и случалось мне робеть,

так это — в первые мгновенья. А сейчас все во мне трепещет — эвон! — уже целый вечер! И не видно этому трепетанию конца... И хорошо, что не видно! Неужели это — наваждение? А вдруг интрига какая?» Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил.

Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене, после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила, и возвращается именно с левой сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа.

Кончился фильм, Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выглянул из-за угла последней надежды Кудасов и, все поняв, скрылся в досаде, а Данилов остался в тишине чернобелой улицы с Наташей.

— Я живу у Покровки,— сказала Наташа,— в Хохловском переулке.

— Это же мои любимые московские места,— честно обрадовался Данилов.— Переулки в Старых Садех. А уж ночью взглянуть на них — одна радость.

— Вы проводите меня? — подняла голову Наташа.

— За честь сочту, если разрешите.

Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым, асфальтовым полем Хитрова рынка добрели до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к Хохлам. Справа от них тихо темнели палаты Шуйских и выше — длинный, голубой днем, штаб эсеров, разгромленный в августе восемнадцатого и ставший нынче детским садом, а в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гудом нотопечатня Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала, Данилов ничего не говорил ей о своих любимых местах, о путанице горбатых переулков, он отчего-то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. У Троицы в Хохлах, блестевшей и в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в Колпачный переулок, к палатам гетмана Мазепы.

— В том большом доме я и живу,— сказала Наташа.

— Вот ведь судьба! — сказал Данилов.— А я часто тут бываю. Брожу по холмам, когда устану.

— А вы не знаете,— спросила вдруг Наташа,— отчего Миша Коренев отказался играть?

— Я не знаю. Вы из-за него пришли?

— Нет. Я и так бы пришла. Но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня. Что-то о Паганини и еще...

— Вы с ним дружите? — спросил Данилов, он уже испытывал ревнивое чувство к Кореневу.

— Да... мы... дружили...— замялась Наташа.— Я его давно знаю. Мы с ним были в Перми... Я тогда сбежала из дома, из Мос-

квы, с любимым в ту пору человеком, в театр, девчонкой была, мечтала стать актрисой...

— Теперь вы актриса?

— Нет. Я — лаборантка. Мы с Катей — в одном НИИ. Как все это давно было и как все грустно кончилось!..

Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней, думал: «Что же нравится-то мне в ней? Да все! И волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос... Я и не знаю ее совсем, я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна, добрая душой или мелочна... Я не знаю... Да и все мне равно... Разве могу я теперь исследовать свое чувство... Тогда и чувство-то исчезнет... Нет, я знаю уже: она хороший и добрый человек... Она по мне человек... А впрочем, какое это имеет сейчас значение...»

— Вот все, мой подъезд.

— Я теперь буду искать встречи с вами,— выдохнул Данилов.

— И я,— серьезно сказала Наташа.

Данилов правой рукой (левой он удерживал инструмент) коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и, робея, но и решительно, привлек к себе Наташу, поцеловал ее. Она ответила ему, и не было холода в ее ответе.

Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула.

«Эдак и голову потерять можно!» — подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет.

Он бросился по лестнице вниз, оглядывая тщательным образом, будто собака Карацупы, все марши и площадки. Нигде инструмента не было.

Он выскочил на улицу. Осматривал, чуть ли руками не ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей и где, как он помнил, инструмент еще был с ним, однако поиски его были тщетными.

Инструмент исчез.

6

Утром Данилову позвонил флейтист Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев, панихида завтра в двенадцать на улице Качалова, а похороны в Бабушкине, в два.

— То есть как? — прошептал в трубку Данилов.

Флейтист Бочаров сказал, что он сам толком ничего не знает, его дело обзвонить теперь знакомых, известно ему лишь только

то, что Миша Коренев выбросился из окна своей квартиры, а она на пятом этаже кооперативного дома возле метро «Щербаковская». Оставил он записку «Прошу никого не винить...» на обрывке газеты. Смычок его валялся на полу, скрипка лежала на столе, на пюпитре же были ноты Двадцать первого каприса Паганини. У тех, кто вошел в квартиру первыми, создалось впечатление, что Миша играл, а потом отшвырнул скрипку и бросился прямо к окну.

— Он вроде женат был? — спросил Данилов.

— Да,— сказал Бочаров.— У него жена и две девочки. Если сможешь, завтра приходи.

— Хорошо,— сказал Данилов.— Я отпрошусь.

Долго он не мог подняться. Потом вздохнул и встал, рубашку надел. Ему надо было идти теперь в милицию, а затем в страховое учреждение.

«Он и Наташе написал что-то о Паганини! — вспомнил Данилов. Но тут же подумал: — А была ли Наташа-то?» Он и раньше хотел было позвонить Екатерине Ивановне и справиться о Наташе, но что-то удержало его. Да ведь и Екатерина Ивановна могла появиться вчера поддельная.

В милиции он подал заявление о пропаже альта, попросил инструмент отыскать. И страховое учреждение он поставил в известность о своей беде. Был он в бюро находок, осматривал и вещи, найденные в метрополитене, но инструмента нигде не обнаружилось.

В театре Данилова сразу же вызвали к телефону, и он услышал голос Муравлева.

— Вова,— сказал Муравлев,— мы снесли шубу в комиссионный. Так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт.

— Спасибо, Витя! И Томе передай, пожалуйста, мою благодарность,— растроганно сказал Данилов.— Вы уж извините, что я вчера вас так подвел.

— Да ладно,— сказал Муравлев великодушно.

В оркестровой яме явление Данилова с дешевым, разжалованным было альтом вызвало удивление. В яме Данилова любили и муки его при осаде вдовы альтиста Гансовского принимали близко к сердцу. В звуках настраиваемых теперь инструментов внимательное ухо могло заметить некую нервозность и лишь иногда легкую высокую дрожь иронии.

Данилову было скверно, ему хотелось рассказать коллегам об исчезновении Альбани, но он смолчал, боясь назвать правду и ею спугнуть надежду на то, что инструмент вот-вот вернется к нему. Надежда эта и так уж трепетала последним осиновым листом. В милицию Данилов подал заявление на всякий случай, для душевного успокоения. Да и страховые люди послали бы его подальше, кабы он им сказал, что в милицию не ходил. Иногда ему все же казалось, что какие-то тени мелькали в тот вечер в Хохловском переулке и будто кто-то следил за ним и Наташей из-за угла.

В одно мгновение Данилов подумал: а вдруг это электрические гитаристы, разглядев его альт, потеряли голову? Но нет, Данилов отогнал это подозрение как нелепое и мелкое: ведь и парни с кружевными манжетами были музыканты. «Эх, если бы действительно какой жулик украл мой альт!» — мечтал Данилов. Уж тут-то бы альт сыскался — в милицию Данилов верил. Однако мечта о жулике была хоть сладостной, но ложной, и Данилов это понимал. Он почти наверняка знал, что если и случился тут жулик, то уж жулик особенный. Не честолюбивому ли шахматисту Валентину Сергеевичу, неделю назад вручившему ему, Данилову, лаковую повестку с багровыми знаками, опять выпало деликатное поручение?

Если снова его дразнили или испытывали в приближении времени «Ч», то Данилову следовало проявить теперь выдержку и терпение. В этом Данилов убедил себя с большим трудом. Что-что, а уж терпение всегда было для него делом мучительным. Конечно, окунись сейчас Данилов в демоническое состояние, он бы сумел, используя свои связи и способности, отыскать следы инструмента. Но Валентину-то Сергеевичу, а главное, тем, кто за ним и над ним стоял, это только и надо было. Уж они-то теперь, наверное, и к служебным занятиям своим относились рассеянно и все ждали, когда Данилов отчается и проявит свою нервозность.

Не хотел Данилов теперь переводить себя в демоническое состояние еще и потому, что он постановил быть в музыке на Земле только человеком. А то ведь мало ли какие чудеса он мог явить миру. Явить-то он бы явил, но оказался бы с людьми не на равных, а таких условий игры, хотя бы и на альте, Данилов принять не желал. Ни в одной мелочи не был он намерен отступать от своего решения.

«А может, оно и к лучшему,— подумал вдруг Данилов,— что Альбани мой исчез? На Альбани-то и дурак сыграет хорошо, а уж если я теперь отважился стать большим музыкантом, то мне и на простом инструменте надо будет зазвучать как на великом». Он даже несколько успокоился, уверив себя в том, что непременно и скоро сыграет замечательно и на своем альте за триста рублей.

«А ведь мелким делом занялись они,— подумал Данилов.— Хотя если Наташа была вчера не сотканная из флюидов, то и дело тут не мелкое...»

Сыграли «Дон Карлоса», расходились усталые. Запасной альт дурных слов от хозяина не услышал, прозвучал он нынче сносно, да и в чем он был виноват?

«А Миша Коренев,— думал Данилов,— премудрые загадки Паганини пытался одолеть без помощи Страдивари. Не было у него Страдивари, а была простая фабричная скрипка... Ему-то теперь — все равно... А для нас — все его муки остались...»

В оркестре сегодня тоже говорили о самоубийстве Коренева, и тут сыскались люди, как и Данилов, знавшие Мишу. Да и всех взволновала гибель музыканта. Что с Кореневым стряслось — об этом только гадали. В консерватории Данилов с Кореневым особо

не дружил, в последние годы виделся с ним раза три, однажды — в концерте, а как-то — в Марьинских банях, сначала в парной, потом — в очереди за пивом. Был между ними разговор, удививший Данилова, но тут же им и забытый. Теперь открылось, что Коренев дружил с Наташей, при условии, что Наташа существовала.

Назавтра на панихиду он не поехал, а идти ли на кладбище — колебался. Он не любил похорон. Однако пошел. Мишину могилу он отыскал не сразу, увидел наконец скопление людей в холодной березовой роще, свернул туда и не ошибся. Народу было много, все больше молодые. Миша лежал спокойный, не искаженный ни мукой, ни болью, будто умер в полете к земле, а жестоких камней тротуара не коснулся. Худой остроносый человек читал над Мишей чьи-то стихи. У гроба стояла женщина лет тридцати в черном и две испуганные девочки. Вокруг было много знакомых музыкантов, кто-то из них молча кивнул Данилову, а кто-то просто скользнул по нему взглядом. Данилова сразу же что-то заставило оглянуться, и он за собой, в отдалении, у зеленой скамейки, увидел заплаканную Наташу. Данилов растерялся. Подойти к Наташе теперь он посчитал неприличным, так и стоял к ней спиной. Виденье, думал, она или — земная? Сейчас он был почти уверен, что — земная.

Остроносый человек кончил читать стихи. Стало тихо. Только перекликались зимние птицы. «Они вот поют,— думал Данилов,— и им все равно, есть ли у них талант, гений, зря ли они живут птицами или не зря. Они поют, и все. Тут всем все равно. И место-то какое ровное под тополями и березами. Всюду равенство...» Прежде, вчера и сегодня утром, Данилов ощущал смерть Миши Коренева скорее умозрительно, и Данилова волновало даже не то, что Миша ушел из жизни, а то, как он ушел из жизни. Теперь Данилов смотрел в успокоенное лицо Коренева, видно решившего в последние мгновения все, что он не мог решить за тридцать шесть лет, и для Данилова смерть из вчерашней холодной отдаленности подступала злой обжигающей реальностью. Слезы были на глазах Данилова. Он жалел Мишу, жалел его жену и двух испуганных девочек, жалел Наташу, жалел жизнь. Жалел себя. Он думал о том, что и ему самому очень скоро может наступить конец. Прежде он обманывал себя или размывал трезвые мысли о будущем сладкой беспечностью надежд. Теперь, над гробом Миши Коренева, обманы рассеивались.

Тем временем пятеро молодых людей со скрипками подошли к Кореневу и вскинули смычки. Возникла музыка, печальная, всех желающая примирить, трое могильщиков застыли, облокотившись на заступы, смотрели на музыкантов с интересом и без иронии. Чья это музыка, Данилов отгадать не смог, слышал он ее впервые, кто-то сказал рядом: «Это Мишина композиция». То, что Коренев писал музыку, было для Данилова новостью, и сейчас он, помимо своей воли, стал прислушиваться к ней так, будто сидел в концертном зале и хотел определить, хорошая эта музыка или плохая. И он понял, что в концертном зале он посчитал бы эту музыку

посредственной, теперь же и здесь она была сильной. Рыдания стали сопровождать ее.

Но только лишь стихла музыка, стихло и все. И прощались с Кореневым тихо, могильщики и те молчали. А когда гроб стали заколачивать, вдова Коренева вдруг вскричала, обращаясь куда-то ввысь: «Будь проклята ты, музыка!» Ее принялись успокаивать, одна из девочек прижалась к матери со словами: «Не надо, не надо, мама!», но вдова все кричала: «Будь проклята ты, музыка!» Данилову стало жутко. И тут вдова ослабела, опустилась на принесенный кем-то табурет и застыла.

Бросив ком мерзлой глины на крышку гроба, Данилов подумал, что все они тут как язычники, насыпающие курган. А вокруг уже возникла житейская суета, стучали лопаты о ледяную землю, люди хлопотали с венками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие выспрашивали, что и как было. Данилов решился подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы, видимо, недавно окрашена ядовито-зеленой масляной краской, и люди, проходя в суете мимо нее, то и дело пачкают пальто, брюки, платья. Данилов встал возле ограды, говорил всем проходившим:

— Будьте осторожнее, прошу вас, свежая краска!

— Ах! — махали руками иные.— До этого ли теперь! Тут — вечное, а это — сиюминутное!

Однако и философы старались не запачкаться.

Данилов стоял на посту у ограды со всей серьезностью, но успевал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась и никаких намерений не проявляла подойти ни к Данилову, ни к могиле. Держала в руках красные и белые розы.

Данилов стоял и слышал:

— Венки-то, венки влево заносите...

— ...не знаю, по три рубля, что ли...

— Ни дирижер не пришел, ни первая скрипка, ни Тормосян. Даже и на панихиде не были...

— Кабы естественным образом ушел, тогда бы пришли... А так еще неизвестно, что он имел в виду, выбросившись из окна...

— Вот там под липой на могиле руль от грузовика вместо памятника. Неужели и Мише скрипку положат?

— Вряд ли. Он ведь от нее бежал-то, от скрипки. Испугался, что ли, ее...

— Не болел он разумом?

— Да нет, тих был в последнее время, в себе что-то таил, но ничего этакого не было. Только выпивши иногда говорил: «Посредственности все мы, посредственности, так и умрем посредственностями. Неужели Паганини был такой же человек, как я, как ты? Или он и вправду душу дьяволу заложил?»

— Миша ведь и позавчера хотел одолеть Двадцать первый каприс Паганини.

— Накануне он мне что-то твердил про машину. Мол, скоро

машина будет писать музыку и исполнять ее не хуже любого гения. Я смеялся над ним...

— На поминки пойдешь?

— Нет, я вечером где-нибудь напьюсь... В ресторане или дома... Сейчас мне на запись, в Останкино...

— Пойдем... Вон автобусы у входа...

Подняли и вдову, повели с кладбища.

Тут Наташа подошла к могиле, положила на холмик, чуть присыпанный снегом, розы. Вдова уловила ее движение, остановилась было и даже будто бы хотела пойти назад, но опять утихла, подруги повели ее к воротам.

Данилов подождал Наташу.

— Вы со мной сегодня не говорите ни о чем,— сказала Наташа.— И не провожайте меня. Но если завтра захотите позвонить мне, вот мой телефон.

И, протянув Данилову клочок бумаги, она повернулась быстро и пошла мимо оград и крестов тропинкой влево, видно не желая быть замеченной вдовой Коренева.

У ворот кладбища Данилов решился подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелехина.

— Что это? — растерянно спросила вдова, не здесь она была, и неизвестно, что видела перед собой теперь.

— Это, знаете ли...— смутился Данилов.— Ваш муж выступал в нашем НИИ, и это деньги, какие мы ему остались должны...

— Кто вы? — спросила вдова.

— Я Мишин знакомый,— сказал Данилов.— Я работаю в НИИ... в клубе...

— Спасибо,— сказала вдова.— Вы садитесь с нами в автобус, у нас дома мы помянем Мишу...

Делать Данилову было нечего, он поднялся в автобус. Но хотя там уже и сидело много знакомых, желания ехать на поминки не было. «Лишний я там буду»,— думал Данилов. Но он был рад, что вдова приняла деньги и что дело, необходимость исполнения которого мучала его весь день, вышло просто и без неловкостей. Автобус свернул с проспекта Мира, не доезжая до станции «Щербаковская», остановился возле известного Данилову белого дома с лоджиями, и тут Данилов незаметно от знакомых ускользнул.

«Пойду-ка я сейчас в Марьинские бани,— решил Данилов,— благо, они напротив, выпью пива, если повезет...» Именно в Марьинских банях он и разговаривал в последний раз с Мишей Кореневым.

Пиво в банях было.

В темном буфете с мочалками, мылом на прилавке и пивным краном, над всем царившим, народу набилось множество, как, впрочем, и всегда в будние дни. Стояли строители в мазаных робах, продавцы из «Бытовой химии», тогда еще не сгоревшей, мастера с «Калибра», кого тут только не было! Морщинистая, седая продавщица, известная как баба Зина, отстоя пены не ждала, ус-

миряла инвалидов, лезших без очереди, то и дело выкрикивала: «Кружки! Кружки! Мальчики, не держите кружки! Кто с бидонами, тем буду наливать!»

Данилов пробился в угол буфета, не расплескав пиво на спины любителей, две кружки поставил на доску-стойку, обегавшую помещение, сдвинув газетную бумагу с огрызками колбасы и сыра, а одну кружку выпил сразу же и порожнюю пустил обратно к бабе Зине.

— Парень, аршин есть? — толкнули Данилова в бок.

— Что? — растерялся Данилов.

— Ну аршин, я спрашиваю, есть?

— Нет, стакан я с собой не ношу,— сказал Данилов сердито и отвернулся к стене.

«Вот так же мы и стояли здесь с Мишей год назад,— подумал Данилов,— и стакан у нас спрашивали, может, тот же самый человек и спрашивал... А Миша ему тогда сказал: «Заведи складной!»

Миша в тот день был грустен, пиво пил кружку за кружкой, но как-то без аппетита и словно бы не понимая, что пьет. А Данилов воблой его угощал. И вобла-то была с икрой. Но Миша то и дело застывал взором и усы, роскошные, д'артаньяновские, щипал, да так яростно, будто и в самом деле желал вырвать из усов клок. Разговор поначалу шел тихий и вечный, какие случаются между московскими знакомыми, долго не видевшими друг друга: как живешь, где и кем работаешь, сколько получаешь, есть ли дети (о женах вопросов не возникает, да и к чему они?), какая квартира, как с машиной. Миша спрашивал и сам отвечал, а Данилов тянул свое пиво и узнавал, что дела у Миши крепкие, денег он добывает вдоволь, несколько лет подряд ездил на гастроли на Восток и на Север с ансамблями и певицей, играл и пел сам в биг-битовой манере, в иные месяцы имел за это и по две тысячи. Стало быть, есть и «Жигули», и квартира, и две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку он от себя отодвинул резко, пиво расплескал, заговорил жадно, зло, неважно было ему, Данилов перед ним стоял или какой иной посетитель буфета Марьинских бань. «Хватит, хватит, хватит! — говорил Миша.— Хватит мне всего! И денег, и женщин, и развлечений, и комфорта! Это все шелуха, целлофан. Это все средства существования! А само-то существование — где? Где оно? Рано или поздно, но все мы оказываемся наедине с жизненной сутью — и что мы тогда? Ничто! Жизнь проиграна, Данилов! Что есть жизнь? Жизнь есть страсть. Жизнь есть жажда. Страсть и жажда к тому, что ты принял за свою земную суть. Ты-то, Данилов, знаешь, в чем моя земная суть... А я трусил, трусил, боялся рисковать, боялся нести ношу не по плечу, боялся, что от этой ноши мне не станет лучше, боялся жертвовать собой и потому предавал... Все... Я неверующий человек, но слова Иоанна Богослова меня поразили: «Любовь изгоняет страх... Боящийся не совершен в любви...» Ты понял? А я боялся, легко оправдывая свою боязнь, и жил легко, я боялся и был не совершен в любви — и к музыке, и к женщине, и к самой жизни. И теперь я не то что не

люблю, я просто ненавижу себя, жизнь, музыку! Хотя нет, музыку я еще совсем не разлюбил... Тут у меня остался единственный шанс... Я еще смогу... Ты помнишь, что говорил о моих способностях профессор Владимирский?» Данилов не помнил, но кивнул на всякий случай. А Мише и кивка не надо было. Он сразу же стал говорить о том, что ходит теперь к тренеру-культуристу. Тот задает ему особые упражнения для мышц и сухожилий плеча, предплечий, кистей рук и пальцев, и он, Миша, в последние месяцы почти добился того, что задумал. «Вот смотри! — сказал Миша.— У Паганини руки и пальцы были длиннее, но я теперь компенсирую это тем, что у меня...» Однако Миша не докончил, а взглянул на Данилова с подозрением, как на лазутчика, в глазах его появилось трезвое выражение испуга, будто он выдавал теперь государственную тайну. «Ну ладно,— сказал Миша,— мне надо идти», и он быстро, с неким жужжанием, словно изображая полет шмеля, покинул пивной буфет Марьинских бань. Лишь с последней ступеньки крутого порога, как с пьедестала или кафедры, бросил Данилову, минуя звуком кружки и запретные стаканы: «Помни! Боящийся не совершен в любви!» И исчез.

Нервные Мишины излияния тогда расстроили Данилова, но, если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке, Мише он мог только сочувствовать, но что тому — его сочувствие. А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишиных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, из бездарного проигрыша «Динамо» на последних минутах «Спартаку». Теперь Данилов вспомнил слова Коренева, и они озарились для него иным светом.

— Скрипка никому не нужна?

Немытый опухший инвалид в мятом кителе железнодорожного проводника расталкивал занятых пивом людей и раздражал их ущербным предложением. Небритый волос его был бел и мягок, лежал на щеках пивной пеной. Инвалида гнали тычками, оберегая свои драгоценные кружки, без всякого к нему сочувствия, как и полчаса назад, когда он, крича, что в его вагоне Геринга везли на процесс, лез без очереди к пивному крану.

— Скрипка никому не нужна? А? За бутылек отдам!

— Какая еще скрипка?

— А я почем знаю, какая. Скрипка, и все. Со струнами. В футляре. Большая скрипка. Футляр — дрянь, а скрипка вся лаком покрытая. Четыре рубля, и больше не надо.

— А на кой, дед, мне скрипка-то? Или вот ему?

— Сыну купи, о детях-то думай, не все пей! Бантик ему на шею надень и пусти в школу. Или можешь этой скрипкой гвозди в стену вколачивать, она крепкая. А то можешь на струнах сушить платки или кальсоны.

— Дед, сознайся, спер ты скрипку-то!

— Упаси бог! Я Геринга на процесс в вагоне возил. Никогда не ворую. В своем дворе нашел, на Цандера, на угольной куче. Так и лежала. Я во дворе обошел всех музыкантов. Кто на баяне

играет, кто на губной гармонии, кто на электричестве, а скрипка никому не нужна. Я ведь недорого прошу. Поллитру, и все. Но уж не уступлю ни рюмки. Лучше разобью дрыну-то эту с футляром.

— Иди-ка, дед, отсюда, здесь не подают.

— Простите,— сказал Данилов,— а где, собственно, ваша скрипка?

Инвалид осмотрел Данилова, оценил, видимо, его тихую, интеллигентную натуру и сказал:

— А за дверью. Здесь с ней не протолкаешься.

Только что Данилов был в воспоминаниях о Кореневе и разговоры инвалида воспринимал рассеянно, краем уха. Теперь он шел за ним в волнении, почти наверняка знал, что ему покажет инвалид. На воздухе инвалид поманил Данилова за угол бани, тут на мерзлой земле, дурно к тому же пахнущей, Данилов увидел свой альт.

То есть сначала он увидел старый потертый футляр, но инвалид неловко открыл футляр, альт и обнаружился.

— А платок где? — заикаясь, спросил Данилов.

— Какой платок? Какой еще платок? — удивился инвалид, но отвел глаза.

— Там платок был,— сказал Данилов, стараясь говорить спокойнее.

— Никакого платка! Никакого платка! — сердито забормотал инвалид.— Не хочешь скрипку брать — не бери!

Было ясно, что инвалид завладел платком, но теперь он, ворча, стал закрывать футляр, да и о платке ли стоило беспокоиться Данилову! А он не знал, что ему делать. Заявить инвалиду, что это его, Данилова, инструмент и, выхватив альт из рук отставного проводника, уйти с ним или убежать? Инвалид сейчас бы поднял крик, и публика из пивного буфета, не разобравшись, в чем дело, бросилась бы с удовольствием за Даниловым и его самого, несомненно, помяла бы, и альт, уж точно, искалечила бы до потери звука. Вести же инвалида в милицию, в пятьдесят восьмое отделение, что возле магазина «Диета», тоже было предприятием неверным — инвалид с альтом мог утечь по дороге. Оставалось — альт выкупать.

— Сколько вы за него просите? — сказал Данилов.

— За кого — за него?

— Ну, за нее...

— Сколько, сколько! Сколько стоит. Поллитру.

— Ладно,— сказал Данилов.

Он стал рыться в карманах и нашел рубль с мелочью. «У меня же были деньги,— растерянно думал Данилов.— Я же с деньгами вышел...» И тут он вспомнил: да, деньги у него были, но он их отдал вдове Миши Коренева.

— Вы знаете,— в волнении сказал Данилов,— четыре рубля у меня не набираются...

— Ну хорошо,— сжалился инвалид.— Гони три шестьдесят две, и ни копейки меньше. И так без закуси остаюсь.

— У меня всего рубль с мелочью.

— Ну нет! — возмутился инвалид, поднял инструмент и держал его теперь под мышкой.— За такую-то большую скрипку! Это на самый дерьмовый портвейн! Сам и пей!

Данилов взял инвалида под руку, заговорил ласково:

— Знаете что, поедемте ко мне домой. Тут всего-то дороги на полчаса. Я вам на десять поллитр дам...

Подозрения, возникшие, видно, в инвалиде, теперь укрепились и разрослись, он отодвинулся от Данилова подальше в уверенности, что этот хитрый бородач заманивает его в гибельную ловушку.

— Другого дурачь! — зло сказал инвалид.— Нету четырех рублей — ну и иди гуляй.

— Я вам через сорок минут привезу! — взмолился Данилов.— Вы только подождите.

— Если я через десять минут стакан не приму, меня врачи не поправят. Организм ослаблен после вчерашнего. Я эту скрипку через десять минут крушить стану.

И инвалид, повернувшись, пошел с инструментом к двери в пивной буфет.

— Постойте! — вскричал ему вослед Данилов.

Но инвалид был непреклонен.

«Что же делать? Что же делать?» — судорожно думал Данилов. Не хотел он, ох как не хотел нарушать свой принцип и демоническим образом возвращать альт, знал, что потом долго будет корить себя за слабость, и теперь чуть ли не кричал на себя, малодушного, чуть ли не топал на себя ногами, но услужливое соображение: «на мелочь нарушишь, только на четыре рубля и нарушишь-то!» — все же осилило. Данилов, закрыв глаза, перевел на браслете пластинку со знаком «Н» вперед, поймал в воздухе две мятые бумажки. Кинулся вдогонку за инвалидом, нашел его в буфете, инвалид пил пиво.

— Вот! Держите! — вскричал Данилов.

— А уж я загнал! — рассмеялся инвалид, разжал левый кулак, и на его ладони Данилов увидел трешку и рубль.

— Кому? — ужаснулся Данилов.

— А леший его знает! Маленький такой в кроликовой шапке. Он мне сразу четыре рубля отвалил. И на кружку дал. А ты жмотничал, деньги прятал...

— Куда он пошел?

— Куда пошел, туда и пошел. Мне-то что! Хоть бы и в Африку. Я вот в магазин!

Кинулся Данилов на улицу, в одну сторону пробежал, в другую, нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от Марьинских бань! Тот уж человек с покупкой сел, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. Одно лишь было у него приобретение — на некий туманный след он мог указать уголовному розыску. И тут из-за кирпичного угла Марьинских бань вы-

сунулась радостная и мерзкая рожа честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками, высунулась, показала Данилову красный язык и исчезла.

«Вот оно что! — понял Данилов.— Дразнят меня! И дразнят-то глупо, а вот провели как ребенка! Им только и надо, чтоб я ответил. Терпи, Данилов, терпи. Как друга прошу, терпи. И так уже вляпался, хоть и на мелочь, хоть и на четыре рубля, а все втравился в их развлечение. И не то плохо, что они получили удовольствие, пусть их тешатся, а то плохо, что я в нетерпении изменил принципу. Нет, все. Альт для меня должен перестать существовать. Нет Альбани, и все. И не было. И не будет...»

Однако Данилов посчитал, что все же не лишним будет зайти к следователю в милицию и рассказать ему про инвалида и про покупателя в кроличьей шапке. А вдруг останкинская милиция окажется сильнее и расторопнее порученца Валентина Сергеевича?

Вечером играли «Лебединое». Данилов думал о Наташе. Были мгновения, когда душа его так сливалась с музыкой Петра Ильича, что Данилов чувствовал себя принцем Зигфридом, а Наташа виделась ему бедной заколдованной лебедью, и Данилову хотелось пойти и разрушить в прибрежных камышах злые чары. Когда партия альта в партитуре по желанию Петра Ильича отсутствовала, Данилов доставал из кармана клочок с телефоном Наташи и рассматривал его. Но вот злой гений был сломлен, утих перьями на подметенном в антракте полу, музыка воссияла финалом. Зажглись и электрические огни. Чуткий на ухо дирижер за сценой подошел к Данилову, сказал ему: «Спасибо!» Данилов удивился, он был смущен, он чувствовал, что играл хорошо, но от дирижера одобрения не ожидал. «Ваш инструмент сегодня украшал наш оркестр»,— добавил дирижер, поклонился и пошел по коридору. «Он-то, наверное, думает, что при мне Альбани...» — пришло в голову Данилову. Отрадно было то, что слов дирижера никто не слышал...

Банное явление альта все вернуло на свои места. Что Данилову было дорого — по тому и били. Пока были довольны альтом, а узнали бы про близкого человека — и человека этого тут же бы смяли ради своих холодных забав. Даже если сейчас Наташе плохо, даже если он ей нужен, все равно от того, что он окажется рядом с ней, ей же в конце концов станет хуже. Он, Данилов, человек, но он еще и демон на договоре. И рисковать будущим Наташи, а то и жизнью ее, он не имеет права. Ему уже сообщено о времени «Ч», оно ему еще не названо, но где-то определено с точностью до микросекунд и может быть объявлено ему в любое мгновение. Судьба его взвешена и просеяна в ситах, что же ему теперь-то морочить Наташе голову и ранить душу, коли завтра он станет вдруг никем, утеряет свою сущность и даже не перейдет ни в какое вещество! Но это ладно, это его жизнь. А как бы не пострадала Наташа оттого, что он, Данилов, был теперь влюблен в нее, как бы не сгубила ее его земная любовь.

Данилов в троллейбусе разорвал клочок с телефоном Наташи и

сунул бумажки в ящик для использованных билетов. Однако облегчения не испытал — номер телефона он помнил.

Обычно после «Лебединого» Данилов, успокоенный, просветленный, засыпал быстро. А теперь все ворочался. Как будто бы и не Наташа его беспокоила, с Наташей дело было решено. Данилов выпил барбамил, но барбамил не помог. Стараниям барбамила явно препятствовало нечто постороннее. И тут пластинка с буквой «Н» на его браслете сама собой сдвинулась вперед, подтолкнув Данилова в демоническое состояние. «Вот оно? Вызывают! Сейчас и назначат уточненное время «Ч»!» — подумал Данилов, хотя и знал, что время «Ч» объявляется иным способом. «Примите депешу!» — ощутил Данилов деликатный сигнал. Депеша была короткой, Данилов расшифровал ее сразу же и уяснил, что на Землю по премиальной путевке Канцелярии от Наслаждений на две недели каникул направляется однокашник Данилова по лицею Кармадон.

Данилов понял из депеши, что Кармадон в последние годы провел блестящие операции в созвездии Волопас, теперь премирован отдыхом на Землю, и Данилов обязан взять на себя хлопоты об его ночлеге и развлечениях. «Что же, они не знают, что ли, что мне назначено время «Ч»? — подумал Данилов.— Если не знают, то и пусть!»

Данилов перевел себя в человеческое состояние и скоро заснул. Засыпая, опять вспомнил слова Миши Коренева: «Помни, Данилов, боящийся не совершен в любви!»

7

Утром в половине шестого Данилова разбудил телефон. «Неужто Наташа?!» — вскочил с постели Данилов. Звонила его бывшая жена, Клавдия Петровна.

— Слушай, Данилов,— сказала она.— Я собираюсь выйти замуж за профессора Войнова...

— Я слышал,— сказал Данилов, задерживая зевок.— Это который по экономике Турции... Я рад за тебя...

— У меня сегодня очень важный день, при профессоре начинается мой испытательный срок, ты должен освободить меня от всех забот, я прошу тебя как друга,— решительно сказала Клавдия.

— То есть каких забот? — взволновался Данилов.

— Ты должен выполнить уйму моих дел, и домашних, и служебных. Мне надо развязать руки, ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет мне поначалу при таком серьезном человеке, как Войнов.

— Но я-то тут при чем! — тенором взвился Данилов.— Я же тебе давно не муж. Мы разведены судом!

— Ну, Данилов, милый, ах какой ты несносный, ты же обещал быть мне другом... Ну смилуйся, государыня рыбка! Ну-у... А, Данилов?.. И потом, наконец, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка... Даже отцом многих

моих детей...— Последние слова Клавдия произнесла с прежней лаской, но и с угрозой, словно давая Данилову понять, что имеет все права на исполнительный лист и из-за несговорчивости Данилова своими правами вынуждена будет воспользоваться, хотя это — крайний случай и дурной тон.

— Помилуй...— начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла заговорить умирающая лебедь Сен-Санса — Плисецкой, уже затрепетавшая ослабшим крылом:

— Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь...

— Ну ладно,— вздохнул Данилов.— Но я могу только по утрам...

— Вот и прекрасно! — воскликнула Клавдия.— На неделю!

Сразу же она продиктовала Данилову список своих забот. Было в нем шестнадцать пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки.

Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж, на крайний случай, совершенно необыкновенного, скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. «А жаль»,— думал Данилов. Теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее в сердцах. Но, видно, отпускные задержали Кармадону, а то и премиальные.

Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть помимо всего прочего напоминать о себе, однако он вступил.

В связи с прибытием Кармадона он потребовал у Канцелярии от Наслаждения индикатор, на манер счетчика Гейгера, который бы тут же фиксировал наличие вблизи Данилова демонических сил. «Для удобства сопровождения Кармадона в пространстве»,— объяснил Данилов. «Ща-а-а как мне да-а-адут!» — думал он, зажмурившись. Однако индикатор ему тут же прислали. «Что же, они и в самом деле, что-ли, не знают о времени «Ч»?» — удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы «Рейнольдс», на самом верху его при наличии вблизи демонических сил должна была высветляться изнутри голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно: «Ну, Валентин Сергеевич, держитесь!» Настроение у него улучшилось, был он самонадеян, смел, полагал, что Валентин Сергеевич теперь где-то далеко и внизу.

Утром по списку забот Клавдии Петровны Данилову следовало отправиться в Настасьинский переулок, в дом номер восемь. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано: «Зайти и отметиться в очереди. Хлопобуды. Будохлопы». Дом, крепкий, когда-то доходный, Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался на втором этаже, он отвык от старых лестниц, в своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно

бумаге Данилов позвонил в квартиру номер три. На двери была медная табличка, на ней изображение куриного яйца с пасхальным рисунком и курчавые слова: «Юрий Ростовцев, окончил два института», а ниже, в скобках, меленько: «из них один университет». Дверь приоткрылась, и высокий мужчина, в очках, лет тридцати пяти, с лицом веселого и кормленого ребенка, выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал. Или слов каких, или пароля. «Хлопобуды»,— сказал на всякий случай Данилов. «Будохлопы»,— кивнул Ростовцев (а это был он), то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль. Но дверь тут же распахнул и Данилову улыбнулся. Каким Данилов ни был в то мгновение деловым, а все же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С этаким не пропадешь,— подумал Данилов,— с этаким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют, и, если в ресторане чистую скатерть попросит, официантка в такого салатницу не швырнет...» Впрочем, у самого Данилова обаяния было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов? Увы, не всегда...

— Мне отметиться в очереди,— сказал Данилов.

— Сюда проходите, пожалуйста,— поманил его Ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатушке. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку несомненно федоровской работы.

Прихожая в квартире была огромная, в доме Данилова в ней обязательно бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто, на всякий случай, забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей или в коридоре, где виднелись между прочим детская коляска, вешалки, велосипеды и оцинкованное корыто, повешенное на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная. Все люди были исключительно приличные, прекрасно одетые, не курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили вполголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались как-то, на себя не походили, не хамили, видно было, что они кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относились к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли сорока- и тридцатилетние люди, в самом соку, а им и еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший два института, был, пожалуй, из них самый бедный и несолидный, пусть и имел федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела бы здесь неплохо. Данилов вспомнил, что на подходе к дому — в переулке и на улице Чехова — он видел много личных машин, все больше «Волг», а то и каких-нибудь там изумительных «опелей» и «пежо» с московскими номерами. Не иначе как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди.

— Данилов, и вы тут?

Данилов обернулся. Кудасов стоял перед ним.

— Я не за себя,— сказал Данилов.

— Номер-то у вас какой? — спросил Кудасов.

— У меня никакого...

— Ну а у того-то вместо кого вы? Если не секрет...

— Сейчас посмотрю,— сказал Данилов,— у меня где-то есть бумажка... Двести семнадцатый, что ли...

— Я чуть впереди,— сказал Кудасов.— Это вы за Клавдию Петровну, наверное?..

— Да...

— Вы номер-то на ладони чернилами напишите.

— Зачем на ладони?

— Ну как же... Для верности... Здесь все так делают... Вот мою ручку возьмите... Чернила хорошие.

Данилов поневоле вывел на ладони «217», ручку вернул с благодарностью, сказал:

— Давно я не писал номеров на ладони.

— А то как же... Здесь ведь такая публика — палец в рот не клади! Я вот на двух написал, на одной — арабскими, на другой — римскими, да и покрупней, чем вы.

Было душно, и Данилов распахнул пальто.

— Ба, да у вас у самого ручка-то есть! — сказал тут же Кудасов, углядев известный нам индикатор.

— Она не пишет,— поспешно сказал Данилов.

— Шведская?

— Шведская,— согласился Данилов.

— Кабы заглянуть...

— Да пожалуйста...— жалобно сказал Данилов.

Он протянул Кудасову ручку, опасаясь при этом, как бы не засветилась грешным делом голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Женщина не засветилась, ничего демонического в квартире Ростовцева не было.

— Умеют же,— сказал Кудасов, возвращая индикатор.

— Умеют,— вздохнул Данилов.

— Но, видно, дешевая она...

— Недорогая...

— А вот умеют...

Зная Кудасова, Данилов чувствовал, что очень скоро Кудасов поставит его, Данилова, в такое положение, в каком ему ничего не останется делать, как подарить Кудасову шведскую недорогую ручку, а Кудасов еще и ломаться станет... «Но нет уж, шиш!» — подумал Данилов.

Но тут индикатору во спасение дверь одной из комнат открылась, и в прихожую стремительно вышли люди, явно те, которых ждали. Были они чрезвычайно озабоченные и значительные, ни на кого не глядели, ни с кем не здоровались, спешили куда-то, в другую комнату, словно в преддверии великих событий, с очередного заседания на внеочередное. Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и делаясь плоскими, а тоже были, вид-

но, люди не простые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж там идет-то. Впереди шествия Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого и решительного, он и придавал движению ритм и важность, то был известный социолог Облаков, доктор наук, Данилова в какой-то компании знакомили с ним, у Добкиных, что ли. К удивлению своему, Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову, вся возбужденная и пылкая:

— А вот тот-то, тот — кто, в сером костюме?

— Комментатор-международник, по телевизору выступает,— обиженно сказал Кудасов.— И сюда просочился!

— Да нет! Не тот в сером костюме, а который в сером костюме сзади шел!

— Врач.

— Косметолог?

— Диетолог.

— А гинеколог где же?

— А я почем знаю! — сердитый Кудасов отвернулся от дамы, прохождение комментатора-международника в числе распорядителей, видно, поубавило в Кудасове куртуазности.

Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно, в очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То, из-за чего не выспались и не курили в коридоре, начиналось.

— А вы что же, не сумели сюда пробиться? — сказал Кудасов.— Или проспали?

— Да как-то недосуг было...

— Вот и зря... А впрочем, я вас знаю...— покачал головой Кудасов.— Вы человек беспечный, живете только нынешним днем. Думать о будущем вам и в голову не приходит... И детей у вас нет...

— Да уж куда тут...— вздохнул Данилов.

— Номер первый! — деловито прозвучало в прихожей.

И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией, или как там ее называть, а оттуда возвращались вскоре и теперь уже, довольные, шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку, Данилов расстегнул все пуговицы пальто, а лохматую нутриевую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за двадцать рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. «Ну, Клавдия!» — пригрозил он подруге профессора Войнова. Впрочем, и сам он был хорош!

Но вот отметился Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаенный карман пиджака, прошел мимо Данилова. А через четверть часа вызвали и номер двести семнадцатый. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутриевую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять, а тут

еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь, видно, на кухню, румяный тридцатилетний отрок Ростовцев, и Данилов отметил, что обаятельный-то он обаятельный, но в сущности пират и, наверное, где-то прячет клад.

— Номер двести семнадцатый,— сказали опять.

«Ну ладно,— подумал Данилов.— Шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет...» И он пошел в большую комнату, видно столовую.

— Номер двести семнадцатый?

— Да,— улыбнулся Данилов,— двести семнадцатый...

И он предъявил ладонь с чернильными цифрами.

Спрашивал не Облаков, социолог и доктор наук, хотя Данилов сразу понял, что он тут главный, а крупный пегий человек в пушистых баках и усах, сидевший на три стула левее Облакова. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал.

Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек, походили и на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в балясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомойником и немецкими ковриками на стенах — гуси на них паслись и прыгали кролики возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо, дочери мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что Данилов сразу же почувствовал расстояние между ними и собой, он даже заробел на мгновение, будто он стоял теперь у подножья пирамиды Хеопса (по новой науке — Хуфу), а эти люди глядели на него с последних великаньих камней пирамиды.

— Ваша фамилия? — спросил пегий человек.

— Данилов,— ответил Данилов.

— У нас таких нет,— сказал пегий человек.

— Я за Соболеву Клавдию Петровну,— сказал Данилов.

— Отчего она доверила вам?

— Я ее бывший муж...— сказал Данилов.

Пегий человек с сомнением поглядел на Облакова, тот наклонил голову и сказал быстро:

— Бывшим мужьям доверять можно.

— Все же покажите какой-нибудь документ,— сказал пегий человек.

Он изучил театральное удостоверение Данилова и его паспорт, а данные паспорта — серию, номер, каким отделением милиции выдан и когда — записал в зеленую тетрадь.

— Хорошо. Мы отмечаем Соболеву.

— Я могу идти? — спросил Данилов.

— А взнос?

— Какой взнос?

— Пятнадцать рублей.

— Она мне ничего не говорила,— сказал Данилов.— При мне нет пятнадцати рублей... Она попросила отметиться, и все... Придет в следующий раз и заплатит...

— Она прекрасно помнила об этих пятнадцати рублях,— мрачно заявил человек в красивых очках, именно его Кудасов назвал международником, Данилов ему явно не нравился.

— Вы займите пятнадцать рублей,— доброжелательно сказал Облаков.— Наверное, в очереди у вас есть знакомые.

При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов милой Гретхен.

— У меня здесь нет знакомых,— сказал Данилов, он был рад тому, что Галкин отвернулся.

— Ну...— развел руками Облаков.

— Придется Соболеву Клавдию Петровну,— строго сказал пегий человек,— перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса.

— Как же так...— растерялся Данилов.— Она забежит сегодня и уплатит...

— Правила очереди серьезные и незыблемые, мы исключений не делали и делать не намерены.

— И вообще,— сказал международник в красивых очках, на Данилова не глядя,— я полагаю, у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем.

В тишине Данилов с некоей надеждой посмотрел на Облакова, но и тот был незыблем.

— Спасибо,— сказал Данилов.— До свидания.

Ему даже не ответили.

«Серьезные люди»,— подумал Данилов.

Нутриевая шапка благополучно висела на неровно загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. «Цела шапка-то,— подумал он растроганно.— И верно, серьезные люди. С такими можно иметь дело».

И опять в прихожей появился румяный Ростовцев, окончивший два института, махорочный дымок исходил из его федоровской трубки, а на плече у Ростовцева сидел зеленый попугай. «Нет, точно злодей»,— рассудил Данилов.

На воздухе Данилов подумал: «Ну вот будет Клавдии наука за ее скупердяйство!» Однако тут он нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию, упрекнули в забывчивости и легкомыслии и перенесли в конец очереди. Он видел теперь в истории с лишением номера — попрание справедливости. «Какое они имеют право! — возмутился Данилов.— Нет, это дело так оставить нельзя... Да я их разнесу! Тоже мне бюрократы!»

Он позвонил из автомата Клавдии.

— Данилов, слушай! — горным ручьем зазвенела в трубке Клавдия.— Я тебе звоню, звоню, а ты вот где! Я тебе сейчас все расскажу, как у нас идут дела с Войновым, ты порадуешься за меня. А сейчас скажи, ты отметился?

— Я-то отметился...— сказал Данилов.

— И прекрасно! Я всегда знала, что ты чудесный милый человек. Слушай, вчера я вязала Войнову шерстяные носки, ты знаешь, чего мне это стоит, но я связала пятку! И при этом поддерживала с ним светский разговор... А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками, я все приготовила, да еще как!..

«Мне хоть бы раз связала носки»,— подумал Данилов и сказал сурово:

— Уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов, ни твоя у него стажировка!

— Ну, Данилов...

— Я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди.

— Я так и знала! Так и знала! Ты пожадничал?

— Не надо было ставить меня в глупое положение, могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги.

— Ах, наказание какое! Ты просто бессердечный человек! Ну свои бы дал или занял у кого!

— Спасибо за совет.

— Что же делать-то теперь?

— Не знаю... И кто эти будохлопы? Хлопобуды эти?

— Тише, тише... это тайна...

— Вот и хорошо. И все твои заботы будут для меня теперь тайной. Список я тебе перешлю по почте...

— Погоди... Это не для телефона. Ты где?

— На Горького. Сейчас зайду в кулинарию.

— Хорошо, через двадцать минут я буду там!

«Нужна ты мне!» — думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина «Украина» и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить, любительской колбасой. Как все было нелепо! Сам он, Данилов, стоял на краю жизни, вихри внутренней музыки и предчувствия того, что он в музыке должен сделать, мучали его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души, альт, может быть, исчез навсегда, и каково от сознания этого было Данилову, а он занимался какой-то чепухой, будто бы опять был связан с совершенно чужой, неприятной ему женщиной, пустой и взбалмошной бабой! И ведь она ему совсем не была нужна, да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как багор палубному матросу или банка для червей невскому рыболову!

«Нет! Я сейчас же встану и уйду!» — сказал себе Данилов.

Но сейчас же возникла красивая, бисквитная с шоколадом и цукатами, Клавдия. Была она в лисьей шубе и лисьей же рыжей шапке.

— Ну вот,— сказала Клавдия Петровна,— насчет Войнова ты успокойся. Там у меня все идет хорошо, тьфу, тьфу, постучи по деревяшке...

— Я успокоился...

— Теперь про очередь... Как же это ты?.. Неужели у тебя не было пятнадцати рублей?

— Действительно,— сказал Данилов.— Экая вдруг со мной оплошность произошла...

— Ну хорошо,— сдалась Клавдия.— Я виноватая. Но ты сам понимаешь,— про очередь никому ни слова. Это эксперимент... И его можно сглазить, понимаешь?

— Нет,— признался Данилов.

— Ну какой ты... Помнишь, как «Современник» получился? Бедные, голодные, никому не известные актеры после работы по ночам, по утрам, за чашкой кофе что-то там репетировали, кричали, ругались, во что-то верили и вдруг — бац! — «Вечно живые»! «Современник»! Билеты с рук! Собственный буфет! А теперь их еще и лоно МХАТа приняло в свои объятья! Вот и наши. В неурочные часы, на общественных началах...

— Прости, но пятнадцать рублей? Это уж иные начала...

— А-а! — махнула рукой Клавдия.— Но зато они у нас и не бедные, и не неизвестные. А наоборот! И все с будущим — а стало быть, с гарантией для нас...

— Кто они? Кто эти будохлопы-то?

— Хлопобуды,— поправила Клавдия.— Научно-инициативная группа хлопот о будущем. «Хлопобуды» — это Ростовцев придумал.

Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом. То есть не то чтобы страшным, а скорее зловещим. Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшно и зловеще. Она заговорила шелестящим таинственным шепотом. Медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу хлопот о будущем, понял Данилов, сошлись замечательные умы. Люди ключевых, на сегодняшний день, профессий. Те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, из института Лужкова, понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой. Высшей и низшей. А так ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, два частных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам и бог весть еще кто, даже один писатель: ну этот для того, чтобы править протоколы и ведомости и — если возникнет нужда — простыми словами описывать удачные дела хлопобудов. А на вторых ролях — для консультаций и практических действий— группа предполагала использовать — и использовала уже! — людей любых профессий: и начальников жэков, и агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и дизайнеров, и аквариумистов, и председателей месткомов, да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные и не старые, лучше до сорока, и могли

протянуть на своем посту еще, по крайней мере, два десятка лет.

— Ну хорошо,— сказал Данилов,— а ты чего ждешь от хлопобудов?

Нежными, чуть полными пальцами в двух изумительных перстнях — с сердоликом и бриллиантом — Клавдия Петровна донесла сигарету «Уинстон» к чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаянс.

— Это сложный вопрос,— сказала она.— Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страждать. Да, страждать... И особая интуиция тут нужна. Ты можешь не понять... Или понять не так.

— И все же? — сказал Данилов.— Вдруг и пойму.

— Каждый порядочный человек, уважающий себя,— сказала Клавдия Петровна,— желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо. И желает занять положение, какое ему по душе. Перейти из последних в первые. Ну не в первые, а в восьмые. Какая разница!

— Ты со мной, что ли, была в последних?

— Не в самых последних,— мило улыбнулась Клавдия Петровна.— Но, Володенька, увы, близко к ним... Не обессудь. И хватит об этом. Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем на время успокоюсь... Но на время... Ведь жить-то надо страстями!

— Страстями? — спросил Данилов.

— Да,— сказала Клавдия Петровна,— страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно — страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой.

— Я знаю, что это не ты придумала...

— А теперь у меня все есть или с Войновым будет. Я женщина заурядная, но своего стою. Я в соку. Я красивая. Я красивая, а, Данилов?

— Красивая,— согласился Данилов.

— Что нужно женщине? Слава? Удачи в общественной деятельности? Я проживу без них, я и так эмансипированная. Славы деловой мне и задаром не надо, она не по мне, я смотрю на работу как на свободу от домашних дел, унизительных для женщины, отупляющих ее,— вон взгляни на свою знакомую Муравлеву, она вся погрязла в бездуховности! Одна коса оттуда торчит. И то — натуральная... И перегрузки мне не нужны. Они вообще — для любителей. Славы иной, увы, я уже не получу, мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой...

— А если бы ты вовремя постаралась,— спросил Данилов,— ты что же, стала бы ими?

— Ах, отстань! Слушай серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги. Остается любовь. Остается вечная и главная мелодия женщины. И здесь для меня первое правило — не быть в любви несчастной. Но и не делать несчастным мужчину. Или мужчин.

— Естественно, не таких мужчин, как я,— сказал Данилов.

— Сам посуди, Володенька, ты человек неустойчивый и лег-

кий, ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен... Ты вот даже пятнадцать рублей... Хотя я не жалею о прошлом и за квартиру я тебе благодарна... Но профессор Войнов сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все... То есть я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану... На другие места мы станем садиться... И уж с этих мест на худшие меня не пересадят. Я и салон заведу.

— Прости, но, скажем, Волконская Зинаида была интересна гостям, умела и музыку писать, и стихи, и играла неплохо...

— Какой ты, Данилов, бестактный! Твоя Волконская была бездельница, а я работаю для народа... Сорок часов в неделю... Но это одно про Войнова... А другое... У меня теперь будет машина, и не «Жигули», а «Волга», дача, не садово-огородный сарай, а приличная профессорская дача в Загорянке... Квартиры будет две...

— Две? — встрепенулся Данилов.

— Что? — взглянула на него Клавдия Петровна и, сообразив, что разговор может принять неловкий для нее оборот, заторопилась: — И надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывезти меня хотя бы года на три... И ему нужно для работы... Но, конечно, не в Турцию... Что там в Турции!.. Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы!.. Есть же и другие страны — Италия, Франция, Англия, наконец, и оттуда Войнов сможет взглянуть на турецкие проблемы.

— Сможет,— кивнул Данилов.

— Но я увлеклась. Я же про другое тебе хочу сказать. Про хлопобудов. Сейчас я всем довольна. А через десять лет? Или через двадцать? Или тридцать? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три?

— Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют?

— Да не торгуют! Как они могут торговать! Странный ты человек, Данилов! Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в восьмидесятом, девяностом, двухтысячном году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводство своего, прости, поголовья. Или вот лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через пять, десять, двадцать лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромой, а теперь Бумбараш, и на тот век лесу было «да ой-ей-ей!». ...А уж футурологи, те вообще все наперед знают — у них движение каждой пылинки в истории определено — и так и в процентах — и травки каждой прозябанье...

— Неужто и гад морских подводный ход? — спросил Данилов.

— Насчет морских не знаю... Но у нас там есть человек из фирмы «Океан»... Он разберется с морской рыбой, если надо... Я тебе азы объясняю... Ты понял?

— Угу,— кивнул Данилов.

— А наши-то умы, из хлопобудов, тоже не последние. Главные в группе — системные аналитики. Их бог — Облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь, они меня всю разумом и чувствами просветят, ну и медицинской аппаратурой просветят, представят меня в восьмидесятом, девяностом и двухтысячном году и скажут, что мне будет нужно и что — теперь и тогда — мне следует предпринять.

— При условии, что ты будешь жить страстями?

— Возможно... Хотя не исключено, что страсти возьмут и выйдут из моды. Аналитики все должны определить с точностью до сезона и учесть. Но и мы должны умно, по-научному сформулировать нынешние свои запросы. Чтобы не сбить аналитиков с толку.

— И часто они берут по пятнадцати рублей?

— Не редко... По графику... Чтобы мы сознавали свою ответственность... Да и что теперь жалеть мелочь? Ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать.

— За что?

— Ну как за что...— удивилась Клавдия Петровна.

— Хорошо,— сказал Данилов.— Ладно. Получишь, положим, ты справку. На три десятилетия. Но ты измучаешь себя откровением хлопобудов.

— Себя — нет! Других — да!

— К счастью,— сказал Данилов,— я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу...

— Кто знает...

— Нет, нет, ни в коем случае,— испугался Данилов,— эту неделю отдежурю, как обещал, и все...

— Подумаешь, пятнадцать рублей! — сказала Клавдия Петровна.— Многие в очереди даже и не ради себя стоят. А ради детей. Хотя и не все рожали. Что же экономить на детях! Потом репетиторам втрое дороже заплатишь!

— И о высшем образовании детишкам хлопочут?

— Кто о высшем. Кто о среднем, обязательном. Скажем, как частный вопрос, выясняют, и правильно делают, в школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через десять лет. Может, тогда самым стоящим станет исландский язык. Или там ямайский диалект.

— Слушай, а вдруг через десять лет модно будет иметь по трое детей,— подумал Данилов.— Ты что же, родишь?

— Рожу,— сказала Клавдия Петровна.

— А пока будешь терпеть?

— Я и терплю, ты сам знаешь...

— Впрочем, это все частности...

— Частности,— согласилась Клавдия Петровна.— Для меня частности. Я буду знать главное, а частности сами откроются. Но многие-то именно из-за частностей в очереди и стоят. Дуры есть замечательные. Ну и дураки тем более. Уж раз по пятнадцать рублей платишь, то и... А они... Некоторые думают, что через очередь

пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости... Ждут и туфли на воздушной платформе... Одного типа, видишь ли, манит магический кристалл.

— А Кудасов, он-то что ходит?

— Не знаю. Наверное, и ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю... Если мне его припрогнозируют...

— Или прифутуруют...

— Или прифутуруют... А может, Кудасов печется о службе. Тут многие со служебными болями...

— Ну вот, получишь ты прогноз. И что дальше?

— Дальше! В группе кроме системных аналитиков есть конструктивисты. Вон известный тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я в частности, что в восемьдесят шестом году мне понадобится пальто из моржовой кожи, и сейчас же запишусь к нему в очередь...

— И десять лет будешь отмечаться?

— И буду! Зато вовремя, даже чуть раньше получу вещь. Конструктивисты они у нас оттого конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать... Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очередь и встанет... Кто к косметологу, кто к начальнику жэка... Но все это частности...

— Что же главное?

— Это тайна. Но я...— тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии.— А я уже знаю кое-что... То есть... У меня есть уже сведения... Я не все знаю, но я догадываюсь... Я не скажу, как я узнала и через кого... Но поверь мне... У меня есть одна сумасшедшая идея...

— Достаточно сумасшедшая?

— Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея.

— Стало быть, и тебе нужны три карты?

— Ах, Данилов! — нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив.— Если бы ты был Сен-Жермен... Нет, я уж сама все устрою!

— Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь?

— Я и сама не знаю зачем... Может быть, зачем-то... Ну хотя бы ты поможешь восстановить потерянный номер... Скажешь им, что это ты был виноват с пятнадцатью рублями... Мои деньги хотел себе присвоить... Мы вместе пойдем, и ты им что-нибудь скажешь...

— А к чему тебе номер, если ты и так все узнаёшь?

— Нет. Я обязательно должна получить официальную справку. И потом, в очереди интересно... Разговоры... Люди... Знакомства очень полезные... Через три дня мы с тобой пойдем и восстановим номер...

— Но...

— Нет! Раз уж ты виноват... Раз уж пожадничал... И потом вдруг я тебя в свою безумную идею посвящу, а?

Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоеные пирожки, подпрыгнув с буфетной стойки, посыпались Данилову с Клавдией на столик. «Кармадон, что ли?» — подумал Данилов. Но вот машины поехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот.

Глаза Данилова двинулись по следу ее, и Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина не спеша прошел румяный Ростовцев с федоровской трубкой во рту.

Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову: «Я тебе позвоню... Действуй по списку... Извини...» И была такова.

8

Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр, и лифтерша-привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она его наверх не пускает, ни лифтом, ни ногами, он подозрительный и несамостоятельно одетый.

Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Данилова. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся. Был он лет двадцати семи, худ и высок, хорошо выбрит, серую кепку держал в руке, а пальтишко имел действительно незавидное, осеннее.

Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов распахнул пальто и взглянул на индикатор. Нет, и теперь голая рубенсовская женщина в красных сапогах не осветилась внутренним светом. А озорник Кармадон, лицейский однокашник Данилова, мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде. Хотя бы и погорельцем с ребенком в руке.

— Владимир Алексеевич,— сказал молодой человек,— я отниму у вас минуту, не больше. Фамилия моя Переслегин, но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку. То есть я неизвестно что пишу, но я хотел бы писать музыку... То есть это я все зря... Вы меня поймите... Вы меня не знаете... Я кончил консерваторию лет через десять после вас... У меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам... Один разговор... Я был на вашем концерте в НИИ, я оказался там случайно... Я две ночи потом не спал... Но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это...

Переслегин выдернул из-под мышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания, папку конторскую с коричневыми тесемками, тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков.

— Хорошо,— сказал Данилов растерянно,— я посмотрю.

— Сделайте одолжение,— сказал Переслегин.— Если найдете

эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, если посчитаете, что я могу быть вам полезен, вызовите меня открыткой, я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки и киньте в мусоропровод...

Переслегин, воротник подняв, двинулся к двери, привратница Полина Терентьевна, движением души удлинив шею, глядела ему вслед, Данилов чуть было не пустился за Переслегиным вдогонку.

— Постойте, куда вы, если у вас есть ко мне разговор, так зачем предварительные условия?..

— Нет, нет... Вы сначала посмотрите!

И дверь за Переслегиным закрылась.

— Этот не подозрительный,— сказала Полина Терентьевна.— Этот хуже...

— Вы так думаете? — спросил Данилов.

— Я не думаю, я вижу,— сказала Полина Терентьевна.

В лифте Данилов посмотрел, что это за листки. На титульном было написано: Переслегин. Симфония номер один. «Э, нет,— подумал Данилов,— что же я так, на ходу, потом будет время, потом и посмотрю». Его обрадовала мысль о том, что вот хоть один музыкант, а посчитал его игру на устном журнале в НИИ хорошей. Хорошей? Наверное. Если бы посчитал дрянной, подумал Данилов, то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне. Не мог же он не догадываться о Полине Терентьевне! А вот пришел.

Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты — вдруг музыка Переслегина окажется бездарной! Сразу же и его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра!

Чернила Кудасова были хорошие. Данилов долго оттирал номер «217», применял пемзу и наждачную бумагу. Данилов был домашний умелец, не раз открывал двери соседям, когда у тех ломались ключи или в замках, естественно — английских, коварно заскакивали собачки, и в хозяйстве своем имел много полезных вещей. «Эко я вляпался с Клавдией! — думал Данилов.— До душевных откровений дело дошло... Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня... На двадцатую роль — посыльным быть или подставным лицом или на шухере стоять — но имеет... Нет, следует решительно послать эту даму подальше!»

И все же Данилов думал с любопытством: «Что же это за идея такая замечательная?» Клавдия ведь прямо вся дрожала, когда говорила о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на Новом Арбате, коли они ей помешают, а идее даст ход. Дама неугомонная!

С запасным альтом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну.

— Володя, вы, наверное, меня не узнали? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ну как же, Катенька,— обрадовался Данилов,— неужели я могу вас не узнать!

Хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна Данилову всегда была приятна, к тому же Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о сем, о Муравлевых, о сыне Екатерины Ивановны Саше, страдальце художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки весь имевшийся в доме шампунь, а заодно и — дезодорант, о том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени — закрылась выставка коллекции Зильберштейна, а они на ней не были. И тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутливым тоном:

— А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши. ...И играли замечательно... И вообще... Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю...

— Нет, серьезно? — смутился Данилов.

— А одна моя знакомая, та и вовсе... Вы на нее произвели большое впечатление...

— Катя, я понимаю, о ком вы говорите... И Наташа произвела на меня большое впечатление...

Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор — прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор, сейчас, в беседе с Екатериной Ивановной, это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права — мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники! Индикатор и по звуку, пусть и дальнему, мог учуять демонические усилия. Однако рубенсовская женщина и теперь не ожила.

— Вы знаете, Володя,— сказала Екатерина Ивановна, и Данилов почувствовал, что сейчас она говорит серьезно,— может быть, я все это зря, и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решилась вам позвонить и сказать, что Наташе теперь плохо.

Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал.

— Нет, она не больна,— опять отважилась Екатерина Ивановна.— Но я чувствую, что ей очень плохо. И я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый. Наверное, бестактный. Я не вправе вмешиваться во что-либо подобное... И вас, Володя, к чему-то будто бы обязывать... Но вот я не удержалась и позвонила...

— Я вас понимаю, Катя...— сказал Данилов. И тут же спросил: — А что же с Наташей?

— Просто плохо ей,— сказала Екатерина Ивановна.— Я и сама не знаю отчего... Она гордая. Она ничего не скажет ни мне, ни вам. И как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает...

— Вся-то моя беда, Катя, состоит в том,— сказал Данилов,— что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью, после одиннадцати...

Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии: ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, об альте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной погибели, забыв, забыв, забыв, нестись к Наташе и быть возле нее, а он мямлил в трубку жалкие слова. «Экий подлец!» — говорил себе Данилов. Но, с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то, Данилов, завтра принес бы ей беду куда большую. Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне решительно, что он тут ни при чем, мало ли у него подобных знакомых? Так, что ли? Он и себя старался уверить впопыхах, что его чувство к Наташе — блажь, возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. На все эти мысли ушли мгновения, Екатерина Ивановна ждала от него слов, и Данилов вместо решительной фразы, сам себя упрекая в безволии, произнес:

— Ладно, Катя, я что-нибудь придумаю...

А что же он мог придумать? Повесив трубку, одетый, в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика. Бороду теребил. Нет, думал Данилов, обманываю я себя. Не улетучилось чувство, быльем не поросло. Наоборот, стало оно очевидней. Вся его натура рвалась к Наташе. Свои-то мысли и желания он мог смирить, да и должен был смирить их, но вот и впрямь, может быть, сейчас же следовало отвести от Наташи печали и напасти? Вдруг в сие же мгновение требовалась Наташе помощь, а потом было бы поздно! Может, теперь, как к альту несколько дней назад, и к Наташе подбирался бочком, бочком и на цыпочках пронырливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незримые его хозяева?

Данилов вскочил, нервно стал ходить по комнате.

Теперь он уже знал, что нарушит правило договора, хоть это и будет мгновенно учтено. «А-а! Пусть! — махнул рукой Данилов.— Была не была!» Иных возможностей он не имел. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну. Перенестись в Наташину жизнь невидимым существом или хотя бы заметной глазу пылинкой он не захотел. То есть такое ему и в голову не пришло, иначе случилась бы гадость, словно бы он тайно стал подглядывать за Наташей. Он жаждал ее видеть. Но не мог. Он остался дома у телефонного столика и возбудил аппарат познанья. Он мог теперь увидеть всю Наташину жизнь насквозь, вглубь и ввысь, но и это было бы дурно, он не имел ника-

кого права знать Наташино сокровенное без ее нужды. А уж открывать для себя ее будущее он и вовсе боялся. Оттого Данилов в аппарате познанья взвинтил лишь систему избирательных точек, надеясь получить верные сведения только о том, что касалось его нынешней заботы. И он получил их, но не тотчас же, как полагалось бы, а минуты через две. Данилов был нетерпелив, рассчитывал почти всегда на себя, аппаратом познанья пользовался редко, и он в Данилове не то чтобы заржавел, но, наверное, был плохо смазан, чуть поскрипывал. А Данилов и забыл, каким маслом смазывать его в условиях Земли,— касторовым или репейным.

Добытые Даниловым сведения несколько его успокоили. Пока Валентин Сергеевич и его командиры Наташу не осадили, то ли пожалели, то ли оставили ее про запас. Причины сегодняшнего состояния Наташи были внутренние, человеческие, а потому Данилов и не стал в них вникать.

Теперь, зная главное, Данилов задним числом даже отругал себя: разве можно было ему в ожидании времени «Ч» нарушать правила договора! Впрочем, он часто ругал себя задним числом... Данилов вздохнул: что теперь жалеть-то! Он уверил себя в том, что пока опасность со стороны Валентина Сергеевича Наташе не грозит. Они, враги его, видно, не слишком верят в серьезность его чувств к Наташе (не то что к альту), держа его за ветреника, а если и верят, то ждут, чтобы он вовсе увяз в этих чувствах и себе на горе наделал дел. Значит, время у них с Наташей пока было — и следовало им воспользоваться. А там будь что будет, решил Данилов, а там что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь и уж не поставлю Наташу под удар! После депеши о Кармадоне Данилов опять стал беспечным и гулял, как с воздушными шарами в майский день, с надеждами на то, что его дружба с Кармадоном и вовсе отменит время «Ч». Да и без Кармадона, полагал Данилов, он сам обязательно придумает выход из гибельного тупика, сядет как-нибудь и придумает.

Однако время шло, и он обязательно опоздал бы в театр, если бы попытался остановить такси человеческим способом. «А! Нарушать так нарушать!» — лихо сказал Данилов, нисколько не жалея забубенную головушку, будто в порыве удали. Тотчас же в дверь ему позвонил таксист и спросил, не он ли, Данилов, заказывал машину из третьего парка. «Да, я»,— сухо ответил Данилов.

Вернувшись домой, Данилов настроен был, несмотря на позднее время, звонить Наташе. «Пошли бы заботы Клавдии подальше!» — опять сказал себе Данилов. Но, подсев к телефону, он разволновался и никак не мог взять трубку. Раздался стук. Били в дверь металлическим телом. Данилов приоткрыл дверь, не освобождая цепочки, и увидел парня в мазаном ватнике с чемоданчиком в правой руке и с гаечным ключом в левой.

— Вам кого? — спросил Данилов.

— Мосгаз,— простуженно сказал парень.

9

Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бранил себя, спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его. Наташа была спокойна, звонок словно бы и не тронул ее, сейчас она уже спешила на работу, а вечер у нее был свободен.

— Вот и хорошо! — обрадовался Данилов.— Сегодня у нас «Кармен» с Погосян! Я вам, Наташа, оставлю билет в кассе администратора и найду вас в антракте! Если вы, конечно, захотите прийти...

«Кармен» Наташу манила...

Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей у вешалки стоял чемоданчик вчерашнего газовщика, рядом на полу покоился гаечный ключ. «В кладовку, что ли, их пока сунуть? — подумал Данилов.— Или вовсе выкинуть? Они уж теперь ему и не нужны...»

...Ночной газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией и ждал, когда Данилов откроет ему дверь.

— А что так поздно? — спросил Данилов.— И именно ко мне?

— Мы всех обходим,— сказал парень из Мосгаза.— Есть необходимость предотвратить аварию.

Данилов снял цепочку и открыл дверь. Данилову было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из Мосгаза. Утром вышел по поводу аварии и теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученый, а потому и приветливый.

— Сюда, сюда,— сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню.— Я уж давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются и газ еле идет.

Попав на кухню, газовщик к плите не пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул.

— Вот поглядите,— Данилов стал крутить ручки кранов,— с какой натугой идут. И еще — не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный, белый, а то некрасиво... Я заплачу...

— Гаечным ключом, что ли, я заменю?

— У вас, наверное, в чемоданчике техника есть?

— И пошутить нельзя! — сказал газовщик теперь уже не простуженным голосом.— Ты и своих не узнаешь!

Тут Данилов поглядел на парня внимательнее.

— Кармадон!

Данилов бросился к Кармадону, они обнялись. В лицейской юности Данилов с Кармадоном особыми друзьями не были, Данилов имел посредственное происхождение, а Кармадон с братом,— напротив, прекрасное, однако Данилов среди золотой демонической молодежи считался шалопаем куда более удачливым и замечатель-

ным, и Кармадон с братом, Новым Маргаритом, глядели на него как кольцо Сатурна на сам Сатурн. И уж каждый раз на контрольных в лицее с молящими глазами списывали у него гороскопы. Другой бы на месте Данилова держал Кармадона у себя в свите на побегушках, но Данилов гусарить гусарил, однако ко всем в отношениях был ровен и великодушен, никого ниже себя не ставил. Разве только фискалов. Теперь Данилов искренне обрадовался лицейскому приятелю, хотя и жил последние двадцать лет без всякой нужды в Кармадоне.

Кармадон снял грязную шапку и мазаный ватник, выпрямился, как бы подрос, изменился в лице, стал походить на самого себя. Данилов разглядел его и, как ни старался, улыбки сдержать не смог.

— Ты что? — спросил Кармадон.— Одет, что ли, я не так?

— На улице ты, пожалуй, выделялся бы...— сказал Данилов.

— Это мне ни к чему,— сказал Кармадон.

Последний раз Кармадон был на Земле и в Москве в пятьдесят четвертом году и теперь напомнил Данилову посетителей блаженной памяти коктейль-холла на улице Горького, давно уж превращенного в мороженный дворец. Имел Кармадон витой кок, набриолиненный и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой, порочной обезьяной, брюки в обтяжку и туфли на отчаянной самодельной подошве, оранжевой, с рубцами. Лицо вот только у Кармадона было уже не юное.

— Нынче по-иному одеваются,— пояснил Данилов.— Я не образец, но ты можешь воспользоваться моим платьем.

— Спасибо,— сказал Кармадон.— Зачем мне разорять тебя. Ты мне покажи, что носят, я преобразуюсь.

Данилов пошел в комнату, стал искать журналы, потом заглянул в бар, коньяка в бутылке было на донышке. Он расстроился, но тут же вспомнил, что имеет право перейти в демоническое состояние и воспользоваться средствами на представительство! Данилов в демоны и перешел. Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых кудрях до плеч, приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны с замечательным ремнем. Однако казалось, что он не рад свежему наряду. Он опять зевнул.

— Да что мы тут на кухне! — воскликнул Данилов.— Пойдем в комнату. Или куда хочешь. Лучший стол накроют! Ты голоден с дороги! Пожелай все, что есть и чего нет, я тебе тут же любой напиток, любой продукт сыщу! Демоническое тебе небось надоело. Нашу экзотику небось подать?

— Мне много не надо,— сказал Кармадон.— И никуда не пойдем. Здесь и посидим.

Мысленный заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского, однако он гостю ничего не сказал, а на кухонном столике возникла бутылка ликера «Северное сияние» — по мнению Данилова, подкрашенного глицерина с сахаром, давно уж засохшая и в черных

критических точках корейка из железнодорожного буфета и из того же, видно, буфета две порции шпрот на блюдечках с локомотивами. Единственно, что Данилова обрадовало,— это бутылки минеральной воды «Кармадон». Отца нынешнего гостя не раз умиляли воспоминания о климатическом и лечебном курорте Кармадон, что в Осетии, в горах, вблизи Казбека, то ли папаша пролетел там и, веки разлепив, любовался кавказскими видами, то ли купался он в теплых источниках с игривыми пузырьками, то ли смывал в них земные болезни, то ли, напротив, имел на фоне вершин приключение с красавицей горянкой, одним словом, в память о снегах и минеральных водах Осетии он и назвал младенца Кармадоном.

Откупоривая «Северное сияние», Данилов взглянул на столик и улыбнулся:

— Может, и теперь ты боишься меня разорить?

— Нет,— сказал Кармадон,— у меня ни аппетита, ни жажды с дороги. Я и плохо запомнил ваши деликатесы. В последние годы я ел и пил все молибденовое. А ты что хочешь, то и бери. Меня не стесняйся...

Данилов ощутил в руке бокал коньяка, и рядом обозначился цыпленок табака из «Арагви».

— Не желаешь для начала? — спросил Данилов.

Кармадон даже поморщился, взглянув на приобретения.

— Нет, я серьезно... Ты меня извини, я устал. Меня и на разговор с тобой теперь не хватит. Сидел в канцеляриях, писал отчеты о трудах, потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел, ты знаешь наших крючкотворов.

— Ты ванну с дороги прими,— сказал Данилов.

— Пожалуй, и приму,— кивнул Кармадон, выглотал «Северное сияние» из горлышка и шпроту, рыбку дохлую, давно уж бестелесную, приложил к губам.

Вода шумела в ванной, а Данилов на кухне, разделавшись с цыпленком табака, покусился на седло барашка, вызванное его волей из Софии. Из самой Софии, а не с площади Маяковского, где даже и воля Данилова не могла бы помешать седлу барашка возникнуть из вареной говядины, а то и из пришкольного кролика. Всю неделю Данилов держался на пирожках и бутербродах, теперь в охотку тратил представительские средства.

В ванной все стихло. Данилов забеспокоился, как бы Кармадон, грешным делом, не затопил нижние квартиры. Он ведь мог углубить ванну километра на два, а то и на сколько захотел бы, и резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами.

— Кармадон! — крикнул Данилов.

Кармадон не отозвался.

«Уж не утоп ли он?» — испугался Данилов.

— Кармадон!

— Что...— услышал Данилов.— А-а-а... Прости... Я задремал... Ты что?

— Да я...— смутился Данилов.— Спину тебе потереть?

— Ну потри...— вяло ответил Кармадон.

«Странный он какой-то,— подумал Данилов,— вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут... Стало быть, и на бессмертных действуют годы!»

Из воды виднелась лишь голова Кармадона, и Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал, тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был, по школьным понятиям Данилова, лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы и птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией, или никак не выглядеть. По давней моде или в результате поисков оптимального варианта, а может, и по договоренности, чтобы легче было общаться, демоны в своем кругу предпочитали заключать себя в человечьи тела. А на Земле-то уж Кармадон и подавно должен был бы смотреться человеком. Он и имел теперь в основном человеческое тело, на правом плече даже с татуировкой-девизом: «Ничто не слишком», но сквозь тело это там и тут, в самых неожиданных местах, проступало нечто металлическое, а может, и не металлическое. На теле Кармадона Данилов видел предметы или органы, некоторые из них были неподвижны и как бы с наростом мха, другие же, с щупальцами и присосками, двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал странный прут, словно обломок шпаги, он качался, издавая тонкий, ухающий звук. Данилов спросил:

— Что с тобой? Я не потревожу это губкой?

— Что? — сказал Кармадон и оглядел себя. Некая досада отразилась на его лице, он покачал головой.— Ах, опять это... Никак не могу отделаться от всего волопасного... Задремал — и опять оно возникло во мне!

Он проглотил что-то белое, задрожал, поморщился как от боли и стал вполне человеком. При этом вода в ванне поднялась столбами, а когда опала, была уже синей.

Данилов от души натер Кармадону спину, усердствовал губкой возле лопаток и вдоль позвоночника, обещал отвести в ближайшие дни Кармадона в хорошую парную с пивом в шайках, и Кармадон, казалось, был доволен.

Когда Кармадон, красный и тихий, в банном халате сидел опять на кухне и пил минеральную воду, столь любезную его отцу, Данилов грыз миндальные орехи, посыпанные солью, и ни о чем Кармадона не спрашивал. Кармадон больше молчал, но иногда и говорил. И все об условиях своих трудов в созвездии Волопаса.

Данилов, как известно, к сложностям технических знаний не стремился, а Кармадон, в лицейскую пору, и тем более. И теперь, понял Данилов, в экспедиции Кармадона не было особых научных целей. В созвездии Волопаса Кармадона послали на планету Бета — Мол, или, как ее называли на жаргоне служебных отчетов,—

«Сонную Моль». Планета, размером побольше Земли, собственным населением именовавшаяся Глирой, была исключительно молибденовая. И духовные ценности имелись на ней молибденовые, а уж материальные — тем более. Кармадон не мог объяснить Данилову почему, а Данилов все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там газообразные, текучие, плакучие, висящие, тающие и танцующие вещества, все они на Глире были производными из молибдена. Живых существ, братьев землян по разуму, узнал Данилов, имеется там видимо-невидимо, но все они существуют, передвигаются, трудятся, плодятся, размножаются не на какой-либо покатой тверди, а внутри тягучего мира, и пути их неисповедимы. Землянину его братья во вселенной — волопасы (сами себя они называют глирами) — показались бы похожими на металлические болванки (а они-то, глиры, при виде его и вовсе бы сплюнули), рельсы не рельсы, но вроде рельс, только пошире и попросторнее. Однако и на болванках этих есть удобные места для всяких необходимых органов и приспособлений. Шарообразное тягучее состояние планеты имеет и общий разум, или общий дух, и этот разум-дух в отчетах Кармадона назывался не иначе как — Сон. Да, болванки-волопасы движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют, но все это происходит с ними в беспробудном молибденовом сне. Болванки имеют возможность сплетаться одна с другой, вплывать одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных, и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы, так их цивилизация дальше и идет. Кармадон получил особое задание («Нравственного порядка»,— только и сообщил он Данилову), и каково было ему внедриться в сновидения волопасов! Сам-то он спать не имел права! Долго мучался Кармадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молибденовое разумное существо. Потом придумал: намазал себя мылом («Я аристократ, ты же знаешь, а тут эти вонючие снабдители из экономии прислали мне дегтярное!»), намазал и кое-как втиснулся в сновидения одного наивного волопаса-глира. А потом пошло! Потом Кармадон даже имел и любовные приключения, и депутатом его сделали, и хотели назначить пенсию, и вручили молибденовый кристалл первой степени. Но ведь все эти годы он не спал! Просматривал сновидения и путал их, а сам не спал! А днями назад, уже дома, сидел в своей Канцелярии от Нравственных Переустройств и писал отчеты о проделанной работе — и тут не мог позволить себе зевнуть хоть бы разок. Не желал искажать репутацию аса со спецзаданием. Да и себе хотел доказать, что он способен и на большее.

Тут Данилов не удержался и задал вопрос, какой непременно задал бы Миша Муравлев (и мой сын тоже):

— А они, эти волопасы, эти глиры, с Землей-то контакт не хотят установить?

— Они-то, может, и хотели бы, да у них ничего не выйдет,— сказал Кармадон.— Да и на кой вам контакт-то с ними, с беспро-

будными! А им с вами! Я им теперь таких сновидений насочинил...

И Кармадон опять зевнул. А левый глаз его стал туманиться. «Нет, он здорово изменился,— подумал Данилов,— постарел или действительно смертельно устал. Осунулся. Серьезный, даже удрученный какой-то, а тоже был шалопай».

— Я тебе сейчас постелю,— сказал Данилов,— ты у нас и отоспишься. Хоть обе недели спи.

— Нет, Данилов.— Кармадон встал.— Я не могу расслабиться... Я уж и так... Иначе я... Какой же я иначе ас? Ты прости, но я сейчас тебя покину... Мне нужно побыть синим быком.

— Тебе со мной скучно... Или я...

— Ты не обижайся и не предполагай плохого... Просто последние годы на этой Сонной Моли я только и думал: вот выпрошу премиальную прогулку на Землю и побуду там синим быком... Хоть неделю... А потом я вернусь...

— Где же ты собираешься им побыть?

— Где-нибудь... Где тепло...

— Но я отвечаю за твою безопасность.

— Данилов,— Кармадон улыбнулся, даже несколько по отношению к Данилову снисходительно,— я теперь стал сильный и жестокий.

— Я не собираюсь опекать тебя. Но я хорошо знаю Землю и мог бы хоть советом уберечь тебя от неловких ситуаций... Тепло сейчас в Африке. Но там тебя попробуют заставить пахать землю, а гуляющий свободно — ты будешь странен. Быков любят в Испании и в Южной Америке, но любят их любовью особенной, и вдруг эта любовь на корриде тебе не понравится?

— Разве все это важно?

— Ну смотри...

— Давай выпьем на посошок! И я пойду.

Опять в руке Кармадона появилась бутылка глицеринового ликера «Северное сияние», и раскрошенная шпрота стала плавать в воздухе возле его рта. Данилов поднял бокал с коньяком. Выпили. Закусили. Кармадон как был в банном халате и тапочках на босу ногу, так и пошел к двери. Верен он был старой наивной привычке дедов исчезать через те же отверстия, в какие и появился.

— Ну будь здоров, Кармадоша,— сказал Данилов растроганно.— Ни пуха тебе, ни пера!

— К черту! — сказал Кармадон, вышел на лестничную площадку и рассыпался в воздухе.

10

Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. «Что же я его Кармадошей-то назвал! — расстроился Данилов.— Нехорошо вышло. Разве он мне теперь Кармадоша!..»

Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя, а потом и софийского седла барашка, от которого Данилова чуть ли не разморило. Но все равно чувство стыда и неловкости не прошло. Бедным, жалким провинциалом, пустившим слезу умиления перед влиятельным гостем, ощущал себя Данилов, хотя слезу и не пускал. Не раз подмывало Данилова сказать Кармадону о времени «Ч», попросить совета, а то и поддержки, но неприлично было бы сразу же заводить с гостем разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени «Ч»? Данилов вспомнил все его слова и посчитал, что вряд ли. Да и стал бы тогда Кармадон шутить с Мосгазом! А впрочем, кто знает... Но как изменился Кармадон! Остепенился, осунулся от серьезного отношения к жизни, даже вышел в асы со спецзаданием! Но ведь и сам Данилов изменился, в иную, правда, сторону. Ни советчиком, ни приятелем не мог теперь Кармадон прийтись Данилову, в крайнем случае — знатным покровителем. Но Данилову ли просить о подачках!

Но как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на Земле дел, к этому все шло. Прежде Данилов полагал, что сумеет — хитростью или особыми развлечениями — направить энергию Кармадона в мирное русло. Как бы теперь не вышло кровопролитий и массовых драм. «Хоть бы я его на хунту какую натравил!» — сокрушался Данилов. Желание Кармадона побыть синим быком не показалось ему странным. Сам он однажды, находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое, на первый взгляд, мечтание. Во второй месяц службы только и думал: «Вот вернусь и сразу же съем десять порций чебуреков!» И что ему дались эти чебуреки, не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории, в романтическом порыве он ушел с геологами коллектором в якутские тундры. И там пристало к нему неистребимое: «Увижу по возвращении первый рояль — сразу же сыграю на нем хоть и собачий вальс». И сыграл. Вот и Кармадон сочинял волопасам, или глирам, сновидения, а сам рвался в синие быки.

«Эх, как бы нам теперь кровопролитиев избежать!» — вздохнул Данилов.

Наутро он и позвонил Наташе, с волнением услышал ее милый голос и пригласил Наташу на «Кармен» с Погосян.

Собравшись в путь по заботам Клавдии, Данилов чемоданчик Кармадона, ватник, шапку и гаечный ключ все же решил сунуть в кладовку, вещи были не его, и не он им годился в судьи. Имелось у Данилова минут десять. Данилов японским транзистором нащупал «Маяк» и не без трепета взял папку с нотами композитора Переслегина. Однако занимательная информация, звучавшая по «Маяку», не позволила Данилову настроиться на серьезное чтение нот. «Ладно, ночью посмотрю»,— решил Данилов. Сначала передали новости о шахматах, потом о фигурном катании. И тут диктор сообщил, что в трехстах километрах от побережья Центральной Африки на острове Принсипи, входящем во владение Португа-

лии[1] — Сан-Томе и Принсипи, в рощах хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший на Принсипи, назвал поимку быка принсипскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но возможные снежный человек и чудовище из озера Лох-Несс — существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, синий бык сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид.

Данилов так и похолодел.

А тем временем слово для комментария было предоставлено обозревателю по внешнеполитическим вопросам Юрию Странникову. Тот рассказал об условиях труда принсипских крестьян в уходах за хинным деревом и выразил восхищение мужеством и талантом тех же простых крестьян, поймавших исполинского синего быка. И это в то время, отметил Странников, когда знаменитые экспедиции, снаряженные на доллары и фунты, экипированные новейшей техникой и пищевыми тюбиками, сплошь и рядом не могут отловить ни снежного человека, ни плавающего дракона Несси, ни хоть кого-нибудь другого. И тут же перешел к испанскому миллионеру Бурнабито. Этот владелец фабрик подтяжек считается еще и спортивным меценатом, на его деньги содержатся футбольные клубы, на его деньги, естественно, не без выгоды для Бурнабито, скупаются лучшие профессиональные футболисты Европы и Южной Америки. Но организованная Бурнабито утечка ног в последние годы оборачивается топтанием продажного спорта на месте — «Реал» опять выбит из европейского кубка. И вот ненасытный Бурнабито решился еще на одну авантюру. За три миллиона долларов он приобрел исполинского синего быка. Бык, который, кстати сказать, ведет себя мирно и доверчиво по отношению к простым людям, представляет колоссальный интерес для науки. Но бессовестные рыцари наживы не считаются ни с наукой, ни с протестами общественных сил. В Мадриде[2] объявлено, что сегодня вечером состоится грандиозная коррида с участием принсипского быка, коррида ловко разрекламирована, билеты стоят в десять раз дороже обычного...

«Так-так-так! — подумал Данилов.— Стало быть, Кармадон объявился». По расчетам Данилова выходило, что объявился он и стал предметом внимания принсипских крестьян и профессора Чиверса не иначе как два дня назад. Хотя и прибыл на Землю нын-

[1] Тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а скорее всего не происходили, в 1972 году. Тогда еще можно было париться в Марьинских банях, а теперь нет Марьинских бань. И жэк № 21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли. И острова Сан-Томе и Принсипи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшей о 25 апреля 1974 года. Прошу принять это во внимание. *(Прим. автора.)*

[2] А что касается Мадрида, то учтите, что и там семьдесят второй год. У «Калибра» еще стоят Марьинские бани, а в Мадриде живет каудильо. Понятно, что дельцы типа Бурнабито процветают. Это я так, к слову. *(Прим. автора.)*

че ночью. Значит, Кармадон, как, впрочем, и сам Данилов, вполне овладел профессиональным искусством, без усилий заскочил за условную черту времени, тем самым продлив себе земной отдых. Данилов был уверен, что потом Кармадон попросит его в каникулярном листке отметить время прибытия на Землю именно первым часом нынешней ночи. «Ну и пусть себе,— решил Данилов.— Отмечу. И печать поставлю. Только что же он не предупредил меня ни о чем. Это даже неприятно...»

Однако амбиция амбицией, а людей Данилову стало жалко. За Кармадонову безопасность он теперь не беспокоился — тот был уже не мальчик. Но одно дело забитые принсипские крестьяне и тихий, к тому же, наверное, и рассеянный профессор из Оксфорда, другое дело — ребята на корриде. Как бы они своим специфическим отношением к быкам не лишили Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет, с ним он и вышел на ненасытного Бурнабито?

Так или иначе, но Данилов решил все узнать и перевел себя в демоническое состояние. Да с него бы иначе потом спросили — куда он глядел. В то несуществующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрта дель Соль. Тот, ихний, город недавно проснулся, но был взбудоражен. Синий бык уже звал на вечернюю корриду с кровавых афиш. Морда его была зловеща, вся в пене, а рога пугали публику как обструганные колы в эпоху романтизма турецких пленников. По улицам ходили толпы с лозунгами и просто так.

На полдороге к Арене у фонтана Кибелы Данилов увидел цыганок, под кастаньеты приятелей плясавших гитану в честь принсипского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл о Кармадоне. Но тут по направлению к Арене прошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках. Возле Арены жуть что творилось! Билеты продали вчера, до корриды было еще полдня, а публика тут так и кипела. Ветер от Гвадаррамы трепал гигантское полотнище с заключением мадридских ученых светил. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный принсипский, шкура и мех его действительно синие от природы, никаких искусственных красителей экспертиза не обнаружила, с гормонами и гипофизом у быка все в порядке. Стало быть, он не продукт всеобщей акселерации и не ошибка принсипской фауны, а такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато Данилова обрадовали предположения ученых светил о производительных возможностях принсипского быка. «Это не бык,— подумал Данилов с уважением,— а зверь!»

На самой Арене было пусто, несколько служителей мели метлами, суетилась администрация, но герои — тореадоры, матадоры, пикадоры и прочие эскамильо — пока где-то гуляли. Данилов по-

шарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельной зале на сенной подстилке обнаружил принсипского быка. Залу, или вольер, или стойло, держали под наблюдением солдаты со станковыми пулеметами и ружьями «базука». Имелись тут же и цирковые укротители с пожарными трубами. На решетке возле принсипского быка была укреплена позолоченная табличка: «Д-р Бурнабито. Бык Мигуэль».

Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет, пахло лишь железнодорожным буфетом станции Моршанск-II. Но самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или там зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности.

«Спит или притворяется?» — засомневался Данилов. Из подстилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю ноздрю. Ноздрей бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода, но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе Арены Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей. Бык только губами пошевелил.

«Ну и ну! — удивился Данилов.— Ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал Кармадон закалить волю! Вот тебе и ас! Крепился, крепился, а, видно, чуть расслабился, его и сморило. Да и как же иначе-то, после стольких лет бессонных сновидений!»

Данилову стало жалко Кармадона. Он сыскал на складе Арены хорошую попону и быка Мигуэля ею старательно прикрыл.

Но теперь Данилов успокоился, Кармадон проснуться сразу явно не мог, пусть отсыпается, значит, и бед от него пока никаких не будет. «А вечером посмотрим»,— решил Данилов и перевел себя в человеческое состояние.

11

Времени в Москве не прошло ни секунды, Данилова ждали заботы Клавдии. Но что Данилову были ее заботы, когда, вернувшись из Мадрида, он вспомнил о Наташе и об их свидании нынче вечером! Да и возле быка Мигуэля, казалось теперь Данилову, он скучал о Наташе.

Клавдия Петровна просила Данилова съездить сегодня к ней на службу и посмотреть австралийский пеньюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Сама Клавдия иногда платила Василию Федоровичу, суровому бойцу в гимнастерке, хранителю табельных мгновений, по рублю за день, он отмечал ее присутствие, она же работала «на дому».

Впрочем, каждый день сидеть дома было скучно. Однако сегодня, как, впрочем, и вчера, Войнов требовал испытательных хлопот.

Пропуск Данилову заказали сослуживцы Клавдии Петровны, Данилов с уважением предъявил его вахтеру и поднялся на чет-

вертый этаж учреждения. Дверь в комнату Клавдии была заперта, на ней висела бумажка со словами: «Тише! Идет совещание!» Данилов постоял, постоял и все же решился постучать в дверь. Выглянувшая в коридор строгая дама сразу спросила: «Вы от Клавы?» — и впустила Данилова в комнату. Совещались по поводу пеньюара и еще каких-то вещей, близких к телу. Привезла их одна знакомая, прожившая три года в Австралии, в Москве они показались ей лишними. Среди совещавшихся было и двое мужчин, видно что хозяйственных. Данилову как свежему человеку обрадовались. Кто-то сразу сказал: «Как хорошо, что вы пришли! Клава хвалила ваш художественный вкус. Вы взгляните и оцените!» Данилову показали австралийские вещи. Вещи были впрямь хороши, но Данилов выразил сомнение — а вдруг пеньюар не подойдет Клавдии по размеру. «А вы поглядите на мне,— сказала старший экономист Теребенева,— мы ведь с Клавой одинаковые». Вначале переодевание Теребеневой Данилова смутило, однако Данилов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослуживицы и для них особенности пола не имеют значения. Стало быть, и его, Данилова, признали за своего. Пеньюар на Теребеневой сидел прекрасно, Данилов согласился, что и на Клавдии он будет хорош. Принял Данилов участие в обсуждении и примерке и других вещей. Ему было жалко Клавдию — она теряла такой рабочий день.

Из автомата он ей сказал об этом. Сообщил также, что пеньюар оставлен ей, и цена его шестьдесят рублей.

— А париков там не было? — спросила Клавдия Петровна.— Значит, до тебя расторговали. Стоит не явиться на день — и ты уже в ущербе! Такие у нас нравы... Ну ладно! Я рада за тебя, хоть пеньюар тебе понравился. Спасибо. Я спешу. Варю для Войнова флотский борщ. Ты не забыл, завтра нам идти к хлопобудам восстанавливать номер?

— Не забыл,— вздохнул Данилов.

— Ну до завтра!

«А до Наташи еще восемь часов...» — подумал Данилов, то ли радуясь, то ли печалясь.

В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты и в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там,— забеспокоился Данилов,— спит или проснулся?» Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. Бык Мигуэль спал, укрытый попоной, а вокруг Арены продолжалось столпотворение. Подтягивались и армейские части. Среди новостей была такая. Час назад самолетом прибыл в Мадрид известный боксер Фил Килиус. Этот Фил прямо в аэропорту заявил, что убьет при публике синего принсипского быка одним ударом кулака. О своих финансовых претензиях он говорить пока отказался. Профсоюз тореадоров выступил с протестом по поводу прилета и заявления Фила Килиуса. Профсоюз осудил попытку Фила вмешаться не в свое дело и потребовал не допустить варварских действий Фила Килиуса по отношению к животным, а

именно к принсипскому быку Мигуэлю. Вокруг Арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнабито ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Назывались суммы в долларах и песетах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнабито никаких официальных заявлений не делал.

Данилов поправил попону на быке Мигуэле, решил, что вечером он еще заглянет в Мадрид. Сдвинул пластинку на браслете. Пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал» и бутерброд с жесткой колбасой.

Тут же его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции освобожден. Данилов вместе с Никулиным и другими членами редколлегии должен был быстро и теперь же клеить стенгазету. Плакатным пером Данилов вывел заголовки, приклеил заметки, отпечатанные на машинке из литературной части, в том числе и две свои, про балерин. В оценках их искусства Данилов был справедлив и тонок, не одна звезда кланялась ему теперь в оркестровую яму. Героиню сегодняшней заметки «Впервые в «Сильфиде» звали Наталья Алексеевна, Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок — «Наташа». Без двадцати семь Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташе были оставлены на правую сторону, Данилов у правых билетерш и хотел ждать. Но Наташа с программкой в руке уже поднималась на бельэтаж.

— Наташенька! Здравствуйте! — воскликнул Данилов.

— Здравствуйте, Володя,— улыбнулась Наташа.

— Вы уж не обессудьте, что я вам достал в бельэтаж, главное, что ложа ваша ближе к середине...

Как уж он играл, Данилов не помнил, но, наверное, хорошо играл, только в музыке его не было ни Хозе, ни Кармен, ни работниц севильской табачной фабрики, ни мальчишек с ружьями, а была Наташа и был он. И альт его, получалось, будто бы обладал той же красотой звука, какая была у Альбани, или это Данилов чувствовал, что музыка его так же красива, как и с Альбани. В антрактах Данилов спешил наверх, по левой лестнице, туда, где возле стеклянного футляра с знаменем «Победителю соревнования» его ждала Наташа, зимняя, тонкая, в коричневом брючном костюме, и они впадали в хоровод главного фойе или шли к пирожным в буфет, а то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы, из альтовой группы, взмывал звуком в сладкое поднебесье музыки, к хрустальному саду большой люстры и даже выше его, и только возникавшая в опере время от времени тема тореадора тревожила Данилова. Тогда он думал о Кармадоне и о своем намерении не допустить на корриде бед. Однако он считал, что не может теперь при Наташе хоть и на мгновение выйти из человеческого состояния. Да и не только теперь, но и никогда. Он уверил себя в том, что Кармадон нынче не проснется и бед не будет. Тем более что прилетел Фил Килиус. А потом Данилов забыл о Кармадоне.

После спектакля дирижер опять похвалил Данилова.

Он даже сказал: «Вы обязательно поедете на гастроли в Италию...» А ведь прежде эта поездка была для Данилова под сомнением. «Подождите,— думал Данилов,— я еще не так сыграю...»

Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени «Ч».

Пустынными переулками шли они с Наташей к Хохлам. Сначала Китай-городом, потом Солянкой, а там Большим Ивановским свернули в Колпачный, к палатам гетмана Мазепы. Холодный воздух Данилова несколько отрезвил, и Данилов тихонько сунул индикатор в карман пальто. Прошлый поход был слишком памятен Данилову. За инструмент он теперь не боялся, а боялся за Наташу и намерен был честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича в усердиях упредить. Но соображение о Валентине Сергеевиче было коротким и как бы нейтральным («чтобы за нами никто не подглядывал...»), даже и в мыслях сейчас, рядом с Наташей, Данилов не хотел напоминать себе, что он не во всем человек...

— Тут, по Колпачному,— сказал Данилов,— когда-то с холма бежал ручей Рачка, а вокруг сады были Василия Третьего. Оттого палаты гетмана к Колпачному стоят торцовой стеной, и, видите, наличники тут скромные, а вся красота во дворе...

Палаты гетмана были в лесах, реставраторы с левого бока вели уступчатый карниз большемерным кирпичом, а на первом этаже, справа, большемером же обозначили два давно уж сбитых наличника палаткой. Наташа непременно захотела увидеть здание со двора, они и прошли с Даниловым под арку. Луна и фонари от студии «Диафильм», а прежде польского костела, высветляли двор, однако Наташа споткнулась о брусы тесаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее за руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался как отрок. И во дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов все же показал Наташе первые полуколонки, недавно выведенные реставраторами, и роскошные, с разорванными фронтонами, наличники верхних окон. На временной двери, обитой войлоком, виднелась табличка: «Посторонним вход запрещен. Строительные работы». Наташа дернула дверь, она открылась.

— Сейчас, я спички достану,— сказал Данилов.

Он зажег газету и осветил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз по дощатым мосткам и там, где быть полу, возле носилок с застывшим раствором, остановилась.

— Чудо-то какое! — сказала Наташа.— Вот и Мазепа спускался сюда со свечой в руке, тут было где прятать тайные мысли или вызывать их. Или смотреть добро в ларцах. Гетман! Мазепа! Где ты! — крикнула на всякий случай Наташа.

Данилов осторожно ступал по мосткам, хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, и никогда не жил в этих палатах, вопрос тут спорный, и еще хотел похвалить Петра Ильича за ариозо Мазепы из второго акта «О, Мария...». Однако сейчас же отругал себя: «Ну и зануда я сегодня!» Газета догорала, тесаные белые камни стен теряли очертания, покачивались, кривились.

— Вон, вон, Мазепа спускается, словно сейчас нам скажет! Как Кочубею! — воскликнула Наташа.

— Где?

— Уже исчез,— рассмеялась Наташа.— Истек позором в Полтаву...

Данилов отбросил истлевающий остаток газеты, в черноте обнял Наташу, и опять, как неделю назад, губы ее были добрыми и не отошли в сторону.

— Ничего не говорите, Володя, теперь,— прошептала Наташа,— ничего...

От палат к Наташиному дому дворовой тропинкой идти было минуты две. А они еще час, может быть, и два пробродили переулками у Покровки.

— Наташа,— сказал Данилов,— вы, наверное, обиделись, что я не позвонил вам после похорон Коренева...

— Я не обиделась,— сказала Наташа.— Просто мне было скверно... И хотелось на кого-то опереться... По слабости, наверное, и от дурных чувств... Это я вам не в упрек... Вы же ни о чем не знали...

— Должен был бы знать,— сказал Данилов.— И я обещал позвонить вам. Нет у меня никаких оправданий. Одна суета...

— Вот вы, Володя, не знали, а Мишу Коренева я любила, восемь лет назад это было, а любила... Я вам тогда сказала, что я из дому убежала в Пермь с любимым человеком и там познакомилась с Мишей. Это неправда. Я убежала с Мишей. Он и был любимым человеком...

— Вы все же на устный журнал,— сказал Данилов осторожно,— пришли из-за Миши?

— Нет, Володя. То все прошло. И с болью прошло... А Мишу мне было жалко. Не думала, что он сможет убить себя. Для этого ведь сила нужна, а у него силы не было... Я закурю, Володя?

Инструмент положив на тротуар, Данилов ладонями задержал ветер у Наташиных щек.

— Он тогда из дома ушел, из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь. Стал работать в театре, в музыкальной части, комнату снимал на Мотовилихе в деревянном доме, я у него и жила. Но он не из-за театра уехал. Была возможность создать молодежный ансамбль старинной музыки, струнные, деревянные духовые и клавесин, хотели они играть музыку барокко, и даже Монтеверди, наших забытых композиторов. Мишу прочили в руководители. А мне было семнадцать, я, дуреха, мечтала о театре, провалилась в Щепкинское, Миша сказал, что там он устроит меня в театр, а дальше пойдет... Он устроил, да не пошло... А ансамбль у них получался, но много было мытарств, хождений по инстанциям, недоумений, к чему бы тут барокко и Монтеверди. И прочего, сами можете представить. Миша маялся, страдал, полтора года жил надеждой, а он ведь горячий, нетерпеливый, и вот после одного разговора в отделе культуры или еще где-то он все ходил, ходил по комнате и повторял: «Тупик! Тупик! Ужас!

Провинция!» И уехал ночным в Москву. А я не поехала. Я уж чувствовала, что я ему в тягость, хоть он и не разлюбил... Хозяйка смотрела на меня, как на брошенную содержанку... У меня ребенок должен был бы быть, но вот нет его... На сцене я уж не играла, актриса из меня плохая, но за театр я держалась, или он держал меня, работала в костюмерном и хорошо шила, с удовольствием... А потом, когда Миша уехал, как-то все стало мне безразлично, опустила я руки... И надолго... Если не навсегда...

Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там за углом и налево опять был Колпачный.

— Миша мне однажды сказал,— заговорил Данилов.— «Помни, боящийся не совершен в любви».

— Он и мне написал это. И еще написал что-то странное... Я только догадываюсь, что он имел в виду... Что-то мучало его в последнее время, какая-то тайна...

Данилов и не сомневался, что в Мишиной истории было нечто странное и тайное. В последние дни Коренев не раз приходил ему на ум, и Данилов хоть и впустую, но силился отгадать причину Мишиного порыва. Да где уж было ему! Теперь он подумал, что потом, когда-нибудь, непременно расспросит Наташу о последнем письме Коренева.

— Вот как все вышло,— сказала Наташа.— Это ведь я тогда была готова броситься в Каму. Я и могла... Он в Москве часто слал мне письма, уверял, что любит... Но во мне все прошло... А ансамбль тот получился хороший, его даже посылали за границу... Но получился без Миши.

— Я слышал,— кивнул Данилов.

— Потом я вернулась в Москву,— сказала Наташа.— Со стариками у меня вышло нехорошо... Вроде бы и не говорили они ничего, а вот молчком осуждали... В НИИ устроили лаборанткой, чтобы хоть при деле была... Чужая я им стала, непонятная... Я уж в НИИ комнату получила в коммунальной квартире, одна и живу... А Мишу мне жалко... И нехорошо на душе... Будто еще должно случиться что-то дурное...

Данилов ничего не сказал, хотя в ином случае он бы нашел какие-нибудь невесомые успокоительные слова, от которых и Наташе и ему стало бы легче. Он просто молча шел с Наташей. Теперь они направлялись к ее дому. После Наташиных слов отчуждение возникло между нею и Даниловым, они даже шли сейчас на расстоянии друг от друга, и в тихой пустоте отчуждения был вовсе не Миша Коренев, нет, нечто иное разделило их, на мгновение или навсегда. У каждого из них была своя судьба и своя жизнь, эти жизни находились сейчас так же далеко одна от другой, как месяц назад, когда Данилов не подозревал о Наташином существовании. «Да что это я иду-то с ней? Зачем? Сейчас провожу ее до подъезда,— думал Данилов,— и домой, на такси, может, высплюсь...»

Однако уже возле дома Наташа предложила Данилову зайти к ней, и Данилов, хотя из вежливости и упомянул про поздний час,

приглашение Наташи принял, до того просто и с полным к нему доверием она позвала.

Дом спал, спали Наташины соседи; раздевшись, Данилов в прихожей возле вешалки оставил альт. В Наташиной комнате было тепло и чисто. По привычке, как всегда в чужих домах, Данилов первым делом подошел к книжным полкам. Книг Наташа имела немного, но все они были Данилову знакомые и приятные, а двум — «Сомову» и «Грюневальду» — Данилов позавидовал, он их ловил уже год. На столе стояла швейная машинка.

— Я много шью,— сказала Наташа.— Есть хорошие модельерши, даже художницы из Домов моделей, с именами, им ведь тоже нужен приработок, они своим заказчицам сочиняют платья или костюмы и кроят. Им нужна швея, чтобы сшить вещь, вот я и шью с удовольствием, у меня выходит... Смешно — называют мастером... Я сейчас чай поставлю... А может, кофе?

— Пожалуй, лучше чай,— сказал Данилов.

Отчуждение, черной пустотой разделившее их в Старосадском переулке, теперь исчезло, Данилов не мог и представить себе, что Наташа когда-то жила далеким, посторонним для него человеком, прошлого не было, не было Коренева, ничего не было в судьбе Данилова, а была Наташа и была всегда. Он смотрел сейчас на нее, на легкие движения ее тонкого музыкального тела, каждое это движение волновало Данилова. А потом, когда Наташа принесла с кухни чай, Данилов взял ее руки в свои и не выпустил их более.

12

Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и хлопобудах. Телефон в Наташиной квартире стоял в коридоре, звонить оттуда Клавдии Данилов постеснялся. Про Клавдию Наташе он все же сказал. Тут же он поспешно и как бы себе в оправдание произнес слова о том, что, видно, в детдомовском и интернатском детстве он до того истосковался по простой домашней жизни с родственниками и близкими, что сразу же, глаза закрыв, кинулся в Клавдиев уют. Данилову стало стыдно. «Нет, я ни о чем не жалею,— быстро добавил он,— Клавдию ни в чем не виню, мы с ней до сих пор находимся в приятельских отношениях...» Помимо всего прочего, Наташа могла подумать, что он дает ей понять, что и теперь его тоска по семейной жизни не прошла. Как все дурно получилось! Но Наташа будто и не услышала его слов, и Данилов был ей за это благодарен. Он ей за все был теперь благодарен! За счастье нынешнее и за спокойствие — в особенности! И за музыку, какая звучала в нем сейчас!

Как трудно было Данилову на Покровском бульваре выйти из своего счастливого состояния и войти в телефонную будку. Вместо Клавдии ему ответил профессор Войнов.

— Клавдию Петровну,— заикнулся Данилов.

— Сейчас, сейчас! Клава-а-а! Тебя...

— Данилов, это ты? У меня нет времени! — энергично сказала Клавдия, но и как бы снисходя к просьбе Данилова: — Через час на квартире Ростовцева. И прошу тебя, прими жалкий вид. Или зловещий. Вроде ты проходимец...

«Фу-ты,— с досадой подумал Данилов,— скоро, что ли, я развяжусь со всей этой хлопобудией!» И тут он вспомнил о Кармадоне.

Вот уже часов четырнадцать он не имел Кармадона в виду!

Данилов прошел в сквер и сел на холодную лавочку, альт положил рядом. На той же лавочке двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще темно, лишь фонари светили, а в партии уже стоял полдневный час. «Притрусили сюда спозаранку,— подумал Данилов,— или сидят со вчерашнего?» Индикатором он проверил пенсионеров на демонизм, старики оказались непорочные. Дальний от Данилова игрок двинул ладью вперед, принося ее в жертву. Ближний старик ойкнул, ладони потер, но при этом поглядел на Данилова. Ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову: мол, нас с тобой не проведешь, а потом протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел Мадрид. Синего быка Мигуэля в городе не было.

Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнабито Данилов отыскал голым в загородной вилле на берегу Мансанареса. Бурнабито сидел в мраморном бассейне, бил кулаками по воде. То и дело к краю бассейна подходил секретарь и деликатно напоминал Бурнабито о течении времени и о необходимости платить выкуп.

Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день. Увидел Арену и публику на ней. На площади армейские части еще сдерживали натиск жаждущих зрелища знатоков, увы, безбилетных. А на Арене шумел народ. И тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на орудийном лафете.

Корридам был не сезон. Но мало того, что нынешняя коррида проводилась в зимнюю пору, Бурнабито еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушение вечных правил. Быка предъявили народу и как бы предоставили ему круг почета. Разнаряженные эскамильо, знаменитые и герои, уже красиво стояли на поле. Туда же для полного эффекта были выведены и все боевые быки. Матадоры — среди них и красавица Ангелита, уравнявшая женщину-тореро в правах,— при виде быка Мигуэля как стояли, так и остались стоять, словно давая понять, что видели они этого быка в гробу. Зато выведенные на парад боевые животные разнервничались, чуть ли не рассвирепели.

Что касается быка Мигуэля, то он, проезжая на лафете, даже не привстал, публике не поклонился, чем вызвал ее особое уважение.

Мигуэля увезли, и началась коррида. Сперва вытолкали быков послабее и подешевле, а заслуженных, и уж конечно Мигуэля,

оставили напоследок. Что тут было! Танцы плащей и мулет, мельканье рогов, пыль из-под копыт, одно слово — тавромахия! Данилов не мог смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на страдания невинных животных. Однако при этом он был увлечен красотой костюмов и необыкновенной пластикой варварского представления. Словом, многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Им бы, быкам-то, объединиться да принсипского брата позвать на помощь, может, тогда у них что-то и вышло б! Публика все ревела, все рвала дымовые шашки, а уж, казалось, должна была бы устать от чувств. «Мигуэля! — требовали дамы, в том числе и американские старухи.— Мигуэля!» Все понимали, что настало время Мигуэля. Знаменитые матадоры Гонзалес, Родригес и Резниковьес в проходе уже явили публике свои стройные ноги и расшитые плечи. Но тут вышла заминка. Ритм праздника, очарование которого вечно, явно нарушился. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибун раздался свист. И тут — в нарушение всех правил и приличий — бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на орудийном лафете. Служители, тоже празднично одетые, с лафета пытались Мигуэля согнать, но вышло так, что они его сгрузили. Никто не заметил момента, когда бык Мигуэль стоял на ногах, однако все его увидели лежащим на земле.

Пикадоры в ярости двинулись на быка Мигуэля, и праздник продолжался.

Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешаться, был теперь в азарте. «Ну сейчас вам Кармадон покажет,— думал Данилов,— заступится за бедных животных». Однако атака мастеров корриды не произвела на Мигуэля никакого впечатления. Уж они и пиками его кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и ногами пинали, и взывали к его мужскому достоинству, между прочим, и к совести, и показывали на публику: она-то, мол, в чем виноватая, цветы швыряла и транзисторы, деньги платила — задаром, что ли! — и манили его куда-то, а он все не поднимался. Мастера менялись — и ничего! В рядах заманивавших и стращавших возникла растерянность. Тут, как из засады, дождавшись своей минуты, вышли на дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковьес. Впервые вышли вместе! А за ними и красавица Ангелита! Однако и великих ждал конфуз. И к движениям их душ бык Мигуэль остался глух. Часа полтора маялись короли Арены со своей ратью, все без толку. На трибунах брали под сомнение и быка. «Да он не настоящий, что ли! — кричали.— Эй ты, бык! — кричали.— Не крути динаму!» Естественно, по-ихнему, по-испански. И тут, поддавшись секундному и южному настроению, вся толпа корридных бойцов в неистовстве с холодным оружием бросилась на принсипского быка Мигуэля.

Публика вскочила в восторге. Наконец-то до Мигуэля что-то дошло, он то ли зевнул, то ли чихнул, то ли именно повел ноздрей, и все мастера, какие были на нем и возле него — среди прочих Гонзалес, Родригес, красавица Ангелита и Резниковьес, все

они отлетели от быка далеко, некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся, публика так и ахнула, все увидели, какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль лениво, но и с достоинством, повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег. При этом подложил передние ноги под голову неловко, словно был не семилетний бугай, а теленок.

Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Килиус. Все думали, что он уехал в Америку. А он не уехал. Он возник у самого барьера, расталкивал полицейских и размахивал кулаками. Ясно было, что он рвется к быку. Публика о быке забыла. Она глядела лишь на Фила Килиуса. Она верила в него как в спасителя ее собственной чести. Однако взволнованный Бурнабито бросился со своих почетных мест вниз с криком: «Задержите его! Не пускайте!» Сразу многие подумали, что Бурнабито беспокоит теперь не здоровье и счастье быка Мигуэля, а, видимо, неулаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг Филу будет удача, он и разорит несчастного Бурнабито. Полицейские и еще какие-то молодцы схватили Фила Килиуса.

Полицейские и молодцы были крепки, но и Фил, выходило, что не слаб. Он то и дело вырывался, кричал страшные слова, грозил, что жуть что сейчас сделает с принсипским быком. Он требовал, чтобы жюри теперь же присудило ему от быка ухо, копыто и хвост. Вырываться-то он вырывался, но, вырвавшись, никуда не бежал, а как бы застывал и давал полицейским себя схватить. Схваченный же, он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. «Пустите!» — кричал Фил Килиус. «Не пускайте!» — кричал Бурнабито. «Пустите!» — «Не пускайте!» — «Пустите!» — «Не пускайте!» — «Пустите! — взревел Фил.— Я его бесплатно!» Взревел так, то ли раскалившись жаждой победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на Бурнабито, тот не сразу нашелся, но все же, обессиленный, дал полицейским знак — добровольца пропустить. Освобожденный Фил тут же затих, то ли удивился, то ли потерял интерес к быку. Однако назад ему путей не было. Публика неистовствовала, требовала обещанного удара кулака. Фил запрыгал перед полицейскими, надеясь, что те опять схватят его, а к быку не пустят. Но они не схватили. Бедовый Фил закинул в отчаянии голову, но потом собрался, принял правостороннюю стойку и танцующей своей походкой двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную и как дал кулаком быку в морду промеж рогов! Мигуэлю бы копытами вверх, а он и не шелохнулся. И было видно, что не помер. Бока его по-прежнему ходили. Обиженный Фил ударил еще, еще — бык ему навстречу не шел. Тогда Фил отбежал метров на тридцать и, словно пробивая пенальти, с разгону бросился на Мигуэля. Но и разгон не помог. А уж Фил вошел в раж и стал бить быка, как грушу. Состоялось мгновение, когда бык Мигуэль поднял голову, взглянул на Фила удивленно и, словно бы сплюнув, голову опять опустил. Фил кинулся вновь в рукопашную, но вскоре руки его повисли как плети, видимо, он их отбил. Тут

Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его, увели к трибунам.

Арена ревела в исступлении. Наверное, никаких распоряжений и не прозвучало, а само собой, словно из чрева Арены, выражением ее яростного чувства, выкатился на поле, сверкая блеском стали, тяжелый танк с зенитным пулеметом и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшись, вызвали в принсипском быке свежие ощущения, бык вскочил. Ошарашенно он глядел секунды две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его и покатил машину, словно степное растение. Зенитный пулемет отлетел тут же, скорострельная пушка погнулась, а что ощущал теперь экипаж, никто не знал. Никто и не думал об экипаже, все были в панике, вскочили с мест, бежали к выходам, пропуская вперед женщин и детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся и тихо пошел в туннель. Данилов понял, что и сейчас он не проснулся, а движется в полной дреме, ноги его несут туда, где ему было хорошо. Бык Мигуэль вернулся к своей подстилке, улегся, прикрыл себя попоной, раздобытой Даниловым, и опять затих.

Зато город был по-прежнему взбудоражен. Но Данилов, оценив ущерб, нанесенный принсипским быком, несколько успокоился. Ущерб был скорее моральный. Многие приобрели теперь печальный комплекс принсипского быка. Не исключалось, что сегодняшний позор мог вызвать появление странствующих рыцарей. Что касается ущерба материального, то он был привычным — разбитые стекла, опрокинутые автомобили, разоренные гнезда любви. Были ушибы, переломы, инфаркты, но они случились бы и без быка. Был покалечен экипаж танка, но кто просил этих неуравновешенных смельчаков идти в наступление! В общем, если бы Данилов вчера во время куплетов тореадора и перешел в демоническое состояние, особых усилий для охраны населения Мадрида от него не потребовалось бы. Ну и ладно.

Однако после корриды события двинулись дальше. В половине двенадцатого ночи принсипский бык Мигуэль был похищен пятью террористами, среди них одним японцем или филиппинцем, посажен в украденный ими большой самолет и увезен в неизвестном направлении. Через полтора часа Бурнабито получил телеграмму из Нуакшота, что в Мавритании террористы, или кто там они, делились с Бурнабито ультиматумом: или в одиннадцать дня Бурнабито кладет пять миллионов на бочку и возвращает семье левого крайнего Чумпинаса, купленного им в Санта-Фе, или в пять минут двенадцатого принсипский бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с обломками самолета. При этом похитители поздравляли доктора Бурнабито со вчерашними десятью миллионами долларов, полученными им за корриду и за продажу телевидению права на показ быка. Власти Нуакшота заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам, просили Бурнабито пожалеть

быка, просили пожалеть и Нуакшот, у террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают.

В Нуакшот Данилов даже и не стал заглядывать. Там вблизи была Сахара, пыль и жара, а бык Мигуэль все равно небось спал. Переносить самолет с Мигуэлем обратно в Мадрид Данилов не захотел. И Бурнабито был ему не симпатичен, да и мало ли какие намерения имел Кармадон! Данилову стало жалко террористов. В это мгновение на глазах Данилова секретарь принес доктору Бурнабито новую телеграмму. Похитители в связи с упрямым молчанием Бурнабито сокращали условия действия ультиматума. Ежели через час, заявляли они, Бурнабито им не ответит, к принсипскому быку немедленно будут применены необходимые меры. Жить он, возможно, и останется, но вряд ли от него появятся телята. Бурнабито чуть ли не всю воду выплеснул из бассейна. А Данилов усмехнулся. Однако тут же и призадумался. А что, если Кармадон так разнежился, что все защитные системы в нем погасли? Мало ли какие неприятности могли тогда причинить ему лазерные пистолеты. Вдруг попортят шкуру или еще что! Дело было не таким уж и спокойным. «Через час я туда загляну,— решил Данилов.— А за час вряд ли что они сделают...»

Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к людям.

Ближний пенсионер еще не дотянул руку с пешкой до жертвенной ладьи. Что-то будто кольнуло его, и он обернулся в сторону Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов или нет, и, видно, ему показалось, что подмигнул. Игрок обрадовался, вернул пешку на место со словами: «Э, нет, ты меня не одурачишь!» Противник его надулся и заявил: «Дотронулся до фигуры —ходи!» Они заспорили, Данилова пытались вовлечь в спор, причем ближний игрок смотрел на него как на друга, а дальний как на врага. Данилов смутился, сказал, что шахматы видит в первый раз и бульваром пошел к стоянке маршрутного такси.

13

Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасьинского, была недовольна тем, что Данилов явился позже нее.

— Пошли,— сказала она энергично.— Прошу тебя, прими виноватый вид. И глупый. Мне во всем поддакивай... Экий ты сегодня! Даю голову на отсечение, но дома ты не ночевал. А? Я ж вижу! Другая женщина на моем месте тебе знаешь что бы сделала!.. Хорошо, я молчу... Ты читал сегодня про синего быка?

— Чего? — удивился Данилов.

— Я говорю, ты про синего быка сегодня в «Труде» читал? Хорошо, я тебе потом расскажу...

Все обошлось быстро и без волнений. Правда, дверь опять открыл обаятельный пират Ростовцев, окончивший два института,

ручку Клавдии поцеловал, убрав на мгновенье изо рта федоровскую трубку с махорочным табаком. Попугай на его плече сидел нынче не зеленый, а синий, клювом был крючковатее и злее прежнего, да и сам Ростовцев, казалось, осунулся в ночных злодейских делах. Народу в прихожей стояло мало, день сегодня был назначен не регистрационный, а конфликтный. На этот раз нутриевую шапку Данилов к корыту не пристроил, а с ней в руках подошел к столу хлопобудов. У передвижников вроде бы все просители имели шапки в руках. Тут Данилов увидел, что хлопобуды — и Облаков в их числе — Клавдию Петровну не то чтобы боятся, но уважают. И было заметно, что она для них человек свой. Ей тут же бы восстановили очередь, но надо было соблюсти формальности. Клавдия Петровна, показав на Данилова, заявила, что он человек рассеянный, корыстный, своего рода артист, хотя и глубоко порядочный. Он-то и прикармапил ее пятнадцать рублей, произведя затор в очереди. Данилов написал заявление, в нем слова Клавдии подтвердил. На Данилова сразу стали смотреть с сочувствием, и даже международник в красивых очках, уж на что был суров к оскалам и гримасам, а и тот, казалось, потеплел. Тут Клавдия Петровна, уловив в хлопобудах слабинку, деликатно спросила, в нарушение правил очереди, долго ли ей ждать своих прогнозов. Облаков взволновался, маленький, быстрый, корсиканец в Фонтенбло, прошелся вдоль стола, сказал, что этого он пока сообщить не может. «Я понимаю, понимаю»,— смиренно кивнула Клавдия Петровна, а в глазах ее Данилов прочел: «Болтайте, болтайте, я-то уж свой прогноз знаю!» Тут бы и уйти, но пегий человек с вахтенным журналом обратился к Данилову с просьбой дать инициативной группе подписку о неразглашении.

— А зачем? — удивился Данилов.

— А затем, чтобы были соблюдены все условия чистоты проводимого опыта...

— Ну, пожалуйста,— сказал Данилов.

Когда он опустил ручку, все притихли, и у Данилова возникло ощущение, будто отныне он будет связан с хлопобудами чем-то важным. Пусть не кровью, но и не чернилами.

Расстались хлопобуды с Даниловым хорошо. У Ростовцева, вблизи дверей, на плече сидел вместе с попугаем теперь еще и хомяк. Данилов хотел пройти от Ростовцева подальше, а Клавдию к румяному пирату так и потянуло. Данилов чувствовал, что он Клавдии мешает, но куда ж ему было деваться?

— Все,— сказал он на улице,— я с ними закончил.

— Ну нет,— возразила Клавдия.— Не думаю. Они к тебе хорошо отнеслись.

— А если б плохо отнеслись, мне-то что?

— Не храбрись! Они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке... Если что не по ним, они тебя в порошок.

— Ты меня напугала. Я и вовсе буду от них подальше...

— Нет, Данилов,— сказала Клавдия,— ты будешь пристегнут к моей сумасшедшей идее...

Данилов хотел было возразить Клавдии, но подумал, что лучше саботировать идею молча.

— Когда же ты мне идею-то откроешь? — спросил он.

— Тише! Молчи! В ближайшие дни и открою!

Тут Клавдия Петровна вспомнила:

— Слушай, ты не знаешь, кто такие голографы?

— Что-то читал, но не помню. Зачем они тебе?

— Видишь ли,— сказала Клавдия Петровна печально,— по побочным прогнозам выходит, что через десять лет мне не так Войнов будет нужен, как голограф...

— Какой голограф?

— Какой-нибудь... Стоящий... С умом... И мужчина.

— Да брось ты! Тебе-то — и какие-то голографы!

— Это они теперь голографы,— возразила Клавдия Петровна,— а через десять лет, говорят, они будут более других одетые.

— Ну смотри... А что же, Войнов побоку?

— Нет, отчего же,— в голосе Клавдии вместе с печалью возникла и нежность, явно вызванная мыслью о Войнове.— У нас с Войновым еще есть время... Но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести. А впрочем, это частности!

— Частности,— кивнул Данилов.— Ты взяла пеньюар?

Он теперь испытывал к австралийскому пеньюару чуть ли не симпатию, и судьба его Данилова беспокоила.

— Ну, конечно, спасибо тебе! Я передала твои рекомендации Войнову, он тут же велел брать! А с париками они нас с тобой обвели вокруг пальца!

Наконец возле «России» они попрощались с Клавдией, однако Данилов крикнул ей вдогонку:

— Слушай, а что ты говорила насчет быка?

— Ты прочти! — обернулась Клавдия.— Это очень интересно. Я бы много отдала, чтобы побыть с ним рядом... Я потом расскажу...

«Ну все! — подумал Данилов.— Еще два дня — и все! Конец Клавдии и ее хлопобудам!»

Однако в Москве прошел час. В Мадриде, стало быть, тоже.

Данилов приблизился к Пушкину, сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движения часов. Пластинка браслета сместилась, Мадрид предстал перед Даниловым во всей своей утренней красе. В провинцию, в народ уже двигались на лошадях Пржевальского, взятых из частных заповедников, первые странствующие рыцари, пораженные комплексом принсипского быка. Правда, без оруженосцев. Один лишь бывший Резниковьес ехал при официанте. Как Данилов и ожидал, Бурнабито сдался. Пять миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинас освобожден от условий контракта и мог вернуться к семье, в Санта-Фе. Журналистов Бурнабито принял у себя на вилле, пребывая в полотняных плавках в проточной морской воде. Он выглядел утомленным, но и до-

вольным. Свое решение он объяснил гуманными упованиями. Ему было жалко быка Мигуэля, жалко авиакомпанию, жалко служителей аэропорта Нуакшота, жалко семью этой левой крайней скотины Чумпинаса. Город ночью не спал и чего-то ждал. Решение Бурнабито не то чтобы всех расстроило, а как-то опечалило. В том исходе было благоразумие, но не было страстей, и теперь все, даже и тихие люди, жалели, что ничего не взорвалось и не лопнуло.

Это разочарование душ обернулось шумным протестом против уступки негодяям террористам и сантафевской негодяйке жене левого крайнего Чумпинаса. Назревал скандал. Бурнабито, улыбнувшись, заявил, что Чумпинаса заменит куда более яркая звезда, он, Бурнабито, не пожалеет денег. Может быть, Мюллер. Может быть, Ривеллино. А может быть,— тут доктор Бурнабито сделал театральную паузу,— а может быть, и сам Виктор Папаев из московского «Спартака». Папаеву уже сделано предложение. Имя Папаева произвело фурор. Журналисты остолбенели. «Как! Сам Папаев! Не может быть! Экстра-экстра-экстракласс! Грандиозно! Три корнера — пенальти!» Стало ясно, что проныр лукавый Бурнабито и на этот раз себя не укусит за локоть.

Тем временем принсипский бык Мигуэль самолетом прибыл в Мадрид. Уж на что он вчера стал неприятен местным жителям, а теперь, после ночных переплетов и нуакшотского сидения, его встречали как родного. С гитарами, с кастаньетами. Бык опять лежал, лишь иногда поднимал голову и смотрел на публику мутным глазом. Однако теперь в его позе и взгляде виделось нечто царственное. Вынесли его из самолета на специальных носилках человек двадцать — все атлеты. Данилов при этом опять пожалел бедняг террористов, в особенности японца или филиппинца. Тут же бык Мигуэль был снова водружен на орудийный лафет и в сопровождении мотоциклистов мадридскими пласами и авенидами отправлен в предназначенную ему резиденцию.

Прямо в аэропорту доктор Бурнабито устроил пресс-конференцию. Во вчерашней корриде не было у него с быком ни сговора, ни какого-либо тайного соглашения. Только бессовестные люди могут теперь требовать деньги назад. Медицинские светила признали сегодня, что бык Мигуэль находится в заторможенном, если не сказать сонном, состоянии. Видно, он утомился в хинной роще, или недоспал, или укушен принсипской мухой цеце, или еще не прошел акклиматизацию. Но уже в ближайшие часы, заверил Бурнабито, бык Мигуэль будет бодрым и беспечным. И сделает это любовь. Лучшие особи женского пола типа коровы, томные, страстные, собраны сейчас в ожидании Мигуэля. Кого он выберет — дело его. Найдутся и другие трогательные натуры. Кстати, заметил Бурнабито и улыбнулся с некиим большим смыслом, получена телеграмма от суперзвезды Синтии Кьюкомб. Синтия летит в Мадрид, она готова отдать сто тысяч долларов только за то, чтобы провести час в компании с принсипским быком. Ну что же, Бурнабито и ученые консультанты обсудят просьбу Синтии, главное,

чтобы в итоге всех мер, закончил Бурнабито, сделать добродетель ощутительною.

Еще и Синтия Кьюкомб! Синтия давно уж заткнула за пояс и Мерилин, и Брижжит, и Элизабет. Одни камни в оправах, какие на ней иногда висели, стоили далеко не один миллион долларов. Синтия на экране умела быть не только секс-бомбой, но и секс-облаком. Подкупало и то, что Синтия в наиболее лирических сценах перед кинокамерой не играла, а жила. Фильмы ее, в числе их «Сентиментальное танго», даже и в скандинавских странах шли из-под полы, да и то порезанные ханжеской скандинавской цензурой. И вот Синтия Кьюкомб летит к принсипскому быку. Тут не один Мадрид, тут и Данилов взволновался!

Он взглянул на Мигуэля. Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре. Данилов зевнул.

Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. «Кабы и мне поспать сейчас!» — возмечтал Данилов.

Но где уж было ему поспать!

14

Он хотел уверить себя в том, что Кармадон заразил его зевотой, но это было бы ложью. Данилов и сам недосыпал.

Сегодня ладно, сегодня он не выспался известно почему, сегодня была радость. А недосыпал он изо дня в день, и все из-за суеты, из-за долгов, из-за того, что для себя мог заниматься музыкой чаще всего ночью. По ночам он играл, но вполголоса, щадя людей, не то что сосед Клементьев, деревянный духовик из детской оперы, для души поместивший прямо у Данилова за стеной электроорган. Как слабосильный школьник, Данилов ждал выходных дней, чтобы отоспаться.

«Как бы в яме сегодня не заснуть!» — обеспокоился Данилов. Однажды он заснул, был случай, пульт свалил, однако смычок его и тогда не отпустил струн. Теперь Данилов усердно пил кофе в буфете и возбуждал себя хоккейными разговорами. В один из перерывов он позвонил Наташе просто так, чтобы услышать ее голос, но Данилову сказали, что Наташа ушла на склад, за химической посудой.

Вечером играли «Настасью Филипповну». «Настасья» кончилась в десятом часу, а «Спящая» с ее пятью актами — в одиннадцать. После «Спящей» Данилов мог поднимать гири, а после «Настасьи» лишь опускал голову под струю холодной воды. И «Настасью»-то он любил! Это была прекрасная музыка, сочиненная мастером, нервная, высокая, как диалог Достоевского, с пронзительным смешением голосов, с точными, по звуку и мелодии, ответами на движения душ, страдающих на сцене, или и не ответами, а наоборот — предвосхищениями этих движений душ. Музыка «Настасьи» была сродни Данилову, он знал, что и его

дорога музыканта рядом или хотя бы ведет в ту же сторону, но здесь, в яме, он был не творец, а исполнитель, работник, и помимо всего прочего должен был хорошо считать. Данилов считать в музыке любил и умел, но в «Настасье» именно из-за мгновенного отражения музыкой мятущихся и быстрых чувств счет был сложный, как ни в какой другой вещи, только «Весна священная» «Настасье» не уступала. Счет не давал Данилову в «Настасье» передышек, вот и вставал Данилов в десятом часу с места измочаленный. Нынче и кофе не помогал, глаза у Данилова слипались, были эпизоды, когда он играл в полудремотном состоянии, вздрагивал, будто очнувшись, а счет в нем словно вело некое устройство, не умевшее ошибаться. «Дотянуть бы до конца — да и на морозец!» — мечтал Данилов.

Рядом с ним сидел усатый Чесноков, молодой альтист, введенный в «Настасью» после пяти репетиций. Чесноков все делал как надо, и перелистывал ноты, и уж конечно производил смычком точно такие же движения, как и Данилов, однако звука его инструмента Данилов не слышал. Видно, Чесноков робел, сбивался со счета и боялся, как бы ошибкой не вызвать гневных или язвительных слов дирижера. Оттого его смычок и летал, не достигая струн. Чесноков понимал, что Данилов не мог не заметить его хитростей, смущался, отводил глаза. Данилов уловил мгновение и — естественно, не прерывая в уме счета — шепнул ему: «Не расстраивайтесь. Это действительно сложная вещь. Привыкнете к ней — и у вас пойдет... Поверьте мне...»

В антракте Данилов поспешил в буфет в надежде, что тонизирующий напиток «Байкал» одолеет его зевоту. За столик к Данилову присели флейтист Садовников и скрипач Николай Борисович Земский. Взяли пиво.

— Красивая девушка была с вами вчера, Володя,— сказал Садовников.

— Красивая,— согласился Данилов.

— Данилов, а ведь ты демон! — гулко рассмеялся скрипач Земский.

— Я вас не понял, Николай Борисович,— сказал Данилов.

— Да я насчет баб! — Земский при этом наклонился к уху Данилова, сам же загоготал на весь буфет, а в буфете были иностранцы и школьницы.— Ты ведь с бабами-то демон!

Николай Борисович Земский был обилен телом, басом в Максима Дормидонтовича Михайлова, стаканы, уже пустые, на спор раскалывал звуком, лыс, зато с кустистыми бровями, имел прозвища Людоед и Карабас, в коллективе слыл как охальник и бузотер. И дирижеры боялись его озорства. Николаю бы Борисовичу с его комплекцией, раздетому, выступать в цирке вместо Новака, а уж в оркестре дышать могучей грудью хотя бы в гигантскую медную тубу, делать «фуф-пуф» в страшных местах, а он был скрипач, причем искусный, нежнейший. Правда, последние полгода он не играл. То есть он играл, но как сегодняшний сосед Данилова Чесноков, лишь изображая движения смычка. Делал он это куда бо-

лее артистично, нежели Чесноков. И струн он не касался не из боязни совершить ошибку, а из творческого принципа. Если бы его попросили для проверки сыграть любую партию, он бы ее сыграл не хуже первой скрипки. Но с такой просьбой к нему никто не обращался, при наличии тридцати шести скрипок молчание одной из них в оркестре, пусть и нежнейшей, можно было не заметить. Ближайшие же к Земскому скрипачи сидели робкие, знавшие, что он потом их все равно перекричит. Впрочем, может быть, они уважали его принципы, а принципы эти не позволяли Земскому создавать звук. Он принял в творчестве новую веру, по ней сочиненные им звуки должны были возникать лишь внутри предполагаемых слушателей. Он бы и вовсе бросил старую музыку, однако ему оставалось два года до пенсии, а пенсию Николай Борисович получать намеревался. В быту он был бесцеремонен, что, видно, объяснялось незащищенностью его натуры, но к Данилову относился уважительно. Во-первых, потому, что видел в нем музыканта, пусть и старой школы. А во-вторых, он был членом кооператива, в котором Данилов входил в правление. У Данилова Николай Борисович и узнавал всякие домовые новости. Обижался он на Данилова, лишь когда тот, забывшись, называл его Земским. «Я не Земский. Земские были соборы и врачи,— ворчал он.— Я Земской!»

— Мишу-то Коренева хоронил? — спросил Земский.

— Хоронил,— кивнул Данилов.

— Я вот не смог пойти... Да... А он ведь мои мысли о музыке почти принял,— сказал Земский.— Да испугался их в суете-то!

— Какие ж у вас такие мысли, Николай Борисович? — спросил флейтист Садовников.

— Это не за пивом,— сказал Земский.— У нас с ним, с Мишей-то, были долгие беседы. Но робость его взяла. Не из-за нее ли он и прыгнул в окно?

— Думаю, что не из-за нее,— сказал Данилов.

— Кто знает... Я тебе, Володя, как-нибудь расскажу о наших разговорах... Это, брат... Да-а-а...

Тут прозвенел первый звонок.

«Настасью» Данилов доиграл, веки его так и не слиплись, однако он очень устал от спектакля. «Стало быть, Миша Коренев,— думал Данилов,— ходил к Земскому... Надо будет обязательно расспросить Земского... Теории его ладно, хотя и они любопытны... Главное — выяснить про Мишу...»

Дома Данилов, не раздеваясь, рухнул на диван. Однако нашел в себе силы подняться и сварить кофе. Подошел к телефону, постоял возле него в раздумье, отошел. Утром они с Наташей расстались, не сказав ни слова о будущих своих отношениях, никак не назвав то, что с ними произошло или происходило. И потому, что любое слово было бы здесь неточным, а может, и ложным, и потому, что вовсе не хотели навязывать себя друг другу, обручами условных понятий укреплять то, чего, возможно, еще и не было. Она даже не сказала: «Я тебе позвоню. Или ты мне позво-

ни», она просто закрыла дверь, и все. Данилов был за это благодарен Наташе, и, как бы его теперь ни подмывало желание позвонить ей, он не поднял трубку. Не надо было торопить жизнь, а следовало ей самой доверить и свои чувства и свою свободу. Однако Данилов, сам-то не позвонив, опечалился оттого, что не позвонила Наташа.

«А как там Кармадон?» — вспомнил он.

Он перевел себя в демоническое состояние, но не сразу окунулся в мадридскую жизнь. На излете своих земных мыслей он вспомнил, что так и не посмотрел ноты композитора Переслегина. «Экая я безответственная скотина!» — отругал себя Данилов. Но сдвигать пластинку браслета обратно и хвататься за ноты Переслегина было бы теперь неприлично. Данилов сам себя изъял из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве и веселился бы с Даниловым на глазах у всех, скажем, в буфете Дома композиторов, то Данилов, даже и переходя в демоны, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел.

Но теперь, пока Данилов еще не очутился чувствами в Мадриде, в его кооперативной обители могли появиться известные Данилову личности. В обычные мгновения по условиям договора путь сюда им был заказан. Данилов уже слышал за стеной некое шуршание и мурлыкание, то, наверное, пробирался к Данилову на беседу египетский кот Бастер, бывший покровитель музыки и танцев, полуслепой добряк, и на заслуженном отдыхе не потерявший интерес к событиям культурной жизни. Но сейчас же в квартире Данилова произошло знакомое ему сотрясение воздуха, предвещавшее обычно сладкие мгновения удовольствий. Все завертелось, запрыгало, кота Бастера воздушной волной отнесло обратно в египетские земли, мебель, посуда, книги, в их числе и философские, документы Данилова, страховые листки, связанные с альтом Альбани,— все было вовлечено в сумасшедшее вращение с нарастающим свистящим звуком и оранжевым свечением. Тут что-то грохнуло, зазвенело, все вернулось на свои места, и на письменном столе Данилова возникла демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, кавалерист-девица, жаркая, ликующая, готовая утолить любую жажду, поправшая теперь конспекты занятий вечерней сети прекрасными босыми ногами.

— Здравствуй, Данилов! — сказала Анастасия и спрыгнула на пол.— Ах ты, миленок мой, Данилов, что же ты прячешься-то от меня? Аль другую полюбил? — Она смеялась, но в оранжевых глазах ее Данилов уловил и укоризну.

— Да все дела,— пробормотал Данилов.— Вот теперь с Кармадоном...

— Ах, брось, Данилов! Какие дела! — махнула рукой Анастасия и сверкающими камнями, видно инопланетными, устроила в воздухе секундный фейерверк.— Что это орет-то у тебя? — спросила Анастасия.

— Что? А-а-а, это сосед...

За стеной деревянный духовик Клементьев из детской оперы, как и всегда в последние три года, разучивал на электрооргане песню «Ромашки спрятались, опали лютики...». Данилов до того привык к его ночной учебе, что и перестал слышать ее.

— Этак голову проломит! — возмутилась Анастасия, и за стеной в электрооргане что-то взорвалось.

Ну вот, расстроился Данилов. На ремонт ему ведь тратиться...

— Не будет ночью играть,— сказала Анастасия.— Есть же постановление... Ну иди ко мне, Данилов. Ведь я так редко вижу тебя, иди скорей...

Однако она сама двинулась к Данилову, не дожидаясь его порыва, обняла его, влекущие, оранжевые глаза ее были рядом. Данилов ощущал ее упоительное тело, понимал, что сейчас все опять может пойти прахом, но прахом ничто не пошло.

— То есть как? — отстранилась от него Анастасия.— Ты не рад мне? В тебе и желания ко мне никакого нет! Стало быть, и вправду у тебя другая! Мне гадали, да я не верила...— Она замолчала, видно ожидая от Данилова каких-то слов, но не дождалась.— Прощай, Данилов! — сказала Анастасия в гневе.— Прощай, ненаглядный! Ужо я тебе припомню измену. Ты еще пожалеешь!

Она ногой топнула, прекрасная, буйная, хорошо, что пол не проломила, и тут же исчезла в гордыне, воздух сотряся и как бы дверью хлопнув, отчего электроорган Клементьева снова заиграл за стеной.

Данилову стало жалко Анастасию. Впрочем, он знал, что Анастасия унывать и страдать долго не будет, да и вряд ли он один у нее ненаглядный. «Но отчего я был холоден с ней? — думал Данилов.— Из-за Кармадона... У меня дела с Кармадоном, и я не имел права...— объяснил он себе, но тут же посчитал это объяснение наивным и фальшивым.— Нет, вот почему...» Прежние его жаркие свидания с Анастасией на Земле происходили в местах отдаленных, безлюдных, оттого-то стихийные явления, бывшие следствием их любви, приносили жителям не столь уж много бед и неожиданностей. Здесь же была область столичная, густонаселенная, к тому же и обильная памятниками архитектуры, Данилову милыми. Вот он и забоялся... Но и это объяснение его не устроило. Соблюдая меры предосторожности, можно было и памятники не разрушить... «Нет, все из-за Наташи»,— понял Данилов.

Это было странно. Прежде Данилову земные женщины вовсе не служили препятствием в демонических отношениях. Явились сейчас же Данилову мысли о том, что с ним случилось. Однако он их отогнал, решив, что раздумья следует отложить до лучших вре-

мен. Но что же это за лучшие времена! Откуда они? Их у него или вообще не будет, посчитал Данилов, или они наступили уже теперь. Может, и время «Ч» отменено. А что, подумал Данилов, вот ведь и Кармадона к нему прислали на отдых, и Валентин Сергеевич исчез. Может, и вправду произошло нечто? Скажем, подействовала искупительная жертва Химеко?

Данилов взбодрился. Он уже верил в Химеко и в облегчение своей судьбы. Ему показалось даже, что в комнате его запахло цветами анемонами из нежных рук Химеко. «Может, и насчет альта ей намекнуть?» — подумал Данилов. Но тут же он вспомнил, что его инструмент, его музыка к демоническим силам не могут иметь никакого отношения. «Вот вернется Кармадон, я с ним поговорю при случае насчет времени «Ч» и Валентина Сергеевича,— в благодушии рассуждал Данилов,— вдруг альт и объявится... сам собой... А что Анастасия грозила — так это она в сердцах...»

15

«Батюшки! — спохватился Данилов.— Я забыл про Кармадона!»

И он отлетел в Мадрид.

Данилов сразу же узнал, что Бурнабито взял у Синтии Кьюкомб сто тысяч долларов.

При этом он, Бурнабито, заявил, что свидание с Синтией вряд ли будет полезно быку Мигуэлю, однако отказать прелестной даме он не может. «Ну и наглец!» — возмутился Данилов.

Бурнабито улыбался, а внутренне был растерян. Ничто не пробуждало в Мигуэле корридного бойца! Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принсипского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий Бурнабито пустил этих ни в чем не повинных существ на мясной фарш для консервов «Завтрак странствующего рыцаря». Кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких и слепой бы почувствовал муки любви, ничто не помогало. Дышал принсипский бык ровно, а сенажную массу, пахнувшую росой, жевал машинально. «Фу-ты! Лучше бы тебя взорвали в Нуакшоте!» — свирепел Бурнабито. Впрочем, он полюбил быка Мигуэля.

В Синтии Бурнабито видел теперь чуть ли не последнюю надежду. Да и Мадрид верил в Синтию. Десятки тысяч взволнованных людей пришли к особняку быка Мигуэля.

Люди облепили ограду в чугунных узорах, повисли на створках ворот, со съестными припасами в руках заняли плоские крыши соседних домов, уплатив хозяевам умеренную мзду. «Ну как, как? Вошла она к нему?» — спрашивали опоздавшие. «Вошла, вошла...» — отвечали им с тихой радостью. Возле ворот было установлено электрическое табло фирмы «Роллекс», отмечавшее доли секунды. Бурнабито как бы держал собравшихся в напряжении

и призвал их во свидетели — если она, Синтия, продлит свои удовольствия хоть на мгновение, пусть, если честная, выкладывает еще сто тысяч.

Среди публики присутствовал и переживал на лошади Пржевальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резниковьес, вернувшийся из провинции со странствующим же официантом. К копью недавнего тореро была привязана проволокой металлическая тарелка с портретом Синтии Кьюкомб и словами «Синтия, и более никакая!». Было известно, что рыцарь объявил Синтию дамой своего сердца и пообещал проткнуть копьем с электронаконечником каждого, кто усомнится в Синтииных совершенствах. Пришли к особняку и любители шахмат, привыкшие узнавать о ходе партий в фойе и на улицах. Чем ближе было к контрольному времени, тем тише становилось на площади.

Когда на табло «Роллекс» вспыхнули нули, дверь особняка распахнулась, и роскошная Синтия, не подарив Бурнабито ни мгновения, вышла на воздух. Она сердито обвела взглядом безмолвную толпу и сказала устало, но зло:

— Бык — импотент!

Толпа так и ахнула.

— Отмщенье, сеньоры, отмщенье! — вскричал странствующий рыцарь Резниковьес и потряс копьем с тарелкой.

Все поняли, что оскорбитель Синтии погибнет. Скорее всего — сегодня же.

Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, обдав пудрой соседних дам, но не успокоился.

«Такой наделает дел! — опечалился Данилов.— Изверг, по роже видно, хоть и рыцарь. Да и Синтия, бедолага, наверное, в обиде... И что они привязались к Мигуэлю! Не дают животному поспать...» Данилов понял — за Мадридом нужен глаз да глаз. Принсипский бык Мигуэль никому не был теперь безразличен, следовало ждать событий, а каких — неизвестно. «Будем глядеть...» — вздохнул Данилов.

Вернувшись в люди, Данилов стал стелить постель и тут остро захотел сыграть одну из «Песен для сумасшедшего короля» Майкла Девиса, шестую. Сыграл. Один раз. И еще. «Кабы на Альбани...» — подумал Данилов. Но и без Альбани вышло хорошо. «Кабы Наташа тут сидела и слушала...» Но и для самого себя сыграть было приятно. Данилов потянулся, представил Наташу спящей, нежность возникла в нем. Однако он тут же вспомнил Анастасию, снова пожалел ее. «А ведь она грозила... Как бы Наташе не сделала худого... Нет, Анастасия не сделает... Она земную женщину в расчет не возьмет... А вот мне что-нибудь да устроит!..»

Данилов взял ноты Переслегина, думая пробежать их хоть наискосок. Одолел первый лист и впился в бумагу глазами. Скоро он понял, что перед ним музыка. В симфонии было семь частей, альт вел сольную партию, но не так, как у Берлиоза в «Гарольде»,

а находясь почти всегда в состоянии любви, ненависти или усталого безразличия к кларнету и валторне, причем валторна показалась Данилову выражением прошлого альта, или, может быть, даже и не пережитого альтом, а только пригрезившегося ему. В семи частях симфонии Данилов не увидел претензии автора, он посчитал, что семь частей тут необходимы, хотя и не понял пока, в чем эта необходимость. Он вообще не стал теперь вникать в замысел Переслегина и во все случаи его партитуры, отложив это на свежую голову. Он просто понял, что перед ним вещь. Он захотел сыграть одну тему из третьей части. Но не смог, а тут, у стола, и заснул.

16

Утром опять был звонок. Опять — ожидание услышать голос Наташи. И опять в трубке — напор неугомонной Клавдии. Клавдия в канун окончания хлопот Данилова по ее списку желала напомнить о временной своей власти.

— Помню, помню...— с досадой пробормотал Данилов и, снятый Клавдией с постели раньше звуков будильника, не смог отказать себе в мелкой мести: — Ну как, достала книги по голографии?

— Пока мне хватит Войнова,— сказала Клавдия.— Он уже мой. Взят.

— Сегодня салют?

— Сегодня и ежедневно. С голографией успеется. А то еще к сроку все позабуду, если сейчас прочту... Да, помнишь, я говорила тебе насчет синего быка?

— Ну?

— Что ну! Тот был в Мадриде. А теперь у нас свой объявился в костромских землях, в Панкратьевском районе.

— Кто объявился?

— Бык.

— Какой бык?

— Такой же, как у них. То есть, конечно, выделка у них, наверное, лучше и рога небось не те. Но такой же, гигантский и синий, как у них. Только у них был принсипский, а у нас панкратьевский!

— Какой панкратьевский?

— Данилов, с тобой говорить... У меня маска на лице питательная из томатов — и та стечет. Ты ведь газет не читаешь? Я этого принсипского быка две ночи во сне видела, а сегодня — нате вам! — у нас нашли...

Данилов быстро закончил разговор, натянул джинсы, накинул на голое тело пальто и в шлепанцах бросился на первый этаж. Вынул газеты и в лифте прочел: «Интересная находка. На скотном дворе артели «Прогресс» Панкратьевского района найден удивительный бык. Он весь синий, а ростом выше членов артели и выше несгораемого шкафа, установленного в конторе. Это силь-

ное и неприхотливое животное, представителей его породы еще не было на наших скотных дворах. Необыкновенный бык — смирный и откликается на поэтическое имя Васька. На взгляд зоотехника В. Широкова, он ни в чем не уступает знаменитому принсипскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме «Время». «Наверное, не уступает»,— вздохнул Данилов.

Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой «Удивительное — рядом», будто в ней могли объявиться новые слова. «Так... Значит, еще и панкратьевский... Что же я тут сижу-то,— спохватился вдруг Данилов,— когда мне надо в Мадрид! Вдруг этот панкратьевский-то — самозванец!» А очень могло быть, что и самозванец.

Тотчас же Данилов ткнулся носом в изумительные ворота стиля чурригереско, в иные дни он непременно бы исследовал их линии, теперь же он прошел сквозь них и обнаружил, что быка Мигуэля в особняке нет. И в Мадриде быка не было. Минут двадцать назад люди Бурнабито имели его в виду, сейчас же из виду его потеряли. Переполох еще не начался, в Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резниковьес, сломавший вчера копье при попытке вытащить кость хека из зубов, спал на сырой брусчатке возле ворот особняка, а верная его кобыла Пржевальского, по кличке Конкордия, стояла привязанная к столбу.

Данилов перенесся в северные земли. Артель «Прогресс» была уже на ногах. Данилов оглядел шкаф, установленный в конторе, учуял некое волнение в кабинете председателя. Причиной волнения была высоких свойств бумага, прибывшая вертолетом. Бумага указывала: «Немедленно в сопровождении представителей отправить в Москву на Выставку достижений выведенного в колхозе (это подчеркивалось) племенного быка Василия. Для показа гостям столицы и обмена опытом». Правлению было жалко теперь не быка, а представителей. То, что бык у них не жилец, понимали все. Большому кораблю — большое плавание. Данилов заглянул на скотный двор. Бык, интересовавший его, спал. Здесь было прохладнее, нежели в особняке Мигуэля, дыхание панкратьевского быка отлетало паром. Но он спал. Это Данилова успокоило.

История панкратьевской находки, выяснил Данилов, была простая. Три дня назад в утренних сумерках животноводы колхоза Кукушкин А. А. и Кулешов А. В. возле скотного двора наткнулись на незнакомый предмет. Когда они встали и осветили предмет фонарями с жужжанием, то увидели, что перед ними на снегу лежит то ли бык, то ли корова, то ли зверь. «Экая глупая скотина!» — сказал Кукушкин, но другими словами. Стоял мороз, мужики, хоть и были в досаде, все же пожалели животное и, растолкав его подшитыми валенками, повели в помещение. Там, при электрическом свете, животноводы поняли, что вчера у этой стервы Любки приняли лишнего, да и самогон ее, видно, был дурной. Первым их движением было —сейчас же бежать опохмелиться, но ноги не понесли. Тем временем бык — а животноводы уже поняли,

что это не корова,— тихо прошел к свободному стойлу и устроился там на соломе. «А это ведь не наш»,— сказал Кукушкин. «Не наш»,— согласился Кулешов. «А чей же?» Кулешов объяснил, кто знает чей. «Может, из «Луча» прибрел? — предположил Кукушкин.— У них в «Луче» жизнь, сам знаешь, не то что быки, телевизоры и те не принимают». «Да откуда же он в «Луче» вырос бы такой! — сказал Кулешов.— Этот не от людей, этот из лесу...» Кукушкин усомнился, но Кулешов стоял на своем. Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун, видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Странно, но и завфермой, а потом и другие удивленные колхозники тоже склонились к тому, что бык вышел из лесу. Быком любовались, жалели его, окликали: «Васька», и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Тогда и решили принять животное на артельный баланс. Случившийся в деревне командировочный человек решение похвалил, он даже сказал: «Это будет бык-рекордист!»

Однако теперь быка вызывали в Москву.

«Ну и нечего мне в Панкратьевском районе делать,— решил Данилов.— Выставка от моего дома — в двух шагах... Значит, Кармадон еще три дня выгадал... Ловок приятель!» Но вовсе не исключалось, что это и не Кармадон. Может, Кармадона растревожили, и он затеял там нечто новое, с исчезновениями, сюрпризами и бенгальскими огнями, а здесь, в Панкратьеве, сразу же проклюнулись Данилова недруги? Накинули на плечи шкуру принсипского быка — и тут как тут! На всякий случай Данилов опять поискал следы Кармадона в Испании. Но ничего не нашел.

«Ладно,— сказал себе Данилов.— Поживем — увидим. Сегодня же небось быка в Москву и привезут».

Однако ни сегодня, ни завтра, ни на третий день быка в Москву не привезли.

Данилов в списке забот Клавдии Петровны поставил последнюю галочку, счастливо вздохнул. «Свобода!» — вскричал он и сыграл на альте «Оду к радости».

Галочка, ликующая, от ликования подпрыгнувшая, возникла возле пункта — «купить моющиеся обои под парчу, под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо. Или на Колхозной, или у спекулянтов. Где хочешь!».

Вежливо Данилов дал понять Клавдии, что подобные предприятия имели место последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова. Он понял, что ему еще придется встретиться с хлопобудами. А может, и с Ростовцевым.

«И все же свобода! — подумал Данилов.— Теперь я хоть брюки возьму из химчистки!»

— Ну а с быком-то твоим, Васькой, что же? — спросил Данилов у Клавдии на прощанье.— Где он?

— Он еще два дня назад должен был прибыть на Выставку!

Я туда звонила. Говорят, все в порядке, корм выделен, но быка нет. Ты же знаешь наши скорости!

— А зачем тебе бык-то?

— Как зачем? — удивилась Клавдия Петровна.— Такой бык-то?

Композитору Переслегину Данилов отправил открытку, хотел было сам сгоряча съездить к нему, но понял, что не хватит времени. Да и надо было почитать ноты внимательнее. Открытка вышла сухим предложением позвонить в указанное время.

Но и бык, и Клавдия, и хлопобуды, и альт Альбани, и композитор Переслегин, и собственные старания в музыке были теперь Данилову словно бы и не важны. А лаковая бумажка с багровыми знаками времени «Ч» казалась и вовсе привидевшейся.

Да и что они!

Данилов при людях в троллейбусе на обледеневшем стекле монеткой выводил — «Наташа».

Наташа была всюду и всегда — и в нотах, и в полетах дирижерской палочки, и на сцене, не только в движениях Жизели или трепетной Одетты, но и в шуршании занавеса, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных «сырами» артиста Володина, и дома — в мечтаниях Данилова при жареве яичницы, и на улицах — в торопливой, схваченной морозом толпе. Данилов всюду, даже в оркестровой яме, то и дело оборачивался — не появилась ли Наташа?

Однако она не появлялась. И не звонила.

И он ей не звонил.

Теперь ему казалось, что он напрасно в последний раз не сказал Наташе, что любит ее. Он как бы забыл, что тогда эти слова сами ему не явились. Это сейчас, по прошествии трех дней, они в нем созрели. «Да что я!.. Вот как она... Может, я и вовсе ей не нужен...» Однажды он все-таки позвонил ей на работу, ему отчего-то казалось, что с работы Наташе будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухость ее ответов. Но, как и днями раньше, Наташа была в походе за химической посудой. «Оно и к лучшему,— решил Данилов.— Хоть на неделю надо успокоиться, а там, может, все пройдет, и само собой...» Неделю, чуть больше, оставалось еще гулять на каникулах Кармадону, и Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от отпускника.

Последние дни Данилов много играл. И в театре, и в чужих оркестрах, куда приглашали. Много играл и дома. Он уставал и, как ни звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг пятьсот рублей, вырученные от продажи колонковой шубы. Деньги эти Данилов тут же отнес Добкиным, он у них брал на Альбани. В собрание домовых на Аргуновскую Данилов последние недели не заглядывал, далеки ему стали его прежние приятели...

17

Наташа Данилову не звонила. А вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что само по себе Данилова пугало, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницей, у какой купила пеньюар. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременную дальнюю цель. Придет день, Клавдия свое решение ему и объявит. А теперь она как бы приучает его к своей ежедневной дружбе, чтобы потом его, забывшего об осторожности, размягченного, застигнуть врасплох и проглотить. «Нет уж, дудки!» — опять храбрился Данилов.

Между прочим, Клавдия говорила о синем быке. Она побывала на Выставке и даже справа от фонтана «Каменный цветок» видела помещение для панкратьевского быка. А бык все не ехал. Клавдия ворчала, говорила: «Может, они его уморили?»

Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. Он-то кое-что знал про панкратьевского быка Ваську. Москва метала громы и молнии, а бык никак не мог расстаться с заснеженными просторами Галичской возвышенности. Но и в провинции жизнь его текла интересно. В первый день после вызова быка в столицу в артели никак не могли решить, кого посылать представителями и в каком виде. Надо сказать, охотников быть при Ваське, хоть и в Москве, находилось мало. Наконец, к ночи, определили в поездку для обмена опытом животноводов Кукушкина А. А. и Кулешова А. В. В сопроводительной было сказано, что они племенного быка Ваську воспитывали с грудных мгновений. При Кукушкине и Кулешове послали непьющего агронома Василькову. На тракторных санях бык Васька доставлен был к станции железной дороги. И здесь народ, стекшийся к саням, уж на что приученный ко всяким чудесам, удивлялся быку. Василькова отчего-то краснела, Кукушкин молчал задумчиво, говорил лишь Кулешов, поскольку был кучерявый, но и то одни и те же слова: «Да, кабыздох будь здоров вымахал!» На станции долго думали, в какой вагон быка сажать — не в товарном же ехать быку на Выставку по приглашению. Потом решили: Москва Москвой, а у них и своих дел много.

В Испании Данилов так и не смог обнаружить ни быка Мигуэля, ни иных следов Кармадона. Не один Данилов искал там теперь принсипского быка. Бурнабито клокотал, вначале он предъявил иск ни в чем не повинной девице Синтии Кьюкомб, будто она очаровала Мигуэля и уговорила его скрыться,— при этом Синтия никак не опровергла его слов. Адвокаты Бурнабито послали бумаги в Международный суд. Бурнабито пригрозил многим странам — если их правительства не помогут ему вызволить быка, он устроит глубокий подтяжечный кризис.

Панкратьевский бык Васька тем временем сидел на станции. То агроном Василькова ушла в магазин за чулками, и архангельский поезд проехал дальше. То животноводы Кукушкин и Кулешов зачитались газет и забыли о представительстве. Начальник

станции Курнев мучился, мучился с ними, наконец пошел домой, к семье, поручив отправку гостей столицы диспетчеру Соломатину. «Ты этого быка-то,— сказал он напоследок,— грузи в багажный вагон...» С северной стороны прибыл скорый. Диспетчер Соломатин подсадил животноводов и агрономшу в купейный вагон, руки им пожал на прощанье, а когда скорый ушел, он увидел, что бык Васька как лежал на тракторных санях, так и теперь лежит.

«Что же это ты? — сказал Соломатин бригадиру Первушину с укоризной.— Он же остался!» «Ну остался»,— согласился Первушин.

«Как же это ты, Николай Иванович!» «А ты его попробуй подыми!» — сказал Первушин. «Да вон ведь вас целая бригада!» «Бригада! — хмыкнул Первушин и сплюнул.— Ну бригада... А может, он буйный, бык-то, леший его разберет...» «Как же быть-то теперь? — покачал головой Соломатин.— Ведь его Москва ждет...» «Экое дело — Москва! — сказал Первушин.— Что они там, без быка подохнут, что ли?» «Ты это прекрати! — вскричал Соломатин.— Ты эти глупости из головы выкинь...» Закурили. Помолчали минут пять. «Я ведь что...— сказал Первушин,— я ведь не против... Ну поднимем мы этого быка, не беспокойся, экая важность — бык! Да сколько мы таких быков!.. Но я ведь что думаю... Тут ведь другой вопрос... Если взглянуть по-хозяйски... Взять бы сейчас какой-нибудь кран, как в порту, с цеплялкой, и этого быка легонько так по воздуху и перенести... Или я вот что думаю — сетку такую большую сделать, как сумку, с мотором и пропеллером, и чтобы она сама этого быка прихватила и доставила... Или вот тележку на воздушной подушке у нас пустить... А потом и на всех станциях...» «Да где ж я тебе такую сетку-то возьму! — расстроился Соломатин.— И подушки...» «А-а-а! — раздумчиво протянул Первушин. Потом сказал великодушно: — Ну ладно. Можно взять транспортер из пакгауза и на ленте быка прямо в багажный вагон и пустить». «Ну и возьми транспортер!» — обрадовался Соломатин. «Возьми! — Первушин шапку сдвинул на затылок.— Легко сказать возьми! Он же сломанный!» Соломатин был тихий человек, а тут опять вскричал: «Так что же ты мне голову морочишь! Все, хватит! Чтоб на красноярском он у меня был в багаже!» «Ну ладно, на красноярском, —согласился Первушин,— а то ведь он тут на морозе кашлять начнет». Первушину и бригаде стало жалко животное, мерзло оно ни за что, и когда через час показался поезд, пусть и не красноярский, бригада с помощниками из пассажиров, как могла, сдала быка в багаж. Уплывали, уменьшаясь, последние огни поезда, взмокший Первушин глядел им вслед довольный. Вышел Соломатин, спросил: «Готова бригада-то?» «Да мы его уже посадили! — счастливо улыбнулся Первушин. «Куда?» — «Да вон на тот поезд!» — «Он же в Хабаровск!» — охнул Соломатин. «Ну в Хабаровск...— сказал Первушин.— А то он тут замерз бы! Да и не все ли ему равно — что Москва, что Хабаровск! Везде свои люди. Если надо, так они его и обратно отпра-

вят... А то окоченел бы...» «Дубина ты еловая...» — только и сказал Соломатин, прежде чем осесть на шпалы.

Лишь на четвертый день бык прибыл в Москву.

В первый день быка смотрели эксперты и только руками разводили. На утро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. И лишь на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома, чтобы и широкая публика могла на него взглянуть. Было известно, что в Москву уже прилетел профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов ненасытного Бурнабито.

Профессор Чиверс получил возможность обследовать животное вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что панкратьевский бык похож на принсипского, однако он выше его на семь сантиметров, опасней рогами, желудок имеет, напротив, объемом меньше, а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом Севера. Объяснить одновременное появление гигантских быков в дальних точках земли профессор был не в силах, он сказал, что перед нами одна из загадок века.

Адвокат Бурнабито к быку не был допущен. Ему лишь вручили справку, где удостоверялось, что бык Василий имелся в колхозе пять дней назад. То есть еще до встречи быка Мигуэля с Синтией.

Клавдия Петровна, естественно, достала приглашение и попала на закрытый просмотр быка. Взволнованная Клавдия сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет. Клавдия перечислила, кто явился и что на ком было.

— И как только эта стерва Драницына достала приглашение!.. Она куда хочешь пролезет... И вся в бриллиантах...

— Ну а бык-то что? — спросил Данилов.

— Ну! Бык-то! Это потрясающе! Это бык!

— Там хоть давали что-нибудь задаром-то?

— Нет. И бутербродов не было. Да и пахло там, я тебе скажу... Но зато бык! Как он стоял!

— Стоял? — удивился Данилов.

На закрытый просмотр Данилов не стал проникать из принципа. А вот на выставочный ипподром он пошел с большим удовольствием. Его звали днем сыграть в оркестре Козодоева, он отказался. Мороз был крепок, сияло солнце. Данилов легким, но праздным шагом двинулся на Выставку. Идти-то ему было пятнадцать минут. Уже у касс он увидел очереди. Данилов посчитал, что в этих очередях можно замерзнуть, он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и прошел.

Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратьевского быка. Цифрами были помечены все стати быка — и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и скакательный сустав, и это самое, и все, все, а ниже шли данные в сантиметрах

и килограммах. По всем статьям выходило, что принсипскому быку куда до нашего панкратьевского. Однако время шло, первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уж должен был бы окончиться, публика волновалась, а быка все не было.

Данилова толкали, лица вокруг из любопытствующих становились нервными и обиженными. Многие сокрушались, что шашлыки возле фонтана кончились, а вот теперь еще задерживают и быка. Все громче слышалось бурление людей за оградой и конницей. «И чего всех этот бык взволновал? — удивлялся Данилов.— Ну пришло бы сюда человек десять любителей — и ладно... А тут Ходынка!» Неспокойно стало у Данилова на душе. Вдруг крики утихли, все принялись шептать: «Вон он! Вон он! Ведут!» Данилов вытянул шею, увидел —вели Василия. Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка садовских лет вскрикнула в восторге: «Мамонт! Мамонт! Саблезубый!» Но тут бык остановился, лег на снег и, как понял Данилов, забылся в сне. Публика, восхищенная им, стала подзадоривать быка, требовать от него обещанной прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка — каково ему на снегу-то! Потом прошла и жалость. Ропот возник в толпе. Животноводы принялись толкать быка, но не растолкали. Усилия администрации к успеху не привели. Публика стала стучать обувью по мерзлой земле. Недоеденные продукты полетели в животное. Публика ревела: «Давайте прогулку! За что платили! Халтура!»

Данилов почувствовал: если сейчас бык не встанет, будет смертоубийство. Начнется здесь, а потом прорвется народ из-за ограды, смяв конницу. Взволнованный Данилов стал пробираться к выходу на ипподромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто, шарф чуть не остался на одном из зрителей, и все же Данилов вышел на быка. Тут его попридержали милиционеры.

Данилов, расстроенный, отошел в сторонку, народ ревел, недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Да что же это я! Забылся, что ли? — подумал Данилов.— Что же я действую таким дурацким способом!»

Он проник в помещение, где держали выставочную скотину, и там, за углом, сдвинул пластинку браслета. Через секунду он был уже быком, ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти — шерсть его вышла зеленая с белыми полосками, отчасти напоминавшая о тельняшке. Данилов четырьмя ногами пошел прямо на лейтенанта, тот поглядел на него с уважением и пропустил на поле.

Публика опять притихла, а животноводы Кукушкин и Кулешов на всякий случай отошли от воспитанного ими быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок.

— Кармадон, это ты, что ли?

— Ну...— не сразу прохрипел бык Василий.

— Это я, Данилов. Вставай!

— Не хочу...— буркнул Кармадон.— Отстань...

— А я тебе говорю — вставай!

Данилов знал теперь точно, что это не самозванец. Он еще раз, уже сильнее, ткнул Кармадона рогом.

— Отстань...

— Я говорю — вставай!

Бык Василий встал.

— Теперь иди за мной,— приказал Данилов.— И не зевай! Иди, иди, я тебе говорю.

Сначала Данилов подталкивал Кармадона, потом тот пошел сам, и хорошо пошел. Они с Даниловым сделали большой круг, вызвав аплодисменты. Данилов искренне жалел, что принял такой гигантский вид с дурацкой шкурой, как бы теперь и к нему не проявили интерес эксперты. В помещении он шепнул Кармадону:

— У меня больше нет времени. Мне — в театр. Увидимся завтра. Ты должен еще три раза пройтись по кругу. Еще три сеанса. Иначе с тебя публика снимет шкуру... Понял?..

Бык Василий кивнул. Но и зевнул при этом. Данилов на всякий случай сам запрограммировал ему еще три большие прогулки. Тут же он вышел в пустынный коридор, превратился сам в себя и покинул Выставку достижений.

«А сон его уже не такой глубокий,— отметил Данилов.— Впрочем, мне-то что? Бык этот мне порядком надоел».

Тем не менее ему и днем и вечером пришлось слушать про быка. И чем дальше он находился от Выставки достижений, тем интереснее были новости. Говорили, что уже сейчас на Выставку везут еще и мамонта, или саблезубого тигра, или снежного человека, и их взяли. В троллейбусе дамы на инвалидных местах были уверены, что синий бык явился не к добру. «Вот увидите,— сокрушалась одна из дам,— сильное наводнение случится в Африке... Или у нас творог подорожает...» И дама эта в троллейбусе раздражала Данилова, и Кармадон — вот уж устроил цирк! Все это брожение вокруг быка было Данилову противно. «Ну ладно там, в Испании, а у нас-то что голову терять из-за быка, пусть и особенного!» — думал он как патриот.

В час ночи его разбудил звонок. «Наташа!» — опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же и испугался. Кармадон был в Москве, в любое мгновение мог явиться к Данилову на постой, Наташа не должна была знать о нем, а он — о ней. Но звонила опять Клавдия.

— Данилов,— сказала она,— ты ведь небось не спишь. А я тебя видела. Возле быка. А о чем это ты милиционера просил?

— Я искал туалет,— хмуро сказал Данилов.

— Это на тебя похоже... Ты хоть видел, как бык-то прошел?

— Нет! — Данилов готов был трубкой ударить по аппарату.— Я был в туалете.

— Значит, ты главного не видел! Как наши подпустили к Василию грамотного бычка, нарочно выкрашенного в зеленый цвет с белыми полосками, чтобы Василий принял его за своего и послушался. И этот переодетый бычок, жалкий довольно, взял и...

— Хватит. Прощай. У меня зуб болит! — резко сказал Данилов и повесил трубку.

Зуб у него не болел, но от Клавдии мог заболеть.

«Действительно, зачем я выбрал какую-то идиотскую шкуру! — отругал себя Данилов.— Но отчего же — бычок! Да еще жалкий...» Засыпая, он вспомнил, что пройтись быком по заснеженному ипподрому ему было приятно...

18

Утром он пошел на Ярославский рынок за овощами и у ворот рынка увидел бойкую торговлю леденцами на палочке. Данилов и сам с детства любил прозрачные, тающие во рту петушки и слоники, но сейчас очередь была уж больно длинная.

— Синий бык на палочке! Синий бык на палочке! — по привычке повторял мужик с мешком, хотя зазывать кого-либо и не было нужды.— Синий бык кончился! — услышал Данилов.— Остались петушки и пришельцы в скафандрах!

«Мистика какая-то!» — подумал Данилов.

Днем, чуть где рядом возникали разговоры о быке, Данилов отходил подальше. Флейтист Садовников признался, что был вчера на Выставке и теперь чувствует себя одураченным. «Подумаешь, показали какого-то... А я-то ждал!» Скрипач Земский заметил, что следовало на ипподроме просто выставить слова: «Прогулка гигантского синего быка». В мозгу каждого из зрителей возник бы бык и его прогулка, и это было бы настоящее искусство, а не шарлатанство, как теперь. Многие сходились на том, что сейчас в Москве,— видимо, в связи с синим быком — ощущается явный подъем мужской силы. В антракте «Спящей» Данилов попал к телевизору на программу «Время» и после показа семян, готовых к весне, увидел на экране известного комментатора Евгения Синицына. Он сказал, что наш панкратьевский бык вызвал интерес и за рубежом, сегодня не один автобус привозил к его вольеру туристов. Прибыл в Москву взглянуть на быка и популярный странствующий рыцарь Резниковьес на кобыле Конкордии и с официантом. («Пусть взглянет»,— подумал Данилов.) И это не удивительно, отметил Синицын, дружба сближает континенты, и вот сегодня ночью наш бык Василий посланцем сотрудничества улетит в Канаду. Данилов вперед подался. «Да,— сказал Синицын,— сегодня бык Василий подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Ришару».

О канадском миллионере Ришаре из Принс-Руперта Данилов слышал. Ришар не раз прилетал в Москву. Он был знаменит и как собиратель, имел прославленные коллекции животных, фарфора и мебели шестнадцатого века. В честь сделки он подарил Торговой палате маньеристское кресло работы ломбардских мастеров с часами над спинкой. Теперь в ответ ему преподнесли Васи-

лия. «И правильно сделали!» — сказал Данилов и пошел доигрывать «Спящую».

Он знал, что Ришар человек деловой, поэтому завтра к утру бык Василий будет в Канаде. А там пусть спит себе до конца каникул. И все же вечером Данилов Наташе звонить не стал. Мало ли что.

Он опять взял ноты Переслегина. Переслегин мог уже и получить его открытку, однако пока не откликнулся. И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. Ему показалось, что жизнь альта в этой симфонии — отражение его, Данилова, жизни. И изгибы чувств альта — это изгибы его чувств. Будто себя он ощутил в нервном движении альта по страницам партитуры, свои мучения и свои надежды, свою любовь и свои долги. В четвертой части он обнаружил даже летучее место, где альт, или он, Данилов, останавливается возле химчистки с намерением получить брюки, но сейчас же набежавшая волна жизни подхватывает его и несет дальше, оставив брюки висеть. Лишь изредка альту, как и ему, Данилову, выпадали мгновения для раздумий или просто для тихих чувств, но мгновения эти были недолгие, они тут же срывались в бурю или в суету. Впрочем, все это были мысли литературные. Подобного рода мысли возникали у Данилова обычно лишь при чтении нот. Когда ж он играл или слушал чужое исполнение, ему было уже не до видений и слов, тут жила музыка, она значила для Данилова больше, нежели видения, слова, а порой — и сама жизнь. «Нет, это можно сыграть! — воодушевлялся Данилов.— Я сыграю это!» Однако тут же он обдавал себя холодной водой — где он сыграет? С кем? «Неважно, где, с кем, а симфонию я приготовлю»,— решил Данилов. При этом альт в его душе уже вел тему из пятой части партитуры Переслегина.

Хотя Данилов и положил себе о Кармадоне не думать, он думал о нем. И по привычке, и просто из беспокойства. И еще — он все же рассчитывал на один серьезный разговор с Кармадоном. Надо было рассказать ему о времени «Ч» и посоветоваться. А может, кое о чем и попросить... О Кармадоне он узнал вот что.

Деловой человек Ришар обещал пополнить быком Василием свою галерею редких животных. Однако сразу же по прибытии Василия в Принс-Руперт, как Данилов и предполагал, зоологи Ришара взяли быка в оборот. Опять быка хотели усовестить и заставить его обзавестись потомством. И наверное, Ришару еще в самолете виделись тучные стада синей масти в долине Фрейзера. Бык отогнал настойчивых зоологов Ришара движением ног и покинул галерею редких животных. Как понял Данилов, навсегда.

Сутки Данилов провел в тревоге, все сигналы и шумы принимал в напряжении чувств, в одиннадцать вечера услышал новость: на севере Канады на берегу Гудзонова залива охотником Кеннаном замечено странное явление. Изо льда на тонком стебле торчал невиданный цветок, светившийся в полярной ночи. Кеннан цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в

диковинном растении было установлено большое содержание молибдена.

«Ну все»,— вздохнул Данилов.

Без промедления маршрутом Чкалова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шанцевый инструмент. На месте цветения он понял, что ломом ему не обойтись. Лом заменил отбойным молотком. Подо льдом земля была схвачена вечной мерзлотой, раз на Кармадоне появились волопасные растения, значит, Кармадон отключился, себе не хозяин — и как бы он не замерз на вечные времена. Долго Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица стирал, наконец откопал Кармадона. Кармадон пребывал чуть ли не в состоянии замороженного, и был он уже не бык, а то странное существо, с присосками, проволоками и неизвестно с чем, какое плавало у Данилова в ванне. Данилов пытался разбудить Кармадона, но где уж тут! Данилов выругался, поволок Кармадона в Останкино, к себе на квартиру. Там он сунул Кармадона в ванну и пустил горячую воду.

— Где я? — поднял веки Кармадон.

— У меня,— жестко сказал Данилов.— Каникул тебе осталось пять дней. Считай, что быком ты побыл.

— Опять я оброс волопасным...— увидел Кармадон.

Он выпил свои пилюли, скривился, окрасил воду в синий цвет и вернул себе человечье тело.

— Так и не выспался? — спросил Данилов.

— А я спал? — Кармадон ошалело уставился на Данилова.

— Нет, ты разгуливал с гитарой по Испаниям,— сказал Данилов.— Ты ведь ас!

«Это я зря,— подумал Данилов.— Да и чего я злюсь на него! Ну возился я с ним, но я и должен был с ним возиться. Спал он, и хорошо, что спал. По крайней мере, ничего дурного не учинил. Ведь действительно устал он у волопасов, что же ему не отсыпаться!»

— Я спал! — в отчаянии ударил рукой по воде Кармадон.— Я раскис!

— Не расстраивайся,— сказал Данилов уже с некоей жалостью к Кармадону.— Ну подумаешь, спал...

— Нет, позор! Стыд-то какой! Разве я ас! Я слаб!

Кармадон чуть ли не стонал, так был расстроен.

— Что было, то было. Но я не думаю, что теперь,— заметил Данилов,— ты проявляешь сильные стороны своей натуры.

— Ты прав,— утихнув, сказал Кармадон.— Теперь я и вовсе нюни распустил.

— Вот полотенце, вот пижама... Неужели ты ничего не чувствовал и ничего не помнишь?..

— Смутно припоминаю что-то... Точно грезы... Водили меня куда-то... Что-то заставляли делать... А я от них шарахался... в разные углы Земли...

— Я тебе потом дам газеты. Из них ты узнаешь о некоторых своих приключениях.

— Какой позор!

Утром ему пришлось будить Кармадона. Тот хоть накануне и отказывался прилечь и просил Данилова пожалеть чистое белье, сейчас тихо спал на диване. Разбуженный, он смутился, опять корил себя, спрашивал Данилова, не знает ли тот средств, чтобы вовсе истребить в организме сон. Данилов средств не знал. Зазвонил телефон. Данилов услышал Наташу.

Экая была досада! Хоть бы Кармадон вышел куда на секунду, за сигаретами, что ли, или за почтой, так нет, вялый и сонный, он сидел в кресле. Данилов слушал милый Наташин голос, а сам боялся назвать Наташу по имени, говорил невнятно и коротко, будто хотел отделаться от Наташи.

— Что с тобой, Володя? — спросила Наташа.— Тебе неприятен мой звонок?

— Нет, я так ждал его,— сказал Данилов, но тут же оглянулся на Кармадона.— Видишь ли, я очень спешу...

— Ну, извини,— сказала Наташа и положила трубку.

— Подожди!..— чуть ли не вскричал Данилов.

— Кто это? — спросил Кармадон.

— А-а-а! — хмуро махнул рукой Данилов.— Так...

«А впрочем, может быть, оно и к лучшему, что Наташа теперь позвонила,— подумал Данилов,— через пять дней я ее найду и извинюсь...»

— Кофе готов,— сказал Данилов.— Вот бутерброды с сыром. Что ты намерен делать нынче?

— Не знаю,— протянул Кармадон.

— Ну смотри,— сказал Данилов.— Посиди дома. Включи телевизор. Почитай газеты со статьями о тебе...

— Что ж, давай,— поморщился Кармадон.

Данилов, как всегда поутру, гладил электрическим утюгом черную бабочку для ямы. Из кухни он услышал громкие стенания Кармадона над ежедневными газетами. Данилов зашел в комнату.

— Мало того, что я спал,— поднял голову Кармадон и сказал печально,— но мне еще и спать не давали. Покой нам только снится...

— Это кто тебе сказал?

— Сам понял...

— Знаешь что,— предложил Данилов,— если ты более не намерен... отдыхать, может быть, ты сходишь в парную? В Сандуны или в Марьинские бани. Сам я сегодня не могу, но я тебе адрес дам...

— В какую уж тут парную,— вздохнул Кармадон.

Он чуть ли не плакал. Такой ли он прибыл на Землю из своей волопасной далекой и бурной жизни! Тогда он был устал, но могуч, тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, рискованные, но уж и со страстями, тогда он был вулкан, а теперь он — пластмассовая пепельница с угасшими окурками, тогда он имел своим девизом слова: «Ничто не слишком», а теперь ему, наверное, было бы стыдно вспомнить о них, тогда он был бас, а те-

перь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь Трике, да и то в народной опере мукомолов. Укатали Кармадона волопасные бдения, видно, и асом со спецзаданием он уже не мог себя ощутить. Восемь дней назад, при явлении Кармадона, вышло само собой, что Данилов почувствовал себя станционным смотрителем, принявшим влиятельного камергера, когда-то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутное, но ощутил. Теперь же Данилов готов был стать чуть ли не опекуном Кармадону, так все в госте изменилось за неделю. Данилов погладил брюки, тут он услышал возглас Кармадона:

— Ну это уж слишком! «Синий бык — импотент!» Данилов, разве такое могло быть?! Даже и во сне?

— Как тебе сказать...— осторожно начал Данилов.

Кармадон швырнул на пол газету с заметкой о странном поведении принсипского синего быка, так швыряют рецензии, отметил Данилов, разобрав только, что рецензия ругательная, и не желая вдаваться в подробности. Из чувства протеста и самосохранения. Кармадон смотрел теперь на Данилова, и Данилов знал: Кармадон надеется, что он, Данилов, сейчас назовет газету бессовестной.

— Значит, было что-то...— сказал Данилов.

— Они врут! — возмутился Кармадон и взглядом превратил газету в туалетную бумагу.— Что же, и эта Синтия входила ко мне? И заявила, что бык — импотент? Да как она посмела! Да я разыщу ее теперь!..

— Она входила. И так сказала. И была возмущена быком Мигуэлем не меньше, чем ты теперь ею...

— О ужас! Ужас! — Кармадон закрыл глаза и откинул голову.— Я так мечтал побыть синим быком! И я ведь был синий бык!

— Да, ты был бык,— согласился Данилов.

— Нет, после такого позора мне надо проситься куда-нибудь на последнее дело! Пыль какую-нибудь пересыпать в канавах на Сатурне, чтобы дурачить звездочетов!

И Кармадон затих.

— Оставь эти мрачные мысли,— сказал Данилов.— У тебя еще все впереди. Успокойся.

— Нет, после этой газеты я не успокоюсь! Иначе мне хоть и не возвращаться с каникул... У тебя есть гантели?

— Есть,— сказал Данилов,— пятикилограммовые.

— Хорошо. Я начну с зарядки.

— Начни... Потом сходи в парную.

— И схожу. Я себя пересилю.

«А что,— подумал Данилов,— и пересилит...»

— Тоже мне Синтия! — покачал головой Кармадон.— И коровы этого Бурнабито! Небось какие-нибудь дохлые и забитые...

Однако вечером, вернувшись с исполнения «Барабанщицы», Данилов опять увидел Кармадона унылым. На кухонном столике он обнаружил чужую газету, грязную, мятую, и на ней — следы закуски. И запахи на кухне стояли чужие.

— Пил с кем-нибудь? — спросил Данилов.

— Да. В бане познакомился с двумя.

— Кто такие?

— Из вашего дома. Один водопроводчик. Коля. Другой из твоего театра. Скрипач. Земский. Николай Борисович.

— Да,— кивнул Данилов.— Земский у нас сегодня на больничном. Люмбаго. Зад, что ли, он в бане-то грел?

— Нет, выше.

— И кем же ты им назвался?

— Твой детский друг. Содержались вместе в детском доме. Теперь живу в Сибири. Специалист по молибдену.

— Сибирь большая.

— Мне старуха, которая у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоем месте я давно бы эту старуху превратил в растение. Я ей объяснил, что я из Иркутска.

— Что же, Иркутск — хороший город,— сказал Данилов.— Но ты опять не в духе?

— А-а-а! — махнул рукой Кармадон.— А может, это все от познанья?

— Что от познанья?

— Ну...— смущенно сказал Кармадон,— странный случай с Синтией и... другие странные случаи...

— Не понял.

— Может быть, бессилие мое от излишнего познанья?

В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой его дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. «А ведь он кроткий сегодня,— подумал Данилов.— Прежде он непременно бы привратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами, а нынче был деликатным и с ней, и с Земским, и с водопроводчиком Колей...» Тихая жалость к Кармадону опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону повешенную Наташей трубку.

— Почему же именно от познанья? — спросил Данилов, спросил не для себя, а как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни.

— Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, беззубы и бессильны от познания!

— Зубы-то тут при чем? — искренне удивился Данилов.— Потом ты... то есть такие, как мы с тобой, и не слишком удручали себя познанием. Да нам и не надо. Мы практики, у нас дела, катаклизмы, чувства, нам в этой суете некогда... Теоретики, мыслители, знатоки — они оттого и теоретики, что они изначально бессильны. Или успели обессилеть, вот и пошли в мыслители... Об облысении я не говорю. Это другой вопрос... Наконец, мыслителям и знатокам нужно познавать и мыслить и по долгу службы. Им отведено время и пространство, все мгновения для них остановлены, а тут...— Данилов чуть было не добавил, что эти теоретики-мыслители, наверное, и обедать с горячими блюдами успевают каждый день, но удержался.

— Ты не прав,— сказал Кармадон, и опять с печалью.— Это в нас уже не истребить. Это в нас — профессиональное, демоническое. Мы ведь, к несчастью, духи познанья. Ты что, забыл? Да, я практик, демон действия, я реалист и презираю мыслителей и знатоков, но я жаден. До всего жаден. И, сам того не желая, впитываю в себя чувственные и деловые познания! А они, может, меня и погубят! Может быть, они для меня окажутся больнее откровений аналитических натур! Ты прав, те и начинали с того, что были бессильны. А если обессилею я! Если я иссякну!

— Просто ты не спал у волопасов. Вот и вся причина.

— Нет, Данилов, это от познанья. От познанья!

Данилов понял, что Кармадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой и отчаянный, спорить мог о всяких предметах, в том числе и ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра. Но сейчас он не хотел спорить. То ли устал на «Барабанщице», то ли еще отчего. Он догадывался отчего. Много в его жизни скопилось больного, важного, такого, что Данилов обещал себе обдумать или решить. Однако в житейской суете он то и дело откладывал обдумывания и решения до лучших времен, посчитав, что уж пусть пока все идет как идет. И сегодня Данилов не желал раздувать спор, какой мог привести неизвестно к чему. И было еще одно обстоятельство. Данилову вдруг показалось, что он холоден к волнениям Кармадона, что эти демонические сомнения его, Данилова, как будто бы и не касаются, словно сетования москвичей на толкотню в троллейбусах погонщика оленей. Данилов принес коньяк и ликер «Северное сияние», купленный им в бенефисный день синего быка на мадридской корриде. На всякий случай предложил Кармадону коньяк, но вкус у того не изменился.

— Да, Данилов,— сказал Кармадон,— мы с тобой жили чувствами! Мы не из тех, кто обожает точные науки и умствования сухих голов, любомудров, кто готов с лупой обползывать взглядом все закоулки изловленных душ! Ты знаешь, я люблю вихри, наваждения, спирали того, что люди называют злом, напасти, буйное лихо, тут — моя стихия, тут я — деятель, решительный и рискованный. Тут я жаден, оттого и взял девизом — ничто не слишком.

Данилов чуть было не признался, что у него свои взгляды на зло, наваждения, лихо, но промолчал.

— Но действовать,— сказал Кармадон,— это ведь не стекла бить, не кровь высасывать на манер вурдалака, не править бал! Да и стал бы я уважать себя, если бы к волопасам меня послали пробки выкручивать в подворотнях! Там нет пробок и нет подворотен, это я так, для земной ясности. Нет, мне поручили всю цивилизацию. Я должен был смутить цивилизацию, и я ее смутил. Я повернул ее ход и сам не понял еще куда. Повернул мягко и даже изящно, ничто не скрипнуло и не сломалось! Как мастер я был доволен. Но чего мне это стоило!

Тут Данилов чуть было не дал Кармадону понять, что он за-

бился и говорит о вещах, которые ему следовало бы держать за зубами. В дружеской беседе тем более.

— Я вынужден был изучить всю их цивилизацию, насквозь, понять ее, а у них ведь и философии есть, да объемистее и рискованней земных, и привычки покрепче философий! Я путал их сновидения, но не с наскока и не подпуская соблазнов — они от них устали! Нет, я должен был как бы создать свежую философию, оснастив ее новейшими данными точных наук, чтобы глиры ей поверили. И этой философией пропитать их сны! Каково! Но ведь я и сам отравлялся знанием. Я от него уставал и мучался. От него, а не от бессонницы! А что дальше? Ведь эдак такое узнаешь, что не только обессилеешь навсегда и обретешь равнодушие. Но и спросишь: а зачем? Зачем я путал волопасам сны? Зачем мы? Зачем я? Зачем мне бессмертие?

Кармадон замолчал. Данилов тут же хотел опять сказать Кармадону, что усталость пройдет, что кому-кому, а именно им с Кармадоном беды от познанья не грозят. Какие уж, мол, у них такие познанья! Но смолчал, понял, что слукавит. Да, излишних знаний сам он, Данилов, избегал. Но каких? Тех, что могли бы войти в него, словно программа с перфокарты в математическую машину, сами собой и без его, Данилова, усилий и мучений. Кому что! Данилов говорил себе, что если он будет знать все вширь и вглубь до бесконечности, жить ему станет скучно. Все о прошлом знать он, пожалуй, был согласен, однако тут не все архивы были ему доступны... Ну, ладно... Иному человеку, прилежному подписчику журнала «Здоровье», доставляет удовольствие ежесекундно чувствовать, в какой из его кишок и в каком виде находится сейчас пища и какая из костей его скелета куда движется. Данилову однажды любопытно было изучить, что у человека внутри, но помнить всегда о своих капиллярах, брыжейке, артериях, венах, седалищном нерве ему было бы противно. Тогда он был бы не Данилов, а мешок с кровеносными сосудами и костями. Он знал, что музыка любит счет. Он жил этим. Он брал ноты и в каждой вещи первым делом видел свою арматуру, свои опорные балки, свои перекрытия и ложные своды. Но это его профессиональное знание тут же уходило куда-то далеко-далеко, было таким же естественным, как и умение пальцев Данилова иметь дело со смычком и струнами. Если бы вся математика была для него главным в музыке, Данилов давно бы разбил инструмент, не Альбани, конечно. Музыка была его любовь. Любовь он мог принять только по вдохновению, а не по расчету. И жизнь его была — любовь. Любовь же требует тайн, преувеличений, фантазий, удивления, считал Данилов, на кой ему нужны любовь холодного ума! Холодный ум чаще всего и обманывается. И уж, как правило, своего не получает. Что-то получает, но не свое.

Как известно, Данилов еще в лицейские годы имел возможность все знать, все чувствовать, все видеть. Возможностью этой он пренебрег, от скуки демонических откровений его стали мучать мигрени и колики в желудке. Он прикинулся легкомысленным

простаком с малым числом чувствительных линий. Медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от Большого Откровения. Освобожден без томительных волокит: в ту пору вышел циркуляр, не писанный, но разъясненный,— не всех лицеистов одаривать Откровением, дабы не принести вреда ни им, ни делу. Данилов, если б захотел, мог тайно, в единое мгновение все знать, все чувствовать, все видеть, он сохранил в себе это умение, но он и специальным-то аппаратом познания средних возможностей (ПСВ-20), врученным ему с лицейским дипломом, пользовался редко. И то в служебных целях. А не для себя. Для себя он все открывал сам, будто человек. Но уж зато какую радость доставляли ему эти открытия! Сейчас он вдруг подумал, что Кармадон, наверное, прав, ведь и в самом деле разумом и чувствами и он, Данилов, впитал в себя столько знания, что и представить трудно! И чужие открытия вошли в него — мелодией, словом, линией, цветом, знаком препинания. Но вошли в него не сами собой, а словно бы притянутые его натурой! И пока они нисколько не пугали его. Напротив, они входили в его радости, в его страдания, в его любовь и его музыку! Они делали их звучнее и ярче. Однако теперь слова Кармадона расстроили Данилова: а вдруг печали Кармадона имеют основания? И наступит время, когда он, Данилов, устанет от жизни и музыки, как скрипач Земский? Вдруг в познании — погибель?

— Новый Маргарит,— сказал Кармадон,— пошел в мыслители, и ты бы видел, на кого он стал похож!

Кармадон поморщился. Новый Маргарит, брат Кармадона, прежде выглядел вполне спортсменом.

— Он мне жалок. А Новый Маргарит говорит, что ему сладко ощущение вечности. Что, по-твоему,— вечность?

— Ну...— задумался Данилов.— Ощущение вечности... наверное, это когда для тебя свершившееся не исчезает, а будущее уже свершилось...

— Ну хотя бы! Сладко ли тебе было бы это ощущение?

— Свершившееся-то пусть не исчезает,— сказал Данилов.— А в том, чтобы будущее уже свершилось, для меня никакой нужды нет.

— Так на кой нам с тобой ощущение вечности!

— Что зарекаться заранее? — сказал Данилов.— А вдруг когда-нибудь захочется ощутить вечность?

— Ну и ощущай! — обиделся Кармадон.

«О чем это я! — подумал Данилов.— Захочется вечность ощутить! В последние мгновения перед временем «Ч»! Данилову стало ясно, что, если направление разговора не изменится, толку будет мало. Кармадон думает сейчас о своем, он — о своем. «Пусть он выговорится,— решил Данилов,— душу отведет, я уж потом как-нибудь вставлю словечко о времени «Ч». И нечего мне пока разводить турусы на колесах...» Тотчас же Данилову на ум пришла мысль, что он подумал безграмотно, турусы на колесах — это древние осадные башни на колесах, и как их можно разводить!

При этом Данилов не мог не отметить, что в его натуре, на самом деле, осело много мелкого знания, вроде как об этих турусах. А зачем оно ему — неизвестно. Если только помогать Муравлеву решать кроссворды. Но Муравлев подписан на энциклопедию с укороченным текстом, уже выкупил четырнадцать томов.

— Эх, Данилов,— сказал Кармадон.— Что же мне теперь — и девиз менять? Ничто не слишком! Кабы так! Вот тебе и ничто не слишком! А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова — мои... Неужели я стану мелким? А может, крамола заведется у меня в голове? Ужас-то какой!

— Пройдет все! — махнул рукой Данилов.

— А эта... Синтия,— спросил Кармадон.— Она хоть интересная женщина?

— Она не в моем вкусе. Но многим нравится.

Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку «Северного сияния», опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась.

Данилов, понимая, что улавливает мгновение не бескорыстно, все же поддался слабости и спеша, но и смущаясь, рассказал Кармадону о лаковой бумажке со временем «Ч» и ловком порученце Валентине Сергеевиче. Инструмент работы Альбани в рассказ не вошел. При этом Данилов отдавал себе отчет в том, что, если бы Кармадон сидел сейчас перед ним спелым асом со спецзаданием, каким явился в первый день каникул, он, Данилов, ни единого слова о времени «Ч» произнести бы не смог.

— Что, что? — переспросил Кармадон, подняв голову.

Данилов повторил.

— Эко тебя...— выговорил Кармадон.— Кто же этот Валентин Сергеевич? Вошь, наверное, какая-нибудь...— Удивленный новостью, он, естественно, думал прежде о мелочах, отставив суть дела пока в сторону.

— Ты в ведомстве Канцелярии от Того Света? — спросил Кармадон.

— Да,— кивнул Данилов.

— В Канцелярии от Того Света, так...— думал вслух Кармадон,— там у меня...— Он бровь сдвинул, обозначив напряжение мысли. Спросил: — А ты, часом, ничего не натворил?

— Да нет,— пожал плечами Данилов,— ничего эдакого... Если только мелочи какие...

— Честно? — строго спросил Кармадон.

— Честно,— кивнул Данилов, но не слишком решительно.

— Ладно,— кивнул Кармадон.— Не отчаивайся... Ведь ты же способный демон! Я-то тебя знаю... Мы разберемся... И я... И Новый Маргарит... Он теперь на вершине...

Кармадон опять откушал «Северного сияния». Он был сейчас добр к Данилову, он жалел его, как жалел себя, приняв Данилова за жертву познанья.

— Выручим! — ребром ладони Кармадон ударил по столу.

19

Проснувшись, Данилов обнаружил Кармадона в занятиях с гантелями. Кармадон был гол до пояса.

В шесть вечера, когда Данилов вернулся из театра, он и вовсе не узнал Кармадона. Данилов почувствовал, что Кармадон уже нуждается в присмотре. Вечернего спектакля у Данилова не было, завтра он имел выходной. Это было кстати.

Завтра каникулам Кармадона наступал конец. Данилов снова мог жить сам по себе. Естественно, при условии, что усердиями Кармадона время «Ч» ему, Данилову, будет отменено. Или отложено на долгие годы. Данилов верил в благополучный исход нынешней затеи. Хотел верить и верил.

Кармадон, выяснилось, для бодрости духа утром не только упражнялся с гантелями, но и бегал трусцой в направлении дворца Шереметевых, ныне Музея творчества крепостных. Был он и в банях, уже не Марьинских, а Селезневских, опять со скрипачом Земским и водопроводчиком Колей, к которым привык. В бане не зяб и не зевал, парился от души и из шайки швырял на раскаленные камни исключительно пиво. И Земский, и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм «Семнадцать мгновений весны». Кармадон, выйдя в предбанник подышать тихим воздухом и накрывшись простыней, взятой у пространщика, тут же устроил себе просмотр всех двенадцати серий. Просмотр прошел сносно, лишь соседи в мокрых простынях, спорившие о стерляди, помешали Кармадону внимательно выслушать музыку композитора Таривердиева. Впрочем, Земский музыку бранил. А слова песен Коля Кармадону напел в парной. Потом Кармадон вместе с Колей и Земским еще гуляли, имели и приключения, правда мелкие. Теперь же Коля и Земский сидели дома у Данилова и пили, разложив жареную рыбу хек на нотных листах. Данилов отправился прямо на кухню с намерением подать закуску на тарелках. Однако остановился, охваченный колебаниями. В холодильнике он имел лишь банку скумбрии курильской в собственном соку. Он хотел было угостить Кармадона в последние дни каникул, как следовало бы московскому хлебосолу, но вряд ли имел право тратить представительские средства на скрипача Земского и в особенности на водопроводчика Колю. Тут Кармадон явился на кухню, рассеял сомнения Данилова, сказав:

— Что ты тут крутишься с тарелками! Сегодня угощаю я!

— У нас так не делается...— начал было Данилов.

— И молчи! — заявил Кармадон.

— Ну смотри...

— Я ведь теперь знаю, кто ты! — сказал Кармадон и пальцем ткнул Данилова в бок.— Я в театр к тебе заглянул, в яме твоей посидел за барабанами и тарелками, еще кое-чем интересовался... Я справки запросил о тебе в канцеляриях... И получил их... Вот и знаю, кто ты...

Кармадон улыбался чуть ли не благодушно, но в благодушии его Данилов уловил и нечто металлическое, возможно молибденовое. «Стало быть, все проверил...»

— Ну и кто же я? — спросил Данилов. И он решил окрасить разговор улыбкой.

— Как тебе сказать... Ты вроде этого... Штирлица... Ты тут свой... Туземец... Ты и думаешь по-здешнему... И пиликаешь по-ихнему... Ты здешний, ты земной...

Тут Кармадон остановился, как бы желая подержать Данилова в напряжении и уж потом либо одобрить его, либо разоблачить. Одобрил, похлопал Данилова по плечу:

— Так и надо!

Кармадон включил на всякий случай все три программы приемника «Аврора», стоявшего на кухне, разом, пустил воду в мойке на полный звук. Он пододвинулся к Данилову и зашептал ему на ухо:

— Нам такие нужны! Я устрою тебе перевод в нашу Канцелярию от Нравственных Переустройств. Наша-то Канцелярия примет тебя и отцепит от твоей, теперешней... И уж они тебя шиш достанут со временем «Ч»... Только тебе придется подписать наши условия... Согласишься ли ты?

«А вдруг приемник и вода в мойке не помешают услышать Кармадона? — подумал Данилов.— Надо было еще в туалете воду спустить!»

— Завтра,— шепнул Данилов.— Завтра все и решим.

— Ладно,— кивнул Кармадон.

— Андрей Иванович, где вы? — крикнули из комнаты.

— Пошли к ним,— сказал Кармадон.— Тебе нужно будет еще подписать все мои каникулярные документы. И уж помоги мне приобрести сувениры.

— Как же мы с тобой раньше о сувенирах не вспомнили! — всполошился Данилов.— Завтра все магазины будут закрыты!

«Голова моя садовая! — сразу же подумал он.— Я впрямь соображаю лишь по-здешнему! При чем тут магазины!» Но Кармадон, казалось, не заметил его оплошных слов.

— Впрочем, в магазинах одна дрянь,— сказал Данилов.—Придумаем что-нибудь...

Он готов был сейчас угодить Кармадону. И из-за стечения обстоятельств. И просто так, от души. Знал он, и какие сувениры будут иметь успех в каждом из Девяти Слоев.

— Андрей Иванович! — пробасил из комнаты Земский.

— Андрей Иванович — это я,— объяснил Кармадон.— Андрей Иванович Сомов. Из Иркутска. Твой гость. Пошли.

— Здорово, Данилов! — обрадовался хозяину Земский, но тут же отчего-то и смутился.

— Здравствуй, Володя! — сказал водопроводчик Коля, он был одних с Даниловым лет, поэтому и называл его Володей. При встречах, даже и в трезвом виде, всегда улыбался Данилову, ува-

жая его: Данилов ни разу не засорял туалета и сам спускал черный воздух из батарей, когда давали горячую воду.

— Николай Борисович,— обратился Данилов к Земскому, все еще пребывавшему на больничном листе,— как вы чувствуете себя?

— Спасибо, ничего.

— У вас люмбаго?

— Люмбаго! — хохотнул Земский.— Вот сегодня хворые места венчиком прорабатывал в бане! Но и музыку не забыл. Недавно твоему иркутскому приятелю Андрею Ивановичу исполнил свои новые сочинения...

— Ну и как, Андрей Иванович?

— Забавно,— сказал Кармадон,— забавно. Как это ваше направление в искусстве называется?

— Тишизм,— сказал Земский.— Тишизм.

— Чтой-то краны течь хотят! — вставил водопроводчик Коля.

— Действительно! — хохотнул Земский.

— Сейчас,— сказал Кармадон.

Он сходил на кухню и принес три запотевшие бутылки водки и две «Северного сияния». К кускам жареной рыбы хек добавились шпроты на черном хлебе, банка килек и, Данилов обратил на это особое внимание, банка скумбрии курильской в собственном соку из его холодильника. «Что это он? — удивился Данилов.— Или все истратил вчистую?» Данилов захотел улучшить стол, в воображении его тотчас возникли цыплята табака и седла барашка, однако Данилов подумал, что своими угощениями он будет неделикатен по отношению к Кармадону. И он вернул горячие блюда в рестораны, местные и балканские, лишь некий аромат жареной баранины остался над рыбным столом. Земский учуял его и насторожился. Но Коля уже разлил.

И понеслось. И покатилось.

Данилов пить не хотел. Однако пришлось.

Улучив мгновение в бестолковой, шумной беседе, Кармадон отозвал Данилова в прихожую, открыл встроенный шкаф, достал меховые ушанки и поинтересовался, сгодятся ли они в сувениры.

— Где ты их достал? — спросил Данилов.

Оказывается, белым днем, когда Кармадон с Земским и водопроводчиком Колей шли из бани подземным переходом и беседовали, дурной подросток снял на ходу с Кармадона теплую шапку и побежал. Кармадон хотел было догнать подростка, но Земский с Колей сказали, что этого делать не надо, а надо идти в милицию. Кармадон и пошел, а Земский с Колей возле отделения сразу же вспомнили, что их дома ждут дела. Колю — затопленная Герасимовыми квартира Головановых. Земского — птица Феникс, о которой он собирался сочинять ораторию. Кармадон в милиции рассказал про шапку, предъявил иркутские документы, написал заявление и стал ждать. Ему удивились, спросили: «Чего вы сидите тут, гражданин?» Кармадон объяснил, что он ждет шапку, не ре-

зон ему с голой головой идти на мороз. Все сотрудники сошлись поглядеть на Кармадона, кто-то сказал, что он, верно, пьяный и сам небось шапку потерял или подарил, другой, более вежливый, посоветовал Кармадону идти домой. «Не пойду»,— сказал Кармадон. Куда ж он мог идти! По возвращении с каникул ему бы пришлось отчитываться в хозяйственной части за шапку, она ведь возникла на нем не из ничего, а из казенных флюидов. Кармадон рассердился, и через пять минут в отделении все задвигалось и напряглось. Просили Кармадона дать словесный портрет головного убора. Мех Кармадон назвать не смог, сказав лишь, что лохматый. Не помнил он и своего размера. Сержантовым ремнем Кармадону обмерили голову. Через сорок минут Кармадону предъявили одиннадцать его шапок. Среди них, как увидел Данилов, были две пыжиковые, одна из ондатры, олимпийского фасона, четыре кроличьих, свежих, одна лисья, одна из меха секача, одна каракулевая, одна из верблюжьей шерсти. Кармадон сказал, что он не может точно определить, какая шапка его, а какая — нет. Тогда ему предложили отвезти домой все шапки на опознание жене или знакомым, а после, когда предоставится случай, ложные шапки вернуть. Вот Кармадон, поколебавшись, забрал их и теперь думает, не сгодятся ли они в сувениры.

— Сувениры это прекрасные! — сказал Данилов.— Но ты же обещал вернуть десять шапок...

— У меня нет времени,— сказал Кармадон.

— Значит, кто-то будет ходить без шапок. Или родственники твоих спасителей. Или еще кто...

— Ну и что! С меня-то вон сняли шапку! — тут Кармадон взглянул на Данилова холодно.— И потом, ты говоришь странные вещи... Ты что, Данилов?

«Действительно,— подумал Данилов,— что это я...»

— У меня своя роль,— со значением сказал Данилов.

— Ах, ну да...— спохватился Кармадон.— Но ты не беспокойся, следов я не оставил. Они не знают, где я гощу и к кому увез шапки на опознание...

— Вот и хорошо,— сказал Данилов.— А завтра мы присмотрим другие сувениры.

В дверь позвонили.

Гостем явился Кудасов. Данилов Кудасова впустил, однако был удивлен его прибытием. Кудасов и сам чувствовал себя неловко, бормотал, что вот, мол, Данилов не раз приглашал его в гости, он все не мог, а тут шел мимо и подумал: «Дай загляну...»

— И прекрасно сделали! — сказал Данилов. Хотя и готов был погнать этого Кудасова в шею.

«Однако что это Кудасов-то прибрел?..» И тут Данилов понял. Кудасову ехать из дома к Данилову было минут сорок. Сорок минут назад в воображении Данилова возникли цыплята табака и седла барашка с Балканского полуострова, ароматом наполнив его холостяцкое жилье, вот Кудасов и уловил то сладостное мгновение. Его можно было понять: Данилов не обедал у Муравлевых, и

Кудасов три недели напрасно шевелил усами, ловившими запахи муравлевской кухни.

Данилов и сам был не прочь поесть нынче сытно. Он шепнул Кармадону:

— У меня есть на представительство... Все равно бухгалтерия их потом спишет...

— Ну, валяй,— сказал Кармадон.

Данилов ввел Кудасова в комнату, представил его гостям-ветеранам.

— Кудасов, Валерий Степанович, лектор по существенным вопросам.

Земский отчего-то хохотнул, а водопроводчик Коля Кудасову очень обрадовался.

Данилов, наблюдавший за ноздрями и усами Кудасова, сострадал гостю. Кудасов учуял аромат жаренной на углях баранины, а предположить мог одно: она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню, получил заказ из двенадцати предметов, выписал — по слабости и легкомыслию — еще и ресторанный столик на колесиках, на этом столике привез закуски, напитки, горячие блюда в комнату.

— Андрей Иванович угощает,— сказал Данилов.

Кудасов оборвал умные слова. Усы его приняли стойку.

Потом по кудасовским усам текло. Но и в рот попадало.

— А вот, Валерий Степанович,— сказал водопроводчик Коля, закусывая жареным хеком,— насчет синего быка что вы объясните?

— Насчет синего быка,— кивнул Кудасов и подцепил вилкой новый кусок баранины.

— Да, насчет синего быка,— поддержал Колю Данилов.

— Ну что же,— сказал Кудасов,— сейчас ясно одно. Родиной исполинского быка являются скорее костромские леса, нежели принсипские хинные рощи.

— Да куда им, хинным рощам-то! — сказал Земский.

— А он не от пришельцев? — в упор спросил Коля.

— Каких еще пришельцев? — снисходительно поглядел на Колю Кудасов.

— Все говорят,— сказал Коля.— Это пришельцы их сюда завезли. Три тысячи лет назад. А когда уехали, законсервировали их до поры до времени в спячке. А эти две штуки из спячки вышли.

— Консервируют быков,— засмеялся Земский,— на мясокомбинатах!

Андрею Ивановичу из Иркутска слушать про быков такие слова было неприятно, он поморщился и сказал:

— Да что вы все про быков и про быков! Про этого синего в Москве стали забывать, а вы вспомнили! Теперь в Москву стоматологи приехали, про них говорят.

Андрей Иванович был прав. Два дня как отбыл бык Василий в Канаду, а казалось, что прошла вечность. Панкратьевские стра-

сти и разговоры словно забылись. А о том быке в белую полоску в Москве совсем не помнили. О быстротечность московской жизни! Будто и нет в тебе неводов!.. Собрался в Москве конгресс стоматологов, вот о нем теперь и рядили. Клавдия Петровна уже отсидела на открытии конгресса с гостевым билетом, теперь желала попасть на пленарное заседание. В публике шли слухи, что в последний день работы конгресс специальным решением запретит бормашины. Отныне зубы станут лечить без всякой боли технической водой и сжатым воздухом. Множество чудесных событий летело своей чередой, где уж тут было удержаться в центре внимания синему быку!

— А этот, ихний Бурнабито,— опять вступил Коля,— я в транзисторе слышал, решил возле дома на лужайке своему быку поставить памятник, из одной бронзы. Стоит, значит, бык и ногу переднюю держит на упавшем женском теле, на Синтии этой, вроде он ее победил...

— Ну вот видите,— сказал Кудасов,— при чем же здесь пришельцы!

— Точно? — спросил Андрей Иванович.— Такой памятник будет?

— Передавали так,— сказал Коля.— Или вот анекдот я про синего быка слышал...

Анекдот был неприличный, для быка обидный, и Данилов, чтобы оберечь от него ранимую натуру Кармадона, прервал анекдот тостом, посвященным съезду стоматологов. Дальше пили и закусывали, Данилов дважды прикатывал из кухни на столике сменные блюда с напитками, не раз компания впадала в хоровое пение. Еще в бане водопроводчик Коля напомнил Андрею Ивановичу песню «Ромашки спрятались, увяли лютики...», и теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Их с Колей поддерживал пока еще не уставший от угощений Кудасов и, что удивительно, тишист Земский. И Данилов запел ради компании. Песня их была услышана находившимся за стеной духовиком из детской оперы Клементьевым. Тот сейчас же — и зычно — заиграл про лютики на электрооргане. «Да что он шумит-то! Этак рыбу в реке глушить можно! — рассердился Кармадон.— Он и ночью гремел!» И опять в электрооргане за стеной что-то взорвалось.

В разгар застолья позвонила Клавдия.

— Данилов, ты мне нужен,— сказала она.— Сейчас я за тобой заеду.

— Извини,— сказал Данилов.— У меня гости...

— Бабы или мужики?

— Мужчины,— сказал Данилов.

— Сколько вас?

— Пятеро...

— Вот и хорошо,— сказала Клавдия.— Один лишний. А четверых я заберу...

— Куда заберешь?

— Тяжести таскать! Надеюсь, настоящие мужчины не откажут даме в помощи...

— При тебе есть Войнов...

— Войнов! Войнов создан для науки. Турки у него... Ладно. Жди меня,— сказала Клавдия Петровна и повесила трубку.

Через полчаса Клавдия прибыла. Вид имела спортивный, будто собралась на лыжную прогулку. Она оглядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы.

— Я вас моментально привезу обратно,— сказала Клавдия.— Там дел всего минут на пятнадцать... Я бы и одна, но камни тяжелые...

Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбаго, вызвался сторожить квартиру Данилова.

— А вам и все равно не осталось бы места в машине,— сказала Клавдия.— И потом, такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные.

Земский кивнул, согласившись.

Клавдия спешила, коридором и на улице, к машине, шагала быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. Данилов-то — по привычке, водопроводчику Коле было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду», но спешили, втянутые в движение Клавдиевой энергией, и Кудасов, кому подобное движение прежде было бы чуждо, и Кармадон, вот что примечательно. И потом ехали в войновской «Волге» в некоем напряжении, куда — неизвестно. Но все — в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии. Или требования. Она сидела за рулем решительная, зловещая, как царица Тамара в холодном ущелье Дарьяла. Было темно, и Данилов не понял, куда их завезли. Выскочили из машины возле забора товарного двора какого-то вокзала, скорее всего Ярославского, Клавдия раздвинула коричневые доски забора, пропихнула в щель водопроводчика Колю, Кармадона, Данилова — сама пролезла на товарный двор, а Кудасова оставила возле щели в дозоре. То сугробами, то по шпалам, то под товарными вагонами Клавдия долго вела помощников, будто группу диверсантов, и наконец вывела к кирпичной стене. Возле стены стояли сбитые из досок ящики, присыпанные снегом.

— Два берем! — сказала Клавдия.— Ты, Данилов, с этим! А я — с этим!

У Данилова «этим» был водопроводчик Коля, у Клавдии — Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по семьдесят, лишь добросовестные старания Клавдии вызвали в Данилове прилив сил, кое-как дотащил он с Колей ящик к охраняемой Кудасовым щели. А Клавдия с Кармадоном опередили их метров на десять. Пыхтя, нервничая, пропихнули ящики в щель, оторвали еще доску. Возле машины при свете фонарей Данилов разобрал на ящиках надписи: «Камчатская экспедиция. Вулкан Шивелуч». За вагонами в тревоге, но и с удалью засвистел сторож. Один из

ящиков сунули в багажник, другой — на заднее сиденье, сами вмялись в машину и, словно бы чувствуя погоню, помчались в автомобиле улицами с редкими фонарями. Коле опять стало тепло в машине, и он запел, хоть и был придавленный Кудасовым: «Шапки прочь! В лесу поют дрозды-ы-ы! Певчие избранники России...»

Подъехали не к войновскому дому, а к дому Клавдии, когда-то и даниловскому, кооперативному. Клавдию с ящиками пустили лифтом, сами поднялись пешком. Кудасов дрожал, усы его дергались, но Клавдия успокоила лектора, сказав, что за эти ящики судить его никто не будет, они забытые и, видно, никому не нужные. Но, впрочем, нынешней поездкой она попросила не хвастаться.

Как и было обещано, Клавдия отвезла мужчин к Данилову. И сама посидела с ними полчаса. Квартиру Данилова она, возможно, и украсила, но отчего-то прежней душевности в компании не возникло. Кудасов, обозрев пустые уже тарелки, нашел, что ему следует вернуться к конспектам. Было видно, что и при горячих вторых блюдах он бы теперь откланялся. Душа его была в смятении. Земский вблизи Клавдии затих, хотя и считался бузотером и охальником. Водопроводчик Коля был весь в песнях. Один Кармадон, неожиданно для Данилова, проявил интерес к даме. Нечто давнее, знакомое Данилову, зажглось в его глазах. Часом раньше при явлении Клавдии Данилов обеспокоился. Он знал, что Кармадону женский пол после случаев с Синтией и коровами Бурнабито был ненавистен и мерзок. Он ждал от Кармадона поступка мстительного или грубого. Но Кармадон и в машину за Клавдией спустился, и под вагоны нырял, и ящик тащил! Теперь он смотрел на Клавдию мечтательным взором, поигрывал брелоком с костяной обезьяной! Эко все повернулось! «Да ведь я и сам, как последний болван,— подумал Данилов,— кинулся за Клавдией, волочил дурацкий ящик от вулкана Шивелуч... Наваждение какое-то! Вот ведь неистовая баба! И неумная к тому же! И как это Войнов, автор книг о Турции, на ней женился, не пойму!» Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии.

Клавдия выпила кофе, поблагодарила Данилова за помощь и гостеприимство. Данилов хотел было ее из вежливости удержать, но не удержал. Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию. Та кавалером была довольна, на шутки Кармадона отвечала искренним, громким смехом. В дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением. «Ну, проводи, проводи...» — подумал Данилов.

20

К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интереса. Их дело! Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивания в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел приличные манеры, а тут — какое-то балаганное подмигива-

ние! И явная нагловатость во взгляде, будто Кармадон — соблазнитель из Мытищ. Данилов подумал, что Кармадон, видно, нервничает, во что бы то ни стало желает истребить в себе Синтиин комплекс, возродить веру в свои мужские свойства, да вот боится худшего. Что же у него выйдет с Клавдией-то при робости?

Водопроводчик Коля все еще пел, заняв диван, и требовал, чтобы Данилов подыгрывал ему на скрипке. Николай Борисович Земский поднялся, кряхтя и лелея люмбаго, потянул Колю на выход — а ведь еще и не вся жидкость изошла из сосудов. И Земский был в смущении. На прощанье он сказал, что Данилов — шалун, не прошло и нескольких дней, а при нем — новая красивая женщина. «Неужели красивая?» — спросил Данилов. «Очень, очень эффектная дама!» — покачал головой Земский.

Данилов вспомнил, что все его гости глядели на Клавдию ласково, с неким обожанием. «Неужто она производит впечатление?» — удивился Данилов. Сам он давно уже перестал замечать в Клавдии женщину. Теперь образ сегодняшней Клавдии возник в его голове, и он, оглядев Клавдию как бы со стороны, подумал, что она и впрямь недурна и лицом и телом и что Кармадона можно понять...

Не причинит ли отпускник ущерб Клавдии Петровне, беспокоиться Данилов не стал. Еще неизвестно, о ком следовало беспокоиться...

Путешествие на товарный двор не выходило из головы Данилова. Он гадал — совершили они уголовное деяние или же нет? Или же проучили Камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики от вулкана Шивелуч? Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, бдевшего в тулупе и со свистком во рту, возле кирпичной стены возникли исчезнувшие было ящики с присыпавшим их снежком. Сторож тут же кивнул и задремал, пустив слюну в свисток. В стараниях ради науки Данилов поспешил и в спешке забыл, какие ящики с содержимым — подлинные, а какие — дубликаты. То ли наука получила на товарном дворе свою собственность, то ли Клавдия осталась при истинных научных ценностях. «А-а! Ладно! Потом разберемся!» — махнул рукой Данилов.

Кармадон вернулся в полночь.

Был он мрачен, не имел аппетита.

Молча разделся, лег на диван лицом к стене, притих.

Упрямец Клементьев, починив к ночи электроорган, заиграл за стеной как бы с целым оркестром: «Зачем вы, девушки, красивых любите...» Кармадон проскрипел зубами, и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался.

«День завтра будет не из легких»,— подумал Данилов.

Встал Кармадон с утренними сигналами радио, сорок минут трудился с гантелями. Данилов нежиться себе не дал, а хотел бы понежиться. Только он вышел из ванной, как Кармадон предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты.

— Теперь же мы составим и список сувениров,— сказал Кармадон,— чтобы потом не забыть...

— Во сколько ты отбываешь?

— В двадцать четыре ноль-ноль...

— Под петухов? — уточнил Данилов.

— Да,— кивнул Кармадон.— Под петухов.

Говорил Кармадон деловито и как пан — писарю, а глаза у него стали холодные и, уж точно, металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый, с шоколадную медаль, значок — синий бык на черном фоне и слова «Ничто не слишком!» Значок этот Кармадон, видимо, намеревался увезти с собой. За чашкой кофе Данилов, еще не привыкший к сегодняшнему Кармадону, спросил, не излечился ли Кармадон от ран, нанесенных ему познаньем? Кармадон жестко сказал, что этот разговор следует оставить. И вообще он попросил Данилова о событиях последних двух недель забыть. И забыть о его, Кармадона, разговорах, вызванных минутной слабостью. «Хорошо»,— сказал Данилов, стал серьезным. Тут Кармадон добавил, видно, для того чтобы развеять все сомнения Данилова: каникулы для него, Кармадона, не прошли даром, он стал сильнее, переступил в себе через нечто важное и созрел для дел более значительных, нежели забавы с цивилизацией волопасов.

— Да, я чувствую в себе явный прилив сил,— сказал Кармадон.

Было похоже, что на этом его откровения Данилову закончились. Данилов опять ощутил себя чуть ли не станционным смотрителем, какому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь и не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени «Ч» или не был.

Данилов вдруг подумал, что Кармадон, возможно, приезжал и ни на какие не каникулы, а инспектором по его, Данилова, делу. От этой мысли он поначалу затрепетал, но тут же стал воинственным.

Данилов сел за письменный стол, принялся оформлять каникулярные бумаги Кармадона. Тут гость опять стал простым и, даже несколько заискивая перед Даниловым, попросил его все отметить как надо. А в кратком донесении о каникулах быть справедливым.

— Хорошо,— сухо сказал Данилов.

Кармадон — сначала на островах Сан-Томе и Принсипи, а затем в Панкратьевском районе — прихватил пять лишних земных суток, теперь из документов со словами «убыл», «прибыл» они исчезли. Синий бык вышел в донесении Данилова если не геройским, то во всяком случае достойным репутации Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручкой сороковых годов, деревянной, тонкой, с пером рондо, бухгалтерия пасту и синие чернила не признавала. К местам для печати Данилов приложился разогретой над газовой плитой пластинкой браслета с буквой «Н». В прогонных грамотах Данилов подчеркнул

вид топлива и систему ускорения. Теперь бумаги Кармадона были в порядке. Кармадон завернул их в несгораемый платок и прикрепил к штанам английской булавкой — плохо выправленные или потерянные отчетные документы не одному из знакомых Данилова и Кармадона стоили карьеры.

— А если ты решил перейти к нам,— сказал Кармадон,— то расписываться тебе придется не чернилами...

— Я знаю...— Данилов быстро взглянул на Кармадона.

— Ты сегодня обещал объявить решение... Наш разговор остается в силе...

— Хорошо,— сказал Данилов,— но давай сначала закончим с твоими делами, а уж потом займемся моими...

«Значит, о моем деле он не забыл,— подумал Данилов.— Значит, и не инспектор он, а и вправду был на каникулах...» На душе у Данилова стало спокойнее. И чувства его к Кармадону потеплели. «Он — ничего,— решил Данилов,— а мрачный и важный — это потому, что с женщинами ему не везет». Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела хоть и до вечера, мало ли какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее?

— Теперь сувениры,— сказал Данилов.

— Да, сувениры...

С сувенирами положили так. Много времени на выбор подарков не тратить, а сейчас же составить их список. Потом отобранные вещи и явления Данилов в упакованном виде брался отправить Кармадону вдогонку. Или же параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли девять меховых шапок и одна из верблюжьей шерсти. Попросил гость восемь ящиков с бутылками минеральной воды осетинского курорта Кармадон — для стариков. Затем в список внесли тепловоз Людиновского завода, Данилов хотел было выяснить, зачем он Кармадону, но тот замялся и покраснел. «Ладно»,— сказал Данилов. Дальше пошли кинофильмы, в том числе с участием Синтии Къюкомб. Захотелось Кармадону увезти на память копье странствующего рыцаря Резниковьеса, уже починенное. Внесли в список пять тонн жевательной резинки, Данилов прикинул, в каких странах брать ему резинку, подумал, что несколько пачек он непременно прикарманит и угостит Мишу Муравлева и еще кого-нибудь из детей. Кармадон настаивал на том, чтобы сувениром был отправлен полюбившийся ему комментатор фигурного катания, однако Данилов предположил, что тот уцепится за микрофон и никуда не улетит. Кармадон расстроился, но тут Данилов уговорил его заменить комментатора пространщиком из Марьинских бань дядей Нариком, подававшим Кармадону простыню, однако вспомнил, что дядя Нарик — мусульманин, а они с Кармадоном — вовсе не джинны. В конце концов комментатор был компенсирован кометой Когоутека и леденцами на палочке «Синий бык». Кармадон попросил записать что-нибудь для демонических дам, и тут уж Данилов расстарался! Секциям, любезным женскому глазу, в парижских магазинах «Самаритен», «Монопри», «Призюник» предстояло оскудеть! И сго-

реть! «Надо бы и мне,— подумал Данилов,— при случае послать кое-что и кое-кому... Химеко и Анастасии — непременно! Хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет...» Данилов вздохнул. Еще в список вошли марки с олимпийским гашением, извержение вулкана Тятя, лекция Кудасова, распространенная в сети, и с ответами на записки, ломбардское кресло делового человека Ришара, вызвавшее отъезд быка Василия, веселый памятник Гоголю с бульвара, морская капуста в банках, четыре электрооргана, очередь за коврами у Москворецкого универмага, ростокинский акведук. Список протянулся еще на пятнадцать пунктов.

— Пока хватит,— сказал Данилов,— а к вечеру что-нибудь вспомним...

— Наверное, хватит...

Тут Данилов подумал, что ростокинским акведуком он распорядился напрасно. Его следует оставить на месте. И вид он имеет красивый. И заслуги перед городом. Как-никак стоит двести лет. Захотел он заменить акведук открытым бассейном «Москва», от коего мокнут и тухнут картины с книгами, но и бассейн ему стало жалко.

Сувенирами Кармадон, казалось, был доволен, Данилова это порадовало. Однако опять Данилов уловил в себе желание угодить Кармадону, отчасти не бескорыстное. «А-а, ладно...— подумал Данилов,— последний день, а там опять стану сам собой...» Тут он сообразил, что не мешало бы в список сувениров вставить альт Альбани, вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном... «Нет, никогда,— сейчас же остановил себя Данилов.— Ишь хитрец какой!» — пригрозил он себе пальцем.

А Кармадон опять стал серьезным и надменным. Как и полагалось демону седьмой статьи. Видно, высокие мысли посетили его.

— У нас день впереди,— сказал Данилов.— Как ты предполагаешь провести его?

— В разгуле,— сказал Кармадон.

Но без предвкушения удовольствий сказал, а холодно, твердо, будто под разгулом понимал не персидские пляски и не битье зеркал, а прием снадобий и чтение источников. Или желал показать, что он сам нынче себе хозяин и обойдется без провожатых и сотрапезников. Данилов опять почувствовал расстояние между ним и Кармадоном, пожалел о своей душевной простоте. «Ну и пусть гуляет,— подумал он,— хоть один, хоть с кем... Хоть с Клавдией!» У самого Данилова не было желания пускаться в разгул, а присутствовать при разгуле других, чтобы потом разводить гуляк на квартиры,— тем более! Но что он мог поделать?

— Сейчас придут Земский и водопроводчик,— сказал Кармадон,— и мы двинемся...

— Куда это? — спросил Данилов.

— В Павелецкий вокзал.

Однако первым пришел не Земский и не Коля, а Кудасов. Данилов полагал, что после вчерашнего происшествия Кудасов отсп-

живается где-нибудь в укрытии и уж его дом намерен обходить за пять верст. Усы Кудасова шевелились. Было видно, что Кудасов притянут на квартиру Данилова большими, хоть и смутными надеждами, вызванными сегодняшними затеями Кармадона. «Как он их почувствовал?» — удивился Данилов. Робок был Кудасов, нервен, что-то настораживало его и пугало, а вот словно какая страсть помимо воли Кудасова подхватила его и принесла сюда. «Может, Кармадон нарочно завлек Кудасова,— подумал с опаской Данилов,— чтоб взять над ним и покуражиться?»

Уж больно пронзительные были глаза у Кармадона.

К двенадцати явились Земский и водопроводчик Коля. Оказалось, что они и договорились вчера о двенадцати часах. Правда, Коля все забыл. Но Земский помнил.

В ресторане Павелецкого вокзала взяли столик с шестью стульями. Распоряжался Кармадон. Его как бы провожали, пили за Иркутск и сибирские просторы. Хотя на этом вокзале пить полагалось бы за Тамбов и Саратов. После первых рюмок приблудные друзья Кармадона захмелели быстрее, чем следовало бы, то ли от вчерашнего основания, то ли от воздуха Павелецкого вокзала. Данилов и вообще пить не желал, а тут, наблюдая некий неприятный холод в глазах Кармадона, намерен был держать себя в руках. Кармадон шепнул на ухо, властно шепнул:

— Данилов, не передергивай карты! Не старайся быть постнее других... Или я посчитаю, что ты мне не доверяешь, и обижусь!

Данилов сейчас и вправду не доверял Кармадону. Однако и не хотел, чтобы Кармадон был им недоволен. Наоборот, хотел, чтобы тот очень им был доволен. «Ну и ладно! — думал Данилов.— Ну, в его последний нонешний денечек, желания его исполню, и ладно... И условия их приму... Что мне эта Канцелярия, что та!» Данилов давно считал: следует всегда оставаться самим собой в главном, а в мелочах — уступать, мелочей много, они на виду, оттого-то и кажутся существенным, главное же — одно и в глубине, уступки в мелочах и создают видимость подчинения и прилежности. Пусть считают, что он послушный. Но он-то как был Данилов, так и будет им.

Потом сидели в ресторане Рижского вокзала, потом Курского. Когда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухней, Данилов не знал, спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно. Рижский ресторан оказался ничего, Курский же компанию возмутил — только что скатерти в нем были чистые. Дальше отчего-то кушали стоя в желтом буфете при станции Бутово. Кушали много с каких-то сверкающих легких тарелочек из фольги, все больше — вареные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе. Запивали «Северным сиянием» и три шестьдесят двумя. Бутылки Кармадон брал с пола и будто бы из-под штанин. Бутовские любители интересовались, откуда водка в воскресный день, Данилов объяснял, что с платформы Катуар Савеловской дороги, там нынче торгуют. Любители тотчас бежали к электричкам, имея в виду

платформу Катуар. И тут Данилов понял, что они впятером жуют шпроты уже не в Бутове, а в буфете станции Львовская. «Эдак мы скоро в Туле пряниками станем угощаться!» Потом были и пряники.

В глазах Кармадона и в его губах, когда он задумывался и не жевал, было что-то разбойничье, затаенное, было и высокомерие, и брезгливость была. Данилов понимал — следовало ждать от Кармадона какой-то выходки, уже не ухарской, а расчетливой, и как бы эта выходка кого не погубила! Однако когда Кармадон кушал железнодорожные угощения, пил «Сияние», он делал это с удовольствием и с таким аппетитом, так вкусно, что Кудасов, уж на что был гурман и привереда, а и тот, увлеченный азартом Андрея Ивановича, одно за другим проглатывал яйца вкрутую.

Пил Данилов поневоле, пил, но все же замечал, какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин. Голодные это были глаза, жаждущие. В иные мгновения, особенно когда буфетчица плыла над пивной пеной положительной грудью, глаза Кармадона отражали страсти, волненье в кипучей крови. Многие женщины, попадавшие в поле зрения Кармадона, трогали его, но, пожалуй, буфетчицы и официантки — более всех. Все в натуре Кармадона, видно, так и требовало нынче упоения и реванша. Земский, казалось, был уже не здесь, а неизвестно где, но и то обратил на это внимание.

— Андрей Иванович! — толкнул он в бок Кармадона в буфете платформы Шарапова Охота.— Да вы не теряйтесь! И она на вас глазищи пялит! Вон уже и сыру лишний ломоть вам на блюдце положила... Вы не робейте, а прямо и на штурм!

— Нет,— тихо сказал Кармадон,— она хороша... Но у меня нынче есть дама сердца. Она одна, и более никто... Но это потом, потом!

С той минуты он стал глядеть на женщин скромнее и прохладней. А Данилов почувствовал, что слова Земскому сказаны всерьез. «А впрочем, может, ему и впрямь с буфетчицы начать? Для разгону...— рассудил Данилов. Тут же он взволновался: — Какая же это такая дама сердца? Неужели Клавдия?» Что же, Клавдия умела любить, подумал Данилов с неожиданной нежностью к прежней жене.

Отчего-то Данилову стало тревожно. Но не из-за Клавдии...

Однако тут же в их прогулке началась такая кутерьма, такая полька-кадриль, такая катавасия, что и мыслям о женщинах в голове Данилова места не осталось. Может, именно это и был Кармадонов разгул — опять пили, опять кушали, опять пели и то куда-то ехали, а то стояли на месте. Ехали все больше в вагонах-ресторанах. А стояли опять в станционных буфетах возле пластмассовых столиков или просто у стен. «А что? — решил Данилов.— Давай-ка и напьюсь. Или хотя бы притворюсь пьяным. Если сегодня мне придется принимать условия и ставить подпись, я потом всегда смогу сказать, что был нетрезв. Я и свидетелей

приведу!» Земский и водопроводчик Коля были уже в блаженной невесомости, но на ногах держались, производили движения, иногда участвовали и в разговоре и уж, конечно, рты открывали по делу. Кудасов все еще шевелил усами и был, видимо, чем-то удивлен, неясные думы порой бродили в нем. Думы эти Кудасов гнал, набрасываясь на пищу, возникавшую вблизи него. И пища-то была одна — все те же шпроты на черном хлебе, ломтики селедки при вареных яйцах, корейка в черных и рыжих точках, куски вареной курицы с костями, которые раньше в птице не водились, фигурные пряники «подмосковные» булыжной твердости, сыры, словно бы из сплошной корки, правда, с дырочками, и пирожки с котлетой. В вагонах-ресторанах было приятней — и сидели, и куда-то ехали, то в одну сторону, то в другую, к сырам и сельди имели еще борщ в металлических мисках и рыбу хек с гречкой. А то и зеленый горошек. При этом Андрей Иванович опять так набрасывался на угощения, с такой жадностью уничтожал их, что и все в компании проявляли жадность к железнодорожной еде. Словно выросли в будке путевого обходчика. Шла какая-то сладкая жизнь! Один вагон-ресторан прекратил прием гостей из-за их компании, а продуктов в нем было захвачено до станции «Минеральные Воды». Оказалось, они в экспрессе «Самара», и там ресторан скоро вышел из строя. Закрылись и два Голубых Дуная на Казанской дороге. Данилову было удивительно: «Куда же это в него-то? Да и в нас? Ну ладно, Кармадон пусть... Дорвался заяц до капусты... Ему и надо... А мы-то что?» — Данилов покачал головой, но тут же проглотил вареное яйцо. А Кудасов — два. Мимо их буфета прошел приписанный к Подольскому мясокомбинату состав со свиньями. «Ну, сейчас одного вагона не досчитаются!» — подумал Данилов. Видно, догадка его была справедливой, в буфете тотчас же возникло множество тарелок с корейкой, в черных и рыжих точках, явно от прошедшего состава. «Это Кармадонов разгул? — задумался Данилов.— Или он еще впереди? И когда учудит-то Кармадон что-нибудь?» Данилов был уверен, что Кармадон учудит, но теперь он размышлял об этом без тревоги и дурных предчувствий, а лениво и благодушно, словно прикидывал, когда же наконец Кармадон дернет хлопушку за ниточку.

— Мне бы тут жить! — сказал ему Кармадон.

— Где тут?

— Вот здесь,— сказал Кармадон, обвел взглядом стены буфета,— на Земле. Хоть бы и водопроводчиком Колей...

Коля поблизости тут же встрепенулся и запел: «Березовым соком, березовым соком...»

— То есть как? — удивился Данилов.

— А так,— сказал Кармадон и вздохнул. Был он прост теперь и печален. И печаль-то его совсем иная была, нежели четыре дня назад. Тогда Кармадон страдал от собственной слабости, теперь же он был в силе, а вот чуть ли не плакал.

Данилов глядел на Кармадона растроганно, жалел однокашника. Сказал ему:

— Брось!.. Это из-за Синтии. Или из-за Клавдии... Это пройдет...

Глупость сказал, хотя и не совсем глупость. Но что он мог сказать теперь умного? Пьян был...

Тут Кармадон, видимо, спохватился, и компания в бакинском поезде переехала через Оку. Неожиданно сельдь и яйца сменил тава-кебаб, вызвавший нехорошие слова Кармадона. Данилов выпил что-то под тава-кебаб и совсем загудел. Воздуху ему свежего захотелось. Он вдруг почувствовал себя металлическим кругляком — юбилейным рублем или памятной медалью,— приведенным во вращение на гладкой поверхности стола. Данилова все крутило, крутило, он надеялся, что движение вот-вот прекратится и кругляк затихнет, однако движение не прекращалось. Не в бакинском они уже ехали, а сидели на вокзале станции Моршанск-II. И Моршанск-Второй исчез, утонул в снегах с тамбовскими волками или окороками, что там у них тамбовское, и теперь уже минский поезд пустил в свой уют иркутского жителя Андрея Ивановича и его товарищей. «Зачем мне Минск! — пробормотал Данилов, как бы протестуя.— Нет, сейчас это вращение закончится, закончится!» — думал Данилов.

Кругляк уже бил краями о поверхность стола.

И тут тишина ватой заткнула Данилову уши. Движение прекратилось... Данилов на лыжах стоял в парке или в лесу. Далеко впереди виднелись под деревьями лыжники. Рядом возник Кармадон. И он был на лыжах.

— Все,— сказал Кармадон.— Трапеза окончена. Сыт я. И надолго. Ты-то сыт?

— Сыт...— пробормотал Данилов.

Голова его была тяжелой, однако ноги могли двигать лыжами.

— Теперь пришла пора свидания,— сказал Кармадон.— Здесь мы ее и увидим...

— Я поеду,— сказал Данилов,— я тебе и твоей даме сердца — лишний...

— Подожди,— попросил Кармадон.

«Робеет, что ли, он? — подумал Данилов.— Сыт ведь уже, а все робеет...» Теперь Данилов понял, что они с Кармадоном в Сокольниках. Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые, шел по лыжне скверно. Да и лыжня была нехороша, обледенела, ночью снег чуть присыпал ее, но все равно лыжи скользили словно в ледяных желобах.

— Сейчас мы ее увидим...— прошептал Кармадон. Данилов почувствовал, что Кармадон волнуется. Кармадон поначалу скользил решительно. Но потом взял и свернул влево, пошел по насту и не спеша, явно оттягивая мгновение встречи.

— Ты хоть свидание-то ей назначил? — спросил Данилов.

— Нет,— сказал Кармадон.— Да это и не суть важно... Кстати, она твоя знакомая... Ты на меня не обижайся...

— Что уж тут обижаться-то...— пробормотал Данилов.

— В последние дни я ее вечерами то у театра видел, то у тво-

его дома. Наверное, она искала встречи с тобой...— сказал Кармадон.

— Что? — поднял голову Данилов. Речь шла не о какой Клавдии.

— А вон и она,— Кармадон ткнул палкой вперед.— На горке...

На горке стояла Наташа.

— Представь меня ей,— сказал Кармадон. Сказал как приказал.

Редко Данилов терялся, а тут растерялся. Сердить Кармадона он никак не хотел. Данилов неловко подъехал к Наташе, стал говорить ей шутливые, глупые слова, и, что удивительно, она ответила на них с улыбкой и беспечно, будто никаких недоразумений между нею и Даниловым не было. Подкатил Андрей Иванович Сомов из Иркутска, был представлен Наташе, и ему она улыбнулась.

Андрей Иванович выразил сомнение, что вряд ли такая очаровательная девушка сумеет съехать с такой опасной горки. И Наташа тут же съехала. Ловко съехала и красиво, позволила себе сделать крутые виражи, будто спускалась на горных лыжах, эластичный костюм сидел на ней хорошо, и было видно, что тело у Наташи не только музыкальное, но спортивное и сильное. «Неужели и вправду,— подумал Данилов,— она искала встречи со мной у театра и в Останкине? Что же я, дурень, ждал-то?»

Однако сегодняшняя Наташа Данилова удивляла. Он привык видеть ее серьезной, порой печальной, теперь же она была веселой, даже озорной. Да Наташа ли это? Как ни стыдно было Данилову, он все же скосил глаза на индикатор. Выходило, что Наташа. И будто бы не играла она сейчас, не дразнила его, Данилова, а находилась в состоянии естественном для себя. Неужели явление Кармадона так подействовало на нее? Данилов нахмурился. Поддерживать светский разговор с Наташей и Кармадоном он был не в силах и даже чуть-чуть отстал от них, якобы для того, чтобы поправить крепление. «Она ведь кокетничает с ним, а на меня смотрит как на пустое место! Он мил ей!» — думал Данилов. С возмущением думал и с яростью, будто был мавр, а не останкинский житель.

Тут ему явилась мысль. А пусть Кармадон уходит с Наташей, он же отстанет. Так будет лучше для всех. И для Кармадона. И для него, Данилова. И для Наташи. Давно следовало бы прекратить их с Наташей отношения. Лишь по слабости Данилов дружбу с Наташей оборвать не мог. Теперь был случай... На мгновенье Данилов подумал, что он боится не угодить Кармадону, вот и приняли его мысли этакое направление. Но опять он заглянул на лыжников и опять взъярился: «Нет, она любезничает с ним, до меня ей нет дела! Ну и пусть! Ну и хорошо! Я и отстану... Скажу, что пойду кормить белок, и все...»

— Данилов,— окликнул его Кармадон,— ты все отстаешь!

— Отдача сильная,— сказал Данилов.

— Ты в мазь не попал! — рассмеялся Кармадон, и, как показалось Данилову, со значением.

— Что же вы так, Володя, с мазью-то! — лукаво улыбнулась Наташа.— А говорили, что лыжи любите, что в Сокольники часто ходили. Вот я и решила в Сокольники приехать...

— Это я раньше сюда ходил, когда у меня время было...

«Она уже со мной и на «вы»! — подумал Данилов. Однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то, что Наташа, возможно, из-за него нынче здесь.

— Наташа, извините нас, пожалуйста,— сказал Кармадон.— Деловой разговор вам будет не интересен, а я сегодня уезжаю, и мне кое-что нужно обсудить с Володей. Я отведу его на секунду в сторону, вы не обижайтесь...

Отошли.

— Я думаю,— сказал Кармадон, и была в его голосе некая деликатность,— что теперь ты, точно, лишний...

— Нет,— сказал Данилов твердо,— ты ошибаешься.

— Неужели ты решил чинить мне препятствия? — удивился Кармадон.— Ты должен понять, как нужна мне теперь она... Именно она.

— Это исключено,— сказал Данилов.

— Да ты что! Я ведь серьезен сейчас... Я три дня как присмотрел ее. А вышло, будто она мне была нужна давно... Другие женщины мне теперь не нужны... Я уже не слаб, я уверен в себе...

— И я серьезен,— сказал Данилов.

— Что же нам, силой, что ли, придется мериться? — усмехнулся Кармадон.

— Как пожелаешь,— сказал Данилов.— Я не отступлю.

Глаза у Кармадона стали злые и зеленые. Только что он разговаривал с Даниловым как с приятелем, чье упрямство раздражало, но не давало поводов для ссоры. Теперь же Кармадон был холодным исполином, такому — что чувства в жизни мелких тварей! Все же Кармадон пока не буйствовал, держал себя в руках, а ведь соки в нем бурлили после трапез на вокзалах и в придорожных буфетах.

— Ты что, Данилов,— сказал Кармадон,— забыл, кто ты, кто я, забыл о своих обстоятельствах?

— Я ни о чем не забыл,— угрюмо сказал Данилов.

— Стало быть, ты не думаешь о последствиях.

— Я обо всем помню...

— Ну, смотри...

Данилов мог предположить, что намерения Кармадона относительно Наташи искренни, но он подумал, что помимо всего прочего Кармадону интересно теперь испытать его, Данилова, унизить его и подчинить себе, оттого-то любопытство нет-нет, а возникало в злых Кармадоновых глазах. Это было мерзко. Данилов чуть было не ударил Кармадона. Но пощечина привела бы к поединку.

— Хорошо,— сказал Кармадон.— Объяснение считаю законченным. Ты не отступишь. Но и я ее не уступлю.

— Если так,— тихо сказал Данилов,— то ты... то вы бесчестный соблазнитель. И просто скотина.

Данилов снял с правой руки перчатку, насадил ее на алюминиевое острие лыжной палки и подал перчатку Кармадону. Собственно говоря, это была и не перчатка, а вязаная варежка, но Кармадон, подумав, принял варежку. Он был бледен, Данилов слышал скрежет зубов Кармадона, хотя челюсти его и были сжаты, а в глазах Кармадона то и дело возникало фиолетовое мерцание. Данилов боялся теперь, как бы Кармадон не бросил его перчатку — каково тому было ставить под угрозу не только свое существование, но и свою карьеру! — однако жили все же в Кармадоне понятия о чести, варежку Данилова он положил в карман.

— Завтра утром,— произнес Кармадон и указал вверх: — Там. Условия обговорим с помощью секундантов. Теперь разрешите откланяться и покинуть Землю.

И Данилов поклонился Кармадону.

Наташа спустилась с горки, подъехала к Данилову с Кармадоном и поинтересовалась, не кончили ли они секретничать.

— Кончили,— сказал Кармадон,— и выходит, что мне следует отправляться домой и на вокзал. Иначе опоздаю. Прощайте.

— А я провожу гостя,— сухо сказал Наташе Данилов.

Молча отъехали они от Наташи метров на двести, и тут Андрей Иванович, приезжий из Иркутска, не дождавшись петухов, рассеялся в воздухе.

Данилов побрел к выходу из парка.

Возле хоккейного дворца в группе пожилых лыжников он увидел честолюбивого порученца Валентина Сергеевича.

Валентин Сергеевич кушал мороженое и хихикал.

21

В четыре часа утра Данилов сел к письменному столу. Он намерен был писать завещание. Однако, оглядев стены и потолок, понял, что завещать, кроме долгов, нечего. Тогда он собрался писать распоряжение. Но «распоряжение» звучало словно бы приказание или требование, а приказывать он никому не мог, да и не собирался.

Ночью, на встрече секундантов, было условлено, что ежели не повезет Данилову и он в ходе поединка потеряет свою сущность, его земное существование закончится как бы в результате несчастного случая. Для людей Данилов то ли попадет под трамвай, то ли большая сосулька свалится на него на проспекте Мира.

Данилову было грустно. Порой, когда он глядел на книги, на папки с нотами, когда он думал о милых его сердцу людях, о музыке, глаза его становились влажными. И Данилов тер переносицу. Однако Данилов помнил, что в поединке он может рассчитывать лишь на собственную волю, а потому элегические состояния, кроме вреда, ничего не принесут. Он еще не остыл, был сердит

и воинствен и совсем не желал быть стрелой пронзенным. Но холодным умом он имел в виду и собственную погибель, как одну из реальных возможностей сегодняшнего утра. Он не хотел, чтобы его исчезновение нанесло ущерб кому-либо из людей. Особенно тем, кому он был должен. Вот он и сел писать завещание. Или не завещание, а неизвестно что. Наличных денег у Данилова не было, драгоценностей тоже, не имел он ни машины, ни дачи. Он рассчитывал на совесть страховых учреждений. И Альбани был застрахован, и жизнь Данилова была застрахована. На бумажке Данилов написал теперь, сколько он кому должен и что деньги эти — тут Данилов обращался неизвестно куда — следует из страховых сумм благодетелям возвратить. Здесь же Данилов и расписался самым тщательным образом. Он подумал: а вдруг милиция отыщет альт Альбани? Кому его-то оставить? Если бы Муравлевы играли на альте, он бы им оставил... Из Муравлевых одна надежда была на пятиклассника Мишу, он и осетинский танец симд на носках разучивал вместе с классом, и исполнял в школьном хоре песню Пахмутовой «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!». Мише Данилов и решил определить инструмент: вдруг подарок проймет мальчика и обратит к музыке! Если бы у самого Данилова был сын... Данилов опять опечалился, но сейчас же, не желая раскисать, изгнал из себя грустные чувства. А они вернулись. Теперь из-за книг. Данилов распределял, кому отойдут какие книги, книги были редкие, прекрасные книги, Данилову сознание того, что он, может быть, никогда уже не прикоснется к этим книгам, причинило боль. Часть своей страховки Данилов отписал на Клавдию, она привыкла к его взносам за кооперативную квартиру, Данилов не хотел обижать и ее. Клавдия нисколько не была виновата в перемене его судьбы.

На всякий случай Данилов привел в порядок и демонические отчетные документы. Сувениры Кармадону были заказаны, и, если бы Кармадон отказался теперь платить за них или не смог бы сделать это, Данилов готов был принять траты на себя. Вполне возможно, что и вчерашние кутежи могли поставить в вину Данилову. Данилов постарался учесть расходы на них до копейки. Когда учел, удивился. Сколько они съели-то всего! Литры Данилова не изумили, жидкость сейчас здесь — и тут же ее нет, но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов! Да что там десятки килограммов! Центнеры! Тонны!

Тот вагон со свиньями, приписанный к Подольскому мясокомбинату, точно, отошел в пользу компании. Селедки в ломтях было принято Кармадоном и товарищами 746 кг, не считая невесомых хвостов. Яиц, вкрутую и недоваренных, 412 тысяч штук, из них, как выяснил Данилов, 82 тысячи порченых. На шпроты, удовлетворившие компанию, ушел улов двух сейнеров. Да и прочие вчерашние лакомства весили много. Узнал Данилов и о продуктах, о принятии которых он не помнил. В частности, выходило, что Данилов вместе с другими скушал вчера четыре килограмма сушеного мотыля. Да и о двадцати килограммах столового мар-

гарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке. «Эко Кармадон нас увлек!»

Данилов понимал, что Валентин Сергеевич в Сокольниках лишь физиономию показал. Почувствовал, что дело его выгорает, и показал. В дни каникул Кармадона на глаза он старался не попадаться, но никуда не сбег, а был тут как тут. Ждал своей минуты. И дождался. И к Наташе, возможно, Кармадона вывел именно Валентин Сергеевич. Возможно. Ну и что из того! В иной день Данилов непременно доказал бы себе, что он погорячился, что Кармадон не виноват, а Валентин Сергеевич его попутал. И что Наташа любезничала с Кармадоном опять же из-за происков Валентина Сергеевича. Теперь, перед поединком, Данилов отводил всякие оправдания. Валентин Сергеевич, наверное, и думал своим явлением смутить Данилова, вызвать в его душе сто голосов, один виноватей другого, тогда Данилов прибыл бы к месту поединка слабым и безвольным, неуверенным в своей правоте. Мишенью, попросту говоря, прибыл бы. Теперь же он думал: Валентин Сергеевич ладно. Но ведь Кармадон — не младенец, не отрок, у него своя голова на плечах, что же он дает себя попутать? Да так уж и дает? Он — ас, он — игрок, он мог и сам ради игры, учуяв Наташу, пойти на риск. Он и пошел... А Наташа... Впрочем, о Наташе Данилов запретил себе думать из чувства самосохранения. Он знал одно: не вызови он Кармадона на поединок, случилась бы беда. Даже если Наташе и было приятно пойти с Кармадоном в беседу, кончилось бы все для нее скверно. Как хотел Данилов обойтись без поединка! Однако не обошелся.

Данилов вздохнул и стал писать письма. Двум хорошим композиторам и одному хорошему альтисту. Альтиста он просил познакомиться с симфонией Переслегина и в случае, если она ему понравится, исполнить ее. Композиторам, знавшим Данилова, он рекомендовал Переслегина как человека талантливого, но, видимо, робкого и неудачливого. Он хвалил симфонию и полагал, что доброе отношение таких авторитетов к Переслегину могло бы принести пользу музыке...

Тихо, откуда-то снизу, постучали по системе водяного отопления. Секундант обращал внимание Данилова на то, что до поединка осталось два часа.

Данилов хотел было в записке скрипачу Коле Михайловскому отказаться от поездки в Калугу с молодежным секстетом и тенором Палладиным. Однако посчитал, что если не сможет поехать в Калугу, то Михайловский и без записки узнает об этом.

С секундантом у Данилова были трудности. Откуда брать-то его? А Кармадон желал соблюсти все требования протокола. По правилам своего договора Данилов на Земле ни с кем из демонов знаться не мог. Он был прикреплен к домовым. Ну что ж, домовой так домовой, передал на Землю Кармадон, при этом Данилов ощутил, как Кармадон скривился.

А кого брать из домовых? Годились ли они в секунданты?

«Ба, да у нас в строении тоже есть домовой!» — вспомнил Данилов. Домовой этот, называли его Беком Леоновичем, появлялся в собрании на Аргуновской улице редко, вел себя тихо, не задирался, лампочек не выкручивал. В умных разговорах его занимала судьба Фанских гор. Иногда он играл в шашки по переписке, а все больше молчал. Когда же в окно смотрела полная луна, он вздыхал и говорил: «Луна полная!» Но отчего-то его считали личностью отчаянной. Было известно, что Бек Леонович восточного происхождения. Однако уже давно поменял веру. Прежнее имя свое он не помнил, а теперешнее получил в тридцатых годах. В Останкине, на выставке, среди прочих построили павильон южной республики, белый и голубой, кружевной, с фонтанами и колоннами. Стоять без домового, естественно, он не мог. Вот и был найден в Коканде, во дворце Худояр-Хана, местный дух, согласившийся перебраться в Москву. Имя ему присудили — Узбек Павильонович. Узбек Павильонович был сознательный доброволец, понимал, куда ехал, однако не смог удержаться и тайно привез с собой восемь жен, или восемь поклонниц, а может просто подруг. Любопытным он объяснял, что они нужны в павильоне для колорита. Никто их не видел, а только все говорили, что они глиняные и из них можно пить чай. Или есть плов. Или еще что-то делать. И что у них странный звук. Как от гуслей, только нездешних. Лет пятнадцать назад павильон перекрасили, посвятили его культуре, и Узбек Павильонович оказался в нем лишним. Его перевели в жилой дом по соседству, в Останкино. Потом — в другой. Потом — в третий. Этим третьим был дом Данилова, кооперативный. Здесь Бек Леонович был незаметен, лишь сильно грустил по женам. Уходя с выставки, из кружевного павильона, забрать с собой он их не смог, а замуровал в колоннах. Данилов знал, что Бек Леонович по ночам бродит возле павильона культуры, гладит колонны, его подруги стонут, зовут его, а Бек Леонович плачет. Чувства Бека Леоновича трогали Данилова, к тому же Бек Леонович был молчальником, вот к нему и обратился Данилов с просьбой послужить секундантом. Бек Леонович заробел, просьбу Данилова расценил чуть ли не как приказание, но сказал: «Сочту за честь». А Данилов ему и на самом деле как бы приказал, чтобы потом Бека Леоновича ни в чем не смогли сочти виновным. Будто его заставили силой. Но при этом Данилов почувствовал, что робеть-то Бек Леонович робеет, однако приключению как будто бы рад, видно, он и вправду был отчаянной личностью.

Секундантом Кармадона стал Синезуд, старый демон, чином мелкий. Но он славился как охотник и летун. Известен был также коллекцией значков разных миров. Часть коллекции, в том числе и значок ворошиловского стрелка, носил на груди. Домовому летать в пространствах не полагалось, да и с непривычки у Бека Леоновича могла закружиться голова, оттого Синезуд и прибыл для переговоров с Беком Леоновичем в Останкинский парк. При этом секунданты имели связь с Даниловым и Кармадоном, и вы-

шло так, что переговоры вели Данилов с Кармадоном, хотя и не сказали друг другу ни слова.

Дольше всего обсуждали вид оружия. Поединок мог быть словесный, на шпагах, на кулаках, на пистолетах, на картах, на карабинах, случались поединки, когда противники швыряли друг в друга камни, овощи. Бились костями вымерших крупных животных, огненными струями. Всего и не припомнишь. Данилов с Кармадоном уговорились вести поединок из ракетных установок средней мощности с радиусом действия до шестисот километров. Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом в пустынном месте, подальше от Земли, куда и метеориты не заглядывали без нужды. Карту звездного неба Бек Леонович взял для практических действий со стола моего сына, тогда еще морочившего головы родителям мечтой об астрономии.

В пять часов, когда Данилов все еще сидел с деловыми посланиями, зазвонил телефон. Данилов оторопел. Неужели Наташа учуяла беду! Хотя какая это для нее беда... Нет, ее звонок был бы теперь лишним. Звонил пайщик с четвертого этажа Подковыров, солист танцевального ансамбля.

— Володя,— сказал Подковыров,— извините меня, но я так и думал, что вы не спите.

— Чем обязан? — спросил Данилов.

— Еще вчера сочинил! — обрадовался Подковыров.— Всю ночь не спал, ждал, кому прочитать!

Подковыров хоть и был солистом, но лелеял в себе литератора. Он сочинял короткие мысли, афоризмы и строки из ненапечатанного. Их печатали.

— Ну читайте,— сказал Данилов.

— Вот. Для «Рогов и копыт». «Объявление. Любителям автографов. В городе Париже в Соборе Инвалидов в двенадцать часов по ночам из гроба встает император». А? Каково! Смешно?

— А что смешного?

— Как же...

— Он ведь и вправду встает.

— Кто?

— Император.

— Когда?

— В двенадцать часов.

— Где?

— В Соборе Инвалидов. Садится на воздушный корабль...

— Вы шутите?

— Нет. Не шучу. Я сам встречал корабль,— сказал Данилов и повесил трубку.

«Были бы у меня иные обстоятельства,— подумал Данилов,— я этому болвану как-нибудь устроил бы встречу с императором. Вставшим из гроба...» Хотя что было на Подковырова злиться? Счастливые часов не наблюдают...

«Так,— сказал себе Данилов,— что нужно — написал. Неужели все дела сделаны?» Он даже испугался. У него была примета: От-

правляясь в какое-либо опасное путешествие, он хоть одно, хоть и маленькое дело, но как бы не успевал исполнить. Чтобы чувствовать себя обязанным вернуться. «Я же брюки из химчистки не взял!» — обрадовался Данилов.

Брюки брюками, однако он так ни разу не сыграл сочинение Переслегина от начала до конца. А ведь хотел. Данилов взял альт. Открыл ноты Переслегина. И минуты через две забыл обо всем. И звучала в нем музыка. И была в ней воля, и была в ней печаль, и солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях хрусталя, и ветер бил оторванным куском железа по крыше, и кружева вязались на коклюшках, и кашель рвал грудь, и тормоза скрипели, и дождь теплыми каплями скатывался за шиворот, и женское лицо светилось, и была гармония... Сосед Клементьев, духовик из детской оперы, возмущенно забарабанил по стене, разбуженный и злой...

Данилов опустил альт и смычок, притих.

Он устал и был грустен.

Вдруг он вспомнил о времени и понял, что играл сорок минут. Духовику Клементьеву следовало сказать спасибо. Надо было собираться и надо было истребить в себе слабость.

Впрочем, отчего же слабость? Неужто музыка дала ему одну слабость? Нет, посчитал Данилов, она дала ему и силу. Хотя бы потому, что он ощущал теперь необходимость исполнить музыку Переслегина и для себя и для публики. А для этого следовало победить и вернуться. То обстоятельство, что и победив он мог не вернуться, Данилов будто бы не принимал в расчет.

Данилов перевел пластинку на браслете, вызвал домового Бека Леоновича. Бек Леонович явился и был бледен. Из Коканда в Москву когда-то он перебрался поездом, на верблюдах и на ишаках, но теперь-то Данилов, беря грех на себя, вынуждал его лететь жутко куда. Да если бы лететь, подумал Данилов. Если бы сейчас насладиться полетом, как при прогулке в свою пещеру в Андах! Нынче было дело, им предстоял не полет, а перенесение. Зубы у Бека Леоновича стучали.

— Вы глаза закройте,— сказал Данилов,— за мою руку уцепитесь — и мы сейчас же будем там. Если со мной что случится, вас вернет домой мой соперник... Ну все... В путь!

И оказались на месте поединка. «О Земля! О жизнь! О любовь! О музыка! Неужто — все?..» — возникло в Данилове, словно бы он находился еще в дороге. Пальцы Бека Леоновича, вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули его к заботам.

— Успокойтесь, Бек Леонович,— сказал Данилов.— Вот мы и здесь. Будьте как на Третьей Ново-Останкинской... Можете ходить, можете парить, можете плавать... Глаза откройте... Вот и все...

Было черно, безвоздушно, холодно, но отчего-то сыро. Бек Леонович расцепил пальцы, стал ходить, рукой тыкаясь в пространство, как в стену. Потом он открыл глаза.

— Их нет,— сказал.

— Еще пять минут,— успокоил его Данилов.— Карта при вас?

— При мне,— сказал Бек Леонович.

Имелась в виду карта звездного неба, составленная моим сыном, предмет зависти Миши Муравлева. Данилов посмотрел на сплетения желтых, синих и зеленых линий, на кружочки звездных систем, ткнул пальцем:

— Мы вот здесь.— И добавил: — Может быть. И мел захватили? — спросил он Бека Леоновича.

— Захватил... А вот и фонарик...

В шесть Кармадон с секундантом не явился. Что-то было не так. Данилов чувствовал, что Кармадон где-то рядом, но где? «А вдруг он перенесся невидимым?» — подумал Данилов. Поединки вот уж как семьдесят лет были запрещены, дуэлянтов строго наказывали, может быть, Кармадон в целях безопасности и затуманился? Однако в шесть часов он обязан был явиться к барьеру во плоти. Да и место они подыскали отдаленное, на самой окраине бесконечного мира. Данилов приложил ладонь ко лбу, стараясь разглядеть — нет ли где поблизости Кармадона с секундантом. Потом взял телескоп. Никого. Осветил фонариком карту звездного неба. Вон что! Зеленая линия в их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала вовсе. «Ох уж эти мне московские троечники! — в сердцах подумал Данилов.— А я-то что же, растрепай, смотрел раньше!» Конечно, и Кармадона с секундантом по этой карте могло занести в желтую точку. А то и в синюю! Наконец Данилов обнаружил телескопом две мрачных фигуры в плащах. Стояли они далеко отсюда!

Данилов с секундантом перенесся к ним. Бек Леонович робко шагнул к секунданту Кармадона с объяснениями, при этом показывал карту. Фонарь был не нужен. На небе тюльпаном висела угасающая звезда, розовый свет ее был томен и зловещ. Извинения Кармадон принял, только нервно махнул рукой: «Быстрее!» Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел, какой требовалось, световой и звуковой одновременно, при этом он был обозначен и палашами — на палашах Синезуд укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муравлевой, а между палашами Бек Леонович провел мелом роковую черту. Синезуд был важен, высокомерен, значки разных миров, в том числе и ворошиловского стрелка, вынес на плащ, и теперь они отражали зловещий и томный свет умирающей звезды. Бек Леонович мелом водил старательно и, казалось, забыл, кто он и где. Они с Синезудом двинулись осматривать ракетные установки, при этом Бек Леонович вел себя достойно, не дрожал и даже заметил огрех в системе наведения установки Кармадона. Затем Синезуд и Бек Леонович проверили укрытие, из которого им предстояло следить за поединком. И тут останкинский житель держался молодцом.

Наконец все было проверено и устроено. Секунданты встали между палашами на меловой черте спинами друг к другу. «Марш!» — скомандовал Синезуд. Тут же он и Бек Леонович сделали каждый по одиннадцати шагов, и в местах, где остано-

вились, воткнули в пространство еще по палашу. При этом Синезуду показалось, что шаги Бека Леоновича были шире его шагов и, стало быть, интересы Кармадона ущемлены. Он сам сделал одиннадцать шагов от черты и до палаша Данилова. Вышло, что пространство отмерено честно.

— Сходитесь! — сурово скомандовал Синезуд.

Данилов и Кармадон — каждый от своего палаша — двинулись друг другу навстречу.

У меловой черты они встали. Барьер отделял их. Данилов и Кармадон стояли молча, взглядом пытаясь испепелить противника. Кармадон был грозен и нетерпелив, ни мира, ни пощады ждать от него не следовало. Данилов и не ждал ни мира, ни пощады. Он чувствовал: все в нем могло сейчас вспыхнуть, как березовая кора под огненным шилом увеличительного стекла, до того свирепым был взгляд Кармадона! Но выдержал Данилов, выдержал, еще и сам чуть было не вызвал свечение голубых углей, однако отчего-то не отдал взгляду последней силы. Будто скучно ему было закончить поединок теперь же. Или самую малость, но пожалел он Кармадона...

— Расходитесь! — услышал Данилов.

Бек Леонович дрожал, на розовой угасающей звезде вспыхнули желтые волдыри — то Кармадон скользнул по звезде взглядом. Горло у Данилова пересохло, в кончиках пальцев кололо, надо было успокоиться и свежим бойцом выйти на огневой рубеж.

Синезуд взмахнул рукой, и они с Беком Леоновичем отправились в укрытие. Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам, еще раз оглядели системы и щиты, включили экраны систем слежения и сообщили о готовности.

— Начинайте, пожалуй! — прозвучала из укрытия команда Синезуда.

Первым стрелять должен был Кармадон. Шестьсот километров отделяло его теперь от Данилова. «Будь что будет!» — отчаянно сказал Данилов, кураж напуская на себя. Пальцы его так и вцепились в пластмассовые рукоятки пульта. Ни точки, ни черточки не возникло на экране. Данилов поднял голову. «Да что же он медлит-то...» И тут Данилов увидел, что прямо перед ним стоит огромный Кармадон. Данилову стало страшно. И зябко. Нет, Кармадон стоял не перед ним, понял Данилов, он был на своем огневом рубеже, но он вырос, он увеличил себя, он стал верст в сто ростом, глаза прикрыл мертвыми веками, холодным великаном готов был раздавить любую мелкую тварь: «Да что он пугает меня! — подумал Данилов.— Что он ужасы-то рисует! Будто я младенец или трус какой...» Данилов возмутился, и чувство возмущения чуть успокоило его, разбудило в нем обиду, а то после напряжений на меловой черте Данилов расслабился и чуть ли не стал благодушным. Белое пятно возникло на экране системы слежения, ракета пошла в сторону Данилова. Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит с сетью, челюсти сжал, все теперь зависело от усилий его воли, окажись она слабая, никакой щит

не помог бы ему, а разлетелся бы на куски, и в ничто, в пустоту превратилась бы сущность Данилова. Но нет, воля еще была в нем, и не слабей Кармадоновой, она-то и бросила щит навстречу ракете, уперлась на лету в нее или в Кармадонову волю, а потом, когда Кармадон устал и отчаялся, сетью захватила ракету и унесла ее в сторону угасающей звезды. Вдали что-то зашипело, и новый волдырь вздулся на розовом теле звезды.

«Ну и как Кармадон? — подумал Данилов.— Все еще великан или опять сравнялся со мной?» Нет, Кармадон не уменьшился, стоял, голову гордо подняв, глаза открыл и теперь с некоей усмешкой смотрел на Данилова. «Ну-ну! — рассердился Данилов.— Гусарит! Пусть и пеняет на себя!» Однако Данилов чувствовал, что острого желания убивать Кармадона у него нет. Важно было то, что он, Данилов, не спустил Кармадону пошлости, уберег от него Наташу, а вот гибели ему он уже не желал. Он знал, что, если он сейчас промахнется, поединок продолжится, до первой крови, и очень может случиться, что кровь эта будет его кровью. Однако злость теперь словно бы вышла из Данилова.

Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, отвел глаза от Кармадона, включил систему наведения, проверил, не изъят ли из ракеты заряд, и нажал на кнопку. Огненные вихри обдали Данилова. Данилов тут же почувствовал, как трудно лететь ракете, как упирается и упорствует Кармадон, Данилов собственной волей толкал, толкал ракету вперед. Шла ракета трудно, как бур в гранитных породах, и были мгновения, когда ракета застревала в сопротивлении Кармадона. Однако остались в Данилове еще силы, остались в нем еще соки, и он гнал, гнал ракету, толкал, оберегая заряд, и вдруг почувствовал, что Кармадон ослаб, что он, Данилов, победил, одолел Кармадона, что Кармадон теперь висит над бездной, вцепившись рукой в корень или камень, и пальцы его вот-вот разожмутся. Следовало еще одним напряжением воли вмять, вдавить ракету в сущность Кармадона, кончить все разом. И тут Данилову стало жалко Кармадона, он выпрямился, челюсти разжал и позволил Кармадону дрожащим щитом отвести ракету в сторону.

И опять на розовой звезде вздулся желтый волдырь.

Взмокший, расслабленный, утих Данилов. Дышал тяжело. Чувствовал: Кармадон понял, что он, Данилов, пощадил его. Ему казалось, что теперь поединок мог быть и прекращен. Он свои отношения с Кармадоном выяснил, и довольно. Кармадону же следовало вспомнить о порядочности. Или хотя бы проявить благоразумие. Естественно, ни обнимать Кармадона, ни жать ему руку Данилов не стал бы, но они могли разойтись честно и навсегда.

Зашуршало в аппарате связи с секундантами. И у них в укрытии, видно, возникли мысли о примирении.

Раздался хохот. Страшный хохот, словно орудийный. Была бы розовая звезда планетой и имела бы жизнь, стекла бы сейчас вылетели там из окон, вода бы вскипела в реках и воздушные

корабли потеряли бы управление. Данилов увидел: Кармадон вырос еще, вовсе стал гигантом. Волосы его посинели, весь он покрылся оранжевыми пятнами, как струпьями, когти отросли на руках у Кармадона и десятью мечами висели в черно-розовом пространстве, клыки кривые, сверкающие торчали теперь у Кармадона из пасти, и пена падала с них, да и весь Кармадон находился в какой-то зеленоватой сфере из слизи, и в слизи этой копошились, дергались, переплетались, грозили Данилову уродливые щупальца, отростки, серебристые тела, рога, присоски, молибденовые шпаги и антенны, мятые рыльца, рыбы плавали или неизвестно что, они повизгивали, позванивали, взвивались в истерике, поддерживая жуткий хохот Кармадона. Но страшнее всего был теперь взгляд Кармадона. Надменный, огненный, мертвящий. Данилов растерялся. Значит, Кармадон движение его души посчитал слабостью, пощаду воспринял как оскорбление и был уверен, что теперь его снаряд получит убойную силу. «За кого же он меня принимает? — думал Данилов.— Что он вырядился монстром или вурдалаком?» Но Кармадон действовал не так уж и наивно, имел некое представление о земных суеверных и поэтических чувствах,— смотреть на него было теперь Данилову неприятно. Жутко было смотреть. И Кармадон нажал на кнопку пуска.

Еле-еле Данилов отвел от себя ракету Кармадона. Жизнь его на этот раз висела на волоске... Об этом Данилов подумал мгновениями позже и похолодел.

Данилов расстегнул пуговицу воротника. Хотелось пить... И не было никакого желания продолжать поединок. Но что оставалось? Данилов чувствовал, что и Кармадон сейчас еле дышит, клыки и когти его исчезли, в зеленоватой сфере прекратилось копошение, лишь что-то, остывая, еще дергалось там, скрипело и кляцало. А потом Кармадон вдруг стал металлический, строгих линий, будто броневик или робот.

На подготовку к выстрелу Данилов имел десять земных минут. Они истекли. Данилов надавил пальцем на кнопку.

Он думал, что, наверное, не сможет поразить Кармадона и нужно чуть-чуть расслабиться, чтобы, когда придет очередь соперника, уберечься от его ракеты. А потом, может быть, силы и восстановятся... Данилов чуть ли не развалился на зеленом жестком сиденье, ракета его шла тихо, но ровно. И вдруг Данилов скосил глаза на экран системы слежения. Белое пятно дрожало и увеличивалось на нем! Значит, вот как! Прежде чем Данилов нажал на кнопку, Кармадон послал в него ракету, не имея на это права, и ракета его была с куда более страшным зарядом, с куда более совершенной системой ускорения, нежели полагалось по условиям поединка! Это же подлость!» — в мыслях вскричал Данилов. И опять жутко, победителем захохотал Кармадон. Данилов понял, что сейчас все кончится.

Но и он доведет ракету до цели, не простит подлости, последние усилия воли, последние усилия своей сущности вложит, вме-

стит в движение ракеты и ее удар! И тут что-то оглушило Данилова, стало взрываться в нем, потекли цветные видения, и чьи-то лица были, и женские, сначала будто бы Наташино, а потом — Анастасии, музыка мучила Данилова болью, или это была просто боль, но тут все потеряло цвет и звук и исчезло...

22

— Данилов, извините, пожалуйста, это опять я вам звоню, Подковыров.

— Я слушаю,— вздохнул Данилов.

— А если мы изменим текст?

— Какой текст?

— Насчет императора.

— И что?

— Ну, а если он не в двенадцать будет вставать из гроба, а в час ночи? Так смешнее?

— Смешнее,— сказал Данилов и повесил трубку.

Он тут же ее поднял, чтобы Подковыров не смог пробиться к нему снова.

Данилов чувствовал себя скверно. Еле был жив. Болела голова, ныло тело, пальцы дрожали. И вдобавок ко всему была в Данилове, на правом его плече, черная дыра. Дыра потихоньку уменьшалась, шелковые нитки, оставленные ловкой иглой, стягивали ее. Поначалу черная дыра была размером с будильник, теперь же ее можно было закрыть и двугривенной монетой. Дыра не болела, а только тяготила Данилова. Она была в нем, но и как бы сама по себе. Сверху дыру заклеили прозрачным пластырем. Данилов на кухне, задумав рассмотреть дыру, осторожно оттянул пластырь. Тут все пришло в движение, все потянулось в дыру. Данилов быстро приклеил пластырь, однако одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу, рассыпалась в воздухе и крошками, со свистом исчезла в черной дыре. Тут же последовали и вилки, не убранные со стола. Прочие вещи удалось сохранить. «Ну ладно,— успокоил себя Данилов,— она сама превратится в точку, а потом и вовсе затянется... Известное дело — гравитационный коллапс...» Все же ему было не по себе оттого, что на его плече начинался тоннель во вселенную, неизвестно какую, на нашу не похожую. Но каков Кармадон, коли так постарался!

Данилову стало известно и то, что исчезли совсем Синезуд и Бек Леонович. Данилов решил, что Кармадон, прежде чем совершить подлость, убрал свидетелей — секундантов. Он был уверен, что и Данилов исчезнет, вот их и убрал. Погиб домовой Бек Леонович, и выходило, что Данилов погубил его. Напрасно станут теперь ждать Бека Леоновича замурованные им жены. И восточных подруг Данилов жалел, но в них ли было дело! Эх, Кармадон, Кармадон!..

Однако как ни слаб был теперь Данилов, что бы ни ожидало его в ближайшие мгновения, он понимал, что ему следует приниматься за житейские дела. Данилов сдвинул пластинку на браслете, вернул себя в человеческое состояние. Он жив! Случай спас его, случай вернул его в существование, что ж, надо было благодарить случай — или Анастасию — и жить дальше.

Данилов решил пересмотреть бумаги, написанные им утром. Думал порвать их или предать огню, но посчитал: а зачем? Еще пригодятся... Все его распоряжения были уместны, ни от чего он не желал отказываться, даже от отписок в пользу Клавдии. Лишь письма о симфонии Переслегина Данилов положил задержать. Он мог и по телефону позвонить адресатам. Зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время.

«Ах, как нелепо, как нелепо! Как я виноват!» — вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Беке Леоновиче. Он казнил себя за то, что был легкомыслен и не обеспечил безопасность Бека Леоновича. А ведь обещал ему, что все обойдется хорошо, беды не случится. Как ни бранил теперь Данилов Кармадона, он знал, что никогда не простит самому себе гибели Бека Леоновича. Он знал, что и в собрании домовых на Аргуновскую совесть ему теперь не позволит являться. «Лучше бы уж меня,— думал Данилов.— А его бы и пальцем не тронули...» Однако он-то существовал, и черная дыра затягивалась на его плече.

По вечным условиям поединков, нынче пусть и запрещенных, победитель мог не только ранить побежденного, но и совсем погубить его. Бессмертную по положению натуру. Ни болезни, ни стихия, ни люди, ни женщины погубить не могли, а вот именно свои на поединке могли, так уж повелось. И Данилова разрушил предательский снаряд Кармадона, он уж почти забылся и потерял свою сущность. Однако демоническая женщина Анастасия спасла его. Как она проведала о поединке и где притаилась во время стрельбы, Данилов не знал, да и не старался узнать. Узнал он лишь, что с ним произошло в последние мгновения поединка.

Ракета Кармадона совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова и его оболочку, но караулившая поблизости Анастасия бросилась Данилову на помощь, голыми руками, не боясь ожогов, гибельную для Данилова массу вещества сгребла в кучу, остатки ее до микрочастиц выгнала из Данилова, превратила всю эту массу в полную свою противоположность и сделала черной дырой. Вещества было так много, что оно могло бы обернуться и звездой первой величины. Потому черная дыра вышла в Данилове большая. Анастасия сразу же стала стягивать ее края шелковыми нитками, тут Данилов очнулся, и Анастасия тотчас отлетела. Видно, все еще была сердита на него гордая и прекрасная Анастасия!

Неизвестно, с каким намерением она явилась к месту поединка. Разве теперь это было важно! Не имела она права оказывать помощь Данилову, а Данилов не имел права эту помощь прини-

мать. Однако Кармадон первым нарушил правила чести, и стерпеть его подлость Анастасия не смогла. Отлетая от Данилова, она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем, а прежде — смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем. Теперь черная дыра уменьшалась быстрее, чем следовало бы, истекала веществом куда-то вдаль, в пустые углы чужой вселенной.

«Раз Анастасия,— подумал Данилов,— сумела пробраться к месту поединка, значит, были у нас и другие зрители...»

Следовало ждать дурных последствий. Ох, как Данилов не хотел вызывать Кармадона на поединок...

Теперь Данилов рассчитывал лишь вот на что. Влиятельным родственникам и друзьям Кармадона дело о поединке выгоднее было замять. Как случай ни крути, а Кармадон и его друзья тоже все равно были при конфузе. Последней своей ракетой Данилов свернул Кармадону челюсть, что-то повредил в шее, пока Кармадону не помогли ни ученые механики, ни лекари, они опасались, как бы он и вовсе не остался скособоченным. Это — ас-то! По всем правилам Кармадон поединок проиграл, и даже тайные разговоры о дуэли могли ему только навредить.

«Ну посмотрим, что-то будет,— подумал Данилов и опять вздохнул: — Ох, Бек Леонович, Бек Леонович...»

Данилов включил утюг и положил на гладильную доску бабочку для вечернего спектакля.

«Что мне с Переслегиным устроить? — думал Данилов.— Как исполнить его симфонию? Где и с кем? Надо сегодня же отыскать Переслегина. К нему, что ли, съездить?»

Левая рука Данилова опять словно нечаянно потянулась к черной дыре. «Брось! — сказал себе Данилов.— Хватит!» Пластырь был крепок.

Позвонила Клавдия Петровна.

— Данилов, ну и как?

— А что? — спросил Данилов.

— Неужели тебе нечего мне сказать?

— А что я должен сказать?

— После того, что произошло?..

— А что произошло?

— Ну хорошо,— сказала Клавдия, помолчав,— а неужели тебе не о чем меня спросить?

— А о чем я должен тебя спросить?

— Ладно, я сейчас приеду к тебе,— и Клавдия повесила трубку.

«Экая баба! — рассердился Данилов.— Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время...»

Тут же телефон опять зазвонил. «Сейчас я ей выскажу!» — пообещал Данилов. Однако он услышал голос Наташи.

— Володя, вы извините,— сказала Наташа,— мне показалось, что у вас неприятности, что вчера между вами и вашим гостем что-то произошло... вот я отважилась вам позвонить...

— Это все мелочи,— сказал Данилов мрачно.

Он растерялся, оттого и сказал мрачно.

— Я напрасно вам позвонила?

— Нет, отчего же...— пробормотал Данилов.— Вы где?

— Знаете, Володя, я ведь брожу в вашем районе... С утра взяла и поехала в Останкино...

— А сейчас-то вы где?

Наташа назвала место. Оказалось, это в двух минутах ходьбы от Данилова.

— Я выхожу,— сказал Данилов.

Уже в лифте он вспомнил о Клавдии. «А-а-а, пусть прокатится!» — решил Данилов.

Наташу он нашел на улице Цандера, возле аптеки.

— Здравствуйте, Наташа,— сказал Данилов.

— Здравствуйте, Володя.

— Вас интересует мой приятель? — спросил Данилов.

— Нет,— сказала Наташа.— А что это мы на «вы» перешли? Так надо?

— Нет. Это вышло само собой. Но не я начал...

— А если мне опять начать на «ты»?

— Я согласен.

— А я, Володя, испугалась за тебя... Что-то случилось вчера, да?

— Было... Мелкое недоразумение... Все уж и забыто.

— Ты не обиделся на меня?

— За что?

— Я не знаю... Я просто заснуть не могла, и все... Чего-то боялась... Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти... Я не знаю... Я даже приехала сюда утром и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда... Дурь какая-то! Нервная я, что ли, стала... От такой, наверное, надо держаться подальше...

— Ну что ты! — растроганно сказал Данилов.— Ты не выспалась?

— По мне видно? — расстроилась Наташа.— Я страшная?

— Нет, нет, что ты! — сказал Данилов.— Видно, ночью давление менялось, вот и не шел к тебе сон.

Наташа как-то странно поглядела на Данилова, будто в словах его было нечто обидное для нее, сказала тихо:

— Нет... Что мне давление...

«Ну да, что ей давление,— подумал Данилов.— Ведь она из-за меня приходила и к театру, и в Сокольники, и к дому моему! А я размышляю о чем-то! Но как быть? Анастасия, Наташа, эта дура Клавдия, все перемешалось, и как тут разобраться? Что — истинное, необходимое, а что — призрак, мираж, суета... То есть разобраться легко... Но что выбрать? Да так, чтобы никому не принести беды... В чем я волен?.. Экая печаль! Час назад все мне было ясно».

— Володя, я люблю тебя,— сказала Наташа.

— И я тебя, Наташа, люблю,— сказал Данилов.

И все. Шли вокруг люди, их было пока мало, но они шли. Что еще надо было сказать? Ничего и не надо...

Остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Войнова. Клавдия Петровна распахнула дверцу.

— Что же, Данилов! — сказала Клавдия с обидой.— Я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам!

— Здравствуй, Клавдия,— сказал Данилов.

— Здравствуй,— кивнула Клавдия.— У тебя нет совести, а если бы я ехала не по Цандера?

— Я тебя вовсе и не ждал.

— То есть как?

— А так. Ты не поинтересовалась, есть ли у меня время для встречи с тобой. А у меня времени нет.

— Ты что, Данилов! — удивилась Клавдия. Потом она словно бы заметила Наташу: — А это кто?

— Это — Наташа,— сказал Данилов.— Наташа, а это вот моя бывшая жена, Клавдия Петровна, я тебе о ней рассказывал...

Должна бы Клавдия была понять, что они с Наташей — близкие, брат с сестрой, муж с женой, а она тут чужая...

— И все же,— сказала Клавдия, взглядом пытаясь удалить Наташу из здешних мест,— ты мне нужен.

— Возможно, я тебе и нужен,— сказал Данилов,— но ты мне никак не нужна.

— Данилов,— робко произнесла Клавдия,— ты всегда с уважением относился к женщинам...

Данилов ощутил, что в отношении к нему Клавдии вместе с прежними чувствами превосходства и несомненной власти появилось и нечто новое — тревога какая-то, или догадка безумная, или подозрение, или даже страх... Данилов даже пожалел Клавдию.

— У меня есть тайна,— тихо сказала Клавдия.

— Хорошо,— кивнул Данилов.— Но в другой раз.

Обида опять придала Клавдии сил.

— Наташа,— спросила Клавдия,— а вы у Данилова — новая симпатия?

Наташа посмотрела на Данилова.

— Наташа — моя вечная симпатия,— серьезно сказал Данилов.

— Вы с ним будьте осмотрительней. Он человек распущенный.

Тут и Данилов не нашел слов.

— А я вас где-то видела. Вы не портниха?

— Я не портниха,— сказала Наташа.— Но я шью.

— А Гавриловой не вы шили по моделям Гагариной?

— Шила.

— Вот у Гавриловой я вас и видела! И шапочки вы шьете?

— И шапочки.

Тут Клавдия Петровна выскочила из машины, захлопнула дверцу, о Данилове она забыла сразу же.

— Мне непременно и быстро надо сшить шапочку из черного бархата, знаете, чалму, чтобы на ней хорошо смотрелись и бриллианты и жемчуга. Мы с мужем, возможно, поедем на три года в Англию. А туда без чалмы лучше и не езди совсем. На прием к королеве можно явиться только в вечернем наряде. Моя приятельница жила в Англии, получили однажды приглашение на прием к королеве, а ее без шапочки не пустили. Теперь она вернулась в Москву, места себе не находит, подругам стыдится показаться, жизнь испорчена, я ее понимаю. А уж если эту дуру к королеве звали, то нас-то с Войновым позовут, и не раз. Вы возьметесь? У меня фасон есть. Я заплачу как следует.

— Сошью,— сказала Наташа,— деньги ваши будут мне сейчас не лишние...

Женщины тут же стали договариваться о времени встречи, записывать адреса и телефоны, а Данилов чуть было не вскипел, до того он был на улице посторонний.

Наташа почувствовала его досаду, обернулась тут же и глазами успокоила Данилова.

— Одно дело сделано, и ладно,— сказала Клавдия, открывая дверцу,— с тебя, Данилов, хоть шерсти клок.

Однако в машину она все еще не садилась, теперь, когда головной убор был обговорен, Клавдия Петровна смотрела на Наташу без приязни и без заискивания, а холодно, даже с презрением, как дама на швею. Что-то и Данилову она, видно, захотела заявить, чтобы показать и швее и самому Данилову, что имеет на него особенные права. Но и робела...

— Ладно,— сказала Клавдия.— Я тебя разыщу.

И укатила.

Во все время суеты с Клавдией Данилов с Наташей вели разговор между собой, в их разговоре не было слов, а было то, что они назвали четверть часа назад. Этот разговор шел как бы поверх разговора с Клавдией, оттого в нем была игра, волновавшая Данилова и Наташу. Что им была теперь Клавдия и ее тайны, что им была улица Цандера с восемьдесят пятым автобусом и аптекой! Однако, когда речь зашла о чалме, Данилову показалось, что их с Наташей разговор прервался и он, Данилов, остался один. «Впрочем, нашел к кому ревновать!» — подумал Данилов. Женщины — они и есть женщины... Он досадовал и на себя. Экие пошлые слова явились ему: «Наташа — моя вечная симпатия...» Но теперь, когда Клавдия уехала, они с Наташей вернулись к своим главным словам, и Данилов почувствовал, что на сегодня их хватит, дальнейшее может только испортить все.

— Мне на работу,— сказала Наташа.

— А мне скоро в театр.

— Данилов, хочешь, я тебе брюки сошью? Вот мерку сниму и сошью. Или джинсовый костюм? Или куртку?

— Ты с Клавдией сразу нашла понимание,— не утерпел Данилов.

— Любопытный фасон,— сказала Наташа.— Мне захотелось сшить эту чалму... Ах, какие брюки я вижу для тебя!

— Разве ты — брючный мастер?

— Я все могу! Я тебя одену...

Тут Наташа отчего-то засмущалась, словно поняла, что обновками своими сделает Данилова чем-то обязанным ей, а ему, мужчине, может, и мысль об этом сейчас неприятна... Подошел автобус.

— Счастливо, Наташа! Я позвоню тебе после спектакля!

— Ты приходи...

23

Дома Данилов расстегнул пуговицы рубашки. Оголил плечо. Черной дыры не было. Данилов отклеил прозрачный пластырь и ножницами потихоньку высвободил шелковые нитки. Кожа стянулась, ничто не напоминало о гравитационном коллапсе. А ведь где-то, подумал Данилов, в соседней вселенной открылась нынче белая дыра. Все вещество, словленное Кармадоном для гибельного снаряда, утекло туда. Да и табуретка Данилова и вилки с кухонного стола явились, видно, в ту вселенную подарком. Данилов вздохнул. Удивительно, что не ушли в черную дыру его кости и внутренности. Слаба, что ль, дыра была или что другое удержало их? Тут Данилов с некоей надеждой подумал, что, может быть, он напрасно грешил на Кармадона, что вдруг и Бек Леонович с Синезудом были затянуты в черную дыру и сейчас пришельцами вынырнули из белой дыры в неизвестной Данилову вселенной? Хорошо бы так, уж потом Данилов нашел бы способ вызволить их и вернуть в отчие места.

Какой способ?! Когда — потом?!

Что он Наташе морочит голову, если сам живет под дамокловым мечом и время его последними крупинками истекает в песочных часах! В особенности теперь, после запретного поединка!

В дверь позвонили. На пороге стоял Переслегин.

— Здравствуйте,— сказал Переслегин.— Извините, что надолго исчез. Был в командировке, в Горьком.

Тут бы им сразу сказать друг другу о главном, а они замолчали. Данилов даже засуетился, будто давая Переслегину понять, что времени у него мало.

— Я к вам ненадолго,— сказал Переслегин.

— Да нет, что вы...— смутился Данилов.

— Вы посмотрели? — спросил Переслегин.

— Да,— кивнул Данилов.

— И как?..

— Мне понравилось... Я ведь вам так и написал...

— Да-да,— согласился Переслегин.— Я очень благодарен...

Он замолчал, смотрел на Данилова, ждал, видно, еще каких-то добрых слов о своем сочинении, а у Данилова все ощущения от музыки Переслегина будто пропали.

— Я бы исполнил вашу симфонию,— сказал Данилов.

— Вот и исполните! — обрадовался Переслегин.

— Кто же меня выпустит на сцену? Где? И с каким оркестром?

— Это все можно устроить! — махнул рукой Переслегин.— Главное, что вам понравилась партитура!

Данилов посмотрел на Переслегина с удивлением. Экий прыткий! Совсем иное мнение он составил о натуре композитора в прошлый раз.

— А отчего вы дали главную партию в симфонии альту?

— Я и сам не знаю отчего,— сказал Переслегин.— Ведь когда начинаешь творить... Простите за пышное слово... Когда начинаешь сочинять музыку, разве делаешь это холодным умом! Уж потом, после, можешь объяснять себе, как возник этот звук, эта мелодия и как эта... Со мной так, с другими, возможно, иначе... Значит, к альту лежала моя душа... В скрипке, уверен, женское начало... Озорная девчонка, печальная женщина, трагическая старуха — это все для меня скрипка... А в альте больше твердости, больше драмы, альт — мужчина... Я не знаю... Я стал писать музыку — и во мне зазвучал альт... Вот и все...

— Но альт-то, согласитесь, нынче не солист, он инструмент вспомогательный, он у скрипки, у голоса человеческого,— в слугах!

— Нет, нет и нет! Инструментов-слуг быть не должно! И не может быть! В музыке все великое и все может прозвучать! Надо только дать звук! Надо уметь найти этот звук! А что до альта, то для него и Берлиоз писал симфонию.

— Берлиоз писал «Гарольда» для альта Паганини! — воскликнул Данилов.

— Ну и что же?

— Как и что же! А теперь-то кто сыграет?

— Вы и сыграете,— сказал Переслегин.

— Я... Но что выйдет? Почему вы пришли ко мне?

— Я слышал, как вы играли в НИИ машинные сочинения. Поэтому я к вам и пришел. Я знаю многих альтистов, а пришел к вам...

«Каким рохлей и несчастным человеком показался он мне в прошлый раз,— подумал Данилов,— а в нем есть сила, он упрямый и знает, чего хочет... А если знает, чего хочет, и тем не менее верит в себя, значит, он и смелый...»

— Вам понравилось, как я играл? — спросил Данилов.

— Да,— сказал Переслегин.— И я счастлив, если вы поняли мою музыку. Я хотел бы показать вам другие свои сочинения... Там вещи для небольших составов... Квартеты, есть секстеты... С темами для импровизаций... Все великие музыканты прошлого были импровизаторами. Ведь так? А нынче выходит, что музы-

канты могут свободно выражать себя лишь в джазе... Я написал вещи и для вашего альта...

— Моего альта нет,— сказал Данилов.

— То есть как?

— Того альта, что вы слышали в НИИ, нет, его украли.

— Это грустно,— сказал Переслегин, печально взглянул на Данилова, и Данилов ощутил, что Переслегин понимает, какими были его муки.— Это грустно,— повторил Переслегин.— Но это ничего не меняет. Вы музыкант вовсе не потому, что имели Альбани.

Данилову оттого, что он своими словами о пропавшем альте чуть было не разжалобил самого себя, стало неловко, он поднялся и подошел к окну. Переслегин расценил движение Данилова как напоминание о ходе времени. Он тоже встал. А Данилову и вправду следовало отправляться в театр.

— Принесите мне свои новые произведения,— сказал Данилов.— Я пока не столь уверен в себе, чтобы мечтать о сольных выступлениях. И не так молод, чтобы получить их. Но ваши вещи я погляжу с удовольствием.

— Вы говорите, где и с каким оркестром? — сказал Переслегин.— Есть один молодежный оркестр. Есть у меня и один дирижер. Я сведу вас с ним, если вы согласитесь...

Переслегин ушел, а Данилов, проводив его к лифту, почувствовал досаду. Он ждал разговора с Переслегиным, готовился к нему, бог весть что возлагал на этот разговор, а все вышло так, будто они с Переслегиным дело обсудили. Вроде покупки мебели или, на крайний случай, устройства левого концерта на клубных задворках. Он, Данилов, намерен был сказать Переслегину горячие и добрые слова, до того Переслегин их стоил, а сказал дурно и небрежно, будто подобные симфонии ему, Данилову, каждый день приносили с почтой. И его душа жаждала теперь высокой беседы о музыке, не о бойкой, шумной и пустяшной даме, а об истинной музыке, о какой древние говорили, что она — второй разум человеческого естества, что она любовь и наука, познающая согласованность во всем, что она — ненависть ко злу, но ненависть, являющаяся благом для людей. Вот так бы сели они с Переслегиным друг против друга и согласились бы, что в мире все — музыка и гармония или поиски гармонии и что им вдвоем в этих поисках следует быть смелыми, идти, рискуя и без оглядки... Нужен, нужен был такой разговор Данилову, нужно было ощущение поддержки собрата по искусству, умиление тем, что он, Данилов, не один, что его понимают. К малодушным Данилов отнести себя не мог, но не был он уверен в себе, не был, а ждал от себя в музыке многого! Наверное, Переслегин ушел от него расстроенный, не утоливший жажды. Вот всю жизнь так! И не поговоришь как следует с необходимым тебе человеком, не откроешь ему душу, его душу не обрадуешь, не обогреешь, а в суете коснешься лишь случайным словом и унесешься дальше по пустяшным делам!

Все эти мысли посетили Данилова в мгновения, когда он спешно одевался на работу. Они были прерваны приходом водопроводчика Коли. Коля раскланялся в дверях и цепким взглядом, вытянув шею, попытался с порога обнаружить нечто в квартире Данилова.

— Коля, я бегу,— сказал Данилов.

— Случайно, Володя, инструменты мои у тебя не лежат?

— Нет,— сказал Данилов,— вы, Коля, их и не приносили.

— А я был у тебя вчера? — робко спросил Коля.

— Были. Но недолго.

— А где же я еще-то был?

— Не знаю.

— А не на вокзале?

— Да, были с нами и на вокзале. На Павелецком.

— А не на Курском?

— Не помню,— сказал Данилов.— Возможно, что и на Курском. Вы у Земского спросите, вы с ним вместе держались... Но инструменты вы, точно, с собой не носили...

— А я ел чего-нибудь? Отчего у меня дым изо рта идет?

— Табачный?

— Нет, паровозный!

Коля дыхнул, и из его рта действительно повалил тяжелый антрацитовый дым.

— Не знаю,— сказал Данилов.— Теперь и паровозов-то нет... Вы, Коля, бесалол примите, у вас все и пройдет...

— Я уж это принимал, а то бесалол!

Глаза у Коли стали вдруг хитрые.

— Знаешь что, Володя,— сказал Коля,— дай мне два раза по четыре рубля, и я буду молчать.

— Денег, Коля, у меня нет. А о чем молчать-то?

— О приятеле твоем. Андрее Ивановиче из Иркутска.

— Да говори о нем сколько хочешь!

— Ну смотри,— сказал Коля со значением.— А он мне шапку из белок обещал прислать. Он пришлет?

— Раз обещал — жди. А я побегу!

С этими словами Данилов вытолкал Колю в коридор, запер дверь и направился к лифту. Тут Коля закашлялся — и лестничную клетку заволокло дымом.

Проезжая Сретенку в троллейбусе, Данилов заметил, что по тротуару со скоростью машины, но и не спеша, за ним идет румяный Ростовцев. Круглыми глазами из-под очков Ростовцев поглядывал на Данилова, будто исследователь-натуралист. На голове его был черный котелок, каких уж лет восемьдесят не видели на Сретенке, в руке Ростовцев держал дорогую трость с желтой костяной ручкой, увенчанной фигуркой двугорбого верблюда-бактриана, а на левом боку его, там, где военные люди должны были бы иметь кобуру с пистолетом Макарова, прямо поверх пальто висел на ремне метровый турецкий кальян. Ростовцев шел,

шел, а увидев, что Данилов заметил его, приподнял котелок и поклонился Данилову.

Однако выражение лица у него при этом было самое злодейское.

24

Не успел Данилов в театре сдать пальто и шапку на вешалку, как его осторожно взял под руку скрипач Николай Борисович Земский. Данилов все еще думал о Ростовцеве — что он следил за ним? А Земский непривычно для себя тихо поманил Данилова в буфет. Данилов взял бутылку «Байкала», Земский — три жигулевского.

— Ну, как люмбаго, Николай Борисович? — спросил Данилов.— Вижу, выписали вас.

— Люмбаго вчера — как рукой! Видно, после парилки. А вот... Смута какая-то в организме...

— Что так?

— Сам не знаю...

Тут Николай Борисович в некоем беспокойстве посмотрел на Данилова. И надежда была в его взгляде, и была просьба, словно он облегчение душе желал теперь получить у Данилова.

— Я не безобразничал вчера? — спросил Земский.

— На моих глазах нет,— сказал Данилов.

— А ничего вчера не случилось?

— Много пили, вот и все...

— А разве не закусывали?

— Закусывали,— сказал Данилов,— но мало.

— Странно все,— покачал головой Земский,— странно... Какие-то сны дурные... Какие-то видения... Словно я был в путешествиях...

Земский замолчал и поглядел на Данилова испуганно.

— И вот квитанция... Штраф... Будто я без билета в Минск ехал...

Данилов развел руками.

— А у тебя ничто не пропало? — спросил вдруг Земский.

— Откуда?

— Из кухни?

— Не обратил внимания...

— Это не твой?

Земский из-под фрака, будто из недр своей басовой груди, извлек длинный предмет, запеленатый в полотенце. Положил предмет на колени, так, чтобы в буфете его никто не видел, и распеленал его. Обнаружился нож, пригодный для разделки окорока. Данилов повертел нож и на деревянной ручке его разглядел маленькие чернильные слова: «Буфет станции Моршанск-II. Тоня Солонцова. Кто сопрет — зарежется!» Данилову стало жалко Земского, он сказал:

— Да, это мой нож. Мне его Муравлев как-то привез.

— Никогда клептоманом не был,— сказал Земский,— а прямо перед пенсией — нате вам!

— Хотите, я подарю вам его? — сказал Данилов.

— Нет, нет, что ты! — со страхом отодвинулся от ножа Земский.

Пиво он допил вяло, был в напряжении, все ждал, как бы Данилов не огорошил его нечаянным воспоминанием. Но и любопытство возникало иногда в его глазах.

— А твой приятель Андрей Иванович,— наконец начал Земский,— он...

Тут же он замолчал, испуганно осмотрел буфет. Никогда не видел Данилов громогласного бузотера Земского таким сконфуженным и неслышным.

— Пора нам с вами в яму идти,— сказал Данилов.

— Ты, Володя, обещал зайти ко мне домой. Сочинения мои послушать. Поговорить о музыке. Ты бы зашел...

— Непременно. Как-нибудь...

— Да что же — как-нибудь! Вот хоть бы и завтра с утра. Я бы и о Мише Кореневе рассказал.

— Я вам позвоню,— сказал Данилов.

«Теперь еще Кудасов явится за объяснениями,— подумал Данилов.— Ну, Кармадон... Хорошо, хоть Кудасова днем в театр без пропуска не пустят. А оперы и балеты он не посещает...» Вовсе ни к чему были Данилову мысли о терзаниях Кудасова, Земского и водопроводчика Коли. Да и какая радость нож этот моршанский в полотенце таскать с собой! Данилову хотелось думать о Наташе и музыке композитора Переслегина. Слова Переслегина об альте казались ему справедливыми, хотя и не во всем, а что касается исполнения его симфонии на публике, то теперь Данилов оробел. Раньше об этом исполнении у Данилова были лишь грезы, и в тех грезах Данилов вел себя решительно, как Суворов в Альпах. Сейчас же открылась реальность с оркестром и дирижером, вот Данилов и заробел. «Да выйдет ли у меня? Да где уж мне...» И чем больше думал он о симфонии, тем крепче и крепче забирали его сомнения. Данилов совсем расстроился. Он боялся, что и сегодня сыграет скверно,— давали «Коппелию»,— дирижер почувствует это — и опять поездка в Италию на гастроли окажется для Данилова фантазией. «В Италию! — подумал он.— А доживешь ли ты до Италии?»

Но пришла пора спектакля, и опасения Данилова рассеялись. Играл он хорошо, с жадностью. Да и как не быть жадности после утренних приключений! К тому же и при мыслях, что больше никакого спектакля у него может и не быть! Душевно Данилов играл. Большим артистом сидел он в яме.

Успокоился и застыл над оркестром занавес после первого акта. Данилов вспомнил слова Переслегина об импровизации, и у него были мысли об этом. Но поднял голову и увидел над барьером оркестровой ямы Кудасова. «А пошел бы он подальше! — с досадой подумал Данилов.— Пусть к Земскому пристает

за разъяснениями! И ведь на билет потратился. Да и билет-то с рук, наверное, брал...» Данилов отвернулся с надеждой, что сейчас в голове его снова возникнут мысли о музыке. Однако мысли не явились. Видно, Кудасов спугнул их. А часто ли Данилову выпадали минуты именно для мыслей? И во втором и третьем антрактах Кудасов подходил к барьеру, смотрел на Данилова, лишь усы его шевелились в волнении. Однако Данилов был суров.

После спектакля он вышел из театра и возле служебного подъезда наткнулся на Кудасова. Данилов строго взглянул на Кудасова, сказал:

— Ничего не помню, был нетрезв. В доме моем ничто не пропало. Вы не бузили, законов не нарушали. Да, чуть не забыл. Земский просил передать вам нож. Вот он.

Данилов протянул Кудасову нож в полотенце, и Кудасов его без раздумий принял.

— Какой нож? — спросил Кудасов.

— Вот этот. Резать окорок.

— Я вас провожу,— сказал Кудасов.

— Нет,— сказал Данилов,— не вижу нужды. И иду я сейчас в дом, где в холодильнике пусто.

Данилов лукавил, он-то надеялся, что в том доме в холодильнике самая малость чего-нибудь, но имеется. Хоть печеночный паштет в банке, пусть и на дне. Или кусок колбасы. Много вчера ели, но к ночи Данилов опять проголодался. Значит, совсем выздоровел после утреннего взрыва. А может, в черную дыру все же улетели кое-какие калории из его организма. Или вышло так, что к человеческой сущности Данилова взрыв вовсе не имел отношения...

— Владимир Алексеевич,— умоляюще произнес Кудасов.

— Нет,— холодно сказал Данилов.— Все.

И пошел.

Обернулся. Кудасов за ним не последовал. «Неужели я от моршанского ножа отделался?» — не веря в удачу, подумал Данилов. До Покровских ворот он доехал троллейбусом, совсем уж было свернул в Хохловский переулок, но тут почувствовал, что за ним кто-то крадется. «Экий Кудасов гусь!» — опечалился Данилов. Но когда, остановившись, изучил в темноте силуэт преследователя, понял, что это не Кудасов, а кормленый злодей Ростовцев. Данилов достал индикатор, голая рубенсовская женщина от близости Ростовцева не засветилась, стало быть, это Ростовцев и был, а не переодетый Валентин Сергеевич или какой его агент. «Что ему-то от меня надо? Что он-то за мной ходит?» Данилов захотел подойти тут же к Ростовцеву и прямо его спросить, что он играет в сыщика. Однако время было позднее, а Данилов торопился.

Наташа открыла ему сразу, будто ждала его за дверью.

Потом было время любви и время спокойствия.

Время исчезновения забот...

Много сказали Данилов и Наташа друг другу слов, хотя в словах у них никакой необходимости сегодня не было... Еще ночью Данилов и думать не хотел о Наташе, ссора с Кармадоном, Наташины любезности с Андреем Ивановичем из Иркутска, казалось, отделили его от Наташи, может быть, навсегда. Однако теперь, вернувшись в жизнь, Данилов понял, как он любит Наташу. И как она любит его.

Все, что не касалось сейчас их с Наташей, Данилова не трогало, хотя он и слушал Наташины рассказы и сам говорил что-то. И даже история Миши Коренева, совсем недавно волновавшая Данилова, мучившая его своей тайной, нынче была воспринята им словно бы история литературного персонажа, какой на Земле никогда не существовал. Данилов понимал, что завтра в нем опять возникнет интерес к судьбе погибшего скрипача. Но что теперь ему было до Миши Коренева! Да, Миша в последнем своем послании писал Наташе о прежней своей любви, но ведь Наташа уже не любила его! Не любила! Это и было для Данилова главное.

Впрочем, Данилов попросил у Наташи письмо Миши Коренева для внимательного чтения.

25

Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места про чувства к Наташе он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миша повторял слова, слышанные от него и Даниловым: «Боящийся не совершен в любви». Данилов со дня смерти Коренева не забывал их ни на мгновение. Слова эти Миша употребил и в строчках, какие теперь Данилову были нужны. Вот что Коренев писал: «Чем погасить мой душевный мятеж? Чем утолить его? Успокоением в славе? Или в любви? Славы не будет. Любить женщину, как она того достойна, я, видно, уже неспособен. Боящийся не совершен в любви. Любить жизнь, людей? Но я в ознобе перед натиском мира... Я зябнущий от его жестокого напора... Пожалуй, одна музыка мне и осталась. Но в последние месяцы я и от музыки зябнущий. Это страшно! Неужели прав З (фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута) и надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет? Неужели в тишине сладость и утоление всего душевного мятежа? Неужели лишь в тишине гармония? Нет, нет, нет! Я еще не сдался, я еще люблю звук! Я еще попытаюсь одолеть музыку... Но боюсь, что она разорвет, рассечет, растопчет меня... И тогда — тишина. Тишина! Вершина всего. И тогда тайна М. Ф. К.»...

Было восемь часов. Данилов знал, что Земский встает рано, и позвонил ему.

— Здравствуйте, Николай Борисович,— сказал Данилов.— Извините за беспокойство. Вчера вы звали меня...

— Хорошо, Володя,— сказал Земский,— через пятнадцать минут я тебя жду.

Через пятнадцать минут Николай Борисович Земский открыл Данилову дверь и, поклонившись, будто приглашая к менуэту, провел Данилова в большую комнату.

Данилов поглядел на свои джинсы и стертые домашние туфли, смутился. Николай Борисович надел прекрасный концертный фрак, рубашка его и черный бант под кадыком были свежи, праздничны, будто только для сегодняшнего утра их шили и утюжили. Осмотрев комнату, Данилов понял, что Земский не только ждал его посещения, но и с усердием готовился к визиту соседа. Да что соседа! Земский теперь стоял словно на сцене и чувствовал трепетное внимание притихших где-то слушателей.

— Ты, Володя, садись,— загремел Николай Борисович,— вот кресло!

Бас у Земского, как всегда, был богатырский, раскатистый, но звучал этот бас нынче серьезно, строго, забыв о том, что привык озорничать, охальничать, а в случае нужды и раскалывать тонкие стаканы.

— Коньяк, Володя, будешь? — спросил Земский.

— Нет, что вы! Нам же на работу! Да и желания нет.

— Я коньяк не пью, ты знаешь. Предпочитаю водку. Или... Но нынче... Я ведь так... По рюмке, для утренней бодрости и остроты восприятия.

— Ну если для остроты восприятия,— сказал Данилов и выпил рюмку коньяка.

Сидел он в огромном и мягком кресле, с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Креслу этому Данилов чрезвычайно завидовал, грустил о нем. Вот бы сидеть в этаком кресле, мечтал Данилов, а за окном вьюга, ноги накрыть пледом и сидеть, книгу держать в руках или думать о чем-то... Или ни о чем не думать... Дремать. Славно... Но куда уж эти мечты! Вряд ли бы удалось Данилову дремать или думать в благословенном бархатном покое, да и на поиски кресла в комиссионных магазинах не было у него ни времени, ни денег. Хорошо хоть, сегодня Николай Борисович дозволил ему занять почетное место. Данилов блаженствовал. И понимал: жест Николая Борисовича значит многое.

— Времени у нас с тобой, Володя, действительно мало,— сказал Земский.— Поэтому я сразу исполню свои сочинения. Я пишу и в традиционных формах, тебе привычных, есть у меня и симфонии, и балет, и оратории, есть пьесы инструментальные, не только для скрипки, но и для органа, фортепьяно, флейты-пикколо и прочего... Есть другие вещи... Но поначалу ты можешь их не понять, а то и рассердиться... Я сыграю две простые пьесы для скрипки. И короткие. Одну на две с половиной минуты, другую — на четыре. Кстати, я их играл и твоему приятелю Андрею Ивановичу, вторая вещь понравилась ему больше... Впрочем, какое это имеет для тебя значение...

— Я весь внимание,— сказал Данилов.

Земский, наверное, не расслышал слов гостя, он был уже в своей музыке, она волновала и мучала его, Данилов видел это. Сам же Данилов чувствовал себя неловко, минут через десять ему предстояло говорить Земскому какие-то слова, а вполне возможно, сочинения Земского были скверные. К тому же Данилов пришел к Земскому вовсе не ради его музыки. Но, впрочем, и музыку Земского услышать ему было интересно.

Земский взял скрипку, встал возле пианино (рояли в доме Данилова многим были бы нужны, да как затаскивать их, рояли-то! И где держать?). Данилов смотрел на Земского снизу вверх, и виделся Земский ему огромным, величественным, но и отчего-то пугал Данилова. Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича Земского, бесцеремонного озорника и оратeля, имевшего в коллективе прозвище Карабас. Какой уж тут Карабас! Или Громовой. Такого баса наряди Варлаамом, или князем Галицким, или половецким ханом и выпусти его на сцену — публика тут же бы обмерла. Да что Варлаамом, что Галицким! Он мог бы в костюме и гриме явиться теперь и царем Иваном Васильевичем из «Псковитянки»! Было величие в Николае Борисовиче! Да и зачем ему сейчас грим и оперные костюмы, он и в концертном фраке был хорош. Плечи Николай Борисович расправил, грудь его была обширна и могуча — и камский грузовик проехал бы по ней, не оставив следов. Скрипка, казалось, могла захрустеть в руках Земского, однако держал он ее нежно, с отцовской любовью. «Хорош, хорош!» — думал Данилов. Но отчего-то ему было не по себе.

Николай Борисович поднял смычок.

За его спиной Данилов заметил прикрепленную кнопками к стене полоску ватманской бумаги и на ней выведенные плакатным пером слова: «Из наших пяти чувств слух несомненно меньше других облагодетельствован естественными наслаждениями». Рядом висела другая полоска бумаги с мнением художника Александра Иванова о смысле творчества. «Всерьез готовился»,— подумал Данилов.

— Первая вещь называется «Прощание с номером гостиницы в Тамбове»,— объявил Николай Борисович так, словно имел в виду не только Данилова, но и невидимых слушателей, возможно притихших где-то рядом.— Вторая — «Утренние страдания в окрестностях Коринфа».

Он стал играть, но никаких звуков Данилов не услышал. Прощание с гостиницей, видно, было элегическое, что-то произошло у Земского в Тамбове, смычок проплывал мимо струн на малом от них расстоянии в задумчивости и грусти. Поначалу Данилов с любопытством следил за смычком, намереваясь, как глухой по движениям губ собеседника — слова, угадать музыку, сочиненную Николаем Борисовичем. Но не угадал. Музыка, верно, была новая и Данилову недоступная. Внимание Данилова рассеялось, он, слушая Николая Борисовича и наблюдая за ним, стал краем глаза оглядывать комнату, но так, чтобы Николай Борисович не заметил его досужего интереса. Впрочем, что мог заметить сейчас Николай Бо-

рисович! Он был само вдохновение. Он творил. Он печалился об исходе своей тамбовской жизни... Тут Николай Борисович закончил первую вещь, опустил смычок, голову склонил на мгновение. Но сразу же будто встрепенулся и вскинул смычок, обратившись мыслями и чувствами к утренним страданиям. Страдания — кому? Может быть, кентавру? — выдались вблизи Коринфа серьезные. Полеты смычка были теперь нервными и стремительными. Данилов любовался артистическими движениями рук и бровей Николая Борисовича.

Земский опустил смычок, замер, отходя от музыки.

Данилов молчал.

Николай Борисович положил скрипку на стол, нервно взглянул на Данилова, налил коньяк, протянул рюмку гостю, быстро выпил свою, сел.

— Как? — спросил Земский.

— Несколько непривычно,— сказал Данилов.

— Я так и думал,— проговорил Земский расстроенно.— Знал, что ты поначалу будешь обескуражен... Хотя и надеялся... Н-да... А вот твой приятель из Иркутска, он сразу многое почувствовал... И Миша Коренев... покойный...

— Николай Борисович,— осторожно спросил Данилов,— как ваше направление в искусстве называется? Тишизм?

— Тишизм,— тяжело кивнул Земский.

— Тишина — лучшее из того, что слышал... От этого вы шли?

— Поэт выразился удачно. Но меня вело иное движение мысли...

Николай Борисович встал. Прошелся по комнате.

— Впрочем, Володя, ничего огорчительного и неожиданного тут нет. Я и думал прежде объяснить суть своего направления. Но взял и ударился в авантюру: вдруг ты сразу все и почувствуешь...

— Я кое-что почувствовал,— робко сказал Данилов.

— Раз уж явился ты ко мне,— сказал Земский, не обращая внимания на слова Данилова,— придется тебе выслушать лекцию. Надеюсь, что короткую. А потом я исполню еще одно сочинение. Оно сложнее первых двух...

Тут Николай Борисович извинился, предупредив Данилова, что объяснения будет вести житейскими словами. В терминах он не силен, хотя и согласен с необходимостью оснащать любую новую теорию научной терминологией. В письменном трактате о тишизме он и попытался сделать это. Однако не все термины ему нравятся.

Свои объяснения Николай Борисович начал издалека. От самых истоков традиционной музыки. Той самой, какой служит теперь Данилов и какой он, Земский, служил тридцать с лишним лет. Музыка эта возникла скорее всего из-за того, что, как догадались еще древние (тут палец Николая Борисовича указал на полоску ватманской бумаги с черными словами), слух наш по сравнению с другими чувствами куда меньше облагодетельствован ес-

тественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного. Но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей, и ушедших и нынешних, слышат уши? Да одни безобразия, выходит, и слышат! Дурные крики, карканье ворон, визг циркулярной пилы, лязг мечей, шипенье кухонных плит и перебранку их хозяек, скребки бумаги по школьной доске, урчания в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уже о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше, они вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди: пение птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй. Ну и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. Вот человек себе в утешение и создал музыку. Расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятные ему сочетания и десятки веков старается возместить музыкой скаредность природы. Поначалу уловленные людьми звуки помогали им баюкать детей, вызывали жар в крови, настраивали на битвы и тяжкие работы, в пышных церемониях заставляли падать на колени, верить в силу и сверхъестественное. А потом возник особый мир музыки, мир этот безграничен и всесилен. Впрочем, так думают люди. Но так ли на самом деле? Нет, нет и нет! Музыка, как и любое другое искусство или, скажем, как и любая наука, отражает уровень развития человечества, представления людей о мире и самих себе. Представления эти меняются, но и теперь они наивные и детские. Ничего толком не знают люди ни о себе, ни о мире! Так, для облегчения жизни, оснастили себя некими условностями. И потихоньку одну условность заменяют другой. Каким уж открытием казалась когда-то перспективная живопись, а теперь, если принять во внимание забавы естественных наук, перспективная живопись Леонардо или Рафаэля ничуть не меньшая условность, нежели плоскостность или обратная перспектива иконы. Да что там, куда большая условность! И традиционная музыка, естественно,— условность и частность!

Нет, он, Николай Борисович Земский, вовсе не предлагает уничтожить и забыть традиционную музыку, инструменты изломать, а ноты сжечь. При этом бы и сотни тысяч музыкантов пришлось куда-то девать, а им ведь надо кушать и кормить детей. Бог с ними, пусть себе дуют в трубы и барабанят по клавишам! Хотя они и шарлатаны. Но следует открыть людям глаза на то, что традиционная музыка — явление частное и никак не может претендовать на всеобщность. В этой ее претензии есть и нечто ущербное. Как в претензии на любовь мужчин семидесятилетней дамы, скукоженной, но все еще в красках и горящих камнях. В особенности теперь, когда так называемые точные науки пригоршнями выбрасывают новые условные знания. Может, в чем-то и верные. Теперь, когда совершенно изменились способы информации и средства общения людей. Да что говорить! Что дальше-то будет! Века человек плелся потихоньку, а теперь побежал, да еще и вприпрыжку. Раньше он жил в замкнутом мире, в своей избе, а теперь выходит во вселенную, и кто знает, с чем он встретится там,

какие истины разверзнутся перед ним, от каких бездн он поседеет, к каким чувствам и каким звукам привыкнет, какие инструменты изобретет и полюбит. А вдруг люди и вообще откажутся от всех звуков и шумов, поберегут здоровье. Им надоедят разговоры, а станут они общаться друг с другом, скажем, способом телепатическим. Или каким иным. Да и надо бы! Разве слова способны передать движения мыслей и чувств? Нет. Они — служебные сигналы, они жалки и убоги, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, и искусство будет иным.

И еще. Вся старая музыка так или иначе — отражение какой-никакой, а гармонии. Но разве мир — гармония? Разве жизнь — гармония? Ах, Володя, не криви губы. Уволь! Где уж тут гармония. Лев терзает лань, жирные злаки растут на братских могилах, женщина торгует телом, пьяная рука калечит ребенка, альтист Чехонин лижет штиблеты главному дирижеру, чтобы именно он, а не ты, Данилов, поехал на гастроли в Италию! Гармония!

— Но, может быть, Чехонин и поступает так,— сказал Данилов,— в поисках гармонии. Хотя бы для себя.

Земский только рукой махнул.

— Нет,— сказал он,— мир — черт-те что, но только не гармония. Значит, традиционная музыка лжет. Навевает даже и трагическими сочинениями сладостный обман. Для того она и звуки отобрала приятные человеку, сносные, выдрессировала их и строго следит за их порядком. Она ложь и побрякушка. Конечно, и старая музыка заставляет людей страдать, плакать. Но это оттого, что у них есть потребность страдать и плакать, а иной музыки они не знают. Он, Николай Борисович Земский, уважает и творцов прошлого, в иных из них, скажем в Бетховене, видит родственную себе натуру и жалеет их, шедших ложным путем. Да и пусть их сочинения останутся, пусть исполняют их для гурманов в звуковых антиквариях и через двести лет. Это ничего не меняет... Но настоящей-то музыке, чтобы соответствовать миру, следует не извлекать из природы лакомые звуки, а быть честной и всеми звуками, пусть и страшными, пусть и кощунственными, потчевать людей, терзать их души правдой жизни. Дал ли наш век новую музыку? Нет. Да, она нервнее и злее сочинений прошлого. Но вся она — и с джазовыми открытиями, и с атональным направлением, и с находками поп-артистов, и прочим, и прочим,— вся она та же самая традиционная музыка, только что с заплатами и надставленными рукавами. Вся она — частность и условность!

Тут Николай Борисович остановился и замолчал.

— Стало быть,— сказал Данилов,— ваше направление, тишизм, претендует на некую всеобщность? И вы создали систему всеобщих звуков?

— Ничего я не создавал,— недовольно заявил Земский.— Все необходимые для истинной музыки звуки есть внутри каждого из нас. И они так же богаты и верны по сравнению со звуками внешними, как богаты и верны наши мысли и чувства по сравнению со словами и жестами.

И дальше он объяснил... Итак, пока еще никто не знает, какая музыка людям нужна и какая музыка, в конце концов, возникнет для них. И он, Николай Борисович, точно не знает, хотя о многом догадывается и многое предчувствует. Вот он и открыл, что нужно писать такую музыку, какая будет звучать лишь внутри каждого из слушателей. Эта музыка никогда не устареет и в момент исполнения будет точно соответствовать уровню представлений людей о мире и уровню развития музыки. Естественно, Николай Борисович имеет в виду лишь слушателей, какие способны его сочинения воспринять и воссоздать. Сочинения эти нет надобности записывать нотными знаками. Нотные знаки должны устареть, как устарело крюковое письмо. Никаких знаков и вообще не надо. Сочинениям необходимы лишь точные словесные обозначения. Впрочем, потом и слова будут заменены чем-то более совершенным. Главное — сообщить предполагаемому слушателю идею произведения, а уж он услышит его своим внутренним существом. Какие его натуре в сию минуту нужны голоса, мелодии или диссонансы, такие в нем и зазвучат. Ведь и традиционную музыку каждый человек слышит по-своему. Да и летуча она! Звуки — здесь, и вот уж их нет, зато остались неудовлетворенные желания. А сочинение Земского любитель может проиграть сейчас же снова сам, не пользуясь никаким инструментом. Оттого-то тишизм универсален и всеобщ. С одной стороны, он — тишина, а с другой стороны — самая что ни на есть истинная внутренняя музыка с полной свободой выбора мыслей, звуков, чувств.

Для облегчения подступа к его музыке Николай Борисович написал много вещей в формах музыки традиционной. И инструменты использовал знакомые людям. Чтобы вызвать у слушателей точные ассоциации, а стало быть, и привычные им голоса. Позже, когда люди освоят музыку Земского, перестанут бранить ее, пугаться ее, они, возможно, поймут и услышат более сложные его сочинения, написанные без всяких уступок старым вкусам, а значит, и в себе откроют нечто высокое, пока неизвестное им.

— Все это надо было объяснить тебе сразу,— сказал Николай Борисович.— Теперь я исполню еще одну вещь. И она для скрипки. То есть тоже уступка... Но что мне делать, если даже ты не почувствовал мою музыку... Эта вещь сложнее. Называется она — «Гололед в апреле на площади Коммуны». В ней три части — «Антициклон», «Лед на асфальте» и «Разбитие стекол троллейбуса».

Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии мироздания, его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, силился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной вой ветра или шуршанье газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам, а когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк

ЦДСА грузовик с молочной цистерной врезается в бок тринадцатого троллейбуса и стекла бьются.

— Что-то услышал,— сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр.— Нет, точно, что-то во мне прозвучало.

— Не обязательно должно звучать,— сказал Земский.— Должно возникнуть...

— Нет, точно,— как бы уверяя самого себя, сказал Данилов,— было, было что-то!

Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николаю Борисовичу Данилов не решался, тот, возможно, полагал вызвать своим сочинением совсем иные эффекты.

— Перешагнуть предрассудки доступно немногим,— сказал Николай Борисович.— Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо хоть, ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно. И тебе делает честь.

— С инструментальной музыкой ладно,— сказал Данилов,— а с балетами как?

— Сам понимаешь, и балет — дань прошлому. А принцип — тот же. Необходимо сообщить зрителям идею. И исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке, собираясь в театрах, кто у себя дома, вот в этаком кресле, закрыв глаза...

— Значит, и Чайковский,— сказал Данилов,— мог сообщить нам идею «Лебединого озера» или «Спящей» и дать возможность для трактовок своих вещей? Трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь.

Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось Земскому намеренным, но только он обиделся.

— А вот не мог Чайковский, не мог! — произнес он с горячностью. Потом утих и добавил вяло, словно потеряв интерес к предмету затеянной им беседы: — Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки. И разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть, ждешь от старой музыки многого для себя. И я когда-то был такой, вон там у меня во встроенном шкафу лежат и призы и дипломы. Я далеко мог пойти. Но сомнения стали грызть меня, совершенства я жаждал, совершенства! Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки. И победил. В тишизме я и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел... А ты играй, играй, звучи, пока звучишь! Ты

пока еще в полете, ты оптимист, ты искатель, и мир для тебя хорош, ты молодой.

— Где уж молодой...— печально сказал Данилов.

— Хотя, конечно... Миша Коренев в твои годы был уже поверженный...

— Миша приходил к вам?

— Да.

— И часто?

— Он стал мне как сын.

Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность, решил молчать. Но любопытен был Данилов...

— Коренев принял тишизм? — спросил он.

— Миша понял меня. Но тишизм его напугал. И сильно. Очень сильно... Однако его последний поступок говорит о том, что он принял тишизм.

— Разве?

— Да,— сказал Земский.— Ты узнал сегодня об азах тишизма, прочел первое слово в букваре, да и то по слогам... А Миша ушел в высшую тишину. Да что ушел! Прыгнул туда... Или вознесся...

— Стало быть, для вас высшая тишина — исчезновение личности, смерть? Так, что ли?

— Нет,— горячо сказал Земский,— для меня — нет! Я — творец. Для меня моя музыка — продолжение жизни. Или ее воплощение. Даже если эта жизнь и состоит из одних скорбей и грехов. А для слабых натур Мишин прыжок в тишину — благость...

— Миша ушел в тишину и унес с собой тайну М. Ф. К. ...

— М. Ф. К.? — сразу остановился Земский.— Откуда ты о ней знаешь?

— Прочел в одном письме... М. Ф. К. Это его инициалы, видимо... Михаил Федорович Коренев... Так, наверное?

— Он всего стал бояться,— сказал Земский.— Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой. И первым делом — с самим собой... А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, он и от этого пришел в ужас, оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил — доказать и мне и самому себе, что — нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой. Как и он в ней. А вот не доказал...

— А мог доказать?

— Не знаю. Он, наверное, и не мог... Он долго жил как придется, был ветрен, но жил весело и сыто. Вдруг остановился и словно прозрел. Спросил себя: «А зачем живу?» Хорошо, что спросил, мне он потому и стал приятен. Но лучше бы не спрашивал... Взглянул на все глазами открытыми и пришел в ужас. И от самого себя, и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут! Решил бунтовать. Этакий мятежник. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке, старой, понятно,

устроить чуть ли не пожар. Или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то как музыкант за годы веселий потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был...

— Я знаю,— кивнул Данилов.

— Не был, увы, не был... Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал... Считал, что в мире никому не нужен, что надо бросить поганое дело, что он бездарен, что музыка не для него, а ему стоит сейчас же уйти в шоферы или еще куда. Я смотрел на него и понимал, что уйдет-то он уйдет, но совсем не в шоферы...

— И не пытались его остановить?

— Нет.

— Он же стал вам как сын...

— Каждому свой жребий... Если бы он утих, если б перестал думать о высоком, лучше б было? Нет. Я открывал ему высоты все новые и новые. Я не желал заливать его пламя водой. А он все больше и больше пугался... Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять — в озноб... Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не сдался. Тут или — или. Иного быть не может. Он не выдержал. Да, значит, и не мог выдержать.

— Вы его искушали... И подталкивали к обрыву...

— Если ты считаешь, что к обрыву, пусть будет к обрыву... Можно посчитать, что к окну, и тут нынче не ошибешься... Да, искушал. Да, подталкивал. И не жалею об этом... Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению... Он выбрал тишину... Он ничего иного уже и не мог выбрать...

— Все это жестоко по отношению к нему.

— Пусть жестоко. Но и честно... А по отношению ко мне все это не жестоко? Ты этого не чувствуешь? Ведь я привязался к Мише... Я на похороны не смог пойти... Не было сил...

— Однако вы живы. А он погиб.

— Он ушел в тишину. В высшую тишину. А я страдал... Я знал, что рано или поздно он уйдет в тишину и я буду страдать... Я не останавливал его, я должен был испытать потрясения, чтобы написать лучшую свою вещь... Я написал ее... Памяти утихшего скрипача... Это сочинение еще потрясет людей...

— Выходит, что Мишина гибель — благо для вас, для музыки и для людей?

— Я не говорю, что благо. Необходимость — да. В мире — разлад, и не скрипачу Кореневу суждено было его вынести. Творец же...

— Такой, как вы...

— Такой, как я. Творец же обязан был не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать... Кровью и сединой оплатить за великое сочинение... А я знаю, что сочинил!

Земский стоял над Даниловым исполином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от моршанского

ножа! Нет. Этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский.

— И все же, Николай Борисович,— строго сказал Данилов,— это жестоко.

— Истинный художник и должен быть жесток! — воскликнул Земский.— Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми да жене стирающего белье! А ведь Шитов был талант! Талант! Нынче же он — никто, домашний хозяин. Ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о ближних. И дрожит о них. Стал нянькой. Сиделкой. И слугой. Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины — в особенности... Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой никому — ни отцу, ни матери, ни сыну — становиться не имеем права!

Данилов сидеть под Земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише:

— Оттого-то истинный художник и бывает одинок. Я — одинок. И ты — одинок.

— Я одинок? — удивился Данилов.

— Ты одинок,— кивнул Земский.— Я тебе скажу: ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче.

— Откуда вы знаете о пропаже Альбани?

— Я знаю...— сказал Земский.— У тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом. Ты одинок оттого, что не связал себя душевной цепью ни с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а просто легок. Но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам... Так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействе, они красивы, но в них желание неосуществимого, в них — желание мира-гармонии. А его нет. Сколько видели мы гениев-злодеев. Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости... Житейской жестокости, и ни о какой другой...

— Неужели и вы, Николай Борисович, были злодей? — спросил Данилов.

— Не про это сейчас речь,— засмущался Земский,— мало ли кто кем был... Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением... Или чтобы их посчитали гениями... Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить ой-ей-ей как... А Миша Коренев?.. Он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния... Пробовал играть Паганини, не выходило, он и думал: а вдруг и верно Паганини заключил сделку с дьяволом...

— Не было этого! — сказал Данилов.

— Отчего же не было?! — воскликнул Николай Борисович тонко и нервно.— У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки! Да что Миша! И у меня бывают мгновения...

— Вы это серьезно? — спросил Данилов.

— Уж куда серьезнее! Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земский, на колени готов рухнуть все равно перед кем — сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем, рухнуть на колени и молить его: сейчас же сделать меня всемогущим, хотя бы в искусстве, и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую!

И тут Николай Борисович упал перед Даниловым на колени.

— Я любую расписку дам, самую страшную, кровью так кровью,— сказал Николай Борисович,— душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь — так жизнь, муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я согласен! Только утолите мои желания!

— Встаньте, Николай Борисович, что же вы передо мной-то на колени грохнулись!

— А перед кем же еще? — спросил Земский.

— Сейчас же встаньте, Николай Борисович,— сухо сказал Данилов.— Право, это неприятно.

На колени Николай Борисович падал, а вставал с усилием, словно теперь дало о себе знать люмбаго. К креслу он двинулся разбитым стариком, и, когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича пламени более нет. И нет надежды.

— Я понимаю, Николай Борисович,— покачал головой Данилов,— вы шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерий пятнадцатого века.

— Ты прав,— сказал Земский.

Он быстро взглянул Данилову в глаза. Но тут же опустил голову. Потом, помолчав, спросил:

— А приятель твой из Иркутска, он что — не появится больше?

— Не знаю,— сказал Данилов,— но думаю, что и перед ним падать на колени было бы неразумно.

— Может быть,— прошептал Земский,— может быть. Это я так... На всякий случай...

— Да и как же вдруг? — спросил Данилов.— Зачем чья-то помощь? Вы что же — не уверены в тишизме?

— Уверен! Уверен! — горячо произнес Николай Борисович.— Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать часов не потеряла!

— То есть?

— Кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же

отнесут мои бумаги в макулатуру — кому нужен утиль какого-то Земского! Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто лет, я теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой музыке. Пусть и со скандалом. Со скандалом-то вернее! Имя мое должно застрять в умах людей! Туфелька Золушки мне нужна. Даже и похожая на рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно. И кровью!

— Ничем не могу вам помочь,— сказал Данилов.

— Ой ли?

— Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева?

— Тебя не напугаешь,— угрюмо сказал Земский.— Ты сам скоро напугаешься, коли и впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь: «А не прав ли Миша Коренев?..» Если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь...

— Я себя ни за кого не выдаю,— сказал Данилов.— Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. За кого же?

— Мало ли за кого...

— Вы взрослый человек,— сердито сказал Данилов,— а, видно, уверили себя в каком-то детском вздоре... Это и смешно, и неприятно... Разрешите на этом откланяться.

— Извини, Володя,— быстро заговорил Земский,— это все шутки... Но ведь как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь... Извини... И забудь о моих словах... Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же — вина, фирменного.

Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть прозрачное. «Экий печенег!» — подумал Данилов.

— Это все шутки, Володя! Может, и не поверил я ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю! Родись я веков на пять раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружины б крушил. Помнишь, что Васька говорил: «Не верю я, Васенька, ни в сон, пи в чох, а верю я в свой червленый вяз!»

Тут Николай Борисович рассмеялся, из перстня, украсившего средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. «Мистика какая-то»,— подумал Данилов.

В прихожей Данилов сказал Земскому:

— Червленый вяз пусть при вас остается, вы ему служи́те, это ваше дело, однако Мише Кореневу жизнь вы у́коротили напрасно.

— Может, и укоротил, а может быть, и нет! — рассмеялся Земский.

Был он теперь в кураже, вишневая жидкость из чаши взбодрила его. Словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его:

— А ты, Данилов, не храбрись! Что ты знаешь? Да ничего! Вот Миша-то унес с собой тайну. Тайну М. Ф. К. Разгадай-ка ее. Слабо будет!

Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.

26

«За кого же он принимает меня? — думал Данилов, собираясь на работу.— Если за пришельца или еще за кого, пусть, куда ни шло... А если — за жулика или за какого агента? Еще настрочит бумаги куда следует, людей зряшным делом заставит заняться...» Данилов посчитал, что сейчас же надо истребить из памяти Николая Борисовича Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, их сидений и прогулок. Словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни моршанского ножа. И о его, Данилове, оплошностях во время гуляний с Кармадоном Земский должен был забыть! Николай Борисович в ту же секунду и забыл... В театре был смирный, к Данилову не приставал.

Два дня или три Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома симфонию Переслегина. С трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело — и даже в театр — ему звонила Клавдия, говорила обиженно, просила посетить ее Монплезир. Под Монплезиром она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. Данилов рассудил, что Клавдия от него все равно не отвяжется, и на четвертый день ее просьб поехал в гости.

Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей как мужчина. Краску и тушь на веки и на ресницы она наложила под девизом: «А лес стоит загадочный...» И точно, некая загадочность была и в облике хозяйки и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся. А потому и ни о чем ее не спрашивал.

— Не кажется ли тебе, Данилов,— сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая,— что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно?

— Нет, не кажется,— сказал Данилов.

Клавдия посмотрела на него удивленно.

— Отчего ты так переменился? Вот ты мне и хамишь...

— Я устал,— сказал Данилов,— ты же видишь во мне прислугу, будь я свободен, возможно, я помогал бы тебе, но, увы, сейчас твои хлопоты мне в тягость...

Клавдия чашки оставила, опустилась на табуретку.

— Ах, Данилов,— сказала она.— Я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений.

— Для душевных общений тебе могло хватить и Войнова... Он профессор и автор книг...

— Войнов, конечно,— согласилась Клавдия,— профессор... Но ведь есть у меня в душе и тайные уголки.

«Ну вот, дело дошло и до тайных уголков»,— расстроился Данилов.

— А что касается твоей Наташи,— сказала Клавдия,— то мы с ней подружились. Она сшила мне чалму. Быстро сшила. Я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только надевать ее следует с вечерним платьем... Я сейчас...

Клавдия направилась в соседнюю комнату, Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку! А увидеть чалму, сшитую Наташей, он желал.

К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через пятнадцать минут. Войдя к ней в комнату, Данилов забыл о недовольствах. Британской королеве предстояло увидеть жену профессора Войнова в черном платье из бархата и в черной чалме. Смелые вырезы платья открывали плечи и грудь московской гостьи, черный бархат украшала бриллиантовая гроздь. И на чалме играли бриллианты.

— А что,— сказал Данилов,— хорошо.

Он искренне радовался за Клавдию.

Ему показалось, что и чалма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть чалму внимательно.

— Для вечернего приема у королевы,— сказала Клавдия,— я сшила еще и тюрбан из горностаев. Но к нему у меня другое платье. Белое. Оно на той квартире. У Войнова. И тюрбан там.

— Жаль,— сказал на всякий случай Данилов.

— Жаль,— согласилась Клавдия.— Я потому тебе показываюсь, что у тебя художественный вкус. Раз ты говоришь, что хорошо, значит, хорошо.

— А тюрбан тоже Наташа шила?

— Нет, она не скорняк. Чалма вышла у нее безупречная. Но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я мильонщица. И это со своей-то!

— А ты уж и своя?

— Данилов, какой ты, право! Ты думаешь, эта Наташа простая? Ой нет! Поверь женщине. Мы с ней и вправду подружились, о чем только не переболтали... О тебе, конечно... Еще кое о чем... И я тебе скажу...

— Если ты шьешь наряды для королевы,— сухо сказал Данилов,— стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию? И надолго?

— Ах, Данилов,— вздохнула Клавдия,— никуда мы пока не едем. Войнов, правда, старается получить командировку в Англию на три года, но до самой поездки далеко...

— А почему именно в Англию?
— Англию нам припрогнозировали,— сказала Клавдия и сразу же словно бы в испуге посмотрела по сторонам.
— Хлопобуды?
— Хлопобуды,— прошептала Клавдия.
— Но наряды твои устареют, что же их было шить?
— Чалма и тюрбан не устареют. А платья я заменю.
— И это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня?
— Ты не получил удовольствия от моих обновок?
— Ну... получил...— неуверенно произнес Данилов.— Но зачем тайнами-то заманивать?
— А ящики тебя совсем не интересуют? Те, что мы с твоими приятелями тащили...
— Да... Действительно... И что же с ящиками?
— Пошли! — приказала Клавдия.
Шли недолго, из кухни коридором и до кладовки, свет в коридоре был неяркий, однако Данилов сумел рассмотреть вечернюю Клавдию, не снявшую чалму, в движении и понял, что тело ее нисколько не потеряло прежних форм, наоборот, кое-что волнующее Данилова и приобрело. «Да, она красивая женщина»,— словно бы согласился с кем-то Данилов. Ящики занимали половину кладовки, надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценностей Камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень.
— Камень какой-то,— сказал Данилов.
— Ну и какой камень? — спросила Клавдия, в глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей, и желание вновь показать Данилову свое превосходство над ним.
— Я не знаю.
— А ты посмотри внимательно.
Данилов не только осмотрел камень, но и общупал его, и запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб. Верхняя поверхность камня была плоская, но не ровная, вся в выбоинах, видимо, ломами или перфораторами вынимали камень из родной среды.
— Лава, что ли? — сказал Данилов, вспомнив о вулкане Шивелуч.
— Лава! — рассмеялась Клавдия и с удовольствием погладила камень.
Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова в кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла, носить его, да и чалму, ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии тут и там. На кухне Клавдия закурила и сказала:
— Это лава. А через четыре года будут изумруды.
— Два ящика изумрудов?
— Два не два, а шкатулку заполнят.

— Неужели тут такая замечательная кладовка?

— Кладовка ни при чем. Каким образом лава превратится в изумруды, не имеет значения, но превратится.

Твердость была в словах Клавдии и деловитость. Она давала понять Данилову, что ту информацию, какую он заслуживал, он получил, а прочее его не касается. Может, и вообще она не имела права говорить об этом прочем. А Данилов молчал, он чувствовал, что Клавдии не терпится поделиться тайной. Он и молчал.

— Сейчас бриллианты в моде,— сказала наконец Клавдия,— а через семь лет, после одного события, в моду войдут изумруды. В такую моду, в какой они не были последние три столетия.

Данилов опять молчал.

— А у меня их будут десятки, около сорока, точнее, тридцать семь, крупные, будто с шапки Мономаха, если мне надоест их носить, я их продам по хорошей цене.

Данилов молчал.

— Это реальные деньги,— сказала Клавдия так, будто Данилов с ней спорил.

Данилов молчал.

— И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, а все выйдет по науке... Один ученый из одного НИИ...— тут Клавдия опять спохватилась и стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать.— Один ученый, то ли Озямов, то ли Озимов, сделал открытие... Все хотел получить искусственный изумруд, бился, бился — и ни с места. Потом решил разобраться, как природа-мать создает изумруды, и действовать ее способом. Понял: они из магмы, она остывает, что-то с ней происходит — и она преобразуется в кристаллы изумрудов...

Дальше объяснять своими словами открытие Озямова стало для Клавдии делом непосильным, она принесла записную книжку, показала Данилову сделанный ею собственноручно рисунок разреза земли — разрез она назвала стратиграфическим. Показала: и где именно пекутся, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движений температуры и давления.

— Ты тут все не поймешь,— заметила Клавдия.— В общем, кавитация... Схлопывание пузырьков газа... А в газ надо перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву... Температуры — порядка полторы тысячи градусов... давление — миллион атмосфер, а то и два... И пожалуйста — изумруд!

— Откуда же твой Озямов,— удивился Данилов,— возьмет давление в два миллиона атмосфер?

— Давление у нас найдется,— махнула рукой Клавдия.

— А зачем тебе лава именно от Шивелуча?

— Озямов бьется, бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Какую лаву брать — не знает. А я знаю.

— Откуда? Ах да... Хлопобуды...

— Да, хлопобуды,— прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной чалме,— они. Ясно, что не в порядке очереди, а... Ну, а в общем, неважно... Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Озямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шивелуча. А Озямов о ней пока не знает... Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу тридцать семь изумрудов — материал-то мой!

— Начнут делать искусственные изумруды — они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки.

— Свои изумруды я получу через четыре года. Все посчитают, что они из горных пород. Но у Озямова-то это будут опытные изумруды! А по прогнозам хлопобудов он еще три года походит в шарлатанах, потом перед ним извинятся, станут внедрять открытие — на внедрение уйдет шесть лет. А мне камни уже надоест носить! Я их продам, пока они еще будут в цене... Понял теперь, каково иметь дело с хлопобудами!

Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала, объяснения Клавдии его не удовлетворили, даже и с высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может, она передала и все верно, да ученый Озямов бродил по ложным тропам. Так или иначе, Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шивелуч. Ведь ящиками с лавой Шивелуча владела не только Клавдия, но и Камчатская экспедиция, а какие из них подлинные, какие сотворенные им, Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже небось могли затеять опыты с лавой. С ящиками следовало разобраться, и сейчас же. Но Клавдия взяла его за руку.

— Данилов, изумруды ладно! — сказала она с некиим вдохновением и забыв о шепоте.— Я добыла еще один долговременный прогноз! Подожди тут!

Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф со свежей еще краской и никелированной ручкой. Сейф был как настоящий. «Бутылки три в него войдет»,— отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверце был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция «Лишние дипломы». Документы и были дипломами. По большей части синими, лишь два из них, от отличников, имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел. Верхний принадлежал Казематову Игорю Платоновичу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой — инженеру-металловеду Ципскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста — Думного Виктора Петровича: «Плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого». Виктор Петрович был учителем литературы.

— Отдел кадров на дому? — осторожно спросил Данилов.

— Эти картонки — мои. Я имею и расписки... Все написавшие

их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают.

— Зачем тебе все это?

— А-а-а! — протянула Клавдия.

Молчать она уже не могла, и, по ее словам, с дипломами выходило так. По точным исследованиям хлопобудов, лет через пятнадцать — семнадцать разведется у нас столько разных выпускников и так не станет хватать всяких необходимых людей — санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков обоев и афиш, садовников, домработниц, что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно не уверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит доброхотам платить компенсацию за годы учений.

— Какую компенсацию? — не понял Данилов.

— А такую... Кому девять тысяч, а кому и все четырнадцать. В зависимости от затрат. Только чтобы пошли в санитары и в раздатчики пищи.

— Разве мы тратили деньги на образование?

— Государство и тратило. Ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько, с учетом школьного воспитания, и заплатят человеку, лишь бы он согласился сдать диплом.

— Странно все это...— покачал головой Данилов.

— Так и будет... Припрет — и будет... И теперь ведь... Сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают — и вовсе не по специальности, а где кому хочется, хоть бы и пожарниками или ассенизаторами... И не нужны им никакие дипломы... Вот я уже сколько приобрела... У кого за пятерку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно... А придет срок, я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию!

— Нет, что-то тут не так.

— Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебя люди на примете, кому не нужны дипломы? Только не старые и не больные, чтобы могли тянуть и через двадцать лет?

— Надо подумать... Один есть. Кончил консерваторию, был контрабасистом. Теперь он пробочник.

— То есть?

— Люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью ноль семь стоит семнадцать копеек, а с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по десять копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник и леской с петлей вылавливает пробки, имеет за пробку две копейки. Мой знакомый играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо.

Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок.

— Надо запомнить,— сказала она.— Именно леской?
— Можно и не леской. Можно веревкой. Или проволокой.
— У тебя один такой знакомый?
— Не знаю... У твоего приятеля Ростовцева,— вспомнил Данилов,— два диплома, из них один университетский, а сам он разводит попугаев, ты обратись к нему.
— Ладно,— быстро сказала Клавдия.— Ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов.
— Откуда я время найду? — жалобно произнес Данилов.
«Опять я ей поддаюсь,— подумал он,— опять малодушничаю... Эка ловко она меня приручила снова...»
— Я пошел. Это и были твои сумасшедшие идеи?
— Нет. Главная моя идея иная.
— Ты ее уже получила от хлопобудов?
— Сегодня я тебе ничего не скажу.
— Ну, смотри,— сухо произнес Данилов и направился в прихожую.
Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его, пошла за ним и заговорила так, словно в чем-то была перед ним виновата:
— Володенька, я не могу все сразу... Ты и сам знаешь, что у хлопобудов строгие порядки... И есть очередь... Я уж и так все время норовлю заскочить вперед... Да и все хотят с черного хода... С черного-то хода вся очередь перемешалась... Я имею лишь косвенные данные о своей главной идее... Она и не сформулирована точно... Но мне сейчас хватит и не главных дел...
Клавдия не лукавила, была искренней, говорила с полным к Данилову доверием. Словно сейчас считала его равным себе. Это Данилова растрогало. «Да нет,— тут же подумал он,— это она так, со сверхзадачей... Ей нужны помощники в ее затеях, ящики таскать или выкупать дипломы, вот она и желает меня, любопытного дурака, подцепить... А впрочем, ей надо и выговориться перед каким-нибудь одушевленным предметом...» Но при всем при этом отчего-то возникли вдруг у Данилова и некие теплые чувства к Клавдии. Давно с ним не было такого. Будто старое время вернулось, когда Данилов находился относительно Клавдии в заблуждении. Ее затеи были для Данилова чужие и странные, но все же — к чему-то стремилась женщина, пламенем пылала ее нетерпеливая натура! А это для Данилова многое значило. Он ощущал, что и его бывшая жена смотрит на него сейчас если не с прежним интересом, то во всяком случае как бы сожалея о чем-то. Клавдия и сказала:
— А может, зря у нас с тобой тогда так все вышло?
Данилов пожал плечами.
— Ты приятный человек... Если бы ты еще не вел себя рохлей. Или был бы таким, как твой приятель из Иркутска Сомов...
— Сомов?
— Да... В нем было что-то демоническое...
— В Андрее Ивановиче?

— Да.

— Однако он вернулся от тебя подавленный.

— Он мог бы вести себя тогда и как джентльмен... Он не появится еще в Москве?

— Не знаю,— сказал Данилов.— Мне надо идти. Меня ждет музыка.

— Ах, эта твоя оркестровая музыка! — с досадой сказала Клавдия.— Был бы ты хоть по натуре солистом! Вот Сомов, он — да...

— Я пошел.

— Иди... Но ты запомни: твоя Наташа — совсем не простая. Хочешь, я расскажу тебе...

— Я пошел,— сказал Данилов и закрыл за собой дверь.

Он нажал кнопку лифта, однако кабина вверх не поехала. Лишь через минуту возник знакомый звук, кабина поднялась, и в то мгновение, когда она проходила пятым этажом, Данилов увидел в кабине румяного злодея Ростовцева. И Ростовцев заметил Данилова. Возможно, он был намерен выйти на пятом этаже, но при виде Данилова раздумал и поехал выше. Данилов махнул рукой, пошел вниз по лестнице. Когда он был на первом этаже, кабина с Ростовцевым опустилась туда же. Данилов остановился, и тут кабина понеслась вверх. «Ну ладно, его дело,— подумал Данилов.— Пусть катается».

27

В театре Данилов узнал, что привезли несгораемые шкафы для инструментов оркестра. Трубач Тартаковер исполнил «Славься» в честь администрации и профсоюзов. Не один Данилов имел дорогой инструмент. Были в оркестре замечательные скрипки, деревянные духовые, да и медные, редких свойств и судеб. И их стоило холить и беречь, как Альбани. Данилов получил ключ от именного шкафа, вбил гвоздь для плечиков фрака, подумал, что инструменту в шкафу будет тепло и просторно, и как хорошо было бы, если бы он, Данилов, устраивал теперь в несгораемом шкафу свой Альбани. Данилов так и присел возле шкафа. В суете последних дней он почти не вспоминал об Альбани. А вот теперь ему стало худо. Будто пропажа только что обнаружилась. Данилов захотел сейчас же пойти позвонить в отделение милиции. Он пошел и позвонил. Ему ответили, что пока альт найти не удалось, но розыски ведутся, сейчас они поручены старшему лейтенанту Несынову.

«Да зачем я! — спохватился Данилов.— Опять будто дитя малое! Что я занятых людей обременяю пустыми хлопотами! Теперь еще и лейтенанта Несынова! Ведь известно: не было Альбани и не будет! И не должно быть! Переслегина я обязан сыграть на простом инструменте. Или меня следует держать подальше от музыки!»

Однако Данилову было тоскливо. Звуки Альбани опять возникли в его душе...

— Хорош шкаф-то? — услышал он голос Земского.

— Хорош,— согласился Данилов.

— Хорош... Я думаю свой обить сукном... Черным... Могут ведь профсоюзы, если захотят...

— Могут...

— Этот Туруканов напорист,— сказал Земский, имея в виду виолончелиста Туруканова, месткомовского удальца,— ему бы работать директором магазина или снабжением ведать на заводе... Но нынче эта скотина хороша!

Данилов кивнул. И он считал Туруканова порядочной скотиной, однако за шкафы следовало ему поклониться в ноги.

— Ну как,— спросил Земский,— не разгадал тайну М. Ф. К.?

— Не разгадал,— сказал Данилов.

— Говорят, у тебя скоро будет сольное выступление. В клубе завода «Прожектор».

— У меня?

— У тебя. С молодежным оркестром. Будто вы исполните симфонию какого-то начинающего...

— Откуда вы знаете?

— Знаю,— сказал Земский.— Стало быть, рискуешь начать в твоем-то возрасте? Ну что ж... Коли будет провал, так уж с грохотом... Не боишься?

— Боюсь,— сказал Данилов и отвернулся от Земского.

«При чем тут «Прожектор»?» — подумал Данилов. Впрочем, он знал, что Земский подрабатывает в оркестрах заводских народных опер, там уж он водит смычком по струнам как следует, добиваясь громких звуков, какие и в бухгалтериях были бы слышны. Вот откуда Земский мог иметь сведения о клубе завода «Прожектор».

Следом Данилов вспомнил о своем интересе к происхождению изумрудов. В библиотеке театра книг по минералогии не оказалось, хотя у них на основной сцене и шел когда-то «Каменный цветок». Данилов взял энциклопедию, прочитал про изумруды. Мнение энциклопедии его озадачило. То ли опиралось оно на устаревшие теории, то ли хлопобуды морочили наивную Клавдию. Так или иначе, но любопытство Данилова обострилось, теперь и не в хлопотах Клавдии было дело. Данилов решил зайти в научную библиотеку, там познакомиться с последними суждениями об изумрудах. Действительно, как они, изумруды, растут... В чем их тайна? В чем их откровение? Данилов даже напел тему белки из вступления к третьему акту «Царя Салтана». Как там у Александра Сергеевича: «ядра чистый изумруд»... Однако пошла работа, репетиции и спектакль, потом была Наташа, только утром, у себя в Останкине, Данилов вспомнил об изумрудах.

Но тут же и забыл о них. Позвонил Переслегин.

Звонил он откуда-то из автомата. Данилов слышал звуки трамваев. Переслегин сказал, что все складывается удачно, Данилову надо завтра же встретиться с Юрием Чудецким, дирижером моло-

дежного оркестра, оркестр хороший, полный состав, все профессионалы, пусть Данилов не волнуется. А исполнять симфонию, если Данилов, конечно, не раздумал, ему придется через три недели.

— В клубе завода «Прожектор»? — спросил Данилов.

— Нет,— сказал Переслегин,— во Дворце энергетиков. Мы договорились сначала с «Прожектором», но они передумали. И это хорошо. Клуб у них для оркестра маленький, у энергетиков куда больше.

— Я завтра свободен утром, в девять.

— Вы будете дома?

— Дома.

— Хорошо. Чудецкий к вам зайдет в девять. Владимир Алексеевич, рад был услышать вас. Я побегу. Хлопоты. Да и барабанят уже в стекло...

— Погодите...— произнес Данилов, но Переслегин, верно, сел в трамвай.

«Экая досада,— подумал Данилов,— я ведь так хотел поговорить с ним и о симфонии, и о музыке, и о жизни, и о выступлении... Да что же это мы! Будто не музыкой заняты, а мылом торгуем...» И были люди, которым Данилов хотел бы открыть душу, да со временем не выходило. Вот ведь как. Петр Ильич — тот в письмах к благодетельнице фон Мекк высказывал свои соображения о музыке и искусстве, изливал душу, а как быть при телефонах? Данилову остро захотелось вступить в переписку с Переслегиным. Он тут же нашел большой лист бумаги. Вспомнил известного композитора. Тот встретит тебя, поговорит, а через два дня случается получить от него письмо. А зачем, спрашивается, письмо, когда и при встрече можно было все сказать? Над тем композитором смеялись: эка, пишет письма для истории, для томов музыкального наследства! Но теперь-то Данилову стало ясно, что композитор писал послания прежде всего для самого себя — какие сейчас при встречах на бегу душевные беседы! Вот Данилов и взялся за письмо к Переслегину. Однако скоро понял, что послание у него не выйдет, то ли разучился он писать длинные письма, то ли вообще не умел писать их. Открытки еще с дороги, из аэропортов в непогоду, с любезными и пустыми словами отправлял приятелям и приятельницам. Вот и все. И теперь записка коекак могла у него выйти, но в записке он бы сказал Переслегину не больше, чем пять минут назад по телефону. Данилов расстроился и дал себе слово в свободные часы поучиться писать письма. Чтобы были протяжные и неспешные. Как в девятнадцатом веке. Или еще раньше.

«Три недели! — спохватился Данилов.— А время «Ч»? Они на меня понадеются, а меня — раз! — и след простыл». Однако тут же Данилов запретил себе думать о времени «Ч». Как будто бы оно касалось не его, а другого Данилова.

Данилов убрал ручку и бумагу, решил: «Вот завтра придет дирижер Чудецкий, с ним мы и поговорим о музыке. Я его сразу не отпущу». Данилов даже купил бутылку коньяка. Однако в девять

утра Чудецкий не пришел, а позвонил. Условился с Даниловым о часах репетиций, извинился, сказал, что спешит, и повесил трубку. Теперь Данилов и Чудецкому желал написать письмо.

Он вздохнул, убрал бутылку коньяка, пошел в автомат на улицу Королева выпить пива.

Мужчины возле автомата стояли всегда, но нынче их было больше обычного. Данилов заметил знакомого оператора с телецентра, спросил:

— Что это?

— А Коля, водопроводчик,— сказал оператор,— за двадцать копеек показывает дым.

Тут же мужчин, то ли выпивших пива, то ли еще не пивших, окутало паровозным дымом.

«Про дым-то я забыл! — ужаснулся Данилов.— Надо сейчас же дым прекратить!»

— Вова! — водопроводчик Коля, выйдя из восхищенной толпы, направился к Данилову.— Я тебя пивом угощу!

— У меня есть,— сказал Данилов.— Я рубль разменяю.

— Что менять-то! — Коля чуть ли не обиделся.— Вон сколько двугривенных для автомата. За дым. Дыхнешь — дают двадцать копеек. А кто и с сушками.

— А не тяготит вас дым? — осторожно спросил Данилов.— Вы к врачам не обращались? Вдруг бы они и вылечили...

— Зачем мне врачи? От чего мне лечиться? Мне дым не мешает. Я когда дышу и говорю, он не идет. Могу петь.— Тут Коля остановился и запел: «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда», и верно, дыма из него не вышло.— И ем я хорошо. Иногда только мясо пахнет костром. Вроде шашлыка. Это когда я из глубины дыхну, то дым. А людям нравится. Просят. Как-то я три раза подряд дыхнул, дали воблу.

— Но, может, вы хотите от него отделаться? Не мучит он вас?

— Да ты что! — Коля поглядел на Данилова с укором.— У меня жизнь интересная.

«Ну коли так,— подумал Данилов,— что ж я его буду дыма лишать...» Ведь и вправду: вдруг он, Данилов, испортит жизнь человеку. Пусть дышит как хочет. Данилов опустил в щель автомата двугривенный, подаренный Колей, наполнил кружку, но, отпив два глотка, о пиве забыл. В нем возникли вдруг слова и чувства, какие он хотел бы передать и Переслегину и Чудецкому. Явились бы к нему сейчас листы бумаги, он бы их все исписал. «Что я стою-то здесь, пойду домой, напишу им письма. О музыке. Обо всем». Он пошел. Однако его намерениям помешал телефонный звонок.

У звонившего был лирический бас, годный, если бы собеседник Данилова пел, и на баритональные партии — князя Игоря или Мазепы. Вроде бы Данилов его где-то слышал, но где? Говорил незнакомец тихо, таинственно и вместе с тем так, будто Данилов сидел у него дома в клетке. Данилов проверил голос индикатором: нет, звонивший был местной личностью.

— Мне любопытна ваша таинственность,— сказал Данилов.— Однако вы даете мне понять, что вам многое обо мне известно, стало быть, вы знаете, что у меня мало времени, поэтому прошу вас перейти к сути дела.

— Пока и дела-то никакого нет,— сказал незнакомец,— а есть предложение.

— Какое же?

— Сотрудничать с нами.

— А кто вы такие?

— Ну как вам сказать...

— Так и скажите.

— Настасьинский переулок, квартира Ростовцева...

— Хлопобуды, что ли?

— Это несерьезное слово... Но пусть хлопобуды...

Теперь Данилов узнал. Говорил с ним пегий человек с бакенбардами, возможно секретарь хлопобудов, заполнявший обычно их вахтенный журнал или конторскую книгу. Но возможно, и не секретарь.

— Вы секретарь с бакенбардами,— сказал Данилов.

— Как вы узнали?

— Я музыкант. Должен иметь слух.

— Звонок мой как бы официальный.

— Вас Клавдия Петровна надоумила?

— При чем тут Клавдия Петровна! Клавдия Петровна — из очереди! Мы вышли на вас сами. А Клавдии Петровне вовсе и не следует знать о моем звонке.

— И чем же вызван ваш официальный звонок?

— Наша инициативная группа — особая, экспериментальная, впрочем, вы имеете о ней некоторое представление. Мы пока самодеятельная группа, но то, что мы делаем, хотя бы своими анализами и прогнозами, должно принести несомненную пользу обществу...

Тут Данилов чуть было не сказал о сомнительности затеи хлопобудов с изумрудами и дипломами, но сообразил, что подведет Клавдию. Промолчал. Он вспомнил о пятнадцати рублях и солидных людях, стоявших с чернильными номерами на ладонях в прихожей у Ростовцева. Сказал:

— Неужели люди из вашей очереди и есть общество?

— Идет эксперимент, и мы можем охватить лишь определенную группу людей, наиболее восприимчивых к условиям нашего опыта.

— Хорошо,— сказал Данилов.— А я вам зачем? Я и в очередь-то не вставал.

— У нас много трудностей. Особенно в области научного прогнозирования. Нам нужна ваша помощь. Естественно, она будет вознаграждена.

— Моя помощь? — удивился Данилов.

— Да,— сказал пегий человек.— Мы знаем о ваших возможностях.

— Я артист оркестра. Какие у меня возможности?
— Речь идет не о ваших музыкальных способностях.
— А о каких?
— Вы сами знаете о каких...
— Вы меня с кем-то спутали.
— Нет. Мы о вас знаем все.
— Откуда же?
— У нас есть люди.
— Эти люди сами ошиблись и вас ввели в заблуждение.
— Значит, наше предложение вы принять не хотите? — угрюмо спросил пегий человек.
— Ваш звонок я расцениваю как шутку, какую я оценить не могу из-за отсутствия чувства юмора.
— Печально. И для нас. И для вас. Мне хотелось бы дать вам время подумать, чтобы потом вам не пришлось жалеть о своем легкомысленном отношении к важному делу.
— Вы говорите таким тоном, будто угрожаете мне.
— Возможно, что и угрожаю. Безрассудное упрямство следует наказывать... Потом, вы, видимо, не верите в нашу серьезность и в нашу силу, вот вы их и почувствуете...
— И что же будет?
— Будут и мелкие неприятности... Скажем, в театре... Ну, предположим, на гастроли в Италию вы не поедете...
— Еще что?
— Вряд ли отыщет милиция альт Альбани...
— Так... Далее...
— Через три недели должно состояться ваше выступление в Доме культуры медицинских работников...
— Отчего же не во Дворце энергетиков?
— Во Дворце энергетиков срочно устроят конкурс бальных танцев, оркестру придется искать другой зал...
— Ну хорошо, в Доме культуры медицинских работников... И что же?
— Так ваше выступление не состоится... Оно, возможно, и нигде не состоится...
— Хватит! И меня можно рассердить.
— Это как вам будет угодно.
— Вы ведь себе противоречите. Вы приписываете мне какие-то особенные возможности и пугаете меня мелкими неприятностями. Но если у меня возможности, что мне ваши угрозы! Не подумать ли вам в таком случае, как самих себя обезопасить от неприятностей?

Секретарь хлопобудов, видно, растерялся. Молчал, дышал в трубку. Потом сказал, но не слишком решительно:

— Видите ли, тут особый случай, мы, наверное, не нашли подхода к вам, а потому разрешите считать наш разговор предварительным... Мы к вам по-земному... А вы, возможно, на своих высоких ступенях полны иных чувств... Возможно, вас обидели слова о вознаграждении... Это чуждо вам... Я понимаю... Мы шли

здесь на ощупь... Но и вы нас поймите... Мы пытаемся заглянуть в будущее, и отчего же... существу... предположим, попавшему к нам из более высокой цивилизации, пусть и занятому своими целями, нам неведомыми, не помочь хоть капелькой своего богатства энтузиастам приближения будущего на Земле...

— Вы меня, что ли, под существом имеете в виду?

— Нет, это я в теоретическом плане...

— Вы меня пришельцем, что ли, считаете? Так я прошу вас ввести в хлопобуды профессора Деревенькина, он все объяснит вам насчет пришельцев.

— Ирония здесь неуместна,— уже мрачно сказал пегий человек.

— А дальнейший разговор излишен.

— Печально. У нас ведь есть земные возможности, и как бы вам все же не пришлось сожалеть...

Договорить секретарю хлопобудов Данилов не дал, повесил трубку. «Жулики вы и будохлопы! — произнес он вслух.— Еще вздумали угрожать!» Он храбрился, но ему было худо. Мерзко было. Откуда они столько узнали о нем? И что за поводы он дал подозревать его пришельцем? Кто им поставил сведения? Клавдия? Ростовцев? Или, может быть, хлопобудный компьютер? Или Кудасов?

Не хватало еще и хлопобудов! «И так носишься,— думал Данилов,— а теперь еще и хлопобуды! Но, может, я зря, может быть, они и вправду полезные и умные люди, а деньги берут лишь на карманные расходы?..» Данилов опять вспомнил людей, стоявших в прихожей Ростовцева, и почувствовал, что они ему чужие. К дельцам, доставалам, пронырам душа у него не лежала. Нет, сказал себе Данилов, даже если хлопобуды узнают, что в музыке и в любви к Наташе он может быть только человеком, а стало быть, уязвим, и тогда он их не устрашится, ни в какое сотрудничество с ними вступать не будет.

28

Теперь Данилов спал часа по четыре в сутки. Его просили зайти в милицию к следователю Несынову, он не выбрался.

Он позвонил в оркестр на радио и сказал, что не сможет пока играть с ними. А ведь деньги были ему нужны.

Он играл в театре, играл дома, ездил на репетиции с оркестром Чудецкого. Когда играл, ему было хорошо. Когда отдыхал и думал о своей игре, сидел мрачный. Репетировали в утренние часы в зале Дворца энергетиков. Оркестранты были люди молодые, Данилов пришелся бы им старшим братом, по вечерам они работали кто где, кто в театрах, в том числе и драматических, кто в Москонцерте, кто в ресторанных ансамблях. Все они были недовольны своим теперешним положением, и то, что они были вынуждены исполнять на службе, им не нравилось. Душа их рвалась к большой музыке. Пусть за эту музыку и не платили. Все они, если

разобраться, были юнцы, еще не утихшие, жаждущие простора и признания, уверенные в своих шансах сравняться с Ойстрахом, Рихтером, а кто — и с Бетховеном. Первый раз на репетицию Данилов ехал в ознобе, в ознобе он вышел и на сцену. Чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг другу они уже знали цену. Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома, да и не наверное, а точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил. Но, естественно, и по пюпитрам стучать никто не стал. Отношение к нему было спокойное, как бы деловое. Ну, сыграл — и ладно. Данилов отошел в сторонку, присел на стул, опустил инструмент. Чудецкий с Переслегиным стояли метрах в пяти от него, говорили озабоченно, но не об его игре и не об игре оркестра и других солистов — валторны и кларнета, а о том, что симфония звучала сорок четыре минуты, Переслегин заметил время. Это много, считали они.

Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете. Ему стало холодно, будто он без шапки и в плаще оказался на льдине в полярных водах, ветер сбивал его с ног, подталкивал к трещине, становившейся все шире и страшнее. Яма в театре представилась сейчас Данилову местом спасения. «Что я лезу-то в калашный ряд!» — отругал себя Данилов.

Композитор Переслегин сказал ему: «Как будто бы ничего...» И все. Имел он в виду то ли игру Данилова, то ли свою музыку. То ли успокаивал Данилова, то ли успокаивал себя. Переслегин тут же ушел куда-то, и Данилов решил, что Переслегин им недоволен, но из деликатности говорить ему об этом, да и никому, не стал, ведь он сам отыскал именно Данилова, сам его смутил и подтолкнул к дерзости. «Да и когда автор был доволен исполнителем!» — сказал себе Данилов, однако ему не стало легче. Дирижер Чудецкий подошел к нему. Чудецкий был Данилову ровесник, манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем и нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и не заслуженного, а народного. Чудецкий вежливо высказал Данилову замечания, уточнил время новой репетиции и добавил: «Думаю, что симфония прозвучит...» Но как-то вяло добавил.

«Прозвучит-то прозвучит,— говорил себе Данилов, сидя ночью над партитурой,— весь вопрос — как...» Теперь он понимал: утром музыка оркестра смяла его, раздавила, подчинила себе голос его альта. Да и был ли слышен этот голос, этот слабый писк? Выходило, что Данилов явился не готовым к репетиции. Дома он играл музыку Переслегина с удовольствием, радовался и ей и себе, но симфония превратилась для него как бы в концерт для альта, он словно бы забыл, что его альт существует в партитуре, не сам по себе, а в вечных столкновениях или перемириях с валторной и кларнетом, и уж конечно со всем оркестром. Нынче утром его альт был как будто бы удивлен тому, что на него обрушились звуки оркестра, что они терзают его, требуют от него чего-то, зовут куда-то или успокаивают с материнской нежностью, альт Данилова

растерялся от всего этого, как растерялся и сам Данилов, а потому звучал лишь старательно. Стало быть, и посредственно. Да, Данилов внимательно читал партитуру Переслегина, но оркестр звучал в нем, видно, не так, как следовало ему звучать. А потом и вовсе затих, пропал куда-то, оставив инструмент Данилова в одиночестве. Сегодня же музыка Переслегина удивила Данилова. Она была мощная, нервная, широкая, порой трагическая, порой нежная, порой ехидная и ломкая, порой яростная. Альт в ней жил человеком, личностью, возможно — Переслегиным, или нет, им, Даниловым, с его прошлым и его вторым «я» — валторной и кларнетом, оркестр же был — толпой, жизнью, веком, Землей, вселенной, в них и существовал альт. То есть должен был бы существовать. Утром Данилов был на сцене, но будто бы сидел в своей комнате и там музицировал сам для себя, а жизнь и век шумели за стенами дома в Останкине. Только услышав оркестр, Данилов понял, как велик мир, переданный звуками симфонии, и как важен в этом мире голос альта. Симфония была не о мелкой личности, нет. Личность эта как будто бы соответствовала веку и вселенной. Но соответствовал ли этой личности голос альта? «Отчего он взял альт? — думал теперь Данилов.— Разве можно альтом передать сущность современного человека, деятельного причем? В особенности мужчину. А впрочем, и женщину тоже. Тут нужна труба, или ударные, или саксофон. Или рояль на худой конец. А то — альт! С его тихим голосом, с его изысканными манерами. Он свое отзвучал в воздушные времена Ватто... Теперь небось и Переслегин казнит себя за то, что вывел солистом альт...» Но эти мысли тут же вызывали у Данилова обиду за альт. Он объяснял себе, что Переслегин намерен был рассказать о натуре тонкой, душевной, не трубой же и не ударными тонкую-то натуру передавать! Другое дело, что Переслегину был нужен иной альт. А главное — иной исполнитель.

Так терзался Данилов. И день, и два, и три. После четвертой репетиции он осторожно сказал Переслегину, что еще не поздно пригласить другого альтиста. «Нет, нет!» — решительно возразил Переслегин. И опять ушел куда-то. Впрочем, Данилову казалось, что Переслегин и Чудецкий смотрят на него теперь благосклоннее. Да и в глазах оркестрантов к нему как будто бы появилось больше любопытства. Однако Данилов ходил мрачный, бранил себя.

Теперь он, казалось ему, понимал, как следует играть музыку Переслегина. И оттого, что понимал, еще больше расстраивался. Разве он так сыграет? А ему хотелось сыграть хорошо, и уже не для себя, а для Переслегина, для музыкантов, составивших молодежный оркестр, для людей, какие, возможно, через пятнадцать дней придут во Дворец энергетиков. День выступления казался ему черным пределом. Хорошо ему было жить прежде с одними упованиями о своем будущем в большой музыке. Вот оно, будущее, и наступало. Реальное, жестокое. Всем упованиям Данилова оно могло положить конец. Да что могло! Должно было!

Иногда Данилов злился на свой инструмент, вздыхал: «Вот бы Альбани...» Но разве дело было в Альбани! Кабы в Альбани! Данилов осунулся, а и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квартире, оставив инструмент и ноты, подходил к окну, пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миша Коренев, о чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода, когда Миша прыгнул, рамы были проклеены бумагой, и Мише пришлось с силой рвануть створку...

Не сразу Данилов отходил от окна... Мысли о тишине были соблазнительны. Вдруг Земский прав? Данилов чувствовал в себе симфонию Переслегина, все ее звуки и звуки своего альта, но он знал, что не сможет передать людям их так, как он их чувствовал. Да и никогда он не создаст именно эти звуки! С трудом Данилов заставлял себя брать инструмент. И играл, играл... Не думал ни о чем, просто играл. Окончив какую-либо часть симфонии, говорил себе: «Да нет, что же я, ведь неплохо, лучше, чем в прошлый раз, не такая я уж и бездарность...» Однако проходили минуты, возвращались мысли о собственном несовершенстве, чуть ли не плакать хотелось... Он стал раздражительным. Вещи, не слушавшиеся Данилова, злили его. Он готов был их разбить или сломать. В театре коллеги удивлялись Данилову, для них он был ровный, мягкий человек, вежливый, как старый петербуржец, а тут словно преобразился. Он и на репетициях во Дворце энергетиков нервничал, и не раз. Однажды чуть было не поругался с Переслегиным. Переслегин тоже был в раздражении, ему не нравилась и своя музыка, и оркестр, и игра Данилова, и, наверное, то, что альт солировал у него в симфонии. Он ходил по сцене дровосеком, явись ему сейчас топор в руки, он порубил бы в ярости и пюпитры, и инструменты, в том числе и медные. Походив, он бросил оркестру, а потом и Данилову обидные слова. Данилов, как будто бы готовый принять любой упрек в свой адрес, все же не выдержал и тоже обидел словом композитора. Про себя подумал: «Тоже мне! Большой мастер! Чайковский! Вагнер! Строит из себя гения... А сам-то кто! Сочинил симфонию в семи частях, не знает почему, а думает, что гений».

Только в вестибюле Данилов пришел в себя. «Что я — базарная баба, что ли? Да пусть в семи частях и есть претензия, так что же — от этого музыка вышла плохая? Ведь нет! А Успенский, тот симфонию написал в двадцати с лишком частях, и как написал! Что взъяряться-то! Скажи спасибо, что за тебя все хлопоты произвели и пригласили на готовое». Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление. Да и что иронизировать по поводу семи частей, ведь, играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфонии, наоборот, выходило, что именно семь частей и были нужны. «Экая я скотина,— думал Данилов,— надо бранить себя, а я Переслегина...» Им бы с Переслегиным быть теперь как одно, слиться мыслями и чувствами, а они смотрели друг на дру-

га врагами. Переслегин, похоже, теперь его, Данилова, лишь терпел. И Данилов вел себя так, будто был не рад, что связался с Переслегиным и его музыкой. А ведь оба они были взрослыми мужчинами!

«Хоть бы Земскому, что ли, душу излить?» — думал Данилов. К Земскому его тянуло. Но опять бы он услышал слова о спасительной тишине. Данилов же и без Земского, перелистывая книгу о Хиросиге, наткнулся на слова учения «юген» — «Истина — вне слов». А истина музыки, стало быть, вне звуков? Во всяком случае, она вне звуков его бездарного альта! Лучше уже тишина как исход и успокоение. Лучше уж распахнутое окно и прыжок в тишину...

Нет! Это было не для Данилова. Теперь при мыслях об окне Миши Коренева Данилов приходил в ярость, сразу же брал альт и смычок.

В этой своей ярости он поссорился с Наташей. Дважды он обещал Наташе приехать к ней — и все не получалось. Наконец она позвонила ему, он играл, не сразу вернулся в реальность, сказал Наташе что-то нескладное, резкое, она обиделась. В другой раз он сразу бы нашел Наташу, повел бы себя дипломатом и все б уладил в мгновение. А тут он и сам обиделся. «Она и понять меня не может,— думал Данилов,— что ей моя музыка!» На следующий день после спектакля он все же бросился к Покровским воротам и по дороге к знакомому дому встретил Наташу, она прогуливалась под руку с молодым человеком. Наташа Данилову сухо кивнула и пошла дальше. Она была красива, отчего же не прогуливаться с ней молодому человеку? Данилов вначале рассвирепел. Но что было свирепеть и возмущаться? Какие он имел права на ее свободу и симпатии! Да и был в ее судьбе уже человек со скрипкой, много ли радости мог принести ей еще один неуравновешенный музыкант! Тут же пришли на ум и слова Клавдии: «Наташа — совсем не простая...» Значит, и не простая. Для успокоения Данилов убедил себя в том, что не только он Наташе не нужен, но и она ему не нужна. Убедил без труда. Он так уставал сейчас от музыки, что на женщин не глядел. Да и что общего, думал Данилов, может быть у них с Наташей? Она так легко обиделась на его резкость, стало быть, и понять не могла — или не хотела! — что творится сейчас с ним. Что ей до его дела, до его переживаний! Эта мысль была сладкая. Но тут же явилась и мысль неприятная. А он-то знает, что сейчас на душе у Наташи? Страдает она или нет? Похоже, это его и не интересовало... Не говорил ли ему Земский, что он обречен на одиночество? И на жестокость. То есть не он, а Большой Артист. Но ведь Данилов и был намерен стать Большим Артистом. Впрочем, эти намерения жили в нем до нынешних репетиций. Теперь они сконфузились и утихли. «Какой уж тут большой артист!» — думал Данилов. Он считал сейчас, что ему очень хочется исполнить музыку Переслегина. Он ее и исполнит. И все. Однако иногда, на минуты, оживали и прежние упования. А вдруг...

«Нет, наверное, я и есть одинокий себялюбец,— сокрушался Данилов.— Много ли я думал о людях, мне дорогих? Вот я и одинок...» Тут же он вступал с собой в спор. Отчего же он одинок? У него много приятелей, Муравлевы в частности, им интересны и близки его порывы, его дело, они готовы выслушать любые его излияния, а если возникнет нужда, тут же бросятся ему помогать. Пустому себялюбцу стали бы они помогать? Вряд ли... Другое дело, что сам он из-за тайной своей жизни старается быть на некоем расстоянии от людей ему приятных. Чтобы не навредить им. Быть одиноким он не хотел, и жестокость вовсе не в его натуре. Он желал любить и жалеть. Он бы и сейчас ради дорогого друга, бросив альт, побежал с авоськой в магазин или в аптеку за горчичниками и кислородной подушкой... Да и теперь он не то чтобы проявляет себя эгоистом, просто в суете и хлопотах не успевает заниматься лишь своими делами, на чужие у него не остается ни времени, ни сил... Но в искусстве он, и верно, будет всегда одинок, творцы — одиноки, кто же вместо него, Данилова, создаст музыку? Тут он один. Он да альт...

Так Данилов размышлял, то ругал себя, то оправдывал. То давал себе слово стать иным. А каким — он и сам не знал. При всем при этом мириться с Наташей он не был намерен. Данилов дулся на Наташу. Он бьется с музыкой Переслегина, а она гуляет с молодым человеком... Ну и пусть. Ну и ладно. Ей будет лучше оттого, что она оборвет отношения с Даниловым. Ну и ему лучше. Музыке его никто не станет мешать...

Наконец на репетиции Данилов остался доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а альтист Чехонин. «Ну что же,— успокаивал себя Данилов,— и Чехонин достоин поездки». Хотя и знал, что Чехонин музыкант скверный. И другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучный. Было обидно, следовало сейчас же идти в кабинеты, требовать, упрашивать. Однако Данилов и прежде никуда бы не пошел, теперь же он и вовсе не желал тратить нервную энергию. Данилов вспомнил о звонке пегого хлопобуда. «Вот оно, старца проклятье!..» Может, конечно, и не оно... Наутро Данилов осторожно поинтересовался у дирижера Чудецкого, не будет ли каких затруднений с залом Дворца энергетиков.

— А что такое? — удивился Чудецкий.

— Да нет, я так... Я к тому, не замышляется ли тут конкурс бальных танцев...

— Сейчас узнаю,— сказал Чудецкий.

Ушел он легким маэстро, судьбой предназначенным для вальсов и полек Штрауса, вернулся серьезным музыкантом, готовым к Шестой симфонии Петра Ильича.

— Действительно, затеяли конкурс бальных танцев,— сказал Чудецкий.— Опять у нас начнется беготня...

— Досадно,— сказал Данилов.

— Досадно,— кивнул Чудецкий.— Но не мы одни такие... Есть и театры.

Данилов хотел было намекнуть насчет Клуба медицинских работников, но удержался. «Ну спасибо, хлопобуды! — подумал Данилов.— Я ведь и впрямь рассержусь...»

Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Раньше бы он припрыгал к телефону в надежде услышать Наташин голос. А теперь и Наташин голос не смог бы заставить его двигаться быстрее. Звонила Клавдия. Она страдала, ей было плохо, она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра.

— Извини, но у меня совсем нет времени,— сказал Данилов, зевая.

— Володенька, я тебя никогда ни о чем не прошу, а теперь прошу... Ты должен мне помочь...

«А ну ее!» — подумал Данилов. Однако он смутился. Голос Клавдии звучал непривычно жалко. Будто и впрямь с ней что-то стряслось. Позавчера Данилов корил себя за эгоизм, а теперь вот отказывается помочь человеку в беде! Да и тянуло теперь Данилова узнать от Клавдии нечто новое о хлопобудах, этих смельчаках и умницах...

К Клавдии он выбрался за час до вечернего спектакля, ехать следовало на квартиру Войнова.

Клавдия встретила Данилова в шелковом халате, с платком на голове, укрывшим бигуди. Выглядела она озабоченной и деловитой. А Данилов шел к ней в тревоге, думал, что Клавдия выйдет в слезах, бросится к нему на грудь за утешениями. «Опять морочила голову!» — обиделся Данилов.

Был дома и профессор Войнов. Данилову он пожал руку. Данилов заметил, что живот у Войнова убавился. Войнов последние недели бегал трусцой. Он и сейчас, крупный, широкий в кости, в синем тренировочном костюме с белыми лампасами, походил на спортсмена, готового бежать. Но нет, похоже, ему было определено занятие дома.

На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина «Старый замок» с пробками внутри. Войнов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. Язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточки, готов был помочь Войнову советами.

— Пошли, пошли,— резко сказала Клавдия.

— Вчера выходило,— как бы извиняясь перед Даниловым, произнес Войнов,— а сегодня петля соскакивает.

— Данилов, пошли!

— Зачем это он? — спросил Данилов Клавдию в коридоре.

— На всякий случай,— сказала Клавдия Петровна.— Мало ли что...

— Надо леской.

— Мы пробовали. Шнурком надежнее. Да и обойдется шнурок дешевле.

Клавдия провела Данилова в свою комнату, спросила:

— Ну ты что?

— Как что? Ты мне звонила ночью...
— Ах да...— вспомнила Клавдия.— Ну ладно. Пока посиди минуту, я кончу одно дело...
Она уселась за стол, то ли письменный, то ли туалетный, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась, словно Пегги Флеминг по льду во время обязательной программы, росчерки пера получались какие-то особенные и красивые, на листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Впрочем, она мало чем отличалась от личных покоев Клавдии в квартире Данилова, более знакомой. Только здесь над столом, в рамке и под стеклом, группой, «под деревню», разместились портреты женщин. Портреты были черно-белыми репродукциями с гравюр, живописных портретов и кинокадров. Всего из общей рамки на Данилова глядело девять дам. Маргарита Наваррская. Жанна Д'Арк. Екатерина Дашкова на лошади. Зинаида Волконская. Софья Ковалевская. Александра Коллонтай. Софи Лорен. Сама Клавдия. Юная и хорошенькая. Девятую даму Данилов узнал не сразу. Потом понял, что это Миледи из «Трех мушкетеров». То есть Милен Демонжо, игравшая Миледи. «Что же это она их в рамку?» — удивился Данилов.
За стеной раздался стеклянный звук.
Клавдия подняла голову, сказала с досадой:
— Опять уронил бутылку. Вот медведь!
Тут она заметила Данилова и в первое мгновение удивилась ему:
— Посиди, посиди, Данилов...
— У тебя срочное дело?
— Да... То есть не дело, а упражнение. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии. По образцу.
Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол», а сама продолжила разведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он и сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы о бутоньерке, планы рассадки почетных гостей на завтраках с женщинами и без женщин, узнал, что в представительских экипажах с расположением мест друг против друга почетным местом является место на заднем сиденье справа по ходу движения. Шелковой лентой в книге была заложена страница с разделом «Переписка между монархами». Здесь предлагались образцы комплиментов и обращений к монаршим особам. Клавдия, видно следуя советам протокола, и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве.
— Вот,— сказала Клавдия.— Теперь комплимент на месте и концовка верная: «Моей доброй сестре королеве Бельгии». А если бы они были родственницами, пришлось бы добавить: «Моей доброй сестре и дорогой кузине...» А если бы я писала от себя, то окончила бы словами: «Имею честь быть Вашего королевского высочества весьма покорный слуга». Непростое дело. К маркизу следует обращаться: «Весьма достопочтенный маркиз...» Достопочтен-

ный всегда сокращается и пишется: «Дост.». Граф — тот высокочтимый... А епископ — Ваше блаженство...

— Зачем тебе?..

— Ну мало ли зачем...— уклончиво сказала Клавдия.

— Все-таки едешь в Англию?

— Пока нет. Да тут и не только английские правила, тут французские, прочие... Я, может, и без всякой перспективы. А так... Просто интересно...

— И что же ты написала бельгийской королеве?

— Это наш с ней секрет,— строго сказала Клавдия.

— Я вижу, что у тебя увлекательное занятие,— сказал Данилов,— и в моем участии нет никакой необходимости. В следующий раз я вряд ли поверю ночным звонкам. А теперь прошу принять уверения в моем глубоком уважении. С этим я раскланиваюсь.

Данилов встал. Он был сердит.

За стеной опять упала бутылка.

— Ну прости, ну извини,— чуть ли не взмолилась Клавдия.— Я тебе вчера не лгала. Мне и вправду было тошно.

И тут она расплакалась.

Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием — не новая ли это уловка удержать его при себе? Он хорошо знал, какие у Клавдии бывают глаза и какие губы, когда она фальшивит. Нет, выходило — страдания ее были искренними. Данилов расчувствовался.

— Было тошно, не хотелось жить... Я нуждалась в тебе!

— Что-нибудь случилось? — спросил Данилов.

— Ничего не случилось... А так... Тошно, и все... Бегаешь, крутишься, а зачем? Все мелкое... И все пустое!

Полчаса назад Данилов думал сказать Клавдии о сомнительности ее предприятий с изумрудами и дипломами, теперь он был готов расхвалить эти же изумруды и дипломы. Давно он не видел Клавдию такой — беззащитной, смятой жизнью, куда девалась ее победная уверенность в себе!

— Данилов, ушло бы все это! А жить бы просто и для чего-то, и чтобы кто-то верный был рядом! Хоть бы и ты!..

Данилов сидел растроганный, думал: «Может, и вправду стоило быть рядом с ней, а все остальное — ошибка?»

— Это со всеми случается,— сказал Данилов,— находит тоска, и все... Что же отчаиваться? Надо жить. У тебя ведь с будущим связаны большие надежды...

— Какие? — нервно спросила Клавдия.

Однако слезы уже высыхали на ее щеках.

— Ну какие...— осторожно сказал Данилов,— ты знаешь о них лучше меня... Или хлопобуды... Наконец, у тебя будет главная идея... Эта... достаточно сумасшедшая...

— А она осуществима?

— Не знаю... Я и о самой идее не знаю. Не знаю, что тебе на двадцать лет вперед припрогнозировали хлопобуды...

— Независимость! — горячо сказала Клавдия.— Вот моя главная идея!

— От чего независимость? От кого?

— Просто независимость! Независимость с большой буквы!

— Ну знаешь...— развел руками Данилов.

Больше он ничего не мог сказать.

Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде. Данилов чувствовал, что, если он сейчас станет соглашаться со словами Клавдии о неосуществимости ее достаточно безумной идеи, Клавдия сама ринется в спор и с ним, и с собственными словами. Это было хорошо, значит, она отошла от ночных тревог. Наверное, и отошла, раз писала письма королеве Бельгии. Слезы ее были, видно, явлением остаточным...

— А отчего эти женщины оказались вместе? — спросил Данилов, имея в виду портреты в рамке.

— Подумай...

— Странный набор...

— Стало быть, ты плохо знаешь меня, коли считаешь, что странный...

— Теперешнюю — возможно, что и плохо.

— Если все их свойства перемешать и слить в одной! Что было бы! Я б перевернула весь мир!

— У тебя вселенские масштабы?

— Данилов, какие во мне энергии и порывы! Если б ты знал! Но ведь все попусту... Все сгорит во мне... А я бы... Может, конечно, еще и выйдет что...

— Независимость тебе определили хлопобуды?

— Да. Но это тайна. Молчать о ней — в твоих же интересах. Как и в моих.

— Хлопобуды — серьезные люди?

— Они очень серьезные люди.

— Я уже чувствую,— вздохнул Данилов.

— С чего бы вдруг? Ты им не вредил?

— Пока нет.

— Не вздумай вставать у них на дороге. Сметут!

— Не пугайся. Я хожу по другой дороге.

— Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля!

— Зачем?

— Из вашего театра люди стоят. Знают зачем.

— Кто же это?

Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала альтиста Чехонина. Она его и назвала. Еще, по ее словам, в очереди стояли виолончелист Туруканов и один из дирижеров, фамилию его Клавдия не помнила, но знала, что он — дирижер.

— Надо подумать,— сказал Данилов.

— Тут и думать нечего! Ты человек легкомысленный, что тебе будущее! Конечно, ради музыки в очередь вставать глупо. Но хлопобуды и тебе поставили бы прогнозы, возможно, нашли бы и

главную твою идею. Ты стал бы жить серьезнее! Нет, ты встань! Ты хоть мне будешь помогать!

— Но откуда брать деньги на взносы?

— Приработаешь!

При воспоминании о пятнадцати рублях разговор об очереди стал Данилову неинтересным. Да и не собирался он вставать ни в какую очередь! Ему бы теперь вести разговоры с Переслегиным и Чудецким, а он занимался пустой болтовней с Клавдией. Эка Клавдия умеет его прихватывать! А главное — он сам, при всех своих попытках освободиться из-под ее власти, при всех своих горячих внутренних монологах, является и является к ней! Конечно, она напугала его своим ночным звонком. Но что пугаться! Есть у нее утешители. И Войнов среди прочих. Да, наконец, и дамы, собранные в рамке, способны, видно, развеивать сомнения Клавдии. Что он ринулся сюда? Неужели у него и вправду есть потребность во встречах с ней? Или он стал больше уважать ее, в особенности теперь, когда узнал о ее страстях и вселенских намерениях? А ведь она ни разу не заговорила ни о его заботах, ни о его музыке. Но, может, оно и хорошо, что, встречаясь с Клавдией, он на время забывал о музыке? Может, в этих забвениях есть нечто необходимое и целительное? «Не знаю,— сказал себе Данилов,— не знаю...» Но пора б ему было и знать.

— Это у тебя золото? — спросил Данилов, имея в виду медальон, висевший на гвоздике под портретами замечательных женщин.

— Золото,— сказала Клавдия.— К счастью, есть у меня друзья, способные делать и такие подарки.

В словах ее был упрек, но Данилов упрек не принял. Он пошел было к двери, однако Клавдия сняла с гвоздика медальон, открыла его, протянула Данилову. К задней стенке медальона была приклеена фотография попугая с плеча Ростовцева, да и локон, лежавший в медальоне, был определенно от Ростовцева. Данилов поглядел на Клавдию.

— Да,— сказала Клавдия.— Эта вещь — особенная.

Данилов подумал: «Тут и не в вещи дело!» Медальон со стены Клавдия сняла не зря. И уж явно не зря она открыла его и протянула ему.

В соседней комнате упала бутылка, покатилась по полу.

Клавдия проводила Данилова к двери. Заметила вдруг:

— Ба! Да я не заставила тебя снять ботинки! Ты наследил! В следующий раз снимай сразу!

Данилов поглядел на пол, но не обнаружил никаких следов. «Снимай! — подумал он.— Как же! Нашла дурака. Этак при увлечениях Войнова останешься без шнурков».

Уже в лифте Данилов вспомнил, что не спросил Клавдию о Наташе. То есть о том, что имела в виду Клавдия в прошлый раз, когда говорила о Наташе. Ну и хорошо, что не спросил, решил Данилов.

29

Переслегина Данилов, похоже, перестал раздражать. А Чудецкий однажды сказал Данилову и приятные слова.

Играл Данилов лучше. И меньше мучался от своих несовершенств. Хотя и мучался.

Во Дворце энергетиков круто взялись за конкурс бальных танцев, и молодежный оркестр Чудецкого перебрался в Дом культуры медицинских работников. При этом Данилов почувствовал, какие Переслегин и Чудецкий деловые люди. Хотя, впрочем, они, как и он сам, были застенчивые артисты. Но предприятие требовало отваги. И он обязан был подавить в себе жалкие голоса.

Впрочем, теперь, когда дело как будто бы пошло, и не как будто бы, а хорошо пошло, Данилов это чувствовал, жалкие голоса в нем затихали. Да и когда им было звучать! Если только в общественном транспорте, доставлявшем Данилова на репетицию из театра и с репетиции в театр. Но и тут Данилов доставал из кармана «Культуру» или «Советский спорт» и забывал о многом, читая необъективные отчеты об игре хоккеистов «Динамо». В «Спорте» явно сидели спартаковцы. Нередко в троллейбусах и такси Данилов засыпал, а газеты вынужден был дочитывать в лифте. И все же иногда что-то в нем вздрагивало: «Ну сыграешь. И опустишь смычок. И будет — тишина...» — «Кыш!» — говорил тогда Данилов.

Однако на него нашло другое. Теперь, когда он был уверен, что должен сыграть и сыграет Переслегина, Данилову стали являться страхи — как бы ему что не помешало. Хлопобудов он в расчет при этом не брал. И время «Ч» тоже. Время «Ч» ему сейчас и в голову не приходило. Он думал, что вдруг погибнет или умрет накануне выступления. Он смеялся над своими страхами, но смех получался нервный, а страхи не проходили. И не за свою жизнь было ему в этих страхах обидно (хотя и за нее тоже), главным образом досаду и печаль вызывали в нем мысли о том, что он не успеет сказать людям то, что может и обязан им сказать. То есть не сказать, а звуками своего альта открыть им нечто такое, чего они не знали, но о чем догадывались. Никогда Данилов не болел, ни разу не бюллетенил, а сейчас то будто в лопатку ему отдавало, то ломило затылок, то ныл зуб, то в животе случались рези. Иногда кто-то жаловался в присутствии Данилова тоже на затылок или на лопатку, все кивали на погоду, экая дрянь на улице, тут Данилов успокаивался. Однако ненадолго. Вскоре страхи возвращались, и Данилов был уже уверен, что болезнь у него смертельная. Он бегал в поликлинику, но там у него нашли лишь нервную усталость и начальные явления катара желудка. Данилов даже расстроился, что так мало нашли. «Э, нет,— решил он.— Они мне всего не говорят...» Одно было хорошо: впервые в жизни Данилов схватил простуду и получил на три дня больничный. Он выспался. Но в свободную минуту, поразмыслив, удивился тому, что вообще может болеть. Неужели его организм перестраивался?

Утром он почувствовал себя мерзко, на репетицию пришел в дурном настроении. Репетировали они вдвоем с Переслегиным, тот, сев к роялю, играл за оркестр. Кончили, обменялись словами, замолчали, и тут Переслегин спросил:

— Что это вы сегодня выглядите неважно? — И, не дождавшись ответа Данилова, сказал: — Я себя мерзко чувствую. Хоть бы до концерта дожить.

Данилов взглянул на Переслегина удивленно, но и обрадованно: неужели у Переслегина те же страхи? Он открылся Переслегину. И Переслегин обрадовался. «Именно, именно,— сказал он,— именно так все и есть! Со мной это не впервые. Когда писал симфонию и дело шло к концу, вдруг испугался: а закончу ли? Уж уверен был, что вот-вот окочурюсь. Потом прошло... И сейчас перед самой премьерой опять...» Тут они посмеялись над своими страхами, пожурили друг друга, а когда расстались, каждый из них подумал: «С ним-то, верно, что может случиться? А вот со мной еще неизвестно как...»

Впрочем, в тот день коликов в желудке Данилов уже не испытал.

От театра он был еще на один вечер свободен. Сидел дома, ничего не делал. О Наташе приказал себе не думать. Музыка опять занимала его.

Данилов вспоминал секунды скверной игры на репетициях, секунды отчаяния, когда его подмывало сдвинуть пластинку браслета. Но это мальчишеское желание могло привести лишь к минутному триумфу или потрясению, а ничего бы не изменилось. Просто он, Данилов, был бы в те мгновения не творцом, не артистом, не личностью, а патефонной иглой. И в лицее и позже, находясь в демоническом состоянии, Данилов любил играть на многих инструментах. И тогда, конечно, требовались для музыки некие навыки и способности. Главным были не возможности его, Данилова, личности, а возможности его демонического положения. В любой миг он мог бы ощутить вечную музыку от ее простейших звуков до ее пределов, понять все ее изгибы, все ее законы, и не только ощутить и понять, а и услышать ее звуки и волны или почувствовать их в себе. Мог при желании любую музыку, и прошлую, и будущую, исполнить на любом инструменте. Но чужое откровение ему наскучило. И принимать это откровение стало для него унизительно. Он был проигрыватель музыки. А Данилов во всем желал своего, то есть того, что бы делало его личность личностью. Вот как человек он постигал музыку с удовольствием. Все открывал сам. Чаще мучался и страдал, но уж и радовался иногда, как творец. Увлекала его и неизвестность. Что дальше-то будет с музыкой и с ним в музыке? Вдруг он достигнет такого совершенства, осмелеет до такой дерзости, что и сам эдак плечиком хоть чуть-чуть, но подтолкнет музыку... куда?.. вперед?.. выше?.. Что значит — вперед, выше, дальше?.. куда-то, он еще и не ведает куда, на новое место. Но уж без всяких чудес с браслетом — так он себе положил! Мало того, что он оказался бы тогда не на равных с

людьми — это было бы скучно, пошло, это было бы шарлатанство и заблуждение, более ничего. Теперь он как будто бы мог сделать один из важных своих шагов, нет, он ничего еще не подталкивал плечом (да, возможно, ему и не суждено подтолкнуть-то), однако нынче он был убежден, что его существование будет оправдано именно тем, что он исполнит симфонию Переслегина. Нужна она людям или нет — это другой вопрос, но он им откроет ее. А потом уж пусть с ним случается то, что должно случиться.

При этом Данилов думал о Земском. Земский, наверное, прошел многое из того, что ему, Данилову, еще предстоит пройти. То есть дороги у них разные. Но муки и сомнения одинаковы на всех дорогах художников. И ведь Земский не скис, не пал духом, а хлопочет о вечном. Претензия у него большая. Однако Земский полагает, что выстрадал на эту претензию право...

Мысли Данилова о Земском были прерваны звонком Муравлева. Муравлев приглашал Данилова в гости, жена его уже готовила плов и жарила баранью ногу, купленную на Бутырском рынке. Данилов быстро собрался и поехал на Нижнюю Масловку. Проезжая мимо Савеловского вокзала, он вдруг подумал, что прежде, в подобные дни, наверное, сдвинул бы пластинку браслета и позволил себе отдохнуть или развлечься. Может быть, искупался бы в молниях, а может быть, перенесся в Анды, в пещеру, там бы полежал в одиночестве и покое. А он теперь думать забыл о купаниях в грозу и о полетах в Анды! Ехал к Муравлевым и знал, что там ему будет приятно и сытно, а потом он посидит в тепле, в спокойствии или подремлет...

Данилов расцеловался с Муравлевым, поздоровался с их сыном Мишей и взятой недавно на воспитание грамотной собакой Салют дворовой породы. Какие запахи текли из кухни! Собака Салют и та облизывалась. В прихожей Данилов заметил жокейские сапоги, Муравлев увлекся верховой ездой, в свободные часы на кауром жеребце разъезжал по аллеям Петровского парка. Он и Данилова звал кататься. Данилов слушал Муравлева с завистью, думал: «А что, и в самом деле, когда пойдут дни поспокойнее, надо будет попробовать...» Данилову дали мягкие домашние туфли Муравлева, отвели в комнату, усадили в кресло возле стола, но и так, чтобы Данилов мог видеть телевизор. Хозяйка хлопотала на кухне, Муравлев, читая на ходу газету, протирал вилки и ножи, и вокруг Данилова шла жизнь — резвились собака Салют и обычно задумчивый пионер Миша. «Салют, анкор, анкор!» — кричал Миша, размахивая горном, и собака Салют хотя никуда и не прыгала, но все же старалась отгрызть кусок домашней туфли у Данилова с правой ноги. Собака Салют была женского пола, и поэтому Данилов относился к ее стараниям благодушно, с некоей снисходительностью. Прежде он, конечно бы, отправился на кухню, помогать хозяйке, а тут не мог, не имел сил...

Пришли гости. Были тут и Еремченко, и Кошелев с Ольгиной, и Вильчеки, и Спасские, и Добкины, и Екатерина Ивановна, но одна, ее муж Михаил Анатольевич опять находился в отъезде.

Пришли на плов и баранью ногу я с женой, мы с удовольствием поговорили с Даниловым, я поблагодарил Данилова за открытку, присланную мне осенью из Хабаровска,— Данилов был тогда на гастролях в Южно-Сахалинске и застрял из-за непогоды в Хабаровском аэропорту. «Давно тебя, Володя, здесь не было! — сокрушались гости.— Пропал, и все! Мы по тебе соскучились!» Данилов оправдывался, а сам был растроган и жалел, что не ходил к Муравлевым, действительно, лучше бы уж он бывал тут, а не тратил время попусту, скажем, на хлопоты Клавдии... «Вот скоро буду посвободнее,— сказал Данилов,— сыграю одну вещь...» Тут Данилов рассказал о симфонии Переслегина и пригласил всех прийти на концерт в Дом культуры медицинских работников.

Наконец, стол был накрыт, начались удовольствия, Данилову хозяйка накладывала порции побольше, все говорили: «Ешь, Володя, ешь!», видели, какой он голодный.

— А отчего Кудасова нет? — спросил Данилов.

Ему объяснили, что Кудасов всех удивляет. Он потерял аппетит и много думает. Для поддержания семьи Кудасов все же читает лекции, но как-то вяло, умолкает вдруг ни с того ни с сего, словно бы поражаясь ходу собственной лекции и не веря ей. Дома он садится за письменный стол, берет источники, но недолго выдерживает общение с ними, ложится на диван, смотрит грустно в цветы на обоях.

— Странно,— сказал Данилов.

— Странно,— согласился с ним Муравлев.

А уж то, что Кудасов не почувствовал нынешний плов и в особенности нынешнюю баранью ногу, фаршированную чесноком и политую хозяйкой по золотистой корочке вином «Киндзмараули», было не только странным, но и печальным. Приязни к Кудасову никто не испытывал, его у Муравлевых терпели, но и привыкли к нему. И теперь отсутствие Кудасова казалось чуть ли не дурным знаком. Впрочем, гости снова принялись за еду. Раскрасневшаяся хозяйка влюбленно глядела и на гостей, и на мужа с сыном, и на Данилова, и на бараньи кости, и на грамотную собаку Салют, потихоньку покусывающую свежую монографию о Сергее Судейкине.

Насытившись и сказав хозяйке добрые слова, Данилов стал задремывать. Совсем он не задремал. Он все видел, а многое и слышал, но сам ни говорить, ни двигаться не мог. (Я желал в тот вечер побеседовать с ним о музыке, кое о чем расспросить его, но Данилов сидел такой, будто явился к Муравлевым с пытки и теперь приходил в себя. Что же пытаного мучать. Я отошел.) Гости притихли, выключили звук телевизора, мужчины смотрели немой хоккей. Даже собака Салют с меньшим усердием грызла теперь монографию, собака и впрямь была ученая, первой в доме Муравлевых знакомилась с книгами. Женщины тихонько болтали, их голоса ласкали Данилова.

Данилов знал, что, если с ним случится дурное, в доме Муравлевых будут о нем печалиться. Ему даже захотелось рассказать

приятелям о своих недомоганиях и мрачных мыслях последних дней, чтобы мысли эти тут же бы развеяли, а его, Данилова, за них и отчитали. Но он сдержался. И задремал.

Когда проснулся, многие из гостей уже ушли, а Муравлев с Кошелевым играли в шахматы. Кошелев был адвокат, но во всех играх кидался в атаки, словно прокурор. Невдалеке от себя Данилов увидел Екатерину Ивановну. Вместе с хозяйкой она рассматривала «Бурду», приискивая выкройки для летнего сезона. Данилову стало неловко. Ему показалось, что Екатерина Ивановна взглянула на него с неким укором. Возможно, ей было известно о его разладе с Наташей. И Данилов почувствовал, что ему очень хотелось, чтобы Екатерина Ивановна заговорила с ним о Наташе. Все он лгал себе! Теперь он понимал, как недоставало ему в последние дни Наташи! Пусть он ей не нужен, но она ему — нужна! И не ему одному, а и его музыке. Ведь и тогда, в НИИ, он играл хорошо оттого, что в зале была Наташа...

Весь следующий день Данилов был грустный и рассеянный. Чудецкий с Переслегиным удивлялись ему. «Что с вами, Владимир Алексеевич? — говорил Чудецкий.— Все шло удачно, а нынче... У нас ведь через день премьера...» А у Данилова и на самом деле альт и смычок чуть ли не валились из рук. «Я устал»,— сказал Данилов.

В театре он отыграл спектакль, приехал в Останкино и в темени, возле своего дома, увидел Наташу.

— Здравствуй, Володя,— сказала Наташа,— извини, что караулю тебя, но мне необходимо с тобой поговорить. Даже если я и разговор со мной тебе в тягость, все же я прошу выслушать меня...

— Здесь холодно,— сказал Данилов,— если не возражаешь, пошли ко мне.

Они поднялись к Данилову.

— Володя,— сказала Наташа,— ты можешь посчитать, что я навязываюсь тебе в друзья или любовницы, ты можешь презирать меня, это ничего не изменит. Я не могла не увидеть тебя и не выяснить все до конца. Я не стыжусь того, что пришла.

Данилов промолчал.

— Нужна я тебе или не нужна,— сказала Наташа,— но я без тебя не могу. Если ты не любишь меня, скажи об этом, я уйду от тебя. И навсегда.

— Мне без тебя было плохо,— сказал Данилов.

Данилов почувствовал, что хотя вчера и сегодня он печалился о Наташе, мечтал о встрече с ней, обида на нее все же не прошла совсем, напротив, теперь она ожила, и его слова значили не только то, что ему без Наташи было плохо, но что ему вообще было плохо, а она, Наташа, этого не ощутила. «Зачем это я? — подумал Данилов.— Ведь все это мелкое и лишнее!»

— Я нужна тебе? — спросила Наташа.

— Да,— сказал Данилов.

— У меня нет никого другого. Ухажеры были всегда, я позволила одному из них в тот вечер проводить меня, я чувствовала,

что ты придешь в наш переулок, вот я и позволила с досады и по женской глупости... Ты прости...

— Мы и не договаривались держать друг друга на цепи. И ты извини меня за обидные слова и невнимание к тебе... Но у меня вся жизнь сейчас на лету.

— Я бы хотела, чтобы все твои беды, все твои хлопоты стали моими, чтобы тебе стало легче оттого, что я рядом, но я боюсь подойти к тебе, может быть, все и не так, но я чувствую, что ты скрываешь от меня нечто важное, от того я мучаюсь, и мы с тобой не откровенны до конца, а что хорошего может выйти у нас без этого откровения?

Данилов молчал, был растерян.

— Прости,— сказала Наташа,— возможно, я слишком много хочу и обидела тебя. Да и какое право я имею на твое откровение?

Данилов поначалу был намерен произнести легкие слова, возможно и отшутиться, с тем чтобы все у них с Наташей осталось так, как оно было прежде. Но, взглянув на Наташу, он понял, что это невозможно.

— Да,— сказал Данилов.— У меня есть тайна. Открыть ее тебе — и никому — я не могу. И никогда, как бы ни сложились наши отношения с тобой, я не смогу открыть ее.

В глазах Наташи были испуг, нежелание верить ему. «Нет, нет, нет! Все ты придумал! Этого не должно и не может быть!» — казалось, хотела выкрикнуть она. Предчувствия или догадки, тяготившие ее в последние дни, теперь, видно, обернулись дурным сном, от которого хотелось бы избавиться, но не было сил избавиться.

— Так все и есть,— сказал Данилов.— Но тайна эта касается только меня, она связана с моим происхождением и нынешним моим положением. В ней нет ничего подлого, бесчестного... И на тебя не упал ни один отсвет от нее.— На всякий случай Данилов добавил: — Тайна эта не связана с каким-либо вредом отечеству.

Данилову показалось, что его последние слова отчасти успокоили Наташу. Да и легко ли было ей узнать, что он какой-нибудь агент или шпион!

— Я открыл тебе значительно более того, что я мог открыть,— сказал Данилов. И подумал: «Я ничего не мог открывать! Мне еще зачтется! И как!» — Это оттого, что наш разговор с тобой последний.

Наташа сделала некое протестующее движение.

«А не посчитает ли она меня теперь сумасшедшим? — пришло на ум Данилову.— Пусть бы и посчитала,— решил Данилов,— лишь бы легче отошла от меня...» Впрочем, тут же сама возможность того, что Наташа заподозрит его в помешательстве, показалась Данилову неприемлемой.

— При этом,— сказал Данилов,— я прошу не считать меня больным душою. Я здрав рассудком. Хотя, конечно, эти мои слова еще ничего и не доказывают...

— Я знаю, что ты не болен,— тихо сказала Наташа, и Данилов понял, что она говорит правду.

— Я оттого тебе сказал про последний разговор, что теперь после моих слов наши отношения с тобой стали бы настолько серьезными, что продолжать их не было бы возможности. Прежде нам было легко, ничто нас всерьез не связывало, но и ничто не тяготило, кроме мелких недоразумений и бед. А теперь и беды бы стали слишком большими. Со мной возможны странные явления, в любую минуту, да вот хоть бы и сейчас, я могу исчезнуть. И навсегда. Но и не это главное. Главное, что человек, который свяжет свою судьбу с моей, сразу же подвергнется опасностям, какие я ни отвести, ни предотвратить не смогу. И тебе стало бы хуже, и я дрожал бы за каждый твой шаг. Никаких выгод мое положение не дает, напротив, тебя ждали бы напасти, болезни, а возможно, и гибель. Я мечтал, чтобы у меня были сын или дочь, но я не могу иметь ни сына, ни дочери. Моя тайна дала бы их жизни свой поворот.

— Бедный Данилов,— сказала Наташа.

— Нет, я не бедный. Я знаю, что мне дано и чего мне ждать. Но увлечь за собой чужую жизнь и опалить ее я не могу. И не хочу.

— И что?

— То, что теперь нам следует расстаться.

— Сейчас я нужна тебе?

Данилов промолчал.

— Я буду тебе в тягость, буду обузой?

— Не знаю...— сказал Данилов.

Он и вправду не знал.

— Ты можешь разлюбить меня, я пойму это и уйду. Но сейчас хоть на неделю, хоть на день я тебе нужна? Скажи, что есть на самом деле, оставь в стороне все иные соображения и заботы о моей судьбе, я прошу тебя.

— Нужна,— сказал Данилов.

— Я буду с тобой хоть эту неделю, хоть этот день.

— Наташа, я не могу...

— Ты меня ничем не испугал. Я принимаю все твое. Напасти, болезни, погибель — что они мне, если я с тобой и тебе нужна? Если что-то будет мне угрожать, значит, что-то угрожает и тебе. Если ты исчезнешь, уйдешь из моей жизни по своей воле, пусть. Но если ты исчезнешь по чужой воле, ты можешь понять, что будет со мной. Ты уж не исчезай. Я прошу тебя. Если на тебе вина, если ты закабален тяжким обязательством, я возьму на себя твою вину и твои обязательства. Если нужно заплатить жизнью, я заплачу. Я понимаю, ты откажешь мне в этой моей просьбе, но ты не спеши, ты отнесись к ней всерьез. Дай мне хоть часть своей ноши, не объявляя, что это за ноша. Я знаю, что для тебя музыка, я не могу быть с тобой здесь на равных, но я постараюсь, чтобы мой интерес к твоей музыке не стал для тебя обременительным, скучным и пустым. Я сделаю все, чтобы не мешать твоей музыке.

Не думай, я не стану лишь тенью и прислугой, ты бы сам заскучал со мной, я ни в чем не отрекусь от себя, но ведь тебе нужна любовь, опора, вот я и буду тебе любовью и опорой.

— Спасибо, Наташа,— сказал Данилов.— Коли так... Но обещать не исчезнуть я не могу...

— Я много наговорила... Но все слова мои — не зря и не попусту. Верь им. А если ты посчитаешь, что я навязываю себя тебе, что со мной тебе не станет легче, прогони меня.

Теперь Данилов был убежден в том, что им с Наташей следует расстаться навсегда. Он обязан был уберечь ее от своей судьбы. Но ни слова Данилов не произнес. А если бы и произнес — разве мог бы он что-либо изменить? Сейчас Наташа была сильнее его.

— Ты хоть сегодня меня не гони,— робко улыбнулась Наташа.

— Сегодня не прогоню,— сказал Данилов.

30

Пришел день выступления.

Наташа отутюжила Данилову фрак и брюки, черную бабочку гладил он сам. Есть Данилов ничего не мог, хотя и был ему предложен горячий завтрак. Выпил лишь кофе.

Звонил Переслегин, нервно спрашивал, получил ли Данилов отгул в театре, явится ли он сегодня к шести в Клуб медицинских работников. Звонил Чудецкий, тоже нервничал, советовал Данилову привести в клуб знакомых, настроенных благожелательно к нему, Данилову, и к музыке, а то вдруг зал окажется пустым. Вчера была суматоха, и сегодня ей предстояло быть. Как и в театре, когда всем кажется, что ничего не готово, еще бы день или два, а теперь все ужасно, и актеры плохи, и декорации вот-вот рассыплются, и провал несомненен. Но суматоха и была Данилову хороша. Надо было действовать, репетировать, нестись куда-то, спорить, ругаться, отчаиваться на мгновения: «Ах, пропади все пропадом!» — и тут же опять играть, играть, чистить ботинки, стричь бороду, звонить знакомым, отговаривать их покупать цветы, «какие еще цветы, обойдетесь порчеными яблоками». Нетерпение жгло Данилова. Он был бодр, энергичен, чувствовал себя хорошо, забыл о болезнях и страхе смерти!

В пять часов Данилов поехал в Клуб медицинских работников. Наташа полагала прийти туда вместе с Екатериной Ивановной после работы. Данилов почувствовал, что голоден, заскочил в чебуречную на Сретенском бульваре. Чебуреки были скверные. Но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикадельками, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере, на тумбе, Данилов оглядел афиши. На Переслегина с Чудецким не хватило бумаги.

«Как бы хлопобуды не отменили концерт! — явилось вдруг Данилову.— Я им тогда покажу!» — грозно пообещал он. Но ехал в клуб в тревоге.

— Не отменили? — не успев поздороваться, спросил у Переслегина и Чудецкого.

— С чего вы вдруг? — удивились те.

— Нет, я так...— сказал Данилов.

Однако он не успокоился. Осмотрел инструмент — целы ли струны. И позже альт не выпускал из рук. Сходил на сцену, все оглядел тщательным образом, словно искал пластиковую бомбу.

Потихоньку стала приходить публика. Лица в фойе поначалу Данилову были незнакомые, видно, медики. Но потом появились и известные личности. Преподаватели консерватории, они хоть и не вели когда-то занятий в классе Данилова, теперь с ним раскланялись. Четыре музыканта с именем. Музыкальные критики. Всех их у дверей встречали Чудецкий с Переслегиным, стало быть, они их и приглашали. Пришел и еще один человек, вызвавший беспокойство композитора и дирижера.

— Вы его не звали? — спросили они у Данилова.

— Нет,— сказал Данилов.— А кто это?

— Зыбалов! — поморщился Переслегин.— Музыкальный критик и фельетонист...

— Ну и чу́дно,— сказал Данилов.

Крупный мужчина Зыбалов глядел на всех мрачно. «Да он прямо как фея Карабос,— подумал Данилов,— на дне рождения Спящей...» То, что Зыбалов музыкальный критик, Данилов не знал, но он видел этого человека в очереди к хлопобудам. Чудецкий с Переслегиным ждали еще кого-то, но те пока не приходили. Оно и естественно. Самые необходимые люди всегда опаздывают. Или вообще не являются.

Хотя и было глупо, стыдно даже, с альтом в руке стоять в фойе, однако Данилов стоял, пока не пришли его знакомые. Всего человек сорок. Почти все, кто был в последний раз у Муравлевых. И иные. Конечно, пришла Наташа с Екатериной Ивановной, Данилов был в волнении, он не знал, как представлять Наташу приятелям. Однако Екатерина Ивановна очень быстро перезнакомила их с Наташей, и Данилов понял, что о Наташе все уже знали или догадывались. Да и не Наташей с Даниловым все были как будто бы теперь заняты. Среди прочих пришла давняя знакомая Данилова Лена Буранова, концертмейстер из Гнесинского, она и отвлекла внимание. Буранова ждала ребенка, да и не одного, если судить по ее видимому состоянию, а двух. Теперь все принялись придумывать близнецам имена, причем мужские. «Да идите вы! — говорила Буранова.— У меня будет девочка Марьяночка...» Данилова просили играть тише, без страстей, а то вдруг Буранова взволнуется и прямо в зале родит. Одно было хорошо — то, что Данилов играть взялся именно в Клубе медицинских работников. Данилов отшучивался, однако был доволен легкомысленным ходом разговора.

Но вот все, кого Данилов ждал, пришли, он побежал за сцену. Кто-то крикнул ему вдогонку: «Банкет-то где будет?», Данилов обернулся с намерением ответить и увидел входившего в клуб

румяного злодея Ростовцева. Данилов ничего не сказал о банкете, ушел.

Люди уже сидели в зале, хотя многие толпились еще возле буфета. Кроме симфонии Переслегина, оркестр должен был исполнить Седьмую Прокофьева. Поначалу Переслегиным хотели закончить концерт, но композитор заявил: «Нет!» По мнению Переслегина, Прокофьев мог спасти репутацию оркестра и после провала его симфонии. «Ну и пусть,— решил Данилов.— Быстрее отыграю. И ладно».

Объявили симфонию. Данилов вышел в тишину. Как он играл и что он чувствовал, позже вспоминал он странным образом. Какими-то отрывками, видениями и взблесками. А ведь он привык к сцене, выступал в залах куда более вместительных, чем этот, аккомпанировал певцам театра в составе ансамблей или просто играл в секстете, но тогда он выходил на сцену спокойный, видел и ощущал все, что было вокруг,— каждую пылинку на досках пола, каждый вздох, каждый кашель в зале. Здесь же он был словно замкнут в себе, он сам себя не слышал. То есть слышал, но так, как слышит себя человек, торопящийся сказать, выкрикнуть людям что-то важное, необходимое, разве существенно для него сейчас — красиво ли он произносит звуки, все ли его слова правильны? Данилов и не думал теперь выйти из состояния, в каком оказался, и оценить свой звук как бы со стороны, он просто звучал, и все. Данилов, похоже, не только в Клубе медицинских работников был сейчас, он был везде. А время замерло. Всюду замерло. Но не в музыке. Там оно текло — и быстро, и медленно, и рвалось, и перекатывалось по камням, в отчаянной усталости. Снова альт Данилова, как и Данилов, находился в борьбе, в любви, в сладком разрыве, в мучительном согласии со звуками оркестра. Он и сам был как оркестр и не желал смириться с металлической поступью труб и ударных, наступавших на него то в марше, то в каком-то визгливом зверином танце, и, заглушенный, исковерканный было ими, возникал вновь и жил, звучал, как жил и звучал прежде. А потом, оказавшись вдруг в нечаянных вихрях скерцо, бросался за сверкающим полетом скрипок, исчезал в их звуках, словно бы купаясь в них, озорником выскакивал вперед, сам манил скрипки куда-то, и тут все стихало, и только альт Данилова, только сам Данилов утончившимся и потеплевшим звуком то ли печалился, то ли радовался в долгожданном покое и сосредоточенности. Но то были короткие мгновения. И снова толпа, Земля, вселенная захватывали Данилова, и ему было хорошо и горько и хотелось плакать. И при всем при этом всегда валторна и кларнет — прошлое и второе Я — существовали рядом с альтом Данилова, валторна порой грустила, вздрагивала как-то или что-то предсказывала, а порой звучала светло, будто исчезнувшая свежесть юных лет, кларнет был нервен, вцеплялся в мелодию альта, рвал ее, грозил и мучался, и скрипом тяжелой черной двери, впускающей страшного гостя, кларнета опекал контрабас. А то вдруг валторна изменяла самой себе, на мгновения приближалась голосом к дере-

вянным духовым, становилась будто кларнетом, и альт Данилова затихал в растерянности. Потом он, подавленный памятью и тем, что было в нем, но чему он не мог или не желал дать свободу, выслушивая ехидные голоса, в тягостных напряжениях как бы приходил в себя, снова к нему возвращалась ярость, жажда любви и жажда жизни, и какой бы скрежет, какие бы обвалы гибельных звуков, какие бы механические силы ни обрушивались на него, он пробивался сквозь них, летел, несся дальше, иногда суетливо, в лихорадочном движении оркестра, иногда будто сам по себе, и опять ненавидел, и опять страдал, и опять любил, движение все убыстрялось, становилось мощным, яростным, ему предстояло быть вечным, но тут — все. Ноты Переслегина кончились, смычок замер и отошел от струн.

Все стихло. И навсегда.

Потом все ожило. Публика аплодировала шумно, благожелательно. Даже цветы бросали на сцену. Данилов раскланивался, дирижер Чудецкий улыбался, пожимал Данилову руку, показывая публике на Данилова: мол, он виноват. Данилов, в свою очередь, показывал на Чудецкого, на валторниста, на кларнетиста, на оркестр. Отыскали автора, привели. И ему хлопали.

— Неужели все? — спросил Данилов Переслегина.

— Но ведь, Владимир Алексеевич,— как бы извиняясь, сказал Переслегин,— звучало сорок четыре минуты. Куда уж больше!

— Нет, я не про это. Звук у нас как-то обрывается на лету...

— Он не обрывается,— горячо сказал Переслегин.— В том-то и дело. Он не обрывается и не замирает, он должен звучать дальше, вы разве не чувствуете?

— Вы так считаете? — задумался Данилов.

Со сцены следовало уходить. Публика из задних рядов потекла в фойе и к буфету. Пошли и оркестранты. В комнате за сценой Переслегин обнял Данилова, тут же отпрянул от него, сказал серьезно:

— А ведь вы сыграли большее, нежели то, что я написал... Ведь что-то мощное вышло! Ужасное, гордое, высокое...

— Как же я мог сыграть большее, чем у вас есть? — удивился Данилов.— И играл не я, а оркестр, я солировал...

— Вы не спорьте со мной,— сказал Переслегин.— Я все слышал, хоть и дрожал в уголке... На репетициях у вас не так выходило... ну, впрочем, это и понятно.

Данилов в сомнении и так, чтобы другие не видели, посмотрел на браслет. Нет, он был на сцене вполне человеком. К ним подошел большой музыкант, поздравил и заявил Переслегину:

— Вы, сударь, этак всю музыку перевернете...

— Да что вы! — чуть ли не взвился Переслегин.— Отчего же! У меня самая что ни на есть традиционная музыка... Ну отразились какие-то современные ритмы и голоса, вот и все...

— Нет, сударь,— покачал головой большой музыкант,— это вам так кажется.— Тут он поклонился Данилову: — И к вашей игре, молодой человек, надо привыкнуть.

Он сослался на то, что его в фойе ждет дама, и ушел.

— Ну да, привыкнуть! — произнес расстроенно Переслегин.— Вежливые слова.

Забежал Чудецкий, спросил, откуда Данилов с Переслегиным будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала. Однако чувствовал, что ничто уже не сможет слушать сегодня, он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед оркестрантами. Он их полюбил. Дождался третьего звонка и тихонько прошел в зал. Альт оставил за сценой, теперь-то было можно, теперь-то что! Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвращался откуда-то из недр или из высей. Уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более и, хотя чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова, тут же бы и исполнил, если б была возможность. Да и не один бы раз, а много раз, пока не утолил бы жажду и не успокоился. Он стал напевать свою партию. На него зашикали в темноте. «Извините»,— пробормотал Данилов, очнувшись. Оркестр уже играл Прокофьева. Данилов пытался слушать приятных ему молодых людей, да и Прокофьева он любил, но ничего не смог с собой поделать. «Если бы меня сейчас снова выпустили на сцену!» — страдал Данилов. А тут уж и Прокофьев кончился.

Данилов побежал за сцену, поздравлял артистов оркестра и Чудецкого, но слова путного не мог найти. Так, бормотал что-то радостное. Впрочем, никто, казалось, путных слов и не ждал. Чувства были нужны, и все. А чувства у Данилова были.

Потом все стали гадать: а не поехать ли теперь куда-нибудь, да и всем вместе. Но куда? И столько в оркестре было народу, и столько знакомых ждало в фойе, что в конце концов стали расходиться компаниями. Данилов искал Переслегина, однако тот исчез. Или забился куда-нибудь в угол. В фойе стояли приятели Данилова, они опять принялись говорить ему, как он был хорош на сцене с инструментом и с бабочкой, хоть пиши с него предметную картину. Муравлев все же упрекнул Данилова в недостаточной силе страстей — Буранова хоть и была взволнована его игрой, однако не родила.

— А где Буранова? — спохватился Данилов.

Буранову уже отправили домой в автомобиле.

— Ну так как, к нам, что ли? — спросил Муравлев, потирая руки.— Жена там кое-что приготовила...

— А может, к Володе? И у Володи есть чем угостить...— робко произнесла Наташа, но тут же как бы испуганно посмотрела на Данилова.

— Действительно, а давайте ко мне! — сказал Данилов.

Чтобы не обижать жену Муравлева, пошли на компромисс. Муравлев был послан за угощениями и сластями домой. «Рюкзак возьми, рюкзак!» — молила жена его Тамара, а вся компания на трамваях покатила к Данилову. Сидели за полночь, Данилов был в возбуждении, все вскакивал, бегал на кухню, носил какие-то

стаканы, какие-то салаты на тарелках, что-то говорил кому-то, мне в частности, и сам слушал всякие слова. Сказаны ему были и слова серьезные — о музыке, о его игре, и, хотя в компании все были слушателями-дилетантами, Данилову эти слова показались справедливыми и точными. «Нет, Данилов, ты сделал важный шаг, важный...» — повторяла Костюрина. «А мне иногда было просто ужасно,— тихо говорила Муравлева,— и за тебя, и вообще...» А потом сразу возбужденность Данилова спала, он почувствовал, что сейчас же заснет. Сквозь дрему Данилов слышал чьи-то споры, чей-то смех, стеклянные и металлические звуки посуды, журчанье дамских бесед, милый голос Наташи. Ах, как хорошо ему было! Данилов открыл глаза. Екатерина Ивановна танцевала с Еремченко, снег летел за окнами, Муравлев, размахивая руками, что-то доказывал Костюриной. А рядом стоял Ростовцев. «Откуда он здесь? — удивился Данилов.— Зачем?» Но тут же Данилов заснул. И когда заснул, увидел, как выходит он на сцену Клуба медицинских работников. И услышал свой альт.

31

Утром снег растаял.

Данилов, зевая, стоял у окна, потягивался.

В квартире его было чисто, стол сдвинут и поставлен на место, посуда вымыта. Будто и не сидели у Данилова всю ночь гости. Лишь в глиняном горшке на окне в черноземе остался пепел. Видимо, в споре Муравлев тыкал сигаретой в кактус.

Не было и Наташи. Данилов позвонил ей, но, наверное, Наташа уже ушла в свои лаборатории.

Да и играл ли он вчера в Клубе медицинских работников? Естественно, играл. И в клубе, и по дороге домой, и во сне. Вот и цветы, нарциссы и лилии, стояли в хрустале. Были вечером в руках у Данилова и розы, но он их сразу же раздал дамам.

Данилов спустился на лифте к синим почтовым ящикам, взял газеты. В Анголе бились повстанцы, Карпов мучал Полугаевского, Мальцев по системе «гол плюс пас» набрал двадцать семь очков и вышел на четвертое место. Просмотрев газеты, Данилов несколько опечалился. Ничего он как будто бы и не ждал от газет, однако выходило, что ждал. Ну ладно «Спорт», там и Мальцеву дали мало строк, но вот «Культура»-то или «Московская правда» могли ведь уделить симфонии Переслегина и ее исполнителям хоть абзац. Хоть строчку в «Новостях культурной жизни». А не уделили. «Чем я занимаюсь! — возмутился Данилов.— И о знаменитостях-то газеты сообщают не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день!..» Да и подумаешь, какое событие произошло вчера в Клубе медиков! Дрянь, стало быть, а не событие, если Клавдия не сочла нужным явиться в клуб. Данилов вспомнил, как Клавдия рвалась к синему быку. И нечего искать в газетах...

Внизу на улицах неслись машины, торопились люди, тащили

сумки и портфели, ветры мели желтый коммунальный песок по скользким тротуарам, подталкивали озабоченных граждан — к работам, к службам, к занятиям. Что изменила в судьбах, в душах этих людей музыка Данилова, что она вообще могла изменить? Видимо, ничего... Данилов был утомлен и пуст душой. Музыка стала противна Данилову.

В стеганом халате Данилов сидел на диване. Исходил озябшей душой. И музыка ему была не нужна, и сам себе он не был нужен. Никто не был ему нужен.

Зазвонил телефон.

— Здравствуй, Володя,— сказал Земский,— был, был я вчера на твоем выступлении!

— Вот как...

— Взял бюллетень и сходил.

— А была ли нужда, Николай Борисович? Музыка Переслегина находится в полном противоречии с вашей.

— А я любопытный. И потом, ведь я пока терпим к иным направлениям. Пусть себе дудят. А ты сыграл сильно, вот что я тебе хочу сказать.

— Спасибо, Николай Борисович.

— Сильно и дерзко. Будто спорил с кем-то. Не со мной?

— Нет, Николай Борисович, я не спорил с вами. Просто играл, и все. Как мог...

— Теперь ты должен играть не как можешь, а как не можешь. В крайнем случае ты ведь все равно сыграешь как можешь. Ты понял меня?

— Я понял, Николай Борисович.

— Играй, играй, иди дальше... Будешь большим артистом,— сказал Земский.— А потом дойдешь до черты. Спросишь: «А дальше куда?» ...И некуда дальше. Шагнешь в невозможное, а из невозможного-то прибредешь к тишизму... Вот ведь как... Я тебя не пугаю, не расстраиваю, я без зла... Кстати, много ли гармонии было во вчерашней музыке? Играл ты блестяще, но гармония-то где?

— Я стремился к гармонии.

— Ну и что? — сказал Земский.

— А ваши теории и мечты, Николай Борисович, разве не поиски гармонии, пусть и своеобразной?

— Володя,— вздохнул Земский,— юн ты еще и свеж... Много тебе еще придется по мукам ходить...

На этом Николай Борисович закончил разговор.

Звонок Земского взбодрил Данилова. «Хоть одного-то, но задела наша музыка! Так он и сказал,— вспоминал Данилов,— играл ты сильно...» А ведь Земский — ценитель строгий! Данилов даже встал, в возбуждении ходил по комнате, полы его стеганого халата разлетались. Теперь он мечтал о новых звонках, в особенности надеялся услышать Переслегина и Чудецкого. «Нет,— говорил себе Данилов,— все же я молодец! Пусть в мире ничего не изменилось. Оно и не могло измениться! Но вдруг что-то изме-

нилось во мне? В музыканте Данилове? Я играл так, как не играл раньше. И на простом альте. Отчего же мне хоть сегодня не быть довольным собой?»

«А что же Наташа мне даже и записки не оставила?» — подумал Данилов. Теперь он досадовал на то, что Наташа уехала вместе с гостями. Данилов понимал, что так оно, наверное, и к лучшему, что Наташа справедливо полагает жить и сама по себе, а не только при нем, еще Александр Сергеевич говорил,— правда, французскими словами,— что в женщине нет ничего пошлее терпения и самоотречения, и Данилов с Александром Сергеевичем поспорил бы лишь по поводу резкости суждения. Но сейчас Данилов почувствовал себя чуть ли не обиженным. Отчего же в сию минуту Наташи не было рядом?

Зазвонил телефон:

— Здравствуйте, это Валентин Сергеевич.

— Какой Валентин Сергеевич? — спросил Данилов и тут же понял, что растерянностью выдает свою слабость.

— Вот вы и сообразили, какой именно.

— Здравствуйте,— сказал Данилов.— Чем обязан?

— Именно мне вы ничем не обязаны... Так, если одной мелочью... Да что о ней говорить... И сейчас-то я вам звоню вовсе не по делу... Дело-то у вас впереди... Ох, и большое!.. Я так... И для собственного успокоения. И для того, чтобы вас из некоего пагубного заблуждения вывести... Мне бы и звонить не следовало, настолько это разговор частный, я и нагоняй, возможно, получу, но вот уж не утерпел...

— Говорите,— сказал Данилов.

— Вы ведь теперь торжествуете...

— С чего бы?

— Торжествуете! Этак сыграли! И потому еще торжествуете, что вам кажется, будто вы сыграли вчера как обычный житель Земли. Будто вы не воспользовались никакими нашими возможностями. Действительно, вы пластинку браслета не сдвигали. Ну и что? Что изменилось-то? Ведь вы сами должны понять — вы весь были вчера в музыке! Весь Данилов! И тот, что существует на Земле как бы человеком, и тот, что является демоном на договоре. Вся ваша натура вчера звучала, и с историей своей, и с опытом житейским. Где уж тут на равных-то!

— У вас все? — спросил Данилов.

— Конечно, я личность мелкая...— захихикал Валентин Сергеевич,— да и не мое это дело соваться в вашу музыку... Но вот не утерпел... Слова мои вы можете посчитать пустыми: мол, он из неприязни или от зависти...

— Вы бы лучше инструмент вернули,— сказал Данилов.

— Какой инструмент?

— Ворованный. Альбани.

— Какой Альбани! Нет у нас никаких Альбани! — взвизгнул Валентин Сергеевич.— В милицию обращайтесь! В милицию! Какие еще Альбани!

И неожиданный, чуть ли не базарный визг Валентина Сергеевича сменился короткими гудками с неким присвистом.

Все возвращалось. Стало быть, никуда не исчезал старательный порученец Валентин Сергеевич, доставивший Данилову лаковую повестку с багровыми знаками. Стало быть, лишь на короткий срок, неизвестно с какими целями, оставили его, Данилова, в покое, а теперь напомнили ему о том, кто он есть и что его ждет. Отчаяние забрало Данилова. Как все некстати, сокрушался он. Впрочем, а когда было бы это кстати? Но теперь-то Данилову казалось, что месяца два назад он бы легче перенес назначение ему времени «Ч». Да что говорить...

Все же вскоре Данилов стал уговаривать себя не хныкать и не отчаиваться, а жить дальше хоть час, хоть день, вдруг все и обойдется. Ему теперь казалось, что Валентин Сергеевич не слишком нахально или даже не слишком уверенно вел себя, раз обратился к нему не особенным и не ярким способом, а с помощью городской телефонной сети. Конечно, это не имело никакого значения, но Данилов все же пытался отыскать в самом факте именно звонка некий смысл. «А может, это и в самом деле,— думал Данилов,— частный звонок? Не утерпел Валентин Сергеевич, вот и выговорился». Как бы то ни было, но Валентин Сергеевич, эта тварь мелкая, был приставлен именно к нему.

«Но что он лезет ко мне с музыкой? — обиделся вдруг на Валентина Сергеевича Данилов.— Какое его собачье дело!» Мысли о времени «Ч» сразу рассеялись. Данилова стали мучать сомнения: а вдруг Валентин Сергеевич прав? Вдруг и верно, вопреки своим упованиям и постановлениям, он, Данилов, оказался в музыке с людьми не на равных?

Однако, поразмыслив, Данилов склонился к тому, что прежней договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное, его способности, его нынешнее умение и понимание музыки были в явной связи с его жизнью, его судьбой, с тем, что он перечувствовал, что открыл для себя и в себе. Но ведь и у любого земного любителя или профессионала существует подобная связь. К тому же на свете встречались люди с куда более сложной судьбой. С куда более богатыми возможностями, нежели были у Данилова. Тут они могли дать ему сто очков вперед. А если разобраться всерьез, музыкальные способности, какие Данилов получил при рождении, совсем не сделали его на Земле вундеркиндом. Предки Данилова по отцовской линии к музыке относились без интереса. Уж если и оказался младенец Данилов при слухе, то из-за матери. Женщины земной. И позже, на Земле, он сам, без помощи всяких чужих сил, воспитывал в себе музыканта. Тут Валентин Сергеевич может и помолчать. С людьми Данилов в музыке не шутил и своей вчерашней игрой не ввел их в заблуждение. Значит, занятия музыкой ему не стоит бросать. Вот про Альбани он, наверное, зря вспомнил в разговоре с Валентином Сергеевичем. Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентина

Сергеевича Альбани, а следовало напомнить об инструменте милиции? Да что напоминать! Ведь на днях Данилова вызывали в милицию к старшему лейтенанту Несынову, а он не пошел. Сегодня же надо было идти!

Однако Данилов не пошел в милицию.

Все ему стало безразлично. От всего хотелось отдохнуть. От музыки — в первую очередь. Пошла бы она куда подальше! О звуках, об инструменте, о нотах, о необходимости сидения в яме Данилов думал с остервенением. Бросить сейчас бы все и удалиться куда-нибудь в охотничью избушку в Туруханской тайге или в саклю в горах Дагестана, и чтобы вокруг все было завалено снегом, и бил в крохотное оконце ветер, и выли волки, а он, Данилов, лежал бы один и пальцами бы не шевелил. Год лежал бы или два, а что потом бы стал делать, даже об этом и не думал бы. При этом Данилов не отрицал возможность присутствия рядом с ним в сакле Наташи. Но никаких особенных видений, связанных с Наташей, у Данилова не возникало. Наташа могла лишь молча сидеть возле него, и все. Возможно, потом Данилов и не вернулся бы к музыке, а начал бы новую жизнь, какую — неизвестно. Уж там бы, в сакле или в охотничьей избе, впал бы он в некие тихие раздумья, а может быть, даже и в философское состояние, пока ему, Данилову, чуждое, и многое понял бы. И уж наверное, с белых вершин тишины и покоя, вся его нынешняя жизнь, и музыка естественно, показались бы такой мелкой суетой, такой секундной бессмысленностью, что Данилов захотел бы закрыть глаза. Да что с тех вершин! Данилов и теперь ощущал эту суету и бессмысленность. Надо же, возрадовался! В свои-то тридцать пять лет — вылез на сцену солистом, сыграл, пусть и неплохо, ну и что? Дальше-то что? Дальше?

Впрочем, какой смысл было думать о будущем, коли позвонил Валентин Сергеевич.

Данилов сидел разбитый. Мучением было теперь для него думать-то о том, что он когда-либо опять возьмет инструмент в руки. Однако взял альт и отправился в театр. Отыграл и дневной и вечерний спектакли. Когда играл, уже и не вспомнил об утренних грезах относительно сакли и туруханской избы.

Коллеги Данилова не говорили о вчерашнем концерте. Да и откуда они могли знать о событиях культурной жизни медицинских работников! Впрочем, виолончелист Туруканов в последнем антракте поинтересовался, хорошо ли платят медики, и был чуть ли не расстроен, узнав, что Данилов, как и оркестранты, играл задаром.

— Ну, Данилов,— покачал головой Туруканов,— вы же не мальчик...

— Не мальчик,— согласился Данилов.

— Ну вот,— добавил Туруканов,— а эти доктора, особенно зубные, деньги вилами гребут...

После спектакля Данилов запер инструмент в несгораемом шкафу, дома Данилову альт не был нужен.

32

А назавтра все пошло, как и в прежние дни. Снова Данилов окунулся в суету и в хлопоты. Обнаружилась Клавдия Петровна со своими претензиями.

В театре Данилова торопили с выпуском стенной газеты «Камертон». Данилов уже перепечатал заметки о стажерах, и прежде всего — о меццо Черепниной, получил от трубача Тартаковера дискуссионную статью об ансамблях и солистах, сам описал осенние сахалинские гастроли, но вот с передовой дело у него не шло. Свирели какие-то вились над бумагой, а литавры так и не звучали. Данилов звонил мне, уговаривал сочинить передовую, просил не погубить. Но что я мог? Пришлось Данилову обратиться к помощи отрывного календаря. А за газетой пошли семинары, вновь ожила вечерняя сеть. Данилов хлопотал и по хозяйству, он не хотел вынуждать Наташу таскать продукты в останкинскую квартиру. Сам иногда варил перцы с любительской колбасой.

Естественно, что и спектакли в театре шли один за другим. На основной сцене и на торжественной. Данилов уже не испытывал острой ненависти к музыке. Однако порой она ему была скучна. Иногда Данилов ощущал облегчение. Думал: «Не будет меня теперь тяготить симфония Переслегина, я ею разрешился...» Дней пять для Данилова вышли хоть и суетные, но легкие. Он опять забыл о Валентине Сергеевиче. Только однажды вдруг Данилова тихонечко что-то толкнуло, будто плеча коснулось. И защемило тогда: «Неужели все? Неужели я больше никогда ничего не сыграю?»... Потом прошло.

Встречался Данилов с Переслегиным и Чудецким. Чудецкий был по-прежнему деловит, весь в планах. А Переслегин не желал больше писать, обзывал себя бездарью.

— Ну как же,— возражал Чудецкий,— публика приняла вашу вещь хорошо, да и Константинов с Вегенером вас хвалили.

— Разве хвалили? — оживился Переслегин.— Но я тут при чем? Это вы с Даниловым сделали из моей бумаги музыку! Разве у меня альт так звучал?

Для альта Переслегин вообще не намерен был теперь писать, он говорил, что альт Данилова испугал его. «Это же царь, а не инструмент, куда мне до его звуков!» Чудецкий посмеивался, уверял, что через месяц Переслегин отойдет и возьмется писать именно для альта. От Чудецкого и Переслегина Данилов узнал, что большие музыканты высказались об его игре с похвалой. Мол, он, Данилов, удивил. Показал, какие у альта возможности. Словно бы напомнил о чем-то забытом. Или, наоборот, предсказал будущее. Однажды и Клавдия Петровна явилась к Данилову с претензией — как это он не пригласил ее в Клуб медиков.

— Да что было приглашать? — удивился Данилов с некоей долей притворства.

— Нет,— сказала Клавдия,— я на тебя в обиде, о вашем концерте говорят, а я на нем не была...

Чудецкий говорил, что, наверное, программу удастся повторить. Если не в Клубе медиков, то во Дворце культуры мукомолов. А может быть, и там, и там. Тут явился возбужденный Переслегин и стал повторять неистово:

— Музыку надо писать без оглядки! Без оглядки! Вы, Данилов, играли дерзко, без оглядки! И музыку надо писать без оглядки!

— Что значит без оглядки? — спросил Данилов, хотя и сам как-то произносил подобные слова.

— А то, что без оглядки! — сердито сказал Переслегин, как будто бы даже обидевшись на Данилова. И быстро куда-то ушел.

Позже Данилов ходил и повторял про себя: «Без оглядки! Естественно, без оглядки!» Впрочем, без оглядки на что? Может, на что-то и следовало иметь оглядку?

Тут проявил себя критик Зыбалов, выступивший в одной газете, не самой интересной и важной, но все же из тех, что клеят на витринной фанере. Сочинение Зыбалова — или «реплика» — было небольшое, размеры его как бы подчеркивали незначительность концерта в Клубе медиков. Название оно имело укоризненное — «Кому предоставили сцену?» Зыбалов напористыми, ехидными словами отчитывал администрацию Клуба медиков, безответственно относящуюся к общественному богатству, а именно к сцене и залу. Ей, администрации, бы пестовать и показывать на сцене народные таланты, а она дала пространство и время неким предприимчивым музыкантам, у которых за душой ничего нет. Мимоходом упоминалось сомнительное и претенциозное сочинение некоего Переслегина. Вызывала тревогу Зыбалова культура, в том числе и общая, дирижера Чудецкого. А солист Данилов и не был назван.

Переслегин сразу сник, Чудецкий улыбался, говорил: «Этого следовало ожидать!», уверял, что все равно программу оркестр повторит.

Данилова расстроило отсутствие его имени в реплике. Пусть бы выругали его, но хоть бы упомянули. А так выходило, что он — нуль, даже не вызвал и тревоги Зыбалова. На следующий день поутру Данилову позвонил пегий секретарь хлопобудов.

— Владимир Алексеевич,— сказал секретарь,— вы не передумали?

Данилов был намерен нагрубить секретарю и сейчас же учинить что-либо хлопобудам, но он сдержал себя.

— В последние дни,— мрачно сказал Данилов,— у меня не было времени на подобные раздумья.

— Но я хоть надеюсь, на чтение статьи Зыбалова у вас нашлось время?

— Нашлось.

— Полагаю, вы оценили деликатность Зыбалова,— вашего имени нет в статье.

— Очень признателен...

— Мы ведь и дурного пока вам ничего не причинили, а только даем понять...

— Я и тогда вас понял.

— Но все могло быть иначе. И ваше имя могло бы теперь громко звучать.

— Сразу и громко?

— Ну а что же? Хотя бы в музыкальных кругах... А сейчас мне кажется, что упования Чудецкого повторить программу выглядят наивными...

— Вы уверены?

— Владимир Алексеевич, вы могли бы отметить, что сегодня мы вам совсем не хотим угрожать или там действовать на нервы, мы просто напоминаем о себе.

Пегий человек действительно говорил вежливо, не дерзил.

— Мы ведь вам пока совсем ничего не напортили, так, мелочи, мы решили подождать,— добавил пегий человек, при этом как бы с любовью к Данилову.

— Хорошо,— сказал Данилов.— Я подумаю.

— Когда вам позвонить?

— Через два дня,— сказал Данилов и повесил трубку.

И он решил пока подождать, а не пускаться в поход на хлопобудов. На будохлопов! Смелые, смелые, а его, видите ли, пощадили. Зато выместили зло — или проявили свои возможности — на неповинных Чудецком и Переслегине.

Наташа уже ушла на работу, и хорошо, что не слышала разговора с пегим человеком. Вчера она желала отыскать критика Зыбалова и высказать ему все, что она о нем думает. Данилов ее на вылазку не пустил. «Надо терпеть»,— сказал он. Совсем к Данилову Наташа не переезжала. Не только потому, что не было смысла терять ее площадь, но и потому, что она не хотела перевозить из Хохлов в Останкино швейные машинки — электрическую и ручную. Да и каково было сойтись в однокомнатной квартире альту и швейным машинкам!

Нынче опять лег снег, температура была неожиданно минус восемь, Данилов решил покататься на лыжах. Он имел часа три.

Снег лежал такой, какого в эту зиму вовсе не было. А ведь дело шло к весне. На этот снег и наступать было приятно, он скрипел.

Данилов прошел километров пятнадцать вдоль заборов Останкинского парка, устал. Было бы со временем посвободнее, он отправился бы в любимые Сокольники. В здешнем парке было тесно, и прямо по лыжне бродили пенсионеры. Но вот снег был хорош и в Останкине. Похоже, что в последние три зимы он так ни разу не скрипел. Когда-то, будучи молодым и беспечным, Данилов ради удовольствия устраивал в Москве прекрасный снег. С сугробами и морозцем. Теперь он как бы стеснялся прежнего озорства. И может, зря стеснялся, может, оно и сейчас, зимой, следовало бы ему пользоваться своими возможностями, москвичи со-

скучились по снегу и морозу, только обрадовались бы им, а в бумагах Канцелярии от Того Света, глядишь, ему, Данилову, поставили бы галочку за то, что его усилиями мороз крепчал. Может, какой-нибудь Валентин Сергеевич, скривившись, эту галочку и вынужден был бы поставить.

При мыслях о Валентине Сергеевиче Данилов расстроился, снял лыжи, связал их сверху и снизу бечевкой.

Хотелось пить. Павильон «Кофе — пончики» был закрыт, и Данилову через улицу Королева пришлось идти к автомату «Пиво — воды — соки». Данилов полагал, что встретит в автомате водопроводчика Колю и узнает, идет ли из Коли дым. Однако Коли в автомате не было.

Данилов быстро выпил кружку пива, взял вторую и понял, что взял зря. Но от усталости не смог сдвинуться с места, стоял, прислонившись к стене, и лыжи пристроил к стене же. Тянул потихоньку пиво. Смотрел сначала на рыжих тараканов, гулявших по полу возле мусорных ящиков, потом его заставили оглянуться чьи-то неприятные голоса. У соседнего стола возились подростки. На вид подростки — парни и девицы — были самые что ни на есть местные щеголи, Данилов дал бы им лет по семнадцать. Все они были пьяны, то ли загуляли с утра, то ли продолжали вчерашние развлечения. Парней было пять, а девиц две. Тоненькие, крашеные, в шумном своем возбуждении, они были резвы, вертлявы, лезли к парням целоваться. Возможно, что лезли целоваться и не совсем к тем парням, к каким им полагалось лезть по сюжету их гуляния. Один из кавалеров — как и все остальные, под два метра,— с кудрями, вылезавшими из-под пышной лисьей шапки, и в клешах, дернув за рукав розовую подругу, крепко съездил ей по физиономии. У Данилова чуть пиво из кружки не вылилось. Парень и выругался, громко, некрасиво. Барышня заплакала, а кавалер, с которым она целовалась, вступаться за нее не стал, отвернулся и продолжил беседу с приятелем. Оскорбитель в лисьей шапке тоже включился в беседу. Барышня все плакала, слезы вытирала со щек белой варежкой. Потом она успокоилась и стала целоваться еще с одним парнем, тоже, видно, из их компании. Этот парень даже на колени ее усадил. Кавалер в лисьей шапке двинулся к подруге, съездил ей по физиономии и опять вернулся в беседу. «Экие нравы у нынешней молодежи!» — печально подумал про себя Данилов. Пожилой мужчина, стоявший рядом с Даниловым, смотрел на юнцов с радостным любопытством и ждал новых событий. «Две девки-то у них на всю компанию,— сказал он,— мало...» А видно было, что, несмотря на некоторые недоразумения, компания дружная и хорошо гуляла. Барышни опять повизгивали от шуток приятелей. Впрочем, мило повизгивали. Мордашки у них были приятные. А приятели их и обнимали, и щипали, и гладили, при этом не искали рыцарских выражений, а говорили слова, какие лучше знали.

Один из парней подошел к Данилову, хлопнул его по плечу, сказал: «Отец, дай сигарету!»

Вообще Данилов, видимо, производил впечатление человека солидного и обеспеченного, у которого можно было попросить что-то и занять. Потому вскоре к Данилову подошли двое парней из компании и барышня. Кавалер с барышней в белых варежках остановились чуть поодаль от Данилова, а малый в лисьей шапке доверительно зашептал Данилову прямо в лицо: «Слушай, мужик, дай три рубля. У нас на вино не осталось. А то купи две бутылки вермута литрового — и пойдем с нами. У нас девки добрые». «Молодой человек,— сказал Данилов,— отчего вы своих дам так дешево цените, всего по три рубля? Что же касается вашей просьбы, то я обойдусь без этой коммерции». Если бы он просто послал малого подальше, тот бы отошел и успокоился, «интеллигентские» же слова Данилова его обидели, а может, и разозлили.

«Что?» — двинулся он на Данилова, чуть ли не схватил его за грудки. И кавалер с барышней сейчас же нахмурились и шагнули вперед. «Что! — заорал малый в лисьей шапке, пуговицы его кожаного пальто расстегнулись, белый вязаный шарф болтался по полу.— Да я тебя сейчас!.. Да мы тебя сейчас!..» Мужчина, стоявший рядом, с радостным любопытством смотрел уже на Данилова. «Все,— сказал Данилов малому,— больше в разговоре нет нужды». «Ща ты увидишь нужду!» — зло произнес малый. А уж вокруг Данилова собралась вся веселая компания, еще какие-то решительные парни сразу же присоединились к ней. «Бить будем!» — виделось на их лицах. «Пошли на улицу!» — приказал Данилову малый. Данилов никуда бы не пошел, но он сам понимал, что если потом возникнет какой-нибудь документ или, скажем, протокол и поплывет своим ходом Данилову на службу, то место действий — пивной автомат — сейчас же поставит под сомнение нравственность Данилова. Пусть даже и поверят, что Данилов прав, но некая мысль все же отложится. Работник культуры, а где скандалил... «Пошли»,— вздохнул Данилов. Вышли на улицу — Данилов, а за ним и раззадоренная ватага юнцов, готовая Данилова растерзать, но, впрочем, пока ожидавшая какого-то сигнала, а может быть, новых слов Данилова. «А теперь во двор!» — опять приказал малый в лисьей шапке. Данилову было не по себе, казалось, от него теперь ничего не зависело, ватага волокла его, куда желала, злые, пьяные глаза пугали и не оставляли надежд, с тремя-четырьмя парнями Данилов еще бы справился, а этих было уже больше десяти, и барышни кричали воинственно. Данилов и нож разглядел справа в лихой руке... Тут Данилова остановили. «Гони десять!» — крикнул малый. «Цены, стало быть, повышаются?» — сказал Данилов. Тяжело дались ему эти слова. Он и на самом деле был напуган. «Ах ты, сука, замолчи!» — закричал малый, схватил Данилова за отвороты куртки. И свора сбилась плотнее. Лыжи упали из рук Данилова. Данилов оттолкнул от себя малого и сдвинул пластинку браслета.

Прохожие люди и зрительницы из окон, только что ожидавшие увидеть происшествие, удивились повороту событий. Не только не

случилось смертоубийства, но, казалось бы, вот-вот должно было начаться взаимное сердец лобызание. Барышням Данилов вернул невинность, и теперь они, ощутив приобретение, стояли печальные, строгие, будто попавшие в чужую жизнь, а на Данилова смотрели глазами Веры Холодной. Парни получили взгляды работников детских комнат, во всем сейчас желали видеть нравственный порядок и совершенство душ. Они с извинениями кинулись подымать лыжи Данилова, но на всех лыж не хватило. Естественно, не осталось при них и запаха спиртного, а про пивной автомат они думали с негодованием. Данилов пожалел, что сгоряча лишил парней причесок, это было мелким самоуправством, неостроумным к тому же, хорошо хоть клеши он не обузил, не превратил кримплен в шинельное сукно и не отклеил у барышень ни приставных ресниц, ни дорогих платформ. Да и что он напал на прически-то! Стало быть, растерялся, коли сразу принялся переделывать личности изнутри и снаружи. Стало быть, воля его производила действие какими-то судорожными усилиями. Нервы, нервы... А надо было держать себя в руках. Если при таком пустяке сплоховал, как же выдержит испытания, какие у него впереди!

— Не буду вас задерживать,— сказал Данилов.

Уходя, он все же взглянул на стоявших в растерянности барышень, пожалел их. Барышни сейчас были миленькие. «Ладно,— пообещал Данилов,— так уж и быть. Я прослежу... Однако пусть пока попостятся». На всякий случай он выяснил, какая невинность была им возвращена барышням — вечная или временная? Выходило, что временная, сроком не более чем на три года. Но сразу же Данилов получил дополнительную информацию. Временная-то временная, однако ни один мужчина, кроме него, не смог бы и по истечении срока отменить его постановление. «Ну идиот! — выругался Данилов.— Попал в историю!»

Он и дальше шел, ругая себя. Какое он имел право навязывать незнакомым юнцам и девушкам чужую судьбу! Да и при чем тут знакомым или незнакомым! Но что ему оставалось делать? Данилов и ответить себе на это не мог. Положил, что потом во всем разберется. Однако опять пожалел барышень. Вздохнул. Придется ему постараться, чтобы они век в девках не задержались. Ладно хоть на вид они были не слишком противными. Наоборот...

Подойдя к дому, он вспомнил статью критика Зыбалова. Хорошо еще, что вчера он не погорячился, как нынче с юношами, и не ответил Зыбалову в газете этак же, сдвинув пластинку браслета. Да и в чем виноват Зыбалов? Проявил себя верным движению хлопобудов. И все. А может, он и искренне писал заметку, может, и впрямь плохим музыкантам была предоставлена сцена и зал Клуба медицинских работников? Впрочем, так оно или не так, но сами хлопобуды раздражали Данилова. Хлеще прежнего раздражали... Однако следовало пока терпеть...

33

В театре трубач Тартаковер сообщил Данилову, что его ждет приятный сюрприз — галстук из Канады. При этом Тартаковер рассмеялся. Данилов уловил в его смехе ожидание некоего удовольствия.

Года два назад театр был на гастролях в Монреале. Оркестранты из местной оперы подружились с москвичами, а теперь трое из них приехали в Москву туристами, захотели встретиться со старыми знакомцами, привезли сувениры. Альтисты Монреаля передали с ними каждому из членов альтовой группы театра по галстуку. Стало быть, и Данилову приехал из Канады галстук. «А где он?» — спросил Данилов. Тут не только Тартаковер рассмеялся, но рассмеялись и другие музыканты, подошедшие к Данилову. Было видно, что в разговоре с ним они лишь продолжают забаву. А может быть, ждут от него каких-либо действий.

Вышло так. Монреальские музыканты пожелали с московскими коллегами тихо посидеть в дружеской беседе. Деятельный виолончелист Туруканов взялся устроить сидение за столом, пригласил монреальцев в свой дом, пообещал большой сбор, дружбу, музыку, закуску и прочее. Канадские друзья пришли, увидели дома у Туруканова двух скромных виолончелистов и его жену, скрипачку, были удивлены, отчасти раздосадованы. Посидев, ушли, сгрузив у Туруканова все сувениры. В том числе и галстуки для альтовой группы. «Так что же,— спросил Данилов,— к Туруканову идти?»

Тут все вокруг Данилова зашумели с возмущением. Оказывается, Туруканов и не собирался раздавать никаких галстуков. Туруканову из слов гостей якобы показалось, что все сувениры привезены именно ему и его жене, скрипачке. Кое-какие сувениры, в их числе — альбомы с видами провинции Квебек и баночки с канифолью, он отдал двум своим друзьям, виолончелистам, представлявшим на встрече с канадцами оркестр. Те рассчитывали на большее, обиделись на Туруканова, а еще серьезнее на его жадную жену, и рассказали обо всем в оркестре.

Минутами раньше Данилов не хотел идти к Туруканову, а теперь почувствовал, что пойдет.

Туруканов сидел сейчас в маленькой комнате, принимал профсоюзные взносы.

«Я к вам, Григорий Евгеньевич»,— сказал Данилов. «Володенька,— сказал Туруканов,— у вас же за этот месяц заплачено...» «Разве? — удивился Данилов.— Но я к вам, Григорий Евгеньевич, по иной причине... Говорят, вы галстуки раздаете...» «Какие галстуки, помилуйте, Володенька?» — строго сказал Туруканов. «Канадские». «Какие канадские? — пожал плечами Туруканов.— Что за шутники послали вас ко мне?» Но было видно, что он смущен. «Мне неудобно говорить вам об этом, выходит, что я вымогаю у вас какой-то галстук,— сказал Данилов,— но и мне неловко, я встретил вчера альтиста Вернье из Монреаля, он между

прочим спросил, как мне понравился переданный вами галстук...» Насчет встречи с альтистом Вернье Данилов от волнения приврал, но у Туруканова слова об этой встрече не вызвали сомнений. «Но, Володенька,— сказал Туруканов тихо, пряча глаза,— зачем вам галстук, вы ведь носите бабочки?» «Да, бабочки,— подтвердил Данилов.— Но я и костюмы надеваю. Однако разве тут в галстуке дело?» Туруканов молчал, бумаги оставил. «Нам надо спешить,— сказал Данилов,— давайте я возьму галстук и пойду...» «Нет здесь никаких галстуков! — чуть ли не плача произнес Туруканов.— Я не захватил... Может быть ваш, Володенька, дома найдется...» «А это что у вас из пакета торчит?» — спросил Данилов, ощущая в себе бестактную напористость. «Где? Из какого пакета? Ах, из этого?» Из пакета, устроенного на стуле, ничего не торчало, но на красивой бумаге с цветочками имелись английские слова, возможно сообщавшие название галстучной фирмы. Туруканов стал объяснять Данилову, что это так, мелочи, их лично ему подарили канадские друзья, а он, от себя, намерен сделать приятное хорошим людям. «Кому?» — решительно сказал Данилов, будто пистолет в руке держал. Туруканов ответил. Имелись в виду один из дирижеров, концертмейстер, влиятельный общественник, словом, все полезные люди. Данилов сказал: «Не только ведь я галстук жду, но и вся альтовая группа». «Да что вы, Володя,— рассердился Туруканов.— Я, конечно, посмотрю дома, не оставили ли вам канадцы галстук, но уж от этих бредней об альтовой группе вы меня увольте... Да и что это за артисты, которые только о тряпках и думают... Вам я и вправду посмотрю...» Туруканов, видно, решил отделаться от бестактного альтиста, к тому же редактора стенной газеты «Камертон». Он открыл пакет и, покопавшись в нем, со вздохом потянул синий в белый горошек галстук, но галстук сразу не кончился, а оказался длинным, таким, будто бы имел продолжение в квартире Туруканових на Сивцевом Вражке. Он как бы разросся, стал шириной в полметра и пошел пятнами, словно был сшит из цветных лоскутов. Отчетливо проглядывались на полотне галстука как бы вдавленные в него носовые платки, фотографии с видами провинции Квебек и реки Святого Лаврентия, пластинки и магнитофонные ленты, лезвия бритв, носки, дважды дамские колготы, одни в листочках, другие в черных сердцах. Туруканов потел, говорил в отчаянии: «Что же это? Откуда это?», пыхтел, однако вытягивал и вытягивал галстук, остановиться не мог. Лишь когда галстук занял чуть ли не полкомнаты, из пакета объявился его конец.

«Фу-ты! — расстроился Данилов.— Опять я сгоряча перестарался...» Туруканов же в испуге и растерянности ходил вдоль возникшего из пакета галстука, все желал дотронуться до странной и, возможно, бесполезной вещи, но и руку то и дело отдергивал от галстука, боясь обжечься. «Как же это? Откуда это?» — повторял он и с неким опасением взглядывал на Данилова.

Позвонил телефон. Туруканов не сразу поднял трубку, будто и из трубки могло что-то выползти или выстрелить. Данилов тут

же, хотя и стоял от телефона метрах в трех, услышал крик жены Туруканова. «Все улетело! — кричала она.— Улетело все!» «Что улетело?» — спрашивал Туруканов. «Все! Все! Все! Галстуки, пластинки, колготы, все!» — «Куда улетело?» — «Откуда я знаю, куда улетело! Куда-то! Сквозь стены! От нас!» «Успокойся,— говорил Туруканов,— вызови врача!» «Ты думаешь, врач все вернет?!»

Повесив трубку, Туруканов опять в испуге посмотрел на Данилова и пробормотал: «Как же это? Ведь этого не может быть! А? Как же это?» Данилов пожал плечами и вышел из комнаты. «Неужели взносы у меня действительно уплачены?» — опять удивился Данилов. Коллеги обступили его. «Есть у Туруканова один большой галстук,— сказал Данилов,— а обычных, выходит, что и нет...»

После репетиции альтист Чехонин спросил Данилова, отчего он не едет домой.

— Мне «Свадьбу» играть,— сказал Данилов.

— Да ты что? — удивился Чехонин.— Ты сегодня свободный. Я играю.

Данилов побежал к инспектору оркестра, выяснил, что две недели назад плохо изучил расписание. С ним и прежде случалось такое. Однажды за неявку на утренний «Золотой петушок» он получил выговор и не смог поехать на гастроли в Монголию. Теперь бы Данилову пуститься в Останкино, насладиться домашним уютом, поспать, но он после некоторых колебаний решил послушать «Свадьбу Фигаро» из зала. И когда стал слушать, понял, что он не знал как следует этой музыки! Был же случай у них в театре. Контрабасист, игравший в оркестре лет сорок и отправившийся на пенсию, достал по знакомству билеты на «Кармен», привел в театр внука. В первом же перерыве он прибежал в яму, чуть ли не закричал: «Музыка-то какая! Увертюра-то какая! Опера-то какая! Я-то всю жизнь думал, что в ней только пум-пум, а в ней, оказывается, и та-ра-ра-ра...» — и пропел тему тореадора. В яме Данилов играл «Свадьбу Фигаро» десятки раз, а из зала слушал ее впервые. Поначалу он сидел открыв рот, потом стал петь. Текст оперы он знал наизусть. Но Данилов не только пел, а и несколько раз, забывшись, обращался со словами: «Музыка-то какая! Ансамбль-то какой!» — к старичку, сидевшему прямо перед ним, при этом чуть ли не за плечо старичка хватался в восторге. Старичок поначалу смотрел на Данилова удивленно, потом стал сердиться, попросил Данилова помолчать, сказав, что люди на сцене поют лучше. Да и другие зрители из ложи с шиканьем оборачивались в сторону Данилова. Данилов смутился, пел он теперь про себя и оркестр поддерживал про себя, однако нет-нет, а срывался и чуть слышно звучал в ложе бенуара.

Оркестр моцартовским составом играл хорошо и без него, Данилова, да и можно ли было плохо играть эту музыку! В антрактах Данилов не ходил ни в яму, ни в буфеты, он не хотел спускаться в быт. Тихо сидел в ложе бенуара на гостевом стуле,

устроенном ему капельдинером Риммой Васильевной. Весь был в Моцарте.

После третьего антракта он оконфузился. Он заснул и проспал минут пять. Лишь при звуках дивного голоса Керубино, не явившегося на военную службу, Данилов проснулся. Как он ругал себя! Но тут же себя и простил. Ну, заснул, ну что же делать-то? Ведь устает... Хоть бы отдохнуть недельки две. Покупаться бы в морских волнах.

— Молодой человек,— сказал старичок, сосед по ложе бенуара,— вы своим стоном мешаете слушать...

— Извините,— сказал Данилов,— музыка больно за душу берет...

И по дороге домой Данилов пел про себя Моцарта. «Кабы я мог написать такую музыку! — думал Данилов.— Какой же идиот я был десять дней назад, когда сыграл Переслегина и решил, что все. Кончилось! Ведь было! Было! И отвращение к музыке было! Как дурной сон! Вот тебе и Моцарт. Пусть по нынешним понятиям у Шенберга высшая математика, а у Моцарта, скажем, алгебра, так что же? Нет никакой алгебры, и нет никакой высшей математики, нет никакого восемнадцатого века, а есть вечное и великое, есть музыка». Шенберга Данилов в душе вовсе не громил, он относился к Шенбергу с уважением, а Вторую камерную симфонию его и «Пережившего события Варшавы» почитал и держал у себя на магнитофонной пленке. Уроки двенадцатитоновой теории Шенберга чувствовал в симфонии Переслегина. И все же теперь он как бы возвышал Моцарта над Шенбергом, то ли из азарта, то ли пытаясь пересилить мнение о музыке скрипача Земского. Вот тебе традиционная музыка, а что делает! Музыка нужна, нужна, и он, музыкант Данилов, должен играть. Играть и играть! И для себя и для людей. Данилов словно бы исцелился сейчас окончательно от тяжкого недомогания. Словно бы возродился наконец для музыки! Так оно и было.

Данилов все напевал про себя в троллейбусе темы из «Свадьбы Фигаро», потом испугался: не признают ли пассажиры его тронувшимся, поглядел по сторонам. Нет, все были в своих заботах. На всякий случай Данилов достал из кармана пальто вечернюю газету, чтобы отвлечься от музыки, просмотрел программу телевидения, объявление о спектаклях, некрологи, прочитал «Из зала суда» и «Календарь садовода», потом взглянул на первую страницу и увидел заметку «Интересное явление». В заметке описывались опыты геофизиков геологоразведочного института. Летом эти геофизики были в экспедиции на Камчатке, облазали вулкан Шивелуч. Их лаборатория интересуется теорией ядра Земли. Они привезли в Москву образцы застывшей лавы вулкана Шивелуч. И вдруг, совершенно неожиданно, при термической обработке из куска лавы вулкана Шивелуч весом семьсот сорок граммов образовались четыре крупных изумруда и живая бабочка Махаон Маака. Руководитель лаборатории член-корреспондент Н. Г. Застылов заявил журналисту: можно предположить, хотя и с некоторыми

опасениями совершить серьезную научную ошибку, что ядро Земли состоит целиком из жидкого изумруда. А возможно, что и не жидкого. Или не совсем жидкого. Во всяком случае геофизики лаборатории находятся на пороге большого открытия. Несколько затрудняет разработку новой теории явление бабочки Махаон Маака, в особенности если принять во внимание то, что размах крыльев у нее на семь сантиметров больше общепринятого и, по странной игре природы, кроме хоботка есть зубы.

«Отчего же изумруды-то? — удивился Данилов.— И бабочка? Что же это за материя попалась мне тогда под руку?» Сегодня, решил Данилов, он займется камнями Шивелучской экспедиции. Или нет, завтра. Тут он сообразил, как расстроится Клавдия, прочитав заметку. Бедная женщина. И надо же, чтобы именно изумруды! А бабочка оказалась чуть ли не сильнее Моцарта, о ней думал Данилов, направляясь с троллейбусной остановки по улице Цандера к дому. Мелодии «Свадьбы» в нем почти умолкли. Однако тихонечко все-таки звучали.

Данилов открыл свой почтовый ящик. Газет не было. В ящике лежал листок бумаги в клеточку, сложенный вдвое, и на нем рукой Земского — Данилов эту руку знал, Земский иногда приносил заметки в «Камертон» — было написано: «Ну как, Володя, с тайной М. Ф. К.?»

«Что он ко мне пристал? — рассердился Данилов.— И тайны небось никакой нет».

Когда Данилов стал открывать дверь, его обожгло предчувствие недоброго. Что-то уже случилось или вот-вот должно было произойти. В квартире его был жар и чем-то воняло. Данилов бросился на кухню и там, на столе, на фарфоровом блюде, взятом кем-то из серванта, увидел лаковую повестку с багровыми знаками. Остановившись на секунду, Данилов все же решился шагнуть к столу и прочел пылающие слова: «Время «Ч». Сегодня ночью. Без пятнадцати час. Остановка троллейбуса «Банный переулок». Дом номер шестьдесят семь».

«Ну вот и все»,— подумал Данилов и сел на табуретку. Лаковая повестка тут же исчезла, надобности в ней уже не было. «Ну вот и все»,— повторил про себя Данилов.

Времени у него оставалось мало. Полтора часа. Минут двадцать пять из них следовало уделить троллейбусу. А то и больше. Троллейбусы в эту пору ходят редко, минут пятнадцать придется ждать.

Переодеваться Данилов не стал, в театр он всегда являлся в приличном виде. Данилов просмотрел свои земные распоряжения и письма, приготовленные накануне дуэли с Кармадоном, остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел. Ни тех, кому был должен. Ни тех, кто и ему был в чем-то обязан. Ни Клавдию. Может быть, она еще вспомнит о нем с теплыми чувствами. Впрочем, ему-то что.

Вот Наташа... Пожалуй, хорошо, подумал Данилов, что она решила сегодня заняться шитьем дома. Но позвонить ей, навер-

ное, следовало. Данилов никак не мог поднять трубку. Подходил к телефону и отходил от него. Данилова останавливало не только волнение, не только боязнь причинить боль Наташе. Он боялся, как бы его звонок не стал для Наташи опасным. Впрочем, что добавил бы прощальный звонок к прежним знаниям о Наташе порученца Валентина Сергеевича!

Данилов поднял трубку.

Наташа подошла к телефону не сразу, наверное от швейной машинки, и, возможно, дело с маркизетовой блузкой, срочно заказанной ей инженершей с «Калибра», приятельницей Муравлевой (Данилов видел начало Наташиной работы), двигалось неважно. Голос у Наташи был усталый.

— Наташа,— сказал Данилов, стараясь быть твердым, однако чуть-чуть заикаясь,— наступила минута, о которой я предупреждал. Спасибо за все. И больше — ни слова.

Он повесил трубку.

Альт Данилова остался в театре, в несгораемом шкафу, Данилов подошел к фортепьяно, стал играть. Что он играл, он и сам не понимал. Руки его двигались как бы сами собой, музыка была стоном Данилова, отчаянием его и болью.

Без десяти двенадцать Данилов встал, снова просмотрел все свои бумаги, провел рукой по крышке фортепьяно, словно бы погладил его. Прикосновение его было легким, отлетающим, ничто уже не связывало Данилова со старым инструментом, инструмент потерял звук. Данилов надел пальто и шапку, проверил, не включены ли где в квартире электрические приборы, не горит ли случаем газ, погасил во всех помещениях свет и, не спеша заперев дверь, вызвал лифт.

34

Троллейбуса, как и предполагал Данилов, пришлось ждать. Было зябко и сыро. Снег к ночи опять растаял. Наконец троллейбус подошел. Автомат был в нем новой системы, Данилов опустил пятак, подергал металлическую ручку, билет не выскочил. Данилов обернулся в сторону единственного пассажира, нетрезвого, видимо задумчивого в своей нетрезвости, сказал виновато, но вместе с тем с осуждением технического новшества:

— Не дает билета...

— А! — махнул рукой пассажир, на Данилова, впрочем, не поглядев.

«Не Ростовцев ли это?» — обеспокоился Данилов. Но нет, пассажир был случайный, не Ростовцев, мрачный человек, пивший, наверное, с горя или по привычке.

Данилов сел. Вздохнул. Витрины пустого и будто подводного в ночную пору магазина «Океан» проплывали справа. Вспомнился Данилову виолончелист Туруканов, испуганный явлением большого галстука, вспомнились две барышни, чьи жизни из-за

легкомыслия его, Данилова, могли оказаться теперь разбитыми, вспомнился водопроводчик Коля, дышавший паровозным дымом, вспомнился Кудасов, иссушивший себя сомнениями в высоких грезах. Да мало ли что вспомнилось теперь Данилову. Скольких дел он не закончил, в скольких судьбах должен был — и обещал себе — принять участие. А вот не принял, не успел. Все спешил, летел куда-то или несся по волнам.

«Я и в милицию не зашел!» — спохватился Данилов. Теперь случай с альтом, скорее всего, останется среди нераскрытых дел и в отчетную пору будет тяготить пятьдесят восьмое отделение милиции. Впрочем, Данилов несколько обрадовался. Теперь как будто бы не музыка, не Наташа, не желание жить и быть самим собой вынуждали его приложить усилия, чтобы уцелеть и вернуться, а именно обязательные мелочи приобретали для него чрезвычайное значение. Надо их доделать-то! Вот Данилов и обрадовался. Понимал — и при всем своем легкомыслии,— что нынче особое путешествие, не похожее на прежние, и все же легонько тешил душу. До тех пор, пока троллейбус не одолел Крестовский мост.

«Что я думаю о пустяках! — встрепенулся Данилов.— Ехать-то всего две остановки. Мне бы теперь размышлять о высших смыслах». Но тут же Данилова пронзило соображение,— впрочем, оно не могло быть новым для него — о том, что сейчас за ним наблюдают, все видят. А главное — им ясны все его мысли, все его порывы, все моментальные и неуловимые даже для самого Данилова движения его души. Как унизительно было ощущать это. Мука-то какая! Даже если бы он теперь волевым усилием заставил себя пребывать в некоем спокойствии, то и это его нравственное напряжение было бы, естественно, понято и проанализировано. Тут Данилов несколько хитрил. Или полагал, что хитрит. Он-то считал (правда, не без определенных опасений), что все сложности его натуры, ход его мыслей и чувств вряд ли до конца поняты и самыми чувствительными аппаратами.

Мысли, в особенности в людском обиходе, чаще всего становятся известны благодаря их словесному выражению. Но слово, притом скованное привычками языка, примитивно и бедно, оно передает лишь часть мысли, иногда и не самую существенную, а само движение мысли, ее жизнь, ее трепет, и вовсе не передает.

Именно музыка, был уверен Данилов, тут куда вернее. Для него, альтиста Данилова,— без всяких сомнений.

Передавать свои состояния он стал порой не в виде слов, а в виде музыкальных фраз или коротких звуков. Вышло все само собой. Потребность привела к этому. Отчасти озорство. Поначалу его мысленный музыкальный язык был простым. Данилов взял Девятую симфонию Бетховена — в ту пору он очень увлекался Бетховеном — и из ее звуков и выражений составил для себя как бы словарь. Сам термин «словарь» его, естественно, не устраивал, и Данилов заменил этот термин звуками, причем произнесение

их доверил гобою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса Девятой симфонии. Но потом пошли в дело фортепьянные концерты Чайковского и «Пиковая дама», Четвертая симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Малера, Хиндемита, Шенберга, не забыты были Стравинский с Прокофьевым (в особенности его «Огненный ангел») и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе много позволять. С удовольствием, но и с разбором, как некий гурман, распоряжался он чужими звуками. Частушечные темы Щедрина использовал для передачи хозяйственных наблюдений. Достижениями биг-бита прикрывал сентиментальные чувства по поводу утраты Альбани. Нидерландские акапелльные хоры эпохи Возрождения сгодились для скрытых угроз Данилова превратностям судьбы. Потом Данилов и сам, увлекшись, принялся создавать звуки и фразы, выражающие его состояние. Чаще всего он думал в суете и спешке, мысли его были скорые, энергичные и как бы рваные, музыкальные средства использовались тут самые скупые, рациональные, было не до украшательств, не до разработок темы, не до ее оркестровки. Увлекшись самим процессом выражения своих мыслей и чувств, Данилов обратился и к другим музыкальным школам с их особыми законами и сладостями — негритянской, индийской и дальневосточной. И стали звучать в нем маракасы, ситары, рабобы, сямисэны, кото, бамбуковые флейты — сякухати. Для построения целых, пусть и моментальных, фраз хороши были и семиступенный диатонический индийский звукоряд и пятиступенные японские лады — миякабуси и инакабуси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными, и нибелунговским медным в нем вторила застенчивая флейта сякухати, из-за спешки мысли Данилова не допускавшая, правда, привычных для нее мелизматических украшений и опевания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал альт. Когда же случались минуты покоя — покоя чисто физического, покоя чувств и мыслей не было,— соображения Данилова принимали более или менее правильную форму, фразы повторялись им в разных вариациях, иногда — в радости — с удовольствием, как некое мечтание, иногда в отчаянии и нервно, фуги с их полифонией рождались тогда в Данилове, бывало, что и сонаты. А в общем музыка была своеобразная, возможно, что и странная, во всяком случае искренняя, именно искренняя. Кабы ее записать и исполнить ради опыта. Но где уж тут записывать... Так или иначе внутренняя музыка увлекла Данилова, он привык к новому языку, главным для него было творение новых звукосочетаний, порой и мелодий. Музыкальная система Данилова, теперь уже его собственная, усложнялась, импровизации его были неожиданные и упоительные, а что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов, эта его внутренняя музыка могла оказаться и загадкой. Впрочем, теперь ему предстояло проверить, так ли это...

Троллейбус подошел к Банному переулку.

Данилов встал. Сам не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Пассажир не поднял головы. «А не проедет ли он свою остановку?» — обеспокоился Данилов.

— Извините, пожалуйста,— сказал Данилов.— Вам где сходить? Вас не увезут в парк?

— Ты не проедь! — с вызовом произнес мужчина.— Это тебе сходить, а мне не надо. А ты сойдешь, и все равно тебя увезут в парк... А там люстры...

Данилов поднял воротник, до того стало ему зябко. Часы на углу Больничного переулка показывали без двадцати четырех час. По соседней, Второй Мещанской, ныне Гиляровского, прогремел по металлу трамвай, видимо, отправился на отдых в Ростокино. «Неужели этот пьяный мужчина,— с тоской подумал Данилов,— последний человек, которого я видел?..» Оставалось девять минут его земного существования, дом номер шестьдесят семь стоял в ста метрах от Данилова.

Дом шестьдесят семь, как и соседний, продолжавший его, дом шестьдесят девятый, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме метрах в семи от уличного тротуара и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к шестьдесят седьмому примыкал дом, дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу, она вела на второй этаж и чердак. Лет пятнадцать назад старый дом сломали, на его месте поставили табачный и квасной киоски, а чуть подальше устроили баскетбольную площадку, правда, теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты и посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась, ее не заделали, и, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца, можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже двенадцать лет являться в Девять Слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией, было в нем нечто нарочитое, театральное, подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей. Но теперь пропала ирония. Ужасен был шестьдесят седьмой дом в ночную пору, жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза, люди жили в нем обычные. А теперь этот шестьдесят седьмой наводил тоску. Рядом стоял семьдесят первый дом, огромный и угрюмый, его серые тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять и им и всем, что они — гримасы прошлого и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено [1]. И на самом деле была

---

[1] Снесли наконец эти дома-то. Зимой семьдесят шестого года и снесли. Теперь строят новые. *(Прим. автора.)*

теперь какая-то мерзкая гримаса в кривых линиях кирпичных карнизов и межэтажных поясков старых домов, не выдержавших тяжести своего века, в обреченно изогнутой балке проезда во двор. Дом шестьдесят седьмой и вправду вот-вот должен был развалиться и исчезнуть, и каждому, кто являлся к нему, вызванный роковой повесткой с багровыми знаками, не могло не броситься это в глаза, не могла не явиться мысль, что вот и он все время был на поводке у чего-то сильного и властного и теперь и ему предстоит исчезнуть. Дом имел вид виноватого в чем-то, и Данилов, оказавшись рядом с ним, ощутил себя виноватым.

В проезде было мрачно, воняло котами и гнилой капустой. Данилов подумал, что, наверное, и на этот мрак, и на гнилье, и на котов рассчитывали сочинители инструкции. Вызванные повестками в свои последние мгновения на Земле должны были испытать унижение этого пошлого места, запомнить Землю мерзкой, ощутить свою мелкость и беспомощность. Тут было как бы подведение черты, подготовка к переходу в состояние еще более унылое, а возможно, и в никакое. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее, чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь. Потом шагнул на ступеньку крыльца. Дернул ручку двери. Дверь не поддалась. Данилов нагнулся. Три гвоздя, вбитые, видимо, по распоряжению техника-смотрителя, крепко держали дверь. Значит, люди в жэке сидели все же хозяйственные и углядели наконец, что осиротевшая дверь хлопает без дела. А возможно, дверь и прежде иногда забивали, но находились причины, по каким жэковские гвозди исчезали без следа. Ни гвоздодера, ни кусачек у Данилова не было, сняв перчатки, Данилов попытался раскачать гвозди, но только ободрал до крови пальцы. Он злился, понимал, что может опоздать. И тут вспомнил о браслете. «Что же это я? — подумал Данилов.— Да и каким же манером я собирался пускаться в странствие?» Он подвинул пластинку браслета, гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь. И сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо.

35

Что-то будто завертело его, сжало, ударило, что-то хрустнуло, возможно, хрустнуло в нем самом, какие-то нити рвались и цепи звякали глухо, вихри обдували Данилова, горы падали на него или он сам падал в раскаленные кратеры. Иными случались его прежние перемещения во времени и пространстве. Больно было Данилову и страшно.

Но прибыл Данилов куда ему следовало прибыть. Он находился теперь невдалеке от Девяти Слоев, в Колодце Ожидания, известном ему с чужих слов. Темень была всюду. Да и не темень, а чернота. Однако Данилов в черноте не растаял, он все еще ощущал себя живым и суверенным. Легче ему от этого не было. Он чувствовал, что с четырех сторон его окружают стены, их нет, но

он не сможет сквозь эти несуществующие стены куда-либо уйти. Он знал, что стены продолжаются и вверх и вниз и нет при них ни пола, ни потолка, колодец бесконечен, но ему, Данилову, не дано в нем ни летать, ни плавать. Поначалу Данилов думал, что и позу менять не позволят, но нет, не вытерпев неведения, Данилов чуть выпрямил ноги, опустил руки, ожидал кары, однако никаких запретительных сигналов не последовало. Значит, можно! Что руки, что ноги, он мог существовать сейчас и застывшим, не это было важно, его обрадовало обретение пусть и крошечной, но свободы. Или видимости крошечной свободы. В черноте Колодца ничего не происходило. И, по всей вероятности, ничего и не должно было происходить. Сама чернота, сама бездеятельность Данилова, ощущение им собственного бессилия, предчувствие страшного впереди должны были его изнурить. Времени он сейчас не чувствовал, то есть не чувствовал того времени, какое могло течь, разрываться, останавливаться или винтиться в Девяти Слоях. Это удручало Данилова, обрекало на некое безволие, неготовность к неожиданностям, а стало быть, и к мгновенному сопротивлению им. Данилов понял, что, если он устроит в самом себе отсчет времени земным способом, ему станет легче укрепить себя. Так и вышло. Теперь он хоть и в мелочи, но был хозяином своего состояния. Он сам установил в Колодце время, привычное для него. И, отсчитывая час за часом, говорил себе: «Ну вот и еще выдержал. А они сколько протянут? И что придумают после?»

Проходили сутки (в земном измерении, хоть на самой Земле, полагал Данилов, могло не сдвинуться и секунды). Данилов все считал. Однажды он снова изменил позу. И не потому, что в его теле что-то затекло, а из желания не выглядеть некрасивым или жалким. Какой-то скрюченный висел он в Колодце.

И обнаружилось перед Даниловым видение. Явился старательный порученец Валентин Сергеевич в ношеном-переношеном тулупе, в валенках, снабженных галошами, с метлой в руках. Стоял он сейчас в печальном проезде под домом шестьдесят седьмым на Первой Мещанской, в ночной подворотне, и имел вид дворника. На нем был темный передник в заплатах и даже дворницкая бляха, давно отмененная в Москве. Валентин Сергеевич опустил метлу, стал сгребать ею вонючие и гнилые предметы, вызвавшие досаду Данилова в последние его мгновения на Земле. Греб Валентин Сергеевич плохо, и выходило так, что он ничего не сгребал. Валентин Сергеевич стоял на месте, и метла его повторяла одно и то же как бы застывшее движение. Сам Валентин Сергеевич выглядел сейчас заведенным механизмом. Наконец его завод кончился, он замер. Потом дернулся, опять начал водить орудием труда, не позволяя себе при этом ни увеличить, ни уменьшить размах движения метлы, хотя бы и на сантиметр.

Теперь Данилов услышал и звуки. Сморкание Валентина Сергеевича, его вздохи, шуршание чего-то по асфальту. Валентин Сергеевич, до этого не замечавший Данилова, посмотрел на него с укором, погрозил пальцем. Он и лицо скорчил: «Ну что, дождал-

ся своего, негодный!» Но тут ему, видимо, на что-то указали, Валентин Сергеевич сгорбился и тихонько пошел, его дворницкая бляха стала заметнее, весь его облик как бы говорил: «Да, конечно, я помню, помню, я мелочь, я ничтожество, я свое дело исполнил, и все...» Подворотня исчезла, и Валентин Сергеевич удалился в черноту.

Опять Данилов пребывал в черноте, выжидая, когда наконец его подвергнут новым воздействиям. А о нем как будто бы забыли.

Данилову захотелось снять пальто. Ему не было жарко. Как, впрочем, не было и холодно. Но пальто, шапка и перчатки начали стеснять его. Он бы с удовольствием расстегнул пуговицу рубашки и убрал бабочку, он бы и шнурки ботинок развязал, хотя ботинки не жали. От чего он желал свободы? От вещей? Пусть для начала и от вещей... Но тут же Данилов сказал себе, что это нервы. Данилов не расстегнул ни единой пуговицы пальто. И перчатки не снял. А шапку натянул покрепче и уши ее опустил, будто некий шум раздражал его. Но ничто не звучало. И Данилов повел про себя партию альта из симфонии Переслегина.

Потом перестал. То ли ослаб, то ли отчаялся, в нем сейчас жила обида маленького и слабого ребенка, чуть ли не со слезами глядящего на взрослых: «За что вы меня! Что плохого я сделал вам?» Данилову хотелось, чтобы он и вправду стал сейчас маленьким, беззащитным (беззащитным он, впрочем, и был) и чтобы кто-нибудь сильный приласкал его или хотя бы пожалел, простил ему капризы и шалости. Данилов и бороду сейчас, пожалуй бы, сбрил. Если бы попросили. Однако никто не увидел в Данилове обиженного ребенка, ни вздоха сочувствия Данилов не услышал.

Он вообще по-прежнему ничего не слышал. Скребки метлы Валентина Сергеевича, его вздохи и сморкания вспомнились нечаянным и бесценным подарком. А вдруг и само время «Ч» уже началось? И может быть, заключалось оно в вечном отлучении Данилова от звуков. Ведь кураторы и исследователи могли уже все решить, и не было у них никакой нужды проводить с Даниловым разговоры. «Так нельзя! — ерепенился Данилов.— Не имеют права! Нужно объяснить мне, почему и что!» Но сразу же он почувствовал, что его возмущение, как и готовность сбрить бороду, как и желание оказаться на глазах у публики бедным, заблудившимся ребенком, сами по себе бессмысленны, и его, Данилова, показывают лишь жалкой личностью. Ожидание подачек и милостей было изменой самому себе, да и за подачки эти и милости следовало бы еще платить по высоким ценам.

Он закрыл глаза, но сразу же сквозь сомкнутые веки увидел некое движение где-то рядом. Опять то ли скользили тени, то ли колыхались снятые с чьих-то незаживших ран бинты. Данилов устало и словно бы нехотя открыл глаза.

Тени или полотнища унеслись, покачиваясь, в глубину черноты, растворились в ней, а перед Даниловым появились шесть бараньих голов на коротких сучковатых палках. Головы перемигива-

лись, словно кривлялись, скалили зубы и подскакивали, норовя толкнуть друг друга или укусить.

Вскоре вместо них возникла небольшая фигура мужчины, смутно Данилову знакомого. «Это мой Дзисай!» — догадался Данилов. Своего Дзисая он никогда не видел, но был уверен теперь, что это именно его Дзисай. Дзисай опустился на колени, видно собираясь молить о чем-то. Возможно, о смягчении своей участи. А возможно, и о смягчении участи Данилова, с судьбой которого он был связан по желанию прекрасной Химеко. Лицо Дзисая исказила гримаса предсмертной муки, он опустил голову. Прежде Данилов полагал, что его Дзисай — порождение наивных времен, о каких и помнят немногие,— должен был бы носить кимоно и иметь стекающую на спину косичку, но нет, Дзисай был одет в техасы и кожаный пиджак, а волосы отрастил пышные, длинные, будто бы играл на электрической гитаре. «Как он молод! Он совсем юноша! — содрогнулся Данилов.— Нет, Химеко, не надо... Не надо... Молю тебя...» Данилов закрыл глаза, но Дзисая он наблюдал и с закрытыми глазами, Химеко не услышала его мольбы, да вовсе и не Химеко явила Дзисая или его тень пред очи Данилова. Возможно, Химеко уже принесла Дзисая в жертву ради спасения Данилова, и теперь Данилову были намерены показать, как это произошло и почему жертва вышла напрасной. Данилов открыл глаза, на месте Дзисая было нечто багровое, растекшееся, это растекшееся стало исходить дымом и рассеялось в черноте. «А ведь я принял бы жертву, принял бы!» — почувствовал Данилов. Данилов жалел и юношу Дзисая, погибшего бессмысленно, и себя. Он заплакал бы, коли б знал, что на него не смотрят... На мгновение ему показалось, что возник нежный запах цветов анемонов, вдруг Химеко сквозь все препоны удалось высказать ему теперь сострадание? Но тут же глаза и носоглотку ему защипало, не цветы анемоны благоухали, а, похоже, где-то невдалеке без звука разорвалась граната со слезоточивым газом. Газ этот оказался теперь хорош для Данилова. Неприятность, доставленная им, как бы напомнила Данилову, что и его судьба ничем не лучше судьбы Дзисая.

А перед Даниловым уже неслись световые вихри — и фиолетовые волдыри лопались в них. Вихри эти скоро уже не казались Данилову сообщением о чем-то, они стали реальностью, приобретали мощь и глубину, а глубина их была — в миллиарды земных километров. Данилову даже показалось на мгновение, что стены черного колодца исчезли, но это было ошибкой. Действительно, глубина его видений была сейчас в миллиарды километров, но и черные стены остались. Вытянув руки, наверное, можно было дотронуться до них, впрочем, естественно, ничего не ощутив.

Тут он вспомнил, что какое-то время назад — а счет времени он уже и не вел — он заставил зазвучать в себе музыку Переслегина. Однако музыка тогда же и затихла. Неужели он стал так слаб? Или себе не хозяин? Или засмотрелся на видения? Нет! Данилов решил, что немедленно в его суверенной личности будет

восстановлен обычный ход жизни, нисколько не зависимый от бытия в колодце и опытов исследователей. Усилием воли он опять заставил себя вести счет времени, и тут же «Пассакалья» Генделя стала исполняться в нем классическим секстетом. Что касается мыслей и чувств, то они по-прежнему существовали в нем в двух потоках — словесные и музыкальные.

Видения опять напали на него.

Розовые пузыри все разбухали и лопались, яростные свирепые вихри обтекали их, но иногда и налетали на пузыри, и тогда взрывы ослепляли Данилова. И снова огненные языки и осколки от этих взрывов разлетались на миллиарды километров. Вспышки и взрывы продолжались долго, но потом они стали случаться реже, словно бы угомонение происходило в их стихии, и, наконец, некоторые успокоенные, упорядоченные формы и линии стали проступать в поначалу раскаленных, нервных потоках. Теперь перед Даниловым висел и переворачивался вокруг невидимой оси мутноватый, чуть искривленный, мерцающий диск, в нем держались, соблюдая тихое движение, светящиеся спирали, закрученные и взблескивающие на концах. Потом Данилов увидел, что и всюду, на разных расстояниях от явившегося ему диска, расстояниях, измеряемых уже не миллиардами километров, а веками и тысячелетиями, висят, вращаются, плавают, копошатся другие диски, спирали, скопления светящихся и черных пылинок — планет и звезд. Данилов почувствовал, что он перед ними — великан и может ступать по ним, как по кочкам мокрого торфяного поля где-нибудь под Шатурой или Егорьевском. Ступать по ним и властвовать ими. Не хватало лишь сущей малости. Позволения ему, Данилову, вышагнуть из Колодца Ожидания...

Тут же Данилов ощутил себя никаким не великаном, а жалким существом, растерянным и испуганным. Вошью земной перед этими исполинскими дисками, спиралями и сгустками, перед галактиками и вселенными, перед ходом их судеб. Зябко стало Данилову. Тут и шапка с опущенными ушами не могла умерить дрожи. И инструменты секстета, которые Данилов, противясь напору исследователей, все еще заставлял играть «Пассакалью» Генделя, умолкли. А диски и спирали, известные Данилову и прежде, исчезли, маленькая крупинка блеснула в черноте. На Земле ни одна бы электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась, или Данилов был усушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он помещен внутри явленной ему крупинки. Да что крупинки! Внутри ядрышка какого-нибудь захудалого атома, что и науке неинтересен! Или еще унизительнее — внутри простейшей частицы, не знающей на Земле покоя и управы, не словленной там ни одним хитроумным устройством, а здесь, в Колодце, покорной и недвижимой. Но теперь в ней, в этой частице или в этом ядрышке, Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения из сгустков, из скрепов каких-то ледяных шаров и игл, и будто бы шевеление этих ледяных шаров и игл усмотрел Данилов, и явно полет

здешнего космоплана привиделся ему, и отчего-то вспомнился Кармадон, мелькнуло даже злое, надменное лицо Кармадона, какое было у него на лыжне в Сокольниках. И вдруг что-то случилось, разломились диски, стали крениться кристаллические решетки, посыпались с них ледяные шары и иглы, взрываясь на лету или тая. Все свалилось и все исчезло, но он, Данилов, остался. Перед ним сидел сапожник, курносый мужик лет пятидесяти из Марьиной рощи, и чинил, парусиновые тапочки, какие носили, придавая им белый цвет зубным порошком, щеголи в Москве в конце сороковых годов. На коленях сапожника был черный кожаный фартук, губами он держал гвозди, хотя для починки тапочек они не были нужны. «Кто это? — удивился Данилов.— Зачем мне его показывают? Вдруг я ему что-то должен? Нет, не помню...» Возле сапожника стала прыгать серая дворняжка, отдаленно напоминавшая Данилову грамотную собаку Муравлевых по кличке Салют. Сапожник с любовью осмотрел починенные им тапочки, остался ими доволен и протянул их собаке. Собака взяла тапочки и съела их. Потом лапой она пододвинула к себе сапожника и съела его. Облизнувшись, она поморщилась, выплюнула черный фартук и сапожные гвозди. Зевнула и ушла. Гвоздей было пять. «А во рту он держал шесть,— вспомнил Данилов.— Ну шесть! Ну, а мне-то что!»

Фартук и гвозди потом долго валялись в пустоте перед Даниловым. Главное же действие производили теперь многочисленные вещи, предметы и машины, знакомые Данилову по Земле. Чемодан, платяной шкаф, угольный комбайн, металлические плечики для брюк, самолетный трап, асфальтоукладчик, электроорган, вращающаяся электрошашлычница с кусками баранины, совмещенный санузел изумительного голубого цвета, автомобиль «Ягуар», игрушечная железная дорога с туннелями и переключателями стрелок, бормашина с плевательницей, скорострельный дырокол для конторских папок, кухонный гарнитур... Впрочем, всего разглядеть Данилов не мог и не имел желания, машины и вещи то и дело возникали новые, в столпотворении вытесняли друг друга, толклись, на месте не стояли, а находились в некоем хаотическом движении. И то разбирались на части, то — энергично, но и аккуратно — собирались в прежних своих формах. При этом именно разбирались кем-то невидимым, а не рассыпались сами по себе. Но однажды части вещей так и не вернулись в привычные соединения, то ли не смогли, то ли им уже не было в этом нужды. Во всяком случае движение их стало совсем бешеным. Но составные части как будто бы вовсе не зажимались судорожными поисками своих ближних, чтобы вцепиться в них, и уж явно не желали вступать в соединения с чужими составными. Однако что-то происходило. Данилов сначала не мог понять, что именно, но потом, когда из досок, щитов, панелей, стекол, металлических суставов и блоков, ламп, фарфоровых полукружий, шестеренок, приводов, свечей зажигания, деревянных ножек, колес образовались чуть ли не живые существа, самые разные, со своими фигурами,

походками, осанками, одни — гибкие, проворные, словно бы одетые в резиновые обтекаемые костюмы — мешки, другие — густые, водянистые, тяжелые, сонные, с мазутными глазами,— тогда Данилов догадался, в чем дело. Перед ним были сущности вещей и машин, успевших вместиться в Колодце Ожидания, в его, Данилова, пространство и время. Или, может быть, если применить выражение афинского философа,— «чтойности» этих вещей и машин. Освобожденные от своих оболочек и функций, теперь они выявляли стывшие в них порывы и страсти, в азарте наступали на что-то, агрессивные, настырные, жадные, лезли, толпились, лягали это что-то. Данилов понял: они мнут и топчут черный фартук сапожника, не убранный после ухода собаки, Данилов был уверен: не убранный случайно, по небрежности исследователей. В их жестах, прыжках и наскоках была и патетика, было и торжество, но была и мелочность.

«Гвозди они, наверное, тоже затоптали»,— подумал Данилов. Но разглядеть ни гвоздей, ни фартука он сейчас не мог. Темп движений неуравновешенных танцоров все убыстрялся, их самих становилось все больше и больше, злясь, каждый или каждое из них стремились пробиться к центру толпы, словно забытый фартук был им необходим. Неожиданно над ними взвинтилось и запрыгало кольцо огненных букв: «Вяленая икра минтая, ястычковая, 1-150, 1 рубль восемьдесят копеек, Темрюкского рыбозавода». Тут словно бы лампочки стали перегорать в огненном кольце или на пульте управления случился какой дефект, некоторые буквы погасли, а потом исчезло и все кольцо. С пляшущей, подпрыгивающей толпой ничего не произошло. Лишь в центре ее, в самой свалке, в самом ее вареве, по всей вероятности, что-то случалось, возможно, какие-либо чересчур скорые и настойчивые фигуры гибли там, разрушенные, раздавленные напором свежих чтойностей, лишь рожденных и желающих сейчас же потенцию самих себя перевести в осуществленное бытие.

Но затем во внешностях топтунов, толкачей и проныр начались преобразования. Что тут только не появилось. Человеческое стало пропадать. Возникало нечто новое. Да и само новое тут же преобразовывалось. Резиновые мешки, соединения желеобразных шаров, стержни из гибкого металла с утолщениями и шипами, пузыри с зеркалами внутри, колючие кусты то ли нотных знаков, то ли никелированных украшений петербуржских кроватей, беременные колбы, зеленые стручки на проволочных ножках, точильные круги, астма в полиэтиленовом куле, нечто похожее на жадную куриную лапу, а все больше силуэты, словно бы сбежавшие с экранов рентгеновских аппаратов, оставившие на тех экранах скелеты или что они имели там конструктивного, подкрашенные теперь неким неестественным светом, все они, не переставая двигаться, приобретали на ходу совершенно новые формы. И скоро это были уже никакие не силуэты и не мешки, а очевидные уроды или даже монстры, которые вызвали бы удивление и у служащих кунсткамер. Отрубленная задняя половина автомобиля «Шевроле»

была сочленена с крупом и ногами парнокопытной особи, породу которой Данилов определить не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудреницу. В одиноко порхающем крыле бабочки-капустницы размером с покрывало Пьеретты серьгой висел амбарный замок. Из ратушных часов выползал дымчатый плеозавр и никак не мог выползти. Граммофонная труба устроилась среди щупалец дешевого синтетического осьминога, из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге, в трубу же они и падали.

Словно в нервном тике мигал светофорами котел тепловой станции, залитый луковым супом. Но все это были комбинации составных или композиции, Данилов не знал, как их назвать, внешне приличные, не вызывающие у Данилова позывов к рвоте. Но потом к ним стали присоединяться — существа? фигуры? сочленения? композиции? — (в конце концов, Данилов для удобства мыслей назвал их фантомами, но и это было неточно) — куда более пошлые и мерзкие. Тут Данилов несколько раз унимал спазмы пищевода. Полезли какие-то пластиковые и металлические детали, то ли роторы, то ли куски самолетных турбин, обмотанные колышущимися, истекающими кровью внутренностями животных и людей. И многие механизмы стали являться вывернутыми наизнанку, посыпанные при этом неизвестно чем, но вонючим и гадким. В банках со спиртом возникли машины — автомобили, трамваи, гильотины, сцепленные с себе подобными, как сиамские близнецы. Самогонные аппараты гнали омерзительную студенистую жижу, в ней трепыхались утопленные щенки, аппараты сейчас же ее употребляли. Полугнида-полукатафалк с белыми кистями вре́зался в самогонные аппараты и вместе с ними превратился в черную жабу с желтыми гнилыми клыками и бивнями, обвешанную к тому же ротными минометами и терками на гнутых ручках, эти терки были не для овощей. Жаба сожрала спаренный трамвай, содержавшийся в банке со спиртом, и тут же стала бумагой для поимки мух. Приклеившиеся к бумаге коморские драконы судорожно били хвостами, вызывая колыхание мучных червей. Открытые раны терлись о наждачную бумагу.

Следом объявились рожи, знакомые Данилову по земным суеверным страхам и по рассказам людей с воображением. Тут были и вурдалаки, и вампиры, и беззубые людоеды, пугавшие в сытые дни мелких мальчиков, и меланхолическое чудо-юдо с оранжевой пеной на стоматитовых деснах, и фантомасы, и франкенштейны, и недорогие ведьмы-потаскухи с Тирольских гор, и синие мертвецы, защекоченные когда-то русалками, а с ними и дохлые русалки, жертвы промышленных вод, и гневные дармапалы, семиликие, двадцатирукие, многоглазые, опоясанные шкурами тигров, в венцах из людских черепов, в ожерельях из отрубленных голов, кто с мангустой в одной из рук, кто с морковью, и белая, трехглазая, с огненными волосами, в зеленом диком шарфе дзамбала, управляющая сумерками, и наглые асуры, и лукавые апсары, танец которых только увидь — жить не захочешь, и какие-то черные исту-

каны, сладострастные пугала с экватора, нервные от почесухи, и унылые псы из подземелий, чьи глаза как плошки, и летающие упыри с вечной слюной, капающей на галстук, плохо завязанный, и мелкие бесенята, приволокшие сковороды таких размеров, что не лишними были бы при них ядерные источники тепла. Да кто только не объявился! Скакали тут и конь бледный, и конь вороной, и томная дева плава́ла на листе лотоса.

И при этом все возникающие фантомы, а может быть, и не фантомы,— не все ли равно, кто они,— были снабжены приметами нынешних земных времен. Будто необходимым было для них увлечение капризами моды. Или им были нужны доказательства их возрастного развития. И теперь один из этих фантомов мрачно, давя соседей, подпрыгивал на мотоцикле. Другой дул в саксофон. Третий обрядился в бикини, сшитое из грачиных гнезд. Кто-то грыз ртутные светильники, кто-то метался в оранжевом плаще от радиационных осадков и противогазе, кто-то размахивал гарпуном для подводной охоты, кто-то вдел в ухо вагон монорельсовой дороги, кто-то распухшими лапами — от них отпадали синие гнойные струпья — держал части разодранного надвое греческого танкера, кто-то поливал толпу из тринадцатиствольного огнемета. Словом, жуть что творилось!

«Зачем все это? — думал Данилов.— Скоро ли все кончится?» Однако не кончалось. И только что приставшие к Данилову фантомы, и уцелевшие от прежних действий синкретические монстры, чтойности кто знает каких вещей, предметов и существ, долго буйствовали вокруг Данилова, вакханалия их была теперь разнузданной и, по всей вероятности, трагической для них самих. Многие фигуры и гибли, исчезали в толчее и разбое, в бешеной давке неизвестно к чему стремившихся тел, оболочек, жидких и газообразных состояний. Данилов чувствовал, что действие безграничной толпы — не самодовлеющее, но имеет отношение к нему, однако он не был еще растоптан и не претерпел ни единой метаморфозы. Фигуры же толпы, уходившей, куда ни взгляни, в бесконечность, не только буйствовали, не только гибли в неизбежном движении — к чему? — может, к кожаному фартуку? — но и продолжали, сталкиваясь друг с другом, превращаться в новые и неожиданные образования. Лишь исторические персонажи, из суеверий и страхов, резких изменений не имели. Но и с ними происходили трансформации. Они то и дело словно бы обзаводились новыми украшениями. Ртутные светильники меняли на кастрюли-скороварки, голубые очки — на собак китайской породы с вислыми ушами, греческие танкеры — на бульонные шарики. При этом в любые мгновения изменялись те или иные части тел разбушевавшихся существ. Распухали или уменьшались. То головы становились раз в сто больше нормальных, то животы вспучивались аэростатами воздушного заграждения, то ноги, или лапы, или хвосты русалок усыхали и казались крошечными, будто от ящериц. Но тут же прежние конечности возобновлялись, животы опадали,

зато выскакивали глаза метров на десять вперед и вращались больными влажными шарами.

Во все усиливающейся толчее Данилов стал различать видения, как будто бы явно посторонние. То тут, то там словно на особых экранах возникали объемные картины-действия, и были в этих картинах сюжеты, одинаково неприятные Данилову. Вот ножом резали ребенка, и кровь стекала в ведро. Вот на поросшие лесом горы выехал казак на вороном коне, заснувший хлопец, младенец-паж, сидел за его спиной, казак швырнул в пропасть странного мертвеца, тут же костлявые пальцы желтых скелетов схватили мертвеца и стали душить его, и какой-то огромный почерневший скелет отчаянно старался прогрызться сквозь землю к мертвецу, но тщетно, и он страдал, мучался от своего бессилия, а горы тряслись и рушились хаты. Вот красивую женщину, совсем юную, замуровывали в крепостную башню, она билась, пыталась уйти от погибели, но кирпич за кирпичом закрывал нишу, и серый раствор тут же схватывал швы кладки, лишь краешек красной юбки застыл между нижними рядами кирпича. Вот в зеленой ложбине падали мины, летели обрубки металла, кровавые куски мяса, живые еще люди куда-то бежали, кололи друг друга, серые дымовые кусты от снарядов и бомб стояли плотные, упругие, будто вечные, черный паук полз по холодной шее уткнувшегося лицом в траву ефрейтора. Вот штормовая волна смыла людей, дробивших камни за оградой. Вот чудом уцелевшее дерево умирало на черной гари.

И тут Данилов почувствовал приближение некоего нового поворота видений. Да и видений ли? Усилились резкие запахи, воняло паленым и злой химией.

Черное сменилось багровым, потом огненно-белым, стали взрываться и обрушиваться дальние вершины, не существовавшие прежде. Взрывы продолжались, ударные волны их должны были бы коснуться Данилова, отшвырнуть его неизвестно куда или уничтожить вовсе, Данилов и чувствовал порой сдвиги сферических волн, но висел на месте и не имел никаких повреждений. Толпу же диковинных существ и тварей эти взрывы, извержения, разломы горных хребтов, движения кипящей жидкости тревожили. Будто сбивали их в кастрюле с невидимыми или несуществующими боками. Не хозяевами себе были энергичные существа и твари, они и раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчеях и оргиях кем-то, а уж теперь их явно мотала, сбивала в кучу, месила жестокими пальцами-крюками холодная, злая по отношению к ним стихия. И снова произошли взрывы, были они сильнее прежних, ужасней прежних. Сейчас Данилова трясло. Он понял, догадавшись при этом, что мгновенное озарение подсказано ему, понял: сейчас произойдет катастрофа, случится крушение, сейчас — конец всему, что он видел, а может быть, и всему, в чем он существовал. Данилов зажмурил глаза. Но какой от этого прок! Данилов все видел и все чувствовал. Гибли, пропадали суетившиеся только что существа, твари и фантомы, вспухали фиолетовые

волдыри, все мельчало и обращалось в прах, снова во взрывах и сполохах потекли перед Даниловым спирали, диски, скопления звезд и планет, движение их становилось все более тихим или сонным, все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. И Данилов, не ощущая холода, почувствовал себя ледяным и погибшим. Черное, неподвижное вобрало его в себя...

Потом он очнулся. Сколько — минут, веков? — он был неживым, он не знал. Находился он в пустоте. Слева как будто бы брезжил рассвет. «Что это там лежит?» — удивился Данилов. Впрочем, он ясно видел, что лежит. Там, где в прошлом дыбилась толпа, пребывал в одиночестве кожаный фартук сапожника. Данилов захотел подойти или подплыть к нему, но ни единая мышца Данилова не дернулась, не вздрогнула. Фартук же тотчас подпрыгнул и исчез.

По-прежнему Данилов не слышал ни звука.

«По небрежности они забыли его убрать,— подумал Данилов, опять имея в виду фартук,— или все же оставляли со смыслом? Но какой смысл-то в этом фартуке? И во всем, что тут происходило или мерещилось мне?» Что он мог сказать себе в ответ? Ничего. Чудом приходилось считать то, что его существование еще продолжалось.

Он опять попытался собрать свою волю, снова начать счет земного времени, возродить в себе музыку, любую, какая вспомнилась бы теперь, и мыслить удобным для себя способом. Данилов напрягся, но тут же что-то подхватило его, завертело будто в воронке смерча, подняло ввысь, и он ощутил то, что старался избежать ощутить. Ощутил вечность. Ощущение было мгновенным и пронзительным. Данилов думал, что он поседел.

Воронка смерча быстро опала. Данилова кинуло вниз. Тогда Данилов услышал звуки. Звуки были металлические, чем-то стучали и скребли по железу.

И опять черное вобрало в себя Данилова и словно бы растворило его.

36

Данилов лежал на кровати с металлической сеткой, какие встречаются в гостиницах районных городов. Матрац был тонкий, и сетку Данилов чувствовал боками. Сетку, похоже, успели сильно продавить, она провисла и напоминала гамак. Что же касается постельного белья, то его выдали свежее, пахло оно прачечной и имело, где следовало, овальные отметки инвентарных резиновых печатей. Лежал Данилов в голубой пижаме. Рядом с кроватью стоял ореховый платяной шкаф, там, возможно, находились сейчас вещи Данилова, в том числе пальто и нутриевая ушанка.

В прежних случаях он имел куда более порядочные помещения, иногда даже апартаменты, с королевскими альковами, с зеркалами в серебряных оправах и дюседепортами Буше.

Данилов в обиде натянул на голову шерстяное одеяло. Но тут же как бы и проснулся вконец. Какие нынче могут быть обиды! Что он ропщет! Что прикидывается дураком! Ну не Версаль, не Сансуси, не хьюстонский Хилтон-отель, так ведь это после черного колодца. Хорошо, что живой и белье дали, пусть и бывшее в употреблении, но свежее, утюженное, и на тумбочке рядом с репродуктором установили графин с жидкостью. Что же роптать-то!

И все же постельное белье, и пижама, и графин на тумбочке обнадежили Данилова. Он привстал, притянул графин, хлебнул из горлышка. Жидкость была теплая. Однако Данилов выпил полграфина. Ничего с ним не сделалось. Он захотел тут же и есть. И в этом естественном требовании его организма было нечто обнадеживающее. Значит, натурально, жив и желает жить.

Меню завтрака, пусть завтрака, посчитал Данилов, могло быть сообщено ему внутренними сигналами или прислано отпечатанным на машинке. Тут Данилов затаил и некую хитрость: из названий блюд он мог узнать, конечно с известными оговорками, степень тяжести своего нынешнего состояния. Как его полагали кормить? Как пленника? Как смертника в одиночной камере? Как гостя? Как утерявшего расположение? Как гуся лапчатого? Как последнюю тварь? Как кого?

Данилов поднялся, обнаружил под кроватью стоптанные шлепанцы, отыскал туалет и умывальник, зубы почистил суровой щеткой, причесался. И протянул судьбе руки.

В ладони ему упали листочки папиросной бумаги. Нельзя сказать, что они обрадовали Данилова. Блюд было много, но все они происходили из буфетов железнодорожных станций. «Не перепутали ли они меня с Кармадоном?» — удивился Данилов. Но, может быть, здесь была новая манера в еде? Или в меню был намек на случай с Кармадоном? Мол, жуй и соображай, что и из-за дуэли ты прибыл сюда.

Данилов решил сначала поесть, а потом гадать.

Тем более что в меню значилась вареная курица. А курицу, завернутую в «Советский спорт», Данилов и сам, отбывая с Земли по вызовам, случалось, брал раньше. Сейчас курица (ножка) явилась Данилову незамедлительно, причем не на буфетной фольге, а на фаянсовой тарелке. Курица была холодная, тощая, но Данилов ее проглотил с азартом, перемолов и кость. Данилов потребовал бумажные салфетки, возникли и салфетки. Попросил он зубочистку, и зубочистку ему спустили.

Вроде был сыт, как бывал сыт именно утром, перекусив наскоро, но сытость не принесла ни радости, ни успокоения. Обычно утром в Останкине после завтрака он гладил электрическим утюгом бабочку. Теперь в глаженье бабочки не было нужды.

Не было сомнений в том, то вчера (вчера!), помимо всего прочего, его не только намерены были устрашить или восхитить, ему не только предлагались загадки и задачи. Исследователей бесспорно интересовали и моментальные отклики его личности на видения, катаклизмы, сотрясения, на толчею энергичных фантомов и

монстров, наконец — на открытие ему вечности. (Когда Данилов увидел над умывальником зеркало и увидел в зеркале себя, он удивился тому, что не поседел. Впрочем, проснувшись, он понял, что ощущение вечности из него ушло. Бездны, открытые ему, были им забыты. Мгновенные озарения вычерпнули из него. Он опять знал о себе и о мире не более, чем земной Данилов. К лучшему это или нет, он не мог сказать. Теперь он лишь смутно помнил, что и его будущее было ему открыто. Так что же? Может быть, в вечность его окунули по ошибке? Может быть, по ошибке ему, Данилову, дали лишние сведения и, спохватившись, поутру стерли их мокрой тряпкой, чтобы он не мог воспользоваться никакой лазейкой в будущее? Или им был нужен именно его мгновенный отклик? И все? Там, в Колодце Ожидания, Данилов, потрясенный открытым ему, сам старался упрятать ощущение вечности в дальний ящик — да и с сотней запоров! — своей памяти. Сейчас же он напрягал эту самую память, надеясь возобновить хоть толику знания об уготованном ему. Но тщетно.) Так вот теперь наверняка эти отклики его личности, движения его натуры были уже изучены исследователями и лежали в дискотеке.

«Ну и пусть! — отчаянно подумал Данилов.— Пусть! Что они могут узнать обо мне нового? Зачем они еще тратили средства и энергию?» А средств и энергии в Колодце Ожидания было потрачено немало. Сколько там было толчеи жизни, сколько крушений миров, галактик, неизвестных Данилову спиралей, сколько суетни сущностей вещей и явлений! Ему напоказывали всякой чепухи и всяких странностей, каких никогда не было в реальной жизни. Скажем, швыряние в пропасть казаком со спящим младенцем за спиной страшного мертвеца заимствовали у Николая Васильевича Гоголя. Интересно, читали ли сами исследователи «Страшную месть» или сведения о ней (возможно, искаженные: Карпатские горы были показаны Данилову довольно приблизительные) попали в их аппараты и камеры косвенным образом? Впрочем, это не имело значения. Значение имело то, что порой исследователи пытались воздействовать на него чуть ли не как Кармадон. Пугали всякими состарившимися ужасами, чудищами и нежитями. Что они теперь готовили ему?

«А-а-а!» — махнул рукой Данилов.

Он заказал настенные часы Сердобского завода, причем не удержался и попросил ходики с кукушкой. Укрепил их над кроватью. Он то бродил от умывальника и до шкафа, то, скинув шлепанцы, валялся, ноги положив на холодный металл спинки. Голубая пижама стала раздражать Данилова. Но подойти к шкафу и переодеться в свое платье отчего-то не хотелось. Может, оттого, что в костюме надо было куда-то идти, а никуда не приглашали. Пребывание же в голубой пижаме как бы оправдывало праздное сидение на кровати.

Время на ходиках, однако, текло к обеду. Режим питания Данилов соблюдал редко. Теперь же, хотя и не нагулял аппетита, проявил себя педантом. Опять в руки ему спустились листочки

меню. В них были названы блюда вагона-ресторана. «Когда же открылась эта мода?» — расстроился Данилов. А ведь прежде его кормили и черепаховым супом, и от устриц в вине он позволял себе отказываться...

Данилов вздохнул. Перед ним возник столик из вагона-ресторана с четырьмя стульями с двух сторон. Данилов как был в пижаме, так и сел на один из стульев. На самом деле, путают его с Кармадоном или напоминают о дуэли? И как сейчас Кармадон? Наказан, высмеян или поднялся, выправил челюсть, повышен в чинах и теперь сидит рядом с наблюдателями персоны Данилова? Данилову казалось, что если бы вызов был связан с Кармадоном и дуэлью, его дела могли бы оказаться и не совсем погибельными. Он понимал, что тут, вероятно, он находится в заблуждении, и все же тешил себя надеждой.

Блюда тем временем уже стояли на столике, только что столбы и леса не бежали навстречу по правую руку от Данилова. На закуску была селедка с горошком, затем краснел борщ с куском сала, рядом стыли сосиски, опять же с горошком, и стакан компота. «Неужели пива у них нет? Ну хоть бутылку!» — то ли возмутился, то ли взмолился Данилов. Однако, возможно, дело было и не в скудости буфетных ледников, а в том, что клиент не имел прав на пиво.

Данилов был в смятении. То он думал о том, какие найти пути спасения. То оценивал прожитое им, искал в этом прожитом смысл и оправдание. Может, и не было смысла-то, что же тогда стремиться к спасению? К продолжению бытия?

И теперь, хотя Данилов наконец имел и время, и тишину для того, чтобы в сосредоточенном напряжении все обдумать, все решить, мысли его по-прежнему были нетерпеливы, приходили, как и раньше, соблазнительные желания об отсрочках и откладываниях. Но откладывать что-либо было уже поздно. Вот и думал Данилов. Пребывал в отчаянии и унынии. Уверен был, что странное его существование смысла имело мало. Был ли Данилов, не был ли Данилов, от этого в мире ничего не менялось. Если только в музыке... Но что там, в музыке, в конце концов, изменилось, улучшилось или испортилось? Да, наверное, пока ничего... Что же тогда стремиться к спасению? Так размышлял Данилов, соглашаясь в некоей сладости сам с собой. И в то же время против этих мыслей, против сладостного согласия с ними, нарастал в Данилове протест. Целый бунт вскипал.

Вскоре Данилов уже полагал, что в самом пребывании его в пижаме есть нечто не гостиничное, а тюремное, жалкое, будто бы он, Данилов, сдался и голову согласен пристроить на плахе как можно удобнее для палача. Нет, надо было тут же снять пижаму и идти куда-нибудь. Не без страха Данилов подошел к платяному шкафу. Раньше он был уверен, что там висят его земные вещи. Но вдруг их отобрали, определив ему лишь пижаму? Данилов рванул дверцу шкафа воинственно, будто бы ограбленный. Но нет, зимняя московская одежда была ему сохранена. Данилов

устыдился своего порыва, хорошо хоть дверцу не сорвал в сердцах. Брать из шкафа пальто и нутриевую шапку не было смысла, поколебавшись, Данилов пожалел брюки и фрак — много ли он их имел,— и попросил снабдить его сейчас же приличным костюмом для встреч в обществе. Костюм Данилову прислали, и, надев его, Данилов понял, что костюм пошит хорошо. К костюму выдали туфли, рубашку, галстук, платок, подтяжки и носки, хотя о них Данилов и не отваживался ходатайствовать. Данилов стоял растроганный, ему казалось, что служба внешнего вида отнеслась к нему куда благосклоннее, нежели служба кормления. Может, были на то причины? Или службы существовали сами по себе? Впрочем, что было гадать.

Данилов взбодрился. Еще пуще он взбодрился, когда на внутреннем кармане пиджака обнаружил название фирмы — «Бидерманн — Париж». Конечно, фирма имелась в виду не ахти какая, да и этикетка вместе с костюмом вряд ли были подлинными. Но неважно! Разве можно было сравнивать их с блюдами железнодорожных буфетов! Тут не Моршански, тут Диоры и Зайцевы были предложены Данилову. Песней герцога Мантуанского из второго акта они зазвучали в нем.

Комната его — или гостиничный номер, или одиночная камера — не имела ни окон, ни стен, ни дверей. Но Данилов, привыкший к условностям, постоял там, где, по его понятиям, могла в гостинице находиться дверь. Выйти долго не решался, а когда вышел, готов был держаться за стены, если б были стены. Ноги у него отнялись. Он ждал, что сейчас или кирпич свалится ему на голову, или его накажут каким оружием, или просто затолкают назад к кровати и к пижаме. Кирпич не упал, сетью Данилова не словили, никаких мер принято не было. Потоптавшись на месте, Данилов побежал, потом подпрыгнул и стал парить, как парил в юные годы. Но парение скоро наскучило, и он пошел пешком. Куда он шел, он не знал. Шел, и все. Снова неопределенность стала тяготить Данилова. Прогуливаться он уже не мог. Он желал теперь же выйти на своих исследователей и судей и сказать им: «Нате, жрите, только не томите понапрасну!»

В каком из Девяти Слоев он теперь находится, Данилов не знал. Может быть, в Четвертом, Гостеприимства. А может быть, и вблизи Канцелярии от Порядка. На привязи. И это только ему кажется, что он ходит и парит, на самом деле он не ходит и не парит, а пребывает в состоянии козы, привязанной веревкой к колышку.

Никаких примет здешних мест не обнаруживалось. Стояла сплошная пустота. Но не черная, как в Колодце Ожидания, а желто-голубая. И ничто не звучало. Но тут мимо Данилова, чуть ли не сбив его, с гиканьем промчался на самокате толстый тип в панамке с мятыми краями. Тип был пожилой, но толкался азартно, по-ребячьи, левой ногой, и самокат имел самодельный, точно такой, какие московские мальчишки, в том числе и Данилов, мастерили в сороковые годы — из досок и трех подшипников. Под-

шипники будто по асфальту крутились — гремели и вышибали искры. Обогнав Данилова, метрах в ста от него, тип остановился, погрозил Данилову пальцем, сказал, сокрушаясь, но и с удовольствием: «Фу-ты ну-ты, шины сдуты!» — и укатил дальше. Вскоре Данилов потерял его из виду. «Он знает, куда ехать,— подумал Данилов.— Он спешил. Надо за ним и идти».

«А может быть, это Валентин Сергеевич? — тут же пришло соображение.— А хоть бы и Валентин Сергеевич!» И все-таки Данилов был уверен в том, что это не Валентин Сергеевич, а случайный проезжий. Этот дачный лихач в панамке даже умилил Данилова, напомнив ему о забавах юных лет, и Данилов не желал думать о нем ничего дурного. Может, он и самокатом-то наслаждался впервые в жизни и свой облик, дачный и отеческий, принял ради него, Данилова, сам же веками выглядел каким-нибудь кристаллическим стручком в созвездии Дивных Тел. Случайным образом пересеклись их с Даниловым жизненные дороги, вот и расстарался тот стручок, обернулся дачником и надел панамку.

Тут надо заметить, что мир, который Данилов считал когда-то своим, а теперь с некоей отчужденностью называл Девятью Слоями, обладал поливариантностью. Мир этот мог иметь много выражений. И существа этого мира могли не только преобразовываться и превращаться (то есть переходить из одного состояния в другое), но и воплощаться. И стало быть, пребывать сразу хоть бы и в ста различных состояниях, принимая самые подходящие для случая облики.

Когда-то Земля была избрана для Девяти Слоев базовой планетой (Данилов слышал о такой теории происхождения Девяти Слоев). Но с той поры много воды утекло. Много дыма истаяло. Работниками Девяти Слоев были освоены и другие цивилизации. Иные замечательные, но слишком грамотные. Иные недоразвитые. Внедрились работники и в пустынные звездно-планетные системы, где пока корчились и грелись лишь микроорганизмы, а то и просто бушевали в одиночестве и самоедстве бездушные стихии. И движения расплавленных или остывших веществ нельзя было оставлять без пригляда и внимания. Хватало занятий и пространств. (Время же текло само по себе. А может быть, и не текло. Впрочем, это не имело значения.) Земля по-прежнему в хлопотах работников Девяти Слоев занимала важное место. Но и иная микрокосмическая система на элементарной частице порой требовала больших забот. А всякие туманности? Или сложности с двойными звездами? При этом повсюду были свои понятия о смысле бытия, о способах выжить и устроить цивилизацию, наконец, о том, что и как кушать и какие одежды носить. До того в галактиках все было по-своему, до того странно и удивительно! Работники Девяти Слоев старались усилить эту странность и удивительность, прививая там и тут заблуждения. Но им, для того чтобы действовать с толком, надо было знать тьму различных состояний и пребывать во всех освоенных ими цивилизациях и в бездушных системах в надлежащем виде. В общении с землянами и с лично-

стями, занятыми делом лишь на Земле, вроде Данилова, Девять Слоев и их обитатели воплощались в формы, известные именно жителям Земли. Эти формы в Девяти Слоях и любили более всего. Сказывались давние, устойчивые моды на все земное. Тип на самокате — возможно, на самом деле какой-нибудь кристаллический стручок из созвездия Дивных Тел,— наверное, тоже был вызван из своей провинции и попал в земной вариант Девяти Слоев. В этом варианте Валентин Сергеевич сидел сейчас где-то мелким порученцем, похожим на тихого барышника с Птичьего рынка или на артельного счетовода, но это не помешало бы его воплощению, если бы была необходимость, скажем, сотрудничать с Кармадоном, объявиться сейчас на планете Сонная Моль молибденовым телом. Впрочем, там ли теперь Кармадон? Коли б знать...

Впереди что-то блеснуло. «Ба, да это же лифт!» — сообразил Данилов.

В Девяти Слоях проживали и постоянные обитатели, каким не было нужды иметь воплощения в иных цивилизациях. Многие из них были заняты и земными проблемами. Они-то, местные жители, и Данилов когда-то был в их числе, и придумывали здесь и нормы приличия, и стили поведения, и просто мелкие привычки. Из Слоя в Слой демоны всех статей могли перемещаться любыми способами. Однако последние лет сто пользовались исключительно лифтом. И лифт-то был тихий, такой ездил когда-то в гостинице «Астора» в какой-нибудь Филадельфии, ходил он погромыхивая и покачиваясь. Но было в нем много шику. Всякие металлические накладки на кабине и приемных камерах, чудесные зеркала, медные виньетки, лилии из голубого фарфора над зеркалами, кисти с помпонами из золотых нитей. И оставалась при нем несомненная солидность.

Проезжий самокатчик то ли уже успел воспользоваться лифтом, то ли укатил дальше.

Данилов нажал кнопку вызова.

Кабина приехала быстро, она поднималась снизу. «В каком же я слое? — опять подумал Данилов.— Ясно лишь, что не в первом...» Ни с того ни с сего на память пришло одно из посещений Клавдии Петровны и катание в лифте ее дома румяного пирата Ростовцева. А вдруг и в этом лифте Ростовцев катается?

Пока Данилов вспоминал Ростовцева, кабина лифта проехала мимо. Данилов в возмущении и по привычке стал давить на кнопку вызова, но ничего не достиг. Какие-то личности были в кабине, но кто они, Данилов не успел разглядеть. Да и всех ли он знал в Девяти Слоях? Что же это — кнопка испортилась или он, Данилов, был заперт здесь? Данилов опять нажал на кнопку. Вскоре он услышал звук спускавшейся кабины, невидимые тросы гудели и поскрипывали. «Неужели и эта не остановится?» — испугался Данилов. Остановилась. Данилов, не раздумывая, устремился в пустую кабину, будто опаздывал куда-то.

Испытывать судьбу он не стал — вдруг путь наверх ему заказан! — и нажал на нижнюю кнопку.

В Первый Слой он вышел не сразу. Опять заробел.

Он полагал, что пробудет здесь недолго. Если его отсюда выпустят. Но Данилов думал, что выпустят. Теперь, по кнопкам лифта, он знал, что его койка с платяным шкафом помещаются в Четвертом Слое Гостеприимства. Он — гость. То есть хотя бы вызванный просто по делу. Впрочем, Данилов не обольщался. Мало ли где могли его разместить...

Ни навстречу Данилову, ни мимо него никто не шел. Сам он не был намерен тревожить чьи-либо тени и сущности. Печальная мгла стыла всюду. Данилову было не по себе. Следовало уезжать. И уж никак нельзя ему было идти к памятному месту. А Данилов не смог побороть искушения. И пошел. В том месте до сих пор был завал булыжников, битого цветного стекла и изломанных декоративных костей. Данилов разгреб завал, перламутровая пленка по-прежнему была здесь ободрана, и сквозь открытый бесценный хрусталь нижней сферы Данилов увидел Большого Синего Быка.

Синий Бык стоял смирно, тихо шевелил губами, вздрагивали его верхние веки, однажды дернулось правое ухо, будто на него село насекомое. Большой Синий Бык всегда держал на своей спине Девять Слоев и должен был их держать вечно. Знать о нем полагалось, смотреть на него было запрещено. Однако в юности Данилов из любопытства и озорства нарушал запреты (повзрослев, узнал, что нарушение иных запретов поощряется). Но запрет на Большого Быка был слишком серьезный. Именно своей серьезностью он и подтолкнул Данилова к рискованной проказе. Данилов прослышал, что в нескольких местах перламутровая пленка, покрывавшая изнутри нижнюю хрустальную сферу, обшелушилась, и там сквозь хрусталь — видно. Данилов, бедовая голова, проник в одно из тех мест, здесь не только облетела перламутровая пленка, но и была в хрустале трещина, чуть ли не щель. Ее даже не заделали, а просто завалили камнями, битым стеклом и декоративными костями. Тогда Данилов и увидел Большого Синего Быка. Бык стоял на самом деле великий, но Данилов по молодости лет был разочарован: «Ну, стоит, ну, держит, ну и что?» Однако потом вспоминал о Быке с уважением. Теперь Данилов чувствовал, что не одни лишь воспоминания о юношеской проказе привели его сюда. И нечто другое... Щель до сих пор так и не заделали, перламутровую пленку не подклеили. Оставили завал. Данилов стоял и смотрел на Быка. На спине Быка под жесткой и свежей еще шерстью вздрогнули мускулы, какое-то усилие почуял Данилов, возможно, спина животного чесалась. «Бедняга!» — подумал Данилов. В завале он отыскал обломок кости потоньше и подлиннее, сунул его в трещину, достал до спины Быка, почесал ее. Веки животного поднялись, видимый Данилову глаз показался ему благодарным, он просил: «Еще!» Данилов долго почесывал обломком кости спину Быка. Наконец веко Большого Быка опу-

стилось, и Данилов понял: «Хватит». Данилов сдвинул камни, стекло и кости, пошел к лифту. По дороге подумал: «А Кармадон-то? Неужели на Земле он хотел побыть синим быком именно из-за этого, Большого, который держит на себе Девять Слоев? Как мне раньше не пришло в голову! Но зачем Кармадону это?.. А зачем тебе твоя музыка...»

37

В лифте Данилов нажал кнопку Второго Слоя. Во Втором Слое квартировали увечные воины.

Теперь Данилов был спокойнее и разглядел в кабине новинку — кондиционер. В лифте никогда не было ни душно, ни холодно, а вот на тебе — взяли и поставили.

И во Второй Слой Данилов вышел не без робости. Какая надобность была здесь в нем? Виды во Втором Слое были живописные. Ароматы обтекали Данилова изумительные. Сюда не проникали ни звуки, ни запахи из складских помещений Первого Слоя, где содержались в мучениях или весельях уловленные души. Здесь, в местах, отведенных обществу, происходило гуляние, как в каком-нибудь Баден-Бадене. Всюду были выведенные линейкой или шнуром боскетные городки, прелестные трельяжные беседки с розетками и гирляндами, зеленые тоннели аллей берсо, фонтаны с золочеными драконами, их струи рассыпались жемчугами. Меж ними и прогуливались отдыхающие. Когда-то — особенно в пору, называемую на Земле средневековьем,— иные из них выглядели страшилищами. Теперь на них — не на всех, конечно, и тут встречались своего рода хиппачи, а то и просто неряхи,— приятно было смотреть. То ли нравы облагораживались, то ли сильнее и устойчивее действовали людские моды. К тому же теперь на службе уродами имело смысл лишь пугать детей либо являться в страшных снах. Но во Втором Слое не было нужды работать, а своих-то и на отдыхе — что пугать?

В безделье — вполне оправданном — в виноградных и миртовых зарослях, под сенью струй, демоны бродили, летали, ползали, волочили ноги, играли в кости и дверные ручки, перебивали обухом плеть, являлись приятелям духами, курили ядовитые травы, гадали. В этой местности Второго Слоя отдыхали демоны низших статей, в крайнем случае — средних. Были меж ними бойцы, лицедеи и пройдохи, попали сюда, несомненно, и кровопийцы, и мародеры. Данилов прошелся аллеями, побродил вдоль боскетов. Встретились ему некоторые знакомые старички, притомившиеся на службе, в частности лицейские преподаватели из младших групп. Встретились и демоны помоложе, ставшие инвалидами в горячих хлопотах. Встретились и калеки умственного труда. И просто лодыри, сбежавшие от деловых забот раньше срока. Данилов вступал с ними в беседы, говорил о том о сем. О назначении ему времени «Ч» здесь не знали. Но не тихие разговоры, не местные кущи занимали Данилова. Ему хотелось узнать что-либо о Кармадоне. Или увидеть Синезуда.

С судьбой Кармадона Данилов отчасти связывал теперь свою судьбу. Демон-стрелок Синезуд мог рассказать ему о несчастном домовом Беке Леоновиче. Он, Данилов, вверг Бека Леоновича в пучину (или в черную дыру?), и надо было узнать, есть ли шансы (и в нынешней ситуации) возвратить Бека Леоновича в Останкино. Но Синезуда Данилов не встретил.

Эти ветераны, хоть и были вольные птицы, квартировали в каморках (правда, довольно просторных). Аса со спецзаданием искать среди них было бы бессмысленно. (Да и зачем искать-то? Данилов, увидев Кармадона, все равно бы не подошел к нему. Но вот искал.) И Данилов отправился дальше, туда, где позволялось селиться личностям значительным. Но теперь уже отдыхающим. Или поверженным. Или разочарованным. Или обессиленным познаньем. Эти отдыхающие имели просторы, свои пастбища и замки, горные хребты и водопады, свои коралловые острова, вулканы, долины гейзеров. Разочарованные просто скучали, как Манфред, на базальтовых плато, куда с трудом поднимались угрюмые горные козлы. Или в сырых пещерах, где глухо капало со сталактитов. Уставшие ветераны и калеки, вспоминая молодые годы, иногда устраивали в своих усадьбах землетрясения, холерные эпидемии, взрывы пороховых погребов. Порой заходили к соседям сыграть в лото или выпить арабского вина. Некоторые просто дремали, в бочках или стеклянных сосудах. Места и тут были живописные. Данилов, не вторгаясь ни в чьи пределы,— да и кто бы позволил ему вторгаться! — не перелетев ни через чей частокол, обтянутый металлической мелкой сеткой, или же частокол чисто духовный, выяснил, что Кармадон во Втором Слое участка не получил. На всякий случай Данилов как бы праздным странником пронесся мимо места уединения внучатого дяди Кармадона — Мефистофеля. Дядя имел хижину пустынника, впрочем, в три этажа и вполне современных линий. Теперь дядя стоял возле крыльца своего жилища в фермерском комбинезоне и из алюминиевого таза горстями разбрасывал просо калифорнийским петухам. Аккуратные грядки чертополоха, куриной слепоты, бледных поганок указывали на то, что дядя Кармадона увлекается огородничеством. Это было трогательно. Но не ради грядок Данилов заглядывал на участок дяди. А Кармадон у дяди не гостил.

Оглядев напоследок воинов, Данилов вздохнул и отлетел к дверям лифта.

В лифте он нажал седьмую кнопку.

Нажал, не подумав. Седьмой Слой назывался Слоем Удовольствий, и ему ли, Данилову, было являться сейчас на балы и банкеты? Да и прилично ли он был одет для Седьмого Слоя? Но что теперь делать! Нажал кнопку и нажал. Не то чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, но все же он явно храбрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким он являлся в Седьмой Слой Удовольствий в юные годы.

Тогда он был удачливым повесой, ему прощалось многое. Ка-

кими глазами глядели на него дамы! И в них играла кровь, и в нем. Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгораться душевному пламени и не искал покровительства пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Было время, он служил в Седьмом Слое, устраивал там фейерверки, играл на лютне чувственные пьесы, танцевал на балах. Коли б он остался на службе при Седьмом Слое в Канцелярии от Наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему время «Ч»?

Но тогда бы Данилов не попал на Землю. А о том, что он попал на Землю, Данилов жалеть не мог.

В Седьмом Слое было удивительно тихо. И свет был тусклый. Странные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и тряпичные. Будто где-то сдвигали мебель и мокрой шваброй терли пол. Буйствам, гуляниям, танцам и фейерверкам полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться? По ощущениям Данилова дело шло к ужину, а здесь скорее всего протекало утро. «Надо перестраиваться»,— решил Данилов.

Однако все равно. Утро утром. Пусть не гремят оркестры, не шуршат платья по паркетам. Но ведь тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам и необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол! Живительная влага! В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывались траттории, бистро и сосисочные. И голову можно было окунуть хоть в жбан со змеиными настойками, хоть в бочку с пивом.

А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала, ни одна буфетчица нигде не бранила иззябших натур и не ласкала их словом.

Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне Седьмого Слоя. Теперь он понимал, что был не готов к появлению здесь в разгар веселий. Со сложными чувствами Данилов думал о возможности встречи с Анастасией. Анастасия была ему приятна, но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное в их отношениях не бралось в расчет. Прекрасная же Химеко, полагал Данилов, в Седьмом Слое вряд ли бы появилась. Она и прежде заглядывала сюда редко. И все же Данилов испытывал некоторое беспокойство оттого, что ни один знакомый, ни тем более Анастасия и Химеко, существа ему не безразличные, даже и не попытались пока войти с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние, и, стало быть, по правилам договора, контакт был дозволен.

— Слушай, парень,— услышал Данилов хриплый голос.— Где здесь это?

Данилов обернулся. Лохматый, с трудом продиравший глаза демон стоял перед ним. Был он весь плюшевый, не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет, ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях

пребывал он теперь, но, видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий.

— Что — это? — спросил Данилов. И сразу же подумал, что спросил зря.

То есть, конечно, собеседник мог иметь в виду туалет. Но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда.

— Вон там,— указал Данилов в направлении, где раньше по утрам бушевали опохмельные.

Плюшевый демон улетел. Данилов хотел было последовать за ним. Однако плюшевый тут же вернулся. Он негодовал. То ли на Данилова, то ли на увиденное им. Вскрикивая, махая руками и крыльями, он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в восемнадцати смыслах значилось: «Санитарное время». «Ага,— сообразил Данилов,— стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи». На всякий случай Данилов ринулся в опохмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени. «Когда же они ввели-то?» — удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях. Ну хотя бы и о мелочах — о кондиционере в лифте или вот о санитарном времени, а ведь когда-то он во все в Девяти Слоях с охотой совал нос, все ему было интересно. «Какие они чистюли стали...» И он опять отметил, что называет здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни Девяти Слоев. Плохо это было для него или хорошо, Данилов не знал.

Не спеша Данилов обошел знакомые места Седьмого Слоя, улыбку умиления не раз вызывала его память. Однако и ирония взрослого была тут как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра об пол, и тряпки терли паркеты, линолеумы и флорентийские мозаики. Может быть, и Валентин Сергеевич в усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины, он видел себя юношей, вот здесь он играл на лютне, вот здесь он раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков «Черный цилиндр» и соединял их шнуром, вот здесь в беседке говорил пустые, но горячие слова голубой прелестнице, а та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и легких радостях... Старым чувствовал себя в Седьмом Слое Данилов. «Но, может быть,— подумал Данилов,— не столько я постарел, сколько я здесь стал чужой?» И в том, что при его появлении в Слое Удовольствий случилось санитарное время, Данилов усматривал теперь некий знак. Прежде здешний мир по отношению к нему был куда гостеприимнее. Впрочем, чему удивляться-то!

«Интересно,— пришло в голову Данилову,— и зоопарк нынче закрыт?» Когда-то Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на Земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялась, территорию он имел обширную, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с Земли очень мно-

гие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из волн Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах.

Зоопарк был открыт.

Данилов пробыл в Зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платяному шкафу. Будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение. Да и пить хотелось. В парке было два заведения с напитками. И по всему чувствовалось, что нынче они работали. Но на одном из них висела бумага со словами: «Только что ушла на базу», другое было покинуто без объяснений. «Прежде порядки были строже!» — подумал Данилов с возмущением.

Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Все они были живые, резвые и вряд ли имели понятие, что на Земле они вымерли. В их движениях, полетах и прыжках была своя мелодия, забытая в Солнечной системе. Но и эти животные, многие подробности которых Данилов уже не помнил, не надолго отвлекли его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог — Данилов в детстве звал его Клеонтом,— увидевший Данилова, обрадовавшийся ему, и тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, взревел, задрав рог, бил по грунту копытами. «Не хватало мне тут еще расчувствоваться»,— проворчал Данилов.

38

Данилов вернулся в Четвертый Слой. Ничто здесь не изменилось. Данилов заглянул в платяной шкаф. Все его земные вещи были на месте. «Ну и ладно»,— сказал Данилов. Налил в стакан из графина, жидкость опять показалась теплой, противной. Данилов хотел было заказать напитки, но посчитал, что одними напитками они от него не отделаются. Стрелки на ходиках следовало перевести. Они торопились к ужину, а, судя по всему, время в Девяти Слоях шло лишь к обеду. Данилов уже завтракал и обедал. Теперь надо было приставать к общему порядку. Так что же, опять обедать? Опять давиться стылыми сосисками? Данилов испугался. Однако вскоре отважился на дерзость. Не испрашивая меню обеда, он отослал в службу питания мысленный заказ и в том меню назвал и пиво, и коньяк, и солянку, и свиной бок на углях, и черный кофе, и апельсины на десерт. Прикатил столик из вагона-ресторана, были на нем — селедка с горошком, борщ с двумя кусками сала, сосиски с горошком и лимонный напиток. Стало быть, его поставили на место. «У, скупердяи!» — выругался Данилов. Средствами музыки. А так и виду не подал, что огорчен.

Отобедав, Данилов из упрямства решил поискать удачи здесь же, в Четвертом Слое. Все-таки это был Слой Гостеприимства и прежде имел достаточно баров, харчевен, тратторий, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж о буфетах и рюмочных.

Все это и теперь никуда не исчезло. Не истощилось и не было нынче осчастливлено санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомые ему заведения. Испытывал судьбу — не покажут ли ему пальцем на дверь, не вышвырнут ли подальше, не прихлопнут ли скалкой. Нет, не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Во-первых, потому, что он мог (так он считал) разрешить себе выбирать. И потому, что многие блюда и бутыли, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему. В частности, Данилов нынче нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаниями. Всякие настойки из сушеных мокриц, ядовитые варева, каши из протертых кактусов, маринованные ляжки гигантских пауков, булыжники в зеленой простокваше Данилову были чуть ли не противны. К тому же во многих заведениях надо было расплачиваться наличными. В конце концов Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит.

Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона.

Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки за тяжелым, грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа, грубо отесанные.

Данилов чуть было не выскочил из буфета, однако успел подумать: «Что же это я?» Степенно сел за свободный стол, правда, достаточно далеко от Кармадона. Сколько заведений он мысленно отклонил, мимо скольких буфетов прошел в сомнениях и вот выбрал именно этот. Но отчего он растерялся, отчего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда? Ведь совсем недавно сам искал Кармадона, и вот он, Кармадон. «Сиди! — сказал себе Данилов.— Раз зашел». И он сидел.

Сидел он (если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию) удобнее, нежели Кармадон: тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. Сам же он то и дело посматривал на лицейского приятеля. И не было у Данилова острой неприязни к нему. Что же теперь с Кармадоном, думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что аристократ Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете.

«А вдруг,— испугался Данилов,— здесь теперь железнодорожная кухня! Вот Кармадон и ходит сюда!» Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом Термена, вызывая из кухни блюда. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалась

здесь и рыба, и Данилов заказал: «Икра минтая вяленая, 1—150, яснычковая». Икра поступила. На Земле Данилов не пробовал вяленой, ясны́чковой икры минтая, но теперь на память ему пришло огненное кольцо, вспыхнувшее над бесновавшейся толпой в Колодце Ожидания, он и пожелал икру. Икра лежала на тарелке твердой плиткой, видно, была прессованная. Данилов отгрыз кусок и обрадовался, икра была вполне сносная, пусть и прилипала к зубам на манер ирисок, соленая, к ней кстати было бы пиво. Данилов распорядился насчет «Хейникебир» и «Радебергера». Кружки возникли запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское, «Радебергер» же ему подменили пльзеньским апольдского завода. «Ну и ладно,— благодушно подумал Данилов.— Может быть, у них и нет на складе «Радебергера». Да ведь и «Радебергер», если разобраться,— типа пльзеньского...» Данилов вспомнил, что Апольда — под Веймаром. Там Гёте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. «Хорошо! — умилялся Данилов.— Разве дали бы арестанту, разве дали бы обреченному пиво и икру!» И повторял заказы.

Он как будто бы даже забыл о Кармадоне. Хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий и суровый, жевал что-то. И соседи Кармадона по столу тоже серьезно жевали.

— Можно присесть? — услышал Данилов.

— Пожалуйста,— кивнул Данилов.

— Ба, да это Данилов! — сказал присевший.— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— неуверенно произнес Данилов.

— Какими судьбами?

— Обыкновенными...— замялся Данилов. Он все соображал, кто это перед ним.

Внешность присевшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шерстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща («бурнуса, что ли,— вспоминал Данилов,— или убруса...»). Лицо присевшего капюшон чуть ли не скрывал, но было заметно, что части его лица существуют сами по себе и могут меняться местами. Кто же это, думал Данилов. Не из лицейских ли знакомых? Ясно, что не их выпуска, но, может быть, старшего? Или младшего?

— Нет, я не из лицейских,— сказал демон.— Куда мне до лицея. Я мельче... Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств... Вы делились наблюдениями... Я тоже с Земли... Тружусь в аравийских пустынях...

— Ах, да, да,— сказал Данилов.— Я вспомнил вас...

Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову, то ли Ураэл, то ли Урапл...

— Уграэль,— сказал демон.

— Да, да,— согласился Данилов.— Уграэль...

— Вы сюда с отчетом или за инструкциями?

— С отчетом,— быстро сказал Данилов и оглянулся.

— Ну да,— кивнул Уграэль и, как показалось Данилову, усмехнулся: мол, знаю, с каким отчетом.

— Вы здесь давно?

— Порядочно,— сказал Уграэль.— Я по вызову.

— И приятный повод, если не секрет?

— Хороший повод,— важно сказал Уграэль.

В это мгновение Кармадон, опустивший на стол бокал с черной жидкостью, повернул голову, и Данилов увидел правую сторону его лица, дотоле от Данилова скрытую, она была перекошена, словно Кармадона хватил паралич, пусть и не самый решительный, да так и не отпустил. «Экая гримаса неприятная!» — удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, отчего перекосило лицо Кармадона, но прежде полагал, что все давно выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствия.

— Страдает,— сказал Уграэль чуть ли не с удовольствием.

— Кто? — спросил Данилов.

— Кармадон. Вон как его скривило.

— Но, может быть, на задании? — сказал Данилов.

— На задании! — усмехнулся Уграэль.— Если бы на задании, так его бы давно починили! Да и в звании могли бы повысить. А тут вон куда бросили! Даже стал ходить в этот буфет, бывший-то ас со спецзаданием!

— А куда?

— Что куда?

— Куда его бросили?

— Да вы что?..— удивился Уграэль.— Вы разыгрываете меня? Все ведь знают. А вы были приятели.

— Я только из Москвы...

— Из Москвы! — опять усмехнулся Уграэль.

— Из Москвы,— хмуро и твердо сказал Данилов.

— И что же, вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосм на элементарную частицу?

— Нет, не знаю,— искренне сказал Данилов.

— Ну, так вот, бросили.

И тут же Данилов вспомнил видение в Колодце Ожидания. Был он усушен в немыслимое количество раз и помещен вовнутрь ничтожной крупинки. Там, посреди спиралей микрогалактик, каких-то кристаллических сеток, построений ледяных шаров и игл привиделся ему космический корабль и сверкнуло лицо Кармадона. Выходит, не зря сверкнуло. Но тогда лицо Кармадона было гордым, надменным, такой Кармадон на самом деле вряд ли бы зашел в мясной буфет.

— Ну и что же,— сказал Данилов, помолчав,— и там работа ответственная, там сложная работа...

— Сложная,— согласился Уграэль.— Просто ювелирная. И все же вы меня разыгрываете!

— Нет, нисколько... Мы теперь не так близки с Кармадоном, как в юные годы.

— Может быть... Конечно, я понимаю, в ту пору, когда Кармадон был блестящим асом со спецзаданием, он мог такими, как мы с вами, и брезговать... Но теперь-то?

— Я его только что увидел,— сказал Данилов.— Я не думал, что он в Девяти Слоях. Лиц, что сидят с ним, я не знаю, нарушить их беседу было бы неприличным. Но вид его меня поразил. Что произошло с ним?

«Зачем я оправдываюсь?» — отругал себя Данилов. Он понимал, что и не следовало бы расспрашивать (лукавить при этом) случайного собеседника, неизвестно зачем вызванного в Девять Слоев из аравийских пустынь, о несчастье Кармадона, но и удержать в себе вопрос Данилов не смог. В глазах Уграэля опять была усмешка, он словно бы давал понять: мол, я-то знаю, как вы не знаете.

— Я и сам не слишком информирован,— сказал Уграэль,— Кармадон никогда не удостаивал меня беседы... Кто я для него? Мелочь... Был.

Он сделал ударение на этом «был» и опять со значением поглядел на Данилова. Может, сюда Уграэль прибыл с надеждой на продвижение, а тут надежду его укрепили, вот ему и не терпелось намекнуть об этом хотя бы Данилову?

— Я знаю обо всем с чужих слов. А это что же? Слухи. Сплетни... Будто имел Кармадон приключение... Вовсе не связанное с делом... А этакое... лирическое... Он оконфузился. Тогда его и скривило. А вы сами знаете, что в таких случаях ран и повреждений не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила... Стало быть, замарал честь. Покровители и родственники сделать для него ничего не смогли. Проигравший, опозоренный — разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон десятой статьи.

— Десятой? — не поверил Данилов.

— Десятой. И служит на элементарной частице.

Возле Уграэля на столе возникла бутылка имбирной настойки и на тарелке — кусочки сухого бамбука, словно от распиленной лыжной палки. «Видимо, надоело ему все аравийское...» — подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого биржайского пива.

— И вы знаете,— сказал Уграэль,— никаких официальных разборов, пусть даже и закрытых, приключения Кармадона не было. Просто его разжаловали и послали в микрокосм. Говорят, он не подавал апелляций. Да и что тут подавать?.. Обидно! Из-за какой-то юбки...

Тут левый глаз Уграэля опустился к краешку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровений Данилова, может быть, ожидал он?

— Да,— сказал Данилов.— Печальная история.

Глаз Уграэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне,

видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан и об участии Данилова в приключении Кармадона. Сейчас же он (может, и с намерением) разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался?

— Ну как у вас в Москве? — спросил Уграэль.

— Что вас интересует?

— Меня многое интересует,— сказал Уграэль.— Климат, условия быта, напитки, курево...

Тут он осекся, словно испугался, словно сообразил, что проговорился, что своими вопросами он выдает нечто такое, о чем следует промолчать. Данилов с интересом поглядел на Уграэля. Что далась ему Москва?

— По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно,— сказал Данилов,— рядом Ледовитый океан.

— Да, да, я знаю,— быстро сказал Уграэль.

— А насчет курева... Вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки? Или анаша?

— Нет, я это так, к слову...— смутился Уграэль.— Я не курю... Извините, я спешу по делу... Желаю вам отчитаться,— сказал Уграэль.

— Спасибо,— холодно кивнул Данилов.

— Может, еще и встретимся. А может быть, и нет,— сказал Уграэль, и тут уши его наползли на глаза, неприятно, даже зловеще Уграэль смотрел на Данилова. А потом исчез.

«Нет, и вправду он что-то знает? — забеспокоился Данилов.— Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве? Похоже, что не из вежливости... Хорошо, хоть мой театр его не занимал...» Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов.

Он утолил жажду, был сыт, ему следовало уходить. Но куда? Опять в свою комнату, в свою келью, в свою камеру? И зачем уходить? Из-за боязни столкновения с Кармадоном? Но что его бояться, думал теперь Данилов. Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета, сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадона: тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом — после принятия ячменных напитков потягивал коньяк (будто протестуя против чего-то). И хмуро смотрел на стол Кармадона.

Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им и, обернувшись, замолчал, замер. Потом, словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор.

В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание на Данилова и демоны, сидевшие с Кармадоном. Они то и дело посматривали теперь на него. Но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь.

А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк. Все в буфете раздражало его. «Он меня даже не желает замечать! — горячился Данилов.— Не выказывает презрения, ни злобы, ни обиды. Ну как же! Он — аристократ, он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно — демон главной последовательности!» Что-то распирало Данилова, личность воспитанную и скорее мирную, что-то неприятное мучало его, вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу, совершенно бессмысленному и уж конечно вредному для него, скандалу (Данилов уже предчувствовал это) противному, бабьему, возможно истеричному, с битьем сосудов. «Я сам подойду к нему! — разжигал себя Данилов.— Я потребую объяснений, где Синезуд и где Бек Леонович...»

Соображение о домовом Беке Леоновиче явилось Данилову на ум (или было подсказано ему) кстати, Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за Бека Леоновича он и намерен подойти к Кармадону и, если потребуют обстоятельства, на самом деле надерзить тому, предпринять нечто решительное. Судьба Бека Леоновича несомненно волновала Данилова, его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к Кармадону, хотя Данилов и не желал себе признаться в этом, было иное. А что — иное, он и сам не мог бы сказать. Будто причина эта существовала независимо от Данилова.

Данилов встал и подошел к столу Кармадона.

— Извините, но я вынужден обратиться к вам...

Кармадон Данилова будто бы не видел, но собеседники его смотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелища.

— К сожалению, мне приходится нарушать приличия, но я не нахожу иного выхода...

— Вы к нам ко всем обращаетесь,— спросил демон в берете с рысьими ушами,— или кого-то имеете в виду особенно?

— Я хочу задать вопрос Кармадону, и его право решать, в обществе он желает выслушать меня или в одиночестве.

— Мне все равно,— сказал Кармадон.

— Где Бек Леонович?

— Кто? — удивился Кармадон.

— Бек Леонович. Домовой из Останкина.

— А-а,— вспомнил Кармадон, тут же сказал надменно: — К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес.

— Но он был отправлен в известном лишь вам направлении... Именно вы его и отправили... А я давал ему гарантии безопасности... Его следует вернуть.

— Это мне теперь не под силу,— сказал Кармадон.

— А кому под силу? — не мог уняться Данилов.

— Не знаю. Но думаю, что и не вам.

Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез и говорить ему нечего, какой тут скандал, какие решительные выражения, да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секундой его положение становилось все более нелепым,

выходка его превращалась в фарс. А собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа. Но пассаж и так вышел! Кармадон же, хоть и изуродованный, сидел по-прежнему надменный и спокойный и будто бы держал у глаза ледяной монокль.

— Что же,— сказал Данилов,— придется мне хлопотать о возвращении Бека Леоновича.

Тут он откланялся.

Теперь-то ему, точно, следовало уйти из буфета, а он не смог, вернулся к своему столу, сел спиной к Кармадону. «Какая глупость! — думал Данилов о своем походе к Кармадону.— Бабья глупость! Вот сам и принял позор. И поделом!» Безрассудным и некорректным по отношению к Кармадону было упоминание при публике имени останкинского домового. И шепотом-то, на ухо Кармадону, его нельзя было произносить. Ведь он, Данилов, ничего не знал. Ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано, при каких словах, записях и аттестациях, это Данилову было неизвестно. Как он мог проявлять себя базарной личностью, крикливой торговкой солеными огурцами, у которой взяли из кадки овощ и ушли, не расплатившись! А овоща-то вдруг и не брали... Ему было стыдно и противно.

Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, но не он. «Может быть, это все подстроили они,— думал Данилов,— исследователи?» Тогда, значит, он потерял самоуправление, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали, о Беке Леоновиче хотя бы. Нет, и выпив хорошего пива, сказал Данилов себе, он не имел права забывать о волевых напряжениях.

Данилов потягивал пиво и дальше. Удалился ли Кармадон с компанией или нет, он не знал. Шумы компании Данилов отключил от себя. Но думы о Кармадоне не уходили. Эким стал лицейский приятель! Однако держится. Пострадал, разжалован, лицо имеет кривое, а держится. И как! Будто не растерял прежних достоинств и связей и вот-вот получит решительное повышение. Орел, беркут! Пусть и пораненный. А может, знает наперед о своей судьбе такое, что и разрешает себе выглядеть беркутом. И он еще ответит на нынешнюю выходку Данилова. Он и за дуэль заплатит ему по высокому или по низкому счету. Как пожелает. «Посмотрим,— подумал Данилов.— Орел, беркут! Он уже пыжился быть синим быком!» Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быке — дурное, оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная. И это ему, Данилову, пришло на ум сравнение с беркутом, довольно пошлое, сам же Кармадон, возможно, в душе и не столь грозен. «Нет,— думал Данилов,— он все еще хищник, все тот ас со спецзаданием...»

39

Впрочем, ему стоило идти домой. «Главное — домой!» — усмехнулся Данилов. А что там? Сидеть у платяного шкафа в тоске и рефлексиях? «Вот именно там и сидеть! — сказал себе Данилов.— И думать о том, кто ты есть и зачем существуешь. И есть ли смысл в твоем дальнейшем существовании».

— Данилов,— кто-то положил ему руку на плечо.

Данилов оглянулся. Над ним стоял Кармадон. В буфете было тихо и пустынно.

— Да,— нахмурился Данилов.

— Мне нужно поговорить.

— Я вас слушаю.

— Не здесь,— сказал Кармадон.

— Где же?

— Я знаю одно место. Если ты... Если вы согласитесь отправиться туда, я буду вам признателен.

— Хорошо,— сказал Данилов.

Он встал. Кармадон повернулся и быстро пошел, не проявляя никакого интереса к тому — идет ли за ним Данилов или нет. Он был в синей накидке, хлеставшей по полу, накидка развевалась, слева под ней угадывалась шпага. Данилов шел за Кармадоном в волнении, они свернули в темный переулок, и какой там возник век, Данилов не понял, и какой архитектуры стояли здания, не мог определить, но они стояли. Здесь хозяин был Кармадон, и условия его прогулки Данилов не счел нужным разгадывать. Заскрипела дверь. Кармадон толкнул ее плечом и пригласил за собой Данилова. В руке у него оказалась тонкая свеча, бледный, нервный свет ее освещал узкую лестницу со смелыми изломами, такие лестницы устраивали в крепостных башнях и в стенах замков или каменных палат, по одной из них Данилов поднимался как-то в Соликамске в воеводском доме. Здесь он шел за Кармадоном вниз. Ступени были сухие, из камня, но стертые, и оттого как бы наклонные. Ничем не пахло, тени были хотя и живые, но зловещие, летучие мыши с песьими мордами будто бы таились в них. «Да что мне летучие мыши-то!» — думал Данилов. А сам пугался. Наконец стало чуть светлее, будто бы обнаружился некий погреб или подвал. Кармадон указал Данилову на скамью, стоявшую возле длинного дубового стола. Данилов, помедлив, на скамью сел, но нерешительно, на краешек. Кармадон властно предложил ему подвинуться к центру стола. Данилов повиновался. Кармадон разжал серебряную застежку у горла, сбросил накидку и сел возле Данилова.

— Данилов,— положил вдруг Кармадон руку Данилову на плечо.— Данилов...

И заплакал.

До того как Кармадон заплакал, Данилов хотел сбросить его руку с плеча. Он даже дернулся, но тут же и замер в смущении. Он поглядел по сторонам: не смотрит ли кто на них. Похоже, в

погребе никого не было. А смотрел ли кто и откуда на них с Кармадоном, об этом можно было только гадать.

Кармадон опустил руку, положил ее на дубовую доску стола, а потом и голову уронил на руку. «Что он плачет? — думал Данилов.— Играет комедию? Или на самом деле?» Сейчас он испытывал и жалость, и сочувствие к Кармадону.

На всякий случай он осмотрел уединенное место. Три свечи в аугсбургских шандалах, толстые, с ярким пламнем, стояли на столе, единственном в погребе. Два столба держали своды с распалубкой. Погребок был ранней готики, причем скромной, деревенской. Стены, своды и столбы его были побелены, естество кирпича проявлялось лишь в ровных шнурах нервюр. Пламя свечей не дрожало, будто электрическое, нервюры казались непоколебимыми и неизбежными. В углу, за дальним столбом, Данилов углядел бочки. С вином, с порохом, или еще с каким зельем, или с пиратской добычей, кто знает.

Кармадон поднял голову. Глаза его были сухие.

— Данилов,— сказал Кармадон.— Сыграй мне.

— Что? — удивился Данилов.

— Сыграй мне что-нибудь печальное.

— У меня и инструмента нет...

— Возьми вон там,— сказал Кармадон.

Он указал на бочки, там что-то появилось. Данилов обмер: неужели Альбани? Он быстро подошел к бочкам и увидел лютню. Лютня была знакомая. Данилов играл на ней в пору лицейской юности и позже, в Седьмом Слое Удовольствий. Лютню он держал с нежностью, чуть ли не умиление испытывал к вечному инструменту.

— Я боюсь, у меня сейчас не выйдет,— сказал Данилов.

— Я прошу тебя,— тихо произнес Кармадон.

— Я попробую,— сказал Данилов.— Но я привык к земному. Тебе же надо что-то из тех, юношеских вещей?

— Да, из тех,— кивнул Кармадон.

Данилов, естественно, мог бы сейчас исполнить любое произведение на лютне, даже если бы он взял лютню в руки впервые. Но такими же возможностями располагал и Кармадон. Кармадон желал сейчас не исполнения музыки, а самой музыки и еще чего-то большего, и Данилов стал играть. И в юности у них были минуты высокие и печальные, и тогда звучали элегии. Данилов вспомнил былое, искренне желал своей музыкой облегчить участь давнего знакомца, застывшего рядом, жалел его и себя жалел...

— Спасибо, Данилов,— сказал Кармадон.

— За что же?

— Давай выпьем!

— Давай!..— неуверенно сказал Данилов, пить он не желал, а главное, с неохотой опускал на скамью лютню, с печалью отпускал ее от себя, он стосковался по музыке.

Данилов с опаской поглядел на кубки, возникшие на столе, ожидал появления бутылей ликера «Северное сияние», закусок

железнодорожных буфетов, уложенных в нетленные тарелочки из гофрированной фольги, но нет, страхи его были напрасными. Выпили, Кармадон пил угрюмо, махом, и Данилов удивился — до того хорош и благороден оказался крепкий напиток. «Что же на Земле Кармадон мучал нас «Северным сиянием» и почему мне суют железнодорожную еду?» — чуть ли не обиделся Данилов.

Кармадон снова наполнил кубок и опрокинул его. Данилов сделал один глоток.

— Тошно, Данилов! — сказал Кармадон.— Тошно!

— Отчего? — скорее из вежливости спросил Данилов.

Кармадон то ли издевку ощутил в его словах, то ли простое непонимание — и этого было достаточно. Он взглянул на Данилова свирепо, но в глазах его была и слабость израненного зверя, однако Данилов заробел. И Кармадон, похоже, смутился. Не для ссор, видно, он привел сюда собеседника. Данилов же не знал, как ему сейчас себя вести, они опять перешли на «ты», однако ничего, что между ними произошло, отменить было нельзя.

— Я на самом деле не знаю причин твоего нынешнего состояния,— сухо сказал Данилов.

Кармадон снова взглянул на него.

— Неужели ты ничего не слышал?

— Слышал,— сказал Данилов.— Случайно и совсем недавно. Но это были сведения невнятные и, возможно, отдаленные от истины... Может, это просто сплетня...

— Разжалован, разбит и сослан,— сказал Кармадон.

Данилов полагал, что Кармадон, коли у него возникла потребность в нем как в собеседнике, сейчас выговорится, все расскажет, драматизируя подробности, ища сострадания, но Кармадон, произнеся три слова, ударил кулаком по столу, как бы ставя точку, и с ревом опрокинул кубок.

— Но и в микрокосме,— осторожно сказал Данилов,— своя жизнь.

— Да,— кивнул Кармадон.— И в микрокосме.

— Что же отчаиваться,— сказал Данилов.— Мы не юнцы. А в зрелые годы знаешь, что не в пребывании на вершине дело...

— Данилов, не надо,— сказал Кармадон.— Ты хорошо играешь на лютне, а мыслитель из тебя никакой.

— Наверное,— согласился Данилов.

— Да и не в том дело, что меня посадили на элементарную частицу! — чуть ли не выкрикнул Кармадон.— Не в том! Слабость моя — вот что меня приводит в уныние!

Данилов молчал.

— Имя твое упомянуто не было,— сказал Кармадон.— Можешь быть спокоен.

— Что же, и о дуэли они не знают?

— О дуэли знают.

— Коли знают о дуэли, знают и обо мне.

— Я твоего имени не называл,— сердито прокричал Кармадон,— я!

— И на том спасибо,— сказал Данилов.

— И слово «дуэль» не было произнесено. Все его держали в уме.

«А я заявил о Беке Леоновиче в буфете!» — расстроился Данилов.

— Я ни о чем не жалею,— сказал Кармадон.— И не жалею о том, что нарушил правила и выстрелил, упредив тебя. Ты должен это понять.

Данилов хотел было возразить Кармадону, но подумал, что действительно понять Кармадона он может.

— Но надо было стрелять наверняка! — сказал Кармадон.— Тогда бы мне все простили. И никаких разжалований. Все уважали бы меня! И я бы уважал себя. А выстрел вышел жалкий.

— Ничего себе жалкий! — сказал Данилов.— Ты выпалил в меня тысячью солнц, сжатыми в пушечное ядро!

— Жалкий,— сказал Кармадон.— Раз ты существуешь, значит, жалкий. А на большее у меня не хватило сил.

— Тебе виднее,— вежливо согласился Данилов. Потом спросил: — А где секунданты?

— Они были свидетели! — резко сказал Кармадон.

— Это я понимаю,— сказал Данилов.— Однако, прости меня за назойливость, меня волнует судьба Бека Леоновича, за Синезуда не я в ответе, но Бека Леоновича я вовлек в дело, обещал ему, что с ним ничего не случится.

— Я привел тебя сюда вовсе не для того, чтобы заниматься судьбой домового!

— Это ничего не меняет,— твердо сказал Данилов.

— Ну ладно! Сгинули они. И возможно, они улетели в черную дыру, о которой ты умалчиваешь. Теперь, скорее всего, они в иной вселенной, с нами никак не связанной. Но если у тебя есть возможности, попробуй вернуть их оттуда.

— Попробую,— сказал Данилов, будто бы не заметив издевку Кармадона.

— Но вдруг им там теперь приятнее, чем здесь?

— Может быть,— кивнул Данилов.

— И кончим о них! — сказал Кармадон.

Кубок его опять был полный. Пил Кармадон жадно, жидкость лилась на серый замшевый камзол. Данилов старался не смотреть на Кармадона. Видеть его изуродованное лицо было ему неприятно.

— А та женщина... Как она? — спросил Кармадон.

Данилов был уверен: Кармадон говорил о Наташе. Он все время опасался, что их слова кому-то слышны, хотя и полагал, что Кармадону нет резона иметь свидетелей их беседы, и, наверное, он выбрал место действительно укромное и потайное. Но тут Данилов поневоле ощупал глазами все углы готического подвала.

— Не бойся,— громко сказал Кармадон.— Нас не слушают. Я знал, куда тебя привести.

«Может, оно и так,— подумал Данилов,— а может, и нет...»

— Я ведь тогда не шутил,— сказал Кармадон.— И тебя я не испытывал. Я думал, у тебя к ней легкое отношение. А мне она была на самом деле необходима.

— Оставим эту тему,— хмуро сказал Данилов.

— Я и теперь думаю о ней,— произнес Кармадон.

— Полагаю, что дальше вести беседу бессмысленно,— сказал Данилов.

Кармадон опять опрокинул кубок.

— Да, я понимаю,— выкрикнул он,— это не по-мужски! Да, я жалок, я слаб! Моим девизом было: «Ничто не слишком!», но где уж теперь — «Ничто не слишком!». Помнишь наш разговор в Останкине?

Данилов сидел напряженный, он думал сейчас лишь о том, не повредит ли их беседа Наташе, слова Кармадона слушал рассеянно, он понял только, что Кармадон спросил его о чем-то, и кивнул на всякий случай.

— Я говорил тогда,— сказал Кармадон,— от познания — бессилие. От познания! Ты спорил со мной.

— Ты просил забыть о том разговоре.

— И я не забыл,— сказал Кармадон.— И ты вряд ли мог забыть.

— Да, я помню,— согласился Данилов.— Но у меня пока не было случая убедиться в твоей правоте. Теории же меня волнуют мало.

— Ты молод!

— Я твой ровесник!

— Ты молод! Асы стареют раньше. Ты тихо сидишь на своей планете. А со сколькими цивилизациями и неживыми системами пришлось столкнуться мне! Чего мне это стоило! Сколько я узнал!

— Но ведь ты и при выпуске из лицея был одарен Большим Откровением,— осторожно вставил Данилов.

— В том-то и дело,— выпалил Кармадон,— что многое из того, что я узнал, вовсе не совпадает с Большим Откровением!

Кармадон тут же замолчал, и теперь он, как раньше Данилов, огляделся по сторонам, нет ли кого.

— И забыл я подробности Большого Откровения,— добавил Кармадон уже не столь решительно, как бы даже смирно.

Но очень скоро он опять стал нервен и громок.

— Я устал от знаний, но ничего не могу с собой поделать. Я жаден по-прежнему. Даже если я перейду в увечные воины и буду разводить мандрагору, то и тогда, наверное, я не успокоюсь. Вот и сейчас я попал в цивилизацию элементарной частицы — по вашим земным понятиям элементарной — и там кручусь, как заведенный. Я должен вернуться в асы со спецзаданием. И кривое лицо мне без нужды! Но мне следует доказать, что я все тот же. Что я тверже прежнего и злее прежнего. Однако попробуй смути цивилизацию этой мелкоты! Поверни ее ход! Да они, эти невидимые вам крошки, тоньше и педантичнее многих существ, с которыми мне приходилось связываться. Надо понять их суть и все их

оттенки. А они ни на кого не похожие. И стало быть, опять входит в меня знание, знание, знание! И порой такое знание, от какого дрожь во внутренностях! Я отравляюсь знанием и слабею! Ничто не слишком! Куда там!.. И очень может быть, что я опозорюсь в микрокосме и не вернусь в асы. Я и теперь опозорен: ты существуешь и не смят мною, а у меня кривая рожа!

Он опять уронил голову на руку и затих.

Секундами раньше Данилов вспомнил о Большом Синем Быке, вспомнил о том, как он, Данилов, просовывал кость в трещину в хрустальном своде и как почесывал ею животному спину, он хотел было узнать, ради чего Кармадон собирался побыть на Земле синим быком, но спросить об этом теперь не решился.

Кармадон почувствовал его мысли, голову поднял.

— Да! Да! Я хотел там влезть в шкуру самого Синего Быка, ощутить себя супердемоном, чтобы знать, как двигаться дальше, но что из этого вышло!

Он замолчал, потом заговорил уже о другом:

— Каждая стихия — первооснова для чего-то другого, с ней связанного, но иного, непохожего,— сказал Кармадон.— Земля, в смысле почва,— для деревьев и растений, вода — для минералов и камней, эфир — для ветров, снега, дождей. Одно преобразуется в другое. И я — стихия. Но для чего первооснова я?

Слова Кармадон произносил Данилову знакомые. Похоже, Данилов когда-то читал их в лицейских научных пособиях. Наверное, тогда. Они казались ему наивными и от его интересов далекими. Но Кармадон имел свои взгляды на мир, и что же было относиться к ним с пренебрежением?

— Для чего первооснова я? — говорил Кармадон.— Выходит, что и я должен рано или поздно преобразоваться в нечто. Но во что?

— Почему вдруг преобразоваться? Это вовсе не обязательно...

— А-а-а! Что ты знаешь! — сказал Кармадон.— И потом, у тебя — свой случай. У меня — свой. Я чувствую, что когда-нибудь преобразуюсь. Но во что? Неужели моя буйная стихия станет чистым бессилием? Или вишневой косточкой? Или оскопленным бараном? Или винтом водяного насоса? Или оплавленным куском молибдена?

«Однако...— подумал Данилов.— Прежде он так никогда не отчаивался...»

— Это нервы,— сказал Данилов.— Житейские и служебные неприятности, отсюда и нервы.

— Какие у нас нервы, ты что,— поморщился Кармадон.— Это у вас, на Земле, нервы... Или вот... Порой какой-нибудь цивилизации из-за нетерпения или еще по иной причине устроишь такую встряску, что ужас, с потопами и извержениями, с моровыми поветриями, со взрывами губительных веществ, с кровью, с сожжением столиц, с ненавистью братьев друг к другу, со страданием мысли, но оставишь жизнь — и потом все, не сразу, постепенно, но обязательно расцветает мощно и пышно, как злак на перегное...

Будто бы я дал толчок развитию, какое хотел замедлить... Так нужны ли эти встряски? И кому? Мне? Им? Сейчас — встряска, огонь и кровь, а потом противные нам плоды, противное нам развитие, цветы и краски, музыка...

— Не преувеличиваешь ли ты возможности Девяти Слоев,— сказал Данилов,— не сами ли цивилизации обязаны себе встрясками?

— Даже если и преувеличиваю... Зачем мы со своими стараниями и соблазнами? И кто мы? Все эти существа и неживые системы — при нас? Или мы — при них? Мы что-то утверждаем или чему-то вредим? Необходимо ли наше присутствие в мире, и в чем она, необходимость? Или это все игра и пустая суета? Я запутался...

— А ты считаешь, что располагаешь знанием.

— Да, я располагаю слишком многими знаниями. А то, что я пока не понимаю, я желаю, пусть и помимо своей воли, понять... Стало быть, и опять приходит знание... Это мучительно... Я слабею! Я становлюсь равнодушнее к идеалам, которые вели меня по моей дороге! Или я уже вступил на чужую дорогу? Нет, я просто обессиливаю... Ты сидишь тут живой, а я перекошен.

— Ты повторяешься,— сказал Данилов.— Что же касается твоих сомнений, то я не смогу стать тебе советчиком или оппонентом. У меня свой взгляд на вещи. Ты же в своих мнениях сейчас вряд ли поколеблешься.

— А мне и не нужен ни советчик, ни оппонент,— сказал Кармадон.

— Зачем ты привел меня сюда?

— Я сам не знаю зачем. Может быть, для того, чтобы было перед кем выговориться. Я одинок. Родственники мои и мои влиятельные приятели, хотя и сделали все, чтобы слово «дуэль» не было произнесено, холодны теперь ко мне, если не брезгливы. Это деловые демоны. Мой ученый брат Новый Маргарит считает, что меня нет. А ты хоть по сути дела и никто, так, демон на договоре, и для меня сейчас личность посторонняя, а может быть, именно и потому, что посторонняя, тут вполне уместен. Я пустил слезу, я был жалок, но мне стало легче. Может быть, я скоро забуду об этой слезе. И никто мне о ней не напомнит. Сейчас ты при мне. А скоро сгинешь.

— Ты в этом уверен? — спросил Данилов.

— Уж раз тебя вызвали такой повесткой.

Данилов хотел было возразить Кармадону, сказать, что вызвали-то его вызвали, но держат не в карцере, а в приятной комнате с платяным шкафом и часами-ходиками, и гулять дают, может, все обойдется и без крайнего исхода... Потом он вспомнил, как Кармадон обещал устроить его при своей Канцелярии и тем спасти от разборов и расправ. Но что было сейчас вспоминать об этом.

— Ты знаешь о моем деле что-либо новое?

— Знаю... И вряд ли бы я смог тебе помочь.

— Я и не стал бы утруждать тебя,— холодно сказал Данилов.

— Твое дело... Твое...

Кармадон поднял кубок, но теперь уже как бы нехотя, как бы неволя себя. Потом сказал:

— Ну все. Прощай. Не будь слишком откровенным с Уграэлем. Его смотрят на твое место. Все. Иди. Прощай.

— Прощай,— сказал Данилов.

Он встал, несколько мгновений стоял в нерешительности, не зная, куда идти. Брать свечу и взбираться по лестнице?

— Данилов,— сказал вдруг Кармадон.— Ты хотел бы иметь детей?

— Детей? — удивился Данилов.— Хотел бы...

— А я не хочу.

— Отчего же?

— Я не могу передать им никаких нравственных ценностей!

«Вот тебе и раз!» — только и мог подумать Данилов.

— Да и не будут, видно, уже у меня дети-то,— горестно и тихо произнес Кармадон. Но тут же как бы спохватился и сказал грозно: — Все! Прощай!

Сразу же словно бы взорвалась бочка с порохом, готические своды исчезли в огне и дыму, и Данилов понял, что находится в двух шагах от входа в буфет.

40

Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой, а Данилова не тревожили. Будто издевались над ним. Или Данилов оказался в хвосте очереди, а у особ, вызвавших его повесткой, не было острых причин гнать очередь галопом. Ездить на лифте из слоя в слой Данилову надоело, зовы прошлого были им удовлетворены, знакомых встречалось мало, да и с теми беседы приходилось вести уклончивые и осторожные.

Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание, горячее и решительное, сейчас же и непременно обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать это существование, Данилов так и не исполнил. Оправдывал безделье мысли соображением, что в своих раздумьях и разборах он наверняка будет к себе жесток и, возможно, несправедлив, расстроится, отчается, ослабнет вконец — и тогда его возьмут голыми руками. «Нет,— сказал себе Данилов,— пока погодим...»

Порой он вспоминал то или иное видение в Колодце Ожидания и пытался его истолковать. Однако уверенности в правильном понимании видений у него не было. По-прежнему вызывал недоумение забытый или намеренно оставленный фартук сапожника... Иногда приходил Данилову на ум разговор с Кармадоном. Были в том разговоре сказаны Кармадоном слова, каким теперь Данилову хотелось возразить. «Что же там не возражал?» — спрашивал себя Данилов. А впрочем, зачем возражать-то? Кармадон разгова-

ривал с условным собеседником, равным пустоте. Он же, Данилов, в утерждении своих мыслей потребности тогда не имел. Конечно, был соблазн поспорить о тех же встрясках и первоосновах, но они с Кармадоном все равно не поняли бы друг друга, случилась бы путаница в терминологии. Данилов в Девяти Слоях и так не раз ловил себя на том, что употреблял слова в их земном значении. Хорошо, хоть собеседники этого не замечали. Впереди был главный разговор, там следовало быть чрезвычайно внимательным, чтобы не навредить себе или что-либо не так понять. И хорошо, что в беседе с Кармадоном он больше молчал. Как бы он стал спорить о тех же нравственных ценностях, какие Кармадон не может передать детям? Ценности это были бы для Данилова? Естественно, нет. «У них свое, у меня свое»,— полагал Данилов... При всем том, что между ними случилось, Данилову порой было жалко Кармадона (однажды он даже сказал про себя: «по-человечески жалко», так увлекся). Он закрывал глаза, видел Кармадона безвольным и горестным и сострадал ему. Теперь хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на Земле синим быком (шкуру большого животного он хотел примерить на себя!). Загадкой же было то, почему прежде Кармадон обожал ликер «Северное сияние» и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил.

В Седьмой Слой Удовольствий Данилов больше не ездил. Хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в Пятый Ученый Слой. Он и прежде посещал этот слой редко. Трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами. Себя Данилов считал существом недалеким, неспособным воспринять ученые мудрости. Не видел он в них и особого смысла. Хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями. Сейчас от нечего делать он был не прочь заехать и в Пятый Слой. Знакомых — и по лицею, и по былым развлечениям — у него служило там немало. Давно не встречался Данилов и с однокашником — Новым Маргаритом, братцем Кармадона. Еще в Останкине Кармадон сообщил Данилову, что Новый Маргарит сделал смелую карьеру, попал в козыри, правда, при этом облысел. Теперь Данилов узнал, как отнесся Новый Маргарит к дуэли брата и его конфузу. Вряд ли сейчас он стал бы воротить нос от него, Данилова. Впрочем, кто знает... Зачем ему Новый Маргарит, Данилов объяснить себе толком не сумел. Или не захотел. То есть он понимал, что на встречу с Новым Маргаритом толкает его помимо естественного интереса и некая корысть...

Так или иначе, однажды, испросив у интендантов куртку из свиной кожи и техасские штаны, Данилов сел в лифт и приехал в Пятый Слой.

Там дули ветры и сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал бы купаться, даже если теперь купание было бы ему приятно. Шли опыты, и молнии сверкали экспериментальные.

На зеленом лугу Данилов увидел крестьянскую девушку в деревянных чеботах, тоненькую, чернобровую, но с холодными, буд-

то стеклянными глазами. Девушка подбежала к ручью, стала бросать в воду, как понял Данилов, кусочки мелко порубленного яйца, сваренного вкрутую. При этом она приговаривала: «Тети-хилоти, вас семьдесят семь, нате плату вам всем». Данилов ушам и глазам не поверил. Будто шли средние (по людским понятиям) века. Тогда лихорадок было семьдесять семь, и, чтобы избавиться от болезни, следовало бросить в реку семьдесят семь зерен проса или ячменя или какого другого злака или же разрубленное на семьдесят семь частей яйцо. По всей вероятности, сейчас Лаборатория Лихорадки ставила опыт противодействия просу и яйцу. Сотрудник лаборатории, воплотившийся отчего-то не в больного, как того требовали обстоятельства, а в весеннюю лихорадку (зимняя должна была бы выглядеть жадной трясущейся старухой), и швырял в воду кусочки яйца. Стоило пожалеть лабораторию — способов лечения лихорадки издавна существовало множество. Больной мог есть кал собачий и мышиный, пить кровь скота. Или, что приятнее, употреблять настойку навоза на водке. Больной мог найти осину с расщелиной, пролезть через нее три раза, оставив в расщелине хворь. Мог носить при себе нитку с двенадцатью узлами. Мог сказаться отсутствующим, заколотить дверь дома и повесить на ней табличку: «Его нет, уехал». Родственники могли положить больного на телегу и мчать ее на бешеной скорости по канавам, рвам, камням, колдобинам и тем самым вытрясти лихорадку. Они же могли с колами в руках гнать больного в поле или в лес, а когда страдалец упал бы обессиленный, вбить кол поострее рядом, пригвоздив болезнь к земле. Или хотя испугав ее. Словом, средств хватало, и все они были верные. Естественно, специалисты по лихорадке и прежде не сидели, сложив руки, привыкали к колам и гремящим телегам и находили кое-что посильнее тех колов. Но это было давно. Еще в пору юности Данилова все их старания и находки были названы устаревшими и ненаучными. Что же теперь они снова вступили в сражение с вареным яйцом?

Данилов не стал дожидаться окончания опыта, да и ждать бы, наверное, пришлось долго. Он побрел дальше. Встречу с Новым Маргаритом он желал теперь оттянуть, заробел. «Неужели я его буду просить о чем-либо?» — терзал себя Данилов. И он бродил по Пятому Слою, заглядывал в разные его закоулки.

Пятый Слой открывался ему то природными полигонами — лесом, черным ущельем, каменистым дном океана (чудища плавали над головой Данилова), то корпусами и ангарами (правда, без стен и без крыш) с металлической (или какой там) арматурой, переплетениями труб, изломанными прозрачными сферами, исполинскими колбами и сосудами, то коридорами или тоннелями, уходящими неизвестно куда. Там и тут виднелись таблички с названиями учреждений.

Данилов замедлил шаг. По коридорам и тоннелям катились какие-то вагонетки, плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты, шастали и летали ученые демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу, попадались среди ки-

вающих и знакомые, но разговоров не возникало. Пора была трудовая.

Некоторые названия пылали огненными буквами. «Лаборатория Отсушки», «Оранжерея летающих тарелок», «Институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок» («А еще, что ли, у них есть какие волосы?» — задумался Данилов), «Академия Дурного Глаза», «Склад искусственных интеллектов», «Зал тонких умствований», «Институт вывернутого чулка», «Склад исторических личностей». В этих названиях для Данилова не было ничего неожиданного. Одно его остановило: «Комиссия по использованию утопших музыкантов». То, что утонувшие музыканты используются, Данилов знал всегда, но вот комиссия была для него новостью. Он сразу же захотел ее посетить. Но как бы он туда зашел? Что бы сказал? Принес, мол, новые сведения по интересующему комиссию вопросу? Но что ее интересует? Именно это Данилов и хотел бы узнать... Он постоял, постоял у двери комиссии, потоптался и пошел дальше.

Мимо него проходил работник, показавшийся Данилову знакомым (они обменялись кивками), и уронил несколько горшков с рассадой. Данилов поднял эти горшки и, ни слова не говоря, понес их, предложив тем самым знакомому помощь. Тот от нее не отказался. «Куда он приведет меня?» — гадал Данилов. Оказалось, что в Оранжерею летающих тарелок, называемых также на Земле неопознанными летающими объектами. В теплом воздухе под стеклянными сводами они росли на зеленых стеблях и стволах. Малые и большие. И действительно, как кухонные тарелки. И размером посерьезнее. С покойный лайнер «Куин Мэри». В ангаре за Оранжереей валялись средства доставки тарелок на Землю. Многие в Девяти Слоях к тарелкам относились критически, считали их баловством. Они и были баловством. Но отчего же и не баловаться?

Тарелки особой радости Данилову не доставили. Ну растут, ну и что? Знакомый деловито объяснил Данилову, что недавно устроено шестнадцать новых теплиц, там средние тарелки будут воспитываться в течение семнадцати дней. А раньше им и двадцати двух дней не хватало. «А качество не пострадает?» — спросил на всякий случай Данилов. «Не должно быть»,— ответил работник Оранжереи. Правда, не слишком уверенно. Потом он добавил сердито: «Эх, кабы натуральный навоз шел на подкормку, а не эти порошки!» Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на Земле. Летали они красиво, таинственно и бесшумно, вызывая у людей противоречивые чувства.

Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску «Отдел Бермудского Треугольника». Для Данилова загадкой была судьба самолета «Стар-Тайгер», сгинувшего в сорок восьмом году (об остальных случаях Данилов имел понятие). Он подергал ручку двери отдела. Но без толку. Возможно, в отделе никого не было. Возможно, сотрудники находились нынче на объекте.

Запахло пирогами. Данилов оживился, пошел на запах и понял, что приближается к Академии домашнего хозяйства. В силу житейской необходимости сам Данилов был кулинар, полотер и посудомойка, в помещения академии он шел с любопытством. Сотрудники академии, хотя их исследования и открытия не совершали переворотов, а могли лишь привести к мелким порчам и потравам, трудились увлеченно. Видно, любили свое дело. Кто писал, кто ставил опыты. Иные стояли у кухонных плит и печей — голландских, русских, занзибарских, газовых, электрических, глиняных, у примусов и керосинок, иные брызгали жидкостью на паркетные и мозаичные полы, иные поджигали обои, иные старались проглотить пылесосом валансьенские кружева, иные, накидав на ковры снега, выбивали из них пыль ружейными шомполами. Работы всюду шли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид рецепты должны были быть как бы подлинными, но один или два компонента их по давней традиции (и фараоны кушали пшеничные лепешки, испеченные по тем рецептам) полагалось вводить ложные. Данилову попался сейчас на глаза составитель рецепта для варки клецок. Как этот мученик страдал над газовой плитой! Гремел кастрюлей, эмалированной, пятилитровой, чадил, бранился. Клецки из манной крупы получались у него все ровные, круглые и вкусные. Стало быть, брак. Ему надо было сварить клецки, которые бы разбегались. Он и Данилова, стоявшего рядом, в усердиях не замечал. Наконец сообразил: следует меньше класть муки. В пляс пустился от радости. В кастрюле у него плавало теперь нечто безобразное, лохматое. Он тут же, оттолкнув Данилова, бросился записывать рецепт. Ложные рецепты отправлялись на Землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на страницы журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов видел и филадельфийские издания, и оффенбургскую «Бурду», и женский еженедельник из Уагадуа, и тихую «Работницу» (Данилов всегда перелистывал ее у Муравлевых). Теперь предстояло быть сплавленному на Землю совету насчет манных клецек. Вот не повезет какому-нибудь журналу, посчитал Данилов, полетят туда потом гневные письма, восстанут хозяйки, в чьих кастрюлях разбегутся клецки! «Ну Клавдия-то, предположим, не будет варить такие клецки»,— отчего-то подумал Данилов.

Завернув за угол, он опять наткнулся на Лабораторию Отсушки. «Заблудился, что ли? — удивился Данилов.— Или тут другая отсушка?» Впрочем, это не имело значения. И тут Данилов погулял. В лаборатории разрабатывали способы отсушки от любви. (Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и Лаборатория Присушки). Эта же лаборатория была солидная. Работников в ней сидело много. Они учитывали национальные и племенные традиции, степени силы предполагаемой отсушки. Когда-то отворотное зелье изготовляли в виде порошков, неприятных на вкус, горьких или кислых, на манер тех, какие сбывал лекарь Бомелий. Теперь

зелья были сладкие, тянучие, походили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик, сказал: «Ничего...»

Наверное, он и впрямь сделал круг (или виток? или спираль?) и вернулся в места, им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами Институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. «Что же они обозвали-то себя так манерно?» — подумал Данилов. В прихожей института сидел вахтер (при усах, ноги в шерсти, табачный кашель-горлодер), Данилова он пустил с неохотой, требовал письменного допуска, но Данилов сказал железным шепотом: «Я от Тертия, с мыслями», и вахтер скис. Вскоре Данилов понял, что были основания посадить в прихожей института строгого привратника. Многие помещения института имели просто номера, видимо секретные, а то и обманные. Порой же попадались таблички, заставлявшие думать, что название института не вполне соответствует широте интересующих его проблем. Скажем, очень заинтересовал Данилова отдел сексопатологии русалок. В нем были подотделы рейнских, миссурийских, волжско-камских, дунайских и прочих русалок. И были подотделы русалок из мелких водоемов. Данилов даже заволновался: а вдруг среди прикомандированных к институту русалок он встретит знакомых, хорошеньких, разумеется. Однако сразу осадил себя: нашел из-за чего волноваться!

Потом он увидел объявление: «Научная группа проблем щекотания». Тут было над чем работать. При нынешних темпах любви, при нынешних вкусах нелегко было русалкам находить паузы для щекотания. А если не защекотать клиента, то как превратить его в утопленника? А сами способы щекотания? Нынче многие, сильные когда-то, приемы стали убогими, в лучшем случае они доводят до слез, но не до желаемого конца... Данилов заглянул в лаборатории научной группы. Все здесь было как у земных физиков (впрочем, Данилов физиков никогда не посещал). Какие-то пульты, тумблеры и кнопки, стенды, горящие цифры приборов, гул машинный и треск. И что-то лилось и журчало. На ампирной кушетке, будто из салона мадам Рекамье, сидели четыре русалки (в эластичных костюмах типа «Садко», хвосты — в поролоновых чехлах на «молниях», волосы лишь у одной зеленые, у других — крашеные: рыжие, фиолетовые, серебряные; зонтики в лапах), они, увидев Данилова, потянулись к нему. «Эка! — испугался Данилов.— Еще защекочут!» Прежде бы он и согласился на опыт, но тут посчитал благоразумным сбежать.

И опять, еще в русалочьем институте, увидел напоминание об утопших музыкантах. И тут им отдали целую лабораторию. Логика в этом была. Утопшие музыканты издавна играли в оркестрах при водяных и русалках. Данилов, оглядевшись, понял, что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны на кленовых листьях, громоздились стеллажи с кассетами. Звучала музыка. Своей музыки здесь, видимо, не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбли «Лед Цеппелин», «Эмерсон и Клайд»,

«Эльдорадо», «Пинк Флойд» и прочие, услышал он колыбельную Моцарта и незабвенную «Стою на полустаночке». Наверное, эту музыку заказывали русалки. А их следовало ублажать. Они работали нынче в отравленных водах.

Как еще сохраняли свои зеленые волосы, какие требовалось расчесывать. А может быть, им и нечего было сохранять? Может быть, те четыре приятельницы на ампирной кушетке сидели в париках? «Хватит русалок! — подумал Данилов.— Надо идти к Новому Маргариту». Тут же увидел еще одну табличку: «Отдел жизнеобеспечения русалок в условиях экологической войны». «Вот оно что»,— отметил про себя Данилов.

До Нового Маргарита было еще шагать и шагать. Тут все теснились учреждения отраслевые, а Новый Маргарит блистал в фундаментальных исследованиях. Дорога к нему шла сквозь теоретиков.

Пока же Данилову на глаза попалась Мастерская монструмов. Рядом стоял и Колледж монструмов. Одно время в этот колледж был недобор, теперь дела, видно, поправились. Опять гудели аудитории, да и на лавочках возле колледжа хватало монструмов. Монструмы изготовлялись теперь чаще всего металлические и пластмассовые, некоторые в виде роботов или инопланетян, лишь малое число монструмов выпускалось в старых формах, вроде заросших шерстью циклопов, семиглавых змиев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготовлялись! Многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы, готовы были преобразоваться хоть в кого, до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс — с толкотней и протекцией — был при отборе «инопланетян».

Данилов прошмыгнул мимо монструмов, поспешил пройти и мимо Лабораторий Землетрясений, Солнечных Пятен, Починки Шельфов, Футбольных Волнений, Потерянных Сумок, Ложных Угрызений Совести, Банковских Крахов, Селекции Гриппа, Путаницы на спиралях Млечного Пути, Поломок Осей, Вращения Звезд Большой Медведицы, Ссор из-за Премий, Порчи Уравнения Клайперона — Менделеева... да мог ли Данилов запомнить названия всех лабораторий! Главное, там занимались делами, а он шлялся.

Наконец начались озера, потом пошли бастионы, подвесные мосты, и серым замком явился Данилову Институт фундаментальных знаний. Тут привратники оказались серьезнее русалочьего охранника, ни шепот о Тертии, ни слова о Новом Маргарите Данилову не помогли. Данилов рассердился, выругал стражей, обогнул прясло стены, поплевал на ладони и, пачкая техасские штаны, перелез через крепостную стену.

В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится. От знакомых, не выразивших при его явлении ни радости, ни удивления, он узнал, что Новый Маргарит задерживается, но скоро будет. Ученые тут были значительные, все больше бакалавры и магистры.

Сидеть в какой-либо приемной Данилов не смог, отправился гулять по институту. Где побеседовал с лицейским однокашником, ныне, естественно, магистром, где послушал громкие споры ученых мужей. Теоретики занимались тут не только глобальными, меж- и внегалактическими проблемами, но и вопросами частными, какие, на взгляд Данилова, могли быть решены в покинутых им лабораториях. Вот, например, целая группа корпела над созданием теории Недопущения Нейтрино. Было известно, что на Земле в штате Южная Дакота доктор Девис восемь лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак с перхлорэтиленом (жутко герметизированный, защищенный от всех излучений) нейтрино от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах. И никах не поймает. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрино, пробивают тоннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрино от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в Девяти Слоях и сами никогда не ловили никаких нейтрино, очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны. Но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и тоннель возле Эльбруса, на всякий случай решили создать теоретическую модель Недопущения Нейтрино в Ловушки. И работа шла.

Та же группа куда удачливее, как понял Данилов, вела исследования под кодовыми названиями «Медная пуговица» и «Французская булка». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было, лишь выстрелив в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы. Правда, лешие мало кого теперь беспокоили. Однако возникла необходимость обезопасить от людей работников более современного склада, нежели лешие (коли им приходилось охотничать на Земле). Что же касается «Французской булки», то и она была выведена из давних времен. Иногда деятельность работников Девяти Слоев нуждалась в рекламе среди населения. Но реклама требовала подтверждения. Скажем, летал какой-нибудь крестьянин опять же на лешем. В город. Но кто ему поверит? А крестьянин достанет из кармана французскую булку: нате, глядите, булка. И все сомнения сняты. Теперь же можно прокатиться и не на лешем, и не в город, но для того, чтобы доказать что-либо публике, опять же необходимо предъявить ей в своем роде французскую булку. И тут теория на месте стоять не могла.

У других проблемы были глобальные. При тех проблемах и лысели. Данилов, посетив места творчества больших ученых, услышал много новых для Девяти Слоев выражений и словечек. Иные из них давно уже были на слуху на Земле и через популярные издания доходили и до Данилова. В одном ученом споре то и дело выкрикивали: «Гиперпространство! Гиперпутешествие!» Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме шестьдесят семь по Первой Мещанской и оказался в Девяти Слоях. Раньше говорили проще — «перенесся». Звучали и другие слова: «Субъединица», «Сцинтилляция», «Затравочная волна», «Кор-

релятивная память», «Изолированная система» и тому подобные. Смысл нескольких терминов Данилов все-таки попытался уяснить и был приятно удивлен, узнав, что та же самая демонстрация французской булки называлась нынче эффектом контиллюзионистской коммуникации в заданных параметрах. Тоже неплохо. В институте были внимательны к достижениям иных умов. Всюду Данилов видел множество земных, научных и популяризаторских изданий, среди прочих отметил свежий номер «Знание — сила».

Данилов выяснил, что нынче обострился интерес к проблеме происхождения самих Девяти Слоев. Тут никогда не было ясности. А теперь вынырнуло много гипотез. Правда, почти все новые гипотезы не слишком далеко ушли от старых. Но были и рискованные, ставившие под сомнение избранность обитателей Девяти Слоев и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза «Вывернутого чулка» («И Институт вывернутого чулка,— вспомнил Данилов,— есть где-то на отшибе...»). Будто бы система, похожая на солнечную, в своем развитии дошла до точки и по всем необходимым законам вывернулась в свою полную противоположность. («В черную дыру и наизнанку!») Вот и получились Девять Слоев. А маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность, и ее признали порочной. Явились упрямцы, какие утверждали, что жители Девяти Слоев произошли от пришельцев. И их гипотезу назвали порочной. Однако она была в моде у думающей публики. А так существовало несколько крепких и оптимистических гипотез. Но было и в тех гипотезах, узнал Данилов, одно тонкое место. Откуда при Девяти Слоях — Большой Синий Бык? Зачем он? (То есть так прямо вопрос не ставился из боязни рассердить Большого Быка, вдруг сомнения дойдут до него, ведь действительно неизвестно, зачем он и что будет без него.) В годы юности Данилова о Большом Быке молчали, признавая его явлением само собой разумеющимся, а теперь заговорили. На самом деле, даже и при здешнем знании, происхождение Большого Быка было загадочным. Сам ли он встал под Девять Слоев или его поставили? Несет ли он в себе некую основу и причину Девяти Слоев или это просто животное? Прародитель ли он Девяти Слоев или так, неизвестно что? Всегда (да и теперь в серьезных работах) обходили проблему Большого Быка, но ведь все знали, что он держит на себе Девять Слоев, что он стоит, что он живой и моргает. Конечно, может быть, избранными, вроде бы жрецами, хранилась тайна Большого Быка. А может быть, и нет. Словом, теперь загадка Быка многих волновала. «Вот и Кармадон попробовал быть на Земле синим быком,— подумал Данилов,— ради важных для себя наблюдений и ощущений...»

Потом он стоял в большом холле и, раскрыв рот, внимал спору ученых демонов о трансформации зла. Неприлично было слушать чужой разговор, но ученые чуть ли не кричали друг на друга, не делая из беседы никакой тайны. Напротив, они явно были заинтересованы в публике. «Да вам своими темами,— шумел ученый, размахивавший желтой кожаной папкой,— тешить выживших из

ума ветеранов на сборищах у Броккеновой горы! Вы все еще бредите кинжалами, ядами, чумой. Но костры-то давно отгорели на площадях!..» Его оппонент тоже сердился, однако поглядывал на спорщика несколько свысока, как на модника и пустобреха. «Ну да, ну да,— говорил он,— а вы-то что же? Вы-то далеко ли уехали?»

Тут и появился Новый Маргарит. Был он при свите, и виделось сразу, что это светило. Спор стих, все смотрели на Нового Маргарита, кланялись ему. И он быстро кивал всем. Проходя мимо Данилова, он и его заметил, но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем об аудиенции и теперь ждал в приемной.

— Зайдешь ко мне через полчаса. Я вызову,— бросил Новый Маргарит Данилову на ходу и удалился.

41

Через полчаса Данилов действительно ощутил приглашение Нового Маргарита и прибыл к нему в голубую сферу. Сфера эта плавала в высоком замковом зале. Новый Маргарит сидел на диване, обитом голубым бархатом. Оглядевшись, Данилов увидел мягкие овалы книжных стеллажей, заметил слесарные приспособления, лабораторные столы, один с электронными (а может, и не электронными) приборами, другой — явно для занятий черной магией. При этом — как бы за стеной — тихо звучал сверчок.

— Да,— кивнул Новый Маргарит,— я не могу работать без сверчка. Садись.— И он указал Данилову на диван.— Ну что, Данилов, ты все такой же моложавый и изящный. А как находишь меня? Не узнал, наверное?

В своих словах о Новом Маргарите там, на Земле, Кармадон был несправедлив. Данилов ожидал худшего. Действительно, Новый Маргарит постарел и был лыс, как цейлонский жрец, но телом он по-прежнему оставался атлетом. Другое дело, что в юности Новый Маргарит был вечно возбужденный и нервный, сейчас же он находился в состоянии очевидного душевного покоя. Видимо, изведал мыслью многое и с этим изведанным был в согласии.

— Ты изменился,— сказал Данилов, решив, что раз «ты», значит, «ты».— Теперь ты серьезный и успокоенный.

— Успокоенный? Ой ли? — улыбнулся Новый Маргарит. Потом спросил: — Ну, как, Данилов, жизнь?

— Ничего,— сказал Данилов.— Спасибо. А у тебя?

— У меня, как видишь...

— Да, это, конечно,— сказал на всякий случай Данилов.

— Тебя сюда вызвали?

— Да, вызвали,— сказал Данилов.— То есть вызвали не к вам, а вообще сюда...

— Угу,— согласился Новый Маргарит.

«Идиотский разговор! — подумал Данилов.— Зачем я пришел сюда? Встать, что ли, и уйти?»...

— Прежде ты редко заглядывал в Пятый Слой...

— Я многого здесь не понимаю,— сказал Данилов.

— И я многого не понимаю! — обрадовался Новый Маргарит.— И не вижу нужды в понимании многого. А в том, что понимаю, ничего не могу изменить.

— Я думаю, что ты преувеличиваешь,— сказал Данилов.

— Несомненно,— согласился Новый Маргарит. И опять чему-то обрадовался.— А если даже и могу что-либо изменить, то не имею желания изменять.

«Не мои ли заботы вызвали эти его слова?» — подумал Данилов. Сказал, помолчав:

— Я, наверное, поэтому и нашел тебя успокоенным... Но, может быть, тебе тут наскучило?

Вопрос этот и самого Данилова смутил. Он мог быть задан лишь в случае равенства собеседников и их потребности в откровениях, но разве они были равны и откровенны? Новый Маргарит мог сейчас же поставить Данилова на место.

— Нет,— сказал Новый Маргарит,— не наскучило. Тебе вот не наскучила твоя музыка. Я знаю, знаю... И мне пока не скучно. Я уже не говорю о важном... Меня порой занимает и самый нелепый ученый спор. Забавно. Хоть бы и пустая перебранка, вроде той, что ты слышал.

— Чью же сторону ты бы принял в этой перебранке?

— Оба правы. И оба не правы. Оба — посредственности. При этом один из них более делец.

Произнес это Новый Маргарит, поделившись институтскими секретами, доверительно, как именно равному и единомышленнику. Новый Маргарит всегда был либерал и, хотя на него часто ворчали, любил проявлять себя либералом. Он и в своем научном движении преуспел отчасти и потому, что многие серьезные и строгие личности, от которых зависело его продвижение, тоже в душе считали себя либералами, однако они не могли себе ничего этакого позволить, а Новый Маргарит позволял, выражая тем самым, как им казалось, и их настроения. Они его и поддерживали.

— Оттого что он делец,— сказал Новый Маргарит,— он и средств выудил на свои темы больше. Ну это ясно.

Те два демона представляли разные ученые направления. Тут Новый Маргарит назвал теорию трансформации зла и, полагая Данилова малообразованным, стал объяснять простые вещи. Зло имелось в виду в людском понимании. В Девяти Слоях были свои категории. «Зло» тут шло как бы рабочим термином. Неким обязательным для здешних работ компонентом. Естественно, выяснялось, что для тех или иных землян есть зло. И какое зло подходит к тому или иному времени. То есть надо было уметь учитывать спрос. Тот спорщик, что сгоряча поминал гору Броккен,— с редким нюхом, модный костюм закажет за год до прихода моды. Стрессы, неврозы, сексуальные и прочие взрывы — все это по линии их отдела. Тут они мастаки. Но ничего старого они не признают. Считают все старое укусами комара.

— А ты как считаешь?

— Я считаю,— сказал Новый Маргарит,— целесообразным одновременное развитие нескольких направлений в исследованиях, даже если большинство из них в конце концов окажутся ошибочными. Отчего же не рисковать? Эти, со стрессами, в своей победной уверенности, на самом деле многого добились. Они чутки к ходу земной цивилизации. Они и автомобиль учли, и самолеты, и бомбы, и демографию, и голографию, и знают, где в метро легче оторвать каблук и вызвать сотрясение мозга, они прекрасно отличают нынешнего клерка от клерка викторианского, и в фармакологии они доки, загубили в опытах тонны антибиотиков, про героин я уже и не говорю. Они и вперед на сорок лет чуют. Ну и ладно. Ну и молодцы! Пусть и живут при своем заблуждении, что человек настолько меняется или уже изменился, что к нему приложимо лишь какое-то новое зло. Конечно, и свежие средства должны появляться, но надо иметь в виду — вечное. А то — стрессы, неврозы, сексуальные взрывы! Нашли чем гордиться.

— Ты все про того спорщика?

— Я его не осуждаю. Пусть он есть. Он необходим. Но разве памятный тебе Иван Васильевич Грозный не имел стрессов и неврозов? Или, скажем, Людовик Одиннадцатый? Да имели они, только не знали, что это именно стрессы и неврозы. Естественно, способы их управления, их нравы, некоторые их милые штучки нынче на Земле как будто бы неприличны. Однако случаются там вещи и похлеще прежних. Но все было, было, было... Не так, но было. Вот потому и тот спорщик, кого желали оскорбить горою Броккен, тоже прав. И его алхимия хороша. Ведь порой нужно лишь обнаженное действие в его вечной сути.

— И все же,— сказал Данилов,— зачем яйца-то режут на семьдесят семь частей и крошат в реку? Что вам дались медные пуговицы? И зачем столько средств идет на русалок? Что они делают-то нынче на Земле?

— Относительно русалок ты ошибаешься,— сказал Новый Маргарит.

— Не знаю,— сказал Данилов.

— Человек, как, впрочем, и обитатели иных планет,— существо чрезвычайно живучее. И терпеливое. Какие только изменения среды он не выдерживает! Правда, изменениям этим он чаще всего обязан себе. Поболеет, поболеет от радиаций и химии, а потом они будут для него как кислород. А вот какой-нибудь древний и простенький насморк свалит его с ног. Станет очень умный, а на осмеянном и забытом черном коте и поймается. И еще. Чем цивилизация становится образованнее и взрослее — или это ей так кажется,— тем острее становится у нее интерес к собственному босоногому детству. На детские сказки и вовсе мода вспухает. И ностальгия объявится и по русалкам, и по ведьмам. Как будто бы и с чувством превосходства над ними, с иронией, без страха, но все-таки... Тут и семьдесят семь кусочков яйца вкрутую будут хороши. Имеем уже уроки. Пришлось вот устанавливать новую аппаратуру на станциях спиритических ответов. Там, на Земле, все больше и боль-

ше любознательных личностей пускают блюдечки по столу, вызывая духов. А у нас не стало хватать мощностей, чтобы двигать всю эту посуду. Мы отстали. Оттого теперь и не экономим на русалках.

— Наверное, и русалки нынче не те?

— Не те, не те,— кивнул Новый Маргарит.

— Я видел...— начал Данилов, чуть было не спросил насчет париков, но сдержался. И тут он задал Новому Маргариту такой вопрос, какой задавать ему было нельзя: — Усилия велики, старания ощутимы, а толк-то есть от них? Не только нынче. А вообще. Всегда...

— Ну, Данилов! — развел руками Новый Маргарит. И было бы логично, если бы он выгнал Данилова из голубой сферы. Однако Новый Маргарит замолчал.

— Что же,— сказал Новый Маргарит серьезно,— мы вели один разговор. А теперь пойдет другой... Ладно... Есть ли от наших усилий толк? Скажем, на Земле? Да? Ну так вот я тебе скажу. Толку от наших усилий мало. Конечно, есть дела, и существенные, но... Ход земной цивилизации не мы движем и не мы тормозим.

— А кто же? — спросил Данилов. И себе же удивился: «О чем спрашивает? Будто не знает!»

— Сами земляне,— сказал Новый Маргарит.— И тебе это хорошо известно.

— Да, у меня есть наблюдения,— согласился Данилов.

— Поэтому я и принял твой вопрос. Иному бы я побоялся смутить разум. Или же обеспокоился бы за себя. А ты мне ясен. Я знаю, кто ты.

— Кто же я? — насторожился Данилов.

— Ну, Данилов, это лишнее.

— Нет, кто же я? — сказал Данилов, чуть ли не с обидой.

— Данилов, я знаю... Во всяком случае, ты не демон. И оставим это. Ты меня спросил о толке, и коли желаешь слушать... Так вот. Сам человек куда более энергично, чем что-либо, способствует ходу своей цивилизации. Сам же человек куда более успешно, чем всё,— мы в частности — этому же ходу и мешает.

— Может, так и должно быть?

— Видишь ли, в некоторых цивилизациях мы на самом деле были ловки и сообразительны и многое перетряхнули. Но человек... Это существо особенное. Он неуправляем. Нашему контролю и влиянию он не подчиняется. Увы. У него своя самодеятельность. Он фантазер и творец. Мы думаем о человеке с чувством превосходства. Но это несправедливо. Наши возможности изначально несравнимы с возможностями человека. Они для него сказочные. Но голь на выдумку хитра. Многие его открытия и нас соблазнили, сколько его изобретений мы использовали и в быту, и в трудах. Мы сами, в конце концов, стали ему подражать. А наши ученые? Они-то всю земную науку рассматривают с лупой в руках. Знают, что в ней много чепухи, много глупости, а все равно ни макового зернышка не упускают из ее открытий и заблуждений. Считают,

что людское знание условно, и тем не менее... знают, что на Земле обстоятельства заставят так исхитриться и придумать такое, что никакая умная аппаратура в Пятом Слое не догадается придумать. Хоть ты ее снабди земными условиями опыта.

— Я здесь,— сказал Данилов,— видел земные научные издания. И серьезные. И популярные. С картинками. Я один такой в Москве покупаю. «Знание — сила».

— И «Знание — сила»! Конечно! — согласился Новый Маргарит.— Может, и в первую очередь такие, как «Знание — сила»! А что? Хороший журнал. Ты не находишь?

— Хороший.

— Хороший,— еще раз отметил Новый Маргарит.

— У вас и словечки в ходу — оттуда. Гиперпутешествие. Гиперпространство.

— Так всегда было. Какие термины на Земле в моде, такие и у нас. И соблюдается видимость поспевания науки за ходом времени. И облегчается ученое общение.

— Гиперпутешествие. Слово-то какое скучное. Раньше проще было.

— Но разве — чем проще, тем лучше? Ты произносишь «гиперпутешествие» и чувствуешь, как усложняется твое понимание мира. И это хорошо.

— Ты смеешься,— сказал Данилов.— Не надо мной?

— Не над тобой,— сказал Новый Маргарит.— Над теми, кто суетится, полагая себя вершителями, с тем и живут...

— А ты с чем живешь?

— Я тебе на это не отвечу... Скажу лишь вот что. Если бы мы только будоражили, злили землян, если бы мы только мешали им, вводили бы их в заблуждения и буйства, если бы у нас были лишь такие хлопоты и в иных цивилизациях, мы бы сами по себе ничего не значили. Носились бы прислугами при Фаустах. Но это скучно. Это пошло. Это безрадостно. Это унизительно, наконец. Нет, мы не одни лишь отрицатели и вредители! В нас, несомненно, существует и нечто свое, замкнутое на себя, независимое от иных систем и цивилизаций. И оттого в существовании Девяти Слоев есть свой высокий смысл... Должен быть...

— Ты знаешь, в чем он? — спросил Данилов.

— Я догадываюсь,— сказал Новый Маргарит.— Но не всем дано знать это.

— Но ведь есть Большое Откровение,— как бы изумляясь словам Нового Маргарита, сказал Данилов,— можно видеть все насквозь и по диагонали. И в прошлом, и в нынешнем, и в грядущем. Можно ощутить вечность. Нас так учили в лицее. Зачем нам вообще науки, коли мы и так располагаем знанием всего? Зачем нам доктрины? И прошлые и будущие? Насчет наук ты меня извини,— спохватился Данилов.— Я не из-за них начал говорить, а изза твоих слов о высоком смысле.

— Ты,— сказал Новый Маргарит устало и как бы снисходительно,— никогда не отличался большим умом.

— Да, да, это верно,— охотно согласился Данилов.
— Потому ты и был мне приятен. Хотя порой ты, конечно, лукавил, представляясь наивным простаком... Ты и сейчас лукавишь... У тебя ведь свое сейчас в голове, и ты тверд в своих понятиях. Что Большое Откровение! Что ощущение вечности! Что вúдение всего насквозь! Что наши волшебные по сравнению с человеческими возможности! И с ними все равно не знаешь истины.
— Разве они обман?
— Они не обман. И обман. Они еще не истина.
— А она достижима, истина? И она нужна?
— Не знаю... Но ради чего я отрицаю? Ради чего я познаю? Мой разум не утолен. И он мучает меня. Оттого и есть мысль. Моя. Высокая. На какую не способны спорщики из коридора... Большое Откровение, раз оно мне дано просто так и неизвестно зачем, вызывает у меня, личности размышляющей, сомнение. А не морочат ли меня? И мне кажется порой, что морочат. Но, может быть, и не морочат. Вот в чем моя беда. И вот в чем моя услада. В моей натуре, по нашей привычке, развиты привязанности к познанию и отрицанию. Ты — не мыслитель, ты чураешься Большого Откровения и ощущения вечности, они тебе только мешали бы жить. Да и чуждо тебе все наше. Не спорь. А я не могу отбросить их или принять просто так. Меня в страданьях и радостях влечет к истине. Как, впрочем, и тебя. Но ты ее стараешься достичь музыкой.
— Так она достижима? Она нужна?
— Я не знаю! Я только вижу, что ты в своей музыке куда ближе к истине, чем я в своей науке...
— Откуда ты знаешь?
— Это я знаю,— сказал Новый Маргарит. Потом добавил: — Что же касается большинства исследований в Пятом Слое, то ты, наверное, сам мог понять, что характер их, главным образом, прикладной. Там дела практические. Иногда и без сверхзадачи. Но с обязательным истечением из живой нынче доктрины. Отрицание, вред, зло, раздражение, палки в колесах. А зачем? Так надо... Конечно, люди сами себе вредят. Но и нашего зла стоят. А может быть, они без всего этого и жили бы еще в пещерах на медвежьих шкурах...
— Но ты говорил, что тебя занимают даже перебранки, якобы ученые, в коридорах.
— Занимают! — сказал Новый Маргарит.— Тем не менее занимают! Я еще бодр умом и крепок. Я деятелен, люблю интриги, игру и рад, пусть и ложным, борениям и стычкам. Мне пока на самом деле немногое наскучило. И пусть я с иными делами и темами не согласен, но раз я берусь за них или держу их в поле своего зрения, я увлекаюсь ими, и они уже как бы мои... Однако порой тошно становится... Зачем я суечусь? Куда я спешу?.. Зачем мы вообще?
«И Кармадон произнес те же слова»,— подумал Данилов.
— Боюсь, что я не отвечу на твои сомнения,— сказал Данилов.

Новый Маргарит смотрел на него молча, долго. Сказал:

— А жаль. Я бы послушал твои слова. Хотя бы потому, что ты иной, нежели мы, структуры.

— За кого все же ты меня принимаешь?

— Я знаю, за кого.

— Ты заблуждаешься,— сказал Данилов.

— Ну что же,— вздохнул Новый Маргарит,— может быть, и заблуждаюсь. Но и тогда не жалею о высказанном, мне и это облегчение. И ты как собеседник хорош. Сегодня ты меня слушал, а завтра исчезнешь.

«И опять он как Кармадон!» — расстроился Данилов.

—И я обо всем забуду,— сказал Новый Маргарит.— Сомнения не часто будут посещать меня. На бунты я не способен.

— А может быть, тут все от пришельцев?

— Что? — не понял Новый Маргарит.

— Я говорю,— сказал Данилов,— может, Девять Слоев основаны пришельцами? Прибыли сюда выходцы из какой-нибудь чрезвычайно развитой цивилизации, возможно и обиженные, и оставили тут рассаду. Все запрограммировали. И Большое Откровение... И видение якобы всего насквозь. И ощущение вечности.

— Ты что-нибудь знаешь? — с подозрением взглянул на Данилова Новый Маргарит.

— Нет,— сказал Данилов.— Я так, предполагаю.

— Это глупая теория. Но на нее нынче мода.

— А что же ее не опровергнуть?

— Она не нуждается в опровержении.

— Слушай,— не смог удержаться Данилов.— А откуда Большой Бык? Он при Девяти Слоях или они при нем?

— Большого Быка ты не трогай,— строго сказал Новый Маргарит.

— Почему?

— По кочану!

— Стало быть, тайна? Стало быть, Большое Откровение и вправду не вполне откровенно?

— Оставим это.— Новый Маргарит сидел хмурый.— Не делай себе хуже.

Они долго молчали. И дальше уже вели разговор легкий. «Что же он ждал от меня?» — думал Данилов. Ведь когда Новый Маргарит говорил о своих сомнениях, он явно смотрел на него с некоей надеждой, будто Данилов мог сказать или даже совершить нечто необыкновенное. Что-то его тяготило и будоражило. Но за кого же он принимал Данилова? Хорошо, если за человека. Но вряд ли только за человека. Данилов даже опечалился, что ничем не мог помочь Новому Маргариту.

Они еще поговорили. Данилов интересовался работой озадачивших его лабораторий и мастерских. Новый Маргарит рассказал ему, как холят нынче монструмов, особенно тех, что определились в монструмы из натуральных демонов. Данилов вспомнил о складе искусственных интеллектов и спросил, хороши ли они в употреб-

лении. Оказалось, что почти все искусственные интеллекты плесневеют сейчас на складах.

— Отчего так?

— Они слишком ретивые,— сказал Новый Маргарит,— чаще всего с перекосом и, помимо всего прочего, дешевые.

— Ну и что?

— Как что? — удивился Новый Маргарит.— Кто же теперь пользуется дешевыми вещами!

«Наверное, он уже успокоился на мой счет,— подумал Данилов.— И больше от меня ничего не ждет...»

— Ты знаешь,— спросил он,— зачем меня вызвали?

— Знаю,— кивнул Новый Маргарит.

— И как ты находишь мое положение?

— Почти безнадежным... Если, конечно, ты тот, за кого себя выдаешь.

При этом Новый Маргарит со значением взглянул на Данилова, будто ожидая от него важного признания.

— Я себя ни за кого не выдаю,— сердито сказал Данилов.

— Тем хуже для тебя,— сказал Новый Маргарит. Потом добавил: — Выбор тебе надо сделать, выбор.

— Какой выбор? — не понял Данилов.

— А такой... Самый решительный... Подумай.

— Хорошо,— пообещал Данилов.— Я подумаю. Рад был с тобой увидеться. Извини, если отвлек от дел.

Данилов встал. И Новый Маргарит встал. Он даже движение сделал к Данилову, будто хотел обнять лицейского приятеля. Однако не обнял, а лишь похлопал по плечу.

— Ну иди,— сказал Новый Маргарит.— Может, еще и увидимся. И усмири гордыню-то...

Данилов даже рот открыл от удивления.

— Какую гордыню-то? Гордыня всегда считалась в Девяти Слоях добродетелью. А я этой добродетели был лишен.

— Ты плохо знаешь себя... Ну, бывай.

— Бывай...— сказал Данилов.

И он покинул голубую сферу.

42

«Ведь он знал, что я хотел о чем-то просить,— думал Данилов, лежа на своей гостиничной кровати.— Но, может быть, и то, что он принял меня и говорил всерьез, с его стороны — доблесть? Кого он желает видеть во мне? Кого подозревает? Я пришел просителем, но вышло так, что как будто бы он был заинтересован в моем приходе. Ведь что-то он искал во мне, на что-то надеялся, полагал даже, что я в силах его поддержать, не слишком надеялся, но какую-то мысль держал в себе... И много желал сказать. Я ведь молчал, он говорил. Откровенным он до конца не был, да и как ему быть откровенным, коли он знает, зачем я здесь. Кармадон мне сказал: «Сгинешь!» Новый Маргарит признал мое по-

ложение безнадежным, и все-таки он чего-то ждал от меня. Я был куда менее откровенным, нежели он. А он, наверное, ждал от меня понимания его личности, ждал сочувствия, имел в этом нужду. Или хотел узнать, к чему я пришел, а он считает, что я к чему-то пришел, чтобы укрепиться в своих сомнениях или же, наоборот, покончить с ними. Но я был осторожен... А может быть, он просто был намерен показать самому себе, что он по-прежнему либерал и не боится бродить в беседах по тонкому льду даже и с ущербной личностью? Но что мне обижаться на него и в этом случае? Все же он принял меня и даже по плечу похлопал. О поединке не вспомнил. И даже что-то подсказал: выбор, что ли... Следовало бы и подумать...»

Шли дни. Данилова не тревожили. Он теперь обрадовался бы и Валентину Сергеевичу, если бы тот явился к нему с поручением доставить куда следует. Данилов и в буфете, встретив Валентина Сергеевича, унизился бы, спросил бы, не слышно ли, когда ему, Данилову, выйдет пора сгинуть. Но, видимо, слишком мелкой тварью был Валентин Сергеевич, чтобы кушать в мясных буфетах. А вот демон из аравийских пустынь Уграэль Данилову попадался часто. Он и за стол Данилова присаживался запросто, как старый знакомый, лишь спрашивал из вежливости: «Здесь не занято?», и Данилову ничего не оставалось, как ответить: «Не занято». При первой их встрече мысли о Кармадоне помешали Данилову как следует рассмотреть Уграэля. Теперь Уграэль ходил без капюшона и Данилову был хорошо виден. Замечательным оказалось лицо Уграэля. Все его частности — нос, глаза, уши, прочее — действительно существовали сами по себе и могли меняться местами. Уграэль с охотой говорил о Москве, но Данилов его бесед не поддерживал. Порой в разговорах с Уграэлем он даже дерзил, но Уграэль ничего не замечал.

Данилову вообще хотелось теперь дерзить. И не только дерзить, но и протестовать. Хотелось выкинуть нечто такое, что привело бы в замешательство, а то и в бешенство его исследователей. Тогда бы они зашевелились и потребовали бы наконец его к ответу. Но чем вызвать скандал, чем усугубить свою вину, что бы такое учинить, Данилов не знал. И вдруг ему пришло на ум: «А не слетать ли к отцу?» Посещать отца было ему запрещено. Данилов отца никогда и не посещал. Он его вообще не видел. Однако интересовался местами его пребывания. Когда-то тот жил на Юпитере, но потом его направили на пустынную планету в созвездии Тельца. Данилов подумал о полете к отцу вслух, нарочно, открывая исследователям свои намерения. А те себя никак не проявили. «Ну и пусть! Их дело!» — решил Данилов. Полет он не отменил.

Данилов прошел Четвертый Слой до самой Хрустальной Стены, все оглядывался. Нет, за ним не бежали и не ехали. Данилов открыл хрустальную дверцу, выбрался из Девяти Слоев. Раскинул руки и полетел.

Данилов мог и перенестись в созвездие Тельца или, говоря нынешним ученым языком, совершить гиперпутешествие. Местами

он и переносился. Но вблизи светил и планет позволял себе и пролетать, любовался видами и снова ощущал радость от собственного парения. Хорошо ему было. Данилов вспомнил, как Кеплер три с лишним века тому назад, пытаясь доказать гармонию вселенной и выведя закон: «Квадраты времени вращения планет вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний от «Солнца», посчитал, что существует музыкальная гармония планет, он даже выразил нотными знаками мелодии семи известных ему небесных тел. И сейчас Данилов на время согласился с Кеплером. Он и раньше порой соглашался с ним. Ради музыки. Теперь Данилов опустил себя в Кеплеров вариант мира, и небесные тела, мимо которых он пролетал, зазвучали.

Прежде Данилов любил слушать музыку планет Солнечной системы. Он хорошо знал мелодию каждой из них, знал их голоса, в особенности его волновал голос Марса. В нем не было рева воинственных труб, напротив, тот голос был нежно-голубой. Теперь Данилову попадались небесные тела, ему дотоле неизвестные, карты же звездного неба при нем не было. Не все мелодии ему нравились; правда, стараясь быть объективным, он говорил себе, что сразу и на лету он может что-то и не понять и надо эти мелодии послушать еще раз. Возможно, тогда он их примет и полюбит. Однако, вспомнил он, парение его во вселенной вряд ли могло повториться. Тут же мелодии планет и светил стали казаться Данилову печальными, а то и трагическими. Вселенная словно бы прощалась с ним. «Нет, глупость! — строго сказал себе Данилов.— Мелодии они меняют редко, только при катаклизмах. Не станут же они звучать иначе из-за какого-то пролетающего мимо них альтиста. Надо слушать их музыку такой, какая она есть, коли дарована возможность, а не придумывать ее!»

Ликующе проревела расплавленным голосом молодая звезда, унеслась куда-то. Точно ксилофонами прозвенела стая метеоритов, и ее утянуло. Многое слышал Данилов. Словно якорная цепь скрипела, сострадая самой себе, оранжевая планета. Напомнив Данилову ритм тарантеллы, вращалась планета поменьше. Были и земные звуки. Были и звуки, какие Данилов слышал впервые. В иных мелодиях или в простых музыкальных темах угадывались Даниловым бури, предчувствия катастроф и взрывов, тоска не осознающей себя материи. В иных была радость. Была любовь. Был разум. «Какие голоса! — думал Данилов.— Какие звуки!»

Он залетел в небольшой мир со звездой, похожей на Солнце, и с пятью живыми планетами. Решил: «А не остановиться ли здесь?» И остановился. Выбрал в вакууме место, показавшееся ему выгодным в акустическом отношении, тут и улегся. Позу принял приятную, даже беззаботную, руки положил под голову, закрыл глаза, слушал. Для него будто бы играл секстет. Естественно, не тот, в каком Данилов привык выступать в концертах. Земного в секстете не было. Однако что-то и было... Голос светила звучал ярче и сильнее других голосов, с чувством превосходства и даже власти над ними и все же не отделял себя от них. Все планеты вели свои ме-

лодии, но в каждой из них звучали (по-особенному) темы звезды, как бы рассыпанные или раздаренные ею, и передавали они (так показалось Данилову) отчасти даже гордое умонастроение шести небесных тел: «Мы одно! Мы одно во вселенной!» Данилов привыкал к здешней музыке и способам ее выражения, она все больше и больше нравилась ему. «Что это?» — удивился Данилов. Голос третьей от светила планеты («пульт номер четыре»), поначалу ничем не напоминавший земных звуков, вдруг изменился, и в нем, внутри него, как одно из составляющих, возникло звучание альта. Да, альта! Данилов ошибиться не мог. Теперь музыка еще сильнее трогала его... О, если б навеки так было...

Данилов как бы и очнулся. «Да, что это я тут разлегся! Они же меня сейчас хватятся!» Но что было пугаться! Ведь он именно и желал, чтобы его хватились. Мог бы здесь, слушая музыку, и ожидать, когда его хватятся и призовут. Однако нетерпение погнало его. «Туда, в созвездие Тельца»,— приказал себе Данилов.

Теперь он не полетел, а перенесся. С таким усердием, что чуть было не врезался в планету, где, по сведениям Данилова, обитал его отец. Данилов уже вывел себя из Кеплерова варианта мира и мелодию планеты не услышал. На первый взгляд она была не только беззвучная, но и безжизненная. Вся — в желтой пыли. И небо над Даниловым висело желтое, а местами — коричневое. Оглядевшись, а потом и поплутав по планете, Данилов обнаружил цепи невысоких гор, к сожалению, желто-коричневых. Ни кустика, ни лужицы не попалось на глаза Данилову. «Однако...» — покачал он головой. Не увидел он и ни единой хижины, ни единого шалаша.

Сведения об отце могли быть и ложными. Но если и не ложными? Как его искать? Где? И зачем? Зачем он бросился сюда сгоряча? Одно дело возмутить исследователей и вызвать скандал. Но тут-то что делать? Зачем он отцу? Зачем ему отец? Да и отец ли? Он его никогда не видел и не знает, никогда не ощущал его отцом, хотя потребность в нем в годы детства, конечно, имел. Что скажет он ему теперь? «Здравствуй, старик, я твой ребенок», так, что ли? «Фу-ты, глупость какая! — ругал себя Данилов.— Зачем я здесь!..» И все же он понимал, что сразу отсюда не исчезнет, а попытается увидать отца, хотя бы издали. Сначала это желание он объяснил себе простым любопытством. Потом посчитал, что нет, не простое любопытство, а нечто большее... Но что — большее, он и сам не знал.

«Как он живет в этой пыли и где? Как я найду его? Покричу: «Ау!» Смешно. И еще: если у меня есть потребность, пусть и смутная, увидеться с ним, то это вовсе не значит, что у него есть потребность в общении со мной. Что же я буду навязывать ему себя?»

Потом он подумал: а вдруг его отец долгие годы желал увидеть сына, но не имел возможности, так что же теперь лишать его этой возможности? Впрочем, поймет ли он, что перед ним его сын? Данилов летал над планетой, прикладывал к глазу подзорные трубы, включал устройства познания, какими был снабжен, но признаков жизни не обнаружил. «Да и нет здесь никого»,— решил Данилов.

Он устал. Присел на одну из скал, на камни.

И тут внизу, в предгорной равнине, возникло движение.

Будто вскипело нечто желтое (пыль? жидкость? месиво?), поднялось вверх столбом, буйное, свирепое, и полетело. И повсюду родились желтые завихрения, горы задрожали, будто бы вся планета должна была вот-вот стать пыльной бурей и унестись неизвестно куда. Но горы не раскрошились, планета не изменила направление полета. Лишь бешеные, плотные пылевые облака носились возле скал, на которые взобрался Данилов. «В здешней атмосфере какие могут быть ветры? — думал Данилов.— Стало быть, он. И видит во мне врага. Или ничтожного и случайного нарушителя его спокойствия... Или он сам существует лишь в виде пылевых облаков и ни в каком ином виде не может показаться мне?» Нет, это предположение Данилова оказалось ошибочным, очень скоро в одном из облаков проявилась фигура летящего старца, он был в белом свободном хитоне, яростно дул, вытянув губы, словно желая смести все, что было на его пути, его седые, прямые волосы неслись красиво и мощно, будто их и впрямь направляли воздушные струи.

Данилов встал. Он был взволнован. Он хотел что-то выкрикнуть старцу, но ни слова не смог прошептать. Старец заметил его, то есть он, наверное, и прежде видел Данилова, но теперь он повернул в его сторону. Подлетел к Данилову, резко застыл совсем рядом, Данилов готов был сейчас простонать: «Отец!» — и броситься к старцу, но тот, вцепившись в него взглядом, как бы не разрешал ему сделать ни движения, потом нервно вскинул руки, отшатываясь от Данилова или отгоняя его от себя, и взмыл вверх.

Данилов чуть было не полетел за ним, но старик ничем не показал ему, что желает этого, и Данилов удержался на скале. А старик уже унесся вдаль и стал песчинкой.

«Как он красив,— думал Данилов,— и как ужасен. Он нисколько не похож на меня... Он — из трагедии... А я откуда?.. Но глаза, какие глаза... Он понял, кто перед ним, я чувствую это, и он вобрал меня в себя... В одно мгновение... Однако потом он так странно смотрел...» Старик смотрел не то чтобы странно. Данилову его взгляд показался взглядом безумца.

[illegible]

лагая, что и одного жеста для посетителя хватит. Он был хорош и величествен в своем протяженном льющемся хитоне. Данилов же считал собственный костюм (куртка из свиной кожи и техасские штаны) сейчас неуместным, легкомысленным, стыдился его. Летели они долго, но словно бы на одном месте, все та же тоскливая желтая равнина была под ними. Наконец побежали печальные холмы. Старик приостановил полет, поднес руку к глазам, поглядел вдаль, видимо высматривая, все ли вокруг хорошо, не горит ли степь, нашу девушку не волк ли заел, и можно ли следовать дальше. Но дальше он не последовал, а кругами, кругами, как тяжелая птица, стал спускаться к холмам. Данилов увидел черную щель... Пещера... Стало быть, вот он, приют вольного поселенца... Влетели в пещеру. И при этом старик не обернулся.

К темноте Данилов привык сразу. Было в пещере два камня. Один побольше, плоский сверху, вроде стола, другой — поменьше, как бы табурет.

Щемящее и тонкое возникло в нем чувство сыновней вины. Будто он, богатый, юный и здоровый, посещал старика в сиротском доме. Захотелось сейчас же что-либо сделать для него. Но что? И как? «Бедный старик,— повторял про себя Данилов.— Бедный одинокий старик!»

Старик взмахнул руками-крыльями, белые жесткие кусты его бровей сошлись в напряжении, и Данилов тут же вместе с хозяином оказался в мраморном дворцовом зале, где хоть сотню гладиаторов своди в бою. Зал был с верхним светом, жаркое полуденное солнце било в широкие проемы, не знавшие стекол, взблескивала вода в мраморном бассейне, сверкала бронза и слоновая кость. Старец сидел в кресле с высокой спинкой и подлокотниками, как на троне, могучий, царственный. А кем Данилов стоял при нем? Слугой? Учеником? Наследником? Помещение было явно римским, времен побед и громкой славы, времен империи, публика собралась тут важная — все были в тогах, а кто и в панцирях. Ждали кого-то, верно императора. Явился и император. В лицо его Данилов не узнал (Цезарь? Август? и как мог бы узнать?), но посчитал, что, наверное, Цезарь. Да и хотелось Данилову, чтобы это был Цезарь. Началась подходящая к случаю церемония. Данилов желал разглядеть среди усевшихся на курульных креслах и в особенности на почетных бицеллиумах (сиденья — из кожи, а на них — подушки) Брута, но не угадал его. Все шло чинно, но при этом Данилов понимал, что главный здесь не Цезарь, хотя его и поздравляли с победой, а старец в белом хитоне. Старец взмахнул рукой, и римляне исчезли. («А Цицерон-то был среди них?» — спохватился Данилов.). Но уже был воздвигнут Версальский дворец, хорошо известный Данилову, и в чудной Зеркальной галерее Ардуэн-Мансара (направо, в окнах — главная аллея, бассейны с золотыми китайскими рыбками, водный партер, налево, в зеркалах,— гости и деревья парка, а наверху — красное, зеленое и голубое небо живописца Лебрена) на наборном паркете дамы с невиданными прическами и кавалеры в перьях — куклы Ватто — при свечах (их тысячи в

серебряных люстрах) и при тихих звуках галантного оркестра танцевали, радуя Данилова и движениями, и костюмами, и запахами. Среди танцоров был и Король Солнце. («Хороши у него манжеты!» — отметил Данилов.) Старец поманил Людовика сухим пальцем, тот извинился перед дамой и быстро, но и не забывая о том, что он король, подошел к старцу. Старик что-то шепнул ему, Людовик несколько удивился, однако поблагодарил старца и низко поклонился ему. Сразу же к Людовику подозвали молоденькую даму, Людовик завел с ней светский разговор, и по игре его глаз Данилов понял, что он чрезвычайно доволен подсказкой. (А от Зеркальной галереи до спальни Короля Солнце — два шага, Ардуэн-Мансар все должен был предусмотреть.) «Кем же она станет? — заинтересовался Данилов.— То есть кем же она была? Неужели это мадемуазель да Ла-Вальер?.. А ведь и вправду хорошенькая... Как я ее сразу не заметил...» И Данилов потянулся к девушке.

Но Зеркальная галерея исчезла, и Данилов ощутил себя вблизи бельгийской деревушки Ватерлоо. Было зябко, и техасские штаны не грели. Лишь к середине сражения, когда дела Веллингтона были уже худы, Данилов перестал мерзнуть. А вскоре он промок в водах при Трафальгаре. Нельсон много кричал и не вызвал симпатий Данилова. Потом Данилов побывал во многих примечательных срезах земной истории, видел немало занятных личностей. С некоторыми даже знакомился и беседовал. Об иных из них память на Земле была свежая. Дворцы, гробницы, египетские, индейские, куда Данилов попадал, подчиняясь воле и знаниям старца, поля сражений, лужайки любви были ему интересны. Личности же часто встречались довольно мерзкие, иным Данилов плюнул бы в лицо, коли не был бы гостем на желтой планете. Но не он выбирал знакомцев...

Показывал ли старец ему, Данилову, некое зрелище или самому старику были сейчас интересны эти переходы из эпохи в эпоху, все эти повторения былых сражений, балов, интриг, свидетельства поисков человеческого духа, Данилов с определенностью сказать не мог. Похоже, дело было тут не только в нем, Данилове. Возможно, что старик со своим своеобразным (назовем так) умом и забывал о госте. Порой он так увлекался, что вмешивался в те или иные события, преобразовывался, переодевался, бросался в толпу, ничем не объявляя себя, и многие события принимали вовсе не тот ход, какой был отражен в документах и учебниках. За час до сражения под Ватерлоо старец излечил Бонапарта от насморка, и Веллингтону пришлось бежать в сторону Гента, бросив разбитые полки и натянув грубую юбку шотландского волынщика. Бледные, неприкрытые ноги герцога Данилова разжалобили. Старцу, видимо, нравилось перемешивать эпохи и их возможности и добиваться при этом неожиданных для самого себя результатов. Ганнибала он посадил в танк Гудериана, и тот чуть было не отморозил уши. Вылеченного Бонапарта, прямо из Дрездена, где император возле дворцовых ворот смотрел на движение своих солдат (за спиной его, отметил Данилов, Хофкирхе, там Бах играл на органе Зильберма-

на), старец двинул в тренеры Елены Водорезовой по причине внезапного недомогания Станислава Жука. Гёте старец сделал веймарским герцогом, а Карл Август, бросив собак и женщин, пробовал сочинить «Фауста». Ивану Грозному в Грановитой палате на западной стене, прямо поверх фресок, был показан фильм Эйзенштейна, и Иван Васильевич плакал. В садах Варанаси являлись старцу сладкие восточные женщины, ласкали его, но были среди них и особи европейские, в мини и в макси, и девушки с пляжей Калифорнии.

Данилов смотрел на видения (а может быть, и на картины реальной жизни) внимательно, порой они захватывали его, он сам будто бы жил в них. И вдруг пределы старцева мира раздвинулись, явились к нему люди в обилии, наверное, от всех поколений и народов, а он сидел на своем троне, сделавшемся гигантским. Старец раскинул руки, обнимая весь свой мир и как бы заявляя: «Вот оно — все мое!»

«И если хочешь, будет — твое!» — услышал Данилов и вздрогнул. Нет, губы старца не шевелились. «Почудилось,— решил Данилов.— Да и бас должен быть у него, а прозвучал тенор...» Тут старец слетел с трона, глаза его оказались прямо против глаз Данилова, и Данилов, ошеломленный, испуганный, опять отметил, что на мгновение взгляд старца был цепкий, острый и мудрый. Но сразу же он стал безумным. Старец, как и у скалы, вскинул руки, отгоняя Данилова или отрешаясь от него, и горестно покачал головой.

Свет померк, снова Данилов стоял в пещере, она была пуста.

Данилов выбрался из пещеры. «Все? — думал он.— Он попрощался со мной?.. Но я-то с ним — нет».

Почему-то Данилов был в уверенности, что найдет старика возле скалы, где он явился ему. Нет, там старца не было. Данилов спустился в ущелье, там и увидел старика. Он лежал на камнях, лицом к небу. «Не разбился ли?» — забеспокоился Данилов. Совсем подойти к старику Данилов не решился. Тот дышал. Глаза его были закрыты. Из уголка рта текла слюна. Данилов сделал шаг к старику. Но произошло преобразование. Теперь перед Даниловым лежал смуглый обнаженный юноша. Тело его могло стать моделью для Праксителя. Юноша поднял веки. Глаза его были усталые и печальные. «Он поверженный!» — как открытие пришло к Данилову. Юноша поглядел на Данилова, и в его глазах Данилов увидел безумие. Юноша привстал, взглянул вверх, поднял руку, и небо стало лазурным. Горы ожили, зазеленели. Белые и розовые храмы возникли на них, зазвенели струи горных ручьев, существа золотого века Эллады окружили юношу. Он посмотрел на Данилова с неким вопросом, будто ожидая от него важных слов. Данилов молчал. Нимфы в медленном, темно-лиловом танце стали подходить к нему, дивная свирель Пана помогала им. Данилов молчал. Юноша задрожал и снова стал старцем. Белые и розовые храмы исчезли, пропали и нимфы, и сатиры, и звуки свирели, все вокруг было теперь в зарослях орхидей. Данилов молчал. Старец вновь подлетел к Данилову, снова посмотрел ему в глаза и снова как бы от-

шатнулся от него. Потом он своими безумными глазами показал куда-то в небо, ткнул в ту сторону перстом. Сгорбился и пошел прочь.

«Теперь все,— подумал Данилов.— А мы и слова друг другу не сказали... А может, и верно: истина — вне слов?»

43

Хрустальную дверь в Девять Слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов на него не поставили. Да и зачем капканы?

Данилов скинул куртку, улегся на кровати. Такой, стало быть, полет. И был ему, Данилову, предложен вариант жизненного устройства. Но понял старик отношение Данилова к его миру. И, поняв, указал сухим перстом... Куда указал? Данилов запросил атлас звездного неба, искал, где находился, потом выяснил, какие звезды можно было видеть с желтой планеты и именно из памятного ущелья. Похоже, старик показывал в сторону Солнечной системы. На Землю. Кабы от него что зависело...

О прошлом отца знания Данилова были смутные. В чем состояли вольные думы отца, отчего его называли вольтерьянцем, выяснить Данилову не удалось. Те времена были далекие. Наказать его в ту пору могли и за одну связь (коли посчитали ее серьезной) с земной женщиной. Но безумен ли он? Тут Данилов, вспоминая острый, мудрый на мгновения взгляд старика, придерживал мысли. Возможно, у него такая манера жить, а возможно... «А ведь он, наверное, доволен,— думал Данилов,— своим миром. Он не просто смотрит забавные картины, он творит. Это интересно, но не для меня. Ведь это не жизнь, а игра, это уже вторичное... что же играть в жизнь, если можно просто жить?..» Вот именно, если можно...

В своих мыслях Данилов почти не называл старика отцом. Так: «старик», «старец»... Не выходило: «отец». Данилов испытывал симпатию и сострадание к старику, но это было одно, а вот ощущение родства с ним у Данилова не возникло. Данилов бранил себя, называл очерствевшим. Однако распалить в себе сыновьих чувств Данилов не мог... Но не зря он побывал на желтой планете, не зря.

«А впрочем, почему бы и не принять игру старика?» — размечтался Данилов. Как хотелось бы [illegible]

нилов... Был он еще и голоден, а потому решил отправиться в буфет, там наесть и напить на столько, чтобы финансовые службы указали кому следует на недопустимость длительного содержания Данилова в Четвертом Слое Гостеприимства и призвали бы расточителей средств к ответу.

Данилов сел за стол, мысли его были уже заняты составлением программы обеда, желудочный сок выделялся в обилии, и тут появился Уграэль. «Опять этот...» — рассердился Данилов. По лицу Уграэля бродили уши, обтекая нос и глаза.

— Садитесь,— предложил Данилов.

— Что вы заказали? — спросил Уграэль.

— Кажется, тетерева на вертеле,— сказал Данилов.

— А я возьму устрицы...

«А что? — подумал, воодушевляясь, Данилов.— Тетерева — это неплохо. Это хорошо! Но только чтобы были с корочкой и чтобы их обложили маринованными грибами...» В это мгновение Данилова взяли за шиворот (ощущение было, что именно за шиворот, в горло снизу врезался воротник, как петля) и куда-то поволокли. Данилов барахтался в пространстве, задыхаясь и делая нелепые движения руками и ногами, освободиться ему не дали, а чем-то пристукнули, на секунду Данилов потерял сознание. Когда очнулся, понял, что сидит на жестком стуле и пристегнут ремнями к спинке. «Зачем же пристегивать-то!» — возмутился Данилов.

Перед ним были черные стены, и на них, там и тут, стали проступать огненные слова: «Время «Ч»!», «Время «Ч»!», «Время «Ч»!». Слова запрыгали, заплясали, принялись наскакивать на Данилова, увеличиваясь на мгновения и раскаляясь до белого пламени. Потом возник звук, устойчивый, ноющий, и когда он остыл и утих, остыли и пропали огненные слова. Данилов увидел, что стул с ним стоит в высоком зале, похожем на лицейскую аудиторию. Он же, Данилов, находится наверху, как бы на галерке.

Зал был пустой, но очень скоро там, где полагалось выситься кафедре, появилась маленькая фигурка. «Валентин Сергеевич!» — понял Данилов.

Валентин Сергеевич был в том самом пенсне, в каком Данилов увидел его в собрании домовых на Аргуновской улице. Но тогда он носил френч, а теперь надел старенькую толстовку, [illegible] и опять походил на тихого счетовода районной [illegible]. В руках Валентина Сергеевича было [illegible] [illegible] жалко курьера и подметальщика Валентина Сергеевича. «Эко дос-

тается труженику,— думал Данилов,— а может, и кормильцу беспечных чад. Чем его участь лучше моей?»

Тут произошел взрыв. Будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Данилова ремни удержали на стуле. Дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же и обнаружился. Но это был уже не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова. Личико счетовода превращалось во властное лицо, пенсне растаяло, толстовка стала необыкновенной важности сюртуком с золотой отделкой, бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел, это был теперь строгий и могущественный начальник Канцелярии от Того Света.

Глаза Данилова щипало. Опять, как и в собрании домовых на Аргуновской, превращение Валентина Сергеевича, видимо, вызвало выходы слезоточивого газа. Вот, значит, какой Валентин Сергеевич! Сам начальник канцелярии проявил интерес к личности Данилова и его заблуждениям. И как проявил. Месяцы находился в охоте за ним. Даже если не сам он побывал на Земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца, Валентина Сергеевича, не меняло дела. Стало быть, ему показалась занимательной жизнь останкинского альтиста, коли не соскучился, а проявлял прыть и суетился на Земле, воруя, между прочим, у Данилова и Альбани. Начальник канцелярии стал сейчас для Данилова интереснее. Наверное, он получал удовольствие, пребывая в шкуре мелкой твари, мизерного лица — старичка на побегушках и зная при этом, что придет мгновение — и он произведет нынешний взрыв, потеряет пенсне и веник и грозным взором взглянет на Данилова. Да не только на Данилова!

Валентин Сергеевич, а Данилов уже не мог называть начальника канцелярии иначе, все еще строго глядел на Данилова. А ведь и так уже произвел должное впечатление.

Посчитав, что хватит и следует начинать, Валентин Сергеевич будто бы нажал на кнопку, и для Данилова началось. Свет в зале стал электрически синим, лампой с таким светом в сороковые годы Данилова лечили от насморка, свет загустел, помрачнел, вызывал в Данилове тоску. Стул Данилова затрясло, подхватило, понесло вниз, а потом вправо и вверх, стул словно бы оказался частью отчаянного аттракциона, на какой в земном парке не допустили бы человека хворого и с нарушениями вестибулярного аппарата. Крутили все быстрее, Данилов вцепился в ремни, был рад им, еще мгновения назад казавшимся ему кандалами или тюремными цепями, теперь только ремни, верилось ему, и могли спасти его, удержать его. В синем свете что-то вспыхивало перед Даниловым, и эти вспышки освещали лица, тут же исчезающие. Чьи это лица, Данилов не успевал понять.

Было Данилову так противно, что и вправду хотелось исчезнуть вовсе. Все надоело.

Но вот стул стало потрясывать сильнее, будто булыжная мостовая оказалась на его пути или бревна, какие нынче, оторвавшись от плотов, бродят в водохранилищах, принялись бить по си-

денью и ножкам, однако скорость движения заметно снижалась, и свет был уже не таким густым и жутким. Лица, являвшиеся во вспышках, проносились мимо Данилова теперь не так стремительно, кое-кого Данилов признал. Пролетел в синий свет заместитель Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил, пролетели приближенные к Валентину Сергеевичу служащие Канцелярии от Того Света, пролетел сановник Канцелярии от Порядка, пронеслись два заслуженных ветерана с репейниками в петлицах, ученые господа, среди прочих и Новый Маргарит. Глаза у всех были суровые, готовые карать.

Движение стула замедлилось, но совсем не прекратилось. У Данилова осталось ощущение, что и судьи его на своих креслах (а может, диванах) также совершают некий полет. Он слышал раньше, что разборы судеб и провинностей особо опечаливших канцелярии демонов проводились способами самыми разными. И просто в темноте, одними голосами. И в помещениях, похожих на земные суды, с соблюдением процедур, предусмотренных кодексами и традициями подходящих к случаю стран. И как бы в начальственных кабинетах с криками и битьем кулаков по столу. И в исторических костюмах с явлением дыб, пыточных колес, раскаленных щипцов, гильотин, которые, впрочем, не применялись, а лишь создавали настроение. Данилову досталась карусель не карусель, но с чем-то и от карусели.

Вспышка осветила лицо Валентина Сергеевича, и он произнес:

— Решается судьба демона на договоре, земное прозвище — Данилов Владимир Алексеевич.

Новая вспышка выхватила из небытия заместителя Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил. Заместитель начальника канцелярии принялся произносить слова медленно, торжественно и с укором.

Он говорил долго, был дотошен и уместил проступки, сомнительные мысли, стиль поведения и претензии Данилова в семьдесят три пункта. При этом он сказал, что справедливости ради следует отметить, что растрат за Даниловым не замечено, напротив, представительские средства Данилов сберегал. Но это не меняет сути дела. Нарушены им многие пункты договора, подписав какой кровью из голубой вертикальной вены, Данилов и стал демоном на договоре. Причем нарушены и теперь, после вызова в Девять Слоев с объявлением времени «Ч». В частности, имелся в виду полет Данилова к отцу. Но эти нарушения для Данилова не страшны — они ничего не добавляют к сложившемуся представлению о его личности, а вызваны нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться, и тут его можно понять. И нарушения правил сами по себе не страшны, не для Данилова, конечно, а для Девяти Слоев, с этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым и теперь бы наказали по всей деловой строгости за дурь, коль был бы смысл. Но и не в нарушениях договора суть дела. Тогда в чем же она?

А в том, что, ради корысти или просто так, Данилов, если судить по его поступкам и умонастроениям, теперь более человек, нежели демон. Опять же, и такая личность могла бы оказаться полезной Девяти Слоям, быть на учете и пользоваться демоническими возможностями, но в Данилове или уже произошло нарушение надлежащих пропорций, или вот-вот произойдет. И еще. Коли бы Данилов изначально был человек плюс чуть-чуть демон, то и разговор бы шел иной. А то ведь начинал Данилов с демонов, пусть и не с полноценных, пусть и с незаконнорожденных, но с демонов. И вот теперь, особенно в последние годы, произошли большие перемены, они были подготовлены всем образом жизни Данилова на Земле и податливостью его натуры к людским влияниям. Объяснения последнему надо искать в свойствах, переданных ему с кровью матери, ярославской крестьянки. Да что перемены! Просто взрыв произошел в Данилове. Земное копилось, копилось в нем и взыграло. Кроме всего прочего, в последнее время Данилов, уверовав в то, что он большой музыкант, полагает и своей музыкой поставить себя вне Девяти Слоев и даже выше их.

— Музыка-то при чем? — не выдержал Данилов.

Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурен не только Данилов, но и дурен его пример. Данилов погряз в людской трясине, поддался людским соблазнам и исхищрениям, пошел по легкому пути, он служит людям...

— Где доказательства? — заявил Данилов и сам себе удивился: что он ерепенится?

— Доказательства будут,— услышал он спокойный голос Валентина Сергеевича.

Данилов сразу же и сник. Естественно, будут.

— Да,— продолжил заместитель Валентина Сергеевича,— суть истории Данилова — измена и бунт. Пример его падения, пример его измены идеалам, пусть и не декларируемой измены — Данилов, к счастью, не мыслитель и не теоретик,— пример этот дурен. И заразен. Поэтому Данилов не должен более пребывать демоном.

«Переведут в человека?» — подумал Данилов.

— Но и сделать его просто человеком,— продолжал заместитель,— было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Злодей должен быть наказан. А потому следует лишить Данилова сущности и память о нем вытоптать.

Заместитель Валентина Сергеевича погас, и на его месте никто не возник. «Стереть в порошок!» — раздался одинокий возглас. Но он не был поддержан. Стул с Даниловым плавал и вращался, а все молчали.

— Что же,— сказал Валентин Сергеевич,— перейдем к просмотру материалов о жизни Данилова. Мы могли бы и укоротить разбирательство, дело тут определенное, но если есть любопытство к материалам и доказательствам...

«Ужас какой! — сокрушаясь, думал Данилов.— Сейчас все покажут! Они небось видели меня и в туалете. И покажут теперь. Кончали бы скорее. Ведь ясно все! Ясно!»

Он считал свою судьбу решенной. И не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо. Да и не желал ничему сопротивляться.

— Но прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову. Нам известно о нем все. Но относительно одной вещи необходимо уточнение. Вы ответите нам?

— Спрашивайте,— обреченно сказал Данилов.

— Вначале послушайте,— предложил (и, видимо, всем) Валентин Сергеевич.

Звуки, какие раздались сразу же после слов Валентина Сергеевича, озадачили Данилова, однако показались ему знакомыми. «Где же я их слышал?» — думал Данилов. И в нем, почти сломленном и сдавшемся, объявилось вдруг предчувствие, что, если он поймет, что это за звуки, ему, возможно, выйдет облегчение. Звуки были нервные, порой растерянные, порой усталые, но иногда в них ощущалась и воля. Некоторые из них жили сами по себе, некоторые выстраивались в неожиданные ряды. Но между всеми этими звуками, и одинокими, самостоятельными, и образующими какие-то фразы, чаще всего скорые, рваные, несомненно, существовала связь. «Это музыка! — решил Данилов.— Музыка!» И дело было даже не в том, что многие звуки произносились земными музыкальными инструментами,— если бы их издавали и несмазанные тележные оси, или крылья ветряной мельницы, или шланги пожарных машин, или пыльные смерчи желтой планеты, то и тогда бы Данилов сказал, что тут музыка. Звуки подчинялись законам и открытиям земной музыки, ему известным. «И ведь я не в первый раз слышу их,— говорил себе Данилов,— не в первый! Это своеобразная музыка, но интересная музыка». Он не мог не отметить, даже и в теперешнем своем состоянии, что качество воспроизведения звука — изумительное. Впрочем, чему тут было удивляться... Внезапно Данилов услышал тему из финала «Рондо» Жанно де Лекюреля, движение трехголосого хора передавала виолончель, но тут же застенчиво вступила в разговор, будто успокаивая тихой надеждой, бамбуковая флейта сякухати, и Данилов чуть было не выскочил из стула, чуть было не оборвал ремни. Он все понял.

Это была его музыка! Его!

«Вот оно что! Вот оно что!» — думал Данилов.

[illegible]

И понял. В черном Колодце Ожидания. Именно там. Вот что они записали! Однако зачем прослушивают? Что Валентин Сергеевич желает уточнить? И тут Данилову пришло в голову: «Они запутались. Они не смогли понять, что услышали, что восприняли их чувствительные аппараты! И ничего они не поймут!» Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает, и все известно. И все же он позволял себе сейчас торжествовать, он позволял себе в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку.

«Вот сейчас там, в Колодце,— вспоминал Данилов,— явился Валентин Сергеевич с метлой и в валенках с галошами, вот сейчас он принялся сморкаться и шуршать чем-то...» Но не было слышно ни сморканий мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, а звучала свирель, и с совершенно необязательными интервалами ударяла палочка по белой коже большого барабана. Ушел Валентин Сергеевич, тот, колодезный, и свирель, чуть всхлипнув, проводила его.

Потом обрушивались на Данилова видения, возникали перед ним галактики и вселенные, толклись, преобразовываясь и давя друг друга сущности вещей и явлений, и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Все это вызывало музыку, выражавшую отклики Данилова.

Теперь он ее слушал!

Иногда на звуки — отражения его мыслей и чувств — находили мелодии, намеренно, как сопротивление тишине Колодца Ожидания, осуществленные в себе Даниловым,— его альт исполнял темы из симфонии Переслегина или же классический секстет играл «Пассакалью» Генделя. А то будто маятник стучал — Данилов вел про себя счет времени. Исследователи, не разобравшись, записали два слоя звуков, возникавших в Данилове, совместили их, в этих местах и качество записи было неважное, что-то дрожало и потрескивало. Но Данилову никакие наслоения, никакие посторонние шумы не мешали слушать главную музыку.

Данилов был ею удивлен. И был доволен ею. Правда, некоторые сочетания звуков вызывали в нем протест, но Данилов вскоре склонился к тому, что протест неоснователен, а и такие сочетания возможны, просто они и для него свежи. Но он-то хорош! Сам же их создал и им удивляется! Сам же причудливым образом — но вполне сознательно и с удовольствием — смешивал звуки, ту же валторну сводил с ситарами, выхватывал дальние обертоны, и прочее, и прочее!.. «Нет, что-то есть,— думал Данилов,— есть! Эту музыку исполнить бы в другом месте!..» Музыка звучала и трагическая, даже паузы — и паузы были частые и долгие — передавали напряжение и ужас, но в ней была и энергия, и вера, и случались мгновения покоя, надежды. Данилов был свободен в выражениях и звуковых средствах, и даже инструменты, каким он не всегда доверял раньше,— тенор-саксофон, электропианино, губная гармоника, синтезатор — оказались в Колодце уместными...

Танцевальную мелодию начала скрипка, и тут механический щелчок, похожий на щелчок тумблера, остановил ее.

— Все,— сказал Валентин Сергеевич. И обратился к Данилову: — Что это?

— Как что? — удивился Данилов.— Что именно?

— То, что мы сейчас вынуждены были слушать.

— Кто же вас вынуждал?

— Ведите себя серьезнее. Что это?

— Это музыка...

— Что?

— Это музыка,— твердо и даже с некоторым высокомерием сказал Данилов.

— Какая же это музыка? — в свою очередь удивился Валентин Сергеевич.

— Это музыка...— тихо сказал Данилов.

— Хорошо,— произнес Валентин Сергеевич.— Предположим, это музыка. В вашем понимании. Но отчего она звучит в вас? И так, словно в вас — сто инструментов?

— Это и есть уточнение?

— Отвечайте на вопрос,— строго сказал Валентин Сергеевич.

— Я же музыкант! — сказал Данилов.— Я — одержимый. Я и сам страдаю от этого. Но музыка все время живет во мне. Деться от нее я никуда не могу. Это мучительно. Что же касается множества инструментов и голосов, то что поделаешь, я — способный.

— Но это странная музыка,— сказал Валентин Сергеевич.

— Вся новая музыка странная,— сказал Данилов.— Потом она становится тривиальной. Эта музыка — новая. Она, простите, моя. В последние годы я увлекся сочинительством. Это как болезнь. Возможно, я музыкальный графоман, но сдержать себя я не могу. Где только и когда я не сочиняю! Порой с кем-нибудь разговариваю или делаю что-то, а сам сочиняю. Вот и теперь музыка рождается во мне. И я не волен это прекратить.

«Наверняка и сейчас пишут мои мысли»,— думал Данилов.

— Вы помните, при каких обстоятельствах вы сочинили и исполнили только что прослушанную... музыку?

— Да,— сказал Данилов.— В Колодце Ожидания.

— Это звуковая реакция на увиденное и пережитое там?

— Не совсем,— сказал Данилов.— Нет, это скорее самостоятельная музыка. Конечно, я многое видел тогда и о многом думал. О чем — вам известно. Но я и сочинял одновременно. Такая у меня натура.

— Он и теперь сочиняет! Но только не музыку.

Вскричал, как Данилов понял по звуку, тот самый демон, что поддержал Валентина Сергеевича.

— Он сочиняет, но не музыку! И слышали мы не музыку! Я сам играл на чембало и на клавикордах. Таких звуков в музыке нет. И не должно быть.

— Я имею в виду настоящую музыку,— сказал Данилов.— Ее звуковые ресурсы неограниченны. Я стараюсь осваивать эти ресурсы.

— Все, что звучало, бред, не музыка! Возьмите хоть это мес-

то,— и демон с репейником в петлице включил запись особо возмутившего его места.

Данилов сидел чуть ли не обиженный. Все, видите ли, бред! Но что они поняли? Ведь в его музыке (Данилов после прослушивания иначе не думал) были эпизоды и совсем простые, с хорошо развитыми мелодиями, и даже игривые мотивы, и совершенно ясные фразы в четыре и в восемь тактов, и танцевальные темы, где же сумбур-то! Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель чембало, к ним не относилось.

— Что тут сомнительного или непривычного? — сказал Данилов с горячностью.— В земной музыке такого рода сочинения известны с начала века. Это не мое изобретение. Моя лишь тема. Я использовал принцип двенадцатитоновой техники — равноправие исходного ряда, его обращения, противодвижения и обращения противодвижения. Есть такая латинская формула: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Выстрой ее по латыни в пять строк и читай как бустродефон, то есть ход быка по полю — слева направо, справа налево и так далее, и смысл будет равноправный... Вот и мой бык ходит в этом отрывке по полю с плугом...

— Хватит,— оборвал его Валентин Сергеевич.— В дальнейших разговорах о музыке нужды нет.

— Но как же,— возмутился Данилов,— мне приписывают музыкальную несостоятельность, а я профессионал, и я не могу...

— Хватит,— грубо сказал Валентин Сергеевич.— Все.

Он замолчал. А Данилов чувствовал, что Валентин Сергеевич хоть и грозен сейчас, но находится в некоторой растерянности. Пауза затягивалась. Валентин Сергеевич либо ждал новых материалов или сообщений, либо проводил с приближенными особами совещание. «Не поняли они ничего,— думал Данилов.— И уточнение им не помогло!.. Пожалуй, этот двенадцатитоновый отрывок слишком математичен и, наверное, скучен, но только невежа может вычесть его из музыки. А невежам спускать нельзя...»

— Итак,— сказал Валентин Сергеевич,— прослушав эти звуки, мы убедились, что и они свидетельствуют об одном. В Колодце Ожидания Данилову были представлены картины и действия, какие должны были и у демона, и у человека вызвать определенные реакции. Причем они требовали откликов как чисто бытового свойства, так и откликов, связанных с сутью мироздания. И опять, и в мыслях, и в толчках крови, и в движениях биотоков, и в так называемой музыке, Данилов в Колодце Ожидания проявил себя человеком. Явления, дорогие демонам, вызывали в нем дрожь, а то и протест.

— При чем тут моя музыка! — не выдержал Данилов.— Вы ее разберите всерьез. Где в ней дрожь? Где протест?

Он сам удивлялся своей дерзости, своему непослушанию. После того, как он услышал музыку и опять признал себя Музыкантом, в нем и вскипела дерзость. Он чувствовал себя со всем на свете равным. Что же ему робеть Валентина Сергеевича! Он понимал, что сейчас все разберут с математическими выкладками и анали-

зом нотных знаков, укажут, где дрожь и где протест, но молчать не мог.

— Разговор о музыке закончен,— сказал Валентин Сергеевич.— Впрочем, эпизод с Колодцем Ожидания — так, мелочь, последняя проверка, можно было бы и не проводить ее. Перейдем к другим доказательствам. Начнем просмотр.

Движение стула Данилова было остановлено, и он стал словно бы независимым зрителем. Сначала, значит, слушателем, теперь зрителем. Но если в звуках он был уверен, то сейчас следовало ждать конфуза, картины с его участием могли пойти и самые безобразные. Что же, пусть смотрят, коли обязанности у них такие. Пусть! Так говорил себе Данилов, но опять сидел скисший, ждал позора.

Стена напротив Данилова тем временем побелела, что-то щелкнуло, звякнуло — и пошли живые картины. И опять Данилов не мог не отметить совершенства воспроизведения записей. И изобразительного, и звукового, и обонятельного ряда. И всякая пылинка была видна и заметна. И всякое шуршание доносилось. И всякий запах ударял в нос. Скажем, когда показывали, как Данилов посещал Стишковскую с намерением поглядеть на ее домашних зверей, запах притихшего попугая явственно отличался от запаха саянского бурундука. Данилов видел реальную жизнь во всей ее объемности и вещности, он, если бы не ремни, мог бы, кажется, шагнуть в эту жизнь и стать собственным двойником. Но, впрочем, зачем?..

Показ сопровождался комментариями Валентина Сергеевича и его заместителя. Коли была нужда, показ прерывался, и тогда спрашивали участники разбирательства, а Валентин Сергеевич и заместитель разъясняли, тыкая в застывшую картину длинными указками. То и дело привлекали к ответу и Данилова. Тот выявлял себя спорщиком, с мнением Валентина Сергеевича он часто не соглашался. Поначалу ему напоминали о мелочах. Вот он из останкинских небес, прежде чем отправиться в Анды на раздумья, уловив сигнал, бросился вниз и угостил стаканом водки учителя географии, у которого оперировали отца.

— Жест чисто человеческий,— комментировал Валентин Сергеевич,— добросердечие.

— Отчего же! — сразу же взбрыкивал Данилов.— Вы будто бы забываете, что алкоголь зло. Он разрушает моральное и физическое здоровье человека. Используя повод, я в понятных на Земле формах хоть немного, но отравил учителя географии. В чем же я тут провинился?

Подобным же образом Данилов поставил себе в заслугу поджог спального корпуса в доме отдыха «Планерское». Случай с домовым Георгием Николаевичем, которого Данилов заразил вирусным гриппом, он истолковал как попытку с помощью чихающего Георгия Николаевича вызвать хворь во всем его доме. «А что это?! Что это?!» — вскричал неуравновешенный демон с репейником в петлице. А было показано, как Данилов вел полуслепую

старушку через улицу возле метро «Щербаковская» (именно этого случая Данилов не помнил, скольких старушек он переводил через улицы, и теперь подумал: «Неужели они опустились до такого крохоборства?»). «Это я старушку веду»,— сказал Данилов. «Какая польза нам от этой старушки! — завопил демон с репейником.— Как вы от старушки-то отвертитесь?» «Не вижу в ваших криках и показе этого случая никакой логики,— сказал Данилов.— Если б я не исполнял на Земле простейших людских правил, кто бы поверил мне?»

Последние слова, похоже, произвели некое впечатление на Валентина Сергеевича. Он даже добавил: «Да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шее у молодых». Позже подобных эпизодов не показывали. Ответственных за отбор материала, видимо, ждал нагоняй. Что же эдак придираться к демону, которому по штатному расписанию следовало проявлять себя человеком?

Затем зрители наблюдали многие сцены московской жизни Данилова (в частности, и то, как он выбирал австралийское белье для Клавдии, и как стоял в очереди к хлопобудам, потом струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королева и пахло останкинским пивом и еще многим: перегарами, копченой красноперкой, аптечными напитками, туалетом). Опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок. С особым интересом, а возможно с сопереживанием, были восприняты эпизоды любовных увлечений Данилова, порой слышались и одобрительные реплики. Увлечения были давние, еще до встреч с Клавдией Петровной, но и их просматривали. С дрожью ждал Данилов появления Наташи. Но ни Наташу, ни Кармадона пока не демонстрировали. Может, и впрямь не намерены были упоминать Кармадона и всего связанного с ним. Или держали его на крайний случай. Оставалось сидеть и терпеть.

И хотя воссоздавалась реальная жизнь, Данилов, привыкший к условностям искусства, и теперь будто бы смотрел то ли фильм, то ли спектакль, то ли еще какое синтетическое зрелище. С удивлением он наблюдал своих знакомых как актеров. И себе, естественно, удивлялся. Отчасти был расстроен. Он имел иное представление о собственной внешности и о манерах, нежели то, что складывалось у него теперь. «Рожа-то какая отвратительная! — думал Данилов.— И осанка!»

Его обвиняли в том, что он, будучи в демоническом состоянии и пользуясь неземными средствами, не позволил утонуть четырем судам в Индийском и Тихом океанах. («Это где же четвертое-то?» — притворно удивился Данилов. Ему назвали место: на подходе к острову Сокотра, в десяти милях от порта Хакари, сразу же были обнародованы и кадры неожиданного спасения сухогруза.) Обвинили Данилова и в помощи в африканских джунглях неким воинам, жаждущим свободы и справедливости (по их понятиям), на которых напали вооруженные до зубов наемные солдаты. («Это нехорошие люди!» — вскричал Данилов. Но было не-

понятно, кого именно он назвал нехорошими людьми и какой смысл вкладывал в это определение. Помощь он оказал тогда случайно. Летел куда-то над джунглями и учуял внизу неприятные ему обстоятельства.) В вину Данилову ставили его чрезвычайно бережное отношение к окружающей среде, памятникам архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией — не возникло никаких сдвигов земной коры, ничего не было сожжено или разрушено (Данилов сразу с некоторым даже возмущением заявил, что дело тут личное, интимное, мало ли о чем он в те мгновения думал, главное для него — искренность отношений, а не какая-то там окружающая среда!). Ему сказали: а когда в Исландии, то есть вовсе не на его участке и вовсе не его усилиями, возникло извержение вулкана, то почему он, Данилов, направил поток лавы мимо рыбацкого поселка? («Случайно пролетал,— пробормотал Данилов,— была температура, в театре все болели гриппом, ошибся... а может, с перепоя...») И другие подобного рода случаи числились за Даниловым. И не они одни. Данилов и еще немало напроказничал (это слово Валентин Сергеевич, видимо, произнес, не подумав). При стараниях Данилова поправились люди, какие должны были погибнуть от болезней или стать калеками. После премьеры «Мертвых душ» в Большом театре Данилов устроил фейерверк в Сокольниках. Выказывая себя якобы объективным болельщиком, не помог «Спартаку» остаться в высшей лиге. («Как, а он разве вылетел?» — искренне удивился Данилов. Тут в разбирательстве произошла заминка. Выявилась временная путаница. И «Мертвые души», и «Спартак» должны были состояться лишь через несколько лет, и Данилову приписали будущие прегрешения.) Еще: услышав о предполагаемом строительстве в Хохловском переулке кооперативного гаража, Данилов сделал все, чтобы проект этого «страшилища» (по его мнению) хода не имел. Когда не уродился лук, Данилов искусными мерами, сам, естественно, оставаясь в стороне, склонил жителей Ростова Великого к разведению лука, в том числе и дунганских сортов, и Крестовский рынок был завален луком. Будучи на отдыхе на Валдае, Данилов подсыпал в патронташи охотников холостые патроны. В своих разговорах, особенно с детьми, Данилов поддерживал неприязненное отношение собеседников к профессору Деревенькину, справедливо разрушавшему веру в пришельцев. Данилов отучил способного попугая Стишковской ругаться матерными словами. И прочее. И прочее.

Данилов всякой мелочи пытался дать разумное объяснение. Старания с луком он, например, истолковал как чисто эгоистический порыв, у него не хватало времени выстаивать очереди в овощных магазинах, вот он и суетился с луком. Кораблям он якобы облегчал участь в Тихом и Индийском океанах, чтобы сберечь их для Бермудского треугольника. Матерные слова попугай Стишковской произносил не в той тональности, оттого и был наказан.

— А что касается Деревенькина,— говорил Данилов,— то мне

не спускали новой методической разработки относительно пришельцев...

— Все,— сказал Валентин Сергеевич.

— Как все? — не понял Данилов.

— Все. Хватит. Просмотр доказательств закончен. За нами последнее слово.

— Но как же...— не мог остановиться Данилов.

И тут до него дошло. Все. Сейчас объявят приговор. А Кармадона не вспомнили! И потому Наташу не упомянули! Что же ему дальше дразнить судей и лезть на рожон. Ведь возьмут и упомянут. Данилов замолчал.

— Последнее слово,— объявил Валентин Сергеевич.— Материалы дела вы видели. В своих объяснениях Данилов был порой изобретателен и энергичен, слушать его было занятно. Но его слова — одно, а то, что мы знаем о нем,— другое. Я сообщу вам данные специальных исследований.— Валентин Сергеевич принялся называть цифры и нотные знаки, размеры кривых и постоянных, отклонения от фиолетовой горизонтали, степени брутальных импульсов, показания приборов, измеряющих чешуекрылость, инфернальный гипердриблинг и прочее.— Все свидетельствует о том, что теперешние свойства ощущений и намерений Данилова в самых разных критических моментах были человеческие. И музыка его к нам отношения не имеет. Итак, я поддерживаю формулу наказания: демона на договоре Данилова лишить сущности и память о нем вытоптать.

«А сами-то у меня Альбани украли!» — обиженно и жалобно подумал Данилов. Но тут же осадил себя. Это для него кража Альбани была делом непорядочным, но не для них. Да и что теперь вспоминать про Альбани, коли формула выговорена, а с исполнением ее не задержатся. Был ли Данилов, не было ли его... Все. Кончено.

— Настало время выслушать ваши мнения,— объявил Валентин Сергеевич.

Раздалось:

— Лишить!

— Лишить!

— Вытоптать!

[illegible]

— [illegible] ство: лишить.

— Следует испросить утверждение,— услышал Данилов чей-то незнакомый баритон.

— Я помню,— сердито и чуть ли не обиженно произнес Валентин Сергеевич.

Теперь прямо перед собой и внизу Данилов увидел Валентина Сергеевича. Именно там он в начале разбирательства в облике застенчивого счетовода убирал мусор. Валентин Сергеевич ступал осторожно, будто чего-то опасался. И действительно, перед ним разверзлось. Возникла то ли трещина, то ли расщелина. Из нее шел гул. «Туда меня и столкнут»,— понял Данилов.

— Демону на договоре Данилову,— произнес Валентин Сергеевич, в голосе его чувствовалось волнение,— определено: лишить сущности и память о нем затоптать.

Он замолчал. «Столкнут, испепелят — и теперь же...» — думал Данилов. Но тут он услышал тихий, хриплый голос:

— Повременить.

Расщелина пропала. Валентин Сергеевич стоял в тишине озадаченный. Наконец он поднял голову и сказал:

— Объявляется перерыв.

Все куда-то двинулись, Данилов это чувствовал. А он не смог бы подняться с места, даже если бы исчезли ремни.

Однако стул его взлетел и оказался в помещении, устланном коврами восточной работы. Помещение деревянным барьером с балясинами было поделено на две неравные части. В большей части зала теперь прогуливались и сидели на мягких диванах судьи. Перед ними разъезжали низкие подсвеченные столики с напитками, лакомствами и табачными трубками. Лежали на них и целебные травы. В судьях, видимо, предполагалось нервное утомление или головная боль. А возможно, и истощение вредности. Стул Данилова стоял за барьером.

Данилов все еще видел перед собой расщелину и слышал гул из нее. Мгновения назад там, в судебном зале, он сидел сам не свой, что ему тогда была пуля, или удар ножа, или жестокая давильня жерновов, все бы он принял и сгинул бы в ничто. Но теперь он остывал, страх приходил к нему: «Вот как могло кончиться...» Что — могло! Надолго ли — повременить? Может, и на полчаса, чтобы дать судьям отдохнуть на диванах и промочить глотки... Данилов сейчас не стал бы вымаливать инструмент для последней музыки — у него дрожали руки. «А кто произнес — «повременить»?»... Данилов пытался вспомнить, у кого положено испрашивать утверждение, но не мог.

— Данилов, подойдите, пожалуйста,— услышал он.

У барьера стоял демон средних лет в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке с галстуком. Данилов показал на ремни.

— Откиньте их,— сказал демон.

Ремни упали. Данилов встал, подошел к барьеру.

— Мне показался интересным отрывок из вашей музыки. Тот, что у нашего ветерана с репейником вызвал сомнение.

— У него все вызвало сомнение,— сказал Данилов.

— Да,— кивнул собеседник.— Он глуп. Так вот, тот отрывок. Вы вспомнили латинскую формулу: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Это ведь приблизительный перевод.

— Да. К тому же я передал лишь смысл...

— Меня заинтересовал магический квадрат, какой здесь возникает. Напомните мне его текст.

— У вас есть на чем записать? — спросил Данилов.

Демон пошарил по карманам, покачал головой:

— Ну вот, если только на манжете.

Он вручил Данилову лучевой карандаш, а потом протянул левую руку, вытрясывая манжет из-под рукава. Данилов писал старательно, однако дрожание пальцев не прошло, и линии дергались.

На манжете вышло:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

— Смотрите,— сказал Данилов.— Теперь читайте снизу и наоборот. А теперь ходом быка с плугом. Справа налево... А потом — сверху вниз, вверх, вниз... И так далее... Видите?

— Да. Очень занятно.

— Неужели этот квадрат здесь неизвестен?

— Наверное, был известен. Но о нем забыли.

— Музыка же строилась так..— начал Данилов.

— Я понял,— сказал собеседник.

Он смотрел на свой манжет, а Данилов наблюдал за ним и вспоминал, звучал ли его голос во время разбирательства. И вспомнил: «Следует испросить утверждение...» Да, тот самый спокойный баритон. «И ведь не полагалось ему по правилам,— подумал Данилов,— напоминать о чем-либо Валентину Сергеевичу. А он напомнил. Как бы вынужденно. Будто Валентин Сергеевич и не собирался ничего выслушивать ни у какой расщелины».

— Спасибо,— сказал демон.— Извините, я вам не представился. Меня зовут Малибан. И еще. Эти хлопобуды... или будохлопы собираются в Настасьинском переулке?

— Да, в Настасьинском... А что?

— Так,— сказал Малибан. И добавил, скорее шепотом: — Мне думается, вы напрасно не внесли в Настасьинском переулке вступительный взнос...

Малибан отошел к мягким диванам.

Данилов в растерянности постоял у барьера, затем не спеша, тоже как бы прогуливаясь, отошел к стулу. Сел. Совсем недавно, в начале перерыва, он чувствовал себя обессиленным рабом, свалившимся на смоченный кровью песок римской арены, меч его был сломан, а в проходе за решеткой ревели оголодавшие львы. Демоны по ту сторону барьера тогда представлялись ему зрителями из лож Колизея, какие могли дать знак и впустить львов. Теперь,

после беседы с Малибаном, Данилов ожил. Какие там рабы и какие ложи! А напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Данилова. Опять он знал, что он Музыкант, и потому признавал себя равным каждому.

Новый Маргарит, попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилову основательными демонами, оставил их, подошел к барьеру. Он был оживленный и светски-легкий. Улыбался. Данилов не удивился бы, если б Новый Маргарит принес и ему бокал с напитком. Однако не принес. Новый Маргарит как будто бы явился из восемнадцатого века, на нем была черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудреный парик. Данилов встал, подошел к Новому Маргариту.

— Ну как? — спросил Новый Маргарит.

— Что как?

— Ну так.

— Ничего,— сказал Данилов.

— Ты хорошо защищаешься.

— Тебе не повредит разговор со мной?

— Если всего опасаться... Потом, твои проступки и падения — они твои, а не мои.

— А надолго — повременить-то?

— Я не знаю... Хотя и догадываюсь,— Новый Маргарит улыбнулся, в его глазах было лукавство, был намек, мол, мне понятен твой секрет, но коли ты о нем молчишь, так и молчи.— А ты ловок. Все думали — конец. И вдруг — на тебе!

— А кто это произнес — «повременить»?

— Ты всерьез или шутишь?

— Я шучу,— быстро сказал Данилов.— А ты тут кто? Эксперт, исследователь, знаток права?

— Всего понемногу.

— И знаток музыки?

— В известной степени... Я развил в себе многие способности. И даже те, каких у меня не было. Но ты в музыке, естественно, сильнее меня. И не только меня,— опять в глазах Нового Маргарита был намек.

— Ты тепло одет.

— Функции мои здесь таковы, что мантия и парик мне положены. Маскарад, конечно. Но иногда приятно перерядиться. Эдак поиграть...

— Ты был вынужден просматривать мою жизнь? Велика радость!

— Ну и что? — Новый Маргарит говорил теперь тише.— Как вел себя, так и веди. Из роли не выходи.

— Из какой роли?

— Из такой... И еще. К тебе подходил Малибан. Пойми, в чем был его интерес. И в чем твоя выгода.

— Когда обсуждали приговор, ты промолчал?

— Нет. Я сказал: «Лишить!»

— Что же ты теперь даешь мне советы?

— Во всяком случае не из-за воспоминаний юности.

Ударили по рельсу. Вряд ли по рельсу. Но звук напомнил Данилову рельс. Данилов не успел отойти от барьера, не сделал он и ни единого движения, а ремни уже прижали его к спинке стула. И опять Данилов оказался в судебном зале. Но зал преобразился. На лицейскую аудиторию он уже не походил, а имел сцену, оркестровую яму, небольшую, какие устраивали в драматических театрах в прошлом веке, был здесь и партер, там стояли светлые кресла, обтянутые розовым шелком. В зале был полумрак, но привычный, земной. Электрический синий свет, нервировавший Данилова, иссяк.

Стул с Даниловым воздвигся на сцене в том месте, где полагалось быть суфлерской будке. Вращений, полетов и карусели как будто бы пока не ожидалось. А внизу, в партере, сидели участники разбирательства. Словно художественный совет. Или приемная комиссия. О чем-то перешептывались.

«Кончилось повременение,— думал Данилов.— Но зачем подходил ко мне Новый Маргарит? Из желания проявить себя либералом и независимым? Вот, мол, и это могу. Тем более что сказал: «Лишить!» Но до него был Малибан, и его интересовал Настасьинский переулок. Может, на самом деле, это «повременить» что-то изменило? Неужели Большой Бык? Был в глазах Нового Маргарита какой-то намек... И мне он советовал не выходить из роли...» Из какой роли, Данилов знал. Он ее себе не придумывал. Все вышло само собой. И для Данилова неожиданно.

— Решение судьбы демона на договоре Данилова продолжается,— объявил Валентин Сергеевич.

— Есть ли что сообщить самому Данилову? — сказал заместитель Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил.— Есть ли у него раскаяние?

— Ни с какими раскаяниями я выступать не буду,— резко сказал Данилов.— Не в чем мне каяться.

— Ой ли? — спросил Новый Маргарит.

— Не в чем...— сказал Данилов менее решительно.

— Вы очень легкомысленный, Данилов,— заметил заместитель.

— Вот-вот, легкомысленный! [illegible]

[illegible]

дивидуумом, который стал поддаваться людским соблазнам, стал жить, как люди, не по каким-либо серьезным умственным или тем более — программным соображениям, а по легкомыслию, по душевному фанфаронству!

— Нам радоваться, что ли, что по легкомыслию? — сказал заместитель по Соблюдению Правил.— Какой нам на Земле от Данилова прок? Если Данилов и причинял вред, то людям, кому, по нашим понятиям, требовалась бы от него поддержка. А польза? Вот справка, в ней все анализы занятий Данилова. Это вполне квалифицированная оценка его полезности.

Копии справки в виде брошюр были розданы участникам разбирательства, зашелестели страницы. Брошюра возникла и перед глазами Данилова, листочки ее поворачивались сами, на весу, давая Данилову возможность познакомиться с документом.

— Много здесь истолковано неверно,— сказал Данилов.— Искажены показатели. Надо создать комиссию.

Валентин Сергеевич только руками развел.

— И опять здесь возникла старушка,— сказал Данилов,— которую я переводил через улицу. Долго меня будут преследовать этой старушкой?

Держал бы он копию справки в руках, он, наверное, сейчас в сердцах швырнул бы ее на пол.

— В комиссиях нет необходимости,— сказал Валентин Сергеевич.— Их было достаточно. Что же касается комедии, какую ломает Данилов, то она не делает чести его уму.

— Да какой у него ум! — вступил Новый Маргарит.— Он всегда был вертопрахом. И в детстве, и в лицейские годы. И я еще раз хочу подчеркнуть, что то, что с ним произошло, это не бунт и не измена, а просто легкомыслие и безответственность.

— Это меняет дело? — спросил Валентин Сергеевич.

— Меняет,— сказал Новый Маргарит.

— Вы были за: «Лишить!»

— Да. Был! — сказал Новый Маргарит.— Теперь считаю целесообразным принять иное решение. Данилова надо наказать, но отказываться от него не следует.

— Но зачем нам Данилов? — возмутился заместитель.

— Разрешите мне,— встал Малибан.— Раньше я не знал Да- [illegible]

практикам? — спросил Валентин Сергеевич.— И потом, видите ли вы поле деятельности, на котором произрастет ваше «вдруг»?

— Вижу, — сказал Малибан.— Вот оно.

Между Даниловым и участниками разбирательства прямо над оркестровой ямой возникло видение квартиры Ростовцева в Настасьинском переулке. В коридоре толклись прилично одетые люди, явившиеся отметиться в очереди у хлопобудов. Малибан рассказал о хлопобудах, представил наиболее замечательных из них, сообщил об отношении хлопобудов к Данилову, о двух звонках пегого секретаря.

— Данилов по легкости натуры,— сказал Малибан,— мог и не понять всей привлекательности этой очереди. Но мы-то не можем допустить подобного легкомыслия.— Он сел.

— Тут что-то есть! — заявил Новый Маргарит.— Есть!

— Да,— сказал Валентин Сергеевич.— Здесь направление действительно перспективное.

Все сразу зашумели, одобряли Валентина Сергеевича. Было похоже, что участники разбирательства стремились именно к такому повороту разговора и теперь, когда поворот произошел, испытывали облегчение.

— Однако сам-то Данилов? — спросил заместитель.— Как он относится ко всему этому?

— Что ж,— сказал Данилов,— если секретарь хлопобудов позвонит мне, я соглашусь с ним встретиться.

— На мой взгляд,— сказал Малибан,— продолжать разговор нет смысла. Деловые вопросы следует обсудить с Даниловым позже.

«Неужели все? — не мог поверить Данилов.— Неужели «повременить» произнес Большой Бык?»

— Теперь меры,— сказал Валентин Сергеевич.

— Да, меры,— закивали его соседи.

— Я предлагаю люстру,— сказал заместитель.

— Люстру! Люстру! Люстру! — подхватили участники разбирательства. Даже ветераны с репейниками в петлицах высказались за люстру. И Малибан поддержал люстру. Согласился с ней и Новый Маргарит.

Над Даниловым возникла люстра. Она напоминала люстру, висевшую в театре Данилова, но была и несколько иной. Данилов видел теперь люстру и со своего стула. И видел ее и себя из глубины зала, как бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича. Люстра была роскошная, метров в семь высотой, к ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы, одно, нижнее, поменьше, два других — значительно шире, на бронзовых рожках и кронштейнах держались стаканы для ламп и подсвечники. И все это было — в хрустальном саду. Хрустальные букеты, подвески, гирлянды цвели и играли всюду. Смотри на них и забудь обо всем... Люстра стала быстро снижаться. Она висела на металлической цепи, цепь скрипела, вздрагивала, Данилов понимал, что люстра может вот-вот сорваться. И она сорвалась,

упала на Данилова, пропустила его в себя. С кресла заместителя Валентина Сергеевича Данилов видел серый силуэт внутри люстры. Сидя же на стуле с ремнями, он чувствовал, что люстра не только захватила его, но и растворяет его в себе. Он потерял слух. А потом в нем стало гаснуть все. И угасло...

Когда Данилов очнулся, он понял, что по-прежнему сидит на стуле, а люстра висит высоко над ним и раскачивается.

— Итак, люстра,— сказал Валентин Сергеевич.— Она будет теперь над Даниловым, и, если его жизнь даст ей основания сорваться, ничего ее не удержит.

— Я предлагаю добавить к люстре,— заявил Новый Маргарит,— чуткость к колебаниям.

— Это в каком смысле? — спросил ветеран с репейником.

Новый Маргарит стал объяснять. Существует теория Бирфельда — Таранцева. Она касается явлений в ионосфере Земли, исследования проводились на Кольском полуострове, и есть в ней нечто, что приложимо к нынешней ситуации. По этой теории Земля со всеми происходящими на ней процессами представляет собой мощную колебательную систему. Дрожит земная кора, пульсирует гидросфера, вибрирует атмосфера и так далее. Человек — часть земной колебательной системы. Он живет в ней и чаще всего не чувствует ее. Но увеличение частоты колебаний он переносит плохо. Если интервал частот около десяти герц (тут Новый Маргарит извинился за обращение к земным единицам), ему совсем худо. Особенно чувствительны к колебаниям люди, обладающие развитым ощущением ритма. Прежде всего музыканты. Одному ташкентскому мальчику, ученику по классу фортепьяно, было плохо за несколько часов до известного всем толчка. Конечно, теория Бирфельда — Таранцева наивная и лишь обозначает серьезные явления, но можно воспользоваться ее логикой. Данилов прежде был освобожден от чуткости к колебаниям. Но теперь он стал слишком дерзким в своей музыке. Так пусть обострятся его ощущения. Причем, коли он станет играть лучше, достигнет в музыке высот, чувствительность его еще более разовьется, не только земные толчки и дрожания уловит Данилов, ему обнажатся и страдания людей, ближних и дальних, приступы чужой боли дойдут до него. Тяжкая ноша может оказаться на его плечах. Пусть помнит о ней и думает, стоит ли ему и дальше дерзить в музыке.

— Это убедительно,— сказал Валентин Сергеевич.

Все поддержали Нового Маргарита. Один Малибан пожал плечами.

— Разбирательство закончено,— объявил Валентин Сергеевич. И ремни отпустили Данилова.

44

Утром Данилов налетел на Нового Маргарита. Данилов спешил заполнить последние бумаги перед убытием и не был расположен к долгому разговору.

— Ну что, выкарабкался? — засмеялся Новый Маргарит.— Как это ты устроил себе...

Тут Новый Маргарит замолчал. Данилов почувствовал, что Новый Маргарит хотел произнести слово «повременить», а потом и поинтересоваться, каким образом Данилов получил необъяснимое для всех покровительство, да, скорее всего покровительство, хотя об этом можно было строить только предположения. Но тема, видно, была запретная и для Нового Маргарита. «А действительно,— думал Данилов,— неужели он пожалел меня из-за того, что я костью чесал ему спину? Зачем же?.. Я ведь без всякой корысти...»

— Ловок ты, Данилов, ловок,— только и мог сказать Новый Маргарит.

— Слушай,— нахмурился Данилов.— Что это за огненная надпись была в Колодце Ожидания? Насчет яспычковой икры? Я не понял.

— Она не имела к тебе отношения. Выпала из другой программы. Дефект аппаратуры.

— А кожаный фартук?

— Он задержался более положенного. Нерасторопность одного из операторов. Он наказан.

— Надеюсь, не слишком строго?

— Не слишком.

— И еще я хотел спросить тебя...

— О домовом и о Синезуде,— сказал Новый Маргарит.— Ты не в силах их вернуть. И никто тебе не поможет.

— Что же, это остается за мной.

— Смотри,— сказал Новый Маргарит.

— Почему меня так долго держали в ожидании?

— Какое долго! Ты был вызван не один. Да и у нас хватало хлопот. Ну и надо было позлить твое нетерпение. Но ты был хорош. Ты мне понравился. И дальше следить за твоей жизнью будет для меня удовольствием. Не со служебными целями следить, не бойся, а просто так. Как любопытному зрителю, неспособному на поступки. Очень интересно, какие еще повороты будут в твоей судьбе. И как отнесутся к тебе личности, для кого ты — заноза в глазу.

На том и разошлись.

Данилов сразу же вспомнил о железнодорожной пище, хотел было остановить Нового Маргарита и спросить его, что собирались достичь этой пищей, но Новый Маргарит был легок на ногу и слов Данилова, наверное бы, уже не расслышал. А кричать Данилов не стал.

«Удивил я его! — думал Данилов.— Я и самого себя удивил».

Во время разбирательства он взял да и повел себя так, будто он был именно демон и готов доказать несправедливость и оскорбительность для него, как добросовестного демона, обвинений. То есть так могло показаться со стороны. А какой он демон? Конечно, он более человек, нежели демон. Да что более! Скорее — он просто человек. Правда, с особенными возможностями. Что же, он из-

менил своей сущности и ради того, чтобы уцелеть, отверг все свое, дорогое? Нет, полагал Данилов, ничему он не изменил и ничего не отверг. Он хотел дать всем своим словам объяснения, чтобы с этими объяснениями жить дальше.

Каким мог быть исход разбирательства? Либо его гибель. Либо сохранение его демоном. И никакого Данилова — человека. Были еще возможности: превратить его в расхожую мелодию, лишить разума и поселить на пустынной планете и так далее, но все они виделись Данилову оттенками первого исхода.

Данилов был готов и к первому исходу. Сколько раз он говорил мысленно: «Нате, жрите!» Порой он представлял себя мучеником и чуть ли не умилялся будущему мученичеству. Но что толку было бы в его мученичестве? Конечно, он не изменил бы себе, одно это много значило. Но можно было и по-иному не изменить. А так он погиб бы, тихо исчез, и все, никто бы не узнал, почему он погиб и ради чего. Однако в начале разбирательства Данилов был согласен и с тихим исчезновением. Он торопил судей: «Скорее, скорее, что же тянете!» Но потом он вновь ощутил себя Музыкантом. Чем он был хуже тех, кто судил его? Каким таким особенным пониманием смысла существования своего собственного и, скажем, смысла существования людей обладали они, чтобы иметь право выносить приговоры и определять, что хорошо и что плохо? Нет, теперь Данилов не желал признавать за ними такое право. Он получил жизнь и получил право на эту жизнь не менее, а куда, по его понятиям, более значительное, нежели присвоенное ими право судить других и направлять чужие жизни. Вот он и взъерепенился, и пошел на Валентина Сергеевича и на его заместителя чуть ли не в атаку. Он не желал, чтобы они взяли над ним верх. Он, на словах, ставил под сомнение справедливость их оценок и выводов, пользуясь их же логикой и их правилами игры. Да, и он играл, хотя и не лицедействовал. Все шло само собой. Он им дерзил, стараясь дурачить их, и они, судя по первому приговору, поняли это. Впрочем, может, некоторые и не поняли. Или же им понравилось, как он держался. Они, по ощущению Данилова, с облегчением приняли «повременить».

Конечно, это «повременить» и решило ход дела. Но, может быть, то, как он [illegible] «повременить»?

«Не мог я дать им одолеть себя! Я должен был вернуться на [illegible]

вращения его, Данилова, в «чистого» человека. Это он держал как бы на крайний случай. Почему? Зачем ему отношения с миром, ставшим чужим? Не лучше ли было бы освободиться от Девяти Слоев, забыть о том, что они есть, причем сделать это ловко и мирно, не возбудив желаний мстить ему, и тихо жить себе в Останкине, играть на альте, любить Наташу?

«Это никогда не поздно будет сделать»,— говорил себе Данилов, хотя и понимал, что он вряд ли тут прав. Но он понимал и другое. Он не мог теперь отказаться от многих своих привычек, освободиться от них, от купания в молниях в частности, без них он стал бы иной Данилов. Да и как же это — увидеть тяжелую грозовую тучу над Останкином и не взлететь, не слиться с молнией! Он не мог себе этого представить. А перенесения к дальним созвездиям? А полеты в Анды, в пещеру? То есть он, может быть, и не стал бы купаться в молниях, летать куда-то или выводить мрачную, сырую тень Филиппа Второго из подземелий Эскориала (он так и не побывал в Эскориале, а все собирался побывать), но сама невозможность купаний, полетов, многого другого, милого Данилову, удручала бы его. Нет, пусть браслет будет на руке, полагал Данилов.

При этом Данилов считал, что не только для утоления его привычек нужен ему браслет. Что же, ему тогда в автомате на улице Королева следовало дать юнцам поколобродить и навести страх на десятки людей? Или не стоило проучить виолончелиста Туруканова, дельца и пройдоху? Ну ладно, юнцы и Туруканов — мелочи. Он мог бы и сдержаться. Но случаи более серьезные? Когда зло воспалится сильное и страшное — и он, Данилов, окажется этому злу свидетелем? Тогда только ропот ему иметь в душе? А потом с этим неслышным ропотом и жить? Или же лишь в игре на альте выражать свое несогласие с явлениями, им неприемлемыми? Нет, он не простил бы себе, что отказался бы что-то спасти или обезопасить от воздействия зла, от его напора и наглости. Что же отказываться, зло-то не отказывается от своих возможностей? Пусть его положение будет рискованным, сложным, порой скверным, ему не привыкать. Что-нибудь придумает.

Однако люстра. Что ж, будет и люстра...

Зло и добро. Они вечно в столкновении. Но ведь и от столкновений добра со злом бывает прок. И какой прок! Иногда, действительно,— скачки в развитии. Все надо понять, коли оставил браслет на руке. Разве раньше он всегда успевал подумать о последствиях своих действий, в особенности в нервных случаях? Теперь, когда он сделал определенный выбор, Данилов призывал себя к благоразумию, к объективности и осмотрительности, к действиям — в крайнем случае (но как определить, где крайний случай?), и обещал себе возможностями не злоупотреблять. Он не терпел вмешательств в свою жизнь, так почему же люди должны были бы переносить чьи-то вмешательства, хотя бы и с самыми добрыми намерениями? Он решил использовать браслет лишь в ситуациях, какие, по понятиям самих людей, могли оказаться безысходными,

и лишь тогда, когда люди своими душевными порывами, своими желаниями (их-то Данилов мог почувствовать) подтолкнули бы его к действиям. А так бы он слишком много брал на себя... Данилов понимал, что это он сейчас такой серьезный и ответственный, а потом закрутят его земные дела, вспомнит ли он о благоразумии?

В мыслях Данилова не было теперь никакой стройности, да и откуда ей было взяться? Порой к нему приходили соображения: а не заключил ли он соглашение? Да, они понимают, кто он, но сохранили ему сущность, а он за это должен стараться с их поручениями, особенности его натуры и позволяют им надеяться на успех. «Ну это мы еще посмотрим»,— говорил себе Данилов. Нет, полагал он, это, может быть, у них с ним соглашение, у него с ними никакого соглашения нет. Все их поручения он провалит или накормит их воздухом. Пока он был и освобожден от мелких поручений. От всех дел вообще. Ради перспективы с хлопобудами. Но это ведь — перспективы! Причем он с некоторым даже высокомерием согласился встретиться с секретарем хлопобудов (если тот позвонит), все это почувствовали. Сейчас ничего постыдного, ничего непорядочного он в этом своем согласии не видел. Хлопобуды, деловые люди из очереди, были Данилову неприятны. Он не любил проныр, пройдох и доставал, отчего же с этими людьми не пошутить? Он не знал, какие перспективы углядели Валентин Сергеевич и его коллеги в хлопобудах, и теперь должен был направиться за наставлениями к Малибану.

Прежде Малибан, Данилов узнал это, служил в Канцелярии от Иллюзий. Теперь он получил свою лабораторию. Данилову ее название не сообщили, да и профиль, видно, держали в секрете. Малибан не подчинялся Канцелярии от Того Света, хотя был с ней в отношениях, и Данилов не знал, остался ли он в ведомстве Валентина Сергеевича или же отдан Малибану. Ни Валентин Сергеевич, ни его помощники встретиться с Даниловым не пожелали, ему было указано явиться к Малибану.

Данилов вошел в кабинет Малибана, они раскланялись. Кабинет был какой-то среднеевропейский, сухой, деловой.

— Собственно, в наставлениях нет нужды,— сказал Малибан.— Примите предложение хлопобудов и ведите себя по обстановке. Просто живите, и все.

— А зачем...

— Зачем нам хлопобуды? Пока я и сам толком не знаю зачем. Но что-то предчувствую... Что-то выйдет... Видите ли, таким, как Валентин Сергеевич или в еще большей степени его заместитель, все ясно, они приняли традиционную доктрину, сомневаются они в ней или не сомневаются, не имеет значения, они ведут свои дела, исходя из этой доктрины. Я в ней сомневаюсь. Я вообще ни в чем не уверен до конца. Я сомневаюсь не тайно, а открыто. Мои сомнения и сомнения моей лаборатории не только позволены, но и признаны необходимыми. Мы проводим опыты... то есть опыты это неточно... ну ладно... Много опытов. В частности и на

Земле. Но хлопобуды будут не лишними... Я вас понимаю. Вы морщитесь внутренне. Думаете, что вас приставят к хлопобудам наблюдателем. Нет, в наблюдатели мы взяли бы другого.

«Может, уже и взяли...» — подумал Данилов.

— Вы должны стать своего рода творцом.

— То есть творцом опыта?

— В какой-то степени так. Да, фантазируйте, направляйте хлопобудов, давайте им задачи, толчки и преграды, вы ведь для них то ли пришелец, то ли еще кто. Они — честолюбивы и со своей головой на плечах, но в критических ситуациях обратятся к вам. Подсказок от нас не ждите. И не спешите. Все должно идти естественно. Можете хоть десять лет никак не проявлять себя, если у хлопобудов не возникнет нужда в вас.

— Наверное, я буду не только творцом опыта, то есть вашим лаборантом, но и объектом исследований?

Малибан помолчал, он был серьезен. Потом сказал:

— Да. Но вы в этом не должны видеть ничего обидного для себя. Вы натура одаренная, творческая и потому нам интересная. Я отдаю отчет в том, кто вы есть. И вы не так просты по составу, как вам кажется. Может быть, вы новый тип, отвечающий нынешнему состоянию вселенной. А может быть, и нет. Вы готовы к новым изменениям, к нашему и вашему удовольствию. Отчего же не считать вашу судьбу и вашу натуру поучительными и достойными исследований?.. Что же касается лаборанта, то вы меня не так поняли. Лаборант — это порученец. Мы вам никаких задач посылать не будем. Я повторюсь: живите, и все. Просто реагируйте на ситуации, затрагивающие вас, со всей искренностью вашей живой натуры. Импровизируйте, как в своей музыке.

Данилов насторожился. Неужели этот понял?

— Нет, я не разгадал ваших сочинений,— заметил Малибан.— Я их просто слушал... Кстати, некую неприязнь кое-кто испытывает к вам не из-за чего-либо, а из-за вашей дерзости в музыке. Мол, там вы ставите себя выше...

— Выше чего?

— Это я к слову,— сказал Малибан.— Так вот забудьте о нас и живите. А там посмотрим... Коли нужно, мы вас призовем. Но это не скоро... Да, чуть было не забыл. Обратите внимание на Ростовцева.

— На Ростовцева?

— Нет, к нам он не имеет отношения. Но стоит внимания.

— Хорошо,— кивнул Данилов.

— Вот и все,— сказал Малибан.— Отправляйтесь к себе в Останкино.

И он улыбнулся, впервые за время наставительной беседы. Был он, как и в день разбирательства, в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке. Белые манжеты высовывались из рукавов пиджака, и Данилов, взглянув на них, вспомнил, как писал на манжете о трудах сеятеля Арепо.

— Нет,— опять улыбнулся Малибан.— Та рубашка в стирке.—

И тут же он добавил: — Забудьте обо мне. Но не забудьте о люстре. Мне неприятно напоминать вам о ней. Но что поделаешь. Вы ведь и вправду часто бываете легкомысленным. Я не против вашего легкомыслия, я принимаю вас таким, какой вы есть. Но не я буду держать над вами люстру на цепи. А Валентин Сергеевич может и не принять наши соображения в расчет.

Глаза Малибана были холодные, строгие.

Позже Данилов не раз вспоминал о глазах Малибана. «Да и что ожидать от него,— думал Данилов,— если для него вся жизнь — сомнение и опыт?..» Опыты над живыми и разумными, хотя бы и относительно разумными существами, Данилов считал нынче делом безнравственным, но для Малибана-то в них была сладость. «Я им устрою опыты, я им нафантазирую! — храбрился Данилов.— Они и от изучения моей личности получат то еще удовольствие!» Что-что, а храбриться Данилов умел. Малибан как будто бы отделил себя от люстры, вроде бы он был ни при чем. Но Данилов понимал, что и Малибан, если будут основания, с люстрой не задержится.

Сейчас он мог бы отдохнуть и даже развлечься в Седьмом Слое Удовольствий. Но туда его не тянуло. Кончить бы все, считал Данилов, и вернуться в Останкино. Он ждал, что его вызовет Валентин Сергеевич или хотя бы его заместитель, но вызова не было. Множество знакомых, скрывавшихся прежде от Данилова, желали теперь с ним общения. Некоторые даже заискивали перед ним. То есть не то чтобы заискивали, а словно признавали в нем какую-то тайну, для них неожиданную и удивительную. Данилов избегал встреч и разговоров, ссылался на дела. Увидел однажды Уграэля. Был он опять в белом бедуинском капюшоне, выглядел расстроенным и даже как будто бы обиженным на Данилова. Губы его разъехались из-под носа к ушам, звуки Уграэль выпускал сквозь ноздри.

— Отбываю,— сказал Уграэль,— опять в аравийские пустыни! — И он махнул рукой.

— Что ж,— сказал Данилов.— Там тепло.

— Мне это тепло!..— плаксиво возразил Уграэль.— Да что говорить! Вам этого не понять! — И он пропал.

Несколько раз, будучи в окружении здешних лиц — в буфете, возле столов канцеляристов, в лифте,— Данилов чувствовал еле ощутимые сигналы. То ли кто-то звал к себе Данилова, то ли сам имел нужду явиться ему. Но робел, стеснялся существ посторонних, чужих ему и Данилову. И лишь когда наконец Данилов оказался один под часами-ходиками с кукушкой, он вместе с сигналами ощутил нежный запах цветов анемонов. Неужели Химеко? Данилов взволновался. Всюду искал он прекрасную Химеко. Но ее нигде не было. И вдруг она выступила из-за платяного шкафа. Данилов кинулся к ней и тут же понял, что приблизиться к ней он не сможет. Она здесь, и она вдали. Но это была живая Химеко, а не ее образ, созданный чьими-либо усилиями. Тонкая, печальная, в зелено-голубом кимоно стояла она теперь против

Данилова, палец приложив к губам. Данилов кивнул, согласившись молчать. Химеко опустила руку. Она улыбнулась Данилову, но улыбнулась грустно. Данилов, забыв про свое согласие, хотел было сказать Химеко, что ей не надо ничего бояться, что он желает говорить с ней, но она снова приложила палец к губам. А потом показала рукой куда-то за спину, видно предупреждая, что сейчас исчезнет.

Химеко поклонилась ему, подняла голову, своими черными, влажными теперь глазами она долго смотрела на Данилова, как бы вбирая его в себя, затем тихо кивнула ему и растаяла.

Данилов желал броситься вслед за Химеко. Но куда? И зачем? Усмирив себя, он присел на кровать. Чуть ли не плакал. Химеко прощалась с ним. Никто ее не вынуждал к этому прощанию, полагал Данилов, она сама постановила, что — все. И согласия со своим решением она не испрашивала, видно, все знала про него. «Нет, так не может быть! — думал Данилов.— Мало ли как все сложится!» В чем была теперь Химеко права — в том, что не позволила ни себе, ни ему произнести ни слова. «Истина вне слов...» Да и о чем были бы слова? О Дзисае? (Вдруг и вправду усердия Химеко с искупительной жертвой помогли Данилову?) О том, что она всегда может рассчитывать на его поддержку, если, конечно, эта поддержка ее не унизит, не покажется ей лишней? Все это и так само собой разумелось...

И хотя Данилов тешил себя надеждой на то, что судьба их когда-нибудь непременно сведет с Химеко, сидел он опечаленный, тусклый. И долго бы горевал, если бы его не призвали к Валентину Сергеевичу.

Разговор с Валентином Сергеевичем вышел неожиданно короткий. Валентин Сергеевич похвалил Данилова-шахматиста, сказал, что очень любит шахматы, и напомнил, как он в собрании домовых на Аргуновской затрепетал, увидев движение слона Данилова. «Так это ж были не вы»,— сказал Данилов. «И не я, и я»,— ответил Валентин Сергеевич. И Данилову почудилось, что на колени тот Валентин Сергеевич намеревался стать перед ним искренне. Этот Валентин Сергеевич заметил, что не изменил своего мнения о Данилове, хотя и задумался кое о чем. Потом он сказал: «Попросить нас вы ни о чем не желаете?» Данилову, по выражению глаз Валентина Сергеевича, показалось, что ради этого вопроса его и призвали. «Нет,— сказал Данилов.— Мне не о чем просить...» «Ну что ж,— кивнул Валентин Сергеевич.— Ваше дело. Отбывайте». Данилов был отпущен, ушел, так и оставшись в неведении, кто над ним главный — Валентин Сергеевич или Малибан.

В Четвертом Слое он увидел Анастасию. «Вот он!» — сказала Анастасия и взяла Данилова под руку. Местность тут же преобразилась, Данилов и Анастасия оказались в затененном уголке сада, сад, похоже, был запущенный, всюду краснела бузина (это дерево Данилов любил), лишь кое-где в зарослях бузины, над крапивой и лопухами, стояли давно отцветшие кусты жасмина. Под

бузиной белела скамейка. Анастасия указала Данилову на нее, они присели.

— Какая ты! — сказал Данилов.

— Какая же? — обрадовалась Анастасия.

— Прямо казачок!

Анастасия была в белой шелковой блузке с легкими свободными рукавами, украшенной по проймам золотой тесьмой, талию демонической женщины стягивал кушак, узкие брюки из белого бархата были вправлены в красные сапожки.

— Откуда выкройку брала?

— Из «Бурды»,— сказала Анастасия.— Ну хоть красивая?

— Еще бы не красивая! — сказал Данилов.

— А что ты пялишь на меня свои бесстыжие глаза! Ему бы обходить меня за версты, а он сидит со мной — и ему не совестно!

Впрочем, все это было произнесено Анастасией хотя и громко, но без всякого напора и желания кокетничать. Скорее нежно и робко. Если прежде явления Анастасии Данилову, особенно в земных условиях, сопровождались световыми столбами, сотрясением воздуха, волнением вод и минералов, если прежде вокруг Анастасии все бурлило, все стонало, а Анастасия была сама страсть, то теперь в зарослях бузины и листочки не шелестели, и не осыпались спелые ягоды. Анастасия же проявляла себя чуть ли не скромницей. Что же она?

— Ты не сердись на меня,— сказал Данилов.— Ты ведь знаешь мои обстоятельства.

— Я не сержусь,— взглянула на него Анастасия.— У меня хватает приятелей. Я ими довольна. А к тебе равнодушна.

Данилов не знал, что сказать ей на эти слова. Потом вспомнил:

— Спасибо тебе.

— За что?

— За то, что выходила меня после поединка. За то, что дыру заштопала шелковыми нитками. За все. Ты ведь и рисковала тогда.

— Рисковала! — махнула рукой Анастасия.— А то что же!

Она внезапно повернулась к нему, притянула его к себе, сказала:

— Данилов! Останься здесь! Я прошу тебя! Зачем тебе Земля?

— Что ты, Анастасия? Ты же сама смоленских кровей.

— Нет,— сказала Анастасия.— Я на Земле чужая. Мне лучше здесь. Каждому из нас лучше здесь. Останься! Я теперь все могу. Ты — на договоре. А будешь здесь свой, со всеми правами. Я устрою. Только останься. Ради меня!

В ее глазах была мольба и любовь.

— Я не могу,— сказал Данилов.— Прости меня.

— Тогда уходи! — закричала она.— Уходи! Сейчас же! Прощай! Все! И не оборачивайся!

Данилов пошел, голову опустив, было ему скверно. Он не обернулся. Анастасия, может быть, рыдала теперь на белой скамье. Впрочем, если бы он обернулся, он бы ничего не увидел. Ни скамьи, ни бузины, ни Анастасии не было.

Теперь и Анастасия... Но что он мог ей сказать?

Надо было отбывать, как распорядился Валентин Сергеевич. Данилов подошел к шкафу, где висела его земная одежда.

45

Данилов ткнулся головой в доски двери. Потянул на себя дверь, она не поддалась. «Я же убрал из нее гвозди»,— подумал Данилов. Он осмотрел дверь, гвозди были на месте. «Как же так?» — удивился он. Пришлось возиться с гвоздями.

Дверь открылась, Данилов оказался под аркой дома шестьдесят семь. Часы на углу Больничного переулка показывали двадцать минут первого. «Вот оно что!» — сообразил Данилов. Он слишком торопился вернуться и впопыхах заскочил в уже прожитое им земное время. Лишь через пятнадцать минут к остановке «Банный переулок» должен был подойти троллейбус с ним, Даниловым, и пьяным пассажиром, бормотавшим между прочим и про люстру. Данилова в том троллейбусе не было, а пассажир ехал. «Вот почему гвозди-то в двери. Я их еще не успел вынуть...»

Чтобы избежать новых недоразумений, Данилов сдвинул пластинку браслета и перевел себя в земное состояние. Мимо шли люди, каких Данилов не увидел перед отлетом в Девять Слоев. Он мог дойти теперь до метро «Рижская» и отправиться домой. Но что-то удерживало его. Скорее всего он хотел дождаться троллейбуса с пьяным пассажиром и спросить, какую люстру тот имел в виду и что советовал с ней делать. «Это мальчишество!» — говорил себе Данилов. Однако потихоньку шел к остановке.

«Отсюда повонить Наташе или из Останкина?» — думал Данилов. Он бы позвонил сразу, но копеек в его карманах не оказалось. Не было и гривенника. Времени до прихода «того» троллейбуса оставалось минут семь. Данилов стоял, смотрел на строения, спавшие вдоль проспекта Мира, сейчас он уже не видел в шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом домах мерзких гримас, не казались они ему и ужасными. Но и радости при их виде не испытывал Данилов. Он стоял грустный. Вспоминал о прощаниях с Химеко и Анастасией. И приходили и тоска, и ощущение вины...

Но вот подъехал «тот» троллейбус. Данилов опустил в автомат пятак и, подергав металлическую ручку, снова не получил билета. Опять, как бы ища поддержки, он обернулся в сторону пьяного пассажира, сказал про билет, но пьяный пассажир не отозвался. А ведь в прошлый раз (если посчитать — в прошлый раз) он промычал «А!» и махнул рукой. Но тогда Данилов сел в троллейбус в Останкине и говорил с пассажиром при подходе к Банному переулку. Возможно, теперь после Банного переулка, пассажир заснул всерьез и не было никакой надежды на разговор о люстре. Данилов подошел к пассажиру, подергал его за плечо, спросил несколько раз: «Вы не проспите?», но пассажир и звука не произнес. «Зачем приставать к нему! — отругал себя Данилов.— Что он может прояснить мне про люстру!»

На Колхозной Данилов сошел с троллейбуса, спустился в метро и последним поездом поехал в Останкино.

Дома он пожалел, что оставил инструмент в театре. Он жаждал играть. Наверное, только взяв инструмент и смычок в руки, он и почувствовал бы вконец, что вернулся.

Жара в квартире не было, ничем не воняло. Фарфоровое блюдо, на которое клали лаковую повестку с багровыми знаками, было возвращено в сервант.

«Звонить Наташе или поздно?» — пришло сомнение. Нет, не может она спать, решил Данилов. Он набрал номер Наташи. Наташа сразу взяла трубку.

— Все хорошо,— сказал Данилов.— Завтра увидимся. Прости, если доставил беспокойство. Спи.

И повесил трубку.

Телефон тут же зазвонил. «Нет, Наташа, не надо сейчас...» — хотел было сказать Данилов, но услышал голос пайщика кооператива Подковырова.

— Владимир Алексеевич, извините,— стремительно заговорил Подковыров,— поздний час, но я выгуливал собаку, видел свет у вас и решился. Уважая в вас чувство юмора, я опять бы хотел проверить себя. Вы слушаете?

— Слушаю,— сказал Данилов.

— Вот. Короткая мысль. Если падаешь духом, учитывай, с какой стороны ты намазан маслом. А? Как? Хорошо?

— Хорошо,— обреченно вздохнул Данилов.

— А как вы считаете, надо уточнять, каким маслом?

— Нет, не надо.

Он хотел было отключить телефон, но подумал: а вдруг позвонит Наташа. Однако никто не позвонил.

Уснул он быстро, хотя поначалу ему казалось, что он не заснет вовсе. А когда проснулся, почувствовал, что вот-вот что-то должно случиться или уже случилось. Он поднял голову и на одном из стульев увидел знакомый футляр. Данилов вскочил, чуть ли не прыгнул к стулу, растворил футляр и увидел альт Альбани.

46

Наташа не позвонила и утром. Возможно, она посчитала, что Данилов шутил, и не придала значения его звонкам, ведь он не слышал ее ответов и не знал, как она приняла его слова. Возможно, и в том, серьезном, разговоре она видела долю шутки. Коли так, оно к лучшему. Впрочем, вряд ли Наташа, та, какую Данилов знал, могла посчитать все шуткой... И не позвонила она утром оттого, что все понимала. И когда она увидит Альбани, она ни о чем не спросит. Так думал Данилов.

В театр Данилов не взял Альбани.

И потому, что предвидел вопросы и остроты на репетиции и в яме. И потому, что не желал радостей Валентина Сергеевича или кого там, кто возвратил ему украденный инструмент. Выходило,

что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни, как будто бы главной реальности Данилова, была ощутимая щель, вызванная пребыванием в Девяти Слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбани, он тут же вспомнил о похитителях инструмента. Если бы он принялся носиться с Альбани, то-то бы им было удовольствие. Впрочем, может, он и ошибался. Может, для них это было простое дело. Когда следовало — отобрали, прояснилось — вернули. Не на складе же хранить инструмент, там хватает хлама. И все-таки Валентин Сергеевич не случайно перед расставанием интересовался, нет ли у Данилова просьб. Он-то знал: Данилов мог просить об одном.

Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не стал брать сразу, а, походив возле открытого футляра и одевшись, не спеша, как бы нехотя, поднял инструмент и положил его на стол. Ему бы опять любоваться альтом, часами оглядывать все линии его грифа и обечаек, а потом играть и играть, забыв обо всем, снова ощутив инструмент частью своего тела, своим голосом, своим нервом, своим сердцем, своим умом. А он лишь проверил звук (его ли это инструмент, не подделка ли умельцев Валентина Сергеевича), и убедившись, что Альбани — подлинный (тут его обмануть не могли), сыграл легкую мазурку Шумана. И, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр.

Но чего это ему стоило!

Он будто бы пожары в себе тушил и пока лишь сбил пламя. Однако сбил...

Впрочем, он чувствовал, что радость его теперь — скорее умозрительная, не было в нем легкого присутствия счастья, не было порыва, какой не потерпел бы оглядки ни на кого и ни на что, не было упоения. Ну, вернули — и ладно. Они и должны были вернуть...

«Еще сыграю на Альбани,— сказал себе Данилов.— А сегодня и тот альт будет хорош...»

В театр ехал на троллейбусе. Думал: надо сообщить в милицию и в страховое учреждение о находке альта. Дело это виделось ему деликатным. Страховое учреждение ладно. Но вот в милиции от него, наверное, попросят объяснений, каким образом объявился пропавший было инструмент. Или что же он, Данилов, морочил головы, а сам запрятал альт где-нибудь во встроенном шкафу и забыл? «Подкинули! — отвечал Данилов мысленно работникам милиции.— Подкинули!» И это не было ложью.

Выскочив из троллейбуса, Данилов побежал к пятнадцатому подъезду, он опаздывал. Наталкивался на прохожих, извинялся, бежал дальше. Его ругали, но без злобы и привычными словами, никто не обзывал его сумасшедшим. Когда-то, года через три после выпуска, он несколько месяцев жил в Ашхабаде. В Москве в приятном ему оркестре место лишь обещали, и Данилов, поддавшись уговорам знакомого, улетел в предгорья Копет-Дага, играть там в театре. В театр он ходил московским шагом, и многие при-

знавали его сумасшедшим. Один кларнетист говорил, что Данилов вредит своему искусству, что удачи художников и писателей в пору Возрождения и даже в девятнадцатом веке объясняются тем, что люди никуда не бежали, а жили и думали неторопливо, к тому же были богаты свободным временем. Данилов хотел бы верить в справедливость утверждений кларнетиста, однако верь не верь, но утверждения эти были сами по себе, а жизнь Данилова сама по себе. К тому же Леонардо наверняка тоже вечно куда-то спешил, а уж Рафаэль — тем более. Словом, кларнетист Данилова не уговорил. Да и жизнь требовала от него все более резвых движений. Если бы тротуары заменили лентами эскалаторов, то и тогда Данилов несся бы по ним, куда ему следовало.

Данилов бежал и думал, что теперь-то и в Ашхабаде публика вряд ли посчитала бы его ненормальным...

Играли в репетиционном зале. Что-то беспокоило Данилова. Он чувствовал, что это беспокойство протекает от стены, за какой находился зрительный зал. Но причину беспокойства понять он не мог. В перерывах Данилов не имел отдыха. Вместе с Варенцовой они просмотрели планы шефских концертов. На тормозном заводе и в типографии Данилову предстояло играть в составе секстета. Данилов считался как бы деловым руководителем секстета, и когда он спросил, кто поедет с секстетом из вокалистов, Варенцова назвала ему баритона Сильченко и меццо Палецкую, однако Палецкую именно ему надо было уговорить. Данилов кинулся искать Палецкую. Потом Данилов поспешил в струнновитный цех. Мастер Андрианов давно обещал Данилову заметку для стенной газеты «Камертон», сам приходил, а потом пропал. «Номер уже скоро надо вешать...» — начал было Данилов, но, упредив его возмущенно-заискивающую речь, Андрианов достал из кармана два исписанных листочка. Данилов поблагодарил Андрианова и побежал на репетицию. «Еще бы две заметки выколотить,— думал Данилов, перепрыгивая через ступеньки,— из Собакина и Панюшкина. И будет номер». Успел до прихода Хальшина, дирижера. Альтист Горохов, всегда осведомленный, шепнул ему: «Говорят, Мосолов будет наконец ставить «Царя Эдипа». То есть не то чтобы говорят, а точно». Горохов знал, что новость Данилова обрадует, Данилов давно считал, что Стравинского у них в театре мало. «А потянем? — усомнился вдруг Данилов. И добавил мечтательно: — Вот бы решились еще на «Огненного ангела». Данилов, восторженно относившийся к прокофьевскому «Огненному ангелу», годы ждал, чтобы решились. Впрочем, он понимал, отчего не решаются. Мало какому театру был под силу «Огненный ангел». «Об «Огненном» и надо дать в «Камертоне» статью! — осенило Данилова.— Но кто напишет? Панюшкин? Или взяться самому?»

Заметку Андрианова Данилов положил рядом с нотами. Хальшин уже стоял на подставке (повторяли второй акт «Фрола Скобеева»), Данилов в паузе перевернул андриановские листочки и прочел: «Большая люстра». Андрианов увлекался прошлым театра, порой сидел в архивах, не раз приносил любопытные заметки

(в газете Данилов завел рубрику «Из истории театра»). Теперь он делился сведениями о большой люстре зрительного зала. «Вот оно отчего»,— сказал себе Данилов, имея в виду беспокойство, возникшее в нем в начале репетиции. Сейчас, играя, он взглядывал на листочки Андрианова и не хотел, но взглядывал, читал про мастеров бронзового дела и хрустального, читал про рожки, кронштейны и стаканы для ламп. «Всего большая люстра состоит из тринадцати тысяч деталей»,— заканчивал заметку Андрианов.

А вечером, когда играли «Тщетную предосторожность», Данилов не мог пересилить себя и не смотреть на большую люстру. Из ямы она была хорошо видна ему. Куда лучше, нежели ноги балерин. Теперь уже не смутное беспокойство испытывал он, а чуть ли не страх. Прежде Данилов любил люстру, называл ее хрустальным садом, не представлял без нее театра, теперь она была ему противна. Причем эта, провисевшая в театре, судя по исследованиям Андрианова, восемьдесят шесть лет, была куда больше и тяжелей той! Порой Данилов голову пытался вжать в плечи, до того реальным представлялось ему падение тринадцати тысяч бронзовых, хрустальных, стальных, стеклянных и прочих деталей. Наверняка и их падение было бы красиво, игра граней и отсветов вышла бы прекрасной, правда, откуда смотреть... «Да что это я! Чуть ли не дрожу! Пока ведь нет никаких оснований...» Так говорил себе Данилов, однако в антрактах тут же бежал из ямы. И люстра-то висела не над ямой, а над лучшими рядами партера, туда бы ей и падать. А Данилов выскакивал в фойе и буфеты. Но и там повсюду висели свои люстры, не такие праздничные и огромные, однако и они были бы для Данилова хороши. «Если я такой нервный,— ругал себя Данилов,— надо не тянуть с хлопобудами, надо позвонить Клавдии».

Но Клавдии он позвонил лишь на следующий день.

По дороге домой он несколько успокоился, люстра будто бы осталась в театре, хотя некоею тенью с потушенными огнями она плыла над ним и в Останкино. Дома в Останкине была Наташа. Она открыла Данилову дверь, впустила его в квартиру и прижалась к нему. Данилов ничего не говорил ей, только гладил ее волосы, потом Наташа отстранилась от Данилова, в глазах ее он увидел все: и ночное прощание с ним, и нынешнюю радость. Он был благодарен Наташе, он любил ее и знал, что от ноши, какую она взялась нести, связав свою судьбу с ним, она ни за что не откажется, она согласна и на ношу более тяжкую, она сама выбрала эту ношу, она — по ней. «Что будет, то будет,— думал Данилов.— А сейчас хорошо, что она со мной».

— Ну вот, ты и вернулся,— сказала Наташа.— Раздевайся, мой руки, и пойдем на кухню...

Конечно, она видела футляр на стуле, и Данилов, приняв из ее рук стакан чая, сказал как бы между прочим:

— Альбани отыскался.

И она, словно бы посчитав возвращение Альбани делом простым и не заслуживающим особого разговора, сказала:

— Да, я поняла.

Все она поняла, и между ними теперь не было игры, а было принятие каждым их жизней такими, какими они были и какими они могли или должны были стать. Их жизни были одной жизнью. При этом оба они принимали право каждого (или возможность) быть самостоятельными и независимыми друг от друга. Чувство некоей отстраненности от Наташи, как от человека, какого не следовало впутывать в собственные тяготы, было Даниловым нынче забыто. Он уснул чуть ли не семейным человеком.

Утром, когда Наташа уехала на работу, Данилов позвонил Клавдии Петровне.

— Что ты хочешь от меня? — спросила Клавдия.

— Я от тебя? — опешил Данилов. Потом сообразил: действительно, на этот раз — он от нее.— Я... собственно... Я бы не стал... но ты сама давала мне советы... относительно хлопобудов...

— Ты хочешь, чтобы я тебя пристроила?

— Я был бы тебе очень признателен...

— А зачем тебе хлопобуды?

— Ну хотя бы,— сказал Данилов,— чтобы доставать нужные мне книги...

— Ты всегда был бестолковым человеком...

— Потом ты считала, что я смогу быть тебе полезным.

Клавдия замолчала, наверное, задумалась.

— Ну хорошо,— сказала она.— Попробую свести тебя с Ростовцевым. Но учти. Попасть в очередь трудно.

— Я понимаю,— вздохнул Данилов.

Когда он повесил трубку, он чуть кулаком по аппарату не стукнул. Зачем он звонил? Зачем ему Клавдия? Если дважды пегий секретарь хлопобудов упрашивал его занять место вовсе не в очереди? Секретарь собирался звонить через два дня, то есть завтра. Да что секретарь! Ведь он, Данилов, мог просто сдвинуть пластинку браслета и решить дело в полсекунды. И вот — на тебе! — затеял жалкий разговор с Клавдией, понесся куда-то сломя голову! Он собрался позвонить Клавдии и сказать ей, что раздумал, но она опередила его.

— Ну все! — заявила Клавдия.— Кланяйся в ножки! Будешь обязан мне по гроб жизни.

— Хорошо, по гроб жизни,— согласился Данилов.

— Я умолила Ростовцева встретиться сегодня с тобой.

— Сегодня у меня трудно со временем.

— У него! Ты бы молчал! Я и так пожалела тебя. У тебя окна с четырех до шести. В пятнадцать минут пятого будь в кафе-мороженом, Горького, девять.

— Ладно,— сказал Данилов.

— Данилов,— сказала Клавдия.— Для меня это все серьезно... Что-то происходит в последние дни с Ростовцевым... Чем-то он увлечен... Я прошу тебя, ты... между прочим... выясни, что с ним... Вдруг он откроется тебе... Зачем-то он ходит на ипподром...

— А как же твоя независимость? — спросил Данилов.

— Ее не достигнешь сразу,— сказала Клавдия.

«Стало быть,— думал позднее Данилов,— она подпускает меня к Ростовцеву неспроста... Он, видно, отбивается от рук, и ей нужна информация о нем...» Данилов не стал говорить Клавдии о том, что очередь ему не нужна. Он пожалел Клавдию, почуяв ее действительную, а может, и мнимую (не все ли равно!), озабоченность. Да и Ростовцев был интересен ему. Помнил Данилов и о совете Малибана.

Словом, в начале пятого Данилов оказался на углу проезда Художественного театра. Постоял минуты две и увидел Ростовцева на лошади. Ростовцев ехал по тротуару ему навстречу и на вид был сегодня простой, не имел ни попугаев на плече, ни трости, ни кальяна. Среди прочих людей, оказавшихся в ту пору на улице Горького и нисколько не удивленных всадником, он выделялся лишь не по сезону легким костюмом, видно жокейским. Ростовцев спрыгнул с лошади, привязал ее к липе и пошел к Данилову. Данилов раскланялся с Ростовцевым, протянул ему руку, сказал, что, по всей вероятности, и Ростовцев знает, с кем имеет дело, хотя они и не были друг другу представлены. Да, согласился Ростовцев, это так. Они вошли в кафе, разделись (Ростовцев сдал в гардероб жокейскую кепку) и поднялись на балкон. Заказали пломбир и бутылку «Твиши». Тут Данилов все же взглянул на демонический индикатор и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного.

— Как я понял из слов Клавдии Петровны,— сказал Ростовцев,— вы, Владимир Алексеевич, хотели бы попасть в очередь хлопобудов?

— Да,— сказал Данилов.

— Простите, зачем это вам?

— Мне... собственно...— замялся Данилов, подумал: «Предварительный досмотр, что ли? А вдруг он потребует вступительный взнос? У меня пятерка. Тут хоть бы за мороженое расплатиться...» — Знаете, может, Клавдия не слишком поняла меня... Я не так чтобы отчаянно рвусь. Если для вас содействие хоть сколько-нибудь обременительно, давайте сейчас же и забудем об этом деле...

— Нет,— сказал Ростовцев строго и как бы имея право на эту строгость.— Не обременительно. Но зачем это вам?

— Из-за книг! Дежурить в магазинах у меня нет возможности, переплачивать на черном рынке — тем более.

— А вам нужны книги?

— Да,— сказал Данилов.— Я собираю. И читаю... О музыке, об искусстве, об истории, о народовольцах... Сейчас вышел «Лувр» в большой серии, но как его достать? А дальше будет хуже. Без книг я не могу.

Тут Данилов не врал.

— Я вас понимаю,— сказал Ростовцев.— В книги стали вкладывать деньги. Как в ковры и драгоценные камни... Что ж, в вашем желании есть резон... Я сам книголюб... Сейчас пытаюсь собрать все о лошадях...

— У вас прелестная лошадка,— льстиво вставил Данилов.

— Это случайная кобыла,— небрежно сказал Ростовцев.— Взял, какая была свободна. У меня сейчас действительно хороший жеребец.

Вспомнив о жеребце, Ростовцев несколько переменился. Этот румяный рослый человек сегодня не казался Данилову злодеем. Но был он серьезен, строг и как бы давал понять, что разговор может произойти деловой и холодный. Теперь же он заулыбался, отчасти даже мечтательно, и опять, как в Настасьинском переулке, стал похож на кормленого и обаятельного ребенка.

— Вы увлекаетесь верховой ездой? — спросил Данилов.

— Да, увлекся!

И Ростовцев, не дожидаясь расспросов Данилова, даже не обратив внимания на то, есть ли у Данилова подлинный интерес к его откровенностям, принялся рассказывать о своем увлечении. Сначала он просто, поддавшись моде, стал ходить в клуб любителей верховой езды в Сокольники («Как Муравлев»,— отметил Данилов). Сам горожанин, никогда не садился в седло, оказался неуклюж, чуть ли не с табуретки влезал на лошадь. А ведь в юные годы был спортсмен... Падал с лошади, ломал ребра, два месяца лежал в больнице. Но не отступил. И вот он уже вместе с другими катался аллеями Сокольнического парка. Но именно катался! А в нем уже пробуждалась страсть. Ноздри у него раздувались! Предки, возможно скифы, возможно конники Мономаховой рати, оживали в нем. Да и хотелось ощутить себя настоящим мужчиной — всадником. И чувство прекрасного ждало удовлетворения — есть ли более красивое животное, нежели конь, особенно когда он в движении? Словом, это долгий разговор, подробности которого вряд ли будут интересны Данилову («Отчего же!» — искренне сказал Данилов), но он, Ростовцев, увлекся лошадьми всерьез. Проник на ипподром, там у него и прежде были связи, теперь эти связи укрепились, он на бегах свой человек. Прочел массу книг, множество публикаций в забытых теперь газетах и журналах. Вот, скажем, раскопал перевод трактата Киккули о тренинге хеттских колесничных лошадей. («Кого, кого?» — заинтересовался Данилов.) Киккули, Киккули, сказал Ростовцев, был такой замечательный лошадник-меттаниец Киккули, это в четырнадцатом веке до нашей эры. Тогда хетты поняли, что принести победу армии могут лишь колесницы. («Ну, ну!» — подтолкнул Ростовцева к продолжению рассказа Данилов.)

— Киккули писал,— произнес Ростовцев взволнованно: — «На десятый день, когда день только начинается, а ночь кончается, иду в стойло и возглашаю по-хурритски к Пиринкар и Саушга, чтобы они дали здоровье для лошадей... а потом веду их на ипподром...» Как он любил лошадей! — закончил Ростовцев и покачал головой, то ли сожалея о Киккули, то ли давая понять, что теперь лошадей любят не так.

И стал рассказывать о сути тренинга Киккули, схватил бумажную салфетку, шариковой ручкой в подкрепление своих слов на-

чертил на салфетке какой-то график. Оказалось, это был график изменения нагрузки в рыси и галопе у экземпляров Киккули на протяжении 185 дней. Ростовцев при этом пояснил, какие аллюры были у древних лошадей, и сообщил, что Киккули начинал подготовку лошади к армейской службе без всяких раскачек, с решительной четырехдневной проверки, и сразу было ясно, что за лошадь поступила. В первый день лошадь перед Киккули делала утром один реприз рыси и шага в 18 км и два реприза галопа в 420—600 м и вечером два гита по 6 км и по 420 м галопа. И так далее. (Тут Ростовцев несомненно пользовался сведениями, взятыми из книги В. Б. Ковалевской «Конь и всадник», вышедшей, однако, лет через пять после разговора в кафе-мороженом.)

— Я не утомил вас? — спросил вдруг Ростовцев.

— Нет,— сказал Данилов.— Вы хотите управлять и колесницами?

— Какие сейчас колесницы! Нет, я езжу верхом, но для жокея я тяжел и велик, сами видите, я хотел бы участвовать и в рысистых испытаниях, там вес не так важен. Но там не колесницы, а так, тачки.

— Вы теперь мечтаете о рысистых испытаниях?

— Я не мечтаю, я готовлю себя к ним... А мечтаю... Я мечтаю слиться с конем, управлять им без удил, без уздечки, достичь тут свободы и совершенства!.. С уздечкой-то и удилами каждый сможет... А были когда-то нумидийцы и греки, те держали просто палочку в руке, и лошадь подчинялась им... В конце прошлого века один французский кавалерист — Кремье Фуа — позволил себе без седла и без удил, а лишь с помощью палочки, с помощью слов и движений своего тела повторить на конкурном поле все нумидийские номера... Неужели я это не смогу?

— Наверное, сможете...— вежливо произнес Данилов.

Ростовцев, ушедший в мечтания о жеребце без седла и без удил, словно бы очнулся и, обезоруженный, растерялся. Смотрел на Данилова робко, с виноватой улыбкой. Такой, простодушный, стеснительный, он был приятен Данилову. Но вскоре Ростовцев опять стал серьезен:

— Простите... я отклонился... У вас мало времени. И у меня. Так зачем вам хлопобуды?

— Как? — удивился Данилов.— Я же говорил...

— Насчет книг мне понятно,— сказал Ростовцев.— Ну, а если добывать книги без хлопобудов? Я кое-что знаю о вас. Я наблюдательный. Вы мне симпатичны. Зачем вам лезть в эту дребедень?

— В какую дребедень?

— В очередь к хлопобудам! В будохлопы эти!

— Я вас не понимаю.

— Вам следовало бы понять их. Ведь это мираж.

— То есть?

— Мираж, наваждение, липа, туфта! Вы мне действительно симпатичны, и я считаю своим долгом открыть вам глаза. Эти хлопобуды — мое порождение.

Данилов насторожился. Он не был заинтересован в том, чтобы вся эта хлопобудия оказалась миражем.

— У меня натура такая,— сказал Ростовцев.— Я озорник. Склонен к розыгрышам и мистификациям. От меня натерпелись многие. Я натерпелся от самого себя. Но, увы, неисправим... И вот с хлопобудами... Года три назад я сидел в какой-то компании. Познакомился с социологом Облаковым и двумя экономистами. Они были короли бала, шумно, умело говорили, я же человек иного склада и ума, и характера, мне многие их слова были смешны, казались далекими от земных забот. И я, для того чтобы поддержать светский разговор, взял и высказался насчет инициативной группы хлопот о будущем, как о некоем возможном направлении исследовательских и практических работ. Я дурачился, пользовался неизвестной мне терминологией, пародировал ее, но они не поняли ни насмешки, ни пародии, напротив, оживились. А что, говорят, плодотворная идея, надо, говорят, попробовать. Тут бы мне и о них, и об «идее» забыть, но взыграла моя дурацкая натура. Они явились ко мне в Настасьинский, вот, говорят, наши наметки, хотели бы услышать ваши замечания. И меня понесло. До того мне захотелось, чтобы на самом деле возникла инициативная группа хлопот о будущем и выстроилась очередь (я уже чернильные номерки на ладонях предчувствовал, сам рос после войны), что расстарался. И все возникло, и все выстроилось. И теперь все как будто бы потекло само собой и вдали от меня. Впрочем, не все. Облаков и его сотрудники — люди неглупые, аналитики и организаторы, люди деловые, но фантазии, следовательно, у них нет, воображение — бедное и робкое, ум хоть и с научным аппаратом, но такому уму примусы в коммунальной квартире расставлять. Я же в этой истории — дилетант, существо внебытовое и внеслужебное, моя фантазия раскована, не испугана практическим знанием. Я им предлагал идеи. Они казались им бредовыми и подоблачными. Но всегда находился человек, напоминавший о необходимости безумных идей. Хлопобуды начинали думать: «А что? Есть ведь что-то...» Кстати, они привыкли и к слову «хлопобуды», а поначалу не принимали его. Вот. Затея стала самостоятельной, независимой от меня. Но многие направления хлопобудам дал я...

— И прогнозы для Клавдии Петровны?

— Да, мои... Как бы узнавал тайным образом и в обход очереди сообщал ей... А все придумывал...

— И про голографа, и про горящие дипломы, и про изумруды от вулкана Шивелуч?

— Да,— вздохнул Ростовцев.

— Но ведь это нехорошо,— сказал Данилов строго, он теперь чувствовал себя чуть ли не представителем интересов Клавдии, чуть ли не нежным ее другом, которого дурачили вместе с ней, доверчивой женщиной.— Я не знаю степени ваших приятельских отношений с Клавдией Петровной... Но ведь это нехорошо. Зачем же заставлять женщину пускаться в столь тяжкие хлопоты? А с

камнями и просто рисковать. Тут, на мой взгляд, мало остроумия.

— Эти хлопоты были ей нужны! — горячо сказал Ростовцев.— И вы это знаете не хуже меня. Она бы сама придумала себе предприятия, причем более отчаянные!

— Но вы ее подталкивали к делам бесплодным,— сказал Данилов менее решительно.

— Кто знает, бесплодным или нет,— сказал Ростовцев.— Я-то, возможно, шутил безответственно, но ее энергия и вправду превратит лаву в изумруды.

— Думаю, вряд ли.

— Вы читали в вечерней газете об опытах с шивелучской лавой?

— Нет, не читал,— быстро сказал Данилов. И тут же отругал себя: опять забыл разобраться с камнями.

— Прочитайте. Номер от третьего дня.

— Не будет у Клавдии никаких изумрудов,— сказал Данилов сердито,— зря запутали женщину!

— Да,— сказал Ростовцев,— может, вы правы. Я виноват, что так далеко зашел... Я не могу рассказать обо всех обстоятельствах, да вам и неинтересно было бы слушать о них.

— Неинтересно,— сказал Данилов.

— Я и сейчас не уверен, что она относится ко мне серьезно, как к равноправному ей существу... Поначалу-то я ей был просто нужен... Несомненно... Но пришло к ней и увлечение, иначе ей было бы скучно... Мне тем более... Однако в последнее время она стала иметь какие-то иллюзии на мой счет. Будто бы я ее вещь, терять которую нежелательно. Но, может, я дал повод считать себя ее вещью? Впрочем, повод этот чрезвычайно банальный и нынче не берется в расчет... Теперь вот сцены... Вам это вряд ли понять...

— Отчего же! — сказал Данилов.— Мне другое трудно понять. В ваших розыгрышах есть оттенок издевки. И вы не держали ее за равную себе. При этом как будто бы и злились на нее. Чем она вам так досадила?

— Да не она! — поморщился Ростовцев.— А вся ее порода! Вы поняли, кто они?

— Предположим...

— А мне противны все эти проныры, сертификатные мужчины и дамы, сытые и с деньгами, желающие и еще ухватить куски! Ищущие способов устройства или помещения собственного капитала. И капитала материального, и капитала положения. Шутить с ними я решил потому, что они сами расположены к этим шуткам. Им подавай то, чего у них еще нет. Именно у них, и ни у кого другого.

— Так. И вы позволили себе быть судьей людей вам неприятных.

— Я им не судья! И нет у меня средств быть им судьей. А выразить свое отношение к ним, как мог, я посчитал себя вправе.

— Ваше дело. Но что же Клавдия-то? Остальные для вас — порода вообще, хлопобуды. А она-то — живая женщина, просто человек, неужели вы были с ней лишь циничны?.. Впрочем, мне-то что!

— Прошу вас, не считайте меня циничным и расчетливым человеком. Я шальной, легкомысленный, меня захватывает сам процесс розыгрыша или игры, меня как несет, так и несет... И в этом мое несчастье... Или счастье... А с Клавдией было не только неприятное для нее, вы всего не знаете. Но и всерьез я не мог относиться к ее деловым порывам. Отсюда и изумруды... А-а-а! — взмахнул ложечкой Ростовцев.— Надоело!

— От хлопобудов вы бежали к лошадям?

— Да,— кивнул Ростовцев,— как только возникла очередь хлопобудов и зажила своей жизнью, у меня стал пропадать к ней интерес. Теперь, похоже, пропал совсем.

— Но придет пора, вы проедетесь перед публикой по конкурному полю на жеребце без седла и удил, и вам надоедят лошади.

— Надоедят,— согласился Ростовцев.— В прошлом апреле съехал на спор на «Москвиче», чужом разумеется, в Одессе с Потемкинской лестницы. Теперь мне эта лестница скучна. А лестница красивая.

— Всю жизнь вы эдак?

— Да,— сказал Ростовцев.— Натура такая.

— Вы ведь где-то работаете?

— Работаю.

— У вас на двери висела табличка: «Окончил два института, из них один — университет».

— Да. Институт физкультуры, специализация — плавание, но уже не плаваю и не учу плавать, а купаюсь. Потом университет, механико-математический факультет.

— Ваша работа связана с чем-нибудь небесным?

— Да,— Ростовцев сделал пальцами летательное движение,— именно с этой механикой.

— Что же, работа вам скучна?

— Нет. Не совсем. Но нас там — сотни, тысячи. И я — пятидесятый, сотый, тысячный. Я разработчик частностей чужих озарений. Это естественно. Таков уровень развития науки. И человечество разрослось. У Леонардо был выход всему. Во мне же и в других многое не имеет выхода. Оттого-то мои коллеги имеют хобби — в нашем отделе, например, все мастерят дома цветные телевизоры. А я шучу и сажусь на кобыл.

— Ну и весело?

— Ничего... Но и не в веселье дело... И потом, еще одно. Чем больше открытий в науке, хотя бы в той ее сфере, к какой близок я, тем больше тайн. И приходит мысль: «А не разыгрывает ли кто нас? Не шутит ли над нами? Не чья-либо шутка — моя жизнь?» Вот и самому хочется шутить, чтобы себя успокоить, уравновесить что-то в себе.

— Тут вы не правы,— сказал Данилов.— Вы просто начитались зарубежной фантастики.

— Может быть,— сказал Ростовцев задумчиво.— Но как поступить с Клавдией, ума не приложу.

Он взглянул на Данилова, словно выпрашивая совет.

— Это ваше дело,— сказал Данилов. Ему было жалко Клавдию. Но и Ростовцев не вызывал у него сейчас грозных чувств.— А в очередь я все же попрошу меня пристроить. Шутки шутками, а книги мне нужны.

— Хорошо,— кивнул Ростовцев, он все еще, наверное, думал о своих отношениях с Клавдией, оттого вздыхал и рассеянно окунал ложечку в растаявшее мороженое.

— Спасибо,— сказал Данилов. И как бы удивился: — Но что же получается? Вот вы говорили — мираж. Но это не так. Очередь есть. Я буду иметь книги, надеюсь. А других-то ждут приобретения посолиднее. И все эти неприятные вам люди, в конце концов, получат от очереди действительно выгоду. Не сомневаюсь. Новые связи, новые влияния, новую информацию, новые места и вещи. И это благодаря вам! В какой-то степени... А вы умываете руки и уходите к кобылам.

Соображения Данилова были искренние. Однако он и лукавил. Он понимал: музыка скоро так заберет его, что всякие хлопобуды станут ему в тягость. Да и зачем его усилия, если есть Ростовцев, выдумщик и озорник. Он, конечно, если бы не остыл к движению хлопобудов, еще не одну кашу заварил бы в их очереди. В конторе Малибана не переставая скрипели бы самописцы, а он, Данилов, играл бы себе на альте.

— К чему вы клоните? — поднял голову Ростовцев.

— К тому... что...— смутился Данилов. Но тут же и продолжил: — А к тому, что вы, на самом деле, безответственный. Сами дали этим делягам инструмент для новых приобретений и захватов. И сбежали. Так-то вы выразили свое отношение к ним? Нет, это не годится. Если они вам не по душе, вы и дальше обязаны морочить им головы. А то как же? Иначе благодаря вам они станут процветать... Разве это хорошо?.. Я и буду вам помогать, мне эта порода тоже неприятна...

— Надо подумать,— неуверенно сказал Ростовцев.

— Что тут думать! Думать надо было перед тем, как вы затеяли хлопобудию!

— Пожалуй, вы меня убедили...

«Ну и хорошо,— думал Данилов.— Все равно он никуда не денется от хлопобудов. Вот прокатится на манер французского кавалериста и опять сочинит что-нибудь для Облакова. И Клавдия не выпустит его из своих рук».

Последнее соображение в особенности обнадеживало Данилова.

В театре он должен был быть через полчаса. Они еще поболтали с Ростовцевым. Данилов осторожно поинтересовался, как Ростовцев выбирает время и для Одессы, и для лошадей. Оказалось, что в Одессе Ростовцев был в командировке, раз в неделю

он имеет творческий день, и есть один начальник, он Ростовцева порой отпускает со службы. Кстати, этот начальник стоит в очереди к хлопобудам.

— Вот видите! — сказал на всякий случай Данилов, имея в виду начальника и очередь.— А чего вы за мной шлялись? — спросил Данилов.

— Я думал, что вы тоже из той породы. Долго приглядывался. Хотел и для вас придумать особенное. Но потом вы мне стали приятны...

Они выпили бутылку «Твиши», заказали еще одну. Данилов немного захмелел, сидел благодушный, испытывал к Ростовцеву расположение, чуть было не перешел на «ты». Заметил, что и на Ростовцева подействовало вино, обеспокоился.

— Вам не повредит? — спросил он.— Вы же за рулем.

— Нет, не повредит,— ответил Ростовцев.

Тут заржала лошадь, и Ростовцев сказал, что пора. Данилов с ним согласился.

— Вы ведь простудитесь! — волновался Данилов. Ростовцев его успокоил, уверив, что он закаленный, одно время был моржом. Данилов проводил его к лошади, жал ему руку, потом с удовольствием смотрел на то, как Ростовцев ехал улицей Горького в сторону Белорусского вокзала.

Вечером, в одиннадцать, Данилову позвонила Клавдия.

— Ну что? — спросила она.

— Ничего,— сказал Данилов.— Встретились. Он приятный собеседник. Спасибо тебе.

— Зачем он ходит на ипподром?

— Любит лошадей. Он не играет.

— Я сама знаю, что не играет. Я была на ипподроме.

— Стало быть, ты знаешь обо всем лучше меня.

— Ты ничего не разузнал?

— Ничего.

— Какой же ты бестолковый! Но хоть что-то ты должен был почувствовать!

— Он тебе дорог?

— Ах, Данилов, оставим это...

— Оставим,— с готовностью согласился Данилов.

— Всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя!

— Да,— вспомнил Данилов,— с камнями ты что-нибудь делала?

— С какими камнями?

— С шивелучскими.

— Пока ничего.

— Ну и хорошо,— сказал Данилов.

Наташа сидела в комнате и во время его разговора с Клавдией, Данилов это чувствовал, была в некотором напряжении. Никаких объяснений относительно Клавдии у них с Наташей не было. Теперь Наташа то ли сердилась на Клавдию, а может быть, на него, Данилова, то ли ревновала его к Клавдии. Эта ревность была при-

ятна Данилову. Он хотел подойти к Наташе, приласкать ее, сказать ей что-нибудь, но опять зазвонил телефон.

— Прошу извинения за поздний звонок,— услышал Данилов голос пегого секретаря хлопобудов,— днем я нигде не мог застать вас. А мы договорились...

— Хорошо,— сухо сказал Данилов,— я приму ваше предложение. Хотел бы, чтобы вы учли, что мое согласие вызвано вовсе не вашими (он чуть было не произнес «угрозами», но рядом была Наташа)... условиями... Нет, причина тут в определенной моей корысти.

— Я очень рад,— сказал секретарь.— Я сейчас же сообщу Облакову. Желательна ваша встреча с ним. Позже мы обговорим место и время встречи.

Данилов повесил трубку. Подумал: «Валяйте, сообщайте. Потом сами не будете рады». Он ждал вопросов Наташи. Она ни о чем не спросила.

Сегодня, на вечернем спектакле, большая люстра снова смущала его. Дома он обходил легкую немецкую люстру с тремя рожками. «Да что я! — ругал себя Данилов.— Как напуганный баран...»

47

Он и еще несколько дней с опаской поглядывал на люстры. Даже плоские люминесцентные светильники тревожили его. Потом стал спокойнее. Та, растворившая его, люстра понемногу отдалялась, уходила в сон. Края щели как будто бы смыкались.

Данилов отправил вежливые письма в Госстрах и в милицию, старшему лейтенанту Несынову. Просил извинения за хлопоты, к которым он вынудил милицию, и сообщал, что, по всей вероятности, ему подбросили украденный инструмент. Он понимал, что у старшего лейтенанта тут же возникнут вопросы: «Как же это подбросили в запертую квартиру и почему?» Данилов без всякой радости ждал звонка из милиции или вызова к следователю, но шли дни, а его не вызывали.

Встретился Данилов в Настасьинском переулке с Облаковым и лучшими умами хлопобудов. Держался с ними строго, заявил, что они ошибаются, строя на его счет какие-то фантастические предположения, впрочем, это их дело. Его же они заинтересовали, оттого он и согласился сотрудничать с ними, хотя и не очень понимает, какая им от него будет польза. Может, музыкальная консультация? Хлопобуды вели себя деликатно, сдержанно. Давали понять, что они знают, какая и когда будет польза. Приглядывались к нему. И было видно, что они люди трезвых мыслей и чувств, не слишком верят чьим-то сведениям или подозрениям насчет него. Но не прочь были бы им и поверить. («А вдруг это озорство Ростовцева?» — подумал Данилов. Позже, встретив Ростовцева, Данилов спросил румяного шутника, не представил ли он его Облакову особенной личностью? Нет, чего не было, того не было.)

— Да,— сказал Данилов, расставаясь с хлопобудами.— Чуть

было не забыл. Никаких выгод я не ищу. Ну, только книги... А вот рецензий, хороших гастролей и прочего мне не надо. То есть не надо мне мешать, как случалось в последние недели, но и способствовать чему-либо в моей судьбе не следует.

— Хорошо,— сказал Облаков.

Сказать-то он сказал, однако виолончелист Туруканов, очнувшийся от потрясения с монреальскими галстуками или забывший о нем, через несколько дней подошел к Данилову и, намекая на нечто им двоим известное, говорил с ним почтительно, даже заискивающе. Один из дирижеров, кого Клавдия видела в очереди в Настасьинском переулке, раскланивался с Даниловым теперь куда приветливее, чем прежде. Выяснилось, что и на гастроли в Италию Данилов поедет. И критик Зыбалов прислал Данилову письмо, извинялся, что не упомянул фамилию Данилова в газете, сообщал, что его игра на альте ему очень понравилась, что она выше музыки Переслегина, а впрочем, и симфонию Переслегина он хотел бы услышать снова, чтобы оценить ее объективнее. Клавдия же подкараулила Данилова вечером у входа в театр и набросилась на него с упреками. Что же он ее водил за нос, упрашивая о записи в очередь!

— Из-за чего они тебя пригласили?

— Я сам не понимаю, из-за чего,— сказал Данилов.

— Не лги мне! Ты им понадобился?

— Им нужен музыкальный консультант. Вдруг придется читать ноты или оценивать песни.

— Музыкантов тысячи, лауреатов сотни, а позвали тебя. За какие заслуги позвали тебя?

— Что ты на меня напала? — сказал Данилов.

— Ты не увиливай от ответа!

— Я не могу ничего объяснить тебе,— сказал Данилов строго.— Я не волен.

Эти слова сразу же успокоили Клавдию Петровну. Теперь она смотрела на Данилова с тихим интересом. И радость была в ее глазах.

— Надеюсь, что ты не забудешь, кто я тебе.

— А кто ты мне?

— Данилов, не надо... Ты знаешь, кто я тебе.

— По-моему, ты начинаешь питать ложные надежды. К тому же ты имеешь в очереди куда больше возможностей, чем я.

— Хорошо,— быстро сказала Клавдия, как бы соглашаясь с ним, словно он был одержим бредовой идеей и что же раздражать больного. Потом она все же не выдержала: — А ты, оказывается, вон какой загадочный. Только прикидываешься простаком и бестолочью...

— Извини, Клавдия,— сказал Данилов.— У меня спектакль. Загадки же мои ты давно могла бы разгадать.

— Может быть, я была слепая...— уже следуя к двери, он услышал печальные слова. Данилов даже остановился в удивлении. Посмотрел на Клавдию. Однако свет не падал на ее лицо...

Играл он в те дни много, играл с жадностью.

Играл на Альбани и на простом альте.

Играл Данилов и дома и в театре. Играл в яме с упоением даже музыку опер и балетов, какую прежде считал для себя чужой. Теперь у него было желание войти вовнутрь этой музыки без чувства превосходства над ней и ее композитором, понять намерения и логику композитора и обрести в музыке, пусть так и оставшейся ему чужой, свободу мастера, которому подвластна любая музыка («Ну не мастера, а мастерового»,— скромничал при этом Данилов). В вещах, им любимых, он, как ему казалось, такой свободы достиг. Или уже достигал ее без особенных усилий и напряжений. То есть эти усилия и напряжения были в его музыке всегда, десятки лет, и были порой мучительными, сейчас же они словно истаивали, звуки рождались сами собой. Данилов помнил слова Асафьева: «В конце концов, техника есть умение делать то, что хочется. Но на всякое хотение есть терпение...» Выходило, что он, Данилов, во всем поспешный и непоседливый, в занятиях музыкой был именно терпеливым. И кое-чего добился.

Дома он играл вещи наиболее трудные для альта, и они получались. Он и прежде не раз играл их, и прежде бывали удачи, но теперь Данилов полагал, что мышление его альта (или альтов), выражения чувств инструментом стали более точными и близкими правде. И тембром звучания и произношением инструментов Данилов часто оставался доволен. И будто бы забыл, каким неуверенным неудачником, каким ругателем самого себя он был в пору репетиций симфонии Переслегина и потом, после концерта.

Ему казалось, что теперь у него словно подготовительный период. Будто впереди у него — прорыв. Будь он более рациональной личностью, он бы вычислил варианты этого прорыва, а то и «проиграл» бы их в мыслях, вынуждая себя к поступкам. Но тогда бы он был другой Данилов.

Все чаще он думал о своей внутренней музыке. Ведь пока она звучит лишь внутри него — это своего рода тишизм. А что, если взять альт и попробовать... Но не будет ли тут нарушение его принципа — не использовать в музыке особенных возможностей? Нет, считал Данилов, он сам придумал приемы музыкального мышления (при этом, опираясь на опыт именно земной музыки, что было немаловажно), никому он тут ни в чем не обязан и не применял никаких неземных средств. Стало быть, его условие не нарушено. Исследователи не поняли его музыки, ну и ладно (или поняли?). А от людей он ничего не собирался скрывать или утаивать. Наоборот, он имел потребность выразить перед людьми самого себя. Он хотел им говорить о своем отношении к миру и жизни. Слова ему не стали бы помощниками. Смычок и альт — другое дело. К тому же, пользуясь созданными им приемами, он мог мыслить и переживать прямо в присутствии слушателей (хотя бы и одного слушателя), не обращаясь к чужой музыке, а — своей музыкой. Он импровизировал бы. К импровизациям же, когда-то обычным, теперь в серьезной музыке почти забытым, его тянуло.

Но он говорил себе, что желает именно мыслить альтом и выражать им чувства — и потому импровизировать, а не потому, что желает показать свою виртуозность и не потому, что в нем пробудился композитор. Он, конечно, не исключал возможности, что вдруг — когда-нибудь! — примется писать музыку,— в консерваторскую пору он увлекался и композицией, потом все забросил, а тогда сочинил десятки пьес, каждый день занимался упражнениями по контрапункту (семьдесят фуг в месяц), гармоническим анализом, сольфеджио... Нет, теперь он никак не мог назвать свои импровизации (а он на них, в конце концов, отважился) сочинением музыки. Нот исполненного Данилов не записывал, прозвучавшую в его квартире (Наташи в те часы не было) музыку не повторял. Да и противоестественным казалось ему заучивать собственные мысли наизусть.

И все же Данилов не удержался и дважды записал свою музыку на магнитофон. Хотел послушать ее как бы из зала. Прослушав, ходил взволнованный.

Но все это было не то! Иногда он злился на альт. А чаще на самого себя. В той своей, мысленной, музыке он был сумасшедше богат: весь звуковой материал, который существовал в природе и в изобретениях людей, все инструменты, и забытые, и сегодняшние, и будущие, весь мелос мира — все было к его услугам, звукосочетания рождались мгновенно и любые. Теперь же он имел один альт, пусть и Альбани, но альт! Что он мог!

Данилов отчаивался, считал, что никакие мысли и никакие чувства подлинно он не сможет выразить альтом, что его звуки еще косноязычнее слов. Но и бросить свои импровизации не мог. Играл и играл снова. Говорил себе: отчаивается он оттого, что избаловал себя мысленной музыкой. Теперь же пусть рассчитывает лишь на себя и на альт. И пусть не прибедняется. Техника у него сейчас отменная. И следует не заниматься самоедством, а следует дерзать, коли в этом у него есть потребность. Возможности альта далеко не исчерпаны. Это не оркестр, но это альт.

Однажды он играл Наташе. Наташа хвалила Данилова, хотя и сказала, что музыка для нее не совсем привычная. А потом, когда к нему в Останкино зашел Переслегин, Данилов решился играть и перед ним. Объяснил ему, что за музыку он просит выслушать. Данилов играл минуты четыре, нервничал, мысли его были скорые и отрывочные, музыка вышла резкая, бегущая куда-то, иногда и с прыжками, колкая, порой словно бы с заиканиями, случались в ней паузы — как бы остановки мыслей, такты шли неравномерные, движение по вертикали было своеобразное.

— Интересно! — сказал Переслегин.— На самом деле интересно. Играете вы сильно. Что делает ваш альт! А музыка похожа на вас. Нет, вы не всегда такой. Но иногда таким бываете. И не было в вашей вещи банальности.

— А не кажется вам,— осторожно спросил Данилов,— что я нарушил много правил?

— Ну нарушили! Но это правила учебников! Да и сколько новых правил уже возникало в двадцатом веке. И сколько еще возникнет. Ритмы, интонации, мелодии, да и самые звуки наших дней особенные, что же бояться нарушения правил! Какие удобны вам теперь средства выражения, такие и используйте. Людям вы будете дороги, если скажете свое. А не повторите произнесенное. А у вас свой язык, это видно и по одной фразе.

Переслегин, похоже, убеждал сейчас не только Данилова, но и самого себя.

— Ведь жизнь действительно особенная, новая, зачем же ее в музыке укладывать в якобы обязательные формы? Вы нарушили правила? Но я слышал не опыт с нарушениями, а музыку, при этом близкую мне, живущему в семидесятые годы. Завтра ваши нарушения станут правилами. И мои.

Данилову слушать Переслегина было приятно. Он нуждался сейчас в поддержке. Однако иные утверждения Переслегина он мог бы оспорить. Он любил всю музыку. Ему порой, коли было подходящее настроение, хотелось высказаться и в старой манере. Хотя бы и в романсно-ариозном, как говорил один его профессор, стиле конца прошлого столетия. Он желал развивать мысли и поместив их вовнутрь сонатной формы. Или фуги. И не потому, что был всеяден или не имел своего направления. Нет, Данилов имел направление. И думал о нем. Правда, он говорил себе, что ему не следует теоретизировать, куда интереснее двигаться в искусстве на ощупь. Тут он был определенно неточен. Это ученик музыкальной школы или увлекшийся дилетант могли двигаться на ощупь. Данилова же сейчас и Земский признавал профессионалом высокого класса. Его «на ощупь» было особого рода. Просто он не желал быть в музыке расчетливым. Но одно дело — не желать... Что же касается всеядности, то ее не было, а была жадность. Принявшись создавать музыку, Данилов жаждал опробовать все. Готов был примерить любое платье, чтобы выбрать наилучшее для себя. Он сидел с Переслегиным и думал о том, что желает сыграть вальс. И уже мелодия возникла в нем. А отчего бы и не вальс? При этом он не то чтобы хотел сочинить новый вальс. А хотел высказаться в форме вальса. Ну, а потом? А потом его могли увлечь частушки, ритмы белгородского «Тимони», с его пританцовываниями и припрыгиваниями, какие давно жили в Данилове, приобретения биг-бита, новые танцы, сменившие шейк (джерк, фанки чикен и хасл в частности, с их непривычными движениями), мотивы расхожих песен, способные вызвать иронию его альта, но и необходимые как приметы быта летящих дней для выражения его, Данилова, мыслей. Многое, многое, многое! И конечно, Данилов помнил о прекрасной музыке и приемах ее исполнения африканской, индийской и дальневосточной школ, и те приемы волновали Данилова. Отчего бы его альту не поучиться, скажем, у бамбуковой флейты сякухати? Словом, звуки, мелодии, удары, звоны, ритмы, интонации теснились в нем, мучали, будоражили его, требовали выхода, воплощения альтом. Формы же, какие понадо-

бились бы для этих воплощений, Данилов не собирался выбирать заранее. Он на это не был способен. Формы, иногда именно и из учебников, полагал он, должны были явиться сами, необходимые и естественные. Было бы ему что произнести. А как произнести, это он уже умел.

Так думал теперь Данилов. Однако Переслегину ничего не высказал, словно бы согласившись с ним во всем.

А Переслегин пришел вот зачем. Появилась возможность исполнить его симфонию во второй и в третий раз. Правда, опять во Дворцах культуры. Ну и что же? Переслегин опять писал музыку, и опять для альта. В некотором роде экспериментальную, какую на первый взгляд альту технически исполнить трудно. Однако и в симфонии были эпизоды, как будто бы для альта невозможные. Но Данилов их сыграл. А своими импровизациями он еще более подзадорил Переслегина. Правда, тот принялся и за оперу по мотивам рассказов Зощенко (эта новость вызвала чуть ли не ревность Данилова, измену учуял он), но сочинение для альта он закончит. Расстались Данилов с Переслегиным довольные друг другом, поощрив себя на новые труды.

А после ухода Переслегина Данилов почувствовал себя скверно. Его тошнило. Кружилась голова. Билось сердце. Да что сердце! Все внутри Данилова как будто бы пришло в движение и стало куда-то смещаться. Данилов прилег на диван. Легче не было. Его раскачивало вместе с диваном. Минут десять. Потом прошло. Но и позже воспоминание о дурноте было неприятным. Данилов в театре сбегал в медицинский пункт, попросил измерить давление. Оно было нормальное. И сердце работало хорошо, ровно, без шумов. Наутро Данилов развернул в троллейбусе газету и среди прочего на пятой странице увидел заметку. Вчера в Турции был зафиксирован подземный толчок силою в семь-восемь баллов. Эпицентр землетрясения — вилайет Диярбакир, там в домах трещины. Есть жертвы. Сообщалось и время (московское), когда Диярбакир трясло. Именно в те минуты и было Данилову плохо. В те десять минут! Вспомнил Данилов Нового Маргарита и его предложение о чуткости к колебаниям. Как давно это было. В совершенно иной, нереальной жизни. Однако вот началось...

Наташе он не сказал ни о дурноте, ни о медпункте. Швейные дела шли у нее сейчас хорошо, она даже подумывала, не уйти ли ей из НИИ. Данилов понимал, что рано или поздно она уйдет, но пока советов не давал, говорил: «Смотри сама». Зимой знакомая Наташи художница по костюмам одевала для новой программы известный ансамбль с хором и танцевальной группой. К ее услугам был костюмерный цех. Но она пришла тогда к Наташе с просьбой сшить особо дорогие для нее костюмы. Наташа обрадовалась. И все сшила прекрасно. А потом стала ходить в музеи, листала альбомы народной одежды и сама взялась сочинять костюмы, будто бы ей тоже надо было одеть ансамбль. Данилов смотрел ее эскизы, радовался им, но хвалил их сдержанно — он был лицо заинтересованное. Показал эскизы художникам театра, те сказали,

что работы яркие и почти профессиональные. Советовали Наташе учиться. Наташа смеялась, говорила: «Да куда мне! В мои-то годы!» Но съездила в текстильный институт, узнала условия приема. Сказала: «Год или два потерплю. Посмотрю. Почитаю школьные учебники, ведь все забыла... И надо всерьез заняться рисунком, если мы с тобой желаем рассчитывать на что-то...» В НИИ у них была изостудия, Наташа ходила теперь туда. Данилов ее не торопил. Ему и нынешняя Наташа была хороша.

Иногда он позволял себе отдыхать. В стеганом халате лежал на диване, листал книги, чаще по искусству (у хлопобудов он добыл пока только «Американский детектив»), блаженствовал. Наташа сидела за столом, фантазировала свои костюмы, напевала тихо. Слуха у нее не было, Данилов вначале смеялся над ее мелодиями, она смущалась и умолкала, теперь же пела и при нем. Неправильное ее пение умиляло Данилова, как умиляет родителей коверканье их младенцем слов. (Данилов даже пробовал на альте передать Наташины неправильности, но это было уже не то, холодная неграмотность инструмента, и только.) Никуда Данилова в эти минуты не тянуло, о купаниях в молниях и полетах в Анды он как будто бы и не помнил. Да что купания и полеты, он и в гости к Муравлевым ходил в эти месяцы редко. Рядом сидела Наташа, что еще нужно было Данилову? Он закрывал глаза, слушал милый голос и иногда размышлял, отчего в его судьбу вошла именно Наташа. Однажды он подумал так. Изменения в нем происходили тихо и не сразу, вернее, готовились, накапливались в нем тихо и долго, а произошли-то, может быть, быстро, и вот когда они произошли и в нем, Данилове, утвердилось новое, впрочем существовавшее в нем и прежде, но не столь отчетливо и решительно, понимание мира и его ценностей, тогда он и столкнулся с Наташей, и она, пусть и не самая ослепительная и блистательная, была из тех женщин, какие ему стали дороги. Данилов понимал, что если и есть в этом его размышлении доля истины, то небольшая. Может быть, сотая доля. И вообще все это — умозрение, пустое умствование, к какому он все равно не способен. Отчего же не ослепительная и не блистательная? Наташа была ему хороша и близка. С ней он чувствовал себя спокойно. Она для него — и нерушимая стена. Словами Данилов мог сказать об этом тускло. Взять же альт в тот момент было ему лень. Данилову тогда и с дивана не хотелось вставать.

Впрочем, не так уж много он пролеживал на диванах.

Жизнь его и всегда была полна хлопот. Эти же месяцы, весенние и летние, вышли совсем суетливыми. В театре готовились к поездке в Италию, было много срочных вводов. Данилов играл и в составе секстета театра — на шефских концертах и с солистами на телевидении. С баритоном Бондарчуком их записали для «Голубого огонька». Прошел слух, что секстет пригласят на гастроли в Японию. От всех левых концертов Данилов вынужден был отказываться. Денег, пусть и не густо, он все же сумел заработать, отдал кредиторам часть долга. Снова пришлось переодалживать

пятьсот рублей. Последнюю ссуду Данилов получил от известного игрока Миши Кошелева.

Из Госстраха пришла бумага: его письмо приняли к сведению. Из милиции не звонили и не писали. За брюками в пункт химчистки Данилов не зашел. Для итальянской поездки они пригодились бы. Теперь Данилову и стыдно было идти в химчистку — вдруг там, на самом деле, теряли из-за него квартальные премии. А может быть, брюки были уже отправлены фабрикой в комиссионный магазин или на Преображенский рынок. Посылать Наташу в химчистку Данилов не решился. Что же ей-то краснеть? Однако и терять добро было нехорошо. Забегу перед гастролями, пообещал себе Данилов. И не забежал. Решил, купит штаны в Италии. Да и Наташа обещала ему сшить брюки. Он надеялся.

В гастрольный состав Николай Борисович Земский не попал. Он как будто бы и не стремился попасть. Да что там, говорил, в Италии? Мафиози да тиффози. Макароны же и у нас есть. Подолгу с Даниловым он не разговаривал. Видел, что Данилов задерганный, ботинки стаптывает, какие тут особые разговоры. Но два раза все же спрашивал Данилова всерьез и с ехидцей: не разгадал ли Данилов тайны М. Ф. К. «Не разгадал, Николай Борисович,— отвечал Данилов.— И некогда разгадывать».— «Больно ты жаден стал до звуков. Не переешь». Отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным, нежели несколько месяцев назад. Вроде бы Коренев отдалился от Данилова, истаял в прошлом. В пору сомнений Данилова, неуверенности в самом себе терзания Миши Коренева были ему близки, и тайну его, хотя скорее всего ее не существовало, Данилов жаждал открыть. Сейчас же пришла полоса не то чтобы удачи и благополучия, а скорее действенного упоения музыкой, удовольствия от своей игры, понимания ее высоких свойств. Нужда в печальных исследованиях как будто бы отпала. Понятно, что до поры до времени... Размытый образ Миши вызывал теперь лишь летучую (после разговоров с Земским) жалость Данилова. И все.

Хлопобуды Данилову пока не звонили. Данилов был рад. Ростовцева он встретил лишь однажды, пешего, на Кузнецком мосту. Ростовцев был хмурый и рассеянный, жеребец без седла и удил относился к нему пока без уважения.

— Я думал о ваших словах,— сказал Ростовцев.— Вы правы. Я кое-что изобрел для этих хлопобудов.

— Очень хорошо! — обрадовался Данилов.— Только знаете, не хотелось бы, чтобы ваше изобретение нанесло ущерб Клавдии Петровне...

— Ладно,— пообещал Ростовцев.

Клавдию Петровну Данилов пожалел по привычке и из опасения, что, коли ей будет нанесен ущерб, расхлебываться с этим ущербом придется опять ему, Данилову. Клавдия присмирела, видно, выискивала в Данилове какие-то особые свойства, прежде ею не подмеченные, но открытые хлопобудами. Она даже, при всех своих стремлениях к независимости, одно время виляла перед Даниловым

хвостом. Потом, наверное, посчитала, что на Данилова и с особыми свойствами она имеет права. Узнав об Италии, она сразу стала делать Данилову заказы. Данилов заявил ей, что, если у нее есть нестерпимая нужда в итальянских вещах, пусть обращается к Наташе. Наташа записывает просьбы знакомых. «Ну ты даешь! К Наташе!» — фыркнула Клавдия и, была бы рядом дверь, хлопнула бы дверью. Однако список вещей Наташе представила. Данилов повздыхал и решил, что придется купить Клавдии какую-нибудь дрянь. А то сживет со света.

Куски лавы от вулкана Шивелуч она держала в кладовке, не допуская к ним и профессора Войнова (тот все никак не мог добиться хорошей длительной командировки). Стало быть, эти камни Данилова пока не тревожили. А вот как деликатным способом покончить с изумрудами и бабочкой Махаон Маака с изумрудными зубами, он не знал. Но надо было кончать. Дело и так зашло далеко. Готовились научные публикации, целые лаборатории обхаживали изумруды, бабочку держали в зимнем саду института, кормили редкими орехами. Она росла и тучнела.

К Кудасову вернулся аппетит. Сомнительные раздумья больше не угнетали его. Удручало его жизнь лишь то обстоятельство, что Данилов по причине занятости почти не появлялся у Муравлевых, и значит, обеды и ужины у них шли скромные, порой без мясных блюд или же с одними сосисками. Он ловил теперь запахи в других домах.

Водопроводчик Коля не попадался на глаза Данилову. В пивном автомате Данилов его не встречал и не знал, идет ли из Коли дым или уже иссяк. Он рассудил, что, если бы Колю дым стал удручать, Коля, наверное, обратился бы по поводу дыма к нему, Данилову. Хотя почему именно к нему? Потом из разговора с привратницей Данилов узнал, что Коля ушел из сантехников и работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Ольминского. Его и не видно во дворе. Остался ли при Коле дым, Данилов спросить постеснялся.

Кого Данилов хотел увидеть, так это двух барышень, каким он вернул невинность. Но времени на розыски их не было, да и гуляли они девушками не слишком долгий срок. «Пусть еще погуляют до зимы»,— решил Данилов.

И он уехал в Италию.

И была Италия. То есть сказка. Написать о ней что-либо я не в силах. Да и не был я в Италии.

В августе Данилов имел отпуск, они с Наташей дикарями отправились в Коктебель. Данилов лет пять уже отдыхал в Коктебеле. В последние месяцы, после турецкого землетрясения, он не раз испытывал дурноту. Но то землетрясение хоть было в восемь баллов, а потом-то он ощущал происшествия куда менее значительные. Толчки силою в три-четыре балла, рядовые извержения курильских и камчатских вулканов, удары цунами. Опять внутренности в нем словно бы смещались. Сердце стучало или, еще хуже,— замирало. Вот-вот могло вырвать. И неприятнее всего было ощуще-

ние беспокойства, тоски или даже безысходности. Наташа заметила дурные состояния Данилова. Пришлось опять идти к врачам, раздеваться до пояса, просвечиваться и глотать кишку. Все анализы были хорошие, во внутренностях — светло и непорочно. «Переутомление»,— сказали Данилову. И Данилов был склонен считать, что переутомление. Коктебельские купания как будто бы приободрили его. Во всяком случае толчки в боливийской провинции Кочавамба силою в пять баллов вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб. Правда, весь август Данилов не брал инструмент в руки.

Как только Данилов вернулся в Москву, ему позвонил Переслегин. Оркестр Чудецкого в первых днях октября должен был играть во Дворце культуры автомобилистов. В программе — поэма Стравинского «Песнь соловья» и симфония Переслегина. Стало быть, есть нужда в нем, Данилове.

— И еще,— сказал Переслегин.— Вы можете исполнить там свои вещи. Как вы их называете? Импровизации?

— Импровизации..— взволнованно произнес Данилов.— Но ведь я их не записываю... Стоит ли мне...

— Стоит! — решительно сказал Переслегин.— И напрасно вы их не записываете. И глупо! Расточительно! И нет в этом уважения к любителям музыки. Это мальчишество в конце концов!

Данилов чуть ли не обиделся, хотел сказать, что импровизации и есть импровизации, почему же не быть верным принципу? Но потом подумал, что он обманывает себя. Он хотел записывать свою музыку! Иногда он и записывал ее на магнитофонную ленту. И потом слушал. И испытывал потребность повторять свои мысли. Хотел, чтобы их услышали другие люди. Сотни людей! Считал, что имеет право на разговор с ними, конечно, при условии, что его мысли на самом деле не банальные и достойные внимания. Что же касается принципа, решил Данилов, то он сможет импровизировать и при повторном высказывании. В тот день Данилов купил нотную бумагу.

В театр он брал теперь лишь Альбани. Оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался, возил домой.

В свободные часы несся на репетиции оркестра Чудецкого. Концерта ждал с нетерпением и страхом. Ругал себя за то, что согласился играть свои вещи. А на тумбах возле Дворца автомобилистов уже висели афиши с программой концерта.

Снова съехались на концерт все знакомые Данилова (и я с женой). В фойе Данилов углядел и несколько человек из очереди хлопобудов. Видно, и они любили музыку. Ворвалась в помещение взволнованная Клавдия Петровна, приволокла с собой профессора Войнова. («Ого! — обрадовался Данилов.— Нас принимают всерьез».) Прогуливался в фойе, не подходя к буфету, строгий критик Зыбалов. Некоторое удивление Данилова вызвало присутствие Николая Борисовича Земского. Земский должен был сегодня вечером сидеть со скрипкой в яме. Данилов не удержался, подошел к Земскому, спросил: «А вы-то как же, Николай Борисович?» Земский

сказал хрипло: «Больничный листок. Люмбаго». В глаза Данилову он не смотрел. В руках у него был какой-то предмет, завернутый в газету. Предмет этот Земский, казалось, желал спрятать куда-нибудь подальше, лишь бы Данилов о нем не спросил. Данилов не спросил.

Симфонию Переслегина исполняли в первом отделении.

Данилов волновался, однако на этот раз был спокойнее, все видел и помнил. Его игру и игру оркестра приняли хорошо, аплодировали, бросали цветы, оркестранты стучали смычками по пультам, одобряя Данилова. Минут пять Данилов сидел в артистической, выговорившийся, расслабленный. Выключенный из жизни. Но ему еще предстояло играть. Он встал, пошел в буфет выпить воды.

Уже в очереди он пожалел, что не взял инструмент. «Да как же это я!» — чуть ли не вскричал Данилов. Он бросился в артистическую, но Альбани там не было. Раскрытый футляр лежал, а инструмент исчез. Данилов носился по комнатам за сценой, выскакивал на сцену, спрашивал знакомых, не пошутил ли кто. Альбани нигде не было. Данилов должен был играть сразу после антракта, но об этом он сейчас не думал. Он даже на индикатор не взглянул, не поинтересовался, нет ли здесь неземных сил.

Наконец он заскочил в туалет при артистических комнатах и увидел Николая Борисовича Земского, терзающего его альт. Собственно, альт уже был растерзан, расчленен, раскурочен и частью разбит в щепы. В руке Земского была пила-ножовка. Ни один мастер, ни сам Альбани вернуть альт к жизни не смогли бы.

Данилов готов был броситься на Земского. Но зачем? Он остановился и сказал тихо, едва найдя силы для слов:

— Как же это вы, Николай Борисович? Вы ведь музыкант...

— Именно потому, что музыкант,— твердо сказал Земский.

Потом Данилов сидел в артистической, лицо уткнув в ладони, чуть ли не плакал, а Земский был где-то рядом и требовал, чтобы немедленно вызвали милицию. Антракт затягивали. Чудецкий подходил к Данилову, спрашивал, не стоит ли сейчас Данилову отказаться от исполнения своих вещей, на что Данилов резко и даже неожиданно для самого себя заявил: «Нет, теперь я точно буду играть!» Думали, как быть. Посылать машину на квартиру Данилова за его простым альтом (на это ушло бы минут сорок) или же воспользоваться инструментом кого-нибудь из альтистов оркестра? Сошлись на последнем. И решили, что Данилов будет играть не сразу после антракта, а вначале исполнят поэму Стравинского. Данилов же пусть немного успокоится. Данилов кивнул и попросил всех оставить их вдвоем с Земским.

— Зачем вы это сделали, Николай Борисович? — спросил Данилов.— Вас возмутила моя игра?

— Наоборот,— сказал Земский,— ты блестяще играл. В этом все дело. А будешь играть еще лучше.

— Но зачем же...

— Володя, вызови милицию, я прошу тебя, и пусть они составят протокол.

— Никого я не буду вызывать,— устало сказал Данилов.— Зачем теперь милиция...

— Володя, я умоляю тебя... Да и не надо тебе вызывать милицию, я уже звонил туда... Ты им только сделай заявление.

— Я не буду делать никакого заявления...

— Володя, я ведь опять на колени перед тобой рухну. Был уже один случай. Если б тогда мой порыв не вышел напрасным, не возникла бы у меня нужда крушить твой альт.

— Зачем вы его сломали?

— Помнишь тот наш разговор? Ты можешь верить или не верить в мои сочинения, в мой тишизм, но я в них верю. Оценить их могут не сейчас. Очень не скоро. Но кто запомнит обо мне, кто через полстолетия или полтора столетия вдруг проявит интерес к личности и ее творчеству, если эта личность при жизни ничем о себе не заявила, не было ее и нету? Но теперь-то меня запомнят! Ты станешь большим музыкантом, о тебе будут писать статьи и, конечно, где-нибудь упомянут, что какой-то варвар или, может, завистник растерзал в антракте концерта любимый инструмент мастера. Это выгодный для тебя момент. И для меня! Найдется дотошный потомок и пожелает разузнать, что это был за варвар или завистник, помешательство ли толкнуло его к Альбани или им двигал некий высокий принцип. И кто-нибудь оценит Николая Борисовича Земского по делам его. Я и в прошлый раз говорил тебе: мне нужна туфля Золушки. Ведь если бы Золушка не обронила туфельку, она бы по сей день ходила в прислугах у сводных сестер.

— Я помню,— встал Данилов.— Только вы себе придумали странную туфлю... Идите, Николай Борисович, я хочу побыть один.

— Нет! Ты прежде напиши заявление для милиции! — горячо вскричал Земский, страсть горела в его глазах и как будто бы убеждение в том, что Данилов признал его доводы справедливыми и чуть ли не сочувствовал ему, Земскому.

— В милиции инструмент не починят,— сказал Данилов.

— Его и нигде не починят! Я тебе выплачу за инструмент-то. Ты другой купишь. И разве можно сравнивать, пусть даже и хороший Альбани, с тем направлением, какое я могу дать музыке?.. Ты только потребуй составить протокол. Чтоб был на меня документ. Чтобы будущие архивисты наткнулись и на документ. И варвар не остался безымянным.

— Николай Борисович, давайте прекратим разговор об этом,— хмуро сказал Данилов.

И тут Земский на самом деле рухнул на колени перед Даниловым.

— Не губи, Володя! Хочешь, я открою тебе тайну Миши Коренева?

— Встаньте, Николай Борисович,— подскочил Данилов к Земскому, принялся поднимать его, тяжел был Николай Борисович.— Что вы мне все этой тайной морочите голову! Ее или нет, или она не имеет ко мне никакого отношения.

— Есть тайна. А имеет ли она отношение к тебе, или еще к кому, я сказать не могу.

Николай Борисович вытащил из кармана пиджака помятый конверт, поднял руку с письмом.

— Я получил это письмо от Коренева за день до его гибели,— сказал Земский.— Я не вскрывал его.

Земский протянул письмо Данилову. Данилов невольно взял его, но тут же решил вернуть Земскому:

— Письмо адресовано вам. Я не читаю чужие письма.

— И все же ты разорви конверт. Я догадываюсь, что в нем, и думаю, что твое знакомство с письмом не нанесет ущерба ни мне, ни Кореневу.

Данилов осторожно расклеил конверт, вытащил оттуда сложенный, видимо, нервными руками лист нотной бумаги. Развернул его. Лист был чистый.

— Я так и думал,— сказал Земский.

— Пустой лист,— тихо произнес Данилов.— Что ж, и для меня тут нет большого открытия...

В дверь артистической постучали.

— Войдите,— сказал Данилов. Явившийся Переслегин спросил деликатно:

— Владимир Алексеевич, если вы не хотите играть, решайте, никто вас не осудит.

Данилов сказал тихо, глядя в пустой прощальный лист нотной бумаги:

— Нет, теперь я обязательно буду играть.

— Тогда ваш выход через двадцать минут.

При этих словах в артистическую вступили два милиционера, старший лейтенант и лейтенант, этот с радиотелефоном. «Уж не Несынов ли? — испугался Данилов.— Пойдут расспросы...» Но он тут же сообразил, что Земский, наверное, звонил в местное отделение милиции, а Несынов трудится в Останкине. И был составлен протокол, удовлетворивший Николая Борисовича Земского.

Из зала доносились флажолеты флейты и трели струнных — то соловей залетел во владения императора, и вот уже следовал цветной и прекрасный китайский марш, а потом спорили два соловья, живой и механический, японский. Стравинского Данилов слушал рассеянно, он думал о погибшем скрипаче Мише Кореневе, видел кладбище в Бабушкине, вытоптанный снег под березами, заплаканную вдову и двух девочек, печальную Наташу с розами в руках, видел себя, в частности, и то, как он старался уберечь пальто знакомых Коренева от зеленой, не загустевшей еще краски соседней ограды. Он держал сейчас итог Мишиной жизни, чистый листок, уход в беззвучие, признание того, что произнести нечего или что вообще в этом произнесении нет нужды. Однако нужда была, коли бросился в окно. Что-то ведь произнес, и важное произнес.

Но вот глиссандо арф и золотистыми звуками песни рыбака закончилась музыка Стравинского. Данилову была очередь идти на

сцену. Несколько минут в артистической он привыкал к инструменту альтиста Захарова, звук был хороший. Данилов кивнул Переслегину и Чудецкому, пошел к публике. В зале, видно, знали о происшествии с Альбани, тишина была удивительная.

В программе сообщалось, что солист В. Данилов исполнит три свои пьесы. Однако Данилов объявил:

— Импровизация. Памяти утихшего музыканта.

Объявляя, он подумал, а не собирался ли Земский так же назвать свое сочинение? Но в названии ли было дело?

«Стихи не пишутся, случаются»...

Тут случилась музыка.

Данилов пребывал в состоянии, какое он бы не мог сам назвать, в нем были сейчас и любовь, и злость, и отчаяние, вызванные гибелью инструмента, он бы и в сражение теперь же бросился куда-то, и утих бы на Наташиной груди, он непременно желал рассказать людям о судьбе скрипача Коренева и о своем несогласии с ней, само желание рассказать уже и было частью этого несогласия, он жаждал выразить свои понятия о жизни, о любви, о музыке и снова утвердиться в них. Он играл. Он ощущал такую свободу в выражении своих мыслей, переживаний, того, что было с ним или будет, какая к нему пока не приходила. И этот незнакомый ему инструмент, как Альбани, стал продолжением его самого, его голосом, его разумом, его сердцем... Когда Данилов понял, что высказал все, что должен был сегодня высказать, он кончил.

Были аплодисменты. Возможно, просто вежливые. А возможно, одобряющие не суть его музыки, а то, что он сыграл, хотя у него и альт перепилили. А Данилов стоял и думал о той немыслимой свободе, с какой он сегодня играл. Это было воспоминание об улетевшем счастье, но в нем жило и ожидание радостей. Впрочем, всего важнее было то, что он сказал.

Но поняли ли его? Наташа поняла. Но ей он объяснил, что желал передать музыкой. А остальные? Многие говорили: «Непривычная музыка... Странная музыка... Как будто бы тут и не альт... Надо еще послушать...» Даже Переслегин был несколько смущен.

— И все же вы и дальше говорите своим языком,— советовал он.

— Непривычная? — сказал Данилов решительно и даже с вызовом: — Привыкнут!

Но в таком кураже он был лишь после концерта. А наутро опять проснулся разбитый, обессиленный. И о музыке — своей и чужой — думал с отвращением. Все его так называемые импровизации, и в особенности вчерашняя, вызывали в нем чувство стыда. «Пошло бы это все!..» — говорил он себе. И на оставшийся в живых дешевый альт он смотрел чуть ли не с брезгливостью, хотя понимал, что ради прокорма все же будет играть на нем в яме. Впрочем, и Альбани, на его взгляд, не стоил сострадания.

Утром же случился с ним приступ, куда серьезней прежних. Данилов лежал, не шевелился, готов был звонить в «Скорую». Однако отпустило. Землетрясение, по понятиям Данилова, произо-

шло где-то силою баллов в десять-одиннадцать. Но никаких сообщений в газетах о подземных толчках не последовало. Была лишь информация о разгоне студенческой демонстрации в Таиланде. Через день Данилова трясло и било, и опять в газетах упоминался лишь Таиланд. Значит, вот как. Сначала землетрясения, потом цунами, потом избиение студентов. Впрочем, так и было обещано Данилову. Будешь совершенствоваться и дерзить в музыке — обостришь вновь обретенную чуткость. Чуткость к волнениям и колебаниям стихийным, к колебаниям и волнениям людским. Так он скоро и от плача голодного ребенка в Пенджабе станет покрываться сыпью. И от стона ветерана, в ком шевельнется оставленный войной осколок. И от невзгод какого-нибудь художника, подобного Переслегину, кому не дают хода хлопобуды. Да мало ли от чего. «Буду терпеть,— думал Данилов.— Да и какой был бы я артист без ощущения боли, хоть бы и твари лесной».

Дома альт в руки не брал, занимался хозяйством.

Однажды не выдержал и побежал в химчистку. Может, висят там еще его штаны. В Италии он так и не купил брюк, приобрел пластинки, Наташа, увлекшись народными костюмами, тоже пока не улучшила его гардероб. Но на двери химчистки висел листок с карандашными словами: «В связи с занятостью приемщицы пункт закрыт до 1 ноября». Данилов готов был метать громы и молнии. Экое безобразие.

Он сел в троллейбус. Поехал в театр. Все думал о заботах приемщицы и, возможно, потерянных без возврата брюках. После Крестовского моста он задремал. А когда разлепил веки, ушли и досада на пункт химчистки, и мысли о колебаниях и люстре, наступило спокойствие. Данилов чувствовал, что есть этот троллейбус, бегущий по Москве, и есть он, Данилов, и есть Наташа, и есть его инструмент, и есть его пульт в яме, многого же не было и нет, оно лишь, возможно, возникало в его фантазиях.

Но вот странность.

Данилов, вернувшись с вечернего спектакля, вынул из ящика газету, а из нее выпала официальная бумага из 58-го отделения милиции. В бумаге, подписанной старшим лейтенантом Ю. Несыновым, сообщалось, что музыкальный инструмент (альт работы итальянского мастера Матео Альбани, Больцано, 1693 год (это подтверждено экспертизой), принадлежавший гр. Данилову В. А., найден. Данилов приглашался в милицию для опознания инструмента.

«Не может быть!» — подумал Данилов.

Но он всегда верил в свое отделение милиции.

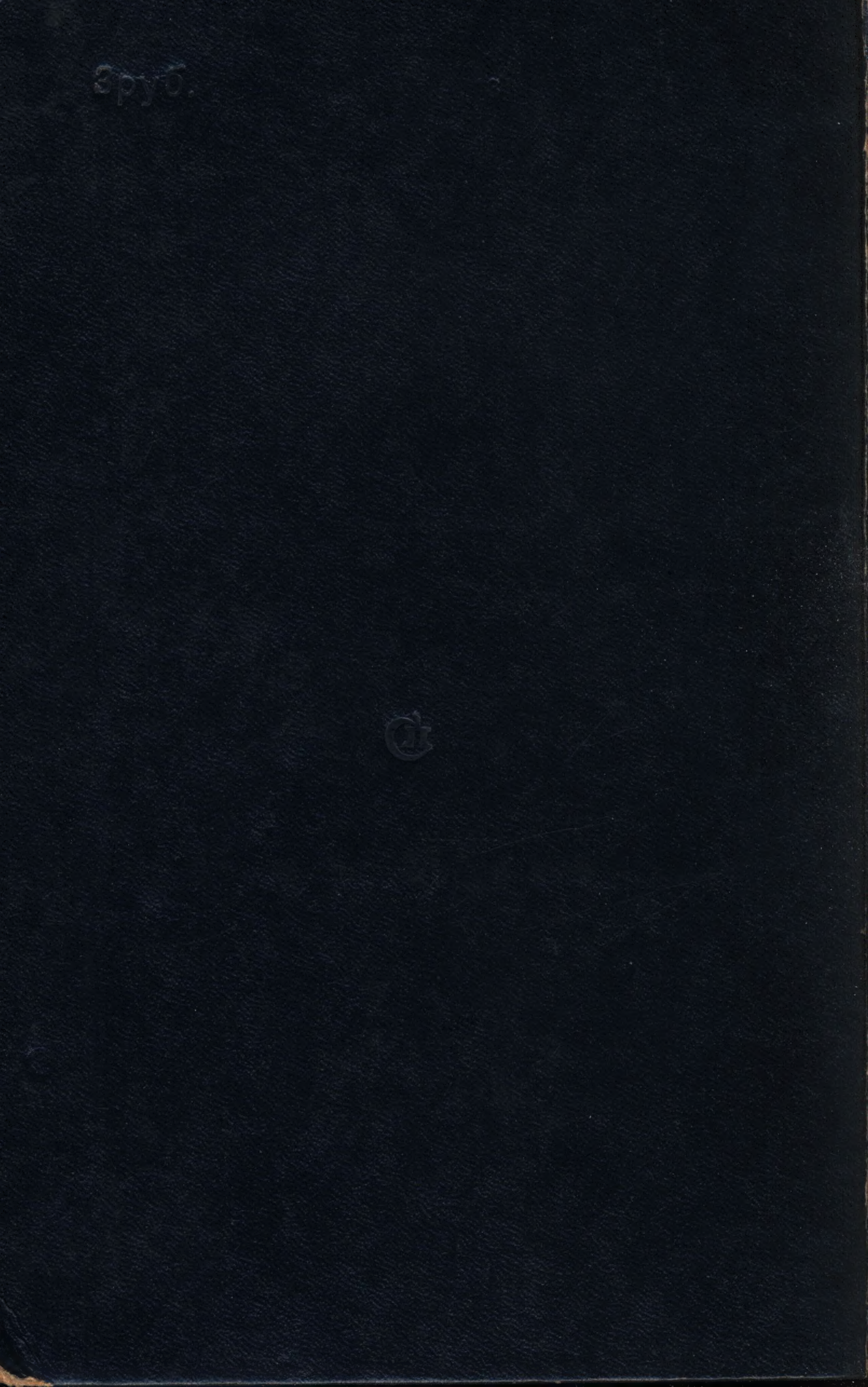
Ночь он не спал, а утром бросился к старшему лейтенанту Несынову.

Ехать к тому надо было семь минут на девятом троллейбусе.

1973—1977






3 руб.

ВЛ. ОРЛОВ

...шествие в Никольском

...ст Данилов